

РОССИЯ  
ЗАБЫТАЯ И  
НЕИЗВЕСТНАЯ



РОССИЯ  
ЗАБЫТАЯ И  
НЕИЗВЕСТНАЯ  
В БОРЬБЕ С БОЛЬШЕВИЗМОМ

РОССИЯ  
ЗАБЫТАЯ И  
НЕИЗВЕСТНАЯ



133



РОССИЯ  
ЗАБЫТАЯ И НЕИЗВЕСТНАЯ  
БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

РУССКАЯ  
ЭМИГРАЦИЯ  
В БОРЬБЕ  
С БОЛЬШЕВИЗМОМ





РОССИЯ  
ЗАБЫТАЯ И НЕИЗВЕСТНАЯ

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ  
В БОРЬБЕ  
С БОЛЬШЕВИЗМОМ



Москва  
ЦЕНТРОЛИГРАФ  
2005

Серия основана в 2000 году

Под общей редакцией авторов проекта  
Валентины Алексеевны БЛАГОВО  
и Сергея Алексеевича САПОЖНИКОВА,  
членов Российского Дворянского Собрания

*Оформление художника И.А. Озерова*

P88

**Русская эмиграция в борьбе с большевизмом /**  
Составление, научная редакция, предисловие и коммента-  
рии доктора исторических наук С.В. Волкова. — М.:  
ЗАО Центрполиграф, 2005. — 479 с.

ISBN 5-9524-1946-1

Настоящая, 26-я, книга подсерии «Белое движение» посвящена борьбе русской военной эмиграции против советского режима в 20—30-х годах, то есть после завершения боевых действий на территории исторической России.

В 1924 г. Русская армия на чужбине была преобразована в Русский Обще-Воинский Союз (РОВС), и в практике антисоветской борьбы на первое место выдвинулась засылка в СССР небольших боевых групп. До 2-й Мировой войны лозунг «Кубанский поход продолжается» владел умами большинства офицеров-эмигрантов, и большевистская разведка считала борьбу с русской военной эмиграцией главным направлением своей деятельности.

Значительное место в книге уделено описанию известной операции «Трест», но со стороны белых, и истории Боевой Организации генерала А.П. Кутенкова. Особый интерес представляет и описание дела Е. Коверды, убитого на перроне Варшавского вокзала советского дипломата Войкова. Войков был убит не как посланник, а как «член коминтерна и за Россию», — говорил на процессе Коверды.

Книга снабжена обширными и впервые публикуемыми комментариями, содержащими много неизвестных биографических справок об авторах и героях очерков.

Она входит в выпускаемую издательством «Центрполиграф» серию под общим названием «Россия забытая и неизвестная».

Как и вся серия, книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей, а также на государственных и общественно-политических деятелей, ученых, причастных к формированию новых духовных ценностей возрождающейся России.

**ББК 63.3(2)-8**

- © С.В. Волков, 2005
- © Художественное оформление серии,  
ЗАО «Центрполиграф», 2005
- © ЗАО «Центрполиграф», 2005

ISBN 5-9524-1946-1

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Двадцать шестой том серии «Белое движение в России» посвящен борьбе русской военной эмиграции против советского режима после окончания Гражданской войны — в 20—30-х годах.

Первые годы после исхода Русской Армии из Крыма и командование, и большая часть ее чинов исходили из того, что эвакуация есть только временное отступление, и в ближайшее время готовились вновь возобновить борьбу. Причем еще до преобразования армии в РОВС в начале 20-х годов часть наиболее решительных и непримиримо настроенных офицеров пыталась начать эту борьбу самостоятельно (в Болгарии генералом В.А. Покровским была создана организация, главной задачей которой было осуществление десантов в Россию, однако попытки высадить десанты на Кавказе по разным причинам потерпели неудачу).

К осени 1924 года, когда стала очевидной невозможность сохранения армии в прежнем виде и она была преобразована в Русский Обще-Воинский Союз, а перспектива возобновления организованных военных действий против большевиков отодвинулась на неопределенное время, на одно из первых мест в практике антисоветской борьбы закономерно выдвинулась работа по засылке в СССР небольших боевых групп в расчете на то, что их деятельность будет способствовать подъему восстания против коммунистического режима.

Руководство РОВСа считало, что борьба с большевистскими узурпаторами власти «не только наше право, но и священная обязанность по духу наших законов и принятой нами присяге». Возглавил эту работу с 1924 года генерал А.П. Кутепов. Созданная им боевая организация подготовила десятки активных борцов с советским режимом, переходивших границу и действовавших на советской территории. Пик их активности пришелся на конец 20-х годов.

По поводу методов борьбы с советским режимом в эмиграции существовали разные мнения, но А.П. Кутепов (с 1928 г. возглавлявший РОВС) считал, что боевая деятельность на советской территории — единственное, чего большевики по-настоящему боятся. Большевистская разведка действительно считала в 20-х годах работу против русской военной эмиграции главным направлени-

ем своей деятельности, причем основной целью организованной ею операции «Трест» было именно предотвращение засылки в СССР боевых групп, и когда эта провокация стала очевидной, она пошла в начале 1930 года на убийство генерала Кутепова. Борьба русской эмиграции против большевизма принимала и другие формы — покушения на советских деятелей и за рубежом, участие в пропагандистских мероприятиях, разоблачение большевистской агентуры в рядах эмиграции, борьба против прокоммунистических сил в разных странах и т. д.

До Второй мировой войны лозунг «Кубанский поход продолжается!» всецело владел умами большинства офицеров-эмигрантов, и РОВС в это время была массовым источником антикоммунистического активизма. Поэтому, хотя после смерти А.П. Кутепова и ужесточения советского режима засылка боевых групп стала невозможной, работа военной эмиграции против большевиков продолжалась. Во время возглавления (после генерала Кутепова) РОВСа генералом Е.К. Миллером работой на СССР ведал генерал А.М. Драгомиров. В эти годы упор был сделан на разведывательно-пропагандистскую деятельность — с тем, чтобы создать опорные пункты и хорошо законспирированные организации, которые могли бы в нужный момент возглавить повстанческое движение.

Несмотря на весьма эффективные меры по охране большевиками границы, десятки членов белых организаций (многие по несколько раз) проникали на территорию СССР и длительное время действовали там. Как правило, это были молодые офицеры, произведенные в Белой армии из юнкеров, и выпускники зарубежных русских кадетских корпусов (из числа последних в СССР погибли, в частности, Г. и Л. Гаранины, А. Колков, В. Дурново, А. Северьянов, М. Трофимов, Г. Поляков, П. Ирошников и др.).

В настоящем издании собраны публикации представителей русской военной эмиграции, связанные с антисоветской борьбой в довоенные годы, в том числе о деятельности боевых групп в 20-х годах и деле Б. Коверды. В разное время они были опубликованы в русской эмигрантской печати. Эти воспоминания никогда в России не публиковались.

Как правило, все публикации приводятся полностью. Авторские примечания помещены (в скобках) в основной текст. Везде сохранялся стиль оригиналов, исправлялись только очевидные ошибки и опечатки. Возможны различия в фамилиях участников событий и географических названиях; их правильное написание — в комментариях.

**РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ  
В БОРЬБЕ  
С БОЛЬШЕВИЗМОМ**



**В. Ларионов<sup>1</sup>**

## **БОЕВАЯ ВЫЛАЗКА В СССР<sup>2</sup>**

В моем рассказе о боевой вылазке в СССР — о взрыве в июне 1927 года Ленинградского Центрального Партклуба — я умолчал лишь о двух-трех мелких фактах, что вызывается причинами, о которых вряд ли нужно особо распространяться. Не касаюсь я по тем же причинам и самой организации боевой вылазки в СССР. Об этом можно будет рассказать лишь впоследствии, когда борьба с советской властью будет закончена. Задача автора скромна: познакомить читателя с настроениями, переживаниями и ощущением боевой работы там, на театре боевых действий.

Впрочем, страстно хочется этой книгой достичь еще одного: заразить жаждой борьбы с поработителями нашей Родины нашу русскую молодежь и там, в России, если проникнет туда моя книга, и здесь, за рубежом. Быть может, мои записи — хотя бы между строк — дадут готовым на подвиг и жертву несколько полезных советов, выводов и примеров.

«Ответный террор против компартии!» — вот лозунг, наиболее действенный в борьбе с палачами. В ночных кошмарах им, убийцам, ворам, садистам и растлителям духа народного, чудится грядущее возмездие. Хулители имени Бога на земле чуют, что час расплаты не может не прийти. Только действие — твердое, прямое, бьющее прямо в цель — способно положить конец бесчинствующей власти маньяков. И только жертва чистая и святая восстановит честь опозоренной и безмерно поруганной Родины.

Русская молодежь, повинувшись зову долга, умела беззаветно умирать на полях сражений и с улыбкой становится к стенке под дула чекистских ружей. Кому, как не этой молодежи, должен быть понятен и бли-



зок тернистый путь Канегиссера<sup>3</sup>, Коверды<sup>4</sup> и Конради<sup>5</sup>, путь Марии Захарченко<sup>6</sup>, Радковича<sup>7</sup> и Петерса<sup>8</sup>, смерть Соловьева<sup>9</sup> и Шарина<sup>10</sup> в лесах Онеги, скорбный путь Болмасова<sup>11</sup> и Сольского<sup>12</sup>...

И нет иных путей для тех, кто признает наш общий страшный долг крови, залившей родную землю в бесчисленных подвалах... И нет иного действия, кроме боя, хотя бы для этого пришлось биться одному против всех...

\* \* \*

Нас было трое: два славных парня, решившихся на все: Димитрий<sup>13</sup> и Сергей<sup>14</sup>, и я — марковец-артиллерист. Мы только что перешли черту жизни и смерти — границу СССР, небольшую, неглубокую речку Сестру, но быструю и холодную, с дном неровным, усталым острыми и скользкими камнями.

До этого мы долго сидели на скате обрыва, за кустом можжевельника, и всматривались в пелену речного тумана — на полянку и холм, — где в это время обычно появляется очередной патруль погранохраны. Патруль, однако, не показывался. Наш проводник решил не терять времени и, раздвигая кусты, стал проворно спускаться к реке.

Было около десяти с половиной часов вечера. Белая, северная июньская ночь не прятала красивых рельефов знакомой мне еще с детства местности — извилистой, окутанной туманным облаком речки в долине, четких в ночном небе контуров сосен и елей, громады каменистого обрыва, зарослей ольхи и мелких, кривых березок на болоте, на той, на нашей, русской стороне. И в душу лился все тот же родной запах болот, сосен, весенней земли, то же журчанье речных струек и болотных ключей и песнь тоски и печали — музыка северного леса — пение кукушки. Казалось, что не было в прошлом десяти лет скитаний, горьких потерь, тяжелых ран, утраты родной земли, калейдоскопа переживаний — от сказок степных походов — этих легенд подвигов и кровавых терний — до палаток Галлиполи в долине «роз и смерти»; от видений минаретов Стамбула и сказок тысячи и одной ночи развалин Румели-Гиссара — до тупика фабричной стены приморского города, где под монотонное, безвыходное жужжание приводных ремней текли серо и бесцветно последние дни жизни моей.

Все было и казалось сном — прошлое и настоящее. Холодный, запотевший в мелких каплях тумана большой маузер — это была действительность...

— Надо тише... — сказал наш проводник, немного коверкая русский язык. — Здесь, сейчас над берегом, патрульная тропинка...

Мы знали, что последний дозор погранохраны прошел еще около полудня, вечернего — мы не дождались, так что он мог показаться каждую минуту.

Дрожь и лязгая зубами от холода, мои друзья спешно надевают брюки и сапоги... Мы уже на небольшой песчаной отмели русской стороны... Проводник и я перешли вброд, не раздеваясь, и, по-видимому, оба переживаем одинаковое ощущение мокрой одежды, прилипшей к телу...

Страшно?.. Нет, скорее интересно. Жутко и в то же время как-то смешно при мысли о том, что еще вчера мы ходили по улицам европейского города и даже ездили в нарядном лимузине, а сегодня, сейчас, будем красться по лесным дебрям с револьверами и ручными гранатами, готовые каждую минуту «угробить», не говоря лишних слов, первых встречных... Майнридовские охотники за черепами, сиуксы или гуроны... Аналогичное чувство испытывают, вероятно, охотники на львов и тигров.

Проводник явно нервничает: молодежь слишком долго одевается на таком обнаженном месте. Мои друзья волнуются, никак не могут натянуть узкие и высокие сапоги на второпях обмотанные портянки.

Поднимаюсь на крутой откос берега. Четко вижу вытоптанную патрульную тропинку. Налево видно довольно далеко — до изгиба реки, где особенно густо висит полоса тумана; направо — стена темного осинового леса; отсюда-то и могут ежеминутно появиться люди в серых длинных шинелях... Предохранитель маузера легким нажимом пальцам сдвигнут на «огонь».

Подходит проводник. Он «бывалый», около ста раз бывал уже «там». Среднего роста, худощавый, юркий, белесый, жесткие усики — тычком, вместо передних зубов — дыра... Нельзя сказать, чтобы особо внушал к себе расположение... Да еще ко всему этому — явно трусит и нервничает. Одет он — под «товарища», в русскую солдатскую шинель с неформенными пуговицами, без хлястика, с разорванным воротом. На голове серая потрепанная фуражка; на ногах, как и у нас троих, высокие сапоги.

— Если что, сразу ложитесь и стреляйте. Они трусы, сразу носом в землю и стреляют куда попало. А как выпустите обойму, отбегайте к реке зигзагами, за кустарником, но не все сразу...

С планом действий проводника я не согласен, но не возражаю пока что ему. У меня план несколько иной... Чтобы не промолчать, спрашиваю проводника:

— Чем они вооружены?

— Винтовками.

— Ну, это не плохо. В лесу маузер полезнее винтовки...

— А сколько их ходит в патруле?

— Да разное — пять, шесть человек. Это — первая линия погранохраны, а дальше идет линия патрулей ГПУ, те ходят по двое с револьверами. Кое-где по лесным дорогам ездят конные дозоры. Если ждут переходов, устраивают в разных глухих местах засады.

— Собаками они тут для слежки не пользуются?

— Есть у них и собаки, да они ни к черту — плохо ученые и замороженные...

Молодежь моя, наконец, готова. Пошли дальше, раздвигая ветки и прыгая по болотистым кочкам. Шепотом стовариваемся о моем плане действий в случае встречи с красными. План краток: пробиваться хоть в одиночку, но непременно вперед, и хоть частично, но выполнить свою задачу.

Идем «змейкой», дистанция пять шагов. Впереди проводник, за ним я, как старший и обладатель маузера с прикладом, потом Димитрий с большим «парабеллумом» и последним Сергей с наганом. Он — резерв в случае стычки, ибо наган с его сложным перезаряджением в таком бою почти не оружие.

— Прыгайте через тропинку!.. — шепчет проводник. — Нехорошо, если поперечный след оставим — могут поставить собаку...

Углубляемся в густой, болотистый лес. Вода выше колен, ноги вязнут. Становится совсем темно. Большими прыжками стараемся прыгать на сухие кочки. Каждые три-четыре минуты проводник останавливается и прислушивается. Он очень озабочен, сильно нервничает. Мне уже говорили, что только несколько дней тому назад наш проводник попал в этих же краях в засаду, но убежал, а бывший с ним курьер иностранной разведки погиб. Погибать нашему проводнику не хочется, а дело у него вновь опасное...

Кукушки смолкли. В лесу ни звука. Только тяжелое хлопанье наших сапог в болоте да треск хвороста под ногами Димитрия и Сергея — непривычны бесшумно ходить по лесу. Проводник при каждом треске ветки сердито оглядывается и укоризненно качает головой...

Откуда-то издали донеслось хоровое пение, протяжное, русское, солдатское.

— С кордона... Верно, пьяные... Километра два отсюда до поста, — сказал проводник.

Я ясно помню этот кордон еще с молодых лет: группа казенного вида домиков у шоссе, полосатая рогатка, будка часового и колокол. Когда подъезжал воз с сеном или иной кладью, часовой бил в колокол, из ближайшего домика выскакивал худенький, испитой чиновник с зелеными пограничными петличками и втыкал в воз острую длинную спицу, ища

контрабанды. Стройный, загорелый ротмистр в затянутой по-юнкерски гимнастерке был предметом зависти юнца-гимназиста, давно решившего быть военным. Бравые солдаты в зеленых фуражках, на рослых вороных конях... Они тоже пели по вечерам, и песни их разносились над туманом речной долины... Рано-рано июльским утром 14-го года пели они здесь последний раз, цокая копытами лошадей по щебню шоссе «справа по три». Они шли грузиться на фронт, а на их место пришла «крупя» — рыжебородые отцы-ополченцы.

Пение сейчас иное, слишком какое-то распущенное, удалое, может, даже пьяное, но все же — солдатское, русское... И тоской защемило сердце...

— Тихо... тише... — зашипел проводник, поднял руку и остановился.

Я поравнялся с ним... Перекресток лесных дорог... Из-за леса направо слышится многоголосый собачий лай.

— Милое М.

Опять лес, опять болото, тропки, кочки, гнилые пни и сырая мгла.

— Внимание, сейчас переходим шоссе...

Из-за густой поросли елей показывается ровное, выбитое щебнем широкое шоссе — светлая полоса после лесного сумрака.

— Быстро... бегом и все враз...

Пять прыжков, глубокая канава и опять лес.

— Отдохнем, — предлагает проводник, — самое опасное прошли...

Прилегли в холодный, влажный мох. Смотрю на часы: час ночи. По времени пошли верст восемь, но от быстрой ходьбы, прыжков по кочкам, от нервного напряжения усталость во всем теле... Успокаивает лишь сознание кинутого жребия: возврата нет.

Шепотком переговариваемся с проводником и жуем взятые с собой бутерброды. Ломаю плитку шоколада и делю на четырех. Проводник предусмотрительно шоколадную обертку зарывает в мох.

— Лишний след...

Минут через пять пошли дальше. Ведет проводник осторожно, по каким-то крутым оврагам и такой густой чаще, куда, пожалуй, никакой «товарищ» не залезет, хотя бывалые люди говорили, что засады большевики иной раз и прячут именно в таких медвежьих оврагах.

Чу, человеческие голоса... И совсем близко. Замираем... Вслушиваемся... Пальцы впиваются в приклад маузера. Доносится до нас осторожный стук топора.

— Лес рубят — воровство, — поясняет проводник. — Теперь по всей России по ночам леса рубят. Но не надо, чтобы нас кто-нибудь видел...

Свернули в болото и дали большой крюк. Тяжело идти — ноги выше колен уходят в торф. Из-под ног с пугающим, неожиданным шумом вылетают тяжелые болотные птицы.

Светает... Обходим какую-то большую деревню, видим розовую в лучах восхода колокольню в просеке леса, слышим мычание коров и стук телеги. Пересекаем большую поляну и выходим на дорогу. Стук телеги совсем близко... Ложимся за кусты и ждем. Смотрю на лица моих спутников — они серы от бессонной ночи и утомления. Вероятно, и я такой же.

Шагах в сорока из-за поворота дороги выползают два груженных воза — позади мужик и баба. Картина совсем мирная. Бедняги эти умерли бы от страха, если бы догадались заглянуть за куст можжевельника и увидели четырех до зубов вооруженных «белобандитов».

Вновь пересекли дорогу. Опять лес, но уже пореже. Солнышко довольно высоко и порядочно припекает. Небо голубое-голубое. Все так зовет к радости, к жизни...

Ручей... Надо перемахнуть его. Скользкое гнилое бревно — единственная переправа. Сергей — человек не особенно ловкий — тяжело ухает по пояс в жидкую, черную, илистую жижу... Димитрий долго по-детски хохочет. Даже насупленный проводник и тот ухмыляется.

Хорошо, что перед переправой я отобрал у Сергея портфель с бомбами — словно предчувствовал. То-то удружил бы! Сергей ложится на спину и с невероятнейшими ругательствами поднимает ноги, чтобы вылить из сапог жижу. Из широких голенищ его долго бьют два черных фонтана.

Отдыхаем опять. В опасность уже втянулись. Опустили предохранители револьверов. И нервы не так уж напряжены. Лежим в кустах, а кругом букашки, мошки, бабочки жужжат, поют и славят жизнь... Пахнет вереском, сосной, болотом...

Сквозь просветы леса показывается большое озеро. Ориентируемся по карте и компасу. Проводник доказывает, что это Разлив, но я сомневаюсь и полагаю, что это озеро С-ое. На Разливе, судя по карте, стоит какая-то деревушка, а берега этого озера совсем пустынные. На противоположном, довольно отдаленном берегу видны четыре черные точки. С гладкой зеркальной глади доносятся голоса.

Кто они? Рыболовы, дачники, крестьяне? Кто знает?.. Мы ведь всех должны бояться, как дикие лесные звери...

Проводник поглядывает часто на солнце и все недоумевает:

— Я, верно, слишком большого крюку дал. А все заяц — будь он не ладен: дорогу перебежал. Пришлось от беды сворачивать. Нехорошо это. Когда последний раз я попал в засаду, так тоже заяц дорогу перебежал...

И проводник не уверен теперь, какое это озеро. Но куда проводник с нами, я должен ему верить. Пошли в обход озера, за озером должна быть прямая большая дорога на дачную местность и станцию Левашово.

Вдруг проводник пригнулся и бросился в кусты. Мы за ним. Взглянув вперед, сквозь зелень, я увидел в траве какую-то группу — то ли пестрые коровы, то ли кучка полураздетых людей, греющихся на солнце. Толком так и не разобрал. На всякий случай пошли в обход.

Идем без конца. Чаща стала невероятно густой; на каждом шагу приходится раздвигать ветки, кусты можжевельника и ольхи, переходить по колено в воде вязкие ручейки, лужи, торфяные болота.

Проводник тоже, конечно, уверен, что мы зашли не туда, куда надо, но все еще не сознается.

— Вот черт... А все проклятый заяц...

По всем расчетам мы должны были давно выйти на реку Черную, а ее все нет и нет. В довершение всех бед я потерял в этой скачке с препятствиями компас, так что нет никакой возможности ориентироваться.

Стало закрадываться в душу отчаяние...

Наконец чаща поредела. Болотистый лес покрыт следами коровьих стад. Покосившаяся старая изгородь преградила нам дорогу — за изгородью болотистый луг, прорезанный не широкой, но, видимо, глубокой речкой. Пошли берегом и через час добрались до моста, через который шла большая дорога. Притаились в рожице. Огляделись. Виднеется широкая равнина. У дороги — деревушка. Дальше — обширные черные поля и вновь полоска леса на горизонте.

Проводник явно смущен: он, конечно, привел нас не туда, куда надо... Может быть, и действительно заяц заставил его сбиться с пути. Но о том, насколько мы вышли не туда, куда нужно, я узнал несколько позже. Расставаясь в рожице с проводником, я верил, что большая дорога через виднеющийся мост ведет в Левашово, что мы уже в дачной местности, прилегающей к «Ленинграду»\*. Увы, это был самообман: мы оказались в районе не дач, а деревень, где, конечно, будем сильно выделяться нашими френчами, высокими сапогами и портфелями.

Миссия проводника, однако, кончилась; мы простились с ним, и он нырнул в кусты...

Скрывая чувство растерянности, я принял «командование» над «вылазкой». Должен сознаться, принял без особой уверенности в себе. Но жребий брошен. Идти мы можем только вперед, что бы там ни было...

---

\* В эмиграции не признавали переименования Петрограда в Ленинград и потому название «Ленинград» писали в кавычках. (Примеч. ред.)

Первое — мыться и чиститься. Пошли к речке. Струйки желтоватой воды смывают с сапог и штанов налипшую глину и болотистую грязь. Умылись. Осмотрели друг друга — все ли в порядке.

Перелезли изгородь. Быстро шагаем прямо по пахоте, направляясь на шоссе, к мосту. Вот и большая дорога. После болотной топи и пней как легко и быстро идти! Усталости как не бывало. В душе поднимается какое-то новое чувство — большой радости, новизны, любопытства и гордости — несомненного довольства собой за участие в «безумстве храбрых»...

Полагается, кажется, после годов эмиграции целовать землю и плакать, но, откровенно говоря, нам было не до этого, ибо из-за группы домиков, к которым мы приближались, уже следили за нами любопытные и удивленные глаза.

Вот и она, русская деревня!.. Сколько лет не ласкала ты моего взора своей тихой красотой! Покосившиеся, нечиненные избы, пустые хлева и сараи, кривые изгороди, крылечки с продавленными ступеньками — большой унылый край...

Россия, нищая Россия!  
Мне избы серые твои...

Но жизнь идет... Дышит земля паром, струится нагретый воздух над пашней, причудливым белым миражом повисла церковка над дальним селом, синее сосновый бор вдали, и согнутый над плугом крестьянин дополняет мирную картину. А теплый ветер шепчет на ухо:

— Россия, Россия...

Но не мир вошел в сердце при виде родной земли... Нет, натянуты нервы как струны. Глаза ищут врага, полонившего Родину. И чудится он, незримый и вездесущий, — за черным окном каждой избы, в пыльном облаке скачущей по дорожным ухабам повозки, в зловещем гудении придорожного телеграфного столба...

Вечный бой...  
Покой нам только снится...

До врага совсем недалеко: вот она, красная пятиконечная звезда на деревянном одноэтажном доме. Какой-то клуб, верно, комсомольский; рядом — маленькая избенка, чистенькая, с новым, свежим срубом; у окна радиоантенна; на стене кричащий плакат об очередном советском займе. Это «показательный» крестьянин, «бедняк», «сталинец», не то что его сосед по другую сторону дороги — тут развалившиеся сараи, хлевы, амбары, — свидетели того, «что было и давным-давно упылдо»...

На перекрестке чинят дорогу: рыжебородые, в лаптях, оборванные мужики; по всему видно — не здешние, откуда-то из средней полосы России. Мрачные, молчаливые... Дробят булыжник на щебень. Нас не дарят ни словом, ни взглядом. Один только, молодой, злобно покосился. Что же, начало не плохое — очевидно, нас, носителей портфелей и галифе, принимают за «строителей нового быта».

— Димка, ты заметил, как они отворачиваются от нас? Ты понимаешь, что это значит?

Не на шутку тревожила меня дорога, все более заворачивавшая на юго-восток, а нам ведь надо путь держать на юго-запад. Да и местность по общему виду ничего общего не имеет с дачной — деревня сливается с деревней. Справка по карте подтверждает мое опасение. Наконец надпись на какой-то чайной или постоялом дворе — «Вартемяги» — дает окончательный ответ на то, где мы: проводник ошибся верст на десять... Черт знает сколько верст придется нам отмахать теперь по небезопасному деревенскому большаку! Впрочем, первые благополучные встречи, очарование русского пейзажа, захватывающая неизвестность за каждым поворотом дороги, новые лица и быт на каждом шагу делают пыльные, облупившиеся верстовые столбы не столь уж тяжкими. Встречных много — детишки, оборванные мужики, бабы. Не мне писать остановившуюся в веках картину русской деревни... Вот «комсомолки» в ярко-алых платочках. Вот парень, вышедший из калитки, в длинной кавалерийской шинели-«буденновке». Впрочем, встреча не из приятных, так как «буденновка» потащилась ленивой и важной походкой за нами. Мы не оборачиваемся, но чувствуем за собой этот «хвост». Нужно ли говорить, как мы были рады, когда подозрительная военная шинель свернула в проулок. Вот разодетые в ситец и сильно подмазанные барышни, может быть, учительницы, может быть, дочери трактирщика. Смеются нам в глаза и оборачиваются.

Дима и тут себе верен: подмигивает им и машет рукой.

Какой-то парень повис у окна с занавесочками — флиртует; завитки на голове в три яруса, примазаны помадой, ноги в блестящих хромовых сапогах.

В облаке пыли несется нам навстречу автомобиль. Жутко... Потрепанный, запыленный «фиат» — пять-шесть каторских лиц в полувоенных костюмах... «Власть на местах», вероятно.

Невольно напрашивается мысль: ну а если бы остановились каторжники эти да спросили: «Кто вы, мол, куда и откуда, и предъявите ваши бумаги, товарищи...»

Ответ у нас был, правда, готов: «Так что ставили, товарищи, тракторы в Дранишниках — агрономы, мол, и механик...»



Не поверили бы, тем хуже для них: в минуту мы обратили бы ручными гранатами всю эту компанию в кровавую кашу. Но «власть на местах» скрылась, как вихрь.

Солнце жжет. Нас давно мучает жажда. Сергей идет далеко позади всех, красный, потный, и хромает. По виду был здоровее нас, а похода по жаре не выносит. Прохожие глядят на него с удивлением. Мы же Димитрием — как на прогулке: плащи на руку, смеемся, поравнявшись с прохожими, посвистываем, а подозрительным смотрим в глаза в упор. Димка, мучимый жаждой, не спросясь меня, подходит к торговке с яблоками, покупает, с непривычки путая советское серебро.

— Куда это вы, товарищи? — любопытствует торговка, баба довольного гнусного и подозрительного вида.

— Туда... — неопределенно машет Димка рукой на отдаленную деревню.

— А-а-а-а... в Горки, а что там?..

Но Димка не слушает и нагоняет нас. Он по-детски рад кислым, червивым яблокам.

— Что ты зря рискуешь?

— Ни черта.. Пить хочется, все в горле пересохло.

Яблоки съедены, но жажда не унимается.

Четыре часа пополудни. Вот уже восемнадцать часов почти непрерывного марша — ночь и день.

Чтобы попасть на станцию Левашово, надо, судя по карте, повернуть направо на Кексгольмский тракт. Опять слышится отдаленное стрекотание автомобиля. Свернуть?.. Но куда? По обе стороны — изгороди и ровные поля. Лечь в канаву — глупо, прятаться — еще хуже. Единственно — вперед... Из-за поворота дороги, стуча мощным мотором, ползет медленно в гору роскошный лимузин. За рулем фигура с лицом хищной птицы. Череп совсем без растительности, а на затылке грива волос. Откинулся на своем сиденье, так важно и уверенно. Рядом с ним «девочка», накрашенная «до отказа» и худая, как скелет. В лимузине целая куча лиц; впрочем, этих я не успел рассмотреть.

Разошлись...

Местность все повышается. Внезапно открывается панорама на несколько верст вперед, и над лесом ясно виден дымок паровоза. Направление нашего пути, значит, верно — по карте тут и должна быть железная дорога. Но сил больше нет... Мы все трое — два спортсмена и я, участник кубанских походов, — дошли до предела возможности... Молоточки бьют в висках, круги черные и красные плавают перед глазами, в ногах — свинец. На Сергея жаль смотреть, он стер сапогами ноги до крови.

Дима ругает его непрерывно последними словами:

— Да сними ты плащ к чертовой матери! Да подбодрись же ты, на самом деле!.. Нас всех подводишь!

Сергей даже не отругивается... Но и у Димки настроение падает, а это уже совсем плохо. Во всей нашей операции на него делается серьезная ставка.

Делать нечего, надо зайти в какую-нибудь избу напиться и поесть. Риск большой, но другого выхода я не нахожу.

Осматриваюсь. Из группы изб намечаю отдельно стоящую небольшую избенку в два окна. Отдельно стоящую — на случай столкновения, небольшую — считаясь с вероятностью немногочисленных обитателей.

Входим во двор. Стучимся. На цепи мечется, заливаясь хриплым лаем, лохматый пес. На стук вышла женщина лет тридцати с печальным урюмым лицом и спросила с финским акцентом:

— Вам чего надо?

— Можно у вас купить молока и хлеба?

— Можно, входите...

В сенях, прямо на полу, на грязных тряпках лежит пьяный до бесчувствия малый лет сорока; очевидно, муж хозяйки. В маленькой комнатушке с тусклыми оконцами пьем холодное, густое молоко литр за литром, так что хозяйка еле успевает подносить из погребца. Ломоть тяжелого, сырого черного хлеба застревает в горле. Хочется только пить от страшной жажды, усталости и нервных переживаний. У палатей жмется кучка желтых, худых, оборванных ребятишек. Стучат дешевые часы с цветочками на циферблате. Жужжат мухи. Душен спертый специфический воздух бедной избы...

На наше счастье, хозяин сильно пьян, а хозяйка-финка, очевидно, весьма далека от политики.

Мы отдыхаем с полчаса, щедро платим советским серебром и бодро шагаем дальше по тракту.

Солнце склоняется к вечеру. Семь часов...

На завалинке у школы сидит группа людей в гимнастерках, полуфренчах. Над крыльцом — радиоантенна. Скверный признак... Один из сидящих поднимается и долго смотрит нам вслед, прикрывая рукой глаза, и даже как будто показывает на нас рукой.

— Не оборачивайтесь, — говорю я моим спутникам. — Идем как ни в чем не бывало...

Деревни тянутся вдоль тракта, сменяя одна другую. По самому тракту идут работы — насыпается щебень и утрамбовывается трактором. Это ведь близкая к границе дорога, и ей, как видно, большевики придают военное значение. Ремонт дороги нам на руку — мало ли строи-

телей, десятников и инженеров с портфелями ходят и ездят по работам...

Встречаются группы молодых парней-комсомольцев, идущих с вечеринки или собрания. Большая часть — пьяны. Вихрастые завитки на лбу, кепки на затылке, толстовки «фантази» на распашку, ноги путаются в широчайших клешах — видно, мода соблюдается «четко». Типы — смесь «революционного» матроса с мелкой «шпаной». Лица мрачно-угрюмые, с наглым, насмешливым взглядом исподлобья. Встречи не из приятных, но, очевидно, видя портфели, нас принимают за партийных, ограничиваясь легким затрагиванием, хихиканием вслед, подыгрыванием на гармошке. Может, и богатырская фигура Димы внушает известное почтение...

8 часов... 9 часов... Железная дорога уже близка. Четко слышны свистки из-за леса. Но приятели мои окончательно выдохлись и идти дальше не могут. Сворачиваем наудачу в лес, подходящий к самой дороге. Шагах в трехстах от тракта выбираю в густой заросли мелких елок, посреди болота, большую кочку торфяного мха. Мы закрыты тут со всех сторон. Недалеко от нашего «лагеря» находим и ручеек ключевой воды. Моемся, пьем воду, прикрываем сырой мох еловыми ветками и ложимся под прорезиненные плащи, прижавшись друг к другу.

Дорожный шум близок. Пыхтит автомобиль, минут через десять в обратную сторону, потом опять.

— Не нас ли ищут? — говорит Сергей.

Надо сказать, что приятели мои сильно приуныли в этот вечер, вряд ли они верили в то, что я их выведу к «Ленинграду»...

— Ничего у нас, кажется, не выйдет. Одна ерунда получается...

У меня тоже скребут на сердце кошки, но положение старшего обязывает.

— Ну, выйдет или не выйдет — об этом поговорим завтра, — утро вечера мудренее!

Решаем спать по очереди, но засыпаем враз все трое как мертвые. Я смутно слышу, как бушует гроза над нами, льет дождь...

Просыпаемся только в 9 часов утра, мокрые, продрогшие, но хорошо отдохнувшие за ночь.

Болотистый лес в теплом тумане; дождя больше нет, но воздух напоен влагой. Плащи наши черные от воды и порядком помяты; на револьверах слой свежей ржавчины. Чистим наскоро оружие, моемся и, оглядевшись, осторожно выбираемся на шоссе. Плащи приходится нести на руке — вид их неподобающий. При выходе на тракт натываемся на коровье стадо. Мальчишка пастух с изумлением, разинув рот, глядит нам вслед. Неприятно... Шагаем быстро и молча. У меня все мысли

спружинились в одну — о сегодняшнем вечере... Друзья мои тоже задумчивы.

В стороне, на перекрещивающейся дороге замечаем вереницу людей; подойдя ближе, видим — публика не деревенская, скорее дачная; много женщин. Все с мешочками, портфелями, сумками — идут, очевидно, к дачному поезду. Да и действительно, начинаются окраинные дачи и парк Левашова. Местность знакомая мне еще со школьных лет... Проходим старый парк и имение графов. Сейчас это — «колхоз». В «колхозе» работают мужики в солдатских, еще с великой войны, гимнастерках; таскают мешки с мукой. Лица их далеко не дышат энтузиазмом коллективного труда...

Вот и железная дорога на «Ленинград». Дачи, перелески...

Когда-то шестнадцатилетним юношей ходил я со школьным приятелем по этим же местам... Помню лето, знойное и пышное. Оба мы писали тогда стихи, и оба, как водится, были влюблены... Его «мечта», полненькая шатенка Зоя жила на Железнодорожной улице во втором этаже маленькой дачи. Приятель мой, как и полагается поэту-юноше, был идеалист; в лунные теплые ночи он играл на пианино, в истоме выбегал в сад, бросался в мокрую траву и стонал: «Зоя, Зоя!..» Как-то в черную ночь, закутавшись в плащи, с обязательным электрическим фонарем мы подкрались к ее даче, сняли с углового столба вывеску — «Железнодорожная улица» и на ее место прибили другую, заранее заготовленную: «Улица жизни», то есть улица Зои (Зоя по-гречески — жизнь).

Прошли годы... И вот по той же «улице жизни», но со смертью в портфелях и в карманах, пробираемся мы к «Ленинграду»...

На знакомой, но изрядно полинявшей, годами не отремонтированной и заплеванной станции в ожидании поезда довольно много народа — все в заплатанных, перелицованных платишках, обыватели советские. Несколько военных. Молодежь пощелкивает шпорами из-под длинных шинелей и фланирует; бывшие «кадровые» хмуры и сдержанны — их сразу отличишь. Женщины бедно одеты, преобладает черный цвет. После Европы режут глаз старомодные фасоны.

Свистит и подходит поезд. Я во все всматриваюсь и нацеливаюсь. На платформу вместе с начальником станции выбегает в роскошной кавалерийской шинели агент железнодорожного отдела ГПУ. Мы очень довольны, что среди многочисленной станционной публики не выделяемся ни нашей одеждой, ни усталым видом. Никто не обращает здесь на нас никакого внимания. Не то что в деревнях...

За углом станции — торговец с ручной тележкой — предлагает сухие продукты и квас. У Димы разгораются глаза — он любит покушать и

поглощает все, что угодно, в любое время и в любом количестве; никакие моральные потрясения не влияют на его аппетит.

Покупаем хлеб, колбасу и квас и, проводив поезда, направляемся по проселку к окраине Левашова, к знакомому мне еще с гимназических лет лесочку. В двух километрах от станции, в лесочке находим густую заросль елок и тропинку, идущую вдоль линии полуразрушенных окопов с проволокой, очевидно построенных еще в 14-м году против немцев; сейчас эта «линия» предназначена для встречи «интервентов»... Среди мелких густых елочек — небольшая площадка, покрытая мхом. Эта заросль и будет нашей «базой» — исходным пунктом для предстоящей операции...

Расстилаем плащи и с наслаждением, протянув ноги, накидываемся на хлеб и колбасу. Слышится только хруст молодых, здоровых челюстей. Лица моих спутников розовеют, настроение поднимается — они как дома — начинаются шутки и беспечный смех.

После короткого отдыха предлагаю Диме отправиться со мной в «Ленинград» на «разведку». Сергей должен остаться в лесу с тяжелыми бомбами.

Сергею, судя по его виду, не особенно хочется оставаться одному; он, конечно, опасается, что мы оба «влипнем» сразу же в «Ленинград», но Сережа уже успел проникнуться духом военной дисциплины и знает, что мы на войне, где приказания коротки, категоричны и не оспариваются.

Мы с Димой старательно чистимся, вытираемся, поправляем галстуки и воротнички и осматриваем критически друг друга. Мы налегке; у Димы «парабеллум» за поясом и «апельсин» (немецкая гранатка) в кармане, у меня в плаще браунинг.

Попрощавшись с Сергеем, идем к станции.

Погода теплая, воздух влажный, пахнет сосной и болотом. Вдали низким голосом свистит «русский» паровоз. Мы нажимаем... Но до станции еще с полверсты, а поезд уже показался, гремя буферами из-за леса...

Опоздали... До следующего поезда час с лишним. Подходим к опустевшей станции. Что делать, не торчать же идиотами час на пустой станции, привлекая внимание «начальства»... Осмотрелись. У станции трактир.

— Что же, пошли чайку попить?

— Идет!

В трактире на втором этаже деревянного дома на грязноватой веранде пьем чай с большим куском вкусного ситного. Из окон веранды видна станция, дачи и переезд со шлабгаумом. Говорим вполголоса, ибо за соседним столиком сидит какой-то тип в «коже» и подозрительно

поглядывает на нас. «Кожа» вдруг поднялась и быстро ушла... Вижу из окна, как «кожа» быстро скрывается за зданием станции. Не проходит и двух минут, как из-за угла показывается отряд людей в длинных серых шинелях — человек десять, и быстрым шагом направляется прямо через переезд к нашему трактиру... Удивительно верное выражение: «душа в пятки»... Я действительно почувствовал, как что-то оборвалось в груди и катится вниз... «Конец», — мелькает в мозгу...

— Знаешь, Дима, — говорю я из всех сил спокойно и твердо, — это за нами... Тип в «коже» донес... Не будем дожидаться финала... Как только они начнут подниматься по лестнице — бросим «апельсины», а потом, отстреливаясь, будем пробираться к лесу...

Дима кивком головы одобряет мой план. По его лицу не понять, испуган он или нет. Скорее — нет...

Сердце бьется, как пойманная птица...

Серая лента военных, по два в ряд, приблизилась к трактиру... Видим их торопливый шаг, различаем лица... Проходят мимо...

Теперь все ясно — это «генштабисты» идут в лес на занятия с планшетками, картами. Ведет их красивый, седой, высокий офицер с молодежьим, энергичным лицом; по всему видно — «кадровый». Рядом с ним, забегая, лебезя и размахивая азартно руками, пристяжной, бежит маленький еврей в плохо пригнанной шинели и нелепо торчащей фуражке.

Мы пьем еще по огромной чашке чая и, когда остается пять минут до поезда, выходим.

Бодрое, воинственное настроение немного испорчено мнимыми чекистами...

Свистит поезд. Входим в станционный зал.

— Два жестких, Ленинград... — бросаю в окошко нарочно крупную бумажку, ибо не знаю цены билета; голосу придаю возможную небрежность завсегда.

Барышня в окошечке привычными движениями отсчитывает сдачу, не глядя на меня.

На платформе та же картина, что и утром: угрюмый советский обыватель, женщины, несколько военных, бравый чекист, выскакивающий, как кукушка в часах, к каждому поезду... Мы вполголоса советуемся с Димой, что будем делать, если в поезде проверяют бумаги.

— Ликвидируем без предупреждения проверяющих и соскочим на ходу с поезда... А там — в лес.

С Димитрием не страшно... Это — малый, в одиночку избивавший несколько хулиганов. Силы физической у него непочатый край, да и спокойствие завидное. Нервов у него, кажется, вовсе нет.

Длинные русские вагоны... Свисток, грохот колес... Мелькнули семафоры Левашова...

Вот мы и в советском поезде — окончательно в «стане врагов». Вагон третьего класса — «жесткий», как теперь зовут, — обыкновенный грязноватый русский вагон с неудобными скамейками, прямыми спинками, маленькими буферными площадками, на коих теперь стоят «строго воспрещается». Прочитав эту надпись, мы быстро вошли в вагон, отнюдь не желая скандала с администрацией и предъявления бумаг в железнодорожном ГПУ. «Жесткий» вагон был переполнен самой разнообразной публикой: тут и женщины, едущие на рынок, торговки, школьники, «совслужащие», «совбарышни», длиннополые «краскомы» с маленькими красными звездочками на околышах, с ромбами в петлицах и на обшлагах, подозрительные типы в кепках вроде нас с Димкой — все сидит вместе, тесно сжавшись, обезличенное стадо советское... Генерал, судя по трем квадратам на рукаве, «начдив» по должности и чин погранохраны, судя по верху зеленой фуражки, а по лицу — старенький кадровый офицер, сидит рядом с грязной, развязной рыночной торговкой. В вагоне молчание, не то что прежде в русских поездах — общий разговор и шутки. Шуршат газеты в руках двух офицеров. Вижу, как они жадно читают: «События в Китае». Слышу голоса торговок, рассуждающих о ценах на морковь... Тишина... Публика советская ушла в себя, в свои тяжкие будничные заботы.

Есть в СССР, конечно, и «мягкие» вагоны, где нет, вероятно, ни тоскливых мыслей, ни рваных, перелицованных пальто...

И в поезде никто не обращает внимания на нас с Димой. Мы даже беседуем вполголоса. В окне мелькают знакомые с раннего детства — поля, парки, рощи, перелески. Поезд останавливается на промежуточных станциях, принимает новую публику и катит дальше, свистя таким забытым, милым свистом русского паровоза... Полуразрушенные дачи, церковки без крестов, поваленные заборы... Лимонадные будки — эта обычная принадлежность пригородных дачных мест — заколочены. Обрывки старых афиш на заборах треплет ветер... Аллеи заросли высокой травой, парки и сады загажены, деревья поломаны...

Проверка билетов... Кондуктор приличен и вежлив. Мы косимся на дверь — не появятся ли проверяющие документы, но таковых, к нашему счастью, нет. Как выяснилось позже, проверка документов была за одну станцию до Левашова. Проверка производилась одну неделю до Левашова, другую — после Левашова. Мы как раз попали в неделю, когда проверка была между «Песочной» (бывш. Графской) и Левашовом.

Вот и предместья «Ленинграда»: заводы, огороды, пустыри... Вот трамвай, идущий в Лесной... Тюрма — с правой стороны; не помню, была ли

она здесь раньше или была здесь какая-то фабрика, приспособленная теперь для сей столь насущной для СССР цели. Во всяком случае, впечатление мрачное. Изгородь окружает весь тюремный квартал, по углам двора возвышаются вышки с часовыми. Маленькие решетчатые окна выходят на узкий, ясно видимый с поезда вымощенный булыжником тюремный двор...

Прогоняем мрачное впечатление. Мимо, мимо...

«Ленинград»... Вокзал «круговой дороги», бывший Финляндский. Большая толпа грохочет по дощатому полу платформы. Пробираемся и мы с Димой — два «белобандита», «белоземгранта»...

У входной рогатки всматривается в гущу толпы чекист в форме; у него неумное и растерянное лицо. Благополучно прошли и мы с толпой мимо чекиста. Там, где раньше был буфет I и II класса, — надпись: «Дежурный агент Г.П.У.». Буквы как буквы, но долю опасения внушают...

Со ступенек вокзала жадными глазами смотрим на открывшийся перед нами новый мир. Волна душевного подъема, поглотившая сразу всю усталость дороги, мелкий заячий страх перед кондукторами, контролерами и чекистами, поднялась во мне.

Теперь уже ни шагу назад. Стало доминировать во всем существе нашем чувство дерзостной радостной отваги, чувство насмешки над окружающим нас миром «советчины».

Приятно, до сладострастия приятно сознавать себя в этом стане врагов, в этом мире Чеки корниловцем-первопоходником, офицером Марковской бригады<sup>15</sup>...

Да, я смеюсь над вашими «комсвятынками», я плюю на них, хожу и буду ходить перед вашими чекистами и «мильтонами», как ни искусны вы в выслеживании ваших врагов...

И еще было радостное сознание от того, что — «корабли сожжены»...

Вот и первая «святыня»: статуя «Ильича» высится на площади перед вокзалом. На этом самом месте, с башни автоброневика, в 17-м году «Ильич» держал после выхода из plombированного вагона свою первую речь к «революционному пролетариату». «Ильич» так и изображен на башне броневика. Надо признать, что скульптор бесподобно передал в литой меди маниакальный, волевой жест рукой и ненормально выдвинутый, дегенеративный череп Ленина.

На площади пустынно. Прохожие равнодушно проходят мимо медного «Ильича», как, впрочем, и перед привычными памятниками былого.

Перед вокзалом, на пустынном углу, установлен громкоговоритель. Не иначе как для поражения воображения приезжающих с двухчасовым поездом знатных иностранцев достижениями советской техники.



У нас минута замешательства: мы не знаем, куда и как ехать: трамваев что-то слишком много и все незнакомых нумераций... Пешком — далеко, а нам ведь надо действовать быстро и решительно и устроить, если удастся, сегодня же «тарарам». Надо в кратчайший срок осмотреть «подступы» к нескольким советским учреждениям, по адресам и по списку, данному мне за границей. «Пленум Ленинградского Совета», «Центральный Партклуб», «Школа интернациональных меньшинств», «Курсы безбожников», редакция «Ленинградской Правды», районные клубы, «Клуб Коминтерна»... Выбор большой.

— Извозчик!

— Куда прикажете?

— На Октябрьский проспект.

— Три рублика положите?

— Два хочешь?

— Что вы, господин, при такой-то цене на овес...

Три рубля за конец — сорок франков... Многовато, но торговаться не приходится. Пролетка избитая, обтрепанная, времен еще довоенных, вожжи и сбруя веревочные, лошаденка — совсем заморыш. И раньше ваньки петербургские не блистали роскошью Киева и Москвы, а уже «ленинградский» ванька совсем стал тощ, нищ и убог, как и его клячонка...

Летний мост... Красавица Нева... Решетки густолиственного Летнего сада, горбатый мосточек Зимней канавки, Петропавловская крепость, Марсово поле, Адмиралтейство... Моя родина... Как передать моей неискусной в литературе рукой чувства, глубокие и волнующие, охватившие изголодавшуюся по Родине душу при виде красот родного Петербурга?

Вы поймете эти чувства, когда сами будете возвращаться на Родину как ее дети, со слезами счастья и радости, а не как «тать во нощи», с револьверами и бомбами за пазухой...

Езда по улицам очень редка, даже Невский, ныне Октябрьский проспект, пустынен; кое-где протрусит ванька, или мелькнет, подсакивая на ухабах по не чиненной годами мостовой, автомобиль советской знати. Простые и даже не совсем простые смертные довольствуются лишь трамваем. Толпа на улицах, конечно, совсем другая, нежели раньше, но так же меняющаяся по часам дня; однотипное стадо — «совслужащих», рабочих, агентов ГПУ, проституток, празднующих комсомольцев и стайки различных бесчисленных провинциальных экскурсий, делегаций и представителей коммунистических и комсомольских групп национальных меньшинств. Вся эта многотысячная орда русской, китайской, корейской, башкирской и иной «шпань» гранит тротуары, затрагивает

женщин, скалит зубы, ест и пьет и пользуется так называемой «жилплощадью» за счет «народа-богоносца».

«Ленинград» — город бесчисленных учреждений, организаций, школ — политических, военных и иных.

Наряду с «кудлатыми», вечно куда-то спешащими «марксистами» с набитыми портфелями — типами совершенно чуждыми городам Европы, — в толле не мало и военных, хорошо выправленных, с лицами русскими — открытыми и честными. Встречаются и выделяются светлым пятном интеллигентные лица инженеров и техников в дореволюционных фуражках с молоточками.

Вот ведут арестованного: два конвойных, с обнаженными саблями по бокам; арестованный с лицом до смерти перепуганным и бледным поворачивается с какими-то разъяснениями то к одному, то к другому конвойному.

Кто он? Нэпман ли? частник ли? или «белобандит», как и мы?

Безгласны и немые лица конвойных. Маски — лик ГПУ...

Но мимо, мимо...

Чем ближе к центру, тем чище улицы и дома, но Окружной суд — все те же развалины. Одно из реальных «достижений» «великой, бескровной»...

Слезаем с извозчика у бывшего магазина Главного Штаба. Там и теперь военный магазин. Входим в Александровский сад; купив у ворот несколько газет, усаживаемся на первой же скамье и ищем отдел коммунистических собраний на сегодняшний вечер...

Уже три часа. Мы с Димой должны осмотреть несколько учреждений, купить провизию, вернуться в Левашово, поесть, захватить портфели с тяжелыми бомбами и снова приехать в «Ленинград». Наш проводник обещал ждать нас до 12 часов сегодняшней ночи на условленном перекрестке. Надо форсировать события, чтобы не опоздать к свиданию с проводником, да и кроме того, сегодня пятница; в субботу же и в воскресенье никаких собраний у большевиков не бывает, так как вся знатная «советчина» проводит время на дачах. Нам дорог поэтому буквально каждый час.

— Надо обязательно сегодня же вечером, — говорю я Диме.

Я далеко не был уверен, что смогу благополучно выйти на границу без проводника.

В ворота сада входит важная самодовольная фигура. Видимо, чекист — хромовые сапоги, великолепное «галифе», мятая фуражка под кавалерийский образец, новый ремень через плечо, браунинг в щегольской кобуре.

— Гм... — мычит Дима, — а что, если...

— Не горячись, успеешь еще...

Хромовые сапоги беспечно продефилировали мимо нас.

В «Красной Газете», на последней странице, мелким шрифтом написано: «В пятницу, в 8 ч 30 мин, Центр. Партклуб. Заседание по переподготовке деревенских пропагандистов. Вызываются товарищи: Пельше, Ямпольский, Раппопорт...» и т. д.

Дело кажется мне подходящим. Да ведь я, собственно, один и решаю: Димка — орган в этих вопросах лишь советательный.

Идем на Мойку осмотреть Центральный Партийный Клуб. Идем по Гороховой, мимо знаменитого дома № 2 — ленинградское ГПУ. Над зданием — выцветший красный флаг. Мимо ворот все же не проходим из осторожности, а переходим на другую сторону улицы... Угол бывшей улицы Гоголя и Гороховой... Заходим в гастрономический магазин. Покупаем несколько коробок консервов и две бутылки зубровки для поддержания сил и нервов. Приказчики вежливы и предупредительны: кланяются и провожают до двери. Покупка вышла дорогой, но не нам же соблюдать экономию...

На следующем углу сидит у своего ящичка чистильщик сапог. Решаем почистить наши рьжые сапоги. Моя чистка проходит благополучно, Дима же пережил минуты, подобные в трактуре Левашова. Только что переставил он сапог, чувствует, как кто-то сзади подошел к нему и остановился. Димка скосил глаз (я в это время зашел в оптический магазин купить компас) и, о ужас: видит белую гимнастерку и красный окольш... Милиционер... Только Димкино спокойствие спасло его; человек с другими нервами или побежал бы, или начал бы стрелять в милиционера. А «мильтон» всего лишь ждал своей очереди чистить сапоги...

Я купил за два рубля плохонький компас и, пройдя по Морской, на условленном углу встретился с Димой. Тут он мне и рассказал про свои страхи, только что пережитые.

Подошли к особняку на Мойке. Осмотрели массивную тяжелую парадную дверь с красующейся на небольшом картоне надписью «Центральный Партийный Клуб и А.П.О.Л.К.» («Агитационный пролетарский отдел ленинградской коммуны»). У двери — никого. Прямо перед домом — набережная Мойки; налево, если стать спиной к подъезду, через несколько домов — Невский проспект; направо, кажется, через один или два дома — Кирпичный переулок, перпендикулярный к набережной Мойки.

Я оцениваю местность и нахожу, что довольно удобно, после «тара-рама» в клубе, выскочить на улицу и взять курс на Кирпичный переулок. Мойка, впрочем, сильно ограничивает возможность бегства. |

Походив немного перед подъездом, пошли по Невскому к Клубу Коминтерна, что на Фонтанке у Аничкова моста. В этот день должен был быть в зале клуба, судя по газетам, вечер комсомола. Оставив Диму на улице, я потолкался с деловым видом в прихожей клуба, понюхал воздух и вернулся. То, что я увидел в прихожей, мне не понравилось: толпится все молодежь, безусая, серая. Ведь не для того мы пробирались сюда, чтобы сводить счеты с этой заблудившейся в советских потемках молодежью... Мысль вновь возвратилась к Центральному Партикулу, к заседанию «переподготовки деревенских пропагандистов», и, так как на осмотр других «подходящих мест» времени у нас уже не оставалось, я решил почтить своим присутствием сегодня вечером Центральный Партикулу.

С этим твердым решением мы наняли на бывшем Владимирском проспекте ваньку и покатали на «Круговой» вокзал. Через полчаса поезд вез нас к «базе» и оставленному в полном одиночестве Сергею.

Вагон наш, когда мы в него вошли, был почти пустой, но вскоре, на одной из первых же станций, к нам подсел человек в прорезиненном пальто, в военной фуражке с большим козырьком и маленькой красной звездочкой на околыше. Уселся он против нас и вперился в меня тяжелым, неподвижным взглядом тускло-холодных глаз очковой змеи. Стало не по себе. Я закрылся «Красной Газетой», Дима — «Ленинградской Правдой». Когда я украдкой взглянул из-за газеты на нашего *vis-a-vis* — он продолжал гипнотизировать меня... На одной из станций «некто в сером» встал и вышел. Начались довольно неприятные минуты ожидания... Но, слава богу, слышим свисток паровоза; поезд тронулся дальше. Возможная беда вновь миновала...

Вот и Левашово. Вот и наш лесок. У оврага свертываем вправо и, пройдя по лесной дорожке, свистим; раздается ответный свист; раздается еловая чаща, показывается Сергей.

— Ну как?

— Все благополучно.

— Я уж не думал, что вы вернетесь. Тоска была у меня тут изрядная... А тут еще какая-то старушенция вздумала собирать хворост возле «базы»... Черт его знает, что делать: не то «гробить», не то нет...

Через час идет поезд на «Ленинград». Надо быстро закусить и снаряжаться в дорогу. Ложимся в кружок, финским ножом вскрываем осетрину и бутылку зубровки. От усталости и голода зубровка действует быстро. Подъем и готовность разгромить бомбами всех коммунистов на свете растут. Время, однако, сильно бежит. Часы показывают 7 вечера, в 7 ч 25 мин поезд, 8 ч 10 мин — «Ленинград», 8 ч 50 мин — Партикулу, в 9 час 40 мин — вокзал «Круговой»...

Пора в поход...

Проверяем тяжелые гранаты с запалами гремучей ртути и бережно укладываем их в портфель, ставя на одном только предохранителе. В кратких чертах объясняю молодежи мой план:

— Быстро входим в подъезд клуба и стремимся к лестнице; если не пускают — Димитрий устраняет непускающих: бьет по черепу. По возможности без выстрела надо проникнуть в зал. Сергей и Димитрий кидают бомбы. Сергей одну, Димитрий две. Я прикрываю затем общий отход разбитием двух склянок с жидкостью, мгновенно обращающейся в удушливый газ. После этого кидаемся на улицу, сворачиваем в Кирпичный переулок и, действуя сообразно обстановке, но по возможности вместе, добираемся до вокзала, к поезду 9 часов 40 минут. Если кого-либо в поезде не окажется, ждем его в «базе» еще час до прихода поезда 10 часов 35 минут. После этого ставим на оставшем крест и быстро уходим на границу.

Вот и весь план. Рассчитан он на дерзость и быстроту.

Наше вооружение и снаряжение — основательно: на животе, за поясом у меня маузер с патроном в стволе и с полной обоймой, в кармане плаща — браунинг, в заднем кармане брюк — немецкая бомбочка — «апельсин», в боковых карманах френча — флакончики с газами, в часовом кармашке — порция циана. Мои друзья не имеют газов, и у них по одному револьверу, но зато у них по два «апельсина» и в портфелях тяжелые бомбы системы Новицкого.

Весь боевой арсенал скрыт, кажется, довольно искусно — мы затянуты, застегнуты и тщательно осмотрены друг другом...

Деньги в иностранной валюте зарываем в мох, ибо кто знает, не будет ли валюта лишним свидетельством на наших трупах... Прячем и провизию — на случай обратной дороги...

Делаем из бутылки с зубровкой по последнему глотку...

— Ну, в путь...

Твердым шагом идем к вокзалу.

Вдруг... проклятье!.. Поезд уже дымит белым облаком из-за леса и свистит... Бежим несколько минут, потом как-то одновременно, поняв безнадежность бега, — останавливаемся и смотрим друг на друга.

Слышен прощальный свисток и учащающийся стук колес...

— Ушел, проклятый!

Поворачиваем уныло в свое логово.

Экая досадная «неувязка» с часами!..

На душе какое-то сложное переживание: с одной стороны, радостное сознание, что еще двое суток оттянуты у смерти (ибо в субботу и воскресенье никаких собраний у коммунистов нет), с другой сторо-

ны — эта оттяжка вызывает настроение, схожее с настроением висельника, получившего краткую отсрочку... В его мыслях все-таки виселица, как неизбежный конец. Взрыв Партклуба тоже неизбежный конец для нас...

И как странно — ничто ведь не мешало нам сегодня же, не исполнив своей задачи, вернуться через границу, но... Конечно, от такого отступления нас удерживала честь... И не только меня — офицера — удерживала она от отступления, но и двух юношей, прославившихся пока лишь своим «лихим» поведением в нашем городе, изгнанных за оное из гимназии и вообще лишенных какого-либо воспитания в свои юношеские годы.

Слово «назад» для нас не существовало, покуда не выполнена до конца цель нашей боевой вылазки...

Холодок берет при мысли, что наш проводник, ожидающий на условленном перекрестке лесных дорог, между 12 часами и 1 часом, в ночь с пятницы на субботу, уйдет, не дождавшись нас. Рвется последняя ниточка нашей связи с Западом...

Опять «дома». Темно и неудобно в нашем логовище. Настилаем целую грудку еловых веток, расстилаем плащи. Димитрий укладывает портфель с бомбами под изголовье и на предупреждение Сергея о возможности нечаянного ночью толчка и спуска предохранителя смеется:

— Пренебреги, Сережка, все равно ничего не услышишь!

Накрапывает дождь, усиливается и частит без конца. Холодные капли одна за другой просачиваются за воротник, в рукава, во все щели.

Безмолвие, мрак, застывший над лесом, жуткие мысли, спутанные в мучительный клубок, и тяжелый полусон...

Рассуждая логически, нам следовало бы по очереди дежурить, но мои спутники так молоды, так редко задумываются, так беззаботно вошли в трагическую роль, уготованную им судьбой, что я уверен заранее в бесполезности попыток организации дежурств. Вот я один и слушаю все лесные шорохи, а они — беззаботно храпят здоровым сном молодости... Они свободны от предрассудков и понятий военной службы...

На рассвете очень холодно.

Капельки дождя повисли бриллиантами на еловых ветках. Вдали слышны удары топора, лай собак, свистки маневрирующего паровоза и колокольцы коровьего стада. Зубы лязгают и отбивают барабанную дробь. Вливаю в себя струю оставшейся вчера водки. Делается немного теплее. Друзья тоже просыпаются. Дима сразу ищет колбасу и водку и нещадно ругает Сергея за то, что тот ночью натягивал все время плащ Димы на себя и втирался в самую серединку... Сергей озабоченно наблюдает, чтобы Димитрий не «выдул всю водку», и напевает «Кир-

пичики»... Можно думать, глядя на них, что они в своей комнатке в Г., а не в лесной берлоге в стане врагов. Вряд ли задумываются они долго над тем, что один жест, один неловкий шаг, и от нас останутся лишь оторванные руки и ноги...

— «После Смольного, житья вольного...» — подпевает Дима.

Счастливым характер...

Скучно в лесу. Хочу погулять в «Ленинграде», да и за провиантом надо съездить, поэтому снаряжаюсь в город. Диме и Сереже дается задача охранять «базу». Надеваю все самое лучшее, что есть на всех троих, сую браунинг в карман и, попрощавшись, выхожу из леса на дорогу. Хочется «одиначества»...

Иду по знакомой дороге к станции. Справа на болоте пасутся коровы. Звон их колокольчиков, лесная тишь, аромат сосны и болота — будят в душе тихую грусть, вызывают забытые образы, отцветшие воспоминания, связанные с этими лесами, с вечной зеленью хвои, бездонностью лесного озера, запахом вереска...

Плывет обрывок когда-то читанного стиха:

Не вернуться, не взглянуть назад...

Нет, не надо... Мимо, мимо воспоминания... Сегодня бой... и вечный бой.

Покой нам только снится...

Вот десятки тысяч замученных в Крыму... Бела Кун, Саенко<sup>16</sup>... Харьков—Киев—Лубянка... Гороховая, № 2... Русские женщины и девушки во власти палача, поруганные, оплеванные под сапогом «пришедшего хама»... Духонин<sup>17</sup>, епископ Вениамин, седенький священник кубанской станицы, замученный на навозной свалке, и те святые, имя коих — легион, что, стоя перед дулом палача, кричали:

— Да здравствует Россия!..

Да здравствует Россия! — ведь выше этого — подвига нет...

В поезде чувствую себя уверенно и свободно — одним словом, «обнагел». Но все же не вынимаю руку из кармана, ощущая холодок никелированного металла и кнопку рычажка — на «огонь»...

В зале «Крутового» вокзала, не торопясь, изучал расписание поездов, взял в кассе обратный билет и, посвистывая, совсем в «прогулочном» настроении, вышел на лестницу вокзала, постоял, подумал: не захватить ли к одной из друзей детства, махнул рукой и с тем же ощущением свободы, легкости и желанием пошутить над советчиной нырнул в толпу.

Первое — в парикмахерскую. Зеркала отражают обветренное, загорелое, небритое лицо бандита — что ж, такова профессия!.. Но не-

выгодность подобной внешности сказывается резким отличием от лиц «совслужащих» и краскомов, наполнявших парикмахерскую; их лица «ленинградской бледности» не тронуты еще загаром... Пахнет пудрой и бриолином. Как и во всех парикмахерских мира, вежлив, предупредителен и подобострастен парикмахер. Насмешкой выглядят загаженные мухами надписи: «На чай не берут»...

Вышел я из парикмахерской совсем советским денди: пробор блестящий, на чисто выбритом лице — тонкий слой пудры, сапоги хранят еще следы вчерашней чистки — ночной дождь их пощадил; рваные «галифе» скрыты новеньким плащом Димы. В довершение — лучшая из наших трех кепок была на мне, сей удобный нивелирующий головной убор пролетария.

Неторопливой походкой шагаю по Петербургской стороне к Васильевскому острову, вглядываясь в лица всех встречаемых, все время желая прочесть что-то для меня неизвестное... Напрасно. Нет в толпе интересных лиц: все плоско, бледно — сплошная окраина заводского района. Фабричные заставы поглотили град Петра, и серая фабричная толпа, разбавленная советскими мещанами всех рангов, военными, инородцами — мутной, будничной хмарой расплзлась по гордой, блестящей некогда столице... Редки интеллигентные и красивые лица; особенно у женщин... Революция и коммунизм не придали их лицам красоты, фигурам — изящества... Конечно, есть и меха, и наряды, но это единицы среди моря платочков, стоптанных каблучков, штопаных черных чулок, устаревших мод...

На оживленных местах стоят вереницы торговцев с лотков, на перекрестках — дощатые ларьки с семечками, с квасом. На улицах — чуть в сторону от главных артерий — сор, грязь. Серый город, серая толпа...

Молодой, лет двадцати трех, комполка, судя по четырем ромбам на рукаве, сидит на тумбе, в ожидании трамвая, и никого его поза не удивляет.

На углу, около мануфактурной лавки, очередь, человек в сорок.

— Мануфактурный голод, товарищи, объясняется рядом неувязок, — скороговоркой сыплет соседям по очереди молодой, прыщавый, испитой человек в коротких брючках.

Еду трамваем к Невскому — «Октябрьскому»... На Невском та же толпа с большей лишь примесью служилого элемента. На главных улицах и у входов в рестораны и пивные выделяются высокие люди с военной выправкой, в кубанках или полувоенных кепи, в высоких сапогах — они топчутся без дела и не знают, куда девать руки... Знакомые фигуры... Раньше, бывало, появлялись они, неизменно в калошах во всякую погоду, перед проездом высоких особ, теперь они все время



шныряют в толпе. К счастью, верна пословица: «Бодливой корове Бог рог не дает», — на лице такого молодца только что не написано: «чекист».

Рука в кармане все время ощущает кнопочку браунинга — «огонь», успокаивая нервы... При встрече с подозрительными лицами неторопливо перехожу на другую сторону или останавливаюсь с внимательным видом перед витриной, благоговейно рассматривая надоевший череп лысого Ильича, усы Буденного или вдумчивое, симпатичное лицо Фрунзе... Я слышал, что чекисты не раз платились жизнью при арестах на улице выслеженных ими белых, поэтому теперь они стараются напасть неожиданно, создав вокруг своей жертвы давку. Всякой давки поэтому я старательно избегаю...

Хочется есть и пить. Захожу в полуподвальную пивную. Сосиски и пиво «Красная Бавария» очень недурны. В толпе, наводнившей пивную, немало пьяных и подозрительных лиц. Лакеи охотно берут на чай и не титулуют «товарищем». И здесь висит доска: «На чай не берут».

Выйдя из пивной, иду дальше по «Октябрьскому»... Редакция «Правды»... Захожу с торопливым, деловым видом, осматриваюсь — как будто кого-то ищущу, на самом же деле соображаю, стоит ли кинуть тут бомбу и разбить газовый баллон. Решаю, что не подходящее дело. Целые ряды «совбарышень» за машинками да несколько мужчин интеллигентного вида — старые спецы — ныне бутербродные спутники соввласти... Залить эти комнаты кровью... Хотя и звучит громко: «Редакция «Ленинградской Правды», но... против женщин никогда не поднималась моя рука, даже на коммунисток — в былые годы гражданской войны...

После редакции «Ленинградской Правды» зашел на телефонную станцию на Мокрой улице. Хотя там и сидели три чекиста в форме, взял книгу телефонных абонентов, перелистал ее, ища фамилии бывших друзей и знакомых. Книга, конечно, значительно изменила свое содержание. Справился о Борисе Израилевиче Раппопорте — моем хорошем друге еще по N-ой петроградской гимназии, ставшем теперь видным коммунистом. Б.И. Раппопорта не нашел, ибо там, где раньше было три абонента с фамилией Раппопорт, — теперь оказалось 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> страницы Раппопортов и при этом ни одного Израилевича, а все Николаевичи, Ивановичи и т. д.

Пофланировав еще немного по Невскому, на углу Литейного сел в трамвай и прошел на переднюю площадку...

Тут и разыгралось происшествие, чуть было не сорвавшее всю вылазку в «Ленинград».

— Ваш билет? — раздается голос из двери вагона.

Я обернулся, вижу — контролер.

Протягиваю ему серебряный двугривенный. Не хочет брать.

— Вы мимо кондуктора проходили?

— Проходил.

— Почему же у вас нет билета?

Я почувствовал, как от сердца что-то покатилося вниз. В уме мелькнуло: «Кончено, и как глупо»...

Рядом со мною на площадке стоит милиционер и вслушивается в разговор...

«Ну, — думаю, — сейчас остановят трамвай, протокол, участок, требование бумаг... Но до участка — стрельба в невинного «мильтона», пуля себе в лоб и т. д.»

— Дело в том, товарищ, — вежливо и спокойно говорю я, — что я только что приехал из провинции и не знаю ваших правил, что надо платить, проходя мимо кондуктора.

— А откуда вы приехали?

О ужас! Все названия подходящих городов вылетели из головы. Почему-то мелькнула Калуга, но я не знал, подходит ли она к вокзалу, от которого идет трамвай...

— Я только что с Октябрьского вокзала...

Милиционер всмотрелся в меня внимательным, острым взглядом, напомнившим мне взгляд чекиста в поезде, подумал, нерешительно взял двугривенный, передал его кондуктору и строго сказал:

— Смотрите, товарищ, не проходите в следующий раз мимо кондуктора...

Я пробормотал нечто вроде:

— Так точно, слушаюсь, товарищ...

Все обошлось благополучно... Огромный камень свалился с плеч... Вероятно, благодаря новому плащу Димы контролер решил, что хорошо одетый «гражданин» не может быть «зайцем», и поверил моему объяснению. Остаться на площадке рядом с «мильтоном» показалось мне, однако, не совсем покойным, и я слез на первой же остановке, решив, что путь пешком куда безопаснее.

Прогулка по «Ленинграду» после трамвайного происшествия утратила свою прелесть, и мне захотелось под уютный кров сосен и елей...

В вагоне ехала хорошенькая блондинка, скромно одетая во все черное; ее интеллигентное миловидное личико было печально «усталостью навсегда»... Я почувствовал ясно, что она «наша», а не «кремлевская», и мне захотелось с ней заговорить... Но девушка с явной неприязнью отводила свой взгляд, принимая меня, вероятно, по обличию за правого чекиста...

В Левашове я радостно встретил друзей. Мы с аппетитом поели — колбасу, хлеб и консервы, выпили зубровки... за здоровье товарищей...

Ночь на воскресенье прошла спокойно, но рано утром до нашего укрытия донеслись какие-то крики, голоса, ауканье. Голоса приближались, все это были мужские голоса, и слышались они то справа, то слева, потом, приблизившись так, что мы стали различать сквозь ветки фигуры людей, начали отдаляться. Это какая-то компания комдачников собирала сморчки.

После утреннего завтрака остатками вчерашней провизии стали выработать программу воскресного дня. Сергей взмолился взять его в «Ленинград»:

— Ведь я ни разу не видел Питера, дайте мне хоть раз взглянуть на него перед смертью...

Пришлось уступить, хотя Сергей и не подходил всем своим обликом для «Ленинграда» (уж слишком он «подозрительно» был одет, и весь его вид мог легко привлечь внимание угрозыска), но, с другой стороны, надо было, чтобы Сергей хоть немного присмотрелся к городу и освоился в толпе — ведь завтра нам предстояло...

Почистились, как можно тщательнее. Бомбы, баллоны с газом и мой маузер зарыли в мох. Завязали друг другу смятые уже в жгут галстуки и зашагали налегке в очень хорошем настроении...

Праздничный Питер был еще неприветливее делового, будничного. Больше было пролетариев на улицах, масса пьяных, еще больше мелкой, уличной торговли, семечек, грязи, открытых темных пивных, бесцельного шарканья по панелям...

Мы доехали трамваем до Октябрьской площади, посмотрели тяжелую статую «мужицкого царя», прочитали гнусную надпись, выбитую в дни революции на пьедестале памятника. Затем пошли вниз по Невскому. Свернули в Гостиный двор. Знакомый ряд Гостиного двора под каменными сводами... Кто из петербуржцев не помнит веселой суето-локи и движения, бывшего здесь? Теперь — пустыня. Против Гостиного у тротуара стоят пять-шесть облупленных такси. Магазины, как и по всему городу, — пусты. В витринах — два-три отреза материи да пара чулок. Богаче других шапочные магазины; здесь большой выбор всевозможных кепок вплоть до красной фуражки с маленькой звездочкой на околыше — «красногусарская». Преобладают лавочки с восточными сладостями. Книжные магазины завалены марксистской и ленинской макулатурой и огромными портретами «вождей». При взгляде на Ленина каждый раз вспоминаю глупый стишок:

Не хвались ты сгоряча,  
Что похож на Ильича...

Самые крупные магазины, как, например, бывший «Александр» на Невском, продают редкие и более или менее ценные безделушки, по несколько раз перепроданные и переукраденные с «великого» Октября. Тут уж, подлинно, каждая вещь имеет свою историю, и часто кровавую...

Гостиннодворская публика почище прочей городской: здесь много жен и содержанок совбар. Они щеголяют короткими юбочками, парижскими чулками...

В простенках ниш, у витрин, лежат, сидят и стоят нищие — их сотни тут. Это новое сословие, новый народившийся класс. Тут же молодец — косая сажень в плечах — безработный. Старенький священник, без прихода, в поношенной рясе... Седая, интеллигентная дама поет по-французски старинные романсы... Тут же корчащееся в страшных конвульсиях, полуголое существо на панели, дико воющее и кричащее... Лицо дамы скорбно, но спокойно, как гипсовая маска. Мы несколько минут наблюдаем за ней. В ее черную шляпку сыплется дождь серебра — очевидно, немало в толпе сочувствующих прошлому, которое олицетворяет эта женщина. А может быть, кому-то стыдно за свое сегодняшнее благополучие, украденное у таких, как эта дама...

Я решил соединить в сегодняшней прогулке по «Ленинграду» приятное с полезным. По «Красной Газете» судя, завтра, в понедельник, состоится собрание «Пленума Ленинградского Совета» по вопросу о «снижении цен»... Приглашаются представители профсоюзов, комсомола, красной армии, ОГПУ и всех парторганизаций... Собрание состоится в здании бывшей оперы Народного Дома, ныне — кино «Великан». Нелишне ознакомиться с кино «Великан», разведать выходы, расположение помещений и пр.

Идем мимо Зимнего Дворца, Александровской колонны, Адмиралтейства...

Смотрю на окна той квартиры, где я жил когда-то. Вспоминаю юнкерские караулы в осиротевшем Зимнем, эпоху бестолковой «керенщины» и темные снежные октябрьские вечера, вдохновившие Блока:

Черный вечер.  
Белый снег.  
Ветер, ветер —  
На всем Божьем свете.

Решетки Зимнего Дворца — нет. Ее сняли советские умники и огородили ею пустырь за какой-то заставой...

Дворцовый мост все тот же, деревянный, в ямах и выбоинах, опасный для движения еще с 1905 года.

Красавица Нева осталась прежней. После Шпрее, после Сены, как ласкает глаз ее свинцовый простор, ее скованная гранитом ширь и мощь! Как сказочно красив вид на столицу Петра с Биржевого моста... Действительно — город по красоте только Константинополю равный.

Нева пустынна: ни бойких синих «финляндских», ни зеленых «шитовских» пароходов, ни вереницы тупорылых арок с Ладоги, ни «поплавков» у Летнего сада... Сирены и гудки, переливчатые разноцветные огни по вечерам на пароходах — как все это оживляло Неву, столь уныло теперь плещущую волну о гранит «дворцов и башен»...

Люблю тебя, Петра творение,  
Люблю твой стройный, строгий вид,  
Невы державное течение,  
Береговой ее гранит...

Лютая злоба кипит в душе и рвется наружу: здесь, перед Медным Всадником, вздыбившим гордого коня, над украденным у него городом, произнести клятву борьбы, клятву священной мести!.. Над лысым черепом проклятого разложившегося мертвеца, опоганившего святое имя родного города, подписавшего своими скрюченными пальцами подлейший в истории мира приговор Ипатьевского подвала... Смерть им, смерть этим гадам интернационала, ибо всякий, носящий кличку «коммунист», ответствен за кровь Ипатьевского подвала, виновен в миллионах других убийств, в осквернении души русского народа, виновен в создании той бездны позора, лжи, грязи и крови, куда рухнула Родная земля.

Господь! успокой меня смертью  
Или благослови  
Ударить в набаты крови!..

Мои спутники испытывают, по-видимому, такое же настроение. Инстинктом, русским сердцем своим чуют они то великое зло, что терзает нашу Родину. Оба они, никогда не принадлежавшие ни к каким партиям, готовы по зову своей совести на бескорыстную жертву, на подвиг, во имя двух простых слов: «Родина и Честь». С этим ощущением себя и Родины они родились, без этого они не могут жить...

Одиночество резко ощущается в центре города-муравейника: ведь каждый встречный — возможный враг. Одни лишь памятники старины — наши союзники и единомышленники... Они, так же как и мы, чужды и враждебны окружающему...

Встречаем шествие: под сеткой холодного, мелкого дождя, под серым питерским небом, бесконечной, плохо выровненной колонной идут

сотни девушек и юношей. Элинское шествие... Они полуголы, промокли, дрожат и, вероятно, голодны. Над головами их печально поникли красные знамена и плакаты с совершенно нелепыми надписями: «Строим новую жизнь!», «Пролетарии, на солнце!», «Да здравствует физкультура!»... Впереди и где-то сзади гремит медь нестройных оркестров... Публика на тротуарах безучастно глазеет на нелепое шествие. Кто-то позади нас хихикает...

Подходим к кино. Хотим взять билеты.

Я подхожу к кассе.

— Три билета, гражданин!

— А вы, товарищи, текстильщики?

— Нет.

— Ну, так сегодня гуляние текстильщиков; посторонним билеты не продаются...

От ворот — поворот...

Углубляемся в лабиринт узеньких, грязных улиц, минуем какой-то подозрительный базар с толкучкой, заходим в темные, вонючие пивные, повсюду наблюдаем жизнь советскую...

Масса пьяных... У кабака обычная русская картина: какой-то пропойца тянет женину шаль на предмет пропития, а она, растрепанная и растерзанная, вырывает конец шали, плачет и голосит на всю улицу. Разыгрывается почти драка, но публика вокруг безучастна — видно, привыкла к подобным зрелищам.

В одной пивной какой-то оборванец — «пьяный в доску», по выражению Димы — произносит длинную, но довольно бессвязную речь, составленную из отборнейшей ругани по адресу коммунистов и советского правительства. Мы, спросив чая, слушаем, не без удовольствия, «оратора», но вскоре, сообразив, что из-за такой речи может быть и скандал с протоколом и записыванием свидетелей, быстро расплачиваемся и уходим.

До позднего часа бродим по мокрым от дождя панелям. Тусклые фонари отсвечивают искрами в лужах. Темно... Снопы яркого света только у клубов, пивных и кино.

Заходим в большое ярко освещенное кино на углу Невского и Владимирского. Вестибюль переполнен публикой довольно непролетарского вида. На нас — людей пролетарского вида — все смотрят, и я чувствую, что мы, и особенно Сергей, вероятно, подозрительны для такого шикарного кино. Рассматриваю себя в большом зеркале. Ничего; во всяком случае, лицо спокойное. А это сейчас поважнее костюма... Рады, когда нас проводят, наконец, на места и тушат свет. Идет фильм из жизни аристократов, миллионеров и элегантных преступников...

Около полуночи — домой, в наш лес...

Неуютно и сумрачно на душе. Друзья мои тоже идут молча, и я чувствую, как невеселы и их думы.

Глух и неприветлив черный лес...

У перекрестка лесных дорог слышим осторожный слабый свист...

— Тише!

Переглядываемся, выхватываем револьверы, патроны в ствол и, осторожно разойдясь цепочкой, всматриваемся в темноту и крадемся вперед... Свист повторяется, но уже где-то дальше... Вот и убежище наше — как будто все благополучно: портфели с бомбами и маузер на месте. Все как было; мох не тронут. Но нервы натянуты, воображение рисует картину, как чекисты в длинных серых шинелях окружили лес и ждут, пока мы заснем, чтобы взять живыми.

Свист повторяется опять. Я чувствую, что спать нельзя, пока не выясню, что это за свист в лесу. Беру маузер и осторожно, стараясь не ступать на сучки, крадусь на свист. Через пять минут, впрочем, я вернулся: это свистела какая-то ночная птица...

Ложимся на холодный, мокрый мох...

Мне не спится. То грезится жуткий, серый, заплеванный город, то носятся тени прошлых боев, то мысль плывет к оставленным близким, то сердце начинает тревожно и часто колотиться при мысли о завтрашнем дне и ясно встает в воображении — тяжелая зеркальная дверь с медной ручкой и надписью на картоне: «Ц.П.К. и А.П.О.Л.К.»... Завтра, в понедельник, опять вызываются товарищи: Пельше, Ямпольский, Раппопорт и т. д. ... на совещание в Центральный Партийный Клуб «о подготовке деревенских пропагандистов»...

Туда заглянем и мы, впрочем, без вызова и приглашения...

Утро особенно холодное... Я дрожу и с удивлением смотрю, как Димитрий и Сергей с хрустом едят чайную колбасу и воюют из-за последнего глотка коньяку... Я нервничаю, и мне не до еды...

— Пора, — говорю я, — едемте раньше, побудем лучше в городе, а то опять, чего доброго, опоздаем!

Начинаем снаряжаться. Я порядком боюсь за «газы» в боковых карманах моего френча: все время приходится о них думать, ведь стеклянные стенки баллонов не толще электрической лампочки...

Мой собеседник по вагону — ленинградский студент. Он рассказывает мне интересные вещи. Был он недавно в Москве и «поклонялся» мощам Ильича. Студент описывает, как публику пропускают поодиночке, под раздевающими донага, до мысли, взглядами чекистов. Сам «Ильич», по его мнению, давно сгнил, и вместо него лежит в гробу восковая кукла. Не менее красочно описывает он последний парад на площади Зимнего Дворца. Трибуну для президиума исполкома и московских гостей

поставили прямо перед колонной с благословляющим Ангелом. Какой-то советский умник решил, что неудобно Ангелу, да еще крестом благословлять советскую знать, и после долгих совещаний решено было накинуть при помощи воздушного шара на ангела колпак. Шар летал над Ангелом целый день, к величайшему восторгу тысячной толпы. Колпак, спущенный с шара на веревке, неизменно проплывал мимо Ангела: то шар отнесило ветром, то колпак. Толпа хохотала. Так ничего и не вышло.

Завел я разговор на тему об антисемитизме среди комсомола. Студент поддержал эту тему.

— На днях, — рассказал он, — одновременно со мной зашли в еврейскую булочную четверо комсомольцев и комсомолка, посмотрели на продавцов и вдруг громко на всю булочную заявили: «Фу, черт, и здесь жида! Гайда назад, товарищи!»

Говорил он и о том, что чья-то невидимая рука то здесь, то там пишет на заборах и в уборных популярный в низах СССР лозунг: «Бей жидов — спасай Россию!»...

Перекинул я разговор на жизнь советской верхушки, об оппозиции, о Троцком. Собеседник, видимо, плохо в этом разбирался, да и не интересовался этой высокой материей:

— Ну, это их внутренние дела. Нам не до того..

Днем я пошел в Казанский собор, перед гробом Кутузова преклонил колено, поставил свечку павшим за Россию и долго думал в тихом, озаренном огоньками полумраке...

Какие-то сморщенные горем черные женщины бились головой о каменные плиты... И еще и еще женщины со скорбными лицами подходили со свечками к озаренному Лику...

Что же, я знаю ведь, за кого и за что они молятся...  
Всех убиенных помяни, Россия,  
Егда приидеши во царствие Твое...

У гробницы фельдмаршала Кутузова серыми тенями никнут знамена. Эхо осторожных шагов нарушает тишину.

Одни лампы во мраке храма золотят  
Столбов гранитные громады...

Я вышел на ступеньки собора со светлым чувством принятого причастия...

В тот же день я обследовал еще раз театр предстоящих действий и сделал важное открытие: в одном из соседних с Партклубом домов есть проходной, очень извилистый двор с Мойки на Большую Морскую. Это открывает новый — более выгодный — путь отступления.



Надо было действовать теперь же: мы и так пропустили зря несколько дней. Деньги почти кончались: развозы на извозчиках, дорогой консервный стол, постоянный коньяк, необходимый под дождем в лесу, совершенно расстроили наш не рассчитанный на длительное пребывание в СССР бюджет. Сегодня разменяли половину нашего золотого фонда: три царские золотые пятирублевки. Оставались еще три золотых, но мы хотели их оставить на память.

Ровно в 8 ч 50 мин мы подошли к дверям Центрального Партийного Клуба... Минута раздумья, даже секунда — как перед броском в воду с многосаженной высоты — и я, мельком оглянувшись на своих приятелей — их лица, немного бледные, выражали энергию и суровую решимость — оттолкнул тяжелую дверь...

Полутемный вестибюль... Роскошь... Ковры... Налево — лестница наверх; направо — вешалка. Большой стол с лампой под колпаком; за столом женщина лет тридцати с крайне несимпатичным, наглым и, я бы сказал, преступным лицом (это была, как мы после узнали, товарищу Брекс).

Мы растерялись... По расчету, Дима должен был «бить по черепу» первого остановившего нас в вестибюле, но перед женщиной Дима застыл в оцепенении... Я тоже был смущен. Только через несколько мгновений я почувствовал какой-то внутренний толчок и решительно подошел к коммунистке, изобразившей из себя вопросительный знак.

— Вам что здесь надо, товарищ?

Я просил развязно:

— Где тут идет заседание по переподготовке деревенских пропагандистов?

— А вы кто такие?

— Коммунисты.

— Второй этаж, первая дверь направо. Распишитесь в этой книге, товарищи, напишите фамилию и номер партбилета... Пальто оставьте здесь на вешалке...

Я обмакнул перо и написал: «Федоров — № 34». Написал и сразу сообразил, как глупо было указывать такой маленький № партбилета. Сергей сделал еще хуже и чуть не погубил все наше дело: вынув из кармана фальшивый партбилет, грубо сделанный за границей, отличающийся даже обложкой от подлинного партбилета, он предъявил его товарищу Брекс.

— Что это у вас за билет, товарищ? — заинтересовалась последняя. — Разве у нас такие билеты?

— Да мы ведь московские... — пробормотал невразумительно Сергей.

Я решил торопиться, подошел к вешалке и снял плащ. Дима и Сергей тоже стали снимать плащи. Получился новый пассаж: мы не ожидали, что надо будет раздеваться, и потому часть боевого снаряжения находилась у нас в карманах плащей... Пришлось чуть ли не на глазах тов. Брекс перекаладывать оружие друг у друга за спинами... К счастью, «битая в темя» коммунистка не заметила и этого.

Стали подниматься по лестнице...

Голова, мозг вряд ли сознательно работали начиная с того момента, как я открыл дверь и вошел в вестибюль Партклуба. Все окружавшее — мебель, люстры, лестница, лицо тов. Брекс, вешалка — все поплыло в тумане... Лишь какие-то внутренние, подсознательные толчки диктовали действие... Это был могучий, проснувшийся в глубине моего «я» звериный инстинкт...

Лестница в два поворота и — тяжелая, высокая, со старинной ручкой белая дверь... Я решительно распахнул ее и заглянул в комнату... Посреди огромной, блестящей зеркалом паркета комнаты, за круглым столом сидело человек семь товарищей, из коих две или три женщины... Я закрыл дверь и повернулся к Диме и Сергею.

— Не стоит... Их слишком мало... Не по воробьям же стрелять из пушек...

Пошли назад... Спустились мимо тов. Брекс.

— Что это вы так скоро, товарищи? — заскрипел ее неприятный голос.

— Да нам, оказывается, не туда; нам в район. Мы ведь здесь ничего не знаем... из провинции мы... — объяснил я.

В дверях Партклуба стоял молодой красивый офицер «Чона» и холодно пронизательно смотрел на нас... Мы вынырнули из подъезда и быстрым шагом пошли по Мойке к Невскому...

Я оглянулся раза два... Погони не было... Кажется, все сошло благополучно.

В душе сразу воцарилась реакция — сказалось огромное напряжение нервов... Досада на неудачу, на медлительность и нашу растерянность заполнила все мое существо.

Мы как-то машинально перешли мост и пошли по Невскому к Гостиному двору.

День был полон неожиданных событий...

Когда мы остановились у какого-то ларька против Гостиного двора, чтобы утолить жажду, меня сзади окликнули:

— Ларионов!

Я с ужасом оглянулся: ко мне подходил мой старый школьный друг Н. Он был в форме...

— Ты какими судьбами здесь? Ведь говорили, что ты, — он понизил голос, — был в Белой армии и за границей?

— Да... я приехал сюда на пару дней...

— Ну, как поживаешь, что делаешь?

Н. стал подробно и оживленно рассказывать о себе... Шагах в двадцати за нами шли в полном недоумении Дима и Сергей с портфелями, набитыми гранатами Новицкого, а почти рядом с ними шли два спутника Н. в такой же форме, как и он...

Я старался меньше рассказывать и больше расспрашивать о школьных товарищах...

— К. был красным офицером, служил в гаубичной батарее и застрелился года два тому назад... В. женат, служит, имеет двух детей и страшно бедствует... Р. — коммунист.

Рассказал и я ему бегло о наших общих друзьях в эмиграции... По-видимому, он что-то сообразил, так как почти не расспрашивал о моей личной жизни...

У Аничкова моста мы крепко пожали друг другу руки и разошлись — каждый своей дорогой... Дороги наши были действительно различны... Через три месяца, когда в советской печати появилась моя фамилия, бедный Н., вероятно, пережил неприятные минуты, вспоминая встречу у Гостиного двора...

В вечернем трамвае давка. На остановках хвосты служащих и рабочих. Меня совсем сжали на задней площадке. Изворачиваюсь, как угорь, спасая тонкое стекло баллонов с газами. Нажми на мою грудь чье-нибудь плечо и... скандал получился бы незаурядный...

У дверей Нардома под навесом прячется публика от дождя. По-видимому, заседание по вопросу о «снижении цен» началось, так как входящих больше нет. Впрочем, вот две женщины в «коже» и красных платках на голове входят в обширный вестибюль оперы...

Сказав спутникам: «Ждите меня у подъезда», я направился за этими двумя женщинами в вестибюль.

У входа на главную лестницу женщин остановили: четверо чекистов в форме склонились над их пропусками...

Я тотчас вынырнул из подъезда...

— Четверо — это много... — решил я. — Правда, внезапность на нашей стороне, но, покуда мы будем расчищать себе дорогу в зал, в зале уже начнется паника, толпа хлынет на лестницы... Так что даже в случае прорыва через контроль нам все же вряд ли удастся бросить бомбы в зале... Будь нас человек хотя бы шесть, «плenum ленинградского совета» был бы в этот июньский вечер взорван...

Дима сказал:

— Если прикажешь, я готов — мне все равно, где и как... Всюду одинаково угробят...

— Нет, лучше завтра в Партклуб... Там уже знакомее обстановка, — таково было мое окончательное решение.

Две неудачи значительно ухудшили настроение. В душе я упрекал себя за недостаток решимости. Но привычка, еще со времени гражданской войны, заставляла, помимо логики и рассудка, слушать еще какой-то внутренний голос. Сколько раз он спасал мне жизнь! Этот голос твердо и определенно говорил мне: «Завтра в Партклуб...»

Дождь лил как из ведра. Над мрачным серым Питером болотные испарения, туман и фабричные перегары смешивались в мокрый желтоватый сумрак...

Я переутомился. Бессонные короткие, прерывистые ночи, сырая земля, непрерывный дождь, проникающая до костей сырость... Постоянное беспокойство, оглядки направо и налево, страшное напряжение нервов и воли — все это давало о себе знать... Решение было непоколебимо, но душа жила в каком-то хаосе движений. В эти тяжелые часы мысли уходили в прошлое героических походов на Кубани: тени Корнилова<sup>18</sup>, Маркова<sup>19</sup>, Тимановского<sup>20</sup>, Шлерлинга<sup>21</sup> пронеслись над моим утомленным обессиленным сознанием, звали к твердости и борьбе до конца. В сумрачной толпе чужих, серых лиц, под взглядами чекистов столько раз лихорадочно работала мысль:

«Разве эти подвиги — жертвы, героизм Корнилова и Маркова не обязывают и нас на всю жизнь, навсегда продолжить тернистый, славный их путь? Разве для того только в сотне битв не коснулась немногих нас смерть, чтобы кончали мы бесславно жизнь свою на задворках Европы? Мы, о которых сказал поэт:

Не склонившие в пыль головы  
На Кубани, в Крыму и в Галлиполи...

Это и есть смысл нашей жизни: предпочитать смерть — пыли».

В данном случае перед дверью «партклуба» была пыль; за дверью стояла — оскаленная смерть...

Третьего не было...

Было восемь часов и три четверти...

Белый вечер, сырой и теплый, висел над «Ленинградом». Звонки трамваев, шарканье человеческих гусениц по панелям, стук собственного сердца — частый и тревожный — вот и все, что воспринимало сознание. И еще оно восприняло ясно и четко, что у подъезда Партклуба стоит милиционер, что ворота в проходной двор в соседнем

доме заперты на солидный висячий замок и остается единственный путь бегства — на Кирпичный переулок...

Прошли перед «мильтоном». Он скосил на нас глаза и отвернулся... Выглянули на него из-за угла Кирпичного. О счастье! «Мильтон» неторопливым шагом побрел к Гороховой... Путь, значит, свободен!..

— Смотрите не отставать, — говорю я спутникам, чувствуя, как мой голос звучит отчаянием кавалерийской атаки.

Тяжелая дверь еле поддается...

Я знаю наверное, что на этот раз — все будет...

В прихожей полумрак. Товарищ Брекс беседует о чем-то с маленьким черноватым евреем; они оба склонились над какими-то списками. Еврей в чем-то упрекает тов. Брекс, и она, видимо, сильно смущена. Низкая лампа освещает их лица. Прямо перед нами лестница наверх, налево вешалка — мы уже здесь все знаем.

— Распишитесь, товарищи, и разденьтесь, — кидает торопливо т. Брекс, показывая на вешалку, и продолжает свое объяснение.

«Федоров, № партбилета 34», — вывожу я неровным почерком...

Дима лепит кляксу, Сергей на сей раз не вынимает уже «партийного» билета...

Поднимаемся наверх, идем по коридору, видим в конце коридора зал с буфетной стойкой и далее — вход в коммунистическое общество.

Из-за стойки выходит какая-то сухощавая молодая женщина и идет нам навстречу. Я с портфелем под мышкой, вежливо расшаркиваюсь:

— Доклад товарища Ширвиндта?

— Дверь направо...

— Очень благодарен, товарищ...

Тяжелая, почти до потолка, дубовая дверь... Как сейчас помню медную граненую ручку... Кругом роскошь дворца.

Нет ни страха, ни отчаяния, ни замиранья сердца... Впечатление такое, точно я на обыкновенной, спокойной неторопливой работе...

Дверь распахнута. Я одну-две секунды стою на пороге и осматриваю зал. Десятка три голов на звук отворяемой двери повернулись в мою сторону... Бородка тов. Ширвиндта а-ля Троцкий склонилась над бумагами... Столик президиума — посреди комнаты... Вдоль стен — ряды лиц, слившихся в одно чудовище со многими глазами... На стене «Ильич» и прочие «великие». Шкапы с книгами. Вот все, что я увидел за эти одну-две секунды...

Закрываю за нами дверь...

Я говорю моим друзьям одно слово: «можно», и сжимаю тонкостенный баллон в руке...

Секунду Димитрий и Сергей возятся на полу над портфелями, спокойно и деловито снимая последние предохранители с гранат...

Распахиваю дверь для отступления... Сергей размахивается и отскакивает за угол. Я отскакиваю вслед за ним... Бомба пропищала... и замолкла. Еще секунда тишины, и вдруг страшный нечеловеческий крик:

— А... а... а... а... Бомба!..

Я, как автомат, кинул баллон в сторону буфета и общежития и побежал по лестнице... На площадке мне ударило по ушам, по спине, по затылку звоном тысячи разбитых одним ударом стекол: это Дима метнул свою гранату.

Сбегаю по лестнице...

По всему дому несутся дикие крики, шуршание бегущих ног и писк, такой писк — как если бы тысячи крыс и мышей попали под гигантский пресс...

В прихожей-вестибюле с дико вытаращенными глазами подбегает ко мне тов. Брекс.

— Товарищ, что случилось? Что случилось? — еле выдавливает она из себя...

— Взорвалась адская машина, бегите в милицию и в ГПУ — живо! — кричу на нее командным голосом.

Она выбегает за дверь и дико вопит на Мойку:

— Милиция!!! Милиция-а-а!..

Сергея уже нет в вестибюле. Я ерошу волосы на голове — для высканивания на улицу в качестве пострадавшего коммуниста, кепка смята и положена в карман, пальто-плащ бросаю в клубе. Жду Диму... Второй баллон в руке наготове.

Секунда... вторая... третья...

Медленно сходит Дима... Рука — у немного окровавленного лба; лицо, однако, непроницаемо-спокойно. Не торопясь, он подходит к вешалке, снимает свой плащ и надевает его в рукава...

— Ты с ума сошел... скорее.. живо!.. — кричу ему и кидаю баллон через его голову на лестницу.

Звон разбитого стекла... и струйки зеленого дымка поднимаются выше и выше — это смерть.

Наконец мы на улице. Направо к Кирпичному — одинокие фигуры, налево от Невского бежит народ кучей, а впереди, шагах в тридцати—сорока от нас милиционеры — два, три, четыре — сейчас уже не скажу.

В эту минуту все плавало в каком-то тумане... Уже не говорил, а кричал мой внутренний голос: «Иди навстречу прямо к ним!..»

Я побежал навстречу милиции, размахивая руками. Дима бежал за мной. Какой-то человек выскочил за нами из двери клуба — весь осыпанный штукатуркой, как мукой, обогнал нас и кричал впереди:

— У... у... у... у!..

— Что вы здесь смотрите? — закричал я на советскую милицию. — Там кидают бомбы, масса раненых... Бегите скорее... Кареты скорой помощи... Живо!!!

Лица милиционеров бледны и испуганы, они бегом устремились в Партклуб.

Мы с Димой смешиваемся с толпой, где быстрым шагом, где бегом устремляемся через Невский, на Морскую к арке Главного Штаба... На Невском я замечаю рукоятку маузера, вылезшего у меня на животе из прорезов между пуговицами на френче. Запихиваю маузер поглубже, достаю из кармана кепку и набавляю шаг.

Из-под арки Главного Штаба, как ангел-хранитель, выплывает извозчик. Хорошая, крепкая лошадка — редкое исключение. У ваньки открытое, добродушное русское лицо.

— На Круговой вокзал!

— Два с полтиной положите?

— Бери три, только поезжай скорее!..

Из-под темной арки Главного Штаба показывается площадь Зимнего Дворца — тот самый путь, по которому некогда бежал Канегиссер...

Лошаденка бежит резво. Я немного опасаясь, как бы не отрезали мосты, но через Литейный проезжаем пока что спокойно.

Дима пьян от радости, возбуждения и удачи. Он заговаривает с извозчиком:

— Ты, братец, не коммунист?

— Нет, что вы, господин, из нашего брата таких мало, крест на шею носим...

— Молодец, ты, извозчик, хороший человек...

Потом Дима машет рукой проходящим по тротуару барышням и что-то кричит им... Довольно сбивчиво рассказывает он мне, что с ним случилось после взрыва бомбы:

— Понимаешь, когда я бросил бомбу, я смотрел в дверь — как она взорвется. Ну, дверь сорвало и ударило мне по башке, вот и кровь на лбу. Когда я очухался и пошел к лестнице, какой-то длинноволосый с портфелем под мышкой танцевал предо мной. Я ему крикнул: «Что ты, трам-тарарам, болтаешься под ногами...» Потом выхватил «парабеллум» и выстрелил ему в пузо... Длинноволосый схватился обеими руками за зад и медленно сел на пол, а я пошел дальше и увидел тебя в вестибюле...

(В советском сообщении сказано: «Тов. Ямпольский успел выскочить при взрыве из комнаты и самоотверженно схватил бандита за обе руки; тот выхватил пистолет и выстрелил товарищу Ямпольскому в живот».)

Дима помолчал немного и сказал:

— А Сережка-то, верно, влип. Он ведь не знает города и вряд ли доберется один до вокзала. Вот бедняга...

Из-за поворота улицы показалось знакомое здание вокзала с часами... Было 9 ч 30 мин. Поезд на «Красноостров» отходил в 9 ч 40 мин. Оставалось 10 минут до отхода... Но эти десять минут тянулись как десять часов... Мы с Димой ходили взад и вперед по дощатой платформе вдоль почти пустого вечернего поезда и не спускали глаз со входной калитки, следя, не появится ли отряд чекистов, но все было благополучно. Редкие пассажиры шли все в одиночку, возвращаясь с работы, неся портфели или сумочки с провизией. Наконец минутная стрелка подпрыгнула к 9 ч 40 мин, и поезд, толкнувшись с грохотом буферами, медленно поплыл вдоль длинной платформы...

Многодневный тяжелый камень скатился с сердца. Хотелось кричать «ура!». Хотя и таились впереди еще опасности, но по сравнению с той, откуда мы только что выскочили, они казались игрой... Да и что могло быть? Ну, задержали бы поезд, начали бы искать по вагонам, проверять бумаги, но ведь в темноте, среди лесов, полей и болот, мы всегда бы с Димой, при помощи револьверов и ручных гранат, отбились бы от трех-четырех чекистов, а ведь больше и не могло быть на маленьких пригородных станциях... А там — ищи ветра в поле.

Но вот и Левашово. Только вышли в дождливый, теплый мрак, изпод которого тускло мелькали станционные фонари, слышим за своей спиной знакомый голос:

— Это вы, черти! Что же вы, трам-тарарам, стоворились бежать на Кирпичный, а сами...

— Сережка! — радостно закричал Дима.

Оказывается, Сергей сел в поезд уже на ходу. Во время его бегства случилась целая эпопея: когда кинутая им бомба не разорвалась, он выскочил на улицу и уже там услышал взрыв. Добежав до Кирпичного переулка, он свернул в него; шла суматоха, народ бежал на взрыв; какой-то дворник свистал и гнался одно время за Сергеем, но он успел замешаться в толпе на Невском и вскочил в трамвай. За 40 минут, оставшихся до поезда, он увидел, что ошибся трамваем, пересаживался на другие трамваи и, наконец, добрался до вокзала за полминуты до отхода поезда. Нечего было и думать брать билет. В поезде, во время контроля, с него потребовали штраф в размере двойной стоимости проезда. У бедного Сергея не хватило 50 копеек...



— Ну что же, гражданин, на следующей станции вам придется пройти со мной в железнодорожное ГПУ...

— Товарищ, — взмолился Сергей, — мне очень спешно, я еду к больной матери...

Контролер был неумолим. Вдруг сидевшая напротив Сергея старая еврейка сжалась и дала ему 50 копеек. Сергей, конечно, всеми святыми поклялся вернуть ей долг и взял ее адрес.

Какие-то силы решительно благопритествовали нам. Ведь Сергей, не зная совсем города, спасся действительно чудом.

Делясь отрывочными впечатлениями о только что совершенном и пережитом, идем к нашему пункту, где были закопаны в мох остатки наших денег и сверток с провизией на обратный путь.

На перекрестке дорог к нам подошли два молодых крестьянина:

— Не знаете, товарищи, дорогу в Дранишники?

— Идемте с нами, я вам покажу, где сворачивать, — ответил я.

Пошли вместе по мягкой лесной дороге. Перекинулись несколькими фразами. У поворота мы сердечно простились с нашими ночными спутниками. И чувствовался некий символ в том, как разошлись мы с ними разными дорогами. Символично было и пожатие руки, и прощальное — «до свидания»... Да, до свидания, быть может, не в далеком будущем России Зарубежной, откуда мы сейчас пришли, с Россией подлинной, Родиной нашей несчастной...

Через десять минут мы были уже «дома» — под елками... Дима посмотрел на наше ложе в последний раз и сказал:

— А ведь и здесь не так уж плохо... Даже жаль уходить...

Перешагнули через старые окопы, подлезли под колючую проволоку и зашагали по болотистому лугу. При помощи светящегося компаса, карты и электрического фонарика я довольно уверенно пошел к границе. Я ни минуты не сомневался в успехе перехода, но, конечно, пункты погранохраны ГПУ и наиболее тщательно охраняемые районы мне не были ведомы.

Около 11 часов ночи мы вышли на шоссе и по правой обочине зашагали быстрым шагом прямо на северо-запад.

Трудно было решить, что нам выгоднее, идти ли по дороге, рискуя встретить красных, но выиграть время, или прятаться по медвежьим углам и болотам и потерять еще сутки, в течение которых могла быть организована широкая облава по границе... Успех взрыва так окрылил меня, что теперь казалось море по колено, и я решил идти до последней возможности по шоссе, обходя лишь лесом встречные деревни.

По дороге изредка навстречу нам двигались возы, ехали крестьяне в телегах и двухколесках... Грохот колес и огоньки сигарок предупреж-

дали нас о встречах издалека. В таких случаях мы сворачивали с дороги, ложились за кусты и пропускали встречных.

Все шло благополучно. Благоприятно было и то, что за нами небосклон был охвачен черной тучей и, наоборот, впереди нас был розоватый просвет, на фоне которого четко проецировались фигуры встречных. Кроме крестьян с возами мы пропустили всадника с винтовкой и двух военных в шарабане.

В 12 ч ночи дошли до Черной речки и до деревни того же имени. Я знал еще раньше, что деревня эта пользуется плохой славой — коммунистическая, и что есть в ней пункт пограничного ГПУ... Под высоким каменным мостом сделал я привал и, разложив карту, при свете электрического фонарика стал искать обходного пути лесом...

Пока я изучал карту, Сергей играл с наганом и доигрался — спустил курок. Слава богу, патрон оказался испорченным — выстрела не последовало. И тут нам повезло...

После недолгого раздумья я решил обойти Черную Речку лесом. Шли обходом довольно долго. Слева переливались, то приближаясь, то отдаляясь, огни деревни. Оттуда несся многоголосый глухой собачий лай... Весь луг по болоту и перелески у деревни были обмотаны колючей проволокой, и очень скоро на одежде у нас появились дыры и руки засочились кровью.

Наконец из светлеющего полумрака белой ночи мелькнула ровная лента шоссе...

Как легко стало шагать после болота... Прошли мимо большого темного строения с вышкой. По карте это — постоялый двор. Впоследствии, впрочем, мы узнали, что это был не постоялый двор, а пункт пограничного ГПУ.

Револьверы у нас в руках — наготове.

Около часу ночи заметили впереди две маячившие серые фигуры. Свернув в лес, мы стали ждать, когда они пройдут мимо нас по шоссе. Фигуры же эти не проходили. Я выглянул из-за куста: люди стояли, не двигаясь. Видно, пост ГПУ...

— Обойдем их лесом.

Свернули в лес, но обошли мы их, видимо, недостаточно глубоко и, вероятно, сильно трепали хворостом... Впрочем, вывод этот пришлось сделать не сразу, а через несколько минут...

Когда я вышел на дорогу, было почти совсем светло — белая ночь кончалась... Дорога была пуста. Дима и Сергей карабкались через канаву. Я еще раз оглянулся на дорогу, но не успел я сделать и пяти шагов, как услышал грубый мужской голос:

— Стой, руки вверх!..

В двадцати шагах от нас на шоссе стояли два высоких человека в длинных непромокаемых плащах, и оба навели на нас нагапы. У одного из них, на короткой привязи, напружинившись, рвались две здоровые собаки-волка... Вслед за окриком защелкали выстрелы у самых наших ушей. Зазвенел и заныл воздух...

— В лес бегом, не стрелять!.. — крикнул я и одним прыжком скатился в канаву, в густой кустарник.

Мальчики бежали рядом. Выстрелы защелкали нам уже вслед, но не в упор, как несколько секунд тому назад, а из-за кустов. (По советским данным: «В ту ночь в 1 ч 03 мин патруль обнаружил трех неизвестных, направляющихся к границе. В завязавшейся перестрелке убита собака».)

Мы бежали часа два, изменив резко направление к северу, к Ладогe, стараясь ступать по воде — по ручейкам и лужам. Пугали нас не два чекиста, а их собаки, что было значительно опаснее, если бы им удалось выйти на наш след...

Я знал, что значит «тревога на границе»: через две-три минуты к месту тревоги через изгороди, чащу и пни понесутся десятки всадников. Телефоны по всем постам протрубят об облаве, вся погранохрана будет поставлена на ноги... Не лучше ли спрятаться в какой-нибудь яме и дожидаться следующей ночи, а не приближаться к границе сейчас, уже обнаруженными и, быть может, даже выслеженными?..

Тревоги по линии границы я больше всего и боялся...

Прошло часа три после встречи с постом. Идя полуоборотом на запад, счастливо пробрались через широкое проводочное в три кола заграждение. Часов в пять утра совершенно мокрые — до нитки, найдя в чаще глубокую яму, решили залечь в ней... Уверенности в благополучном переходе границы теперь уже у меня не было.

Заморосил дождь. В этой проклятой яме сидеть было донельзя неудобно. Дима, любитель покушать, все время ругал последними словами Сергея, бросившего при встрече с постом сумку с провизией.

Шестнадцать часов — с 5 ч утра до 9 ч вечера — мы, голодные и мокрые, пролежали в яме без движения. В лесу, кругом, была тишь, только один раз послышался отдаленный звук собачьего лая. К вечеру, в довершение всех бед, на нас напали тучи болотных комаров.

В 9 ч дождь прошел и выглянуло ясное небо. Я встал, расправил кости, вынул компас и, нацелив стрелку, повел мой «отряд» в дальнейший путь. Шли мы очень долго, то ныряя в болотах, то пробираясь сквозь гущу колючего можжевельника. В клубах поднявшегося тумана великанами высились огромные сосны и густые ели... Переходили много раз узкие тропы, часто со свежим конским следом.

«Патрульная дорожка», — не без тревоги в душе думали мы...

Пересекли несколько просек. С большой опаской прошли несколько открытых полянок. Не без удовольствия ныряли в гостеприимную темную чащу, еще и еще увязали в болотах. К часу ночи мои спутники взмолились:

— Да верно ли мы идем? Может, заблудились?.. Давайте искать деревню, чтобы поесть..

— Я больше не могу идти от голода, — наконец категорически заявил Дима.

Я убеждал моих юных друзей еще сделать одно усилие, собрать все силы; алгал им, говоря, что слышу уже шум реки... Но около 2 часов ночи действительно вдали за чащей леса послышался глухой шум реки... Лес кончался. Мы вышли на какой-то туманный луг, на краю которого за изгородью виднелись сараи и дома.

— Не стоит обходить, гайда бегом через луг!..

Бегом взяли изгороди и каналы. За лугом оказалась опять густая чаща. Идем наконец лесом на усиливающийся речной шум. Вот, наконец, и большой обрыв, под обрывом болотистая долина и через нее серебро блестящей в тумане Сестры-реки.

На финской стороне пели и перекинулись кукушки... Слышались всплески на повороте реки...

Минуту мы молча стояли у обрыва, словно не веря открывшейся речной долине, потом с бьющимися от радости сердцами стали спускаться по круче, хватаясь за ветки и кусты.

Ласково и нежно журчали струйки Сестры...

Черный бор на обрыве русской стороны был глух и нем, накупившись черной шапкой.

Секунда раздумья, и я прыгнул в реку... Обожгло холодом... Вода оказалась по грудь. Подняв высоко маузер, скользя по камням, я пробирался на другой берег. Течение сильно валило.

За мной бросились в реку и Дима с Сергеем. Сергея, самого малого из нас, течение сбilo с ног. Дима подхватил его:

— Ну, Сережка, не пускай пузыри! — и вынес его на противоположный берег.

— А ты уверен, что это действительно — Сестра? — спросил Дима, когда мы уже переплыли реку.

Я молча указал ему на красный пограничный столб с гербом Финляндии и щелкнул маузером, выбрасывая патрон из ствола.

— Знаешь, я должен сказать тебе, что все время сомневался, что ты нас выведешь к границе... Здоров ты, хоть и худ и выглядишь паршиво, а выносливее нас с Сережкой...

У пограничного столба Сергей поднял кулак в сторону лесистого обрыва на русской стороне и отсалютовал ГПУ наганом... Гулко раздался выстрел над спящей речной долиной.

Все было позади — тревоги, опасности, усталость...

Страшное напряжение сил и нервов сменилось знакомым чувством — пустоты и тишины после боя...

Мы шли вдоль Сестры по гладкой утоптанной тропинке...

Несется пение кукушки... Опять этот клик тоски и печали северных лесов, опять эта песня об ушедшем без возврата...

*С. Войцеховский<sup>22</sup>*

### «ТРЕСТ»<sup>23</sup>

История боевой организации, созданной и возглавленной генералом А.П. Кутеповым<sup>24</sup>, состоит из двух частей. Первая — с 1922 года до начала апреля 1927 года — была попыткой кутеповцев проникнуть в Россию и там закрепиться для активной борьбы с поработившей отечество коммунистической диктатурой и противодействием, оказанным этой попытке чекистами и их орудием, так называемым «Трестом». Вторая — с июля того же 1927 года до похищения А.П. Кутепова в Париже 26 января 1930 года — отмечена несколькими удачными боевыми действиями на русской территории и, к сожалению, гибелью большинства участников.

Их подвиг освещен подробно, как зарубежной русской печатью, так и советскими сообщениями о «белогвардейском терроре», но о называвшей себя Монархическим Объединением России или «Трестом» чекистской «легенде» существуют лишь лживая советская версия — роман Льва Никулина «Мертвая зыбь» — и труды нескольких американских, польских и русских авторов, которые, с одним исключением, с «Трестом» не соприкасались и писали о нем понаслышке, не располагая к тому же достаточной документацией.

Между тем история этой советской провокации, направленной против русской эмиграции и иностранцев, заслуживает внимания и изучения потому, что в изменившейся за десятилетия обстановке ее цель и методы во многом совпадают с целью и методами более поздних коммунистических провокационных и дезинформационных начинаний. Поэтому, как свидетель событий, связанных с историей «Треста», я считаю долгом рассказать то, что мне известно, и дополнить этот рассказ многими еще нигде не опубликованными документами.

За помощь, оказанную мне сведениями о «Тресте», благодарю г-жу Наталию Грант, А.А. Бормана<sup>25</sup>, А.С. Гершельмана<sup>26</sup> и Н.А. Пашенного<sup>27</sup>.

### Боевая организация

26 января 1930 года генерал-лейтенант Александр Павлович Кутепов вышел утром из своей парижской квартиры в церковь, но оттуда не вернулся. Встревоженная семья сообщила полиции его исчезновение.

Нашелся свидетель, сообщивший, что он видел, как в автомобиль втокнули человека, похожего на пропавшего без вести русского генерала, но проверить это показание не удалось.

Эмигранты не сомневались в том, что Кутепов стал жертвой советского преступления, но улики не было. Если французское правительство ими располагало, оно до сих пор молчит, но несть ничего тайного, что не стало бы явным.

Кем был человек, ради которого чекисты пошли на риск этой — как выразился Шиманов — «операции» в столице иностранного государства?

Он был прославленным белым военачальником, но Москва знала, что вооруженная борьба не возобновится на русской территории в существовавшей тогда внутренней и внешней обстановке.

Он был пронизательным политиком и — как сказано в воспоминаниях князя С.Е. Трубецкого<sup>28</sup> — «слишком трезвым практиком, чтобы придавать значение детально разработанным вне времени и пространства программам будущего государственного устройства России». «Возрожденную Россию, — говорил он, — нужно строить, отнюдь не копируя старую, но и не обрывая исторической преемственности с лучшими традициями прошлого... Неизмеримо глубоки пережитые потрясения и социальные сдвиги».

Он был обаятельным и сильным. Это признавали даже люди, политически от него далекие. Так, например, еврейский общественный деятель Г.Б. Слиозберг написал в 1934 году: «Фигура Кутепова нам всем представлялась легендарной. Его огромный организаторский талант, его абсолютное умение влиять на массы армии, всеобщее к нему уважение офицерского состава — все это окружало имя Кутепова особым обаянием». По мнению того же Слиозберга, Кутепов был вождем, способным «очистить Россию от наносного зла большевизма и восстановить порядок, укрепить новый режим, согласный с народной волей».

Коммунисты это понимали. Знали они и то, что, говоря о потрясениях и сдвигах, Кутепов не хотел быть их пассивным наблюдателем. «Не

будем, — сказал он в апреле 1929 года, — предаваться оптимистическому фатализму и ждать, что все совершится как-то само собой... Лишь в борьбе обретем мы свое отечество».

Чекисты не сомневались в том, что этот призыв к активности не был пустой фразой. Именно поэтому они решили Кутепова уничтожить. Вероятно, в этом им помогли предатели-эмигранты — Скоблин<sup>29</sup>, Плевицкая<sup>30</sup>, Третьяков<sup>31</sup>.

Охоту на Кутепова большевики начали за несколько лет до его похищения. Их орудием стала организация «Трест».

Словом «Трест» в переписке с Кутеповым и другими эмигрантами пользовались для конспиративного обозначения якобы существовавшего в Москве тайного Монархического Объединения России возглавлявшие эту — выражаясь чекистским языком — «легенду» советские агенты: бывший генерал-лейтенант императорской службы, профессор советской военной академии Андрей Медардович Зайончковский, бывший российский военный агент в Черногории, генерал-майор Николай Михайлович Потапов, бывший директор департамента министерства путей сообщения, действительный статский советник Александр Александрович Якушев.

Было ли это объединение сразу создано как легенда или состояло вначале из действительных монархистов и стало ею после захвата руководства Якушевым и Потаповым, сказать трудно. Во всяком случае, с ноября 1921 года связь с эмигрантами оказалась в их руках.

Первым, под предлогом служебной командировки советского экспортного учреждения, за границей побывал Якушев. В Ревеле он встретился с Юрием Александровичем Артамоновым<sup>32</sup>, которого знал до революции. Он рассказал ему, что в России существует тайная монархическая организация, возглавленная Зайончковским.

Артамонов был моложе Якушева. Он воспитывался в Александровском лицее, стал в годы войны вольноопределяющимся лейб-гвардии Конного полка, участвовал в Белом движении в рядах Северо-Западной армии. Рассказ Якушева он сообщил в Берлин своему другу и однополчанину, князю Кириллу Алексеевичу Ширинскому-Шихматову<sup>33</sup>.

Никулин утверждает, что чекисты это письмо перехватили и что Якушев, вернувшись в Москву, был немедленно арестован, но что Дзержинскому удалось уговорить его стать не только тайным, но и усердным сотрудником чекистов по борьбе с эмиграцией, которую он якобы возненавидел за ее неосторожность.

Мне эта версия кажется недостоверной. Я многократно видел Якушева. Он не казался человеком, испытывавшим душевную драму. Я думаю теперь, что он был умным и ловким актером. Это позволяет предположить, что в Ревель он приехал по советскому заданию.

Через Артамонова Монархическое Объединение России, сокращенно называвшее себя М.О.Р., установило связь с Высшим Монархическим Советом, состоявшим из приверженцев Великого князя Николая Николаевича. Затем был налажен контакт с польским генеральным штабом. Артамонов переехал в Варшаву и был там признан резидентом тайной русской монархической организации.

В августе 1923 года Якушев побывал в Берлине, участвовал там в совещании о созыве эмигрантского монархического съезда и был принят на французской Ривьере великим князем, которому сказал, что М.О.Р. «отдает себя в его распоряжение».

В октябре Потапов, перешедший с Якушевым границу из России в Польшу и снабженный польским паспортом, съездил в Париж и в Сремские Карловцы, к Великому князю и к генералу Врангелю, который отнесся отрицательно к попытке вовлечь его в орбиту М.О.Р.

В начале 1924 года великий князь предложил Кутепову возглавить то, что тогда называли «работой специального назначения по связи с Россией». Согласие Кутепова можно считать днем рождения боевой организации.

«Опыта в революционной борьбе, — написал значительно позже о Кутепове хорошо знавший его человек, — у А.П. не было. Все приходилось создавать внове... Было необходимо, прежде всего, почувствовать биение сердца поработенной России — узнать, чем живет и дышит русский народ, и узнать не от посторонних лиц, а от своих верных и преданных людей... Они первые и начали свои походы в глубь России» (Ген. Кутепов: Сб. статей. Париж, 1934).

Переход границы был в те годы более легким, чем стал позже, когда проволочные заграждения, сторожевые вышки, прожекторы, многочисленные патрули и безлюдная пограничная полоса отделили Россию от внешнего мира, но и тогда нужны были мужество и готовность взглянуть смерти в глаза.

Скажу по собственному опыту — легче было перейти границу из России в свободную страну, чем в обратном направлении. Каждый шаг человека, уходившего с родины, приближал к спасению. Каждый отдававший от границы шаг — увеличивал опасность.

В то время бытовая ткань дореволюционной России была уже искажена, но еще не уничтожена. Тайно проникший в Россию эмигрант видел много знакомых черт, но риск его подстерегал. Это испытали даже те, кто, после соглашения Кутепова с М.О.Р., сами того не зная, охранялись бдительным оком чекистов.

Можно спросить, почему Кутепов, посылая людей в Россию, воспользовался предложенной ему помощью М.О.Р.? Объяснение, мне кажется



ся, в том, что первоначальная задача сводилась к разведке, к желанию узнать, чем стала страна после нескольких лет революции. Связь с тайной монархической организацией обеспечивала кутеповцам относительную безопасность. Из них двое прожили в Москве долго.

Мария Владиславовна Захарченко при первой встрече казалась сдержанной и молчаливой. Знавшие лучше называли ее смелой, волевой и охваченной жестокой ненавистью к большевикам. На внешность она внимания не обращала, одевалась просто. К обветренному, загоревшему лицу косметика не прикасалась. Во всем облике было что-то твердое, мужское. Замужем она была дважды. Первый муж был убит на германском фронте, второй — в Белой армии.

Георгий Николаевич Радкович стал офицером накануне революции, сражался с коммунистами в рядах Добровольческой армии, в ноябре 1920 года был эвакуирован из Крыма в Галлиполи. С Марией Владиславовной его сблизил общий «поход» в Россию, где они, до начала апреля 1927 года, пользовались покровительством М.О.Р., торговали с лотка на одном из московских базаров и изредка возвращались в Париж или Гельсингфорс для доклада Кутепову о своих наблюдениях.

Общаясь с другими участниками Кутеповской организации, они ни разу не высказали подозрения в возможности советской провокации в М.О.Р. Верили провокаторам мои друзья, верил им и я.

Мы были молоды и воспитаны в традициях той России, для которой военный мундир был порукой чести. Мы не могли представить себе генералов Зайончковского или Потапова презренным орудием чекистов. Мы были, до известной степени, одурманены открывшейся перед нами возможностью легкой связи с Россией и благополучного оттуда возвращения.

В доверии к М.О.Р. нас укрепляло отношение генеральных штабов — финляндского и польского — к этой, как мы думали, тайной монархической организации. Мы сознавали себя не бедными, бесправными эмигрантами, а звеньями мощного подпольного центра на русской земле. Наша переписка с Кутеповым и с М.О.Р. перевозилась в дипломатических вализах иностранными курьерами и — как теперь известно из воспоминаний бывшего польского офицера и дипломата Дриммера — не вскрывалась и не расшифровывалась. Слепление финнов и поляков не оправдывает нашего, но оно его отчасти объясняет.

Обязывавшая нас конспирация облегчала советским агентам их задачу. Она ограничивала наш кругозор, не допускала обсуждения и анализа того, что считалось строжайшей тайной. Посоветоваться нам было не с кем — это было бы ее нарушением. Мы были готовы на любую жертву, но, по сравнению с чекистами, были наивными детьми. Кутепов был осторожнее, но мы это тогда не знали.

В Москве Мария Владиславовна пришла к выводу, что советская власть укрепляется и что только террор может ее поколебать. Кутепов это мнение разделил. Он придавал террору самодовлеющее значение и предполагал, что совершенные кутеповцами террористические акты вызовут в России — как он мне сказал — детонацию.

Когда Захарченко, с его согласия, сообщила Якушеву отношение Кутепова к террору, ответом был резкий отпор. Красной нитью в письмах Якушева Кутепову, в его разговорах с Артамоновым и мною проходила обращенная к эмигрантам просьба: «Не мешайте нам вашим непрошеным вмешательством; мы накапливаем силы и свергнем советскую власть, когда будем, наконец, готовы».

В начале июля 1926 года настал день, когда мне пришлось сообщить Кутепову категорический отказ М.О.Р. от террора. Вопрос был поставлен ребром. Развязка стала неизбежной.

Захарченко и Радкович знали в Москве участника М.О.Р., называвшего себя Стауницем. Они даже были отданы под его попечение. Якушев, в переписке с эмигрантами, называл его Касаткиным и министром финансов тайного монархического Объединения, но за границей, по понятной теперь причине, он не появлялся.

В апреле 1927 года Стауниц внезапно сознался Захарченко в том, что он в действительности латыш Опперпут, в свое время проникший, как советский агент, в савинковский Народный Союз Защиты Родины и Свободы. Потрясенной этим признанием женщине, он сказал, что М.О.Р. — чекистская «легенда», а Якушев, Потапов и скончавшийся в 1926 году Зайончковский всегда были только исполнителями указаний Г.П.У. Он прибавил, что раскаялся в этом прошлом и хочет помочь находящимся в Москве кутеповцам, посоветовав им немедленное бегство за границу. В тот же день он и Захарченко двинулись в Финляндию, а Радкович и два его соратника — в Польшу. Советскую границу все перешли благополучно.

В Финляндии Опперпут повторил Кутепову, финнам и вызванным из Варшавы польским офицерам то, что он в Москве сказал Захарченко. Он напечатал свои разоблачения в финляндской прессе и в рижской газете «Сегодня». Он обратился к Кутепову с просьбой дать ему случай искупить вину перед эмиграцией участием в террористическом акте на советской территории. Вопреки совету тех, кто Опперпуту не поверил, Кутепов согласие дал.

В конце мая из Финляндии вышли в Россию две группы террористов. Первая состояла из Опперпута, Захарченко и молодого офицера Петерса. Ее целью была Москва. Вторая — марковец-артиллерист Виктор Александрович Ларионов и бесстрашные юноши, Сергей Соловьев

и Дмитрий Мономахов — должна была совершить террористический акт в Петрограде.

«Каждый террорист, — сказано в изданной позже в Москве народным комиссариатом по иностранным делам книге «Белогвардейский террор против СССР» (1928 г.), — был вооружен двумя револьверами, большим маузером, ручными гранатами, бомбами и другими взрывчатыми веществами... Ленинградская группа определенного объекта покушения не имела. Было предоставлено ее усмотрению выбрать подходящее партийное и иное собрание. Московская группа должна была взорвать общежитие сотрудников О.Г.П.У. на Лубянке. Условлено было лишь, что ленинградская группа должна действовать лишь тогда, когда в печати появятся сведения о взрыве в Москве».

Это требование Опперпута обрекало петроградскую группу на бездействие и давало чекистам неограниченный срок на ее поимку. Но Ларионов не выдержал бездействия. Он и его друзья проникли 7 июня 1927 г. в здание партийного клуба на Мойке и забросали бомбами происходившее там собрание. По советским сведениям, 26 его участников были ранены, многие — тяжело. Пользуясь возникшей паникой, террористы скрылись и счастливо выбрались в Финляндию.

Для политбюро эта удача кутеповцев была не только неожиданной, но и страшной, потому что в тот же день в Варшаве был смертельно ранен советский полпред (посол) Войков, а вблизи польской границы — убит председатель Минского Г.П.У. Опанский, проезжавший по железнодорожному пути на открытой дрезине. Сделавшие это террористы обнаружены не были.

Судьба московской группы сложилась трагически для Захарченко и Петерса, а судьба Опперпута окончательно не разгадана. В книге о «белогвардейском терроре» он не упомянут, словно никогда не существовал.

«Хотя ей, — сказано в этой книге о группе, — удалось подложить в дом № 3/6 по Малой Лубянке в Москве мелинитовую бомбу весом в четыре килограмма, последняя в ночь на 3 июня была обнаружена, и, таким образом, бедствие было предотвращено».

Участники покушения — по этой советской версии — пытались уйти на Запад, но смерть Марии Владиславовны в перестрелке с облавой вблизи станции Дретунь и смерть Петерса в такой же перестрелке вблизи Смоленска описаны в книге подробно. Существуют документы и свидетельские показания, эту версию подтверждающие.

Однако Г.П.У. в опубликованном в советской печати сообщении Опперпута назвало белым террористом и, даже больше, описало его смерть в месте и при обстоятельствах, полностью совпадающих с теми,

которые народный комиссариат по иностранным делам связал с судьбою Петерса. Возникло поэтому обоснованное мнение, что Опперпут вернулся из Финляндии в Россию не для участия в терроре, а для противодействия ему.

Осенью 1944 года, в Берлине, генерал В.В. Бискупский<sup>34</sup> рассказал мне, что в годы германской оккупации Киева немцами был разоблачен и расстрелян советский подпольщик, называвший себя Александром Коваленко и бароном фон Мантейфелем, но оказавшийся чекистом Опперпутом.

После гибели Захарченко и Петерса кутеповцы совершили в 1927 году еще несколько походов в Россию, но это обошлось им дорого — организация потеряла по меньшей мере 80 процентов своего состава. Некоторые были захвачены большевиками и расстреляны. Другие были убиты с оружием в руках, в столкновениях с пограничной охраной или чекистами. На берегу Онежского озера, в окрестностях Петрозаводска, пал в перестрелке один из участников боевой вылазки Ларионова — Сергей Владимирович Соловьев.

Организация была обескровлена, но ее последнее слово сказано не было. В следующем году Радкович и Мономахов дошли до Москвы. Из них первый 6 июня взорвал бомбу в бюро пропусков на Лубянке. Застигнутый погоней вблизи Подольска, он застрелился. Судьба Мономахова мне не известна.

Пришлось подумать о пополнении кадров. Нужны были и средства, которых у Кутепова всегда было мало. В 1929 году наметилась возможность их получения, и притом не из иностранного, а из русского источника — из заграничных вкладов дореволюционной России. Страх большевиков перед возобновлением боевой активности кутеповцев мог ускорить парижское преступление чекистов.

Оглядываясь назад, можно спросить, нужны ли были жертвы, понесенные организацией? Были ли они оправданы немногими боевыми удачами?

Уцелевшие участники описанных мною событий могли сказать, что для них организация была политической школой. Она раскрыла им глаза на методы борьбы коммунистов с эмиграцией, и часть этого опыта до сих пор не лишена значения, но, поднимая оружие против большевиков, кутеповцы думали не об этом. Их вели в бой другие побуждения. В иностранной литературе об этой эпохе существуют строки, посвященные Георгию Николаевичу Радковичу. Их написал американец Павел Блэксток. Я их, в переводе с английского, повторю: «Как и все остальные добровольные участники боевой организации генерала Кутепова, в течение нескольких лет проникавшие в С.С.С.Р. с разведывательными

и террористическими заданиями, Георгий Радкович полностью отдавал себе отчет в связанном с этим риске. Его жена и друзья уже лишились жизни в таких походах. Говоря беспристрастно, дело, которому он служил, было действительно безнадежным, но тем, кого бы мы сегодня назвали истинно верующими, нет нужды надеяться для того, чтобы что-либо предпринять. Когда он метнул свои бомбы и превратил в развалины часть ненавистной главной квартиры тайной полиции, Радкович должен был испытать мгновение свершения и преобразования, редко достигаемое обыкновенным человеком. Его безымянные соратники тоже заслужили место в храме славы испытавших поражение. Они не написали воспоминаний. Умирая, они не произносили речей, а история их забыла. Их эпитафией остался страдальческий возглас одного из них: «Для нас нет ни снисхождения, ни сострадания!»

Кутеповцы не ожидали ни награды, ни славы. Их единственным побуждением была любовь к поруганной России. Эту любовь они нам завещали.

### «Трест»

Впервые я услышал имя Дмитрия Федоровича Андро де Ланжерона<sup>35</sup> в ноябре 1918 года, в осажденном петлюровцами Киеве. Он был тогда, по назначению гетмана Скоропадского, губернским старостой (губернатором) Волыни и привел оттуда в окруженный противником город отряд державной стражи (полиции).

В начале 1919 года в Одессе, где я был переводчиком при французском консуле Энно, политическое отделение штаба войск Добровольческой армии узнало, что мой отец хочет пробраться в занятый уже не украинцами, а большевиками Киев, к оставшейся там семье. По поручению штаба поручик Арсений Федорович Ступницкий<sup>36</sup>, в котором тогда никто не предсказал бы будущего редактора парижских советофильских «Русских Новостей», предложил мне сопутствовать отцу в этом опасном путешествии и восстановить утерянную связь с киевским тайным добровольческим центром. Накануне отъезда он вручил мне удостоверение, в котором было сказано, что моя служба во французском консульстве «являлась полезной для дела Добровольческой армии».

9-го марта, в вагоне возвращавшегося во Францию Энно, мы приехали в Яссы, а оттуда двинулись дальше вдвоем по только что испытанной войне Европе. Этапами были: веселый и беспечный Бухарест; населенный трансильванскими немцами Кронштадт; занятый румынами Арад; великолепный Будапешт; голодающая Вена и, наконец, Вар-

шава, где мы задержались в ожидании возможности перейти затихший польско-советский фронт. Нам помогли князь Евстафий Сапета и генерал Николай Иванович Глобачев<sup>37</sup>, возглавлявший в Польше миссию дореволюционного Российского Красного Креста, занятую репатриацией военнопленных из Германии. Сапета устроил пропуск в Пинск и снабдил письмом к капитану Шарскому, начальнику опорного пункта польской разведки в этом городе, а Глобачев — удостоверениями, в которых мы были названы возвращающимися на родину киевлянами.

До нашего отъезда из Одессы представителем Добровольческой армии был там генерал Гришин-Алмазов<sup>38</sup>. В Варшаве мы узнали из газет, что его сменил генерал Шварц<sup>39</sup>, назначивший Андро помощником по гражданской части.

13 мая отец и я, простившись с Шарским у моста через Пину, перешли его и не погибли в весеннем половодье безлюдного Полесья только благодаря случайной встрече с крестьянином, жителем деревни Кривичи, не занятой ни поляками, ни большевиками. У него мы переночевали, а на следующее утро он в лодке доставил нас в Парахонск, где на железнодорожной станции хозяйничали красноармейцы.

Этот поход был для меня преддверием трагических событий. В Мозыре нам пришлось, по требованию станционного начальства, участвовать в разгрузке стоявших на запасном пути товарных вагонов, из которых мы выносили трупы скончавшихся от тифа людей. В Коростене нас задержали как «колчаковцев», но вскоре отпустили.

В Киеве отец был узан, арестован и расстрелян. Я скрывался на Демиевке — окраине Киева — как рабочий национализированного садоводства. Управлял им бывший владелец, русский немец. Там я встретился с генералом К. и полковником С., которых нельзя было назвать активным добровольческим центром — жили они только надеждой на скорое освобождение города приближавшимися к нему белыми войсками.

Вместо них первыми заняли Демяевку сечевые стрелки Коновальца, но на следующий день, после короткой перестрелки у городской думы с передовым добровольческим отрядом, им пришлось из Киева уйти.

Прикомандированный к управлению главноначальствующего Киевской области, генерала Абрама Михайловича Драгомирова<sup>40</sup>, я радостно надел погоны и пришел к рукаву трехцветный угол, но радость оказалась непрочной. Освобождение не дало киевлянам ни безопасности, ни порядка. Большевики ворвались в город 1 ноября, но были отброшены за Ирпень, а 3 декабря я простился с матерью и братом Юрием, не зная, увижу ли их когда-либо.

В конце января 1920 года, при оставлении Одессы генералом Н.Н. Шиллингом<sup>41</sup>, я, как многие участники борьбы с большевиками,

был брошен в порту на произвол судьбы. Меня и сослуживца, прапорщика Кравченко, спасло измышловки возвращение в город. Незнакомая еврейская семья впустила в свою квартиру постучавших в дверь «золотопогонников».

Взбраться из захваченной большевиками России мне удалось лишь в сентябре 1921 года. Перейдя у деревни Майкове, вблизи Острога, установленную Рижским договором польскую границу, я вернулся в Варшаву, куда до меня — тем же, нелегальным с советской точки зрения, образом — перебрались из Киева мать и брат. Во время этих испытаний я ни разу не вспомнил Д.Ф. Андро де Ланжерона.

В Варшаве насущной заботой стали имущественные дела, расстроенные смертью отца, войной и инфляцией. Они привели меня к адвокату Антонию Корнецкому. Он был поляком и ревностным католиком — настолько ревностным, что Ватикан пожаловал ему звание папского камергера, — но в то же время другом русских эмигрантов.

Отбыв в молодости воинскую повинность вольноопределяющимся лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, расквартированного в Варшаве, он навсегда сохранил добрые отношения с его офицерами. Их фотографии в доломанах и парадных ментиках не исчезли из его кабинета, когда в России случилась революция, а Польша стала независимой республикой. При распространенной тогда русофобии это было редким проявлением гражданского мужества. Эмигранты это оценили и шли к Корнецкому толпой.

Однажды, дату вспомнить не могу, он познакомил меня со своим клиентом — высоким, грузным и, по сравнению со мной, не молодым человеком, Димитрием Федоровичем Андро. Он показался мне тогда стариком. Теперь я знаю, что было ему лет пятьдесят с небольшим и что происходил он от одного из тех французских роялистов, которым император Павел Петрович предоставил убежище на Волыни.

Обрусевший внук французского эмигранта окончил Пажеский корпус, участвовал в Турецкой кампании 1877—1878 годов, командовал после нее Донским казачьим полком. Поэтому и правнук, мой новый знакомый, был пажом, выпущенным в 1890 году из корпуса лейб-гвардии в Казачий полк. Уйдя в запас в чине сотника, он поселился в Ровенском уезде, в имении Деражня. Там застала его революция.

В 1921 году, после раздела Волыни на советскую и польскую часть, он благоразумно решил избавиться от близости к границе. Деражня была продана графу Потоцкому, а Андро приобрел другое поместье в Поморском воеводстве, недалеко от Данцига. Обойтись без адвоката он не мог, а для меня встреча с ним у Корнецкого стала первым шагом к

участию в организации, стяжавшей печальную известность под условным обозначением — «Трест».

Не знаю, почему Андро захотел со мной познакомиться, но предполагаю, что причиной была моя служба в варшавском телеграфном агентстве Русспресс. В польской столице существовал в те годы русский военно-исторический кружок, основанный генералом Пантелеймоном Николаевичем Симанским<sup>42</sup>. Военное искусство и история не были единственными темами его собраний. Положение России также привлекало внимание. Я дважды рассказал в нем то, что видел и пережил под советской властью. Сократив эти сообщения, я послал их, как статьи, парижскому «Общему Делу», которое их напечатало. Их заметил владелец Русспресса Сергей Михайлович Кельнич. Ему я обязан тем, что на многие годы стал профессиональным журналистом.

Андро, жившему в деревне и бывшему в Варшаве наездом, не хватало злободневной информации. Он ее получал в разговорах со мной. Мы встречались в просторной квартире его польского родственника, нотариуса Руляницкого. Андро, вторым браком, был женат на его сестре Марии Антоновне.

Помню место этих встреч — светлый зал в старом доме на Медовой улице, скудно обставленный роялем, пальмами в кадках и мягкими креслами в коленкорových чехлах вокруг низкого, круглого стола. Там, весной 1923 года, Андро познакомил меня с Юрием Александровичем Артамоновым, которого назвал представителем Высшего Монархического Совета.

Согласившись на это свидание, я предполагал, что увижу человека пожилого. Членами Совета, обосновавшегося в Берлине, были люди, создавшие себе имя до революции. В моем воображении они были синклитом почтенных старцев. Возраст их представителя меня удивил. Артамонов был только года на три старше меня. Лев Никулин, автор «Мертвой зыби» — изданного в 1967 году в Москве лживого советского рассказа о «Тресте», состарил его на десять лет, приписав окончание Лицея в 1907 году. В действительности он был лицеистом последнего выпуска — окончил его после революции, весной 1917 года, уже будучи вольноопределяющимся Лейб-Гвардии Конного полка.

Он был красив — той мягкой, женственной красотой, которой славилась некоторые дворянские и купеческие семьи таких приволжских губерний, как Нижегородская и Ярославская, да он и был волжанином по матери, рожденной Пастуховой. Особенно хороши были глаза — синие, оттененные длинными ресницами. В обращении он был благовоспитанным петербуржцем. В Варшаве, где русскими эмигрантами были большей частью беженцы из южных и западных губерний, некоторые обороты его столичной речи привлекали внимание.



Разговор, в присутствии Андро, был короток и незначителен. Я не скрыл от представителя зарубежных монархистов, что не верю в возможность свержения большевиков эмигрантами или иностранцами. Во мне еще было живо ощущение стихийной силы обрушившейся на Россию катастрофы. Неотвратимость некоторых порожденных ею перемен казалась мне очевидной. Отношение к Белому движению, к жертвенному подвигу его участников оставалось положительным, но повторение в прежнем виде казалось невозможным. Коммунисты были для меня поработителями русского народа, его злейшими врагами, но взрыв сопротивления в сердце страны — в Москве — казался вернейшим путем к освобождению.

Артамонов меня выслушал и предложил продолжить разговор на следующий день.

Даже не все коренные варшавяне жили тогда в собственных квартирах. В переполненном городе, ставшем столицей нового государства, это было для многих недоступной роскошью. Приезжие и эмигранты ютились по чужим углам. Артамонов снимал комнату в польской семье, на Маршалковской улице, в ее спокойной, не торговой части. Обстановка показалась мне не трудовой. На письменном столе, над стопкой разноязычных книг, лежала ракета. Ее владелец, очевидно, только что, в полдень, вернулся с теннисной площадки.

Заговорив о мнениях, высказанных мною у Андро, он прибавил, что полностью их разделяет — борьба должна возобновиться в России, где, впрочем, она уже ведется. Высший Монархический Совет, признался он, был ширмой, которую Андро назвал по его просьбе. В действительности он представляет в Варшаве другую, тоже монархическую, но тайную организацию, существующую не в Берлине, а в Москве. Назвав ее Монархическим Объединением Центральной России, он сообщил, что оно возглавлено генералом Андреем Медардовичем Зайончковским, создавшим в 1918 году, после захвата власти большевиками, антисоветский кружок офицеров-монархистов.

Вскользь упомянув свою недолгую причастность к этому кружку, он затем рассказал службу в Северо-Западной белой армии генерала Юденича<sup>43</sup>; описал нелегкую жизнь в Эстонии после демобилизации русских добровольческих частей; заговорил о Ревеле, где его положение улучшилось благодаря знанию иностранных языков, и закончил рассказ встречей с бывшим воспитателем Лицея, тайным монархистом и советским служащим, воспользовавшимся заграничной командировкой для установления связи с эмигрантами.

Эта встреча, по его словам, была не единственной. В Ревеле побывали и другие посланцы из Москвы. Отношения наладились настолько, что

М.О.Ц.Р. назначило его своим резидентом в Варшаве. В подтверждение он показал удостоверение второго отдела польского генерального штаба о том, что «господин Юрий Артамонов проживает в Польше с ведома этого штаба и пользуется его покровительством». Все это было сказано просто, без рисовки и громких слов.

Он не предложил мне стать членом М.О.Ц.Р., не потребовал присяги в соблюдении тайны, не настаивал на каком-либо обязательстве, но ограничился просьбой помочь ему разобраться в тех сторонах местной жизни — польской и русской, — которые знал недостаточно.

Я был польщен доверием и взволнован тем, что услышал. Ни малейшего недоверия к Артамонову во мне не возникло ни тогда, ни позже, когда я — четыре года спустя — узнал, что тесно связанное с боевой организацией генерала Александра Павловича Кутепова Монархическое Объединение России, бывшее М.О.Ц.Р., было в действительности орудием чекистов. После полутора лет кустарной, но увлекательной подпольной работы Союза Освобождения России, в которой я участвовал в Одессе и Ананьеве в 1920—1921 годах, мне, в благополучном варшавском спокойствии, недоставало борьбы, опасности и выполнения национального долга. Я искал применения моему патриотизму. Артамонов его указал.

Другого я тогда не видел. Русская эмиграция в Польше была ослаблена, разбита постигшими ее ударами — принудительным отъездом Б.В. Савинкова<sup>44</sup> в Прагу и высылкой Л.И. Любимовой<sup>45</sup> и ее сотрудников по русскому зарубежному Красному Кресту из Варшавы в Данциг. Выходившая в Варшаве под редакцией Д.В. Философова газета «За Свободу» была не только антисоветской, но и республиканской. Ее враждебное, даже злобное отношение к русским монархистам изменилось значительно позже, после удачного покушения Б.С. Коверды на жизнь советского полпреда Войкова.

Где-то далеко, в Югославии, был генерал Петр Николаевич Врангель. Светлый ореол озарял его имя в моих глазах с тех дней, когда Союз Освобождения России, летом 1920 года, установил из Одессы связь с белым Крымом, но в возможность военного похода эмигрантов в Россию я не верил. Артамонов сказал мне то, что я хотел услышать.

Четыре года меня обманывала та советская «легенда», в которую Артамонов невольно, как продолжаю думать, меня вовлек. В апреле 1927 года провокация была разоблачена «бежавшим» из Москвы в Гельсингфорс чекистом Опперпутом, называвшим себя в М.О.Р. одновременно Стауницем и Касаткиным. Я не сомневаюсь в том, что его «бегство» было ходом в сложной игре чекистов, вынужденных ликвидировать «Трест», но желавших сохранить контроль над боевыми дей-

В ствиями Кутеповской организации. Советские сообщения о судьбе Опперпуга, после его возвращения из Финляндии в Россию, настолько противоречивы, что поверить им невозможно. Обнаружил я эти противоречия позже. В 1927 году появление Опперпуга за границей и его разоблачения были для меня тяжким ударом.

23 мая, по просьбе Артамонова, я передал ему письмо, обращенное к «господину Александровичу». Этот прозрачный псевдоним был создан наспех — М.О.Р. и Кутеповская организация называли его Липским. Письмо подвело итог моему участию в том, что, по непростительной доверчивости, долго казалось нам существующей в России тайной монархической организацией. Не сохранилось оно, я, вероятно, не все бы вспомнил.

К счастью, могу привести его полностью, прибавив в скобках несколько поясняющих слов.

«Вы, — сказано в письме, — обратились ко мне от имени начальника второго отдела генерального штаба польской армии с просьбой восстановить в моей памяти и изложить в письменном виде содержание моей переписки с Монархическим Объединением России — «Трестом». Я охотно исполняю эту просьбу, так как считаю, что в сложившейся обстановке выяснение всех обстоятельств дела «Треста» в одинаковой степени важно как для русской национальной эмиграции, так и для Польши.

Моя переписка с М.О.Р. началась вскоре после нашего знакомства и установления связи между Вами и мною. Продолжалась она, более или менее регулярно, с 1923-го по 1927 год, прекратившись лишь в апреле с. г. по причинам Вам известным. Однако и по своей интенсивности, и по содержанию переписка эта распадается на несколько самостоятельных периодов.

Первый из этих периодов может примерно считаться со дня нашего знакомства до того дня, когда Вы познакомили меня с Александром Александровичем (Якушевым) и Николаем Михайловичем (Потаповым). В этот период я совершенно не касался в моих письмах, адресованных в «Правление «Треста», вопросов организационных. Письма этого периода могут быть названы информационными.

Содержание их касалось главным образом событий местной политической жизни и было пересказом тех моих статей и корреспонденции, которые одновременно опубликовывались мною в существовавших тогда и частично продолжающих существование ныне органах русской заграничной печати.

Наиболее интенсивной и регулярной была отсылка таких информационных писем в первый год моей переписки с М.О.Р. Дабы ниже не

возвращаться к этому вопросу, отмечу, что постепенно отправка этих писем начала становиться более редкой, а затем и совершенно прекратилась ввиду того, что на мои запросы, обращенные к Александру Александровичу, о том, насколько эти мои произведения могут представлять для него интерес, ответа я не получил, а сам считал мои сообщения не представляющими для М.О.Р. достаточного интереса ввиду общей и, так сказать, публицистической трактовки тем. Постепенно отправка такого рода информационных писем прекратилась совершенно, и лишь в 1927 году мною вновь было отправлено Александру Александровичу несколько таких писем — на этот раз простые, дословные копии моих статей, опубликованных в газете «Руть».

После свидания моего с Александром Александровичем переписка начала адресоваться мною на его имя, но в содержании ее появился новый элемент, который может быть назван организационным. В первые месяцы после моего знакомства с А.А. переписка продолжала быть интенсивной, то есть письма отправлялись довольно часто и мною были сделаны А. А-чу некоторые предложения о расширении связей М.О.Р., но ответ был получен отрицательный, и потому переписка этого рода тоже постепенно ослабела.

Из отдельных затрагивавшихся в ней тем я припоминаю следующие:

- а) о Петлюре;
- б) о Рижском мирном договоре;
- в) о моей работе в русской заграничной печати;
- г) о Димитрии Федоровиче (Андро де Ланжероне);
- д) о польской национальной демократии.

Письмо о покойном С.В. Петлюре было написано А. А-чу после моего свидания с Петлюрой, устроенного мне ныне также покойным членом Центрального Украинского Комитета в Польше А.Ф. Саликовским. Описание этого свидания и заявления Петлюры, им самим для меня написанные, были мною несколько позже опубликованы в печати, так что в настоящее время они не составляют тайны.

Письмо о Рижском договоре было — точно не помню — или отправлено А. А-чу в Москву, или передало ему во время его второго пребывания в Варшаве. В этом письме я изложил мой взгляд на Рижский мирный договор как на единственную возможную основу отношений между Россией и Польшей, даже после падения советской власти; осудил как непрактичную точку зрения той части русской эмиграции, которая не имеет мужества принимать обязывающие в области внешней политики решения, и советовал М.О.Р. стать на мою точку зрения и исходить из Рижского договора, как базы для будущих русско-польских отношений. Я констатировал, что опасность для мирного развития рус-

ско-польских отношений может быть создана не только попыткой нарушения Рижского договора, в территориальном отношении, Россией, но и поддержкой украинского и белорусского сепаратизма внутри России со стороны Польши, если бы польская политика, вопреки Рижскому договору, стала на этот путь. А.А. — насколько я помню — разделил в разговоре со мной эту точку зрения на Рижский договор.

Письмо о моей работе в русской заграничной печати довольно подробно излагало мои связи с русскими органами печати и предлагало М.О.Р. мои услуги по распространению в этой печати правильных сведений о положении в советской России. Ответом на это письмо была присылка на мое имя материалов, передававшихся мне через Вас. Одно время среди этих материалов были «сводки Г.П.У.», а затем, главным образом, статьи Серова по церковным вопросам.

Эти статьи были мною широко использованы для пропаганды против антицерковной политики большевиков и продолжали поступать до самого конца моей переписки с М.О.Р., то есть до апреля с. г., так что последнее письмо Серова о причинах ареста митрополита Сергия было опубликовано мною в парижском журнале «Борьба за Россию» уже после появления Опперпута в Финляндии и его разоблачений. Впоследствии, после установления регулярной связи в «окно» (согласованное М.О.Р. с польским генеральным штабом место перехода польско-советской границы участниками «Треста» и Кутеповской организации) через Михаила Ивановича (оказавшегося впоследствии чекистом М.И. Криницким), я неоднократно получал от него, по моей просьбе, минскую газету «Звезда» и различные советские журналы, которыми также широко пользовался в моей профессиональной работе.

Письма о Д.Ф. (Андро де Ланжероне) содержали описание моих разговоров с ним, как с лицом, считавшим себя связанным с М.О.Р. Как Вам известно, ничего интересного и существенного ни эти разговоры, ни взгляды Д.Ф. на положение не представляли.

После свидания А.А. (Якушева) с представителями польской национальной демократии, на котором я не присутствовал, мною была составлена и отправлена (или передана) А. А-чу очень подробная записка об этом польском политическом течении. Записка эта не касалась организационной стороны жизни польской политической партии, мне совершенно не известной, но подробно разбирала истоки национал-демократической идеологии в Польше, причины переживаемого польским обществом идеологического кризиса, причины падения авторитета национал-демократов в польском обществе и, со сравнительно большой точностью, предсказывала неизбежность кризиса и перехода власти в Польше в руки маршала Пилсудского. В конце записки я предсказы-

вал неизбежное, в будущем, образование новой польской национальной идеологии и распад течений, так или иначе связанных с тем временем, когда Польша жила в состоянии «разделов». Копия этой записки довольно долго мною хранилась, но после майского переворота (захвата власти Пилсудским в мае 1926 года) я использовал изложенные в ней мысли, переставшие быть запретными, в моих статьях и корреспонденциях из Польши, а самую рукопись за ненадобностью уничтожил.

За весь этот период переписка продолжала быть односторонней, то есть отдельные ответы на затрагивавшиеся мною вопросы давались А. А-чем в его письмах на Ваше имя, а я сам пишу от А. А-ча не получал.

Я считаю это главной причиной того, что постепенно моя переписка с М. О. Р. замерла и наступил второй период, тянувшийся с середины 1924-го до апреля 1927 года. В этот период я всецело перешел к отправке в М.О.Р. материалов, извлеченных из периодической печати с двумя исключениями, о которых ниже.

Отправка материалов, извлеченных из печати, началась с отсылки А. А-чу вырезок из газет по вопросам, могущим, как тогда казалось, представлять для него интерес. Постепенно отправка вырезок превратилась в отсылку обзоров, которые первоначально составлялись на пишущей машинке, а затем, для упрощения работы, путем наклейки вырезок из газет на бумагу и касались исключительно жизни русской эмиграции, почти исключительно — вне пределов Польши. Никакого материала, кроме извлечений из газет, в эти обзоры совершенно сознательно не включалось. Копии тех обзоров, которые составлялись на пишущей машинке, у меня сохранились, и я прилагаю их к настоящему письму, одновременно соглашаясь на их предъявление начальнику второго отдела генерального штаба, но обращаясь к Вам с просьбой о возвращении их мне, ибо в сложившейся обстановке (обнаружении советской провокации в М.О.Р.) они являются для меня крайне ценным оправдательным документом. Всего в М.О.Р. мною было отправлено 85 таких обзоров.

Насколько память мне не изменяет, за весь этот период я только раз обратился к А. А-чу с письмом по принципиальному вопросу. Оно касалось возможности моей поездки на состоявшийся в апреле 1926 года в Париже Зарубежный Съезд и выясняло отношение М.О.Р. к желательности моего участия в этом съезде. Через Вас мною было получено подписанное А. А-чем письмо с любезным, но категорическим заявлением о том, что этот «курьезный», по выражению А. А-ча, съезд его не интересует.

Вторым исключением была моя переписка с М.О.Р. во время Вашего прошлогоднего (в 1926 году) отпуска. Мною было получено из Москвы,

через генеральный штаб, несколько пакетов с сопроводительными письмами, подписанными либо А. А-чем, либо С. Мещерским. Сопроводительные письма эти не содержали ровно ничего интересного, а приложенные к ним письма на имя ген. Кутепова и других лиц были мною отправлены по назначению. В Москву мною, при сопроводительных письмах, отправлены были (через генеральный штаб и дипломатических курьеров) письма, полученные от ген. Кутепова и, насколько помню, первая часть рукописи В.В. Шульгина<sup>46</sup> «Три столицы».

В тот же период в Варшаве состоялось мое свидание с П.Б. Струве. Подробное письмо об этом свидании и пожеланиях Струве было отправлено в Москву и адресовано «в правление «Треста».

Вышесказанным моя переписка с М.О.Р., насколько помню, исчерпывается. Остается сказать несколько слов о моей переписке с Александром Алексеевичем Денисовым (псевдоним А.А. Лангового). Я написал ему за все время существования нашей связи несколько писем по общим евразийским организационным и идеологическим вопросам и получил несколько ответов, которые тогда же были мною приняты и охарактеризованы в разговоре с Вами как отписки. Кроме А. А-ча и А.А. Денисова я ни с кем из М.О.Р. — «Треста» не переписывался.

По содержанию вышеизложенного я всегда готов дать генеральному штабу как устные, так и письменные разъяснения. Поскольку эти разъяснения могут затронуть вопросы, выходящие за пределы расследования того, чем был в действительности «Трест», а касающиеся внутренних эмигрантских дел и отношений, я считаю необходимым получить предварительное письменное разрешение генерала Кутепова».

Заключительная фраза моего письма показывает, насколько, даже в трудные дни разоблачения чекистской провокации, которой мы, эмигранты, невольно способствовали верой в существование в России большой и мощной подпольной монархической организации, соратники А.П. Кутепова по борьбе с большевиками стремились оградить свое русское достоинство.

Согласие Кутепова на сообщение польскому генеральному штабу дополнительных сведений мне, однако, не понадобилось. Второй отдел удовлетворился письмом и не потребовал дополнений, ни письменных, ни устных. Его доверие к Кутеповской организации и ко мне поколеблено не было. Когда позже, по причине не связанной с делом «Треста», штаб изменил свое отношение к Артамонову и потребовал его отозвания из Варшавы, его преемником был назначен я.

Резидентом Кутепова в Польше я остался до его похищения чекистами в Париже, в январе 1930 года, и расстался с созданной им боевой организацией и со всякой тайной политической активностью не при нем,

а при том лице, которому генерал Евгений Карлович Миллер<sup>47</sup> поручил то, что тогда называлось «работой на Россию». Новый начальник организации хотел ее продолжить на началах, которым я — по деловым и личным побуждениям — сочувствовать не мог.

Копии посланных в Москву обзоров были мне возвращены. Сохранились полученные мною в 1926 году письма Якушева. Одно из них показывает, что отрицательное отношение М.О.Р. к моему участию в Зарубежном Съезде определилось не сразу.

Вначале Якушев поездку одобрил, но затем изменил мнение. Возможно, что причиной перемены было желание не допустить моей встречи с Кутеповым, которого я тогда знал только по его переписке с Артамоновым и «Трестом». Разговор с ним мог привести к сравнению наших впечатлений от Якушева и Потапова, а это могло поколебать доверие к ним. Москва на этот риск не пошла.

Сохранившийся ответ Якушева на пожелания Струве кажется мне ключом к пониманию одной из главных задач, поставленных чекистами их агентам в М.О.Р. Оно, может быть, объясняет не только это, но и одну из причин решенной возглавителями О.Г.П.У. «самоликвидации великой провокации».

\* \* \*

Артамонов был евразийцем. Он подарил мне «Исход к Востоку» — первый изданный в 1921 году в Софии евразийский сборник. От него я услышал имена Петра Николаевича Савицкого, князя Николая Сергеевича Трубецкого и Петра Петровича Сувчинского.

Восприятие России как особого мира, не европейского и не азиатского; признание идеи-правительницы необходимой основой успешной борьбы за освобождение от коммунизма и построение новой Империи; провозглашение идеократии наиболее прочным и разумным государственным строем; бытовое исповедничество как фундамент национальной жизни — все это казалось мне тогда, да и теперь кажется, привлекательным и верным. Исторические и геополитические труды основоположников евразийства дополнили то, что дало мне общение с Артамоновым, но евразийцем, в полном смысле слова, я не стал. Вначале этому помешала недостаточная связь Варшавы с Прагой и Парижем — главными очагами евразийского движения. Затем сказался присущий мне консерватизм, не мирившийся с революционностью некоторых евразийцев. Главной причиной стало позже решительное отталкивание от положительного отношения газеты «Евразия» к советчине.



Из видных участников движения я знал только П.Н. Савицкого. Переписка с ним возникла, по моему почину, в сентябре 1924 года. Прервало ее не разоблачение «Треста», а начало 1930 года, когда тот чистый, благородный человек, которым Савицкий, несомненно, был, не проявил достаточной твердости в сопротивлении проникшему в евразийскую среду предательству, называвшему себя идейным разногласием.

Встретился я с Савицким только раз, когда он, при содействии М.О.Р., ехал из Праги в Москву на тайный евразийский съезд, бывший — как теперь известно — чекистской инсценировкой. Мы встретились в Варшаве, у Артамонова, за час до отъезда на советскую границу. Ее предстоящий переход не способствовал разговору.

До или после «съезда» — точно вспомнить не могу — в Варшаве появился перешедший границу в «окно» Александр Алексеевич Ланговой, называвший себя евразийцем. Две его поездки в Польшу, упомянутые Никулиным в «Мертвой зыби», состоялись, по этой советской версии, зимой, но Артамонов познакомил меня с ним летом или осенью.

Молодой, долговязый, вертлявый человек со впалой грудью, сын московского врача, близкого до революции к Максиму Горькому и к другим революционным писателям, не понравился мне обостренным любопытством к связям эмигрантов с Россией и не ввязавшимися с «бытовым исповедничеством» эпикурейскими замашками. Во всей его повадке было что-то неприятное, порочное, но я подавил это впечатление, подрывавшее веру в М.О.Р., и не поделился им с Артамоновым. Теперь — благодаря Никулину — известно, что сестра Лангового, Наталия Алексеевна Рославец, была чекисткой.

Евразийство привлекло меня объяснением причин постигшей Россию катастрофы, но организационно я считал себя связанным не с ним, а с тем тайным Монархическим Объединением, которое в Варшаве представлял Артамонов. Я не ждал от него полной откровенности, понимая, что он связан конспирацией, которую не может, без необходимости, нарушить. Доверие объяснялось, помимо убеждения в порядочности Артамонова, тем, что М.О.Р. было возглавлено Зайончковским, бывшим командиром Петровской гвардейской бригады, которого должен был знать Кутепов, служивший в Преображенском полку.

Теперь я знаю из неопубликованных воспоминаний Александра Сергеевича Гершельмана, что побывавшие за границей эмиссары «Треста», встречавшиеся с русскими монархистами, называли и других бывших генералов, причастных, по их словам, к тайной организации в России, — Шапошникова, Лебедева и Потапова.

Первые два имени я в годы моей связи с М.О.Р. ни от кого не слышал, а в принадлежности Николая Михайловича Потапова к «Тресту» убедился осенью 1923 года.

\* \* \*

Артамонов постепенно рассказал мне не только существование в Москве сильной, сплоченной монархической организации, но и ее связь с великим князем Николаем Николаевичем, генералом Кутеповым и Высшим Монархическим Советом. Он сообщил, что Кутепов назначил его своим резидентом в Варшаве, и раскрыл мне картину того содействия, которое тайным монархистам оказывали штабы — польский, эстонский и финляндский.

Я не сомневался в том, что эта помощь дается не даром и что за нее М.О.Р. расплачивается нужными штабам сведениями о большевиках и их вооруженных силах, но, при моем отношении к коммунистам как к разрушителям России и поработителям русского народа, я не видел в этом ничего предосудительного. Я узнал, что письма Кутепова доставляются в Москву в польских дипломатических вализах и что так же привозятся оттуда ответы «Треста». В 1926 году я сам в этом убедился.

По собственному желанию — я не расспрашивал — Артамонов назвал Александра Александровича Якушева, ставшего первым звеном его соприкосновения с М.О.Р. Он описал его приезд в Ревель приблизительно так, как это значительно позже сделал Никулин в «Мертвой зыби».

В августе 1923 года Артамонов уехал на несколько дней из Варшавы в Германию. Там, в Потсдаме, в русской церкви, состоялось задуманное в Ревеле его венчание с Александрой Кирилловной Олсуфьевой. Мне показалось странным, что посаженным отцом жениха на этой свадьбе был Якушев, но недоумение осталось мимолетным — раз представитель М.О.Р. мог пользоваться советскими заграничными командировками для встреч с эмигрантами, его участие в семейном торжестве одного из них было незначительной подробностью.

Россия переживала расцвет «новой экономической политики». Ею, по мнению тех, кто верил в мощь М.О.Р., объяснялось многое, что позже, при Сталине, было бы очевидно невозможным. Кроме того, как верно сказано о «Тресте» в «Мертвой зыби», «в него верили потому, что подпольная монархическая организация в центре России была заветной мечтой эмигрантов».

А.К. Артамонова была молода, красива и общительна. Даже в таком блестящем, эlegantном городе, как Варшава, ее и мужа трудно было не

заметить, тем более что Артамонов нигде не служил и охотно бывал в обществе, сблизившись с кружком обеспеченных и развлекавшихся русских варшавян. Это вызывало подозрения. Пожилой эмигрант Гернгросс, бывший офицер, заполнявший досуг прогулками по городу, несколько раз, проходя по Саксонской площади мимо здания генерального штаба, заметил Артамонова, входившего в этот дом.

Своим наблюдением он поделился с моей матерью, прибавив, что пойманный им с поличным Артамонов несомненно состоит на службе штаба осведомителем о русской эмиграции. Это обвинение было безопаснее правды, а опровержение — не только невозможно, но и не желательное. Я, однако, рассказал Артамонову этот случай. Он повторил мой рассказ штабу, но ничто не изменилось — резидент М.О.Р. продолжал среди бела дня относить в штаб пакеты, предназначенные Москве, и возвращался туда за московскими ответами. Вскоре я убедился в том, что штаб был в конспирации так же неопытен, как и мы.

Зашифрованный дневник, отметивший дату моей первой встречи с Якушевым и Потаповым, был сожжен в июле 1944 года, когда советские войска подошли к Варшаве и его безопасное хранение перестало быть возможным. Помню, что осенью 1923 года, после возвращения из Германии, Артамонов предупредил меня о предстоящем приезде Якушева в Варшаву и прибавил, что приедет он не один, а со вторым, еще более видным участником М.О.Р. — бывшим российским военным агентом в Черногории, генералом Потаповым.

Свидание состоялось вечером, в небольшой комнате на Хлодной улице, № 5, где Артамоновы временно поселились после свадьбы. С порога бросилось в глаза светлое пятно — абажур невысокой лампы на столе у единственного, скрытого тяжелой портьерой окна. Справа от него сидел, наклонившись вперед, сутуловатый, лысый человек. Я заметил желтоватый, нездоровый цвет его лица; высокий лоб; некрасивый нос; пронизательный взгляд острых черных глаз. Второго гостя я рассмотрел не сразу — он был в тени, откинувшись на спинку стула. Не сразу я увидел тяжелое, полное тело и одутловатое, скуластое, очень русское лицо.

Впрочем, в этот вечер я меньше всего был занят внешностью приезжих. Внимание было поглощено другим — впервые я увидел в Варшаве людей, называвших себя монархистами и появившихся, как в сказке, из советской Москвы, а то, что я знал тогда об их дореволюционном прошлом, казалось оправданием безусловного доверия.

Теперь я знаю, что бывший генерал-лейтенант Потапов, называвший себя в «Тресте» Медведевым, был офицером генерального штаба, прослужившим 12 лет в Черногории и вернувшимся в Россию за

два с половиной года до Февральской революции, к которой он незамедлительно примкнул. Теперь мне известно, что большевики назначили его в ноябре 1917 года первым советским начальником генерального штаба, преемником отстраненного ими генерала Марушевского, и что позже он, по их назначению, был помощником управляющего военным министерством большевика Подвойского. Теперь я знаю содержание составленной им 7 декабря 1918 года и опубликованной Академией Наук СССР в первом выпуске ее «Исторического Архива» за 1962 год «Краткой справки о деятельности народного комиссариата по военным делам в первые месяцы после Октябрьской революции». Поэтому я теперь не понимаю, как могли его сверстники, бывшие начальники и сослуживцы, поверить в искренность его монархических взглядов. Но тогда — в комнате Артамоновых — все это мне не было известно, а Потапов был в моих глазах заслуженным офицером царской службы, поставившим на карту жизнь ради восстановления монархии.

Наигранная осторожность была проявлена Потаповым вскоре после нашей первой встречи, когда он попросил А.К. Артамонову и меня свезти его в Лазенки — романтический варшавский парк, украшенный прелестным, небольшим дворцом короля Станислава-Августа, лебединым прудом, отраженными в нем колоннами летнего театра и тенистыми аллеями у подножия крутого холма, на котором стоит другой дворец — исторический Бельведер. Просьбу он объяснил тем, что знал Лазенки в те далекие годы, когда молодым офицером начинал службу в расквартированном вблизи этого парка лейб-гвардии Волынском полку.

Встретившись в городе, мы наняли извозчика и въехали в Уздовские аллеи, ведущие к Лазенкам, когда Потапов вдруг, в безоблачное утро, попросил возницу поднять верх пролетки.

— Не нужно, — объяснил он, — чтобы нас увидели вместе.

В Лазенках этот человек, приехавший в Варшаву по указке чекистов для обмана эмигрантов и поляков, вел себя сентиментально. Он прошел в глубь парка, отыскал старую липу, раскинувшуюся над лужайкой, остановился и долго, сосредоточенно простоял под этим деревом, не сказав ни слова. Даже веселая и склонная к насмешке А.К. Артамонова была тронута оразившейся на нем печалью.

Якушев не прятался. Его встреча с Романом Дмовским и другими польскими национал-демократами упомянута в моем письме Артамонову. Неоднократно Артамоновы и я ужинали с ним в превосходных варшавских ресторанах. Он оказался опытным гастрономом и ценителем тонких вин.

В дни этого пребывания московских гостей в столице Польши мне показалось странным желание Якушева побывать в цирке. Артамонова оно тоже смутило. Он попробовал отговорить его от этой затеи, тем более что Потапов должен был в ней участвовать, но Якушев проявил настойчивость. Любовь к цирку, сказал он, настолько в нем сильна, что не увидеть варшавского он не может, а риск настолько невелик, благо в Варшаве никто его и Потапова не знает, что беспокоиться не о чем.

Мы неохотно уступили и просидели спектакль в ложе, на виду у всех. По пути в цирк Потапов мельком спросил мою жену, остался ли кто-либо из ее родственников в России. Из всегда соблюдавшейся нами, в этом отношении, осторожности, она ответила отрицательно. Теперь я думаю, что Якушев захотел побывать в цирке не из любви к нему. Он, вероятно, хотел показать предупрежденным об его приезде тайным советским агентам, что все — с точки зрения чекистов — обстоит благополучно.

Удивительным, по нарушению элементарной конспирации, был обед, данный Артамонову и мне начальником русской секции второго отдела генерального штаба, капитаном Михаилом Таликовским. Он пригласил нас в ресторан гостиницы «Бристоль» — один из лучших в Варшаве. Мы сидели в общем зале втроем — польский офицер в военной форме и двое русских эмигрантов.

До 1926 года этот обед был моим единственным контактом с генеральным штабом. Помню, как меня — во время этой встречи с Таликовским, несомненно располагавшим значительными средствами на представительство, — удивила его скромность. Далеко не новый мундир был аккуратно заплата на локте. Таликовский был поляком, но уроженцем Одессы, свободно говорившим по-русски. Писал он на этом языке правильно, по старой орфографии. Якушев и Артамонов называли его Михаилом Михайловичем. Сохранилось написанное им 20 мая 1924 года собственноручное письмо А.К. Артамоновой: «Многоуважаемая Сударыня! Честь имею известить Вас, что в ответ на телеграмму, посланную Юрием Александровичем, получен ответ: «В ночь с субботы на воскресенье 24—25 мая будем в окне. *Андрей Ев.*». Остаюсь с почетом, *Таликовский*».

Речь шла, очевидно, о зашифрованной телеграмме, посланной штабом по просьбе Артамонова своему представителю при польском посольстве в Москве для передачи М.О.Р., и об ответе, полученном этим офицером от «Треста». Не знаю, кто должен был тогда перейти границу из России в Польшу, так как ее в ту пору неоднократно переходили в обе стороны участники Кутеповской организации, но письмо Таликовско-

го, подписанное его подлинной фамилией, интересно как документ, освещающий отношения польского штаба к резиденту русской монархической организации.

Захват власти Пилсудским в мае 1926 года и наступившее год спустя разоблачение советской провокации в М.О.Р. не отразились на служебном положении Таликовского. Не знаю, когда именно он был переведен на другую должность, но весной 1928 года он все еще был начальником русской секции второго отдела — уже не капитаном, а майором.

В ту пору он и другой офицер того же отдела — погибший впоследствии в Катюни от чекистской пули блестящий кавалерист, поручик Марцин-Станислав Фрейман — неоднократно обращались ко мне с просьбой одолжить им полученные Русспрессом советские и эмигрантские газеты, в которых были упомянуты погибшие в России кутеповцы.

Возвращая эти газеты, они меня неизменно благодарили: Таликовский — письмами на бланках второго отдела; Фрейман — несколькими любезными словами на обороте частной или служебной визитной карточки. На отношении штаба ко мне не отразились ни печальный исход связи второго отдела с М.О.Р., ни разногласия между Кутеповым и Таликовским, возникшие в Гельсингфорсе весной 1927 года после «бегства» Опперпута из Москвы в Финляндию.

\* \* \*

В каждой тайной организации неизбежны перегородки, за которые участникам заглядывать не полагается. Я это понимал и не был обижен тем, что мои сведения о М.О.Р. расширились постепенно и неполно.

В руках Артамонова сходились нити, протянутые из Москвы к полякам и к некоторым русским эмигрантам, но он был только исполнителем и передаточной инстанцией, а Варшава — мостом между «Трестом» в Москве и Кутеповым в Париже. Одной из обязанностей резидента была забота об обильной почте, полученной из России или туда отсылавшейся. Кроме переписки Кутепова с М.О.Р., она содержала его письма тем участникам боевой организации, которым удалось, с помощью «Треста», закрепиться в Москве, и их донесения оттуда.

Кроме того, Артамонов изредка посылал Кутепову и чаще «Тресту» свои сообщения и доклады. Он привлек меня сначала к их зашифровке, а затем — к упаковке почты до ее отсылки. Ключом к шифру была напечатанная в 1924 году московским издательством «Работник просвещения» небольшая книга Л.Л. Сабанеева — «История русской музыки».

Каждая буква зашифрованного текста обозначалась четырьмя цифрами. Первые две указывали использованную строчку; вторые — место

буквы в этой строчке. Страница избиралась любая, и ссылка на нее также зашифровывалась. Необходимость избежать облегчающего расшифровку повторения одного и того же сочетания цифр замедляла это кропотливое занятие.

Все, что касалось М.О.Р., его связи с эмигрантами и иностранцами, шифровалось нами обязательно. То же правило соблюдалось при указании даты и места любого перехода польско-советской границы. Москва казалась менее осторожной — полученные мною в 1926 году письма Якушева были открыто напечатаны пишущей машинкой без какого-либо шифра. Это мне тогда показалось странным нарушением конспирации, но инерция доверия к автору писем, укрепленная присутствием купеческих в Москве и их отзывами о «Тресте», не позволила задуматься над этим глубже. В переписке с эмигрантами Артамонов иногда, скорости ради, пользовался не шифром, а так называемыми невидимыми чернилами, которые легко проявлялись слабым раствором йода в воде.

Евразийцы, в переписке с Варшавой, к шифру не прибегали. Они ограничивались тем, что заменяли некоторые имена и названия условными обозначениями, совпадающими с теми, которыми Артамонов пользовался в переписке с Москвой. Так, например, евразийство называлось нефтью; евразийцы — нефтяниками; Варшава — Женовой; Якушев — Федоровым или Рабиновичем; Ланговой — Денисовым; Артамонов — Липским; генеральный штаб — торговой палатой; коммунисты — конкурентами.

Существовали, вероятно, особые евразийские коды, которых я не знал. Лишь в августе 1927 года, через четыре месяца после разоблачения провокации в М.О.Р., П.Н. Савицкий сообщил мне такой код, помеченный номером десятым. Он содержал подробный перечень стран, городов, учреждений и лиц с их условными обозначениями. Я был назван Бариновым, тогда как «Трест» именовал меня Петровским.

Много лет спустя я узнал, что генералы Кутепов и Врангель пользовались в своей переписке о «Тресте», в годы его существования, теми же условными обозначениями, что и Москва. Таким образом, попади тогда их письмо в руки чекистов, им бы не пришлось трудиться над разгадкой. Все мы, русские эмигранты, были тогда в конспирации наивными детьми.

\* \* \*

Летом 1925 года Кутепов согласился на предложенное ему Якушевым номинальное вхождение в правление Монархического Объединения России. Символически это было слиянием Кутеповской организа-

ции с «Трестом», но я не сомневаюсь в том, что глава организации ни на мгновение не отказался от фактической независимости и от желания ускорить падение советской власти направленным против нее террором. Тогда же я заметил оживление проходившей через Варшаву переписки Парижа с Москвой, адресованной Марии Владиславовне Захарченко — переброшенной из эмиграции в Россию участнице боевой организации.

Все предназначенное «Тресту», в том числе и письма Кутепова, Артамонов передавал для отсылки генеральному штабу в конвертах, скрепленных пятью сургучными печатями. До их наложения пакет прошивался, а концы ниток заливались сургучом. Артамонов утверждал, что так прошитый и запечатанный конверт не может быть вскрыт без повреждения печатей и ниток. Скрывать от штаба было нечего, но он видел в тайне переписки доказательство независимости М.О.Р. от иностранцев.

Мне казалось, что штаб не только может, но — со своей точки зрения — обязан эту тайну нарушить, но теперь я знаю, что ошибся. Бывший польский военный агент в Риге и Ревеле Виктор-Томир Дриммер рассказал в своих воспоминаниях (Культура. Париж. № 11/217. Ноябрь 1965 года), что перлюстрацией переписки «Треста» штаб не занимался.

Вначале Артамонов выезжал на границу каждый раз, когда предстоял чей-либо ее переход в «окно», но число этих переходов постепенно увеличилось. Частые отлучки резидента из Варшавы отвлекали его от других обязанностей и могли вызвать нежелательные толки. Пришлось подумать о поручении «окна» кому-либо другому. Я предложил человека, которого — хоть его нет в живых — назову, по некоторым соображениям, Александровым.

Знал я его с 1912 года, когда в Могилеве он был гимназистом первого класса, товарищем моего рано скончавшегося брата Андрея. После революции судьба ненадолго свела нас в Одессе накануне ее оставления Добровольческой армией в январе 1920 года. Я не попал на корабль в одесском порту и остался в России, он же, в отряде генерала Бредова<sup>48</sup>, дошел до Польши, где мы встретились после моего благополучного исхода в эмиграцию.

Он был шафером на моей свадьбе. Мы виделись часто, но жизнь сложилась разны — я стал журналистом, а он проявил коммерческую сметку и создал в Варшаве процветавшее торговое дело. Успех не отразился на его отношении к поработившим русский народ коммунистам. Он не хотел быть всего лишь преуспевающим купцом. Не раз он заговаривал со мной об Артамонове, догадываясь, что я связан с ним не



простым знакомством. Несмотря на дружбу, я каждый раз отвечал уклончиво.

Это изменилось, когда необходимость замены Артамонова в «окне» стала очевидной. Я назвал Александрова и получил согласие на его привлечение в организацию. С этого дня и до апреля 1927 года ни один переход границы людьми, связанными с М.О.Р., не обошелся без его участия. Он, в частности, перевел через нее Василия Витальевича Шульгина.

\* \* \*

Это случилось 23 декабря 1925 года. В «Трех столицах» — описании «тайного» путешествия Шульгина в Россию — Александров упомянут так: «Мне было сказано явиться на такой-то вокзал, такого-то города, в такой-то стране, такого-то числа, в таком-то часу. Там за столиком будет сидеть молодой человек, т. е. средних лет. Красивый, в полупальто с серым мехом, в мягкой шляпе. Я должен буду сесть рядом с ним за общим столом и через некоторое время спросить у него по-русски, есть ли у него спички. Если он подаст мне спичечную коробку определенной марки, то это будет именно тот человек, который мне нужен, и больше мне ни о чем заботиться не полагается. Я приехал на вокзал, и все прошло очень точно. На углу стола сидел человек, которого нельзя было не узнать по данному мне описанию. Я спросил спички, и он подал их мне, улыбнувшись при этом добродушно и грустно, как улыбаются только русские. Он был усталый, хотя молодой и не изможденный. Он давно устал, и, должно быть, навсегда».

Александрову — моему ровеснику — было тогда 25 лет, но Шульгин верно уловил присущую ему и в этом возрасте внешнюю усталость человека, испытавшего то, что выпало на долю нашего поколения.

Добровольно принятую на себя опасную обязанность Александров исполнял точно и, конечно, безвозмездно. Артамонов или я предупреждали его за несколько дней о предстоявшей поездке в «окно». Он поручал заботу о предприятии преданной ему жене; говорил приказчицам, что едет закупить товар; превращался из нарядного горожанина в обитателя глухой деревни и дня на три исчезал из Варшавы.

Он перевел через границу не только Шульгина, но и других, так или иначе причастных к «Тресту» людей и — как я рассказал в прочитанном в Св. Серафимовском Фонде в Нью-Йорке сообщении о Кутепове и его организации — пожелал побывать в Минске, чтобы увидеть то, что видели по ту сторону границы переведенные им в «окно» эмигранты.

Это было несомненным мужеством, но не исключением. За четыре года моей причастности к М.О.Р. я только раз был свидетелем непре-

одолимого страха, помешавшего человеку перейти границу. Молодой офицер, направлявшийся в Москву из Праги с поручением от евразийцев к Ланговому, уже в Варшаве казался беспокойным и не мог скрыть тревоги. Он, однако, заставил себя сесть в поезд с Александровым. На границе — по заведенному порядку — они явились на польскую пограничную заставу, где их ждал представитель второго отдела генерального штаба. Пражанин еще и там владел собой, но ночью, на границе, он в полном душевном смятении не смог ее переступить. Александрову пришлось вернуться в Варшаву с несчастной, разбитой жертвой этого потрясения.

На советской стороне людей, переведенных Александровым, встречал паренек, называвший себя участником М.О.Р. и жителем Минска. В Варшаве мы сначала знали его только понаслышке как Михаила Ивановича. Встречаясь с ним по ночам, в темноте, Александров, до поездки в Минск, ничего о нем сказать не мог. Шульгин, назвав его в «Трех столицах» Иваном Ивановичем, так описал встречу с ним: «Ему было за тридцать; лицо было вымазано чем-то черным, очевидно от полушубка; он был в высоких сапогах и имел вид, как бы сказать, ну какого-нибудь Садко или Васьки Буслаева. Он держал в руке револьвер, которым жестикулировал. Был он радостный, веселый, балагурил».

Вспоминая Минск и домик своего проводника, Шульгин перечислил «стол, уставленный всевозможными вещами; рояль; кресло-качалку; убранство не роскошное, но достаточное». Лет через пять это одно было бы причиной недоверия, но тогда — на склоне «новой экономической политики» большевиков — такое жилище удивления еще не вызывало. Приглядевшись к хозяину, Шульгин понял, что ему было не тридцать с лишним лет, а значительно меньше. Теперь мы знаем от Никулина, что он был не тайным монархистом, а чекистом Михаилом Ивановичем Криницким.

После состоявшегося в феврале 1926 года благополучного возвращения Шульгина из России Александров — с согласия Артамонова — пригласил Михаила Ивановича в Варшаву. В мае гость, перейдя с кем-то границу из России в Польшу, не вернулся в Минск, а приехал с Александровым в польскую столицу. Предполагалось, что он пробудет там три дня, но случилось иначе.

До появления приезжего в Варшаве Артамонов попросил меня им заняться. Невысокий, белобрысый пограничный представитель М.О.Р. не был, вопреки мнению Шульгина, похож на офицера. В лучшем случае он мог быть одним из тех скороспелых прапорщиков, которыми русская армия начала заменять с 1915 года истребленные войной офицерские кадры.

Культурный уровень гостя был явно невысок. Напрасно на второй день его пребывания в Варшаве Александров и я захотели показать ему спектакль одного из превосходнейших польских театров. Он до него так очевидно не дорос, что пришлось после второго акта перебраться в скромный кабачок, где Михаил Иванович с очевидным удовольствием выпил две-три рюмки водки и рассказал несколько забавных советских анекдотов. Ничего отталкивающего в нем не было — ни во внешности, ни в поведении. Он был, возможно, комсомольцем, попавшим в Г.П.У. по партийной разверстке и направленным на пограничную контрразведывательную службу. Позже, когда по России прокатилась волна принудительной коллективизации, оттуда бежали в Польшу сыновья раскулаченных крестьян, ничем наружно от Михаила Ивановича не отличавшиеся, но непримиримые враги коммунизма.

Его возвращение в Минск было назначено на 14 мая. Накануне утром Александров и я захотели показать ему город — легче всего это было сделать с сидений извозчичьей пролетки. Мы побывали на оживленной Маршалковской, свернули по одной из поперечных улиц на площадь Трех Крестов и приближались к Иерусалимским аллеям, когда заметили что-то необычное на мосту через Вислу. Он был перегорожен, а вдали видны были какие-то войска. На тротуарах варшавяне стояли кучками, перешептываясь и тревожно озираясь. Остановив извозчика, я спросил, что происходит.

— Маршал Пилсудский, — ответил прохожий, — выступил против правительства... Тот берег им уже занят... Сейчас и здесь может начаться бой...

Мы, оказалось, увидели начало того переворота, который на тринадцать с лишним лет отдал Польшу в руки Пилсудского и его преемников. Я сказал Александрову, что хочу вернуться за город, к моей семье, а ему посоветовал переждать с нашим гостем в ближайшей гостинице. Они прожили там несколько дней, в общей комнате, прислушиваясь к происходившим на улице кровопролитным столкновениям. В такой обстановке, сближающей людей и обнажающей их скрытые черты, Михаил Иванович ничем себя не выдал.

\* \* \*

Знал ли Кутепов, что М.О.Р. — советская провокация? Автор нескольких статей о «Тресте» в русской зарубежной печати, д-р Николай Иванович Виноградов, дал на этот вопрос утвердительный и притом категорический ответ. В выходящем в Нью-Йорке журнале «Перекаинка» (№ 129, август 1962 года) он написал: «Еще до конца 1923 года»

А.П. Кутепов был точно осведомлен М.В. Захарченко, приехавшей тогда впервые от «Треста» за границу, об истинной физиономии М.О.Ц.Р. и Якушева».

Эта фраза может ввести в заблуждение тех, кто слышит о «Тресте» впервые. Мария Владиславовна Захарченко, участница Кутеповской организации, приехала в Париж не «от «Треста» и к тому же не в указанное Н.И. Виноградовым время, а значительно позже. Она была эмигранткой, проникшей при содействии М.О.Р. в Москву со своим будущим мужем, Георгием Николаевичем Радковичем, и не раз возвращавшейся оттуда за границу для доклада начальнику организации о своих впечатлениях и наблюдениях. Сохранились выписки из ее донесений Кутепову, присланных из Москвы именно в конце 1923 года. Они отчетливо опровергают утверждение д-ра Виноградова, который, к сожалению, не был беспристрастным историком.

Он считал необходимым отрицать то прискорбное обстоятельство, что советским агентам, называвшим себя монархистами, удалось обмануть часть консервативной русской эмиграции. Его возмущали зарубежные газеты, давшие в 1927 году широкую огласку чекистской провокации, направленной против Кутепова и монархистов, но замолчавшие аналогичную доверчивость меньшевиков и социалистов-революционеров к советским агентам. Это привело его к отрицанию несомненных фактов. Его статьи о «Тресте», появившиеся в «Возрождении», «Часовом» и «Переключке», содержат неточности, противоречия и свидетельствуют о незнании или непонимании той обстановки, в которой чекистам удалось обмануть не только русских эмигрантов, но и иностранцев. Для эмоционального «метода» Виноградова характерно, например, отрицание самой возможности содействия, оказанного русским монархистам польским генеральным штабом.

«Полностью исключается, — написал он в «Переключке» (№ 131, октябрь 1962 года), — чтобы тогдашняя Польша Пилсудского, этого, по выражению Милюкова, «убежденного русофоба и ненавистника России», могла вступить в какую-либо связь с русской национальной организацией, да еще монархической. Поляки могли тогда скорее связаться с чертом, но ни в коем случае не с представителями М.О.Ц.Р. Отталкивание от всего русского, а о монархизме и говорить смешно, в те годы в Польше было настолько абсолютно, что можно категорически утверждать, что Якушев даже заикнуться не мог о своей «подпольной организации»: при первом же упоминании о М.О.Ц.Р. поляки пришли бы в бешенство и с треском выгнали бы «конспиратора» из пределов страны. Да и следует проявить эмигрантскую объективность к О.Г.П.У.: такие «москальи», как Дзержинский, Менжинский, Стецкевич и прочая

чекистская братия, знали поляков не хуже нас. Какой же смысл был этим «золотым сердцам» посылать в Варшаву своего агента в виде «русского монархиста» и сразу проваливать всю начинаемую ими «новую акцию», когда они с наибольшим правдоподобием и без всякого риска могли направить к полякам целую пачку всевозможных, по выбору, самых ширых сепаратистов, которым в Польше был гарантировал самый горячий, братский прием? Возможны, поэтому, только два положения: или Якушев рекомендовался полякам от лица какой-то другой, наиболее им подходящей подпольной «организации», или польский штаб еще до появления Якушева в Варшаве точно знал, что такое «Трест» — М.О.Ц.Р.».

Вывернув таким образом действительность наизнанку, отрицая подтвержденный документами факт помощи, оказанной варшавским штабом «русским монархистам», Виноградов не сделал из своей версии логического вывода. Он не спросил, что же заставило поляков иметь дело с заведомыми советскими агентами и с кем же, в таком случае, был связан Кутепов. Будь они поставлены, эти вопросы и противоречия, которыми полны статьи Виноградова о «Тресте», не оставили бы камня на камне от его сообщения о якобы очевидной и сразу разоблаченной советской провокации в М.О.Р. Я не отметил бы это фантастическое утверждение, если бы американский историк Поль В. Блэксток не повторил его в благожелательном, но в высшей степени неточном рассказе о Кутеповской организации (Paul W. Blackstock. *The Secret Road to World War Two*. Chicago. Quadrangle Books, 1969). Совершенно неправдоподобно заимствованное Блэкстоком у Виноградова изображение проникших в Россию кутеповцев невольными исполнителями смертных приговоров, вынесенных возглавителями О.Г.П.У. По словам Виноградова, в этом советском учреждении существовала «группа особого назначения», занимавшаяся «ликвидацией неугодного и исчерпавшего себя на работе чекистского элемента».

Сославшись на показания одного из главных советских агентов в М.О.Р., чекиста Опперпута, «бежавшего» весной 1927 года из Москвы в Финляндию и в том же году вернувшегося в Россию, якобы для борьбы с большевиками, Виноградов в «Переключке» (№ 136—137, март—апрель 1963 года) написал: «Заслуженные чекисты первых лет коммунизма или почетно увольнялись, или почетно ликвидировались... При содействии этой группы (кутеповцы) Захарченко, Радкович, Каринский и Шорин убили нескольких видных чекистов, в том числе главу минского ОГПУ Опанского, Наимского в Петербурге, Турова-Гинсбурга под Москвой, Орлова в самой Москве». Зная из сохранившегося, обращенного ко мне письма Якушева, что предотвращение «белогвардейского

террора» было едва ли не главной задачей «Треста», я не могу поверить в то, что сказано Виноградовым и Блэкстоком об этих убийствах, якобы совершенных Кутеповской организацией не только с ведома, но и по почину О.Г.П.У.

В одном архиве — назвать который я пока не могу — хранится документ, озаглавленный «Выдержки из донесений Генералу Кутепову». Есть основание предположить, что он был составлен для осведомления Великого князя Николая Николаевича или генерала Врангеля о первых шагах Кутеповской организации в России.

Первым включено в документ письмо полковника Жуковского, написанное в Петрограде 20 сентября 1923 года. Оно показывает, что посланные Кутеповым офицеры проникали из эмиграции на родину еще до первого «похода» Марии Владиславовны Захарченко и ее будущего мужа, Георгия Николаевича Радковича, находившихся тогда в Эстонии. Вскоре после отсылки упомянутого письма Жуковский стал — как теперь известно — одной из жертв чекистской провокации в М.О.Р., и притом не в переносном, а в буквальном смысле слова.

«Стараюсь, — сказано в письме, — проникнуть в красн. командование, но это оказывается гораздо труднее, чем думал, ибо все запуганы и боятся взять на себя какую-нибудь роль. Предвижу много затруднений, но работать нужно и можно. Настроение почти сплошь против власти, но активным никто не решается быть. Имя В.К.Н.Н. (великого князя Николая Николаевича) пользуется большой любовью и уважением. Я прошел много деревень... особенно чтут его старые солдаты. Многие красные начальники считают сов. власть очень прочной и не хотят себе представить власть, котор. могла бы ее заменить. Мне кажется необходимым будет произвести сильный толчок и своевременно выдвинуть имя Вел. Кн. — тогда успех будет. В общем жалкое впечатление производят здесь наши русские — в полном порабощении, а в то же время ничего не хотят делать. Мое положение тут очень тяжелое, ибо я беспомощен, что очень усложняет ведение дела и трудно наладить вопрос к отправлению. В Кронштадт въезд был воспрещен, там был взрыв».

Первое донесение Захарченко и Радковича приведено в документе без указания даты, и притом в очень сокращенном виде. Выдержки состоят из отдельных слов и немногих фраз, разделенных длинными многоточиями: «1-го (октября 1923 года) приехали в Лугу..... границу, 3-го..... за плату..... благополучно..... река..... Путь очень... ..трудно.....на лодке.....ночевали.....6-го прошли еще станцию, где ночевали (у) знакомых, пользуясь хорошими условиями. Делали дневку. Сегодня ночью, разменяв деньги, уедем в Пет., оттуда в

Москву. Из Ревеля.....спутник Бурхановского, кап. .... болоте выбился из сил и от нас отделился. Судьбу его не знаем».

Второе письмо помечено 12 октября. Часть не содержит пропусков, но другая часть исключена полностью и заменена несколькими рядами многоточий:

«Прибыли в Петроград 9-го утром. А.В. не нашли, на его квартире сообщили, что он ушел менять деньги 27-го сентября, оставив дома все вещи и неотправленное письмо в Париж, и больше не вернулся. В настоящее время там идут облавы, многие пойманы, город терроризирован. Выехали в три часа в Москву. Попали в воинский вагон, занятый матросами, комсомольцами. Впечатление от разговоров самое отрицательное. Эта молодежь ими воспитана и настроена сейчас воинственно. В Москве по данному Щ. (представителем генерала Врангеля в Ревеле Щелгачевым) адресу были приняты с большой заботливостью, помещены временно на квартиру и обеспечены необходимыми документами. На этих днях нас отправляют на дачу, где мы пробудем недели две для ознакомления с местными условиями. После этого нас обещают устроить на службу вначале под Москвой с тем, чтобы по возможности перевести сюда. Впечатление от этой группы лиц самое благоприятное: чувствуется большая спайка, сила и уверенность в себе. Несомненно, что у них имеются большие возможности, прочная связь с иностранцами, смелость в работе и умение держаться. Отправили Вам с дороги описание перехода, на всякий случай повторяем еще раз.

Большим препятствием явилась невозможность достать советские деньги, мы получили на торговом пункте (на эстонской пограничной заставе) только три тысячи, этого недостаточно даже для проезда в Пет. и доставило нам дальше массу неудобств. В Юрьеве нам дали проводника, доехавшего с нами до Изборска. Вечером он перевел нас через проволоку в середине между шоссе и жел. дорогой на Псков у торгового пункта, объяснил направление по звездам и обставил самый переход возможно тщательнее. На наше счастье ночь была довольно звездная, вообще же едущим надо иметь светящийся компас. От проволоки пошли одни. Пересекли шоссе, как нам указали, в одной версте от границы и дальше шли по болоту от 9 вечера до 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> утра. Путь очень тяжелый, все время в воде, доходящей временами выше пояса. С нами был еще один спутник, присоединенный к нам из Ревеля, гардемарин Буркановский. Он выбился из сил в этом болоте и от нас отделился. Судьбу его мы не знаем. После рассвета передохнули часа четыре в лесу и обсушились на солнце. Потом вышли на дорогу и шли по направлению к Великой, через которую переправились на лодке, и заночевали в деревне в 12 верстах от Пскова. Утром около Пскова нам удалось под-

сесть на подводы, с расплатой вещами, которые довели нас к себе на хутора верстах в 50-ти от Пскова под станцию Новоселье. У них заночевали. На следующий день на станции узнали, что расценка билетов меняется ежедневно, сообразно курсу золотого рубля и потому денег до Петрог. опять не хватало. Пройдя до станции Лапино, сели в поезд и добрались до Луги, где остановились у знакомых и разменяли деньги. И так как фактически с болота мы еще не обсохли, то сделали там дневку и 9-го на заре выехали в Петроград...

Из писанного нами донесения, во всех войсковых частях получено секретное предписание П.У.Р. о том, что события развиваются неожиданно быстро и в ближайшее время ожидается вовлечение России в войну. Предписывается комьячейкам в закрытом собрании обсудить положение и преподать инструкцию по подготовке красноармейских масс к этому событию. Призваны 1896—1902 года. Ожидается призыв красных командиров. Многие части уже ушли к границе. Есть сведения, что по соглашению Литва пропустит красные войска, Латвия и Эстония будут сметены по предположению в два дня...

Выясняется: главные средства организации черпаются из Вика (Все-российского инвалидного комитета), основанного на средства Федорова (Якушева) и переданного им на дело. Так говорят они. Но мы склонны думать, что они получают крупные суммы от иностранных контрразведок, которые они обслуживают, — Эстонии, Польши, Финляндии и, вероятно, также Фран. Тем объясняется их близость к этим миссиям, так я переписывала письмо Чичерина относительно Финляндии, которое предназначалось быть переданным финнам. Возможности получать сведения у них большие, и они сами говорят, что иностранные миссии перед ними заискивают: по-видимому, их люди имеются всюду, особенно в Красной армии.

В предыдущем письме послали Вам расположение броневых частей М.В.О. (Московского военного округа) и П.В.О. (Петроградского военного округа) на западном фронте. Получили ли Вы и поняли ли то письмо? Еще о них: в разговорах проскальзывает идея сепаратизма и, если не враждебности, то отчужденности от эмиграции. По-видимому, связь с командованием (генералом Врангелем) установлена не особенно давно и работают они самостоятельно, считая себя связанными постольку, поскольку они этого хотят. В.М.С. (Высший Монархический Совет) они иронизируют, но берут Маркова (председателя этого Совета, бывшего члена Государственной Думы Н. Е. Маркова 2-го), как яркую вывеску определенных идей. В то же время чувствуется у них желание иметь одно объединяющее лицо с известным именем, кажется у них все молодо и они сами это сознают. Как будто кого-то такого



они ждут, иногда мне кажется, что это может быть и (генерал) Климович.

Выясняются главные средства:..... считают за первую организацию..... с ними считаются, о нас заботятся и понемногу.... известно..... всюду туда..... Следующее: их организация называется М.О.Р., состоит в связи с В.К. (Великим князем Николаем Николаевичем) и командованием. Тесная связь установлена с Климовичем во время его последней поездки. Имеют в своих рядах видных чинов Красной армии и большие денежные средства. Сносятся с заграницей с помощью дипломатических курьеров Польского и Эстонского, а также поездки своих членов, легальными и нелегальными. В настоящее время устанавливают собственную телефонную линию в Финляндию из Петрозаводска. Как показатель средств — ассигновано 60 тысяч золотом. Их лозунгом является В.К.Н.Н.\*, законность, порядок. Они говорят, что имеют тесную связь с В.К.Н.Н. и полномочия от него дать от его имени манифест в момент, когда они найдут возможным. Сейчас они посылают двух членов за границу для переговоров, по-видимому, с французами и В.М.С. Было зашифровано словами сахмртзав ветмиолит. Один из них поедет в Бельгию. Все сведения приблизительно, схваченные из разговоров. Р. является их агентом, через него они посылают корреспонденцию коминвов — Лампе и Климович. Сносятся также с Артамоновым. К нам относятся очень внимательно, но вообще считают, что присылка людей сюда в большом количестве неудобна, так как они долго должны привыкать раньше, чем быть допущенными на работу».

Упомянутая в этом донесении Кутепову поездка двух участников М.О.Р. была, очевидно, той поездкой Якушева и Потапова, во время которой я с ними впервые встретился. Очевидно, их фамилии были «зашифрованы словами», а «коминвов» может быть сокращенным обозначением «командования и воинских организаций». Мне не удалось установить, кем был тот Р., который был посредником в переписке между «Трестом» и генералами фон Лампе<sup>49</sup> и Климовичем<sup>50</sup>.

Документ содержит затем короткое письмо, написанное 28 октября, вероятно, Радковичем, если только Захарченко не написала его от мужского имени: «Сегодня шифровал им письмо на имя В.К.Н.Н. (Вел. кн. Николай Николаевич) — кроме фраз общего характера, ничего нет. По-видимому, нечто вроде выражения верноподданнических чувств, но форма слишком свободная и нам непривычная. Создается впечатление, что с В.К. связь есть. Содержание вкратце — выражение радости по поводу согласия В. К. возглавить освободительное движение; признание,

---

\* Великий князь Николай Николаевич (Примеч. ред.).

что только его имя может объединить всех русских людей; предостережение от преждевременного выступления под давлением «легкомысленных, действующих из личной выгоды людей». Они выражают надежду от себя и от десятков тысяч людей, вверивших им свою судьбу, что в нужный момент В.К. вынет свой меч и поведет их в последний и решительный бой».

Эти письма опровергают утверждение Виноградова о том, что Радкович и Захарченко сразу, в конце 1923 года, после первого «похода» в Россию, убедились в наличии чекистской провокации в М.О.Р. Они подтверждают мои воспоминания о связи «Треста» с польским штабом и о перевозке писем М.О.Р. польскими дипломатическими курьерами. Упомянутый в донесении от 12 октября Щ. — Всеволод Иванович Щелгачев, участник первых встреч Артамонова с Якушевым в Ревеле. В «Мертвой зыби» Никулин назвал его офицером л.-гв. Преображенского полка<sup>51</sup>, принадлежавшим к «разведке Врангеля».

Два следующих включенных в документ донесения были написаны в Москве в один и тот же день — 14 ноября 1923 года.

«Получились, — сказано в первом, — письма от 1/Х и 15/Х, проявились слабо. Пятнадцатое вовсе не проявилось, так как кто-то по дороге пытался проявить. Поэтому совершенно не знаю, сколько дошло до Вас. Послано всего 21 письмо, из них три последних без номеров и одно чернилами (тайнописью). Часть послана через М. О., часть на К. К. Г. и далее почтой. На Вашей бумаге письма очень плохо проявляются, желательно попробовать писать на другой».

«В настоящее время, — сообщило Кутепову второе, — в Варшаве происходит совещание между представителями польской консервативной (национал-демократической) партии, нах. у власти, и членом М.О.Р. (Якушевым). Через польскую контрразведку мы отправили Вам два очень важных письма без номеров. Польские консерваторы долго воздерживались от общения с....., но сейчас среди М.О.Р. полагают, что удастся достигнуть крупных успехов, как, напр., перенесение некоторых важных пунктов в Польшу близ нашей границы и открыть там свою типографию. В то же время, считая, что в случае войны единственный, кто может стать во главе Польск. Армии, это — Пилсудский, продолжают тайно поддерживать с ним сношения, ведя таким образом две игры рядом».

Как это теперь ни кажется невероятным, Кутепов пользовался для связи с находившимися в России участниками боевой организации не только дипломатической, но и обыкновенной почтой, прибегая к «невидимым чернилам», легко проявлявшимся слабым раствором йода, а Захарченко и Радкович отсылали часть своих донесений через М.О.Р., а

часть — «на К.К.Г. и далее почтой». Не знаю, что эти инициалы обозначали.

Состоявшаяся в Варшаве встреча Якушева с Романом Дмовским и другими польскими национал-демократами, которых Радкович или Захарченко неверно назвали консерваторами, не привела к упомянутым в донесении последствиям. «Трест» вряд ли на них надеялся и выдвинул желание о создании опорных пунктов и типографии М.О.Р. на польской территории лишь для определения отношения большой польской политической партии к этой просьбе. Создание более или менее явных начинаний русской монархической организации не могло быть допущено ни одним варшавским правительством не только вследствие отношения польских поляков к русским монархистам, но и во избежание конфликта с восточным соседом Польши.

Когда такое же предложение было выдвинуто В.В. Шульгиным в 1926 году, после его возвращения из «тайной» поездки в Россию, генеральный штаб не возразил, но настолько затянул предоставление Шульгину и его жене въездных виз в Польшу, что задуманное создание опорного пункта русской зарубежной армии в шульгинском имении на Волини не осуществилось.

Полученное Кутеповым из Москвы сообщение о «тайных сношениях» «Треста» с Пилсудским кажется мне неправдоподобным, но допускаю, что второй отдел генерального штаба осведомлял опального в те годы маршала о своих сношениях с М.О.Р.

Последним в документ включено письмо от 22 ноября 1923 года, помеченное № 26. Оно заслуживает особого внимания потому, что рассказывает попытку вовлечения посланного Кутеповым в Россию участника или участницы его организации на службу Г.П.У.

«Есть, — сказано в письме, — распоряжение устроить меня на службу в контрразведывательный отдел при Г.П.У. через имеющуюся оказию таможенного отдела. Этот отдел Г.П.У., ведущий наблюдение за приграничной полосой и поступающей пропагандой, предложил на днях Всеросс. инвалидн. комитету — Вико — а в частности, У., взять на себя организацию подставных лавок в Москве для поимки контрабандных товаров. Согласно плана Там. Упр., все заведывающие лавками будут считаться агентами отдела по борьбе с контрабандой Там. Упр. и в своей работе будут инструктироваться сотрудниками последнего.

Отдел по борьбе с контрабандой работает в теснейшем контакте с контрразвед. отделом Г.П.У. Многие из сотрудников отдела по борьбе с контрабандой являются и секретными сотрудниками к.р. отд. при Г.П.У. Задачей является поставить себя в такое положение, чтобы, заручившись доверием и знакомством среди членов Г.П.У., получить пред-

ложение сделаться их сотрудником в отделе кр.-р., сначала секретным, а потом и открытым, приняв которое использовать свое положение для целей М.О.Р.».

Не знаю, как отнесся Кутепов к такой опасной и двусмысленной «игре». Заслуживает внимания упоминание причастного к Всероссийскому инвалидному комитету участника М.О.Р., обозначенного в донесении буквой «У».

Денежными делами «Треста» занимался Опперпут, называвший себя тогда Стауницем — фамилией, которую М.О.Р. заменяло в переписке с эмигрантами псевдонимом Касаткин. Савинковскому Народному Союзу Защиты Родины и Свободы он был известен как оказавшийся советским агентом человек, пользовавшийся фамилиями Опперпут и Упелинец. Трудно предположить, что в 1923 году он мог назвать одну из этих фамилий прибывшим в Москву кутеповцам. Поэтому пока трудно разгадать, кто именно пытался втянуть участника Кутеповской организации в западню, какой неминуемо стала бы служба в тесно связанном с О.Г.П.У. таможенном управлении.

Полковник Жуковский и гардемарин Буркановский<sup>52</sup> упомянуты в «Мертвой зыби». По этой советской версии истории «Треста», Захарченко и Радкович получили от Щелгачева явку к атташе эстонской дипломатической миссии в Москве Роману Бирку, который, что никто в Ревеле тогда не знал, был тайным коммунистом и советским агентом. Он направил их к Опперпуту, который, в первом же разговоре, спросил, был ли с ними Буркановский, и, получив утвердительный ответ, многозначительно прибавил:

— Его уже нет... Вы поняли?

В другой главе той же книги Никулина не только Буркановский, но и Жуковский названы в связи с разговором Опперпута и Захарченко о терроре. О точной передаче их слов речи быть, конечно, не может, но отношение к террору изображено, как мне кажется, верно.

— Программа, — сказал Опперпут, — нам известна: царь всяя Руси, самодержец всероссийский; на престоле — Николай Николаевич; никаких парламентов; земля государева... Тщательная подготовка смены власти; никаких скоропалительных решений; действовать только наперняка.

— А терроризм?

— Это не исключается, но так, чтобы не насторожить врага, хотя терроризм, сам по себе, ничего не дает.

— Нет! Я не могу согласиться с вами!

— Пока мы решили не прибегать к террористическим актам.

— Запретить жертвенность, подвиг... Наши люди рвутся в Россию именно для этого!

— Чем это кончается, вам известно? Полковник Жуковский, гардемарин Буркановский погибли. Не зная обстановки, местных условий, эти безумцы летят сюда и сторают, как бабочки на огне, а мы ничего не можем сделать для них.

— Однако...

— Нет и нет! Мы отвечаем только за тех, кто прибывает сюда с нашего ведома и подчиняется нам.

Так Никулин проговорился — сказал, что Радкович и Захарченко знали не только Буркановского, но и Жуковского, хотя бы понаслышке. Он был, вероятно, тем А.В., которого они не застали в Петрограде на его квартире потому, что 27 сентября он вышел и не вернулся.

Можно предположить, что чекисты сознательно помешали его встрече с проникшими в Россию с ведома М.О.Р. кутеповцами, чтобы показать, насколько они не могут обойтись без помощи и защиты «тайной монархической организации».

\* \* \*

Кутепов был человеком смелым и неосторожным. Я в этом убедился, когда в апреле 1927 года побывал в Париже, но его доверие к «Тресту» не было безграничным. Он отклонил приглашение М.О.Р. съездить в Россию и «проверять» связанных с «Трестом» людей, но делал это — как мне пришлось убедиться — неумело и психологически неудачно.

В 1922 году из Польши в вольный город Данциг был выслан русский эмигрант Петр Александрович фон Ланг<sup>53</sup>, в прошлом — офицер генерального штаба. Он был свойственником председателя Русского Благотворительного Общества в Польше, коренного варшавянина и польского гражданина Викторина Константиновича Сонины, разбогатевшего после Первой мировой войны благодаря резко возросшей цене принадлежавших ему в окрестностях Варшавы больших земельных участков. Жена фон Ланга — родственница Сонины — была их совладелицей. Они поэтому жили в Данциге безбедно.

Я бывал в вольном городе довольно часто. Принадлежавшим мне там домом управлял Борис Робертович Гершельман<sup>54</sup>. Он меня с фон Лангом познакомил. Встречаясь, мы говорили о Польше, о русской эмиграции и о России, но Кутепова и М.О.Р. он не упомянул ни разу. Будь он откровеннее, задуманная им по поручению Кутепова «проверка» не наткнулась бы, вероятно, на отпор.

В мае 1924 года меня в Варшаве остановил на улице другой родственник Сонины — Лев Михайлович Лобан<sup>55</sup>, много позже, в годы немецкой оккупации Польши, служивший в германском Зондерштабе Р и,

убитый 22 октября 1943 года в Пястове под Варшавой ворвавшимися в его дом польскими террористами.

Я его почти не знал. Обратившись ко мне не прямо, а через него, фон Ланг сделал первую ошибку. Второй была ничем — кроме ссылки на Кутепова — не объясненная просьба установить наблюдение за Артамоновым и сообщить в Данциг мои впечатления.

Скажи мне фон Ланг или хотя бы Лобан, что Кутепов сомневается в антисоветской подлинности М.О.Р. и что «Трест» может быть провокационной чекистской «легендой», я сообщил бы в Париж все то, что знал, но ничем в моих глазах не оправданная, беспричинная слезка за Артамоновым претила моим понятиям о дружбе и чести. Она была бы поведением «не офицерским».

Я сказал это Лобану и повторил Артамонову, который, очевидно, пожаловался Кутепову сразу, так как 29 мая фон Ланг мне написал: «Многоуважаемый Сергей Львович! Жалко, что Вы опубликовали разговор моего племянника с Вами, следствием которого было неудачное, в смысле правды, письмо в Париж, текст которого был тотчас передан мне К. Запросив письмом племянника, я не получил данных, которые могли бы послужить основанием этого именно его содержания. Между тем как раз именно К-ву я и говорил о Вас, как о человеке, не любящем разглашать события, и по его просьбе просил племянника поговорить с Вами. Вышло не так, как нужно. Прошу принять уверения в искреннем уважении. Готовый к услугам П. Л.».

\* \* \*

С тех пор прошло много лет, и я не раз задумывался над причинами моей непростительной ошибки — слепого доверия к людям, оказавшимся советскими агентами. Думаю, что их было две: во-первых, подтвержденное позже германско-советской войной убеждение в невозможности свержения коммунистической диктатуры в России одним только внешним военным походом; во-вторых, пагубная — в эмигрантской обстановке — конспирация, мешавшая обобщению и обсуждению случайных и отрывочных сведений о «тайной монархической организации». Влияло на меня и то очевидное доверие, которое оказывал «Тресту» польский штаб.

Кутеповцы, побывавшие в России, попадая проездом в Варшаву, своими впечатлениями с Артамоновым и мною не делились. Это тоже объяснялось конспирацией и принималось как должное. Шульгин описал свою поездку в «Трех столицах», но этот рассказ укрепил, а не ослабил веру в М.О.Р.

Мне теперь кажется, что конспирация была не единственной причиной немногословности побывавших на родине участников Кутепов-

кой организации. Пребывание в порабощенной коммунистами стране сказывалось гнетуще на проникших туда эмигрантах, будь они кутеповцами или евразийцами. Некоторых я видел мельком и даже их имен не знал. Только раз я встретился у Артамонова с Захарченко. Обветренная, загоревшая, в черной куртке мужского покроя, она была молчаливее других. Несловоохотлив был и пражанин Мукалов, дважды перешедший границу и из второго «похода» не вернувшийся.

Более частыми были мои встречи с Петром Павловичем Демидовым, упомянутым в «Мертвой зыби», в главе о состоявшемся в январе 1926 года в Берлине евразийском съезде, на который «Трестом» был послан Ланговой. «31 января, — написал Никулин, — Ланговой вернулся в Москву. Вслед пришло паническое письмо Арапова об аресте в Советском Союзе агента Врангеля, Демидова-Орсини. Для придания веса «Тресту» Артузов поручил Старову через Зубова разыграть «освобождение» Демидова. Это «освобождение» — по телефонному звонку влиятельного лица — произвело эффект. Арапов был в восторге — улучшились отношения «Треста» с Врангелем. Эпизод с Демидовым-Орсини повлиял также на Шульгина, который позднее, с помощью Якушева, решился поехать в Россию».

Не все в этой советской версии верно. Ни о каком улучшении отношений между генералом Врангелем и М.О.Р. речи быть не могло. Врангель, как теперь известно, не отказался от своего первоначального недоверия к Потапову и Якушеву и сделал попытку предостеречь великого князя Николая Николаевича. Верно, однако, то, что Демидов не только был освобожден, но и переправлен через «окно» в Польшу.

Он появился в Варшаве, потрясенный арестом и неожиданным спасением. Ему нужны были спокойствие и отдых. Узнав, что у него и у меня — общие знакомые по Нижегородской губернии, Артамонов поручил его моему попечению. Я жил тогда с семьей не в Варшаве, а в загородном дачном поселке Миланувек, где легко нашел Демидову комнату. Он стал бывать у меня ежедневно, постепенно отходя от испытания, но окончательно не успокоился. Его тянуло назад, в Москву, словно хотелось еще раз пережить опасность. Поговорить с ним о «Тресте» мне не удалось. Он действительно вернулся в Россию и пропал там без вести в 1927 году, в дни самоликвидации М.О.Р.

\* \* \*

Племянник генерала Врангеля, Петр Семенович Арапов<sup>56</sup>, был исключением. В отличие от тех, кто предпочитал молчание, он был оживлен и разговорчив. Возможно, что это объяснялось дружбой с Артамоновым — они были однополчанами.

Он был высок, подвижен и явно не похож на пролетария. Сжатые губы и поднятая голова придавали лицу оттенок презрительной надменности, исчезавший в общении с Артамоновым и мною, но об эмигрантских «стариках» в Берлине и Париже он отзывался саркастически. Помню, что первый переход границы его ничуть не беспокоил. Он верил в свою звезду.

Не берусь оказать, съездил ли он в Россию через Варшаву раз или дважды, но поездок — может быть, по другому маршруту — было несколько. Из первой он привез небольшой любительский снимок — кто-то сфотографировал его на Красной площади, у Кремлевской стены; из другой — фотографии митрополитов Петра и Агафангела, архиепископа Иллариона и патриарха Тихона в гробу. Из них последняя — значительно позже — была мною передана редакции парижской «Иллюстрированной России».

Запомнился его рассказ о случае, показавшем, насколько уже тогда эмигранты не знали некоторых частных нового, советского быта:

«Границу перешли благополучно. Я отдохнул и, на следующее утро, сел в скорый поезд, идущий в Москву. Бумаги были в порядке. Бояться было нечего. Пассажиров было немного. Я вышел в проход, остановился у окна и, глядя на бегущий мимо лес, закурил. С другого конца в вагон вошли два железнодорожных чекиста и кондуктор. Это меня не взволновало. Обычная, подумал я, проверка документов и билетов, но они не остановились у первого купе, а направились в мою сторону.

Опасность показалась очевидной. Нужно было мгновенно принять решение. Рука сжала лежавший в кармане револьвер. Я мог застрелить одного, но был бы убит выстрелом другого. Можно было выбежать на площадку, открыть дверь и выпрыгнуть на ходу, но и это было бы верной гибелью. Собрав силу воли, я не дрогнул. Они подошли, и один из них укоризненно сказал:

— Вы что, гражданин, забыли, что в проходе курить воспрещается?.. Три рубля штрафа!»

Связь с варшавским резидентом М.О.Р. и с называвшим себя в Москве евразийцем, но оказавшимся чекистом и советским провокатором Ланговым, Арапов поддерживал до конца «Треста». Сохранились его письма и телеграммы, подписанные псевдонимом Шмидт и полученные мною в 1926 году, во время отлучки Артамонова из Варшавы. После «Треста» он жил в Париже, но от евразийцев отошел и внезапно исчез. Распространился слух об его отъезде в Россию. Он породил проникшее в литературу об евразийцах и «Тресте» утверждение об его принадлежности к советской агентуре.



Франко-русская писательница Зинаида Шаховская утверждает в своих воспоминаниях, что «ротмистр Арапов, этот красивый конногвардеец, которого я видела у нас в Брюсселе, был расстрелян при обстоятельствах, оставшихся таинственными», но ставший эмигрантом в годы германско-советской войны писатель Николай Угрюмов — псевдоним Алексея Ивановича Плюшкова — сообщил, что видел в тридцатых годах Арапова в Соловецком лагере, где он не то скончался, не то был убит большевиками. Никаких доказательств его перехода на их сторону нет.

Бывшего члена Государственной думы Василия Витальевича Шульгина я знал с весны 1918 года, когда он в Киеве исполнил мою просьбу и помог стать звеном тайной связи Добровольческой армии с ее единомышленниками в Москве, но в подготовке его состоявшейся с помощью «Треста» поездки в Россию я не участвовал.

До этой поездки я видел его только раз, у Артамонова, и нашел, что внешне он не изменился, но в повадке появилось новое — осторожная, мягкая поступь; взвешенная речь; быстрый взгляд исподлобья. Я приписал это тревожному напряжению, естественному в каждом, кто готовился к переходу советской границы.

После возвращения из России он побывал у меня в Милянвке со встретившим его в пограничном «окне» Александровым и показался мне возбужденным поездкой и ее благополучным исходом. Организованность М.О.Р. и налаженность его действий произвели на него глубокое впечатление. В Польше он пробыл недолго и уехал в Париж, где нам суждено было встретиться еще раз в апреле 1927 года. До этого, однако, между нами возникла переписка, толчком к которой послужил отъезд Артамонова и его жены на отдых в Югославию.

Темой первых писем были предстоявший приезд Петра Бернгардовича Струве (Петр Бернгардович Струве, политический деятель и ученый, в молодости был марксистом; после 1905 года — националист и консерватор; позже — непримиримый противник коммунистической диктатуры в России) в Варшаву и мыловаренный завод, который Шульгин хотел создать в своем волынском имении Курганы, как опорный пункт возглавленной генералом Врангелем зарубежной Русской Армии.

18 июня 1926 года Шульгин написал мне из Парижа: «Глубокоуважаемый Сергей Львович! Петр Бернгардович едет в Варшаву по делам аполитическим, но вместе с тем он живо интересуется делами, о которых мы с Вами много говорили, т. е. финансовой помощи русских книжных предприятий. Я поделился с П.Б. некоторыми нашими планами, но полагаю, что Вы могли бы сказать ему больше, ибо Вы глубже вникли в сложное положение книжного рынка с тех пор, как Вы замечаете Ю.А. в особенности. Если бы каким-либо образом удалось свести

П.Б. с индикаторами дела, было бы еще лучше. Шлю Вам сердечный привет. Ваш В. *Данилевский*».

Вдогонку этому письму Шульгин 24 июня написал второе:

«Глубокоуважаемый Сергей Львович! Пользуясь пребыванием здесь (в Париже), я попытался сделать кое-что, независимо от П.Б.

К сожалению, я ничего хорошего пока не обнаружил. Я видел одного крупного человека, которого поставил в курс дела, насколько это возможно было, причем, конечно, использовал свою недавнюю поездку. Я был выслушан с большим вниманием, даже, пожалуй, сочувствием, но в ответ получил, что финансирование крупного дела из источников эмиграции невозможно, ибо она таковых не имеет и потому не может их дать, хотя бы вполне понимала доходность задуманного дела. Впрочем, по его словам, и прибыльность предприятий во многих глазах скомпрометирована человеческой недобросовестностью, на которую до сих пор неизменно натыкались. Не столько неудачами, ибо, по его словам, все понимают, что в таком трудном деле первые попытки обречены на неудачу, а именно недобросовестностью. По его словам, деньги давались, прельщаясь интересностью предприятия, но их просто раскрадывали до сих пор. С этим надо считаться даже в том случае, если думать для начала о самых скромных средствах.

Я сказал ему, что величина средств должна строго различаться в зависимости от задачи, которую поставит финансирование. Если задача должна пока ограничиться изучением книжного рынка, составлением сметы, теоретическими расчетами и другими предварительными работами, то, разумеется, средства будут сравнительно небольшие. Но если бы финансирование пожелало сделать решительные шаги, как по покупке бумаги, приобретении в различных местах типографий, словом — приступить к началу дела, то средства должны быть совершенно иного масштаба, несоизмеримого с первым.

Большие средства, во всяком случае, по его словам, можно найти только у иностранцев. До сих пор не удалось заинтересовать их подобными делами, хотя делались энергичные попытки. Однако не все надежды потеряны в этом направлении. Он обещал поставить меня в курс, как только что-нибудь обнаружится. Вел я и другие разговоры. Старался заинтересовать людей. Ведь никогда не знаешь, где клюнет.

Теперь о делах другого рода. Ю.А. написал мне, чтобы я обращался к Вам, что, впрочем, само собой ясно. Но неясно мне, можете ли Вы помочь насчет визы. Когда я узнал, что Дубенский (Артамонов) уехал и вернется в половине июля, я сообразил, что надо искать квартиру на июль. Я ее еще не нашел, но найду, конечно. Однако мне бы очень не хотелось затягивать переезд (из Парижа в Курганы) позже, чем конец

июля, потому что перемена климата для моей жены безопаснее всего летом. Поэтому я буду очень просить, если это входит в Ваши возможности, начните визные хлопоты, не дожидаясь Дубенского.

И еще одно. Мои молодые друзья обратились ко мне с одной маленькой просьбой: им нужны (советские) студенческие журналы для предстоящего съезда, на котором надо сделать доклад. Если Вам такое удастся добыть, их надо переслать на мое имя. Буду Вам за них глубоко признателен.

Моя книжка, с тех пор, как я купил машинку, начала двигаться. А то чистое горе было с глазами. Я оказался оптически инвалидом. Шлю самый сердечный привет. Отвечайте по адресу — я меняю квартиру — 54, avenue des Gobelins, Paris XIII на мое имя. Сегодня уезжаю на юг, но мне перешлют. Искренне Ваш В. Данилевский».

Хотя Шульгин, вернувшись из России, не сказал мне, что намерен искать за границей денежной поддержки М.О.Р., я понял, что со Струве и с не названным в письме парижским собеседником он поднял этот вопрос по почину «Треста». Догадка оказалась верной.

Артамонов, до отъезда в отпуск, предупредил меня о желании владельца Курган поселиться в этом имени ради задуманного им предприятия. Согласие Польши на его появление там показалось мне сомнительным. Генеральный штаб мог помочь поездке Шульгина в Россию, но его длительное пребывание на Воляни скрыть было бы трудно, и оно, несомненно, вызвало бы протест тех поляков, для которых бывший редактор «Киевлянина» был воплощением русского национализма. Поэтому, сообщив штабу его просьбу о визе, я ждал не прямого отказа, а такой затяжки, при которой Шульгин сам отказался бы от своего желания.

Это случилось раньше, чем я предполагал. Создание мыловаренного завода Шульгин поручил дилетантам, ничего в этом промысле не понимавшим — русской жене варшавского прокурора-поляка Т. и ротмистру Ч., талантливому поэту, но фантазеру и мечтателю, лишенному какой-либо практической сметки. Они истратили данные им Шульгиным на обзаведение небольшие средства и вернулись в Варшаву несолоно хлебавши.

Во Франции Шульгин не предвидел этого исхода и в ожидании польской визы хотел помочь курганским «мыловарам». 9 июля 1926 года он мне написал:

«Глубокоуважаемый Сергей Львович! Сегодня перевел на Ваше имя через Лионский Кредит тридцать (30) долларов, которые должны быть Вам вручены в долларах же, как мне тут заявили, но в чем я не уверен, так как не знаю, разрешено ли это современными польскими законами. Эти деньги предназначаются на нужды мыловарни. Я принужден

был их занять, так как простой мыловарни обходится мне очень дорого, ибо люди сидят без дела, а существовать им как-то нужно. Разумеется, они должны, а мне придется расплачиваться. Надо послать им жиров, жидкого стекла и все прочее по списку, который Вам пришлют немедленно, как только Вы запросите. Так как деньги могут запоздать сравнительно с этим письмом, то я прошу Вас воспользоваться этим временем и запросить Ч., что ему нужно для варки. Но так как там вообще денег ни гроша, так что я опасаюсь прямого голода, то прошу Вас запросить и об этой стороне вопроса, то есть не нужно ли часть денег переслать им на их самые вопиющие нужды. Но это, конечно, в высшей степени не желательно, ибо надо, чтобы они добывали средства к жизни из варки.

Вместе с тем, принимая во внимание, что мой кредит исчерпан и что расходы мои оказались гораздо выше первоначальных предположений, прийти на помощь делу, которое не может стать на ноги из-за отсутствия оборотных средств, я, по всей вероятности, больше не смогу.

Одновременно не откажите написать мне, как обстоит дело с визами. Я писал Вам из Парижа до получения Вашего письма, что я очень прошу Вас немедленно начать дело о визах, не дожидаясь возвращения Ю.А. То лицо, о котором я писал Вам в предыдущем письме, — Нобель. Сердечный привет. В.В.»

Следующее письмо было написано в С. Эгюльф, 18 июля:

«Многоуважаемый Сергей Львович! Сим извещаю Вас, что на Ваше имя послана посылка, содержащая мою рукопись. Я не знаю, приехал ли Ю.А., и потому продолжаю обращаться к Вам, кроме того, мне бы очень хотелось, чтобы Вы прочли и высказали свое мнение. При сем прилагается письмо А.А. (Якушеву), которое, пожалуйста, прочтите. Из него Вы узнаете необходимые комментарии к чтению рукописи.

Буду очень просить Вас отправить рукопись незамедлительно дальше, ибо и так уже много времени прошло и не хотелось бы тянуть еще. Пока там прочтут и постановят свое решение, пройдет порядочное время. Теперь мне придется сделать перерыв в работе. Вторую половину июля и начало августа займет переезд. Таким образом, следующая порция может поступить только к концу августа.

У меня еще к Вам две покорнейших просьбы: 1. как дела с визами; 2. еще раз прошу Вас подтвердить получение 30 долларов, если они до Вас уже дошли. Если Ю.А. приехал, передайте мой сердечный привет. Искренне преданный Вам, Вебе».

К письму было приложено «приблизительное оглавление» первой части книги, которую Шульгин хотел назвать «Контрабандистъ», но которую берлинское издательство «Медный Всадник» напечатало в янва-

ре 1927 года — за три месяца до разоблачения советской провокации в «Тресте» — под названием «Три столицы». С «приблизительным оглавлением» Москва получила на просмотр и утверждение десять глав, тогда как «Три столицы» — включая эпилог — состоит из двадцати шести. «Трест» вернул первые десять автору без поправок и возражений. Как ему были посланы остальные, мне неизвестно.

Никаких подозрений рассказ Шульгина об его впечатлениях и встречах в России во мне тогда не вызвал. Более того, меня взволновало прикосновение к отечеству глазами человека, который тогда казался твердым и непримиримым противником большевиков. Много лет спустя мне пришлось напомнить ему эту книгу в открытом письме, которым я ответил на его обращенный к эмигрантам призыв примириться с коммунизмом и советчиной. В 1926 году я не мог предположить, что нас когда-либо разделит вздвигнутый этим призывом барьер.

Я не скрыл от Шульгина впечатления от его рукописи. Он ответил 2 августа 1926 года:

«Глубокоуважаемый Сергей Львович! Произошло, очевидно, крайне досадное пропадание моего письма, а вернее, двух писем, потому что, насколько мне помнится, я насчет Марии Димитриевны (его жены) писал Вам два раза. Пишу в третий: ее документы находятся ныне в порядке и визу для нее надлежит хлопотать на фамилию ее мужа. Одновременно, для верности, пишу о том же Юрию Александровичу. От него еще письма не получил до сего числа.

Очень рад, что рукопись дошла. Я за нее также начинал тревожиться, но более еще рад, что она «производит сильное впечатление», если Вы это серьезно, а не от доброты сердечной. Автору очень трудно судить, всегда кажутся несуразности — то горишь огнем Колумба, увидевшего новый материк, то все кажется пошло-бледным. В конце концов решаешь: «Как написалось, так и написалось — выше головы не прыгал и Колумб». На этом рассуждении собираешь силы, чтобы предстать на суд народный. Очень Вам благодарен, что Вы уже ее переслали дальше. Меня очень интересует, как там отнесутся.

Итак, доллары получены и пересланы. Благодарствуйте и на этом. Мне очень хотелось бы, чтобы они послужили той смазкой, которая необходима, чтобы пустить в ход это маленькое предприятие. Но сильно побаиваюсь, что они истратят деньги на жизненные надобности, ибо там, в этом смысле, большой крах или прямо голод. Очень Вам признателен, что Вы заступились перед нашими друзьями за это дело и ходатайствовали за него. Мне кажется, что сравнительно небольшие суммы дали бы ему возможность работать и самоокупаться на первых порах, а затем давать и доход. Но тут нужно помогать вовремя. Подробнее

напишу об этом Ю.А. (Артамонову). Пока шлю Вам сердечный привет. *Тутаву Дублеве*».

Между тем г-жа Т. и ротмистр Ч. не выдержали «прямого голода» и появились в Варшаве, бросив «предприятие» на произвол судьбы. Мне пришлось заняться устройством незадачливого мыловара на частную службу. Это удалось, и, несмотря на большую разницу лет, между нами возникли дружеские отношения.

\* \* \*

Прошло несколько месяцев — 1926 год близился к концу. Неожиданно, 11 ноября, Шульгин написал мне из Парижа:

«Глубокоуважаемый Сергей Львович! Одновременно с сим письмом я прошу Ю.А. (Артамонова) познакомить Вас с содержанием моих писем Александру Александровичу (Якушеву) и Антону Антоновичу (оказавшемуся впоследствии советским агентом бывшему прокурору Дорожинскому, сопровождавшему Шульгина по поручению «Треста» в его поездке по России и пользовавшемуся в «Тресте» псевдонимами Марченко и Мещерский). Только соображения выигрыша времени заставляют меня писать им без предварительного, продолжительного и исчерпывающего обсуждения с Вами и с Ю.А. этого вопроса. Ваши в этом смысле знания и опыт незаменимы. Я надеюсь, Вы позволите мне широко пользоваться тем и другим. Другими словами, я напрашиваюсь на совместную работу с Вами, точнее сказать — хочу внести и свою лепту в общее дело. Больше всего мне не хотелось бы, чтобы у Вас хоть на минуту явилась мысль о противуположении или соперничестве наших трудов. Впрочем, откровенно говоря, я серьезно так не думаю, чтобы Вы могли так отнестись, и если пишу Вам это, то немножко из принципа «береженого Бог бережет», а больше, чтобы просить Вас подумать над вопросом, как, соединив наши усилия, мы могли бы достигнуть наилучшего результата. Я был бы Вам весьма благодарен, если бы с согласия и одобрения Ю.А. написал бы от себя Алек. Алек. в поддержку моего плана и ходатайства. Основную же мысль о необходимости верной информации (о положении России под советской властью) я в значительной степени почерпнул из бесед с Вами, почему Вы не можете не быть мне тут верным союзником.

В ожидании личного с Вами, приятного и плодотворного для дела, созидания, шлю Вам сердечный привет. О. К.».

Это письмо было получено мною в те дни, когда Артамонову предстояла поездка в Париж для встречи с Кутеповым и Якушевым. Я не знал, чем объяснялась необходимость этого совещания, но озабоченность Ар-

тамонова показывала, что парижские разговоры вряд ли будут легкими. Он был настолько рассеян, что забыл показать мне, до отсылки в Москву, письма, присланные Шульгиным для Якушева и Дорожинского. Поэтому я не узнал, что именно автор «Трех столиц» предложил М.О.Р., но догадался, что речь шла о распространении «верной информации из России». Шульгин, вероятно, не знал, что «Трест» этим уже занимается.

Артамонов изредка получал из Москвы статьи для эмигрантских газет и журналов. Они были подписаны псевдонимом — Серов — и казались произведениями верующего православного христианина, несомненного монархиста. Мы отсылали их в Париж, где они были напечатаны «Борьбой за Россию» и «Отечеством». Сохранилась в памяти одна — посещение автором превращенного большевиками в музей Александровского дворца в Царском Селе. Описание комнат убиенной Царской Семьи и сохранившихся в них вещей и фотографий так убедительно говорило о преклонении перед памятью жертв екатеринбургского преступления, что я до сих пор не могу ответить на вопрос, было ли оно написано чекистом в антисоветской маске или вовлеченным в М.О.Р. действительным противником революции.

Недавно я узнал, что в начале своего существования «Трест» пытался протолкнуть эмигрантскими руками во французскую печать нужную Москве дезинформацию.

Вторично мне пришлось стать временным резидентом М.О.Р. и Кутеповской организации в Варшаве в ноябре 1926 года, во время упомянутой парижской встречи Артамонова с Кутеповым и Якушевым. Именно тогда «Трест» вернул через меня Шульгину вторую, ранее мне неизвестную, часть «Трех столиц». Полученное мною сопроводительное письмо показывает соблюдавшуюся М.О.Р. в переписке канцелярскую аккуратность, которая — будь мы опытнее — должна была вызвать удивление и недоверие.

Написанное 27 ноября, это письмо помечено № 43, вероятно как продолжение более ранних, адресованных Артамонову. В нем было сказано: «Глубокоуважаемый Сергей Львович, прилагаемую при сем рукопись и две газетные вырезки просьба переслать В.В. Лежневу (Шульгину). Касаткин (псевдоним называвшего себя в Москве Стаунигом чекиста Опшерлута) просит передать Вам, что Ваша очередная почта нами пока не получена. Пользуясь случаем, прошу принять уверения в моем глубоком уважении. С. Мецгерский».

Без задержки, не прочитав, я отослал рукопись в Париж. Шульгин откликнулся немедленно, написав 5 декабря:

«Глубокоуважаемый Сергей Львович! Рукопись получена, позвольте Вас очень поблагодарить. Ваше письмо также получено. Выдержки га-

зетные в нем также. Так как исправлений (в тексте рукописи), кажется, почти нет, то, вероятно, появление книги не за горами, ибо первая часть уже набрана и издатель стонет о второй. Сегодня завтракал с приезжими (Якушевым и Артамоновым). В среду буду иметь конференцию с Ю.А. по разным техническим вопросам.

Письмо В.С. (ротмистра Ч.) не откажите прислать сюда, ибо выяснилось, что я в Польшу не могу ехать. Очень об этом сожалею по причинам Вам, конечно, ясным, но надеюсь недостаток живого общения возместить регулярными письменными сношениями. Подробности сообщит Вам Ю.А., с которым мы, надеюсь, договоримся, считая, однако, что невидимо Вы присутствуете при нашем разговоре. С превеликим огорчением, что личное свидание, о котором пишет В.С., не состоится, прошу принять мой сердечный привет. В.В.»

В январе 1927 года Шульгин сообщил Артамонову, что должен рассчитаться с Антоном Антоновичем (Дорожинским) за расходы, понесенные им во время поездки по России. Он прибавил, что ему легче всего перевести деньги мне, как варшавскому корреспонденту «Возрождения».

В начале февраля контора этой газеты прислала мне чек Вестминстерского банка в Париже на 75 долларов, а в начале марта — второй чек на 100 долларов. В сопроводительных письмах на бланках «Возрождения», подписанных управляющим конторой А. Давыдовым, было сказано, что деньги посланы мне «по поручению В.В. Шульгина на известное Вам употребление».

«Трест» успел получить их до своего апрельского саморазоблачения. Сохранились полученные мною расписки от 12 февраля и 19 марта, которые Дорожинский подписал как Ант. Ант. Марченко. Вторая была получена мною в Варшаве за несколько дней до «бегства» Опперпута из Москвы в Финляндию.

По словам Шульгина, одним из побуждений, толкнувших его на поездку в Россию при содействии М.О.Р., было желание найти пропавшего без вести сына. В литературе о «Тресте» было высказано мнение, что это было предлогом, но существует документ, доказывающий, что судьба сына волновала Шульгина не только в годы существования М.О.Р., но и позже. 17 августа 1927 года он написал из Булурис, в департаменте Вар, во Франции, ротмистру Ч. в Варшаве:

«Дорогой В.С.! Большая к Вам просьба. Пойдите в ред. газеты «Курьер Поранны» и от моего имени попросите их номер газеты, или номера, если их несколько, где сообщалась история, о которой Вы прочтете в прилаг. фельетоне А. Яблоновского (в парижском «Возрождении»), и пришлите мне. Кроме того, попробуйте разузнать, не склонен



ли «Курьер Пораннь» указать источник своей информации о том, что-бы можно было узнать, в чем дело, от лица, сообщившего газете. Кроме того, очень прошу Вас посетить Ю.А. (Артамонова) и узнать, не может ли он что-нибудь разведать. Я лично не верю в это, ибо твердо убежден теперь, что Ляля (пропавший без вести сын Шульгина) умер и все это или ошибка, или провокация, но все же надо проверить. Может быть лучше, если Вы предварительно пойдете к Ю.А. и посоветуетесь с ним, как поступить? Может быть, удобнее навести справки в «Курьере Пораннь» через С.А.? Обнимаю Вас. Недавно с В.И. Вондраком вспоминали Вас и послали Вам открытку. Пишите мне на имя В.А. Лазаревского, который сейчас живет у меня. Ваш В.В.

Из карандашной отметки на этом письме, которое ротмистр Ч. передал мне, видно, что справка в редакции варшавской газеты была наведена по телефону и осталась безрезультатной.

Копии моих писем Шульгину не сохранились, за исключением одной — последнего письма от 22 октября 1927 года:

«Глубокоуважаемый Василий Витальевич! В ответ на Ваше письмо от 15-го октября с. г. спешу сообщить, что Вы, само собой разумеется, можете перевести на мое имя деньги для В.С. (ротмистра Ч.). Его адрес мне известен, и деньги будут мною немедленно по получении переданы по назначению. Я искренне рад, что могу оказать Вам эту незначительную услугу, и прошу Вас и впредь располагать мной, если это Вам понадобится.

Не могу не воспользоваться случаем, чтобы не сказать Вам, с каким вниманием и интересом я прочитал Ваше замечательное «послесловие» (к «Трем столицам»). Я очень тяжело переживаю происшедшее, виню себя в ненаблюдательности и легковерии и на Ваших впечатлениях проверяю мои собственные. Помимо некоторых, по-моему, неверно изложенных или недостаточно оттененных Вами моментов, о которых говорить в письме невозможно, я могу указать Вам на одну существенную фактическую неточность: Опперпута звали не Оскаром, а Эдуардом, то есть этим именем он пользовался. Отчество у Вас верное, т. е. то, которым он действительно пользовался. Искренне Вас уважающий С. Войцеховский».

Переписка оборвалась не вследствие изменения моего отношения к Шульгину. Причиной было не это. 4 мая 1928 года мой брат Юрий<sup>57</sup> совершил в Варшаве покушение на жизнь советского торгпреда Лизарева. Его защита в двух судебных инстанциях поглотила мое внимание, а в 1930 году, после похищения генерала Кутепова чекистами в Париже, же, я, разойдясь во мнениях с подчиненным генералу Миллеру новым возглавителем «работы на Россию», порвал навсегда с конспирацией и

предпочел ей явные общественные начинания, в которых Шульгин не участвовал.

Несколько десятилетий спустя я неожиданно убедился в том, что большевики, захватив его в Югославии после Второй мировой войны и превратив в шестидесятых годах в орудие своей пропаганды, обращенной к эмигрантам, вспомнили «Трест» и поручили своей зарубежной агентуре установить судьбу тех, кто имел то или иное отношение к его «тайной» поездке в Россию. В частности, смерть Александрова, скончавшегося в 1948 году, им была, очевидно, не известна.

\* \* \*

Шульгин был упомянут, под псевдонимом Лежнева, в полученном мною из Москвы в начале марта 1926 года письме Якушева о предстоявшем тогда в Париже русском Зарубежном Съезде.

Председатель Российского Комитета в Польше, Виктор Иванович Семенов, подготавливавший участие варшавских русских эмигрантов в этом съезде, предложил моему брату и мне стать членами этой делегации. Брат, бывший тогда председателем Организации Русской Молодежи, предложение принял. Считая себя связанным с М.О.Р., я дважды запросил Якушева об его отношении к съезду и моей поездке в Париж. Ответ, написанный 1 марта, был доставлен из Москвы польским дипломатическим курьером. В нем было сказано:

«Дорогой Сергей Львович! Ваши письма от 18 и 23 февраля получил и спешу на них ответить. Что ни говорите, у Волынского (Д.Ф. Андро де Ланжерона) есть нюх и он умеет вовремя подойти к людям. Если состоится поездка Левина (Якушева) к Вам в гости, то очень было бы интересно поговорить с Вами на эту тему, а может быть, в случае необходимости повидаться и с Волынским. Впрочем, Волынский каким-то верхним чутьем угадывает время приезда Левина и сам является для разговора.

По поводу Вашей предполагаемой поездки на съезд могу сообщить, что «Трест», как таковой, сам, конечно, никого на съезд не командует, но, если Вы получите туда командировку от какой-нибудь группировки, то мы будем это только приветствовать и считаем Ваше присутствие на съезде крайне желательным.

Нам самое ценное — Ваше личное впечатление о съезде и той среде, в которой Вам придется быть. Вы сумеете осветить то, что никакими официальными отчетами не отметишь. Кроме того, как думает Дипский (Артамонов), подобная Ваша поездка явится началом Вашего выхода на широкую общественную арену, а нам иметь в Вашем лице

своего общественного деятеля весьма важно, ибо Вы сами знаете, что деятели прежней формации нам не очень подходят, даже такие, как обращающийся в нашу веру Лежнев.

Впрочем, в известной степени, Лежнев, полагаю, будет нам все-таки полезен. Например, его предполагаемое выступление на съезде с докладом о поездке нам, кажется, будет полезно. Надо было видеть, как у него здесь нарастало чувство изумления, когда он знакомился с действительной Россией, а не с той, которая представляется расстроеному воображению мануфактуристов (эмигрантов). Зная его ораторские способности и умение убеждать, надо полагать, что он сможет произвести сильное впечатление на съезд и заставит его идти по желательному пути.

Присланный Вами бюллетень «Централь Юропеан-прессе» очень интересен в некоторых частях, и мы просим Вас, если это не составит Вам особого труда, присылать нам эти бюллетени. Выборки из них делать не стоит, мы здесь сами разберемся. Итак, надеюсь, что неофициальный представитель «Треста», в лице нашего милого Сергея Львовича, будет присутствовать на этом курьезном съезде, и вслед за тем мы получим ряд как всегда интереснейших и метких описаний всего им виденного и слышанного. Жму крепко Вашу руку. Мой сердечный привет Вашей супруге. Преданный Вам А. Федоров».

Не могу вспомнить, о чем именно Андро хотел тогда поговорить с Якушевым, но предполагаю, что, при его связях в польской среде, темой разговора должны были стать русско-польские отношения.

Андро действительно несколько раз появлялся из окрестностей Данцига в Варшаве так, что его приезды совпадали с присутствием Якушева в польской столице. Московского гостя это удивляло и, как мне казалось, беспокоило, хотя объяснялось просто — исполняя просьбу Андро, благодаря которому я стал участником М.О.Р., я предупреждал его о встречах с Якушевым, которому, по инстинктивной осторожности, это не сказал. При всем моем доверии к «Тресту», я не только в этом случае придерживался раз навсегда установленного правила — соблюдения тайны моих личных и общественных отношений.

Письмо Якушева о Зарубежном Съезде кольнуло меня чрезмерной похвалой моих «всегда интереснейших и метких описаний всего виденного и слышанного», так как этот отзыв не был оправдан ни моими письмами «Тресту», ни варшавскими разговорами с его приезжавшими из России участниками. Я приписал эту лесть желанию доставить мне удовольствие, а не тому, чем она была в действительности — попыткой получить «закулисные» впечатления от парижского съезда.

Побывать на нем мне не пришлось. Тот же Якушев неожиданно сообщил Артамонову, что М.О.Р. изменило свое мнение и признало мое

участие в съезде нежелательным. С конспиративной точки зрения это мне показалось правильным, и я принял отмену поездки как должное. Делегация Российского Комитета в Польше побывала в Париже, но ее рассказа я Якушеву не сообщил.

\* \* \*

Трест неоднократно проявлял к Артамонову доброжелательное внимание. Когда родился его сын, названный Сергеем, варшавский резидент М.О.Р. пожелал соблюсти старинный обычай — заказать, по размеру младенца, икону его небесного покровителя, но в Варшаве никто не взялся выполнить этот заказ. Образ был написан в России и, через пограничное «окно», доставлен в Польшу.

Ранним летом 1926 года Артамонов получил от «Треста» отпуск для поездки в Югославию, где жили его мать и дядя. Из Москвы ему был прислан напутственный подарок — плоский золотой портсигар с надписью на внутренней стороне крышки: «Юрию Александровичу Артамонову от М.О.Р.». На месяц с лишним обязанности резидента Кутеповской организации и «Треста» перешли ко мне.

Тогда я впервые узнал, что перепиской Кутепова с Москвой ведал в Париже полковник А.А. Зайцов<sup>58</sup>. Полученные мною, в отсутствие Артамонова, письма были помечены очередными номерами и написаны по всем правилам дореволюционной бюрократической или военной переписки. В одном из них Зайцов был назван А.А. Усовым, но подписаны они были псевдонимами Н. Салов и Н. Кох. Были ли они псевдонимами самого Зайцова, мне неизвестно. Историческое значение этих документов не велико. Я включаю их в мои воспоминания только для того, чтобы показать, насколько интенсивной была тогда переписка Кутепова с М.О.Р.

Письмо № 79 от 31 мая было коротким: «Милостивый Государь, Сергей Львович! Не зная, уехал ли Юрий Александрович или нет, направляю настоящее письмо Вам с просьбой, если Юрий Александрович еще не уехал, передать его ему, а в противном случае направить прилагаемое письмо с первой оказией по назначению в «Трест». Прошу Вас принять уверение в совершенном уважении и полной преданности. *Н. Салов*».

Затем я получил письмо № 81 от 18 июня: «Многоуважаемый Сергей Львович! Ваше письмо с приложенными к нему письмами от Рабиновича (Якушева) и для Бородина (Кутепова) получил в полной исправности. Премного благодарен. Не откажите направить далее в «Трест» с первой оказией прилагаемое письмо А.А. Кацу (Якушеву). Посылали ли Вы или Юрий Александрович в последнее время что-либо для меня

через женевцев (польских дипломатических курьеров). Я давно у них (в польском посольстве в Париже) не был и не хотел бы идти до получения уведомления от Вас, что у них есть что-либо для меня. Примите самый искренний привет от уважающего Вас и преданного Н. Коха».

В письме № 82 от 25 июня было сказано: «Многоуважаемый Сергей Львович! Сегодня мною получено Ваше письмо от 21-го июня № 2 и заказная бандероль с печатными материалами. Срочное письмо и церковные заметки (статья Серова о церковных событиях в России) сегодня же переданы мною Бородину. Премного благодарен за посланное. Не откажите направить с первой okazji прилагаемое письмо в «Трест». Прошу Вас принять уверения в совершенном уважении и преданности. Н. Кох».

Следующие два письма показывают, что Кутепов поддержал желание Шульгина приехать в Польшу и поселиться на Воляни. В № 83 от 3 июля это мне было сообщено: «Глубокоуважаемый Сергей Львович! А.А. Усов поручил мне просить Вас сделать все необходимое для получения въездной визы лицу, указанному в прилагаемой записке, в которой также приведены все необходимые для получения визы данные. Относительно данной визы Платен писал Бергману, и последний, вероятно, Вас осведомил об этом. Только что получил Ваше письмо от 28-го июня № 3 с письмом Рабиновича. Примите уверение в совершенном почтении и преданности. Н. Кох».

Просьба была повторена в письме № 84 от 16 июля: «Многоуважаемый Сергей Львович! В дополнение к моему письму от 3-го июля прошу Вас передать Юрию Александровичу, что Бородин (Кутепов) просит его также исхлопотать визы для въезда в Польшу двух лиц, указанных в прилагаемом списке. Визы для этих лиц необходимы также по той же надобности, о которой Платен должен был известить Юрия Александровича. Только что получил Ваше письмо от 13-го июля с письмом (из Москвы) для Бородина, которое передам сегодня же. Я надеюсь, что с приездом Юрия Александровича вопрос с визами выяснится. Примите уверение в совершенном уважении и преданности. Н. Кох».

Код, употребленный в этой переписке, не сохранился, но — если память мне не изменила — А.А. Зайцов называл Шульгина Платеном, а Бергманом — Артамонова.

Последнее полученное мною до возвращения Артамонова в Варшаву письмо № 85 от 19 июля состояло из четырех строк — просьбы о «пересылке с ближайшей okazji прилагаемого письма А. Рабиновичу».

Нужно ли прибавить, что столь интенсивная переписка Кутепова с Якушевым укрепила мою веру в М.О.Р.?

Между тем Артамонов написал мне 17 июня из Югославии. Поделившись первыми впечатлениями о стране, прежде ему не известной, он перешел к привлекавшим тогда наше внимание евразийским делам:

«Из письма Шмидта (Арапова) — хотя я не знаю содержания его письма к Денисову (Лотовому) — вижу, что снова начинают что-то путать с поездкой (представителя евразийцев в Россию). По-видимому, выдвигают новый проект приезда Денисова (за границу). Вы знаете, чем кончались дела, когда выдвигались всякие мануфактурные (эмигрантские) проекты, то есть ничем. Поэтому я был бы очень осторожен в оценке этих дел. Кстати я думаю, что Денисов вряд ли сможет приехать.

О моем свидании с Элкиным (П.Н. Савицким) пока прошу Вас ни слова не говорить никому из нефтяников (евразийцев), даже о самом факте. Элкин очень близок к Вашей и моей оценке современ. нефтян. работы, как «игры в дело». Я руководствовался в разговоре с ним Вашей оценкой его, как человека наиболее пригодного, психологически, для работы с Аргентиной (в России), и сложившийся при этих разговорах план может дать результаты.

Элкин, по своей горячности, которую мне пришлось сдерживать и которую я сдержал, гораздо резче и дальше идет в своих планах, чем мы с Вами. Время пока еще терпит, и я не хочу писать Вам всего содержания разговора, м. б. сделаю это через несколько дней, когда у меня в голове все устоится и выкристаллизуется».

Из второго письма, которое Артамонов написал, видно, что, в его отсутствие, мне пришлось заняться его денежными расчетами. Очевидно, в ответ на мой запрос он сообщил: «Я действительно забыл сказать Вам лично о том, что А.В. (Александрова) надо ко времени окна кредитовать на покупки (для «Треста»), если бы от М.И. (Криницкого) не поступило денег. Словом, то, что Вы теперь сделали (то есть снабжение Александрова деньгами на упомянутые покупки), совершенно правильно. Что касается счета за заграничные разговоры (по телефону), то он правилен. Разговоры эти относятся к концу апреля и началу мая, когда я два раза подолгу говорил со Шмидтом (Араповым) в связи с делами поездки (представителя евразийцев в Россию). В их продолжительности виноват был главн. обр. Шмидт».

В другой части того же письма Артамонов спросил: «Как и что выясняется с поездкой нефтяников (евразийцев)? Если они поедут к 20 июля, то после них в порядке давно обещанной идеологическ. поездки поедет Элкин (Савицкий). Если Пэнни (П.Н. Малевский-Малевич) и т. д. не поедет, надо будет провезти Элкина. Пока все это только между нами. Я еще буду писать Денисову (Лантовому) и Вам о моих разговорах с Элкиным».

В ответ на мое короткое письмо о пребывании П.Б. Струве в Варшаве Артамонов 18-го написал: «Ваши письма 3 и 4 получил. Вы, к сожалению, так туманно пишете, что мне совершенно неясно, что являлось центром разговора С. с Вами. Я себе представляю, что он мог говорить о способах достать деньги для «Треста». Если это так, то это очень хорошо — это как раз та область, в котор. и его стоит попробовать на всяк. случай. Если же его главный интерес заключается в оперативной работе, то мне кажется, что это представляет собой для нас меньший интерес. Я уверен, что Вы отлично провели с ним разговоры и сосредоточили свое внимание именно на том, чтобы осведомиться об его возможностях и планах больше, чем вводить его в трестовск. дела. То, что это случилось в мое отсутствие, м. б. к лучшему — это уже судьба так устраивает и мне было бы наверное не легко сдерживать свою горячность в разговоре с ним. Напишите мне, пожалуйста, кратко, как Вы обычно пишете, но не общими, а конкретными фразами тему разговоров с С. Догадались ли Вы оставить копию Вашего письма Рабиновичу (Якушеву) о С. для меня?»

Еще у меня есть вопросы к Вам, на которые прошу ответа:

1. Получено ли от «Треста» подтверждение о визе для Лежнева (Шульгина) и просили ли Вы уже (офицера второго отдела польского генерального штаба, майора) Брауна об этом?

2. Есть ли движение — и какое — в деле поездки Пэнни к Денисову? Есть ли конкретное решение, кто, когда и куда едет, то есть получили ли Вы соответ. письма?

3. Когда будет след. окно?

4. По каким дням теперь уходит и приходит почта? Отменен ли четверг?

5. Собираетесь ли Вы 13—15 июля уехать по своим делам, как говорили мне? Это мне необходимо знать для оконч. расчета времени.

6. Были ли письма от (ротмистра) Ч. из Трестхоза (волинского имения Шульгина)?

Теперь, когда А.В. (Александров) получил деньги от М.И. (Криницкого), он должен рассчитаться с Вами за взятое».

Прибавив несколько фраз о своих личных делах, Артамонов в заключение написал: «Элкин оч. хвалебно пишет про полученный от Вас Аргентинский обзор (статью о положении России)».

П.Н. Савицкий, действительно, мою статью похвалил, даже чрезмерно похвалил. 27 июня он мне написал из Праги: «Дорогой Сергей Львович! Позвольте чрезвычайно поблагодарить Вас за присланную статью. Скажу Вам без всякого преувеличения, что она чрезвычайно меня удовлетворила и дала мне уверенность в плодотворном дальнейшем нашем

сотрудничестве. У Вас как раз есть то, чего нет ни у кого из нас: наряду с ясностью мысли, дар прозрачного, простого изложения и — я скажу также — тактическая расчётливость, обдуманность каждой фразы. Дай Боже, что это был камень, на котором нам удалось бы построить здание помощи «внутреннему движению» печатной литературой. В перспективе жизни, основание базы помощи «внутреннему движению» полагаю основной практической задачей. Искренне Ваш. П. Н. С».

Восемь месяцев спустя евразийское «внутреннее движение», связанное с «Трестом», оказалось чекистской «легендой», но, помимо этого, моему сотрудничеству с евразийцами не суждено было окрепнуть. Мы одинаково надеялись увидеть новую Россию и участвовать в ее построении, но, в моем представлении, его основой должна была стать русская историческая традиция. Временное сохранение некоторых последствий революции казалось мне неизбежным, но с полным их очищением от марксизма и советчины, евразийцы же постепенно все более склонялись к простому переименованию Советского Союза в Евразию.

Между тем выяснилось, что Арапов собирается в Москву. Из Югославии Артамонов написал мне 12 июля: «Дорогой Сергей Львович! Ваши письма все получил, включая и последнее о том, что Шмидт хочет ехать. Я выезжаю через три недели и 18-го июля буду в Варшаве. С дороги протелеграфирую Вам точное время приезда и, так как Вы теперь утром не заняты, то мы м. б. сговоримся о том, что первое утро дня приезда посвятим деловым разговорам. Прочтите прилагаемое мое письмо Денисову (Лотовому) и, если по нефт. (евразийской) обстановке не видите препятствий к его пересылке, перешлите его Денисову (в Москву) в отдельном конверте. Содержание его рассматривайте как совершенно между нами конфиденциальное — это я говорю на случай, если бы Шмидт приехал раньше меня. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы виза ему была выслана так скоро. Я еще не знаю, каким путем поеду, т. е. по Дунаю или через Австрию по ж. д., поэтому совершенно не могу еще точно сказать Вам, приеду ли я утром или днем. Пока до скорого свидания. Привет Вашим. Ваш Литский».

\* \* \*

Сохранились полученные мною в отсутствие Артамонова письма Арапова. В первом, от 18 мая 1926 года, был указан его адрес: Kaiserallee 68 I. Berlin-Friedenau.

«Дорогой Сергей Львович, — сказано было в этом письме, — целую неделю не имею известий от Ю.А. и начинаю беспокоиться. Был бы Вам благодарен, если бы Вы могли мне написать, в каком положении наши



дела, какие перспективы и где Ю.А.? Ведь он собирался 16-го уехать к матери? Я предполагаю, что он, однако, не выехал. Есть ли какие-нибудь сведения от друзей (от М.О.Р.) и от Денисова (Лангового) в частности? Пока ограничиваюсь этими строками. Надеюсь, что кто-нибудь из Вас обоих откликнется и что у Вас все благополучно. Сердечно жму руку. Ваш Шмидт».

Из письма Арапова от 7 июня я узнал, что зарубежные евразийцы снабжают Лангового деньгами, и притом в английских фунтах. В письме было оказано: «Дорогой Сергей Львович, очень прошу Вас отправить два прилагаемых письма по назначению и деньги — 40 ф. — Денисову. Нельзя ли было бы также отправить Денисову пишущую машинку Ю.А.? Машинка Денисова находится сейчас в Пар. (Париже) у Кролинского. Задержка с ее доставкой Вам очень досадна. Надеюсь, что она в скором времени будет переправлена, но так как мы бы не хотели заставлять ждать Денисова, то мы и просим послать ему машинку Ю.А., а Ю.А. — подождать присылки машинки из Пар. Уехал ли Ю.А. в Сербию и как его адрес? Долго ли он там думает остаться? Сердечно жму руку. Ваш Шмидт».

Затем пришло короткое письмо от 10 июня: «Дорогой Сергей Львович, посылаю Вам вдогонку первому письмо Денисову с ответом на его пис. от 28-го мая. Пожалуйста, перешлите его. Прилагаю также письмо для Ю.А. Если он уже уехал, очень прошу Вас также его переслать ему. Сердечно обнимаю. Ваш П.А.».

Следующее письмо, от 22 июня, было написано не в Берлине, а в Лондоне и помечено номером П/258: «Дорогой Сергей Львович, получили Ваши письма от 13-го и 15-го. Из нашей переписки с Денисовым — письма 9-го, 10-го и 18-го июня — Вы увидели, что мы считали бы более выгодным приезд Д. (Лотового) сюда, до поездки кого-либо из нас к нему. Вопрос о высылке (польской) визы — кому и куда — таким образом естественно зависит от ответа Денисова. Т. к. времени не много, то мы просим Вас по получении его ответа сообщить по телеграфу, может или не может Денисов приехать, послав письмо вдогонку. Последние события отодвинули как-то на задний план вопрос о пересылке (евразийской) литературы (в Россию). В каком положении передал Вам дело Ю.А., желал ли возобновить пересылку (при содействии польского генерального штаба) и присылку Вам новых запасов? Сердечно обнимаю. Шмидт».

В письме не было указано, кого Арапов подразумевает под словом «мы», но ответ на этот вопрос был дан полученным мною из Лондона письмом евразийца П.Н. Малевского-Малевича от 18 июня. Оно было помечено номером П/246 — буква, очевидно, обозначала тот псевдо-

ним Пэнни, которым автор письма назывался в переписке евразийцев. Впервые написав мне, он сообщил свой адрес — с/о Miss A. Wolkoff, 27 Campden Road, London W. 8., — а затем прибавил: «Милый Сергей Львович! Обращаюсь к Вам с просьбой прилагать письмо и деньги переслать Денисову, а мне прислать прилагаемую расписку в получении. Как разрешился вопрос с посылкой машинки Денисову? Искренне преданный П. Малевский».

3 июля Арапов написал мне из Оксфорда, в Англии: «Дорогой Сергей Львович! Не получив от Вас никаких известий относительно Ден. (Лангового), послал Вам телеграмму о высылке визы Шм. в Ковно (в Берлин). Очень прошу Вас иметь в виду, что Шм. будет у Вас только 20-го, и соответственно сообщить Ден. о приезде его (в Москву) числа 25-го. У него (то есть у Арапова, обозначившего себя в этом письме первыми двумя буквами своего псевдонима Шмидт) ряд важных дел. Если бы был какой-либо определенный ответ от Денисова, то я буду здесь до 10-го, с 10-го до 15-го по адресу Резника (евразийца Сувчинского). Очень прошу все срочное и важное сообщать. Сердечно Вас обнимаю. Ваш П.».

7 июля Арапов написал еще раз: «Дорогой Сергей Львович! Получил вчера вечером Ваше письмо с вложением писем Денисова и А.А. (Якушева). Телеграммы я не получил, Вам же я послал еще 3-го телеграмму о высылке визы Шм. в Ковно. Эту телеграмму я получил 5-го назад с указанием, что адресат не найден! Тут же послал ее вторично и надеюсь, что Вы сейчас ее получили. Надеюсь, что Вы также получили мое письмо от 3-го. Ввиду отъезда 24-го Денисова — что, впрочем, явилось новостью для меня — сделаю все, чтобы Шм. был в Женеве (в Варшаве) 18-го утром, конечно если с Вашей стороны Вы устроите визу. Сердечно жму руку. Ваш П.А.».

Трудно сказать, почему первая телеграмма была Арапову возвращена. Я ее получил 3 июля — она сохранилась до сих пор в моих бумагах, — несмотря на то что адрес был неполным и состоял лишь из моей фамилии, названия улицы и номера дома, в котором я никогда в Варшаве не жил. Польский телеграф установил, однако, что указанный адрес был адресом Русспресса и, не застав меня в редакции, оставил уведомление о полученной для меня из Англии телеграммы.

Ее содержание должно было, однако, удивить поляков упоминанием Ковно, столицы Литвы, с которой Польша тогда не поддерживала отношений. Может быть, это удивление стало причиной возвращения телеграммы отправителю для проверки текста.

Путаница, возникшая в вопросе о свидании зарубежных евразийцев с Ланговым, мне, очевидно, не понравилась. Об этом я теперь могу

судить по единственному сохранившемуся в моем архиве письму Лангового из Москвы, написанному 27 июня.

Как и вся переписка «Треста», оно было доставлено в Варшаву польским дипломатическим курьером, но от аккуратно напечатанных на прочной голубой бумаге писем Якушева отличалось не только внешне — неразборчивым карандашом на желтоватом листе самого низкого качества, — но и орфографией. Якушев придерживался старой, Ланговой — новой.

«Дорогой Сергей Львович, — сказано в этом письме, — получил два раза по сорок фунтов (стерлингов), всего 80. Жду машинку. С содержанием Вашего письма от 15-го июня я вполне согласен. Мне также кажется, что идет какая-то путаница и ералаш. Впрочем, от окончательного суждения воздерживаюсь до личного свидания.

Между нами говоря, у меня иногда была мысль о посылке к черту, но воздерживался я от этого по следующим соображениям, пока:

1. Не всех надо послать к черту, а только путаников;
2. Надо, следственно, выявить, кто путаники, а кто нет;
3. Нужен единодушный поход против путаников, как со стороны аргентинской (эмигрантской), так и мануфактурной (внутрироссийской) нефти (евразийцев);
4. Решаться на посылку к черту, т. е. на разрыв, надо только взвесивши все за и против, т. к. здесь поставлены на карту вещи более серьезные, чем, напр., вопросы личного самолюбия.

На сем кончаю. Сердечно Вас обнимаю. Привет А.В. (Александрову). Будьте добры переслать прилагаемое письмо Шм. (Арапову). Искренне Ваш *Денисов*.

6 июня генеральный штаб прислал мне в редакцию записку, написанную по-русски, судя по почерку — капитаном Таликовским: «Получена вчера (из Москвы) телеграмма: Миша приедет вместо среды субботу десятого. *Рин*». Вместо подписи были приписаны две буквы — Шт.

Телеграмма, очевидно, предупреждала об изменении даты перехода польско-советской границы «в окне» кем-то, связанным с М.О.Р. или с Кутеповской организацией. Имела ли она отношение к свиданию евразийцев с Ланговым, я теперь сказать не могу. Упомянутый в телеграмме Миша был, несомненно, М.И. Крииницким.

В отсутствие Артамонова в Варшаве состоялась моя встреча с П.Б. Струве. Он передал мне включенное уже в эти воспоминания письмо Шульгина от 18 июня. Отчет об этой встрече был мною послан «Тресту» и Кутепову. Он вызвал ответ М.О.Р., который, как мне кажется, разоблачает одну из главных задач, поставленных чекистами созданной ими «легенде». До этого ответа я получил от Якушева другие письма. Первое,

написанное в Москве 9 июня, было помечено номером двадцать вторым, как продолжение переписки с Артамоновым:

«Дорогой Сергей Львович! Полагаю, что это письмо не застанет уже Юр. Ал. (в Варшаве), а потому пишу на Ваше имя. Почту № 22 от 2-го июня мы получили в полной исправности, но только вчера, 8-го июня, что объясняется, по словам Никифорова (псевдоним польского офицера, поддерживавшего в Москве связь с «Трестом»), не установившимся еще расписанием прибытия и отправки почты.

Должен Вам сообщить о маленькой неприятности, случившейся с нашим Касаткиным, результаты которой еще неизвестны. Нужно Вам сказать, что он живет на даче, и вот вчера утром он до службы хотел зайти на свою городскую квартиру, но был предупрежден дворником, что ночью на его квартиру являлись гости из ГПУ и, не застав его, квартиру опечатали. Днем на службу пришли опять те же посетители и, предъявив ордер на производство обыска и, в случае надобности, ареста, забрали Касаткина и отправились с ним на его квартиру. Можете себе представить, как мы были рады, когда часа через три Касаткин снова появился у нас. Оказывается, искали переписку с заграницей. Разумеется, ничего не нашли, хотя и забрали много разных старых бумаг. Сказали, что через несколько дней его вызовут. По-видимому, здесь имел место донос домоуправления, с которым у него неважные отношения и которому известно, что иногда он получает письма из-за границы, от родственников.

Прилагаемое письмо и материалы по церковному вопросу прошу переслать Бородину, причем если материалы Вас интересуют, то пожалуйста пользуйтесь ими. Я — грешник — в этих вопросах слабоват, но подбирал материалы большой знаток дела, Серов. Жму крепко Вашу руку и сердечно обнимаю. Буду ждать Вашего доклада по поводу текущих событий. Что подельывает Ваш Лжедмитрий (Д.Ф. Андрю де Ланжерон)? Давно ли Вы его видели? Прилагаемые письма Шульцу (находившихся тогда в Москве участников Кутеповской организации М.В. Захарченко и Г.Н. Радковича) прошу переслать Бородину (Кутепову). Несмотря на все мое уважение и любовь к М.Н., не мог осилить его отчета — очень несвоевременно и тема не интересна. Не пишите ему об этом. Ваш А. Федоров».

Трудно сказать, почему Якушев включил в это письмо «маленькую неприятность», якобы постигшую человека, которого он назвал Касаткиным. Мне было известно только то, что этим псевдонимом пользуется ведающий кассой М.О.Р. москвич Стауниц. Лишь в апреле 1927 года я узнал, что и эта фамилия была псевдонимом чекиста, латыша Упелинеца-Опперпуга, которого Никулин изобразил в «Мертвой зыби» противником

большевиков — бывшим савинковцем, превратившимся в монархиста. Вероятно, Якушев хотел создать впечатление, что участникам М.О.Р. угрожает со стороны ОГПУ опасность, которую один из них избежал.

В письме были указаны не только инициалы, но и фамилия русского парижанина, отчет которого Якушев назвал «несвоевременным». Просьба о несообщении ему этой оценки меня удивила. Я его не знал, даже понаслышке, и только позже убедился в том, что он был хорошо известен Артамонову.

В письме № 23 от 15 июня Якушев сообщил: «Дорогой Сергей Львович! Почту Липского (Артамонова) от 10-го июня № 23 мы получили исправно и своевременно. Судя по его словам, это уже окончательно последняя его почта перед отъездом. Поэтому жду в следующий раз письма от Вас. Хотя Юрий Александрович (Артамонов) и указывает, что Вы будете пересылать ему адресованные на его имя письма, но я полагаю, что самое лучшее будет оставить его на месяц совершенно в покое, если не будет чего-либо экстренного, а потому и не хочу ему писать, пусть отдохнет нервами.

Из числа возбужденных Ю.А. в последнем письме вопросов нуждается в немедленном разрешении вопрос о визе в Швейцарию (в Польшу) для Лежнева (Шульгина). Мы Вас покорнейше просим заняться этим вопросом и попросить Мих. Мих. (Таликовского) дать ему визу.

Волков (Потапов) завтра уезжает на курорт лечиться. Хотя сначала врачи и нашли, что в Крым ему, при болезни сердца, ехать не следует, но так как на Кавказе места освободятся еще не ранее, чем через месяц, а кроме того, так как в Крыму сейчас стоит весьма умеренная погода и жары нет, то его и посылают в Гурзуф. Надеюсь, что он там окрепнет и после возвращения освободит на некоторое время меня, чтобы я смог осуществить хотя бы на короткое время поездку в Ваши края.

За истекшую неделю ничего особенно выдающегося нас не произошло. Касаткина тягали в субботу в то учреждение, которое делало у него обыск, и подробно расспрашивали, с кем и как он ведет переписку из живущих за границей. Он, конечно, указывал на родственников. Вообще нужно сказать, что какая-либо переписка, кроме родственной, с заграницей открыто почти невозможна. Неприятно, что Касаткин, благодаря этой истории, находится теперь в поле зрения известного учреждения и требуется сугубая осторожность, чтобы не влопаться, а он человек весьма смелый, иногда даже чересчур.

Очень прошу передать прилагаемое письмо от Мих. Ив. (Криницкого) А. В-чу (Александрову), в нем вложено 100 долларов. Примите к сведению и сообщите, кому нужно, что Касаткина зовут Александр

Антонович и чтобы ему адресовали письма на это имя. Крепко жму руку и сердечно обнимаю. Ваш А. Федоров».

В следующем письме Якушева, помеченном № 24, вместо даты было сказано, что оно написано «в ночь с 20 на 21 июня 1926 г.».

«Дорогой Сергей Львович, — сказано было в нем, — Вашу почту № 24 от 17 июня получил исправно и своевременно. Мы совершенно расстроены событием, которое произошло сегодня утром, а именно: эстонский посланник Бирк, бывший их министром иностранных дел и даже одно время председатель совета министров, так вот этот самый высокопоставленный тип сбежал из миссии, оставив там письмо, а так как он перед тем денно и ночно торчал в Н.К.И.Д. (народном комиссариате иностранных дел) и там о чем-то секретно совещался, то естественно мы страшно тревожимся, не предал ли он нас. Пока мы знаем только то, что он исчез, что получил визы турецкую и французскую, но предал ли нас, не знаем, и куда он направился, тоже не знаем.

Нечего Вам говорить, в каком настроении мы все находимся. Возмутительно то, что мы уже неделю назад предупреждали эстонского военного атташе и требовали, чтобы он или арестовал или убил посланника, но он не решался, и вот в результате наши опасения и подозрения оправдались и нам грозит большая опасность. Писать больше некогда. Если будем целы, напишу более подробно в следующий раз, а пока крепко жму руку и обнимаю. Прилагаю корреспонденцию для Бородина. Не откажите срочно переслать. Ваш А. Рабинович».

Никаких собственных воспоминаний о деле Бирка у меня нет, а появившиеся в русской зарубежной, в советской и в иностранной литературе сведения об его судьбе противоречивы. Судить о степени их достоверности я не могу, но, перечитывая теперь следующее полученное мною письмо Якушева — № 25 от 29 июня, — вижу, что он, панически описав исчезновение эстонского посланника, поспешил поставить над этим делом точку, как только узнал от меня о предстоявшем приезде П.Б. Струве в Варшаву.

«Дорогой Сергей Львович, — написал Якушев на этот раз, — Ваше интереснейшее письмо от 24-го июня за № 25 мы получили 27-го. Мы не представляли себе, что разговор между Дежневым (Шульгиным) и приезжим (Струве), о котором нам своевременно сообщил Ю.А. (Артамонов), будет иметь такие быстрые результаты и будет проявлена активность со стороны приезжего. Ожидаю Вашего следующего письма, в котором, надеюсь, Вы сообщите о тех пунктах, которые он ставит «Тресту», а также содержание или текст его статьи (условий).

Когда мы узнали о переговорах Дежнева с приезжим, мы посмотрели на это как на болтовню или, в лучшем случае, как на одно из тех благих

намерений, которыми вымощен ад, полагая, что даже и достать-то средства он не в состоянии. Если же вопрос принимает актуальный характер, то с нашей стороны было бы глупо отказываться от помощи, но, разумеется, надо знать условия, которые ставятся «Тресту». Не зная их пока, но в то же время вполне полагаясь на Ваш такт и преданность делу, мы думаем, что они не содержат ничего противозастенного, иначе Вы, вероятно, просто бы отказались от дальнейших разговоров с ним.

Во всяком случае, мы раз навсегда даем Вам полное разрешение на сотрудничество (со Струве), поскольку оно нужно для наших общих с Вами целей, не видя в этом не только ничего предосудительного, но даже считая это разумным и полезным, поскольку цель оправдывает средства. В смысле ведения Вами переговоров и правильности освещения Вами отдельных сторон деятельности «Треста» и его задач, мы вполне спокойны, зная Вас, и вполне уверены, что эта сторона дела находится в надежных руках.

С естественным нетерпением ждем дальнейшего. Вы совершенно правильно отметили отсутствие у «Треста» личных симпатии и интриги, как двигателей политики «Треста». Можете, в частности, в отношении Бородина (Кутепова) сказать, что мы ему доверяем и не предполагаем менять его на Сергеева (Врангеля). В прошлый раз я Вам сообщил о Борисове (эстонском посланнике Бирке). Более интересного пока мы и сами ничего об этом деле не знаем. Он куда-то бесследно провалился. Пока мы можем определенно сказать, что он нас еще не выдал. В чем тут дело, сам черт не разберет.

Жму крепко руку и обнимаю. Если успеете к следующему письму дать обычный обзор, было бы очень приятно, но помните, что в данный момент наиболее серьезным являются переговоры с приезжим, которые и должны быть поставлены в главе всего, а потому, если из-за обзора Вы должны будете потерять время, нужное на более серьезную работу, то не торопитесь с обзором и отложите его на другой раз. Прилагаемое письмо перешлите Шмидту. Ваш А. Федоров».

\* \* \*

Сохранился черновик моего доклада центральному комитету («правлению») М.О.Р. Он был написан 25 июня, зашифрован в двух экземплярах, из которых один был послан Якушеву, а другой — Кутепову. Встреча со Струве была мною описана так:

«21 июня я получил телеграмму от Струве. Он сообщил, что приезжает в Женеву (Варшаву) на международный съезд, и просил меня встретить его и приготовить ему помещение. Ввиду отсутствия каких

бы то ни было отношений с ним до получения этой телеграммы, я, зная из газетных статей о недавнем свидании его с Лежневым (Шульгиным) и в общих чертах зная то, о чем Липский, по поручению «Треста», писал Лежневу, я догадался, что Струве обратился ко мне по рекомендации Лежнева и потому отправился встретить его и устроил его в гостинице. В том, что Струве обратился ко мне по рекомендации Лежнева, я не ошибся. Он сразу передал мне письмо Лежнева (от 18-го июня), в котором последний просил меня переговорить с ним по вопросу о финансовой помощи «Тресту».

Приезд Струве в Женеву (Варшаву) застиг меня врасплох, так как я не имел на этот случай никаких указаний ни непосредственно от «Треста», ни от Липского (Артамонова). О тех разговорах, которые могли быть между Лежневым и Струве, я слышал очень немного и только то, что мне мельком сообщил Липский, по-видимому не предвидевший такого случая и потому не считавший нужным посвятить меня в подробности дела.

Мне пришлось поэтому на собственный страх и риск принять решение и установить мое отношение к Струве. Не имея от «Треста» никаких указаний, я, естественно, должен был быть с ним особенно сдержан и осторожен. Прошлой отрицательное отношение «Треста» к нему могло вообще удержать меня от свидания с ним и разговоров, но факт переговоров, которые велись (в Париже) Лежневым (с Нобелем и другими лицами), и письмо Лежнева заставили меня принять на себя ответственность за некоторые разговоры. В день своего приезда Струве очень торопился на упомянутый научный съезд и потому ограничился передачей мне письма Лежнева и словами о том, что в моем лице он видит представителя «Треста», с которым желает переговорить по поднятому Лежневым вопросу. Он сказал также, что приехал только на съезда и для разговора со мной, причем возможность этого разговора сыграла решающую роль в деле его поездки. Я ответил, что рекомендация Лежнева дает мне возможность переговорить с ним, но что в моем лице он видит не представителя «Треста», а лишь посредника, могущего довести до сведения «Треста» то, что он мне сообщит. Слово «Трест» в нашем разговоре при этом, конечно, ни разу названо не было. Я задал ему несколько вопросов, чтобы удостовериться, что он знает о «Тресте» и поездке Лежнева (в Россию).

В тот же день состоялось наше первое деловое свидание, прерванное, однако, разными, по другим делам являвшимися к нему, посетителями. Во время этого свидания Струве успел лишь сказать мне, что по просьбе Лежнева он готов заняться финансовой помощью «Тресту», но что перед этим «Трест» должен дать доказательства своего существования.



В течение первых трех дней пребывания Струве в Женеве я неоднократно виделся с ним, то на указанном съезде, то на разных эмигрантских собраниях в его честь, причем, конечно, ни разу не затрагивался вопрос, ради которого он приехал.

Мне эти встречи дали возможность присмотреться к Струве и этим облегчили мне наш основной разговор, который состоялся 23 июня днем. Я напомнил Струве его слова о том, что «Трест» должен дать доказательство своего существования, и спросил его, как это надо понимать и какие должны быть доказательства.

Он ответил, что метод борьбы с конкурентами (коммунистами) может быть различен. Можно принять тактику непрерывного нанесения отдельных ударов. Можно стремиться к подготовке одного конечного удара. Реальная осуществимость второй тактики кажется Струве мало вероятной и он склонен считать ее провозглашение уклонением от борьбы. Во всяком случае, по его словам, получение денег должно быть предварительно определенными доказательствами. Поездка Лежнева является реальным доказательством существования «Треста», но одной поездки мало. Следует установить более тесную связь между «Трестом» и теми кругами, которые могут дать деньги.

В этот момент разговор наш несколько уклонился от основной темы, так как Струве начал говорить о возможности более частых поездок из эмиграции в «Трест» и о полезности продолжительного пребывания кого-либо из руководителей «Треста» в эмиграции, но затем мы вернулись к основной теме и я поставил Струве несколько вопросов.

Я спросил, считает ли он получение мало-мальски крупной денежной помощи осуществимым и кто может такую помощь оказать. Струве ответил, что получение денег, по его мнению, возможно и что деньги могут быть даны либо металлстами (англичанами), либо чехами, на что у него есть серьезные расчеты, но получение денег сопряжено с известными условиями. Так связь («Треста») с Германией и Литвой устраняет возможность получения поддержки от металлстов. Связь с Швейцарией (Польшей) может помешать получению денег от чехов.

Я промолчал и не дал никакого ответа на содержащийся в его словах вопрос (о заграничных связях «Треста»), а сам спросил, при каких условиях он мог бы попытаться, как он сам выразился, получить чек. Струве ответил, что первым условием является для него получение новых доказательств деятельности «Треста», а затем указания «на какую базу «Трест» опирается». Доказательством деятельности может быть повторение поездки, совершенной Лежневым.

Однако поездка Лежнева получила такую широкую огласку, что повторить ее невозможно. Говоря это, он явно упрекнул Лежнева в недо-

статочной конспиративности, но прибавил, что опубликование книги Лежнева будет иметь ту хорошую сторону, что огласка вызовет интерес, облегчающий получение денег. Его вопрос о том, на какую базу «Трест» опирается, был для меня сразу не совсем понятен, и я попросил разъяснения. Струве в ответ начал что-то путать, но, по-видимому, «базу» он понимает как совокупность реальных возможностей «Треста», особенно в области отношений с окраинными государствами.

Продолжая говорить о необходимости повторения поездки, он сказал, что в настоящий момент первым шагом к получению денег должна была бы быть поездка лица, им указанного; что, в случае принципиального согласия «Треста» на организацию такой поездки, он, вернувшись в Вену (Париж), займется приисканием такого лица.

Отвечая на мой вопрос о размере помощи, он сказал, что говорить об этом невозможно, что все зависит от ловкости посредника, то есть, в данном случае, его самого, и что вообще в таком деле необходимо доверие к посреднику.

Этим, в сущности, разговор по основному вопросу был закончен. Во все время разговора я больше слушал, чем говорил, и раза два подчеркнул, что мои слова не могут обязывать «Трест», так как я говорю только от своего имени, не имея никаких инструкций. По окончании разговора я, однако, почувствовал, что Струве еще что-то хочет сказать, и, действительно, он спросил меня, известно ли мне об обострившемся в последнее время раздоре между Бородиным (Кутеповым) и Сергеевым (Врангелем). Я ответил, что известно, хотя причины раздора мне не понятны.

Тогда Струве с неожиданной горячностью, составляющей разительный контраст с его обычным спокойствием, начал говорить мне о том, что в споре между Сергеевым и Бородиным вся правда на стороне Бородина, что их нельзя между собою сравнивать, что работать надо с Бородиным и что очень жаль, что в последнее время (в «Тресте») возникли тенденции к расхождению с Бородиным и установлению отношений с Сергеевым. Хоть он говорил в форме как бы отвлеченной, но я понял, что речь идет о совершенно определенном вопросе — поездка Лежнева вызвала слухи о том, что «Трест» охладел к Юнкерсу (великому князю Николаю Николаевичу) и Бородину (Кутепову) и хочет работать с Сергеевым (Врангелем). Я понял, что кроме разговора о финансовой помощи целью приезда Струве было также выяснение правдивости этих толков и что этот вопрос интересовал его не менее, если не более вопроса о финансовой помощи. Поэтому я задал ему несколько вопросов и убедился в том, что я не ошибся. Действительно, Струве считает, что Лежнев ездил в «Трест» интриговать против Бородина в пользу Сергеева и что «Трест» охладел к Бородину и хочет с ним порвать.

Убедившись в этом, я сказал Струве то, что, как мне кажется, я должен был сказать. Я указал, что у «Треста» нет никакого предвзятого подхода к кому бы то ни было в эмиграции и что сотрудничество возможно со всеми теми, кто может быть для «Треста» полезным, но что отношение «Треста» к Юнкерсу и Бородину вполне искренно. В известные моменты может возникать у «Треста» не охлаждение, а некоторое разочарование, объясняемое тем, что эмиграция ничего не дает «Тресту», но в этом отчасти виноват сам Бородин, не делающий разницы между «Трестом» и какой-либо своей агентурой, с которой он «держит связь». Струве перебил меня и сказал, что об этом не может быть речи и что Бородин ценит свои отношения с «Трестом» гораздо выше всех остальных своих отношений, но опасается охлаждения «Треста», вызванного интригой Лежнева и Елисеева (генерала Климовича). В ответ я еще сказал несколько фраз, долженствовавших, с одной стороны, убедить Струве в добром отношении «Треста» к Бородину, а с другой, указать, что «Трест» — достаточно значительная политическая величина, чтобы вести самостоятельную политику и разговаривать с теми, с кем считает нужным. Я сказал, что в условиях работы «Треста» нет места для интриг и что нельзя рассматривать отношения с кем-либо, кроме Бородина, как интригу против Бородина. Наконец, я прибавил, что, по моему мнению, толки от желаний «Треста» порвать с Бородиным и сосредоточить все свои отношения в руках Сергеева лишены всякого основания. Струве ответил изъявлениями благодарности за то, что я его успокоил, и словами о том, что всю работу сосредоточить надо в руках Бородина, который замечательный и сильный человек.

Надо было прощаться, и мы расстались на том, что я дал Струве мой адрес и получил его, а также условился относительно пароля, с которым могло бы обратиться к нему от моего имени третье лицо. Он просил в будущем избегать посредничества — даже Лежнева и Бородина — и обращаться прямо к нему.

Само собой разумеется, что во время нашего разговора с моей стороны не было сказано ничего, что могло бы послужить намеком на какие-либо дела и отношения «Треста», его состав и т. п. Надо отдать справедливость Струве, что он, в этом отношении, не проявлял назойливости. Факт существования «Треста» принимался обеими сторонами во время разговора как то бесспорное, вокруг чего можно строить план оказания денежной помощи.

24 июня Струве уехал. По-видимому, никаких политических разговоров, хотя бы по делам своего Центрального Объединения (существовавшей тогда в Париже русской эмигрантской политической организации), он здесь ни с русскими, ни с поляками не вел.

В мои короткие воспоминания о пребывании П.Б. Струве в Варшаве, опубликованные парижским журналом «Возрождение» (тетрадь 9-я, май—июнь 1950 года), я включил посланный в Москву из Варшавы доклад об этих разговорах, исключив упомянутое в них расхождение Кутепова с Врангелем. Отгаска этого разногласия показалась мне тогда преждевременной. Теперь мне кажется нужным сообщить текст этого документа полностью. Он показывает, как пагубны были наши эмигрантские разделения и как они облегчали чекистам их провокационную «игру».

Теперь я вижу, насколько легкомысленным было мое слепое доверие к Якушеву, Потапову и известному мне только понаслышке Зайончковскому; насколько недостаточным было понимание вреда, причиняемого противникам коммунизма их разобщенностью.

Якушев ответил на мой доклад о Струве письмом № 26, первоначальная дата которого — 5 июля — была до отсылки исправлена на 8-е.

«Дорогой Сергей Львович, — написал он, — Вашу почту от 1-го июля за № 26 получили исправно. Надеюсь, что до Вас дошла наша телеграмма о временном перерыве обычных почтовых сношений и об усиленном функционировании окон.

Быть может, на первый взгляд Вам покажется это парадоксальным, ибо риска с окнами больше, но, насколько нам удалось установить, в настоящий момент меньше обращается внимания на периферии, чем на центр. Кроме того, нам необходимо получить некоторые документы, для удачного выполнения чего нам нужно временно прекратить сношения со здешними представительствами торгпалат (иностранных генеральных штабов). Пока мы объявили перерыв на один месяц, но если удастся получить успокоительные данные раньше, то возобновим почтовую линию раньше этого срока.

Переходя к вопросу о С. (Струве), должен, прежде всего, принести Вам от имени правления (М.О.Р.) сердечную благодарность за разумное, тактичное и вполне соответствующее интересам «Треста» ведение переговоров с ним.

Обращаясь к существу поставленных им условий, я считаю нужным отметить, что, как бы ни сильна у нас была потребность в средствах, но для нас еще важнее достижение нашей конечной цели. К достижению ее мы идем по выработанному нами плану, в который вносим коррективы, в зависимости от обстоятельств и приноравливаясь к местной обстановке. Но в нашей деятельности мы никогда не руководствовались и не можем руководствоваться желаниями и вкусами групп и лиц, стоящих вне нашей орбиты, а тем более не можем, по заказу,

показывать фокусы, которые, быть может, будут приятны и убедительны для посторонних, но могут повести нас по неверному направлению или испортить нам дело. Лучше еще несколько лет тяжелой, трудной работы, чем погубить дело, увлекшись призраком легкого получения средств.

Поэтому мы можем идти лишь на такие эксперименты, которые нами будут признаны вполне безопасными и отвечающими общей нашей тактике. Кроме того, необходима конкретизация понятий, что, например, С. подразумевает под словами «непрерывное нанесение ударов». Если это террор, то мы от него раз навсегда торжественно отказываемся. Если же что-нибудь другое, то желательно знать, что же именно.

Против поездки к нам лиц, по выбору С., мы, конечно, ничего не имеем. Пожалуйста, милости просим, но с одним маленьким условием, которого мы до сих пор неизменно придерживались, а именно, чтобы список кандидатов на поездку был согласован с «Трестом». Установление постоянной связи — вещь вполне приемлемая. Частый обмен путешественниками в обе стороны возможен, но нужно иметь реальные цели для таких путешествий, которые, как Вы знаете, и довольно дорого стоят, и сопряжены с серьезным риском каждый раз. Наконец, более или менее продолжительное пребывание за границей кого-либо из членов «Треста», пожалуй, достижимо. Во всяком случае, если вопрос (о денежных средствах) будет поставлен на реальную почву, то это представится и необходимым.

Во всяком случае, мы относимся с полной серьезностью к предложению С. и просим Вас продолжать с ним в этом направлении переписку, руководствуясь вышеприведенными общими соображениями. Кроме того, нам чрезвычайно интересно было бы знать масштаб, который имеет в виду С. Идет ли тут разговор о тысяче ф. (фунтов стерлингов) или о чем либо действительно серьезном. Когда Вы найдете нужным непосредственное наше обращение к нему, уведомьте нас, а пока ведите переговоры сами.

До делу Б. (эстонского посланника Бирка) ничего интересного мы за это время не выяснили. По-видимому, вся эта история пока нас не коснулась. Нужно только получить уверенность в этом, к чему мы и стремимся.

Денисов (Ланговой) просит передать Вам, что Ваше письмо он получил и благодарит за него. Сам писать не имеет физической возможности. Просит сообщить нефтяникам (евразийцам), что он к ним ехать сейчас абсолютно не может и ждет их здесь, в половине июля, но не позднее 24-го июля, но кажется, что к этому сроку они не успеют при-

ехать. Жму крепко Вашу руку и сердечно обнимаю. Прошу переслать прилагаемое письмо Бородину (Кутепову). Ваш А. Федоров».

В моем архиве нет указания, кем и когда этот ответ Якушева был сообщен Струве. Вероятно, после возвращения Артамонова из Югославии, я показал ему копию доклада «Тресту» о пожеланиях Струве и полученное из Москвы письмо Якушева. Вероятно, считаясь с тем, что резидентом Кутеповской организации и М.О.Р. в Варшаве был Артамонов, от переписки со Струве я уклонился.

Воображаю, какое удовольствие доставил мой доклад чекистам, превратившим М.О.Р. в провокационную «легенду». Подтверждение распространенных слухов о разногласиях между генералами Кутеповым и Врангелем должно было их обрадовать, а неверное предположение Струве об интриге Врангеля против Кутепова и об его желании вступить в сношения с «Трестом» через побывавшего в России Шульгина должно было показаться бесспорным доказательством несомненной напряженности эмигрантских расхождений.

Ни Артамонов, ни я не придали особого значения включенному в письмо Якушева сообщению о временном перерыве сношений «Треста» с иностранными военными агентами в Москве и объяснению перерыва необходимостью «получить некоторые документы».

Теперь можно предположить, что это уклонение от встреч представителей М.О.Р. с иностранными офицерами было вызвано желанием польского штаба получить «документ», который — по словам Ричарда Враги, польского автора нескольких статей о «Тресте», — был доставлен «Трестом», но оказался подделкой.

Стало ли разоблачение этого обмана главной — как предполагает Врага — причиной самоликвидации «Треста» в апреле 1927 года, сказать трудно. Состоявшееся тогда по почину О.Г.П.У. и осуществленное опытным чекистом Опперпутом удаление из России проникших туда при содействии М.О.Р. кутеповцев могло быть решено Менжинским и его сотрудниками в связи с возникшей напряженной обстановкой в отношениях между Москвой и Лондоном. Во всяком случае, ликвидировав «Трест», советские «органы государственной безопасности» — благодаря тому же Опперпуту — обеспечили себе контроль над первыми действиями Кутеповской организации после постигшего М.О.Р. провала.

\* \* \*

Последняя поездка Якушева от «Треста» за границу состоялась в ноябре и декабре 1926 года. Никулин, в «Мертвой зыби», написал, что Якушев перешел эстонско-советскую границу 20 ноября и встретился в

Ревеле с Захарченко, вызванной Кутеповым в Париж, но туда не доехавшей. Стауниц, то есть так называвший себя в М.О.Р. Опшерпут, присланной в Ревель телеграммой добился ее возвращения в Москву. Очевидно, ее участие в предстоявших разговорах Кутепова с Якушевым показалось чекистам нежелательным.

В Эстонии Захарченко — по словам Никулина — спросила Якушева, почему он возражает против террора. В ответ он назвал террор «навязчивой идеей», ничего не решающей. Во Франции Якушев — опять-таки по утверждению Никулина — беседовал с Кутеповым, был принят в Шуаньи Великим князем Николаем Николаевичем, побывал у графа Коковцова и у Шульгина. В обратный путь он выехал 14 декабря, направляясь во Франкфурт-на-Майне и в Москву. Никулин не сказал, что во встречах Якушева с Кутеповым и Шульгиным участвовал приехавший из Варшавы Артамонов. В его отсутствие мне вновь пришлось исполнять обязанности резидента М.О.Р. и Кутеповской организации в Польше.

Накануне отъезда Артамонов передал мне список адресов, которыми он пользовался для связи с Парижем. Первым в этом списке был назван Бородин (Кутепов). К его домашнему адресу была сделана приписка: «Для срочных телеграмм, его имя». Затем был указан версальский адрес неизвестной мне русской дамы З. Р. с отметкой: «Бородин, для конфиденциальных писем». Адрес ныне покойного полковника А.А. Зайцова был предварен указанием «Для переписки официальной — о визах, приездах купцов (переходах границы) и т. д.; для отправки пакетов через швейцарцев (польских дипломатических курьеров)».

После него был назван Лежнев (Шульгин) с указанием писать ему по парижскому адресу В. Лазаревского, и, наконец, был упомянут живший тогда в Севре под Парижем русский эмигрант, состоявший, как я летом случайно узнал из письма Якушева, в каких-то отношениях с «Трестом». Об этом адресе Артамонов написал, что он «может быть нужен, как передаточный адрес для конфиденциальных трестовских дел во время пребывания Рабиновича (Якушева) и Липского (самого Артамонова) в Вене (Париже)». Последним в список были включены адреса двух евразийцев — Сувчинского в Кламаре и Шмидта (Арапова) в Берлине.

Одновременно Артамонов сообщил мне, что отослал 29 ноября в Москву предназначенную «Тресту» почту — пакет № 47 — и, в тот же день, пакет № 20 неизвестному мне русскому парижанину А-скому. Другой русский парижанин был назван мне потому, что в день отсылки почты Артамонов передал польскому генеральному штабу просьбу Кутепова о предоставлении ему польской визы, как направляющемуся

в Москву участнику Кутеповской организации. Насколько мне известно, воспользоваться этой визой он, до самоликвидации «Треста», не успел. В день своего отъезда в Париж Артамонов успел сообщить мне и то, что очередное пограничное «окно» назначено на ночь с 15 на 16 декабря, в районе польской железнодорожной станции Столбцы.

Полученная мною в первой половине декабря почта «Треста» была скудной. Ланговой написал 4 декабря: «Дорогой Сергей Львович! Будьте добры переслать письмо и «Евраз. письма» П.Н. Элкину (Савицкому, в Прагу). Я бы с большим интересом выслушал Ваше мнение по вопросам, затронутым в «Письмах». Дружески жму Вашу руку. Ваш Денисов».

6 и 13 декабря С. Мещерский короткими записками, сославшись на Касаткина (Опперпута), подтвердил получение пакетов, доставленных в Москву польскими дипломатическими курьерами.

11 декабря Якушев написал мне из Парижа: «Дорогой Сергей Львович! Ваше письмо и телеграмма получены Юрием Александровичем (Артамоновым). Прошу Вас передать торгпалате (генеральному штабу), что принципиально я не имею ничего против свидания и разговоров, но срока свидания пока установить не могу. Сердечно обнимаю. Ваш А. Федоров».

Тогда отсрочка приезда представителя М.О.Р. в Варшаву для разговора со штабом не показалась мне удивительной, но теперь я думаю, что отказ Якушева от этой встречи, на которой штаб, очевидно, настаивал, объяснялся уже известным ему недоверием польской разведки к полученному от «Треста» «документу». По словам Ричарда Враги, он был признан подлинным изучившими его офицерами, но отвергнут Пилсудским, как очевидная советская дезинформация. Если это верно, самоликвидация «Треста» стала неизбежной, но в декабре 1926 года последняя страница его истории еще не была дописана.

Я знаю со слов Кутепова, что «Трест» предложил ему побывать в марте 1927 года в России и что он приглашение отклонил. Возможно, что чекисты уже тогда хотели заманить своего самого непримиримого и активного врага в западню. Возможно, что они решили сделать это в предвидении неизбежного конца просуществовавшей почти пять лет «легенды».

Кутепов мне сказал — когда я приехал из Варшавы в Париж вестником провала М.О.Р., — что вместо поездки в Россию он предложил «Тресту» встречу с его представителями в Финляндии и что она состоялась в Териоках. Однако Никулин в «Мертвой зыби» написал, что Потапов и «один товарищ по фамилии Зиновьев» прибыли 25 марта из Москвы не в Териоки, а в Гельсингфорс. Я допускаю, что «Зиновьевым» себя назвал



один из будущих участников похищения Кутепова в Париже, пожелавший взглянуть на свою жертву.

Никулин рассказал, что Менжинский, возглавлявший тогда О.Г.П.У., дал Потапову, до его отъезда в Финляндию, следующее указание: «Всеми силами старайтесь скомпрометировать идею террора; ссылайтесь на то, что даже такому специалисту, как Савинков, когда он был во главе боевой организации (социалистов-революционеров), террор ничего не дал».

Никулин не смог скрыть и то, что, посылая Потапова на свидание с Кутеповым, чекисты готовились к ликвидации М.О.Р. Он так изложил сказанное Менжинским: «Надо сказать, что существование «Треста» несколько затянулось. В конце концов, они же (эмигранты) не считают О.Г.П.У. слепым учреждением. Оно не может проглядеть такую солидную контрреволюционную организацию. Так долго «Трест» мог сохраняться только благодаря соперничеству между эмигрантскими организациями и разочарованию иностранных разведок в эмигрантах. Иностранцы делают ставку на так называемые внутренние силы, но и господа иностранцы, которым нужны чисто шпионские сведения, тоже их не получают. Мы бы однажды могли сделать вид, что «Трест» провалился, что мы, так сказать, его поймали, но вслед за этим последуют попытки усилить террор. Нам будет труднее сдерживать Кутепова и кутеповцев. У нас достаточно сил, чтобы ловить их и обезвреживать, но еще лучше, если мы будем действовать на них изнутри, сеять мысль о вреде и никчемности террора». В день этого разговора Менжинского с Потаповым чекисты, очевидно, уже готовили такое решение возникшей перед ними проблемы, при котором конец одной провокации был бы одновременно началом следующей.

По словам Никулина, Кутепов хотел увидеть в Финляндии Захарченко, Якушева и человека, которого он знал понаслышке как Стауница и Касаткина. Против поездки Захарченко в Финляндию «Трест» не возразил, но допустить встречу Кутепова со Стауницей-Касаткиным он не мог — слишком велика была опасность опознания в нем чекиста, проникшего в свое время в савинковский Союз Защиты Родины и Свободы. Поэтому на вопрос Захарченко, заданный ею Потапову в Финляндии, он ответил: «Так решено политическим советом. Якушева, как видите, тоже нет. Сопровождение чисто военного характера».

В этой части своей лживой истории «Треста» Никулин поскользнулся — сделал ошибку, разрушающую всю его постройку. В «Мертвой зыби» он изобразил Стауница бывшим савинковцем, скрывшим от советской власти прошлое и примкнувшим к тайной монархической организации. Его «бегство» в Финляндию, в апреле 1927 года, он объяснит

контрреволюционным прошлым активного савинковца, ставшего монархистом. Однако, в главе о разговоре Потапова с Менжинским, он привел следующую фразу возглавителя О.Г.П.У.: «В последних полученных «Трестом» письмах Кутепов настаивает на том, чтобы (на свидание в Финляндии) приехал Стауниц-Опперпут, но вы знаете, что это нежелательно». Этими словами Менжинского автор «Мертвой зыби» подтвердил, что чекисты знали, кем был в действительности Стауниц, и поэтому считали его появление за границей невозможным.

Кутепов рассказал мне в Париже, что во время финляндского свидания представители «Треста» усиленно расспрашивали его об Англии и об ее отношении к советской власти в России. Возникшее тогда в Великобритании антисоветское настроение их, очевидно, беспокоило. Они прямо спросили Кутепова, считает ли он англо-советскую войну неизбежной. Он ответил утвердительно. Значительно позже один из первых невозвращенцев — бывший сотрудник центрального комитета советской коммунистической партии Бажанов — сообщил, что в марте 1927 года политбюро получило «по линии О.Г.П.У.» предупреждение о неизбежности войны с Англией.

Между этим сообщением Бажанова и рассказом Кутепова об его разговоре в Гельсингфорсе или Териоках — очевидная связь. Может быть, непроизвольно возглавитель Кутеповской организации мнением о неизбежности войны окончательно подтолкнул Менжинского на назревавшее и по другим причинам решение о ликвидации «Треста». Пойдя на это, О.Г.П.У. должно было подумать лишь о том, как обеспечить непосредственное наблюдение за тем, что предпримет Кутепов. Эту обязанность оно возложило на Опперпута.

\* \* \*

Советник польского министерства финансов Леонард Леонардович Штольценвальд<sup>59</sup> был остзейским немцем, ставшим польским гражданином. Службой он дорожил — она была единственным источником средств большой семьи, но Россию он любил, как бывший воспитанник петербургского Училища правоведения, и поэтому позволил Артамонову пользоваться его адресом для почтовой переписки. Однако его смутила и даже испугала телеграмма, посланная из Гельсингфорса 14 апреля 1927 года. Неизвестная ему Мария Шульц хотела узнать, где теперь Гога и не было ли на границе перестрелки. Такие вопросы, написанные к тому же по-русски, могли обратить на него нежелательное внимание. Это его взволновало, и он немедленно отнес непонятную телеграмму Артамонову, который вызвал меня.

<sup>59</sup> «Белое движение», т. 26

Мы знали, что Мария Шульц — псевдоним Захарченко и что Гогой она называет Радковича, но терялись в догадках, почему она неожиданно из Москвы попала в Гельсингфорс и о какой пограничной перестрелке, связанной с Гогой, может быть речь. Мы поняли, что случилось что-то необыкновенное, но высказать определенную догадку не смогли. Артамонов решил сообщить телеграмму штабу. Там ему сказали, что ночью из России границу перешло трое вооруженных мужчин, назвавших себя участниками Кутеповской организации. Одним из них был Радкович. В тот же день их привезли в Варшаву и разместили в небольшой гостинице «Виктория» на Ясной улице.

Радкович рассказал, что человек, известный ему под фамилией Станиц и псевдонимом Касаткин, как один из возглавителей М.О.Р., не вступив в долгое объяснение, посоветовал ему и двум другим находившимся в Москве кутеповцам бежать в Польшу, прибавив, что «Трест» пропитан советской агентурой и что только удачное бегство может спасти участников боевой организации от гибели. Он сообщил, что сам уйдет в Финляндию и что Захарченко решила разделить его судьбу. Для несчастного Радковича это было двойным ударом — не только политическим, но и личным. Его единственным желанием было скорейшее возвращение в Россию и месть чекистам за обман и провокацию.

21 апреля, на последней странице московских «Известий», появилась напечатанная петитом заметка, озаглавленная «Ликвидация контрреволюционной шпионской группы»: «ОГПУ в Москве раскрыта и ликвидирована монархическая группа, называвшая себя сторонниками б. вел. кн. Николая Николаевича. Группа, как видно из захваченных материалов, не имела связи ни с какими слоями населения и занималась, главным образом, военным шпионажем в пользу некоторых наиболее активных военных разведок. Следствием установлено, что контрреволюционная группа получала денежные средства из иностранных источников. Руководителем группы являлся находившийся в Париже б. генерал белых армий, монархист-николаевец Кутепов. Документы, попавшие в руки следствия, и показания арестованных лиц указывают на большую заинтересованность иностранных разведок не только в отношении получения источников для ведения военного шпионажа, но и в отношении поддержки попыток создания антисоветской организации внутри СССР. Однако из материалов {102} следствия видно, что эти попытки никакого успеха не имели. Следствие обещает дать новый материал в смысле разоблачения финансовых махинаций и заграничных связей провалившейся монархической группки б. генерала Кутепова».

Это сообщение изобразило, таким образом, М.О.Р. подлинной тайной монархической организацией и было, очевидно, напечатано для

укрепления доверия Кутепова и других эмигрантов к таким агентам «легенды», как Якушев и Потапов.

5 мая кто-то протолкнул в парижские «Последние Новости» дезинформацию, полученную, по словам редакции, от ее рижского корреспондента:

«Провал монархической организации николаевцев вызван предательством и провокацией некоего Эдуарда Штауница, поступившего около 4-х лет тому назад в организацию монархистов под фамилией Касаткин. Названные две фамилии являются вымышленными, как и ряд других. Так в провалившейся в 1921 году организации покойного Савинкова он значился под фамилией Опперпуг и под этим именем выступал вместе с Гнилорыбовым, как главный свидетель, во время слушания дела Союза защиты родины и свободы.

Позже Штауниц-Касаткин-Опперпуг, кажется, под фамилией Савельев состоял в организации Таганцева<sup>60</sup>, которую также предал. После разгрома таганцевской организации предатель был переведен в Москву, где и установил связь с николаевцами. В монархической — ее еще называют кутеповской — организации Касаткин-Штауниц постепенно пролез в центральный орган, где играл крупную роль. От имени организации Штауниц вел переговоры с антисоветскими правыми группировками за границей. Передают, что был вхож в парижские союзы николаевцев. Держал тесную связь с представителями генеральных штабов ряда государств, снабжая их материалами о Красной армии. Как курьез сообщают, что совсем недавно он вел переговоры со штабом одной страны о доставке в Россию оружия для готовящегося восстания.

Предательство Штауница-Касаткина привело к многочисленным арестам в Москве, Петрограде, Киеве, Харькове, Нижнем Новгороде и других городах. В Петрограде расстреляно 16 человек без суда, отказавшихся от дачи каких-либо показаний. Среди расстрелянных — четыре моряка и несколько красных командиров. По некоторым данным, Касаткин-Штауниц-Опперпуг-Савельев в действительности латыш Упелинц, чекист, занимавшийся в 1918 году расстрелами офицеров в Петрограде и Кронштадте».

Парижская газета прибавила к этому сообщению из Риги примечание, в котором написала: «По слухам, Касаткин-Штауниц опознан и арестован в Финляндии, куда он явился сразу после провала монархистов в двадцатых числах апреля и пытался получить визу в Англию».

Никто или, вернее, почти никто не обратил внимания на странное противоречие между разоблачением чекистской биографии Опперпуга и его появлением в Финляндии. Никто или почти никто не заметил, что «информация» рижского корреспондента «Последних Новостей» пере-

ложила всю вину за провокацию в М.О.Р. на одного Опперпута, обеляя этим остальных создателей «легенды».

Теперь не подлежит сомнению, что эта дезинформация была тактическим ходом чекистов в их игре, имевшей двойную цель — либо добиться доверия эмигрантов и иностранцев к Опперпуту и сделать его участником их антисоветских начинаний, либо очернить его в их глазах разоблачением прошлого и этим облегчить восстановление М.О.Р., как тайной монархической организации, пострадавшей по вине Опперпута, но не раскрытой до конца.

Другим ходом в той же игре было письмо, которое Потапов 10 апреля написал Кутепову. Как ни в чем не бывало за пять дней до сообщения «Известий» о раскрытии антисоветской организации и аресте ее участников это письмо было вручено в Москве поддерживавшему связь с «Трестом» польскому офицеру для доставки в Варшаву дипломатической почтой.

Ставший советским провокатором бывший генерал императорской службы обратился к Кутепову как к другу:

«Дорогой Александр Павлович! Сообщаю Тебе подробности наших печальных событий. 3-го апреля один из сослуживцев Александра Оттовича Упелинца по Красной Армии в Гомеле в 1920 году, Махнов, недавно вовлеченный в одно из наших предприятий, опознал в нашем Касаткине известного провокатора Опперпута — правда, указав, что Опперпут в 1920 году не носил бороды. Об Опперпуте нет надобности распространяться — его имя упоминается в известной Красной Книге ВЧК. Ты должен понять, как нас ошеломила невероятность подобного предположения, и не будешь нас очень ругать за те глупости, которые мы наделали и которым, строго говоря, нет оправдания при всякой другой обстановке.

Вместо того, чтобы немедленно лишить Касаткина возможности действовать, мы стали наводить справки и занялись проверками. Между прочим, и он сам был спрошен о некоторых — на наш взгляд, невинных — вещах, выяснению которых, в целях проверки, мы придавали большое значение. Однако, по-видимому, где-то мы совершили ошибку, вследствие которой он понял, что его подозревают. Дальше, мы не придали достаточного значения его нервному состоянию, в котором он находился последнее время. Мы объяснили его тем раздражением, котор. получил Касаткин в связи с отклонением правлением «Треста» (центральным комитетом М.О.Р.) его слишком рискованных коммерческих операций. Не ожидая такого страшного удара изнутри самого правления, мы, очевидно, недостаточно спокойно взялись за дело и дали повод Касаткину почувствовать, что под ним горит почва. Недостаточ-

но быстрое расследование дало возможность этому негодяю скрыться, весьма хитро предварительно обдумав план побега, и использовать для его осуществления ни в чем не повинных людей.

К несчастью, дело запуталось, благодаря одной — тоже крайне неприятной для нас — случайности. Именно, 5-го апреля племянник (Радкович) — как теперь выяснилось, по поручению Касаткина и без нашего ведома — вел переговоры о продаже своей сварочной мастерской. Угостив покупателя и напившись сам, он попал в милицию, имея на руках некоторые наши счета (документы). На другой день он был выпущен, получив поручение от высокого учреждения оказать содействие по розыску. Вернувшись к этому моменту (из Финляндии) племянница (Захарченко), возмущенная поступком племянника, предложила ему немедленно покончить с собой. В результате обсуждения этого вопроса мы решили, что племянник — вместо того, чтобы исполнить требование учреждения — должен немедленно выехать к фермерам (в Финляндию). Ввиду случившегося, мы нашли пребывание самой племянницы опасным и предложили ей также временно отправиться к фермерам, назначив для этого специальное окно на 12 апреля. 10-го она выехала в Вильну (Петроград), где должна была встретиться с Гогой (Радковичем), но 11-го Касаткин получил от племянницы телеграмму, примерно такого содержания: «Зверев (Радкович) не прибыл, волнуясь, получила очень важное поручение от фермеров, необходимо решение, немедленно приезжайте». Здесь мы совершили нашу главную ошибку. Касаткин, ошеломив нас известием об исчезновении Зверева, вызвался ехать в Вильну. И мы на это согласились, рассчитывая в его отсутствие проверить подозрение.

13-го жена Касаткина получила от него письмо, в котором он называет себя «международным авантюристом» и сообщает, что через месяц будет в Америке. Одновременно мы получили от Касаткина письмо с сообщением об его бегстве и с наглым шантажным предложением: выслать в трехдневный срок деньги за молчание, из чего видно, что есть некоторая надежда, что он еще не все предал.

Этот тактический промах Касаткина дал нам возможность предпринять кое-какие шаги прежде, чем начались протесты (аресты). Хладнокровию и распорядительности Рабиновича (Якушева) мы обязаны тем, что кое-как овладели положением. В настоящий момент Рабинович находится, по-видимому, в относительной безопасности — связь с ним имеем. Готовясь скрыться, еще на своей квартире получил звонок по телефону из Гельсингфорса от Касаткина. Касаткин ультимативно требовал денег и грозил раскрытием всего. На другой день он прислал телеграмму с требованием перевести деньги по адресу: Анны Упелинец, Рига, ул. Барона Кришьяна.

Уже 13-го и 24-го начались массовые протесты векселей (аресты), как рассказывал бежавший из Вильно Серов (Дорожинский). Участь Денисова (Лангового) не известна. Серов рассказал подробности бегства Касаткина. Сам Серов, привыкший с давних пор исполнять беспрекословно приказания Касаткина и ничего не зная о наших подозрениях, крайне растерялся, видя, как Касаткин, вместо того, чтобы только помочь, как он заявил Серову, племяннице нести ее чемодан, сам ушел к фермерам (в Финляндию). Орсини (Демидов), который вместе с Серовым провожал племянницу, тоже был поражен и только потом сообщил о странной фразе, которую ему, уходя, сказала племянница: «Это делается по категорическому приказанию Бородина (Кутепова); втайне даже от Серова; что бы ни случилось, не удивляйтесь; приходите, мы примем Вас...»

Неужели Ты дал такое приказание? Что может значить эта странная фраза? В голове не укладывалось первое невероятное предположение, что и она — его сообщница. И как иначе объяснить ее вызов по телеграфу Касаткина? Однако, проанализировав все события, мы пришли к единственному возможному выводу, что она является только его жертвой. Очевидно, он сумел уверить племянницу в том, что после разгрома активной оппозиции в «Тресте» сторонникам ее стала невозможной дальнейшая работа и он решил конспиративно от правления (центрального комитета, М.О.Р.) уехать к тете Саше (Кутепову) и ей рассказать о линии оппозиции (сторонниках немедленного террора). Только при этом предположении становится понятным великодушие Касаткина по отношению к некоторым своим сторонникам (находившимся в Москве кутеповцам), которых он благородно предупредил о «провале» и помог благополучно уехать — хоть на этом спасибо! Ясно, что это сделано для того, чтобы сохранить благородный вид перед племянницей, на помощь которой он, очевидно, рассчитывает у фермеров.

Нашу первую телеграмму, которую Ты, вероятно, уже получил, мы послали также через огородников (эстонский генеральный штаб) к фермерам (финляндскому генеральному штабу). Крайне опасаемся, как поступят фермеры и, в особенности, сама племянница с этим сообщением, не имея необходимых доказательств. Ей-то, вероятно, фермеры покажут телеграмму. Находясь под сильным влиянием Касаткина, она — мы боимся — не поверит сообщению и, возможно, предупредит его о наших шагах. Было бы крайне необходимо поскорее повлиять на племянницу, чтобы она прекратила с Опперпутом всякие сношения, если нельзя рассчитывать на ее активное участие в борьбе против него. Из нашей телеграммы Тебе уже известно постановление правления о нем — необходимо его выполнить.

В настоящий момент еще совершенно невозможно учесть размеров убытков. Однако уже сейчас есть основание полагать, что Опперпут вел очень сложную игру с конкурентами (коммунистами) и в своих собственных интересах. Он давал конкурентам, видимо, не все, что знал, ибо иначе нельзя объяснить сравнительно ограниченные размеры протестов (арестов). Пока нужно сказать, что окончательно скомпрометированы главное правление «Треста» и привлечена к делу почти вся связь, непосредственно обслуживавшая главное правление. Все линии торговцев (участников М.О.Р.), к которым Касаткин почти не имел отношения, пока не подверглись никаким ревизиям (репрессиям). Провинциальные отделения почти все предупреждены. Кроме здешних (московских), сведения о протестах (арестах) только в Вильне (Петрограде).

Конечно, нам пришлось поработать по приведению в порядок всех дел наших предприятий. К счастью, кажется, никаких архивов правления у Касаткина никогда не было. Он мог только записывать. Трудно сейчас говорить о выводах, но, вспоминая и взвешивая всю роль Касаткина в «Тресте», совершенно немислимо объяснить наше существование без предположения, что провокатором применялась в нашем случае какая-то сверхзэфовская тактика. Но не будем себя утешать и подготовимся к возможным дальнейшим событиям. Ближайшее будущее должно все разъяснить. Горячо обнимаю Тебя. Твой *Волков*».

Теперь мы знаем, что Потапов, несомненно, был советским агентом-провокатором и что его письмо было дезинформацией, исходившей от О.Г.П.У. Ею чекисты — в своей двойной игре — хотели застраховаться от неудачи посланного ими в Финляндию Опперпута. Подрывая доверие Кутепова к нему и одновременно к Захарченко и Радковичу, они создавали положение, в котором глава эмигрантской боевой организации должен был поверить если не Опперпуту, то Потапову. Поэтому они включили в письмо утверждение, что М.О.Р. пострадало лишь частично и что его известные Кутепову возглавители — Якушев и Потапов — уцелели. Этим они открывали себе лазейку к восстановлению «Треста», если не в прежнем, то в новом виде и составе, с возложением на Опперпута всей вины за обнаруженную провокацию и, может быть, и за передачу подложного документа польскому генеральному штабу. В случае же недоверия Кутепова к письму Потапова оно должно было стать доказательством разрыва Опперпута с его преступным прошлым.

Случилось именно это. Поэтому рижская газета «Сегодня» смогла напечатать 17 мая 1927 года письмо в редакцию, начинавшееся так: «Ночью 13 апреля я, Эдуард Опперпут, проживавший в Москве с марта 1922 года под фамилией Стауниц и состоявший с того же времени



секретным сотрудником контрразведывательного отдела ОГПУ — ИНО ОГПУ — бежал из России, чтобы своими разоблачениями раскрыть всю систему работы ГПУ и тем принести посильную пользу Русскому Делу...» Задуманная чекистами новая, «сверххазефовская» провокация пустила первые ростки.

Нужно было московское письмо доставить Кутепову. В создавшейся обстановке Артамонов не хотел отлучаться из Варшавы. Он попросил меня съездить в Париж. С моим эмигрантским, нансеновским паспортом я туда выехать не мог — хлопоты о французской визе продлились бы недели, если не месяцы. Помог генеральный штаб — я получил польский заграничный паспорт, в котором все сведения обо мне были верными, за исключением того, что я был назван польским гражданином. Более того, мне было сказано, что от министерства иностранных дел я получу удостоверение дипломатического курьера и «почту», которую должен буду сдать в Париже польскому посольству.

«Дипломатическая почта», адресованная польскому военному агенту в Париже, оказалась большим, но легким чемоданом, покрытым красными сургучными печатями. В поезде из Варшавы в Париж этот багаж стал стеснительной помехой — расстаться с ним я не решился, а тащить с собой в вагон-ресторан не захотел. Пришлось питаться бутербродами, купленными на рассвете 23 апреля на платформе одного из берлинских вокзалов. В Париж я приехал 24-го утром.

Города я не знал, увидел его впервые. Артамонов на прощание назвал небольшую, скромную гостиницу, в которой — как я позже узнал — Якушев остановился в свой последний приезд за границу. Оттуда, часов в одиннадцать, я по телефону спросил Кутепова, когда к нему можно явиться. Он ответил:

— Немедленно...

Дверь в его квартиру мне открыл казак в синей косоворотке, рейтузах и начищенных до блеска высоких сапогах. Он провел меня в небольшой кабинет сквозь комнату, где у накрытого стола толпились гости с тарелками и рюмками в руках. Только тогда я вспомнил, что попал к начальнику боевой организации в первый день Пасхи.

Он не заставил ждать, вошел в кабинет, поздоровался приветливо и дважды внимательно прочитал письмо Потапова. Он задал затем несколько коротких вопросов о Радковиче и его товарищах и отпустил меня, сказав, что продолжит разговор на следующий день, у себя на дому. Однако мы увиделись не там.

Вечером мне доставили в гостиницу письмо, написанное крупным, четким почерком, признаком сильной и властной воли: «Многоуважаемый Сергей Львович, Завтра в 12 ч. 30 м. дня я должен быть на пани-т

хиде в русской церкви на rue Daru, куда и прошу Вас приехать в 1 час 20 мин. Совсем забыл, что завтра пятидесятилетие Русско-Турецкой кампании. Уважающий Вас А. Кутепов».

Исполняя это указание, я, несколько раньше назначенного времени, вошел 25 апреля в хорошо мне известный понаслышке парижский храм.

Он был полон. Литургия только что кончилась. Молящиеся подошли под благословение служившего в этот день митрополита Евлогия. В очереди к амвону я неожиданно увидел рядом со мной знакомое лицо Шульгина.

Изменила ли ему память, когда он, вероятно, не раз давал чекистам показания о русских эмигрантах, связанных с «Трестом», или Никулин в «Мертвой зыби» искажил его слова, но в этой советской истории великой провокации сказано: «В Париже, на рю Дарю, в соборе Александра Невского, в воскресенье, во время литургии, кто-то тронул за локоть Шульгина. Он оглянулся и увидел знакомого ему по Варшаве Артамонова. Тот поманил его, и, когда они вышли на паперть, Артамонов сказал:

— Все пропало. «Трест» пропал. Кутепов просил вас тотчас приехать. В штабе РОВС на улице Колизе Кутепов сказал Шульгину:

— Дайте мне слово, что будете молчать.

Шульгин дал слово».

Верно в этом только то, что о «бегстве» Опперпуга из Москвы Шульгин узнал на паперти собора, но не от Артамонова, а от меня, хоть и не так, как изобразил Никулин. Кутепов, появившийся в соборе к началу предстоявшего молебна, Шульгина в свою канцелярию не вызывал. После богослужения он предложил мне позавтракать с ним.

Я был польщен, но и смущен приглашением. Быть гостем легендарного вождя, создателя Галлиполи, было для меня великой честью. Она была доказательством его доверия в те дни, когда каждый человек, вовлеченный в М.О.Р., мог вызвать подозрение.

Пешком мы дошли из церкви до оживленного, переполненного ресторана, очень не похожего на то, к чему я привык в Варшаве. Там просторные залы и разделенные достаточным расстоянием столы способствовали неторопливым беседам. Здесь, в Париже, небольшой столик, за которым мы сидели у стены, соприкасался с соседями. Разговор о «Тресте» был бы в такой обстановке непростительной неосторожностью, но Кутепов о нем не заговорил. Неожиданно он нарисовал картину будущей России — той, о которой, очевидно, мечтал не раз. В его воображении, она должна была стать идиллической страной патриотизма, чистых нравов и готовности отдать жизнь за отчизну. Не все в этой

мечте показалось мне осуществимым, но Кутепову — как я понял — была дорога каждая обдуманная им черта. Русскую деревню он хотел увидеть богатой, сытой, принаряженной, а ее молодежь — воспитанной в военной дисциплине. Не забыл он даже тех малиновых рубашек, в которых мечтал ее увидеть в дни парадов и смотров.

Все это было так не похоже на печальную действительность, что в скептике могло вызвать ядовитую улыбку, но я был тронут. Передо мною вдруг раскрылась такая сторона души Кутепова, которую до этой встречи я не мог себе представить.

После завтрака я проводил его до станции метро. Он коротко рассказал переданное ему в Финляндии Потаповым приглашение побывать в России, отклонение этого предложения, заданный ему вопрос, не приведет ли напряжение отношений Лондона с Москвой к войне, и свой утвердительный ответ. Узнав, что мне нужно вечером выехать в Варшаву, он предупредил, что до отъезда я получу в гостинице, для передачи Артамонову, вызванные обстоятельствами указания.

В Париже живет мой лучший друг — связали нас годы счастливого детства, разлучили революция и эмиграция. В день моего отъезда он захотел продлить неожиданную встречу, проводить меня на вокзал. Я, однако, не смог пригласить его в комнату, где должен был получить указания Кутепова, и попросил посидеть внизу, на узком диванчике у входной двери.

Георгиевский кавалер и участник Белого движения, мой друг был и остался непримиримым противником большевиков. Кутепов был для него не только белым генералом, но и воплощением активной борьбы с поработившими Россию коммунистами. Поэтому, когда он его вдруг увидел в этой маленькой, бедной гостинице, он поднялся и вытянулся перед ним, как перед своим начальником по воинским организациям.

Кутепов пришел ко мне один, без какой-либо охраны. Его не удивило и не встревожило, что кто-то, сидевший у дверей, его узнал. Скоро и решительно он поднялся вверх по витой железной лестнице и, войдя в мою комнату, сразу заговорил о деле.

Данные Артамонову указания сводились к его оставлению резидентом боевой организации в Варшаве. Ему было предписано сделать все возможное для сохранения добрых отношений с польским штабом ради продолжения борьбы и нанесения большевикам ударов, которым помешал «Трест». Радковичу и его спутникам было приказано немедленно выехать в Париж.

В 10 часов вечера 25 апреля я сел на парижском северном вокзале в варшавский поезд. Сочтя меня, очевидно, поляком и подлинным дипломатическим курьером, польское посольство в Париже доверило мне

почту — на этот раз не чемодан, а небольшой пакет, не испортивший путешествия.

27 апреля, в Варшаве, я первым делом направился во дворец Брюля, где помещалось министерство иностранных дел, и сдал этот пакет, получив сохранившуюся до сих пор расписку курьерской экспедиции. Затем я побывал у Артамонова и сообщил ему распоряжения Кутепова. В это утро мы оба еще недостаточно ясно сознавали, что в нашей жизни перевернута страница и что нам предстоит, каждому по-своему, сделать вывод из наших непростительных ошибок.

В этот теплый и солнечный апрельский день мы, однако, понимали, что все предстоящее нам будет новой эпохой — после «Треста».

### Польский офицер о «Тресте»

Дело «Треста» — как обыкновенно называют историю «легенды», созданной чекистами в начале двадцатых годов для обмана русских эмигрантов и иностранных штабов, — все еще не освещено полностью. Между тем его современников становится все меньше. Московские вдохновители «Треста» умерли или были расстреляны Сталиным. Скончались их агенты, появлявшиеся за границей и установившие от имени тайного объединения русских монархистов связь с А.П. Кутеповым и его боевой организацией. Не поддается учету число иностранцев, имевших дело с «Трестом», но и их, несомненно, осталось мало.

Советские архивы — как показало опубликованное в 1965 году в Москве произведение Л.В. Никулина «Мертвая зыбь» — содержат сведения об этой провокации, но изучение этих архивов невозможно, пока существует коммунистическая диктатура. Заграничные хранилища либо были уничтожены в 1939—1945 годах, либо давно перестали заниматься «Трестом». Когда американское издательство, напечатавшее в 1960 году книгу Джоффрея Бэйли «Конспираторы», искало фотографию Якушева, оно ее не нашло. Нет за границей и достоверной фотографии того советского агента, который называл себя то Опперпутом, то многими другими именами, разве что в Финляндии, которая, по понятным побуждениям, не склонна теперь вспоминать свою причастность к «Тресту».

Из русских эмигрантов, принадлежавших к Кутеповской организации, уцелели двое или трое. Яркий рассказ В.А. Ларионова об его удачной боевой вылазке в Россию и нападении на коммунистический клуб в Петрограде остается до сих пор единственным описанием действий кутеповцев на русской территории, но в нем речь о событиях, разыгравшихся хотя и в прямой связи с историей «Треста», но после его

ликвидации. Поэтому все, что написано до сих пор о «Тресте» эмигрантами или иностранцами, исходит не от очевидцев, а от тех, кто знает «Трест» понаслышке. Это стало причиной распространенных ошибок.

Одна из них состоит в неверном толковании самого слова «Трест». Оно иногда понимается буквально — неосведомленные «историки» говорят о «тресте провокаторов», называют его центром всех советских начинаний, направленных против эмиграции. Этот центр существовал — им было ОГПУ, но «Трест» был для чекистов только одной из их многочисленных агентур.

Другая ошибка состоит в непонимании того, как могла «легенда», называвшая себя подпольным объединением монархистов, но в действительности насквозь пропитанная советскими агентами, так долго пользоваться доверием многих эмигрантов и иностранных офицеров. Авторы статей о «Тресте» часто забывают, что Россия времен «новой экономической политики» не была, в бытовом отношении, похожа на Россию сталинско-ежовских лет. То, что сразу показалось бы невероятным и невозможным при Сталине, объяснялось — в годы существования «Треста» — обстановкой, созданной временным отказом большевиков от военного коммунизма. Авторы статей о «Тресте» слишком часто обращают все свое внимание на удачу провокаторов, забывая, что за эту удачу им пришлось заплатить опасным, с их точки зрения, предоставлением кутеповцам возможности обосноваться в России. В 1927 году — во время кризиса в англо-советских отношениях — это их испугало и они ликвидировали «Трест».

Доверие эмигрантов к Монархическому Объединению России, называвшему себя «Трестом» в конспиративной переписке, возбуждалось прежде всего уничтожением преграды, разделявшей эмиграцию и Россию. Тот, кто не был в те годы свидетелем поездок участников Кутеповской организации из Парижа или Варшавы в Минск или Москву, вряд ли поймет дурманившее влияние этого соприкосновения с родной землей. На молодых эмигрантов влияло, кроме того, обаяние воинских званий таких людей, как генералы Зайончковский и Потапов, — трудно было себе представить бывшего генерала царской службы советским провокатором. Сказывалась дисциплина, привитая воспитанием, и представление о чести — мнение начальника и слово офицера сомнению не подвергались. «Трест» разбил эту психологию моих сверстников. Для тех, кто пережил революцию на школьной скамье и вступил в борьбу с ней без всякой политической и технической подготовки, он был тяжелым, но полезным уроком.

Открыв кутеповцам доступ в Россию, чекисты пошли на многое — не только на пребывание вооруженных эмигрантов в Москве, но, в

нескольких случаях, и на распространение антисоветских листовок. Они не допускали только одного — террора. Это сопротивление террору столкнулось с непреклонным желанием Кутепова к нему прибегнуть.

Трест пытался убедить его в бесполезности ударов, которые — как утверждали агенты, охранявшие жизнь советских заправил, — сорвали бы тщательную подготовку Монархического Объединения России к перевороту. Кутепов соглашался на отсрочку, но в глубине души полагал, что коммунистическая власть может быть сломлена только террором. Он сказал мне в Париже в апреле 1927 года: «Террор вызовет в России детонацию...»

Он прибавил, что революционеры боролись с царской властью террором и ее победили. Мне это показалось упрощением сложной стратегии революционного движения, но я не посмел возразить человеку, по слову которого каждый из нас — участников организации — пошел бы на смерть.

«Мертвая зыбь» заслуживает внимания, как подтверждение советской провокации в М.О.Р., но, как каждая коммунистическая версия любых событий, она содержит грубое искажение истины — взять хотя бы неправдоподобное описание тайной командировки красного командира Власова в Париж, его трогательных встреч с французскими коммунистами и попытки М.В. Захарченко прельстить приезжего советского агента легкомысленным парижским спектаклем, как доказательством превосходства западной культуры.

Кстати сказать, в этой главе своего «романа-хроники» Никулин повторил ошибку некоторых заграничных авторов статей о «Тресте», назвавших Захарченко племянницей Кутепова. В действительности она его родственницей не была. «Племянница» возникла в переписке Москвы с Парижем как условное обозначение, замена псевдонима.

Главная ложь Никулина состоит, однако, не в эпизоде с Власовым, а в изображении Опперпута врагом советской власти — бывшим савинковцем, превратившимся в монархиста. Все, что известно об Опперпите, опровергает эту выдумку. Под псевдонимом Савелов он был провокатором в организации Таганцева. Под псевдонимом Селянинов он опубликовал в 1922 году в Берлине брошюру о Народном Союзе Защиты Родины и Свободы, совершенно очевидно исполнив этим задание чекистов. До этого, под именем Опперпут и Упелинц, он снабдил О.Г.П.У. показаниями о Савинкове, включенными в изданную в 1921 году в Москве народным комиссариатом иностранных дел на русском и французском языках книгу «Советская Россия и Польша». Невозможно поверить в то, что человек, разоблачивший в 1921 году тайную антисоветскую организацию,

сразу же затем вступил в борьбу с большевиками, к тому же в чуждой ему монархической среде.

Судьба Опперпута, после его возвращения из Финляндии в Россию в роли раскаявшегося чекиста, ставшего белым террористом, изображена Никулиным по советской версии, опубликованной московской «Правдой». В этом сообщении было сказано, что проникшие из-за границы террористы, после неудачной попытки взорвать дом на Малой Лубянке в Москве, бежали из столицы. Опперпут — утверждает сообщение — отделился от двух других участников террористической группы, был обнаружен в Смоленской губернии, «отстреливался из двух маузеров и был убит в перестрелке». На нем после смерти — все по словам того же сообщения — были обнаружены «дневник с его собственноручным описанием подготовки покушения на М. Лубянке и ряд других записей, ценных для дальнейшего расследования ОГПУ».

Непостижимым образом существуют эмигранты, которые верят этой небылице. Они считают возможным не только превращение многократного советского провокатора в активного противника большевиков, но только допускают чистоту его побуждений при появлении в Финляндии для разоблачения «Треста» и последующем возвращении в Москву для участия в антисоветском терроре, но даже считают его погибшим в обстановке, описанной «Правдой». Они верят в то, что Опперпут мог иметь с собой «собственноручное описание подготовки покушения на М. Лубянке», словно существуют террористы, составляющие такие улики и вдобавок хранящие их после неудачи.

Я предпочитаю верить тому, что в 1944 году рассказал мне в Берлине генерал В.В. Бискупский. По его словам, Опперпут был разоблачен и расстрелян немцами в Киеве, где он, в годы германской оккупации, был под именем Александр Коваленки владельцем антикварной лавки на Фундуклеевской улице и коммунистическим подпольщиком. Его появление в Варшаве, под именем барона Александра фон Мантейфеля, описано мною в парижском журнале «Возрождение».

Как источник сведений о «Тресте» Никулин не заслуживает доверия. Важно, однако, то, что его книга вызвала отклик, в котором назван был чекист, организовавший в январе 1930 года парижское похищение Кутепова. 22 сентября 1965 года московская «Красная звезда» напечатала письмо о «Мертвой зыби», присланное ей генерал-полковником запаса советской авиации Н. Шимановым. В нем этот несомненный бывший чекист написал: «Я не литератор и не критик, и книга привлекла мое внимание не столько своими литературно-художественными достоинствами, сколько событиями, которые происходили еще в первые годы советской власти».

Упрекнув Никулина в том, что он «частенько упрощает действительность и показывает многих контрреволюционеров близорукими и недальновидными», но назвав большой заслугой автора книги «восстановление в памяти народа забытых, ранее оклеветанных бандой Берии имен честных и преданных родине чекистов», Шиманов прибавил: «К сожалению, о некоторых оклеветанных и погибших, потом реабилитированных товарищах слишком мало сказано. Так, например, на стр. 263-й отведены только две строчки организатору поимки Б. Савинкова, чекисту Пузицкому, а комиссар государственной безопасности 2-го ранга Сергей Васильевич Пузицкий был участником гражданской войны, твердым большевиком-ленинцем, воспитанником Ф.Э. Дзержинского. Он участвовал не только в поимке бандита Савинкова и в разгроме контрреволюционной монархической организации «Трест», но и блестяще провел операцию по аресту Кутепова и ряда других белогвардейских организаторов и вдохновителей иностранной военной интервенции и гражданской войны».

Так, через тридцать пять лет после исчезновения Кутепова большевики не только сознались в своем преступлении, но и назвали имя похитителя. Попутно Шиманов подтвердил смерть тех спутников Опперпута, с которыми он, по словам «Правды», расстался после неудачного покушения на Малой Лубянке, но Опперпута не упомянул. Зато он — впервые в советской печати — сообщил гибель Якушева.

В «Мертвой зыби» нет прямого указания на судьбу этого советского Азефа. Никулин ограничился тем, что в эпилоге написал: «Болезненно переживал конец «Треста» Александр Александрович Якушев. Не утешало, что заслуги в борьбе с врагами советской власти, его удивительные смелость и находчивость, были признаны. Он принимал важность выполняемой работы, искренне увлекался ею, и теперь ему как-то трудно было жить спокойной жизнью специалиста-водника, решать вопросы сплава леса, строительства новых водных путей. Сердце патриота, закаленного в борьбе с белогвардейцами, звало в бой, но приходилось бездействовать и даже оберегать свою жизнь от белых террористов».

Террористы не наказали человека, которого «Вечерняя Москва» 17 июля 1965 года, в статье о «Мертвой зыби», назвала главным героем советской провокации в М.О.Р., но Никулин скрыл, как Якушев скончался. Скрыл это и «москвич, участник Великой отечественной войны, заслуживший на фронте несколько боевых наград» — Александр Александрович Якушев-младший, сын провокатора. В разговоре с Никулиным он сообщил только то, что мать, сестры и он сам «не знали второй жизни отца». «Он уезжал, — прибавил младший Якушев, — иногда надолго, возвращался и был всегда внимательным и заботливым



к нам, детям... Не могу вам сказать, как меня обрадовало то, что написано вами о моем отце, о его патриотизме и мужестве».

Это молчание Никулина и сына «главного героя» «Треста» об его судьбе объяснено отзывом Шиманова о «Мертвой зыби» — в нем А.А. Якушев назван в числе тех «преданных партии чекистов», которые были «оклеветаны бандой Берии», погибли, но теперь «восстановлены в памяти народа». Человек, избежавший пули белого террориста, погиб от выстрела сталинского палача или умер в заключении.

В ноябре 1965 года на «Мертвую зыбь» откликнулся один из иностранных современников и свидетелей описанных в этой книге событий — бывший польский офицер и дипломат Виктор Томир Дриммер, ставший после Второй мировой войны эмигрантом в Канаде. Его статья о «Тресте» была напечатана парижским польским журналом «Культура». Дриммер написал ее по просьбе редактора этого журнала, Юрия Гедройца, и включил в нее все, что «знает и помнит» о М.О.Р.

Увы, память ему изменила, а сверить ее с существующими сведениями о «Тресте» он не потрудился. Плодом этой небрежности стало редкое по изобилию нагромождение неточностей. Не перечисляя всех его ошибок, достаточно указать две — автор воспоминаний не отличает Якушева от Опперпута, сливает их воедино, приписывает Опперпуту заграничные поездки Якушева и даже посещение Варшавы, куда Опперпут, известный некоторым русским варшавянам по савинковскому Народному Союзу Защиты Родины и Свободы, показаться, естественно, не мог, а в другой части статьи приписывает генералу Е.К. Миллеру «проверку» Опперпута в 1927 году, когда возглавителем боевой организации был не он, а А.П. Кутепов. Хронологический беспорядок затрудняет понимание воспоминаний даже подготовленным читателем, знающим дело «Треста». Неосведомленного эта путаница мест, имен и дат събьет с толку.

Если, несмотря на такой недостаток, статьей В.Т. Дриммера все же следует заняться, то только потому, что бывший польский офицер включил в нее несколько имен и фактов, не отмеченных русской зарубежной литературой о М.О.Р., а также потому, что он сообщил то, что может быть названо польским объяснением причины самоликвидации «Треста».

О себе В.Т. Дриммер написал, что с 1921-го до конца 1927 года он был сначала помощником военного агента, а затем польским военным агентом в Таллине, столице Эстонии. Политически он был пилсудчиком — бывшим капралом первой бригады тех польских легионов, которые в 1914 году, под водительством будущего первого маршала независимой Польши, вышли в составе австро-венгерских войск в поход

против России. Двенадцать лет спустя эта первая бригада стала рассадником «полковников», которые, в мае 1926 года, помогли Пилсудскому захватить в Варшаве власть и стать фактическим диктатором.

В 1927 году автор воспоминаний расстался с незаметной должностью военного агента в небольшой балтийской республике. В чине капитана он вышел в запас, был назначен в министерство иностранных дел и был директором одного из его департаментов, когда над Польшей стряслась катастрофа ее раздела Гитлером и Сталиным. О своей службе в Таллине (Ревеле) он рассказал: «Как каждому военному агенту в государствах, граничивших с новой, советской Россией, мне тоже было дано разведывательное задание — изучение России с военной точки зрения. Место моей службы было особенно удобным для выполнения этого задания вследствие недавно заключенного Эстонией мира с Россией, относительной стабилизации границы и значительного транзитного и морского движения в Россию и из нее как товаров, так и людей».

«Эстонцы, — прибавил В.Т. Дриммер, — после многовековой неволи ненавидели русских, а будучи народом талантливым и подвижным, отлично Россию знали. Поэтому среди них было сравнительно легко найти людей, пригодных к разведывательной службе, зато опыт войны научил меня избегать какого-либо контакта с белыми русскими, как с человеческим материалом, глубоко деморализованным и в высшей степени неустойчивым идейно». Непонятно, как, при таком отношении к русским эмигрантам, автор этого мнения, будучи польским военным агентом или хотя бы его помощником в Ревеле, не заметил, что именно там возникла связь М.О.Р. с польским генеральным штабом и что именно оттуда приехал в Варшаву первый резидент «Треста» и Кутеповской организации Ю.А. Артамонов.

Вряд ли следует теперь, столько лет спустя, уличать его в этом недосмотре, тем более что русофобия его резкого суждения об эмигрантах опровергнута им самим — в воспоминаниях можно найти совсем другие отзывы о русской зарубежной молодежи; о якобы существовавших за границей «дисциплинированных отделах М.О.Р.», о пронизательности генерала Миллера и русских эмигрантов в Финляндии и даже о «возглавителях монархической организации в Риге и Таллине — благородных и порядочных русских». Удивительно только то, что человек, потерявший свое отечество, повторил в 1965 году высокомерную оценку эмигрантов, которую он некогда высказывал с высоты своего непрочного военно-дипломатического величия.

В.Т. Дриммер утверждает, что «Трест» возник по почину польского офицера, ставшего чекистом. Отметив это, нужно сделать оговорку. Друзья-поляки предупредили меня, что воспоминания бывшего во-

енного агента в Эстонии полны ошибок не только в том, что сказано о русских участниках М.О.Р., но и в рассказе об его собственных со-родичах. Поэтому повторение этой версии не означает согласия с ней. Я ее привожу как свидетельское показание, которое пока проверить невозможно.

«В 1920-м или в конце 1919 года, — сказано в воспоминаниях, — главное командование Польской Военной Организации № 3, продолжавшей действовать на территории Украины, Белоруссии и России, с согласия нашего генерального штаба, командировало в Киев и Винницу поручика польской армии Стецкевича, бывшего участника Организации в Виленском округе. Виленчанин, принадлежавший к интеллигентской или землевладельческой среде, способный, предприимчивый, свободно говоривший по-русски, Стецкевич казался наиболее подходящим человеком для того, чтобы собрать и преобразовать Организацию, разбитую большевизмом и революцией. Наш штаб ждал от Стецкевича сведений о предполагавшемся русском наступлении — информация о нем была довольно поверхностной. Со Стецкевичем была послана принадлежавшая к Организации женщина, происходившая с Украины. Снабженные адресами в Москве, Петрограде, Киеве и других, менее значительных городах Украины, Стецкевич и его спутница перешли эстонско-советскую границу в районе озера Пейпус. Через Петроград они счастливо добрались в Москву и там попали в руки чекистов. Стецкевича допросил сам Дзержинский, глава всемогущей чеки.

Стецкевич выдал не только свою спутницу, но и всю Польскую Военную Организацию, все адреса, все связи. Чека разгромила не только Организацию, но и людей, так или иначе, с ней связанных. Полякам на Украине был нанесен удар. Тысячи погибли от чекистских пуль, десятки тысяч были вывезены в лагеря или замучены в тюрьмах. В награду Стецкевич не только спас свою голову, но и, как сотрудник чеки, способствовал искоренению польского влияния. Во время польско-советской войны 1920 года Стецкевич сделал молниеносную карьеру. Когда, при Ягоде, чека была переименована в О.Г.П.У., Стецкевич уже имел три ромба на воротнике, то есть был приравнен к командиру корпуса и был начальником так называемого Инотдела О.Г.П.У. Это значит, что ему были подчинены все агентуры заграничной разведки и контрразведки, как включенные в состав советских дипломатических представительств, так и тайные. После заключения мира с Польшей Стецкевичу захотелось раздробить русскую эмиграцию, главным образом, монархическую, и, более того, использовать ее для шпионажа в пользу СССР — конечно, вопреки ее собственному желанию — а также и как канал для дезинформации западноевропейских государств и

соседей России. Третья цель состояла в установлении контроля над любым проявлением активности монархистов в самой России, как диверсионной, так и разведывательной».

Можно допустить, что задачи, поставленные «Тресту» чекистами, перечислены В.Т. Дриммером верно, но мне не удалось найти в литературе о М.О.Р. подтверждения того, что рассказано им о Стецкевиче. Нужно отметить и то, что автор воспоминаний ошибся в хронологии, утверждая, что чека была переименована в О.Г.П.У. при Ягоде, и отнеся возникновение «Треста» к тем годам, когда он был главой чекистов.

В действительности щупальцы той «легенды», которую — по словам В.Т. Дриммера — задумал и создал Стецкевич, протянулись к русской эмиграции и к иностранным штабам при Дзержинском. Его участие в этой провокации и руководстве ею, как непосредственное, так и через расстрелянного впоследствии чекиста Артузова, подтверждено Никулиным в «Мертвой зыби». Переименование Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией в О.Г.П.У. состоялось в 1922 году, то есть тогда, когда «Трест» не только был задуман, но уже действовал в России и за границей. Дзержинский умер 20 июля 1926 года, то есть за девять месяцев до ликвидации «Треста». Его преемником был не Ягода, а Менжинский.

В.Т. Дриммер не потрудился сверить свои воспоминания с этими фактами. От неточного рассказа о возникновении М.О.Р. он перешел к столь же неточному перечислению его участников. «Стецкевич, — написал он, — создал в Москве из преданных ему сотрудников чеки Монархическое Объединение России. В президиум вошли: вынужденный к этому арестом его жены и дочери, жизнь которых зависела от лояльного исполнения приказаний чеки, генерал царской армии Зайончковский и бывший товарищ министра путей сообщения царского времени Федоров, умный и исполнительный агент чеки, пользовавшийся в организации псевдонимом Опперпут. Позже на видное место выбылся генерал Денисов, которым чека пользовалась, как Опперпутом, для заграничных поручений, выдавая его за монархиста и, одновременно, за советского командарма. Это должно было служить доказательством проникновения монархистов в ряды Красной армии».

Прочти В.Т. Дриммер внимательно хотя бы «Мертвую зыбь», он, хоть отчасти, избавился бы от такого нагромождения ошибок. Он не слил бы воедино Якушева, называвшего себя в «Тресте» Федоровым, и Опперпута, выдававшего себя в Москве за остзейца Стауница.

Бывший генерал-лейтенант А.М. Зайончковский действительно способствовал провокации, задуманной чекистами, но нет ни малейших оснований утверждать, что ему угрожали расправой с женой и дочерью. Все,

что известно о советском отрезке жизни этого бывшего генерала, состоявшего при большевиках профессором военной академии имени Фрунзе и скончавшегося в Москве в марте 1926 года, говорит об его сознательном и добровольном переходе на службу революции. После его смерти вдове была назначена персональная пенсия. Коммунисты продолжают вспоминать его как верного слугу. В изданной в Москве в 1958 году книге С. Голубова «Когда крепости не сдаются» о нем сказано: «Это был честный ученый, талантливый преподаватель, искренне преданный своему делу человек».

В годы существования «Треста» участие Зайончковского в нем казалось более номинальным, чем активным. Это впечатление разделялось не только заграничными представителями М.О.Р., но и проникавшими в Россию кутеповцами. Хотя он, на словах, возглавлял «Трест», я не могу вспомнить за четыре года моего сотрудничества с Артамоновым ни одного письма, подписанного Верховским, как он себя в М.О.Р. называл. Существовала, вероятно, какая-то переписка между ним и Кутеповым, но мне ее видеть не пришлось. После его смерти заговорили о преемнике. Именно тогда Кутепов согласился войти в возглавление «Треста», которое, в переписке, называлось «правлением», но ни с кем из этого «правления», кроме Якушева и Потапова, он ни разу не встретился.

Никулин назвал Якушева бывшим воспитателем Императорского Александровского лицея и прибавил, что он изображен на выпускной фотографии пятьдесят третьего курса, снятой в 1907 году. Якушев, несомненно, знал некоторых лицеистов, когда появился в ноябре 1921 года в Ревеле, под предлогом служебной командировки в Швецию, и встретился там с Артамоновым.

В 1927 году Опперпут сообщил из Гельсингфорса рижской газете «Сегодня», что неосторожное письмо Артамонова об этой встрече, посланное в Берлин его однополчанину, князю К.А. Ширинскому-Шихматову, стало достоянием чекистов, вызвало арест Якушева после возвращения в Москву из Швеции, его ненависть к эмигрантам и готовность участвовать в направленной против них провокации. Никулин это повторил. По его версии, совпадающей с утверждением Опперпута, письмо Артамонова стало причиной превращения бывшего сановного бюрократа в советского провокатора. Возможно, однако, и другое предположение — Якушев мог быть советским агентом уже тогда, когда побывал у Артамонова в Ревеле, а Опперпут и Никулин воспользовались злополучным письмом только для того, чтобы это скрыть. Возможно и то, что Якушев был арестован чекистами до своей первой заграничной поездки и именно тогда согласился стать их агентом. Нужно прибавить, что Никулин и Опперпут не приписали ни Артамонову, ни Ширинскому-Шихматову недостойно-

го поведения. Они одинаково сообщили, что письмо было перехвачено агентами О.Г.П.У.

Никулин написал, что Якушев был не только воспитателем, но и воспитанником Лицея. Он привел в «Мертвой зыби» начало автобиографии, которую Якушев, якобы, написал в тюрьме, после возвращения из заграничной командировки: «Я, Александр Александрович Якушев, потомственный дворянин, сын преподавателя кадетского корпуса, родился 7-го августа 1876 года в городе Твери, окончил Императорский Александровский Лицей, последняя должность — управляющий эксплуатационным департаментом управления водных путей министерства путей сообщения в чине действительного статского советника. После революции, с 1921 года, работал в качестве консультанта по водному хозяйству. В старой армии не служил, в белой тоже. Женат, имею трое детей. Хотя я ни в какую партию не входил, но по убеждению — русский националист». В памятной книжке лицеистов, изданной в Париже в 1961 году по случаю 150-летней годовщины основания Лицея, Якушев не упомянут. Это вызывает сомнение в достоверности утверждения Никулина, что он был не только воспитателем, но и воспитанником этого училища.

Некоторые бывшие петербуржцы не верят сообщению В.Т. Дриммера, что Федоров, то есть тот же Якушев, был товарищем министра путей сообщения дореволюционного правительства. Во включенных в «Мертвую зыбь» выдержках из его автобиографии сказано: «Убеждений моих я не менял и являюсь, по-прежнему, русским националистом и монархистом. Был и после февральской революции, когда на предложение князя Львова занять пост товарища министра путей сообщения ответил, что, как верноподданный Его Величества, временного правительства не признаю».

Справочник «Весь Петроград» за 1916 год, изданный А.С. Сувориным, содержит список столичных правительственных учреждений. В нем упомянуты управление водных путей и шоссейных дорог министерства путей сообщения и возглавляющий это управление коллежский советник А.А. Якушев.

Превращение коллежского советника в действительного статского в короткое время от издания этого справочника до февральских событий 1917 года было бы невероятным, если бы в той же книге А.А. Якушев, проживающий в доме № 51 по Большому проспекту, не был назван не коллежским, а статским советником и не только управляющим водных путей и шоссейных дорог, но и членом совета Императорского общества судоходства, совета Российской экспортной палаты и комиссии о новых железных дорогах. Поэтому можно признать возможность его производства в чин действительного статского советника в конце 1916-го или в

самом начале 1917 года. Это было бы доказательством его скорого и успешного продвижения на царской службе.

Часть воспоминаний В.Т. Дриммера посвящена «генералу Денисову», как он упорно называет Лангового. В этой части рассказан эпизод, достоверность которого мне кажется сомнительной и который, во всяком случае, с историей «Треста» не связан. До этого эпизода автор воспоминаний упомянул желание польского генерального штаба получить от М.О.Р. советский мобилизационный план и в связи с этим написал: «Трест выкручивался, откладывая, наконец заявил, что получение этих планов обойдется дорого из-за необходимости подкупить несколько человек в (советском) штабе».

Высказав предположение, что настойчивость Варшавы стала причиной ликвидации «Треста», В.Т. Дриммер прибавил: «В этот период наших переговоров, М.О.Р. за границей развилось довольно скоро. Молодые монархисты заграничного М.О.Р. не проявляли особого уважения к ссорившимся между собой старым парижским авторитетам. Поэтому Г.П.У. решило создать «третью силу» и привлечь к ее возглавлению человека, наименее вовлеченного во внутренние эмигрантские раздоры. Его нашли в Швейцарии.

Там жил князь Ливен<sup>61</sup>, родственник Царского Двора, не участвовавший в активной политике со времени отъезда из России, но внимательно следивший за тем, что там происходило. Для привлечения светлейшего князя было решено использовать генерала Денисова, как офицера Красной армии и одновременно горячего монархиста и участника существующей в России тайной организации. Генерал Денисов получил какое-то назначение в комиссию по вопросам разоружения Лиги Наций и, может быть, даже был главой советской делегации. Денисов побывал у Ливена и, во время этого посещения, «открыл ему свою душу». Он сказал, что Россия переживает глубокую перемену своего мировоззрения, что она — не только часть Европы, но и Азии, что они там тайно говорят об Евразии и евразийском движении. Красноречие ген. Денисова взволновало князя Ливена, и он, несколько позже, согласился возглавить М.О.Р. Евразийская тема была широко разработана в М.О.Р., она постоянно упоминалась в указаниях, посылавшихся из Москвы за границу. Евразия временно стала очень модной в заграничной и нашей (польской) публицистике».

Приходится сказать, что и в этой части своего очерка В.Т. Дриммер перепутал хронологию. Ланговой никогда не был главителем советской делегации на женевской конференции по вопросам разоружения, но действительно в этой конференции участвовал как помощник возглавлявшего делегацию Литвинова.

Существует фотография, на которой они изображены входящими в здание Лиги Наций. Спереди — на этом снимке — идет невысокий, тучный народный комиссар иностранных дел, а за ним, тревожно озираясь, — худощавый, высокий Ланговой. «Треста», однако, тогда уже не было в помине, и если «генерал Денисов» побывал в Швейцарии у князя Ливена, то предложить ему возглавление несуществующего М.О.Р. он никак не мог. Вряд ли он мог тогда назвать себя евразийцем — его провокационное участие в евразийском движении было уже разоблачено.

В «Мертвой зыби» сказано, что Ланговой умер в Москве 26 февраля 1964 года. «Он, — написал Никулин, — почти до последних дней жизни оказывал автору товарищескую помощь в создании книги». Сотрудник «Вечерней Москвы» С. Савельев, в напечатанной этой газетой 17 июля 1965 года статье о предстоявшем выходе июльской книжки журнала «Москва», в котором «Мертвая зыбь» впервые появилась, назвал Лангового полковником в отставке, но в произведении Никулина он назван не полковником, а отставным комбригом Красной армии. Это значит, что после переименования этой армии в советскую он на военной службе уже не состоял. Константин Симонов, в романе «Живые и мертвые», изобразил комбрига Серпилина, который не был переименован в генералы потому, что война с Германией застала его в лагере, на положении заключенного. Вероятно, та же судьба постигла Лангового, арестованного одновременно с Якушевым, но избежавшего расстрела и отделавшегося более или менее долгим заключением. Его сравнительно ранняя смерть могла быть последствием этой участи. Узкоплечий, со впалой грудью, он и в молодости казался человеком нездоровым. Лагерь мог его доконать.

Якушев — когда приезжал в Варшаву — говорил об евразийстве неохотно. Создавалось впечатление, что М.О.Р. терпит евразийское увлечение Лангового, но ему не сочувствует. Может быть, он понимал, насколько этот московский «евразиец» не похож на ревнителя «бытового исповедничества», но мне кажется, что отношение Якушева к этому эмигрантскому движению объяснялось не только опасением, что неудачная игра его товарища по провокации возбудит в эмигрантах подозрение, а заигрывание с евразийцами отразится неблагоприятно на советских агентах М.О.Р.

Мне кажется, что идеализм первоначального евразийства и профессорская оторванность его создателей от повседневной жизни раздражали Якушева, помимо его воли. Он считал их «болтунами», чем-то вроде «вождей» февральской революции, которых ненавидел.

Однажды ночью в Варшаве я взялся проводить его от Артамонова в небольшую гостиницу вблизи главного вокзала, где он на этот раз оста-



новился. Мы шли вдвоем по пустынной, спящей улице. Неожиданно он заговорил об евразийстве, которым я тогда увлекался. Горячо он стал доказывать мне несбыточность евразийской мечты. «Поверьте, — сказал он твердо, — Россия может быть только монархией... Если она ею не станет, будет только советской».

Связь «Треста» с русскими эмигрантами изображена В.Т. Дриммером поверхностно и неточно. Он приписал ей такой размах, какого она никогда не достигла.

«Русская эмиграция, — написал он, — была разъединена так же, как и ее монархическая организация, построенная на основе старой, царской иерархии. Интриги, зависть, титулования и орденomanия все больше ее раздирали и отталкивали молодежь, тем более, что и претендентов на престол было двое: Великий князь Кирилл и бывший верховный главнокомандующий Николай Николаевич. Все было как бы нарочно создано для того, чтобы на этой почве возникла мысль об единой, омоложенной и независимой от титулованных чиновников монархической организации, укорененной в России и руководимой из Москвы. Разрешение этой задачи было поручено Федорову, который выдавал себя за московского служащего-путейца, якобы получившего от правительства заграничную командировку. Под этим предлогом он часто ездил на несколько дней в Париж, Прагу и Варшаву и везде, пользуясь установленными в царское время отношениями, имел возможность встреч со старыми друзьями или знакомыми и мог намекать им, что остался по-прежнему тем, кем был до войны, то есть монархистом, полностью преданным трону Романовых.

Повторенная шепотом «тайна», как это бывает в эмиграции, распространилась быстро. Эмигранты в Варшаве знали о нем все до того, как он, через Прагу, добрался в Париж. В Варшаве Федоров признался доверенным монархистам в существовании в Москве глубоко законспирированной монархической организации, и это известие еще раз вернулось в Прагу и Париж и докатилось в Эстонию. Даже название М.О.Р. перестало быть секретом. Старики, как старики, были настроены скептически, а молодые, полные бодрости и надежды на наставшую, наконец, возможность какого-то действия, радовались и гордились тем, что родина организуетя».

Упомянутое В.Т. Дриммером разделение зарубежных русских монархистов на сторонников двух великий князей действительно существовало в те годы и не способствовало укреплению авторитета старших во мнении тех, кто был тогда молод. М.О.Р., однако, в своих сношениях с эмигрантами всячески поддерживало Великого князя Николая Николаевича. Якушев и Потапов, при встречах с молодыми участниками орга-

низации, не отзывались о бывшем верховном главнокомандующем так насмешливо и пренебрежительно, как они — по словам Никулина — делали это в Москве, в докладах О.Г.П.У. Связь с Кобургом, где жил тогда Великий князь Кирилл Владимирович, была запрещена связанным с М.О.Р. эмигрантам.

В.Т. Дриммер прав, что молодые эмигранты, соприкоснувшись с «Трестом», испытали подъем и веру в возможность свержения советской власти русским народом без иностранного вмешательства. Он, однако, ошибся, приписав Федорову, то есть Якушеву, частые поездки в Прагу и Париж. Чаще всего — в годы существования «Треста» — Якушев бывал в Варшаве. Побывал он в Берлине, съездил с Потаповым в Шуаньи, но в Праге, кажется, не был ни разу. Весть об его поездках и существовании М.О.Р. не могла прийти в Эстонию из Польши хотя бы потому, что отношения «Треста» с эмигрантами возникли в Ревеле. Состоявшаяся там встреча Якушева с Артамоновым была их первым звеном.

«При следующем появлении Федорова, — продолжил В.Т. Дриммер свой неточный рассказ, — уже было известно, что во главе М.О.Р. стоит старый, популярный, безупречный генерал Зайончковский. Появились первые делегаты М.О.Р., назначенные Федоровым в Эстонию, Латвию, Финляндию, Польшу и т. д. Вначале им было приказано ждать и заняться подыскиванием наиболее ценных людей, которых можно было позже перебросить в Россию или использовать для организационной работы на месте. Федоров советовал молодым эмигрантам учиться политике на примере «лимитрофов», как русские называли народы, оторвавшиеся от России и достигшие независимости. Он говорил им о необходимости наблюдать международные отношения, учиться и добиваться влияния в странах своего расселения. Постепенно, во всех государствах, где существовала русская эмиграция, возникли дисциплинированные и выполнявшие указания московского центра отделы М.О.Р.».

Тут что ни слово, то фантазия... Не только при жизни и после смерти Зайончковского, но даже после самоликвидации «Треста» его причастность к чекистской «легенде» была известна очень немногим эмигрантам. Этим, вероятно, объясняется крайне редкое упоминание его имени в первоначальной зарубежной литературе о «Тресте», да и до сих пор оно — не в пример Опперпугу, Якушеву, Потапову и Ланговому — затемнено отсутствием точных сведений.

Резидентом «Треста» в Варшаве был Артамонов. Установление связи с русскими эмигрантами в Польше было одной из его обязанностей, но оно не привело к созданию зарубежного отдела тайной монархической организации. С 1923-го по 1927 год Артамонов ввел в Кутеповскую организацию и в М.О.Р. троих эмигрантов и одного польского гражданина,

получившего образование в России, причем каждому из них было дано определенное, ограниченное задание.

В политической обстановке так называемых лимитрофных государств о явной русской монархической организации речи быть не могло. Активность резидентов М.О.Р. не была конспиративной в полном смысле слова, потому что проявлялась с ведома и согласия местной власти, чаще всего — местного генерального штаба, но она не была, да и не могла быть, явной, так как министерства и штабы скрывали свой контакт с русскими монархистами.

Назвав несуществовавшие заграничные отделы М.О.Р. дисциплинированными и выполнявшими распоряжения московского центра организациями, В.Т. Дриммер приписал им свойства тех немногих заграничных пунктов связи Кутеповской организации и «Треста»; которые состояли из одного резидента и двоих или троих его сотрудников. Дисциплину, «подтянутую невидимой рукой», заметил В.В. Шульгин. Указания московского центра выполнялись потому, что они совпадали с распоряжениями другого центра — парижского, то есть генерала Кутепова. Если между ними возникали разногласия, они не были известны тем техническим звеньям связи, какими были резиденты и их сотрудники.

«Понемногу, — сказано в следующей части воспоминаний В.Т. Дриммера, — московский центр М.О.Р. стал получать первые донесения своих заграничных сотрудников. Благодаря личным отношениям, а также благодаря «разведывательным услугам», некоторые государства дали согласие на пересылку этих донесений, большей частью в виде частных писем «семьям» в Россию. Позже М.О.Р., которое, ради конспирации, начало называть себя «Трестом», стало также пользоваться дипломатической почтой из России за границу. Когда «Трест» обратился по этому поводу с предложением к моему офицеру связи в Москве, поручику Вернеру, я ответил положительно. Это позволило мне в течение ряда лет контролировать посылавшиеся из Москвы инструкции М.О.Р. — «Треста», постепенно знакомиться с его сетью, ее охватом и личным составом. По мере развития сотрудничества с «Трестом» это дало мне много «информации» и «документов», которые я иногда в идентичном виде получал от англичан или эстонцев. Мое недоверие, подкрепленное доказательствами, почерпнутыми из писем М.О.Р. за границу, непрерывно усиливалось». Это недоверие заставило В.Т. Дриммера — по его словам — съездить в Варшаву. До повторения его рассказа об этой поездке нужно, однако, дополнить и исправить то, что он сообщил о заграничной переписке «Треста».

Не берусь судить о ней в полном объеме, хотя бы потому, что, в моем положении рядового участника Кутеповской организации и сотрудника варшавского резидента М.О.Р., я знал только часть, и, может,

быть, только небольшую часть. Все же могу сказать, что все те письма и документы, которые с 1923-го по 1927 год посылались из Варшавы в Москву и получались в Варшаве из Москвы, проделывали этот путь в дипломатических вализах польского посольства и министерства иностранных дел и никогда, ни в одном, хотя бы единственном случае, не имели внешне вида семейных посланий.

Я предполагал, что, несмотря на печати и другие меры предохранения, эти пакеты вскрывались и прочитывались польскими офицерами, но ошибся. Мне казалось, что — найди они ключ к шифру, которым пользовались «Трест» и его варшавский резидент, — ничего неожиданного они бы не нашли, так как зашифровывались главным образом и так известные польскому штабу подробности предстоящих переходов польско-советской границы участниками организации, но, говоря об этом шифре, В.Т. Дриммер еще раз ошибся. Я скажу, в чем эта ошибка состояла, но хочу сначала привести описание поездки, которая — как он утверждает — привела его не только в Варшаву, но и в Москву.

«Я поехал в Варшаву, — написал он, — и доложил там начальнику разведывательного отделения второго отдела (генерального штаба), подполковнику Боцянскому, мои сомнения и подозрения. Увы, я не встретил понимания и пошел на рискованный шаг. Я решил съездить в Россию, объяснив это разведывательному отделению необходимостью встречи о моими тайными агентами в штабе Красной армии. Это должно было стать моей второй «неофициальной» поездкой в Россию. Первая состоялась раньше, за год, приблизительно, до второй. Я все еще имел паспорт, выданный мне, как курьеру и шоферу. Он был получен для меня вторым отделом от нашего министерства иностранных дел. Одетый бедно, нагруженный продовольствием, которое тогда регулярно доставлялось нашим представительствам в Москве, Харькове и Киеве из Варшавы, я не привлек внимания бдительных чекистов. Согласовав это с моим офицером связи, я решил побывать в Москве у одного (советского) полковника, который, судя по его письмам, был значительным звеном М.О.Р. — «Треста» в штабе (Красной армии). Я узнал его адрес из писем. Я захватил пакет и отправился к нему. Мое внезапное появление было полной неожиданностью. Разговор укрепил мою уверенность в том, что мы, как и другие штабы, стали жертвой величайшей инспирации. На следующий день я и офицер связи, поручик Вернер, встретились в Москве с «официальным» представителем М.О.Р. — «Треста». Разговор с ним не дал ничего нового. Я знал, что мы попали в руки Инотдела О.Г.П.У.»

«Вернувшись в Варшаву, — прибавил В.Т. Дриммер к этому необыкновенному рассказу, — я еще раз доложил моим начальникам, что мы стали слепым орудием в руках советчиков. Меня поддержали два офи-

цера, подполковник Энглихт и майор Павлович, служившие в эвиденции второго отдела, задача которой состояла в исследовании качества и правдивости сведений, добытых нашей разведкой. Последствием наших предостережений было отстранение меня от связи с М.О.Р.; отозвание моего талантливого офицера, поручика Вернера, преемником которого (в Москве) стал другой, столь же способный, но, к сожалению, неопытный офицер, майор Недзинский. Связь с М.О.Р. — «Трестом» взяла на себя непосредственно Варшава, то есть майор Таликовский, начальник русской секции разведывательного отдела. Это было величайшей ошибкой, уничтожившей тот буфер, каким (между польским генеральным штабом и «Трестом») была польская миссия в Таллине. Только одного добился я от начальника разведки, а именно решения потребовать от Москвы серьезных разведывательных материалов, как, например, мобилизационного плана. Пусть они докажут наличие своих возможностей в штабе РККА».

Оценка этой части воспоминаний может быть сделана только теми, кто знает дело «Треста» не с русской, а с польской стороны. Только они могут судить о том, насколько правдоподобен рассказ В.Т. Дриммера об его поездке в Москву и встрече с советским полковником, но утверждение, что автор воспоминаний узнал адрес этого полковника из переписки М.О.Р. с эмигрантами, противоречит всему, что известно о «Тресте». В своей заграничной переписке Москва тщательно соблюдала ту видимость конспирации, которая была нужна для сохранения веры эмигрантов в существование в России тайной монархической организации. Указание адреса одного из советских агентов, проникших в эту организацию, было бы со стороны чекистов вопиющей и ничем не оправданной неосторожностью.

В виде гипотезы можно было бы предположить, что адрес почему-либо был включен в письмо в зашифрованном виде, а Дриммер его в Ревеле расшифровал, но это предположение опровергается не только тем, что он сообщил о зашифрованной переписке «Треста», но и его собственным признанием, что шифр М.О.Р. остался неразгаданным.

«По странному стечению обстоятельств, — сказано в той части воспоминаний, в которой их автор еще раз слил воедино Якушева и Опперпута, — после того, как Таллин лишился связи с М.О.Р. — «Трестом» и была установлена непосредственная связь Варшавы с Москвой, в Варшаве появился Федоров-Опперпут. Я предложил майору Таликовскому, руководившему разведкой на Россию, встречу втроем. Я прежде никогда не встречался с Опперпутом, который, как казалось, был в контакте с руководителем разведки на Россию. Они до этого виделись неоднократно. Когда встреча уже была решена, Федоров неожиданно заболел и

был помещен в частную клинику св. Иосифа в Варшаве. Он перенес там операцию удаления слепой кишки. Случилось так, что, после того как мы постучали в дверь его комнаты, я вошел в нее первым. Я заметил, что Федоров быстро спрятал под одеяло какую-то книгу.

От разговора в памяти не сохранилось ничего. Помню только банальное лицо и небольшие, хитрые, лисьи глаза, непрерывно перебегавшие с одного из нас на другого. Выйдя из комнаты, я попросил больничную сестру записать, когда окажется возможным, название и год издания книги, которую читает русский пациент. Мне повезло. Книга оказалась историей России, написанной Иловайским и изданной в Москве за несколько лет до (Первой мировой) войны. По моему предположению эта книга употреблялась для шифровки заграничных писем («Треста») по буквенному методу. По мнению нашего превосходного специалиста по чтению шифров, полковника Ковалевского, к которому я обратился с просьбой о расшифровке ряда писем, это невозможно было сделать, не зная книги. Таким образом, я, до возвращения в Таллин, дал руководителям разведки на Россию ключ, который мог привести к расшифровке писем М.О.Р. — «Треста», но Варшава, как следовало предвидеть, не располагала ни временем, ни людьми для того, чтобы спокойно и методически заняться этим делом».

Итак, Дриммер признал, что зашифрованная часть заграничной переписки «Треста», перевозившаяся в Москву или из Москвы польскими дипломатическими курьерами и проходившая через второй отдел польского генерального штаба, оставалась нерасшифрованной. Если он не ошибся, эта передача по назначению непрочитанных писем была бы доказательством неограниченного доверия штаба к русской монархической организации и ее заграничным корреспондентам. При любых обстоятельствах использование иностранной дипломатической почты для зашифрованной переписки показывает, как велика была в те годы независимость русских противников коммунизма, и в частности Кутеповской организации, от иностранцев.

Утверждение В.Т. Дриммера, что он обнаружил в больничной комнате Якушева написанный Иловайским учебник русской истории уже после того, как связь с «Трестом» была сосредоточена польским штабом в Варшаве, и счел эту книгу ключом к шифру М.О.Р., доказывает, что адрес советского полковника, у которого он, по его словам, побывал в Москве, не мог быть получен благодаря расшифровке одного из заграничных писем «Треста».

Равнодушие начальников В.Т. Дриммера к его «открытию» можно объяснить не только тем, что штабу не хватало людей и времени на расшифровку переписки М.О.Р., но и тем, что «открытие» оказалось ошиб-

кой. Книга, которую Якушев спрятал под одеяло от польского офицера, не была той, которой «Трест» пользовался для шифровки. Ею было берлинское издание «Истории русской музыки» Сабанеева.

Однако больничная сестра в варшавской клинике Святого Иосифа, где Якушев действительно, в один из своих приездов, пролежал довольно долго после более сложной операции, чем удаление слепой кишки, не ошиблась, сказав В.Т. Дриммеру, что таинственный русский пациент читает Иловайского. После операции Якушев попросил Артамонова принести ему несколько книг. Я присутствовал при их передаче. Среди них был упомянутый В.Т. Дриммером учебник. Почему же Якушев поспешно спрятал его от посетителей-поляков? Не потому ли, что Иловайский был и остается для них символом того мировоззрения, которое оправдывало разделы Польши и утверждало право России на вечное владение Царством Польским? Якушев, который, вероятно, это мировоззрение разделял, знал, как относятся к Иловайскому поляки. Не было ли вызвано его непроизвольное движение желанием скрыть от них ненавистное имя? Верю в то, что В.Т. Дриммер это движение заметил, но оно меня удивляет — не знаю, как его сочетать с самообладанием, которое Якушев проявлял при выполнении данного ему чекистами задания.

В том, что В.Т. Дриммер написал о поездке В.В. Шульгина в Россию, нет — с одним неправдоподобным исключением — ничего нового. Не заслуживающим доверия кажется мне сообщение сотрудника «Культуры» о якобы устроенном чекистами для Шульгина живоцерковном «богослужении».

В.Т. Дриммер утверждает, что оно состоялось в Москве, в каком-то подвале, в присутствии всех возглавителей М.О.Р. и облеченных в военное обмундирование командиров Красной армии. Фантастично утверждение, что Шульгина взволновало неправильное произношение русских слов «священником» и что автор «Трех столиц» увидел в этом подтверждение евразийского облика М.О.Р. и русской Церкви. Он поэтому якобы поцеловал руку «священника», которым — по словам автора воспоминаний — был ставший чекистом бывший польский офицер Стецкевич. Весь этот рассказ отражает такое незнание и непонимание истории «Треста», что становится неловко за рассказчика, который ошибся и в примечании к своей статье, написав, что Шульгин был арестован в Югославии в 1956 году и умер девять лет спустя. В действительности, как известно, он был захвачен там большевиками в 1944 году и, по-видимому, все еще жив.

В.Т. Дриммер включил в свои воспоминания то, что может быть названо польской версией обстоятельств, вызвавших самоликвидацию «Треста». Не отрицая достоверности его сведений, нужно сказать, что указанная им причина была, вероятно, не единственной. Политическая

обстановка, сложившаяся в начале 1927 года, и ответ Кутепова на вопрос об англо-советских отношениях, заданный ему в Финляндии представителями М.О.Р. в марте, могли повлиять на ликвидацию успешной советской провокации не меньше, чем та проницательность Пилсудского, на которой В.Т. Дриммер сосредоточил свое внимание.

«Переговоры нашей разведки с М.О.Р. — «Трестом», — написал он, — тянулись бесконечно. Наконец М.О.Р. заявило, что оно, к сожалению, временно не может доставить (мобилизационного) плана (Красной армии) из-за перемен в личном составе ее штаба, но вскоре сможет предложить за 10 тысяч долларов мобилизационный план советских железных дорог. Наша разведка приняла это предложение с условием, что 5 тысяч будут уплачены при получении, а остаток — после просмотра и установления достоверности. Наконец, штаб получил мобилизационный план. Его поочередно изучали: эвиденция второго отдела и четвертый, квартирмейстерский отдел главного штаба. Они признали план подлинным. Начальник штаба, генерал Пискор, и начальник второго отдела, полковник Байер, были приняты в Бельведере маршалом Пилсудским. Маршал приказал им оставить план у него на короткий срок для ознакомления. Несколько дней спустя в Бельведер был вызван начальник главного штаба, ген. Пискор. Маршал указал ему, одну за другой, ошибки в советских расчетах пропускной способности железнодорожных станций, обнаруженные им при поверхностном ознакомлении с документом, выданным за мобилизационный план советских железных дорог.

Насколько помню, основная мысль этого плана состояла в желании создать впечатление, что советское вторжение в Польшу намечается в направлении на Львов, а не через традиционные «смоленские ворота». Это зародило в маршале Пилсудском первое подозрение, которое затем, при более тщательном вычислении пропускной способности отдельных железнодорожных станций, привело к обнаружению ошибок в расчетах, не замеченных ни вторым, ни четвертым отделом нашего штаба».

«От начальника штаба вниз, по служебной лестнице, — прибавил В.Т. Дриммер, — пошли касавшиеся мобилизационного плана замечания. План был возвращен М.О.Р. с соответствующей оценкой... Наш офицер связи в Москве, майор Недзинский, доложил, что возвращение мобилизационного плана, признанного фальшивкой, было большой неожиданностью для представителя М.О.Р.»

«Как это ни странно, но в этом случае автор воспоминаний — по собственному признанию — не считал нужным соблюсти служебную тайну. «Я, — написал он, — не скрыл этой, обнаруженной в Варшаве мистификации от моих сослуживцев, военных агентов в Таллине и Риге, где я



между тем также был аккредитован... Я догадывался, что они тоже состоят в связи с М.О.Р. Узнали это и возглавители монархической организации в Риге и Таллине, благородные и порядочные русские эмигранты».

В виде вывода из всего своего рассказа В.Т. Дриммер прибавил: «Предполагаю, что это событие (возвращение мобилизационного плана «Тресту») и, может быть, какие-либо другие, мне не известные, причины вызвали кризис в возглавлении М.О.Р. — «Треста». Это случилось в 1927 году, во время происходивших в России интенсивных «чисток». Наступил цикл совершенных чекистами ошибок и промахов».

Следующее затем в воспоминаниях перечисление этих ошибок содержит столько поразительных неточностей, что извлечь из него достоверные сведения не легко. Достаточно сказать, что Опперпут еще раз назван Федоровым, то есть что ему приписан один из псевдонимов Якушева, а начальником русских воинских организаций, вместо генерала Кутепова, генерал Миллер.

Не ограничившись этим, В.Т. Дриммер написал, что В.А. Ларионов и его соратники, совершившие в июле 1927 года удачное нападение на коммунистический клуб в Петрограде, были якобы убиты при переходе границы из Финляндии в Россию, а их покушение на клуб было якобы вымыслом советских газет.

Желание автора воспоминаний объяснить «бегство» Опперпута из Москвы в Гельсингфорс и последовавшее затем сделанное им «разоблачение» «Треста» одним только пронизательным отношением Пилсудского к переданному «Трестом» польскому генеральному штабу мобилизационному плану советских железных дорог и возвращением этого плана кажется мне заслуживающей внимания, но недоказанной гипотезой. Возвращение разоблаченной подделки ее виновникам было бы совершенной штабом непростительной ошибкой. Оно обнаружило бы подозрение штаба и заставило бы чекистов насторожиться. Между тем связь Варшавы с «Трестом», после описанного В.Т. Дриммером эпизода, ничем нарушена не была, а появление Опперпута в Финляндии было для штаба такой же неожиданностью, как и для Кутеповской организации.

Это не значит, что рассказ В.Т. Дриммера о переговорах штаба с М.О.Р. может быть назван вымыслом. Существует подтверждение желания польской разведки добиться от М.О.Р. выдачи советских военных тайн. В «Мертвой зыби» Никулин сообщил: «Некто Недзинский, которому польским штабом была поручена в Москве связь с «Трестом», писал Якушеву: «Желательно получить сведения относительно маневров УВО... Кроме того, позволю себе напомнить относительно маневров ЛВО и ЗВО». Таким образом польский генштаб проявлял интерес к Украинскому, Ленинградскому и Закавказскому военным округам».

Мерилом отношения варшавского штаба к М.О.Р. до весны 1927 года был подарок, сделанный Якушеву и Потапову в 1926 году. Им были посланы в Москву бельгийские браунинги, украшенные на рукояти накладными золотыми вензелями. Некоторым русским зарубежным «историкам» «Треста» сведения об этом подарке показались настолько фантастическими, что они назвали их злостной выдумкой, но я видел эти браунинги в Варшаве, на квартире Артамонова, до их отсылки «Тресту».

Опперпут — по мнению В.Т. Дриммера — «бежал» из Москвы не как раскаявшийся чекист, а как советский агент, получивший новое задание. Бывший польский военный агент в Ревеле не верит советскому сообщению о гибели Опперпута после неудачной попытки взорвать здание О.Г.П.У. на Малой Лубянке в Москве, и в этом недоверии к смерти Опперпута в 1927 году он, безусловно, прав. Он, кроме того, утверждает, что латыш, знавший Опперпута в лицо, видел его в Шанхае незадолго до Второй мировой войны.

По словам В.Т. Дриммера, Опперпут, после «бегства» в Гельсингфорс, пожелал дать генералу Кутепову подробные показания о «Тресте». Он захотел сделать это в присутствии иностранных офицеров и назвал желательными участниками этого разговора начальника разведывательного отделения второго отдела польского генерального штаба, полковника Боянского, и начальника русской секции этого отделения, майора Таликовского. Они съездили из Варшавы в Финляндию и выслушали эти показания.

Одновременно Опперпут — как утверждает В.Т. Дриммер — обвинил начальника польского штаба генерала Пискора, начальника второго отдела полковника Байера и самого автора воспоминаний в том, что они — советские агенты. Большевики не раз пользовались и продолжают пользоваться таким злостным обвинением, чтобы повредить своим наиболее непримиримым противникам. Польское правительство возведенной на его офицерство клевете не поверило, но сообщенная В.Т. Дриммером подробность поведения Опперпута в Гельсингфорсе подтверждает, что он там остался тем, чем был в Москве, — советским агентом-provokатором.

## Письмо П.Н. Врангеля

В литературе о «Тресте» есть несколько указаний на осторожное, недоверчивое отношение генерала П.Н. Врангеля к появившимся за границей эмиссарам организации, называвшей себя Монархическим Объединением России. Это недоверие подтверждено документом, хранящимся в Соединенных Штатах, в Институте имени Гувера в Станфорде и

опубликованным мною в парижском журнале «Возрождение» (№ 233, июнь 1971 года) с согласия П.П. Врангеля, сына покойного главнокомандующего Русской Армии.

Этот документ — копия письма, написанного генералом Врангелем за два года до разоблачения советской провокации в М.О.Р., из Сремских Карловцов (Югославия) в Париж, лицу, фамилия которого в письме не указана. Однако сопоставление с остальной перепиской автора дает возможность установить, что оно было адресовано генералу М.Н. Скалону<sup>62</sup>, пользовавшемуся доверием Великого князя Николая Николаевича.

Частное по форме и доверительное по содержанию, письмо было, тем не менее, помечено номером и напечатано на машинке. Копия, в соответствии с дореволюционным обыкновением, названа отпуском. Некоторые имена и фамилии были заменены псевдонимами, легко поддающимися расшифровке, потому что — как это ни удивительно — эти условные обозначения совпадают с теми, которыми «Трест» пользовался в переписке с А.П. Кутеповым и другими эмигрантами. Мною, в скобках, включены в текст подлинные имена.

Письмо свидетельствует о редкой проникательности П.Н. Врангеля, подтвержденной, два года спустя, разоблачением чекистской провокации.

*«№ 1728/с Сремски Карловци, 12 марта 1925 г.*

*Дорогой Михаил Николаевич.*

В бытность мою в Париже я докладывал Великому Князю о подозрениях моих касательно известных тебе Федорова (Якушева) и Волкова (Потапова). Отсутствие конспиративности в их переписке и в свиданиях за границей невольно внушает мне некоторые подозрения. Подозрения эти усилились, когда в свой приезд за границу в 1923 году Федоров послал бывшему начальнику моей разведки порученные ему, Федорову, Марковым<sup>63</sup> (председателем Высшего Монархического Совета в Берлине) письма к кн. Н. А. Оболенскому и А. Н. Крупенскому. Как ты можешь увидеть из содержания этих писем, сообщение мне таковых не могло иметь другой цели, как поселить во мне недоверие к Маркову. Между тем последний имел связь с Россией через того же Федорова. Все это я докладывал Великому Князю и по его приказанию сообщил Кутепову.

На днях я совершенно неожиданно получил одновременно прилагаемые письма от Федорова и Волкова. Последнего я видел один раз более полутора лет тому назад, когда он приезжал в Сербию, первого я вовсе не знаю. Он изредка переписывался с генералом Климовичем,

каждый раз прося передать мне привет, за что я просил передать благодарность. Вот, вероятно, та «деловая связь», о которой он пишет.

Одновременное обращение ко мне Федорова и Волкова и самое содержание их писем усиливают бывшие у меня ранее подозрения. Я не считаю себя вправе не сообщить их Великому Князю. Вместе с тем эти подозрения все же не непреложная уверенность, а потому убедительно прошу тебя, буде Великий Князь сочтет необходимым в интересах дела поддержать с ним дальнейшие сношения, чтобы это письмо и препровождаемые документы остались бы для всех, кроме тебя и Великого Князя, неизвестными.

Я со своей стороны приказал ответить им, что Сергеев (П.Н. Врангель) уже давно от всякой политической работы отошел, ограничив свою деятельность заботой о своих соратниках. Соображения, которые Вы считаете необходимым доводить до сведения Юнкерса (великого князя Николая Николаевича), могут быть направлены Вами обычным путем через Бородина (А. Н. Кутепова).

Крепко жму твою руку. Твой П. Врангель».

### Ревельская загадка

Юрий Александрович Аргамонов скончался в Сан-Пауло (Бразилия) 21 августа 1971 года. Его друг и однополчанин, князь Кирилл Алексеевич Ширинский-Шихматов, пережил его недолго — смерть постигла его в Париже 23 марта 1972 года. Их имена связаны с тем эпизодом истории «Треста», который они оба, до последних дней своей жизни, считали неразрешенной загадкой.

В советской версии этой истории — «Мертвой зыби» Льва Никулина — это рассказано так: «В январе 1922 года, на Лубянке, Дзержинский сказал своим ближайшим сотрудникам, что «по сведениям из-за границы и данным, полученным внутри страны, на советской территории действует довольно многочисленная и глубоко законспирированная контрреволюционная Монархическая организация Центральной России, установившая прямой контакт с центрами белой эмиграции за границей и, опираясь на их помощь, готовящая восстание против советской власти. ГПУ обязано проникнуть в замыслы и планы врага и в нужный момент нанести ему сокрушительный удар... Центральный комитет нашей партии, которому я доложил материал по этому делу, предлагает нам не производить арестов всех известных участников организации. ГПУ должно взять деятельность МОЦР под неослабный контроль с тем, чтобы выяснить масштабы ее, организационные формы построения,

идейных и практических руководителей, состав, программу, цели, тактику борьбы и средства связи с границей, анализировать опасность организации для Советской республики, перехватить каналы, по которым МОЦР поддерживает контакты с белоэмигрантскими центрами. Нужно сделать так, чтобы МОЦР превратилось в своего рода «окошко», через которое ГПУ могло бы иметь точное представление о том, как предполагает действовать против нас белая эмиграция... Нам нужен человек, который поможет чекистам проникнуть в ядро монархической организации».

Тогда же Дзержинский — по словам Никулина — назвал арестованного чекистами Александра Александровича Якушева, сказав о нем: «Это видный специалист по водному хозяйству, занимавший в дореволюционное время солидное положение. Мы убедились, что сейчас он не только стоит на позициях, враждебных по отношению к советской власти, но и является одним из руководителей МОЦР...»

Якушев перешел на советскую службу после длительного саботажа, но, видимо, он начал работать лишь с целью маскировки своей контрреволюционной деятельности. Это ему не удалось. Он арестован. Однако мы убедились в том, что, несмотря на свои монархические взгляды, он отвергает методы борьбы, которые предлагают его единомышленники. Он отвергает интервенцию, и для него, как он заявил, «превыше всего интересы России». Поэтому он осуждает терроризм и шпионаж в пользу Антанты. В то же время он категорически отказывается дать нам откровенные признания относительно МОЦР и назвать хотя бы одно имя...

Мы не должны терять надежды переубедить его, склонить на сторону советской власти. Попытаемся это сделать. Поэтому будем держать его арест втайне. Якушев арестован тотчас по его возвращении изграничной командировки, в момент, когда он отправлялся в другую командировку, в Иркутск. Ни в Москве, ни за границей об его аресте не знают... Якушев может быть, говоря иносказательно, тем ключом, который откроет нам, чекистам, доступ в МОЦР... Он должен объявить тайную войну своим единомышленникам, войну смертельную... Такая работа требует выдержки, смелости и находчивости. Умело маскируясь, надо глубоко проникать в лагерь врагов, подогревать их недоверие друг к другу, возбуждать взаимные подозрения, вызывать споры. Мы знаем, что происходит за границей: склоки, грызня между белыми эмигрантами. Надо ловко подбрасывать им горячий материал, сеять между ними вражду».

По той же советской версии чекистам не сразу удалось склонить Якушева к переходу на их службу. Первым шагом в оказанном на него

давлении была очная ставка с арестованной москвичкой, Варварой Николаевной Страшкевич, показавшей на допросе, что до отъезда в заграничную командировку Якушев сказал, что хочет встретиться за границей с ее племянником Ю.А. Артамоновым, которого знал по Лицею.

Якушеву, — утверждает Никулин, — пришлось сознаться в том, что он получил от Страшкевич записку к Артамонову и встретился в Ревеле не только с ним, но и со служившим в разведке генерала Врангеля Всеволодом Ивановичем Щелгачевым, офицером л.-гв. Преображенского полка. Не отрицая встречи, Якушев, — сказано в «Мертвой зыби», — сделал слабую попытку опровергнуть обвинение в том, что разговаривал со Щелгачевым и Артамоновым, как представитель существующей в России тайной монархической организации, но вынужден был сознаться в этом, когда допрашивавший его чекист Пиляр показал копию письма, посланного Артамоновым из Ревеля в Берлин князю Ширинскому-Шихматову.

Выдержки из этого письма включены Никулиным в его рассказ о допросе Якушева в О.Г.П.У. «Якушев, — написал Артамонов, — крупный спец. Умен. Знает всех и вся. Наш единомышленник. Он то, что нам нужно. Он утверждает, что его мнение — мнение лучших людей России. Режим большевиков приведет к анархии, дальше — без промежуточных инстанций — к царю. Толчка можно ждать через три-четыре месяца. После падения большевиков спецы станут у власти. Правительство будет создано не из эмигрантов, а из тех, кто в России...

Якушев говорил, что лучшие люди России не только видятся между собой; в стране существует, действует контрреволюционная организация. В то же время впечатление об эмигрантах у него ужасное. «В будущем милости просим в Россию, но импортировать из-за границы правительство невозможно. Эмигранты не знают России. Им надо пожить, приспособиться к новым условиям». Якушев далее сказал: «Монархическая организация из Москвы будет давать директивы организациям на Западе, а не наоборот». Зашел разговор о террористических актах. Якушев по этому поводу заметил: «Они не нужны. Нужно легальное возвращение эмигрантов в Россию, как можно больше. Офицерам и замешанным в политике обождать. Интервенция иностранная и добровольческая нежелательна. Интервенция не встретит сочувствия». Якушев безусловно с нами. Человек с мировым кругозором. Мимоходом бросил мысль о «советской» монархии. По его мнению, большевизм выветривается. В Якушева можно лезть, как в словарь. На все дает точные ответы. Предлагает реальное установление связи между нами и москвичами. Имен не называл, но, видимо, это люди с авторитетом и там, и у них, и за границей».

Пятьдесят лет с лишним спустя эти впечатления Артамонова от первой встречи с Якушевым не подтверждают, а опровергают советскую версию о подлинном контрреволюционном облике приехавшего в Ревель эмиссара М.О.Ц.Р. Они доказывают, что на свидание с Артамоновым и Щелгачевым Якушев прибыл во всеоружии данной ему чекистами инструкции.

«Мимоходом» — как выразился Артамонов — он оказался предшественником младороссов, связавших в один лозунг несовместимые слова «царь» и «советь». Теперь наследниками Якушева по советской пропаганде в эмигрантской среде могут быть названы московские «Голос Родины», призывающий к возвращению из эмиграции в Россию, и неомладороссы, проповедующие ставку на «патриотически» и даже «монархически» настроенных коммунистов. Вопреки тому, что написал о нем Никулин, ревельский гость Артамонова и Щелгачева предстает теперь перед нами как несомненный советский агент, выполнявший данное ему Москвой поручение. Неопытные молодые эмигранты это не поняли.

Когда Артамонов и Ширинский-Шихматов узнали, что посланным из Ревеля в Берлин письмом большевики объясняют возникшую якобы в Якушеве ненависть к эмигрантам и его готовность повести против них «смертельную войну», они начали гадать, как могло неосторожное послание попасть в советские руки. «Одно могу сказать наверно, — написал Артамонов после появления «Мертвой зыби», — что злополучное письмо было опущено в почтовый ящик в Берлине».

«Могу тебя заверить, — прибавил он позже, — что «пропавшая грамота» была послана в Берлин особой почтой и там опущена в почтовый ящик... Можно строить бесконечную массу предположений обо всем этом, но едва ли мы попадем на совсем правильное. Обо всем этом можно говорить без конца, но, во всяком случае, интересно, что провалов не было и никто не погиб... Ты не прав, если думаешь, что Арапов полностью верил «Тресту»; наоборот, он всегда думал, что они связаны (с О.Г.П.У.), т. к. одно подполье не может работать без связи с другим».

Ширинский-Шихматов был ближе к истине, предполагая, что письмо Артамонова было, до доставки в Берлин, перехвачено в Ревеле. Упомянутая Артамоновым «особая почта» была, вероятно, эстонской дипломатической почтой, а перевозивший ее курьер мог быть тем состоявшим тогда на службе эстонского министерства иностранных дел тайным коммунистом Романом Бирком, который позже явно перешел на сторону большевиков. Он легко мог снять копию с доверенного ему письма и опустить подлинник в берлинский почтовый ящик.

Выдержки из писем Артамонова заимствованы мною из сохранившегося архива покойного князя Ширинского-Шихматова. В том же архиве есть документ, показывающий, как Артамонов отнесся к разоблачению провокации в «Тресте». В посланном из Варшавы 5 января 1928 года письме он написал: «Вся та история, которая произошла, чрезвычайно тяжела для меня морально. Все это дело очень сложное и запутанное. Нет сомнения, что «Трест» был связан с Г.П.У. и что многое из разоблачений Касаткина (Опперпута) верно, но дело, думается, вовсе не так просто, как он его изображает. Несомненно, роковую роль во всем этом деле сыграло письмо, которое было послано в Ллойд (Высший Монархический Совет) и в копии очутилось в Г.П.У., из-за чего А.А. (Якушев) и был арестован, как ты наверно хорошо помнишь. Но как это случилось, Оп-т не сказал, хотя я читал все его неопубликованные разоблачения, о факте он говорит, но его не объясняет. Нет ли у тебя догадок или предположений по этому поводу? Ведь все отправлялось в те годы на твой адрес... Думаю, что правду мы узнаем только тогда, когда откроются архивы Г.П.У, пока же остается только грязь и ужас».

Если нужно еще одно доказательство того, что в апреле 1927 года Опперпут «бежал» в Финляндию по заданию ОГПУ, оно дано этим указанием Артамонова на то, что «беглец» предварил на 38 лет в своих «разоблачениях» рассказ Никулина о попавшем в руки чекистов ревельском письме, но скрыл, как оно стало их достоянием.

## Парижский архив

В бумагах скончавшегося в Париже князя Кирилла Алексеевича Ширинского-Шихматова сохранились документы, освещающие связь Якушева с русскими эмигрантами и их вовлечение в орбиту советской провокации нигде до сих пор не опубликованными подробностями. Документы эти принадлежали ныне также покойному князю Юрию Алексеевичу<sup>64</sup>, брату Кирилла Алексеевича. Один из них — написанная, вероятно, Ю.А. Ширинским-Шихматовым, но им не подписанная памятная записка, дата которой не указала. В ней сказано:

«Первое знакомство Александра Александровича Якушева с Юрием Александровичем Артамоновым относится, по-видимому, к концу лета или ранней осени 1921 года и имело место в Ревеле, где А. служил переводчиком в англ. консульстве. Якушев привез ему привет и поручения что-то купить от двух сестер, приятельниц Артамонова, живших в Москве в одном доме с Якушевым — Арбат, Никольский пер., 12 — сестер Страшкевич, сидевших в тюрьме вместе с Якушевым; говорили о политике мало,



между прочим. Якушев отозвался с иронией об эмиграции и ее правом секторе, назвав себя монархистом. Пришел в восторг от показанных ему статей в восьмом и четвертом номерах берлинского журнала «Двугл. Орел» Г. Лукьянова — псевдоним Юрия Алексеевича Ширинского-Шихматова — «Мысли беженца. Советская монархия» и «Наши задачи», в коих идеологически и тактически автор стремился обосновать антиреставрационный неомонархизм, «советско-монархическое народничество». Вот с такими людьми я согласился бы работать, заявил Якушев. Артамонов написал об этом разговоре в Берлин брату автора статьи, своему однополчанину Кириллу Алексеевичу, прося довести эту беседу до сведения брата, проживавшего тогда в Париже, а также и до сведения Высшего Монархического Совета в Берлине. Именно это письмо и было перехвачено коммун. агентами, ибо шло из Ревеля в Берлин почти три недели. Фотография этого письма была предъявлена Якушеву следователем ГПУ после ареста, о чем сам Я. и рассказывал в свои последующие приезды за границу.

В первых числах января 1922 г. к Ю.А. Артамонову на квартиру явился пробравшийся нелегально из Петербурга красный офицер, б. полковник Иванов. Он привез письмо от Я. с извещением, что у него «были неприятности, но теперь все уладилось», что в Москве им организована неб. группа, принявшая название «Монарх. Объединение Центральной России» — МОЦР — конспиративно завод «Металло-Обделочный Центро-Рельса»; Иванов показался искренним, но не умным и не серьезным; был типичным узким «белым офицером», ленинской «редиской». Для сношений с МОЦР Иванов предложил пользоваться эстонской (дипломатической) вализой. По-видимому, эстонское посольство в Москве уже состояло в контакте с МОЦР, ибо эст. военное министерство пошло сразу же навстречу Артамонову. Связующим звеном служил Бирк. Иванов уехал через два дня, а Артамонов организовал «ЗЯРМО № 1» — заграничную ячейку Российской Монарх. Организации, — в которую привлек несколько человек, в том числе местного представителя «Центра Действия» Щелгачева, жившего на Нарвской ул., 10, кв. 9. Переписка с Артамоновым сначала велась по адресу булочной, где служила его невеста, теперь — жена, а потом, когда адрес этот провалился, (так как) эстонская полиция обратила внимание на зашифрованную переписку, помещавшуюся в пакетах газет, по адресу:

Г. Крузенстиерн для г. Бирк, Широкая, 32, кв. 2. Переписка зашифровалась «книжным шифром» по статье «Наши Задачи», положившей основу знакомству как с Москвой, так и с «ЗЯРМО № 2» в Берлине и с «ЗЯРМО № 3» в Париже. Возглавляли: № 2 — Кирилл Алексеевич, а. № 3 — Юрий Алексеевич Ширинские-Шихматовы.

Первое общее совещание А.А. Якушева со всеми троими возглавляемыми «ЗЯРМО» относится к началу декабря 1922 года и имело место в Берлине, в одной из гостиниц близ Потсдамского вокзала, где остановились приехавшие вместе А.А. с Ю.А. и К.А. Ш.-Ш. Были выработаны основы программы и тактики. Совещание продолжалось 4 дня. К участию в последнем был привлечен Артамоновым его товарищ по (лейб-гвардии Конному) полку, только что приехавший из Сербии племянник ген. Врангеля и командир его личного конвоя, евразиец Петр Семенович Арапов. Немедленно после окончания совещания А.А. Я. был поставлен в связь с Высш. Мон. Советом через К.А. Ш.-Ш. и с представителем ген. Врангеля полк. А.А. фон Лампе. На В. М. С. Якушев не произвел хорошего впечатления, за исключением А.М. Масленникова, но А.А. Лампе, которого познакомил с Якушевым Арапов, был им очарован.

К этому моменту относятся два интересных факта: 1. На вопрос Ю.А. Ш.-Ш., какую роль в организации играет приехавший в Ревель полковник Иванов, Як. ответил: «Никакой — мы его ликвидировали. Он слишком много знал. Пригласили на охоту и пристрелили»; в газ. «Руль» появилась заметка, что в Берлин приехал «чекист Якушев» для ревизии местного отдела заграничного ГПУ. Якушев был очень взволнован и говорил, что ничего не понимает. Впоследствии он писал из Москвы, что его сотрудники и, в частности, «Касаткин» были страшно оскорблены фактом этой заметки и предложили поехать в Берлин «вызвать (редактора газеты «Руль») Гессена на дуэль», но в ту минуту Як. говорил, что это, вероятно, какой-нибудь однофамилец или псевдоним. «Очень неприятное совпадение».

На совещании в качестве шифра было решено пользоваться брошюрами, изданными в России: до осени 1923 г. шифром служила брошюра Быкова «Последние дни последнего царя», потом — «Дети будущего». Терминология была выработана следующая: МОЦР — трест, Высш. Мон. Совет — Ллойд, Врангелевская Армия — фирма Сергеева, Соввласть — Центролес. Монархия — кооперация, коммунисты — конкуренты, курьер — письмо, дипломатический — беспроволочный, договор — счет, опасность — согласие, дела идут хорошо — падение цен, плохо — повышение. Города переименовались: Прага именовалась Киев, Гельсингфорс — Вологда, Белград — Иннсбрук, Москва — Варшава, Петербург — Вильно, Кенигсберг — Вильдунген, Берлин — Ковно, Париж — Вена, Варшава — Женева, Бухарест — Гамбург, Киев — Прага, Лондон — Мурманск, Будапешт — Чита, Чита — Чикаго, Иркутск — Квебек, Севастополь — Констанца, Рига — Копенгаген, Одесса — Варна, Мюнхен — Лихтенштейн, Омск — Сан-Франциско и т. д. Псевдонимы: Якушев —

Федоров, ген. Зайончковский — Боярин Василий и Верховский, Опшерпут — Стауниц и Касаткин, ген. Потапов — Медведев, ген. Лебедев — Богданов, Бирк — Борисов, Врангель — Сергеев, ген. Хольмсен<sup>65</sup> — Климов, ген. Миллер — Косенко, В. К. Николай Николаевич — Юнкер, Имп. Мария Фед. — Стиннес, В. К. Кирилл Вл. — Зингер, В. К. Дмитрий Павл. — Александров, Н. Марков 2-ой — Петренко, Н.Д. Тальберг<sup>66</sup> — Лысенко, полк. Гершельман — Иванов, полк. Баумгартен — Садовский; представители в странах: в Варшаве Ю.А. Артамонов — Посредников и Липский, в Париже Ю.А. Ширинский-Шихматов — Лукьянов и Вильде, в Берлине К.А. Ширинский-Шихматов — Шотт и Коган, при ген. Врангеле П.С. Арапов — Шмит и Философов, он же для связи с евразийцами, в Ревеле Щелгачев — Порви и Второв, в Гельсингфорсе Х.И. ф. Дерфельден<sup>67</sup> — Алексеев.

Якушев предложил желающим приехать «проверить работу на месте». На первый подпольный съезд, под Москвой, должны были поехать Ю.А. Ш.-Ш. и от Ллойда (Александр Сергеевич) Гершельман, как представители полярных (противоположных) течений; съезд состоялся весной 1923 года, но эмигрантские делегаты на него не попали: Ш.-Ш. из-за отсутствия денег, а Г. — разминувшись в Риге с лицом, посланным «Трестом», дабы перевести эмигр. делегатов через границу.

В августе 1923 г. Якушев приезжал в Берлин и Париж, где виделся с В. К. Ник. Ник. К этому времени относится его разрыв с В. Мон. Сов., установление тесной связи с Врангелевской организацией — Лампе, Хольмсен, Монкевиц<sup>68</sup>, знакомство с Шульгиным и уход Ю.А. Ширинско-Шихматова, не принявшего предложение Як. переехать в Берлин для слежки за Высш. Мон. Сов. и заявившего о неприемлемости для него «вождизма» — «Трест» объявил себя подчиненным В. К. Н. Н. (Великому князю Николаю Николаевичу) и национал-пораженческой линии трестовской тактики, выразившейся в торговле русскими военными тайнами, особенно в Варшаве и Ревеле, где покупателями были также англичане. К этому же моменту относится усиление дружбы Як. и Арапова и знакомство Як. с лидером евразийцев П.П. Сувчинским. Весной 1924 г. был второй съезд МОЦР, переименованного в М.О.Р., в котором участвовал и Арапов, близко сошедший с Касаткиным (Опшерпутом)».

Сообщение этого документа о несостоявшейся поездке А.С. Гершельмана на «съезд М.О.Р.» в России подтверждается его очень интересными, еще не опубликованными воспоминаниями, а тот трудно объяснимый факт, что Якушев не скрыл от некоторых эмигрантов ареста, которому — по советской версии истории «Треста» — был подвергнут после возвращения в Москву из Ревеля — запиской князя К.А. Ширинско-Шихматова.

В последние годы своей жизни автор этой записки находился в полупарализованном состоянии, но сохранил до смерти полную ясность ума. Он постоянно вспоминал «Трест» и хотел написать критический отзыв о книге Никулина. Болезнь заставила отказаться от этого желания, но сохранилась написанная дрожащей рукой обреченного человека записка, в которой сказано: «Моя теория о двойной игре А.А. Якушева. Мы узнали об его аресте от него самого. Он играл на два «табло», чтобы в эмиграции не узнали от посторонних, напр. от Кутеповской линии, об его аресте, а с другой стороны, он «предупреждал» эмиграцию о том, что его выпустили: не говорите мне лишнего, я обязан обо всем докладывать патронам».

В таком запутанном и сложном случае, как дело «Треста», каждое свидетельское показание заслуживает внимания, а показание К.А. Ширинского-Шихматова — не только внимания, но и доверия. Мне кажется, однако, что он напрасно приписал Якушеву благородное побуждение — желание предостеречь эмигрантов. Судя по включенным в «Мертвую зыбь» сведениям об его докладах О.Г.П.У. после возвращения из заграничных поездок, он не цадил эмигрантов и над некоторыми издевался.

В том же парижском архиве сохранились: одна открытка Якушева К.А. Ширинскому-Шихматову, два письма Якушева его брату и один документ, поражающий подражанием «Треста» дореволюционной официальной переписке через пять лет после захвата власти в России коммунистами. Это подражание удивительно тем более, что Ю.А. Ширинский-Шихматов, которому документ был предназначен, отнюдь не был сторонником восстановления монархии в ее прежнем облике.

Открытка Якушева была написана в Кенигсберге 5 января 1923 года и адресована «господину К. Шихматову, в отдел рукоделий на Потсдаммерштрассе 27-6 в Берлине»: «Покидая Кенигсберг, шлю в последний раз привет. Очень огорчен, что не встретил Липского (Артамонова), должно быть, он проехал с другим поездом и не протелеграфировал. Желаю всякого успеха. Кланяюсь низко всем сослуживцам по Ллойд (Высшему Монархическому Совету). Ваш Федоров».

21 января того же года Якушев написал Ю.А. Ширинскому-Шихматову из Москвы: «Дорогой Юрий Алексеевич! С особенным удовольствием сообщаю Вам, что я благополучно вернулся и до сих пор чувствую себя вполне удовлетворительно. Наши конкуренты заняты теперь совсем другим делом, и мы, пользуясь этим, стараемся развернуть деятельность нашего кооператива. Работа идет бешенная, напряжение очень большое, приходится действовать решительно, и потому, конечно, скучать от безделья не приходится. Все, сделанное нами (в Берлине Якушевым, брать-

ями Ширинскими-Шихматовыми, Артамоновым и Араповым), одобряется здесь, но сейчас невозможно менять форму «Треста» и мы ограничиваемся образованием организационного комитета, который подготовил бы переход к новой форме. Завязываем торговлю с иностранцами, но крайне нуждаемся в энергичных представителях, которые, будучи вполне нашими, проводили бы нашу линию и защищали наши интересы в иностранных городах.

В частности, нам очень важно иметь представителя в Париже, который бы служил связью между нами и местными кооператорами (монархистами) отечественного происхождения, а если понадобится, входил бы в сношения и с местными французскими коммерческими (политическими) учреждениями. Требуется — буду говорить грубо — высшая изворотливость вместе с твердостью, быть может даже нужно быть иногда иезуитом. Что делать, такова потребность момента.

Выбор наш останавливается только на Вас, в чем, я думаю, Вы не могли сомневаться. Помогите нам, дорогой, и не отказывайтесь от делаемого Вам предложения. Дело трудное, неприятное, но крайне важное и необходимое. Обнимаю Вас и крепко жму Вашу руку. Ваш Федоров».

Судя по сохранившейся в бумагах К.А. Ширинского-Шихматова памятной записке, в которой его брат назван представителем М.О.Р. в Париже, Ю.А. Ширинский-Шихматов предложение «Треста» принял, но вскоре Москва сделала отклоненную им попытку перевода в Берлин для наблюдения за Высшим Монархическим Советом.

От этой попытки сохранились: присланный ему из Москвы, упомянутый мною документ, написанный по всем дореволюционным правилам и подписанный тремя советскими агентами — Якушевым, бывшим генералом Лебедевым и Опперпутом — и приложенное к нему частное письмо того же Якушева. Оно показывает, что уже тогда «Трест» стремился протолкнуть в иностранную печать нужную ему дезинформацию.

Извещение о назначении в Берлин было написано 29 ноября 1923 года и адресовано «Его Сиятельству князю Ю.А. Ширинскому-Шихматову» с указанием даты и места его отсылки, причем Москва была названа Варшавой, но М.О.Р. было названо не «Трестом», а полным своим именем. Удивительно, что это извещение не вызвало напыщенным языком, столь странным после пяти лет коммунистического порабощения России, немедленного подозрения в провокации. В нем было сказано:

«Милостивый Государь, князь Юрий Алексеевич! По постановлению Политического Совета Монархического Объединения России Вы назначены с 1-го ноября 1923 года Представителем МОР для Германии и Бельгии. С получением сего Вам надлежит немедленно вступить в исполнение своих обязанностей.

Вам поручается установить и поддерживать деятельную связь с Высшим Монархическим Советом и входящими в его состав монархическими организациями, равно и с местными представителями фирмы Сергеева (генерала Врангеля). Кроме того, на Вас специально возлагается руководство кружками русской молодежи, как в Германии, так и в Бельгии, а равно общее направление деятельностью кружков русской молодежи в Париже и вообще во Франции, не касаясь вопроса представительства МОР в Париже. Благоволите срочно сообщить нам Ваш берлинский адрес, по которому могла бы направляться к Вам простая корреспонденция.

Всю деловую корреспонденцию Вы будете получать и должны отправлять дипломатической почтой через г. Липского (Артамонова). Вам будет указано им лицо, с которым Вам придется быть в непосредственных сношениях по этому делу. Выражая уверенность, что Вы вполне справитесь с возлагаемым на Вас ответственным поручением, мы просим Вас передать привет кружкам русской молодежи и сообщить им, что мы рады их считать своими и всецело поддерживать во всех разумных начинаниях. Зам. Верховного Эмиссара А. Федоров. За Начальника Штаба Богданов. Член Политического Совета Касаткин».

В частном письме Якушев, в тот же день, написал: «Дорогой Юрий Алексеевич! Прежде всего приветствую Вас с назначением и радуюсь, что Вы теперь окончательно наш. К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, извещение о Вашем назначении несколько задержалось. Ну да я уверен, что Вы одним скачком догоните все опозданное. Дипломатическая линия, о которой Вам официально сообщается, идет по Женевской Торговой Палате (варшавскому генеральному штабу). Ю.А. Липецкий (Артамонов) сообщит Вам лиц, к которым Вам придется обращаться для получения и отправки корреспонденции и от которых Вы будете получать содержание, конечно за наш счет. Сейчас Вам уже готов перевод на 30 — тридцать — английских фунтов стерлингов из расчета по 1-ое февраля 1924 года. Он находится у представителя Женевской Торговой Палаты в Вене (Париже). Его фамилия также будет Вам указана Липским. Корреспонденцию посылайте по возможности способом, который был Вам сообщен в Страсбурге мною, но имейте в виду, что этот способ известен, кроме нас, только фирме Сергеева (штабу генерала Врангеля), Ллойд же (Высшему Монархическому Совету) он не известен и не должен быть сообщаем.

Первая просьба, с которой мы к Вам обращаемся, касается помешения в газете «Action Française» прилагаемой статьи. Ввиду тех переговоров, которые только что закончены мною совместно с Н.М. Медведевым (Потаповым) в Женеве (Варшаве), и вследствие достигнутых

результатов, помещение этой статьи представляется положительно необходимым для дальнейших соображений. Подробно писать не имею времени и прошу сделать это Липского, который вполне в курсе дела. Итак, дорогой, получайте деньги и приступайте к работе. В добрый час. Обнимаю Вас и крепко целую. Ваш А. Федоров».

Предположение «Треста», что Ю.А. Ширинокий-Шихматов станет послушным исполнителем его указаний, не сбылось. Может быть, поэтому Якушев не сделал позже ни малейшей попытки толкнуть меня на скользкий путь того наблюдения за другими эмигрантами, которого он хотел добиться от берлинского представителя М.О.Р.

## Судьба провокатора

Существует два мнения о судьбе Опперпута после его возвращения из Финляндии в Россию. Ныне покойный д-р Н.И. Виноградов не только поверил советской версии об его превращении из чекиста в белого террориста, но и запальчиво осуждал тех, кто, как С.П. Мельгунов и я, отнеслись к этому утверждению критически. Американский историк Поль В. Блэксток, почерпнувший от Н.И. Виноградова значительную часть своих сведений о «Тресте» и Кутеповской организации, также изобразил Опперпута раскаявшимся агентом-провокатором, пожелавшим искупить вину участием в борьбе с большевиками. Ни он, ни д-р Виноградов не обратили внимания на то, что советские сообщения об Опперпуте содержат противоречие, обличающее их авторов.

5 июля 1927 года московские газеты опубликовали сообщение коллегии О.Г.П.У., подписанное В. Менжинским: «В ночь на 3 июня с. г. имела место, как это известно из правительственного сообщения от 10 июня, предупрежденная сотрудниками ОГПУ попытка взорвать жилой дом № 3/6 по М. Лубянке. В результате розысков ОГПУ установлено, что злоумышленниками, совершившими попытку взрыва, являются трое террористов: Захарченко-Шульц, Опперпут и Вознесенский, нелегально перешедшие границу в СССР из Финляндии 31 мая с. г.

Во главе этой группы была известная монархистка, близкая родственница и правая рука английского агента, генерала Кутепова, М.В. Захарченко, она же Шульц. Последние месяцы она вместе с б. савинковцем Опперпутым руководила из Финляндии террористическо-шпионской работой.

После неудачи покушения на взрыв террористы направились в Смоленскую губернию, где в 10 верстах от Смоленска Опперпут был застигнут крестьянской облавой, организованной ОГПУ 19 июня с. г.

При задержании Опперпут оказал вооруженное сопротивление и был убит в перестрелке. Захарченко-Шульц с ее спутником Вознесенским 23 июня наткнулась на красноармейскую засаду в районе Дретуни, высланную белорусским особым отделом ОГПУ, в перестрелке с которой оба были убиты.

Опперпут был опознан как лично, так и по принадлежавшим ему вещам женой, брошенной им в России, и следователями, допрашивавшими его ранее по делу савинковской организации. Захарченко-Шульц была опознана целым рядом сидящих в ОГПУ Кутеповских агентов, прибывших из-за границы. Найденный среди других материалов дневник Опперпута с описанием приготовления взрыва и всего маршрута террористов от границы полностью подтвердил имевшиеся данные ОГПУ по этому делу.

Нельзя не отметить самоотверженного участия крестьян и других местных жителей, активно помогавших поимке шпионов-террористов. В перестрелке с террористами тяжело ранены рабочий Яновского спиртового завода Николай Кравцов, крестьянин дер. Белоручье т. Якушенко и милиционер Лекин Алексей, а также легко ранена жена краскома Н-ского полка Ровнова. Кроме того, террористами убит шофер машины штаба Белорусского военного округа Сергей Гребенюк и тяжело ранен его помощник Борис Годенков — оба за отказ везти террористов».

6 июля 1927 года «Правда» напечатала второе сообщение, повторенное Никулиным в «Мертвой зыби»: «Взрыв подготовлялся довольно умело. Организаторы взрыва сделали все от них зависящее, чтобы придать взрыву максимальную разрушительную силу. Ими был установлен чрезвычайно мощный мелинитовый снаряд. На некотором расстоянии от него были расставлены в большом количестве зажигательные бомбы. Наконец, пол в доме по М. Лубянке был обильно полит керосином. Если вся эта система пришла бы в действие, можно почти не сомневаться в том, что здание по М. Лубянке № 3/6 было бы разрушено. Взрыв был предотвращен в последний момент сотрудниками ОГПУ.

Снаряды и вообще вся террористическая аппаратура погибших белогвардейцев были изготовлены не в СССР, а привезены из-за границы. Это нами установлено совершенно точно. И конструкция снарядов, и состав наполнявших их взрывчатых веществ — определенно иностранного происхождения. В частности, научная экспертиза известных специалистов-химиков установила с полной категоричностью английское происхождение мелинита.

По вполне понятным причинам я не стану указывать всех тех нитей, которые привели нас от Лубянской площади в Москве к белорусским



лесам, где мы настигли скрывавшихся преступников. Ими оказались наши «старые знакомые»: известная террористка Захарченко-Шульц, в течение ряда лет борováшая всеми способами с советской властью, являясь племянницей белого генерала Кутепова, прославившегося даже в эмиграции своей исключительной, бесчеловечной жестокостью в отношении подчиненных ему белых солдат и казаков и заслужившего в эмиграции прозвище Кутеп-паши. Она, вместе со своим дядей и шефом, являлась доверенным лицом и постоянным агентом английской разведки.

В последнее время соответственные английские «сферы», изверившись в наличии каких-либо корней у монархистов в СССР, усомнившись даже в их связи с Россией, предложили своим агентам предъявить реальные доказательства того, что монархисты могут не только разговаривать и проклинать большевиков, но и действовать. Последние неудавшиеся террористические акты и следует, очевидно, считать тем «доказательством», которое Кутепов и кутеповыцы пытались предъявить англичанам.

Другой участник покушения, Опперпут — тоже не новое лицо на белогвардейско-шпионском горизонте. Опперпут, не раз перекочевывавший из одной антисоветской группировки в другую, был и организатором савинковских военных групп в Белоруссии, и доверенным лицом у право монархистов-николаевцев. Проживая последние месяцы в Финляндии, он помещал свои заметки в гельсингфорских газетах «Ууси Суоми», «Хувустадбладт» и других, ведших наиболее яростную агитацию против СССР.

Третий участник покушения на Лубянке, именовавшийся по подложному паспорту Вознесенским, являлся своего рода «выдвиженцем» из среды белых офицеров, посланных генералом Кутеповым в Финляндию для участия в террористической работе.

Перед самой экспедицией тройки в СССР генерал Кутепов приехал проинспектировать ее из Парижа в Финляндию. Здесь, в Гельсингфорсе, состоялись последние совещания всей группы, в которых принял большое участие специально прибывший из Ревеля капитан Росс — сотрудник британской миссии в Ревеле, специально ведающий разведкой в СССР...

После провала покушения террористы немедленно двинулись из Москвы к западной границе, в район Смоленской губернии. Вызывалось это тем, что у группы не оставалось никакой базы, никакого пристанища в Москве. В Смоленском же районе Опперпут рассчитывал использовать свои старые связи и знакомства среди бывших савинковцев. Кроме того, здесь ему и Шульц была хорошо знакома сама местность, но намерениям шпионов-террористов не суждено было осуществиться.

Белогвардейцы шли в двух разных направлениях. В селах они выдавали себя за членов каких-то комиссий и даже за агентов уголовного

розыска. Опперпут, бежавший отдельно, едва не был задержан 18 июня на Яновском спирто-водочном заводе, где он показался подозрительным. При бегстве он отстреливался, ранил милиционера Лукина, рабочего Кравцова и крестьянина Якушенко. Опперпуту удалось бежать.

Руководивший розыском в этом районе зам. нач. особого отдела Белорусского округа т. Зирнис созвал к себе на помощь крестьян деревень Алтуховка, Черниково и Брюлевка Смоленской губернии. Тщательно и методически произведенное оцепление дало возможность обнаружить Опперпута, скрывавшегося в густом кустарнике. Он отстреливался из двух маузеров и был убит в перестрелке.

Остальные террористы двинулись к направлению на Витебск. Пробираясь по направлению к границе, Захарченко-Шульц и Вознесенский встретили на пути автомобиль, направлявшийся из Витебска в Смоленск. Беглецы остановили машину и, угрожая револьверами, приказали шоферам ехать в указанном ими направлении. Шофер т. Гребенюк, раненный белогвардейцами, все же нашел в себе достаточно сил, чтобы испортить машину. Тогда Захарченко-Шульц и ее спутник бросили автомобиль и опять скрылись в лес. Снова удалось обнаружить следы беглецов уже в районе станции Дретунь. Опять-таки при активном содействии крестьян удалось организовать облаву. Пытаясь пробраться через оцепление, шпионы-террористы вышли лесом на хлебопекарню Н-ского полка. Здесь их увидела жена краскома того же полка т. Ровнова. Опознав в них по приметам преследуемых шпионов, она стала призывать криком красноармейскую заставу. Захарченко-Шульц выстрелом ранила т. Ровнову в ногу... В перестрелке с нашим кавалерийским разъездом оба белогвардейца покончили счеты с жизнью. Вознесенский был убит на месте, Шульц умерла от ран через несколько часов...

У убитого Опперпута был обнаружен дневник с его собственноручным описанием подготовки покушения на М. Лубянке и ряд других записей, ценных для дальнейшего расследования ОГПУ».

Таким образом, чекисты дважды сообщили, что террористов было трое и что одним из них был бывший «савинковец» Опперпут. Они явно воспользовались моим докладом «Тресту» о разговоре с П.Б. Струве, но допустили передержку — мой собеседник не утверждал, что англичане требуют от генерала Кутепова «доказательств» способности русских зарубежных монархистов к активной борьбе с коммунистами в России, но сказал, что существующее в Москве тайное Монархическое Объединение России должно, для получения денежной помощи из-за границы, проявить убедительную активность.

О.Г.П.У. не объяснило, как мог бывший савинковец Опперпут «перекочевывать из одной антисоветской группировки в другую». Второе

сообщение чекистов о попытке взрыва на Малой Лубянке было намеренно составлено с желанием создать впечатление в неосведомленных читателях советских газет, что Опперпут, как Захарченко-Шульц и Вознесенский, был эмигрантом, пробравшимся из Финляндии в Россию для совершения террористического покушения. Вскоре, однако, они запутались в собственной лжи.

В 1928 году литературное издательство Народного комиссариата по иностранным делам распространило небольшую брошюру Н. Кичасова «Белогвардейский террор против СССР». В ней рассказано удачное нападение, совершенное 7 июня 1927 года в Петрограде на коммунистический Деловой и дискуссионный клуб тремя кутеповцами — Ларионовым, Соловьевым и Мономаховым, — а затем сказано: «Вторая группа — Захарченко-Шульц и Петерс (подлинная фамилия Вознесенского) оказалась менее удачливой. Хотя ей удалось подложить в дом № 3/6 по Малой Лубянке в Москве, населенный частично сотрудниками ОГПУ, мелинитовую бомбу весом в четыре килограмма, но последняя в ночь на 3 июня была обнаружена и, таким образом, бедствие было предотвращено. В дальнейшем оба в результате организованного преследования были убиты при следующих обстоятельствах.

16 июня в 17 часов по дороге Елыпино—Смоленск через Яновский спирто-водочный завод Пересненской волости проходил неизвестный, который на просьбу милиционера предъявить документ и предупреждение, что проход через завод запрещен, выхватил браунинг и ранил милиционера тов. Лукина. За неизвестным крестьянами, работавшими на заводе, была организована погоня, в процессе которой были тяжело ранены рабочий, тов. Николай Кривцов, и крестьянин, т. Якушенко. Дальнейшим преследованием, организованным уже ОГПУ, неизвестный был застигнут в 10 верстах от Смоленска, успевши тяжело ранить еще одного милиционера, и в перестрелке убит. При нем, кроме огнестрельного оружия — нагана и парабеллума — были обнаружены еще английская граната, топографические карты и дневник. Убитый оказался Петерсом — он же Вознесенский — одним из двух террористов московской группы.

18 июня автомобиль штаба Белорусского военного округа, управляемый шофером тов. Гребенюк и его помощником Голенковым, возвращавшийся из Витебска в Смоленск, около м. Рудня был остановлен неизвестной вооруженной женщиной, предложившей шоферам повернуть машину обратно на Витебск. Последние отказались, в результате чего тов. Гребенюк был убит, а Голенков ранен. Организованным ОГПУ преследованием, при деятельной помощи крестьян, следы преступницы были обнаружены в районе ст. Дретунь, где была устроена облава. При попытке прорваться сквозь цепь красноармейцев и крестьян преследу-

емая ранила в ногу жену краскома Н-ского полка тов. Ровнову, которая, заметив ее, стала созывать красноармейцев.

Между подоспевшими красноармейцами и неизвестной завязалась перестрелка, в которой последняя была убита. Убитая оказалась М.В. Захарченко-Шульц, другим членом московской группы. При ней оказались, кроме револьверов с большим количеством патронов, английские гранаты, подложные паспорта, финские деньги, царские золотые монеты, карты Карельского перешейка и западной границы СССР».

Таким образом, через год после летних событий 1927 года, большевики отказались от первоначального утверждения о смерти Опперпута и признали, что «московская группа» кутеповцев состояла не из трех, а лишь из двух человек — Захарченко и Петерса.

В 1962 году это подтвердил и Ф.Т. Фомин, автор напечатанных московским Государственным издательством политической литературы «Записок старого чекиста». На стр. 172—173 этой книги он рассказал: «Примерно через год после смерти Ф.Э. Дзержинского произошел такой случай. В июне 1927 года двум диверсантам удалось бросить бомбу в общежитие работников ОГПУ, которая, к счастью, не принесла большого вреда, и скрыться.

В.Р. Менжинский дал распоряжение поставить на ноги все силы ОГПУ и во что бы то ни стало задержать диверсантов. Вячеслав Рудольфович распорядился также дать телеграмму с описанием примет диверсантов во все уголки страны, привлечь к поимке диверсантов самые широкие слои населения. Некоторые работники ОГПУ говорили, что в этом нет смысла: органы безопасности, действуя таким образом, достигнут лишь того, что диверсанты будут более осторожны и т. д., но В.Р. Менжинский настоял на своем.

И вот стали поступать известия. На дороге Ельшино—Смоленск один неизвестный в ответ на просьбу милиционера предъявить документы выхватил браунинг и ранил милиционера. Работавшие невдалеке крестьяне организовали погоню. К ним присоединились работники ОГПУ и красноармейцы. В десяти километрах от Смоленска неизвестный был настигнут и убит в перестрелке. При нем были найдены, кроме нагана и парабеллума, топографические карты, английская граната, дневник. Убитый оказался одним из участников диверсии. Через два дня, недалеко от Витебска, местные крестьяне и красноармейцы вместе с работниками ОГПУ организовали преследование неизвестной женщины, застрелившей шофера военного автомобиля. В перестрелке неизвестная была убита и оказалась членом той же террористической группы».

Советскую версию о смерти Опперпута в июне 1927 года приходится отвергнуть. Непонятно как — при наличии документов, эту версию оп-

ровергающих, — ей могли поверить и ее повторить русский и американский авторы «истории» «Треста». Они не обратили внимания на то недоверие, с которым в том же 1927 году к ней отнеслась рижская газета «Сегодня», напечатавшая до того присланные ей Опперпутом из Гельсингфорса «разоблачения».

5 июля — сразу после получения первого сообщения ТАСС о покушении на Малой Лубянке и о смерти участников этого покушения — «Сегодня», в своем вечернем издании, написал: «Опперпут — это в действительности Александр Оттович Уппениньш, латыш из окрестностей Режицы, бывший агент Чека и ГПУ, работавший под различными кличками — Опперпут, Селянинов, Штауниц и др.

В 1921 г. Опперпут появился в Варшаве и вошел в организацию Савинкова. По делам этой организации он несколько раз переходил в СССР, где, как выяснилось впоследствии, сообщил чекистам все данные о деятельности организации. По доносам Опперпута расстреляно было очень много лиц, не только в Москве и Петербурге, но и во многих городах. В своей провокаторской работе Опперпут не остановился перед тем, чтобы предать в руки красных палачей свою невесту и двух ее сестер. Все трое были расстреляны. В 1922 г. Опперпут выпустил брошюру, в которой с самой циничной откровенностью сам рассказывал о своей провокационной работе. После этого в течение долгого времени работа Опперпута на пользу Чека и ГПУ шла в полной тишине, а затем весной этого года он появился в Гельсингфорсе и оттуда стал забрасывать многие крупные зарубежные газеты своими предложениями дать разоблачительный материал о деятельности Чека».

На следующий день «Сегодня» вернулось к той же теме: «В этой очередной сенсации ОГПУ о деятельности контрреволюционных организаций на территории СССР странным кажется, что группа, направившаяся в СССР для террористической работы, вела дневник, имела при себе письменные документы, содержавшие маршрут путешествия, описание своей деятельности. Не нужно быть искушенным в революционной работе, чтобы знать, что всякий террорист избегает малейшей возможности быть избалованным и, следовательно, никогда при себе никаких письменных документов не держит и, тем более, не ведет дневника. Странным кажется и то, что все участники группы в официальном сообщении значатся убитыми и, таким образом, ни одного лица, явившегося бы живым свидетелем дела, нет. Убит будто бы и Опперпут... Не есть ли это инсценировка?..

Участие во всем этом деле Опперпута — советского Азефа — дает нам все основания предполагать это. Последние сообщения о его деятельности дают полное основание считать, что до последнего времени Опперпут

продолжал выполнять задания ГПУ. Уже после появления в «Сегодня» его «разоблачений», на крайнюю фантастичность которых мы своевременно указывали, к нам поступили сведения, неопровержимо доказавшие предательскую роль Опперпута в выдаче целого ряда организаций».

Скептически к советским сообщениям о смерти Опперпута отнеслась и варшавская газета «За Свободу». Я разделил тогда ее мнение, но не предполагал, что когда-либо увижу человека, которого в течение пяти лет знал понаслышке как «монархиста» Стауница и Касаткина. Встреча эта, однако, состоялась в 1942 году. Я ее описал в парижском журнале «Возрождение» (июль—август 1951 г.).

## Разговор с Опперпутом

Кто из русских варшавян не помнит дома на Вейской? Года за три до войны владелиц сада Фраскати — запущенного парка на бывшей окраине, поглощенной разросшимся городом, — распродал часть усадьбы. Богатые дельцы скупили участки, построили дома — плоские фасады, зеркальные окна, мраморные лестницы. На Вейской, в доме № 16, разместилась бразильская миссия.

В 1939 году, в сентябре, дельцы и дипломаты бежали в Румынию. Семь месяцев спустя Русский Комитет в Варшаве снял в этом доме этаж под квартиру председателя. С тех пор, до последних дней июля 1944 года, там перебивало множество народа — в книге посещений записано более 42 тысяч человек. Список открывается именем протоиерея Димитрия Сайковича, одного из членов причта варшавской Св. Троицкой церкви, и — по странному совпадению — обрывается на имени другого члена этого причта, молодого протоиерея Георгия Потоцкого, предсказавшего при обстоятельствах, о которых нужно рассказать особо, свою трагическую смерть.

Кто только не перебивал на Вейской! До войны Комитет был эмигрантским и насчитывал в Варшаве всего лишь 265 членов. В военные годы, когда в него влились русские граждане Польши и беженцы из захваченных большевиками восточных воеводств страны, их стало 11 216. Для обыденных дел существовала канцелярия на аллее Роз, в особняке графа Тышкевича, женатого на русской падчерице Великого князя Николая Николаевича, но в трудных случаях, со своим горем и нуждой, русские варшавяне шли на Вейскую, а недостатка в горе тогда в Варшаве не было.

До войны Российский Общественный Комитет в Польше — предшественник Русского Комитета — был выразителем мнений, которые при-

нято называть монархическими. В маленьких комнатах комитетской квартиры на улице Рурского стояли в пышных рамах большие портреты российских монархов. Противники Комитета называли его реакционным за то, что основоположником Руси он считал св. князя Владимира, крестителя киевлян.

В годы войны это не изменилось, но став, по необходимости, защитником русского населения Польши от бед, надвигавшихся со всех сторон, Комитет предложил инакомыслящим участие в этой защите. Предложение было принято. Слияние русских общественных организаций с Комитетом было решено собранием их представителей, в котором поочередно председательствовали: поклонник — как он сам себя называл — «живого облика императорской России» Н.Г. Буланов и один из немногих варшавских русских либералов демократического толка Н.А. Племянников.

После этого собрания членом Комитета мог стать каждый, кто до войны называл себя русским. Наряду с консерваторами этим воспользовались социалисты Ю.А. Липеровский<sup>69</sup> и Г.С. Сулима. Одним из членов правления был избран Г.М. Плотников, ревностный православный и один из тех, кого теперь принято называть солидаристами, но — по нюрнбергским законам — чистокровный еврей, одно присутствие которого на Вейской подвергло Комитет опасности разгрома и расправы.

С польским подпольным движением у Комитета сношений не было, и притом совершенно сознательно. Слишком свежо было в памяти воспоминание о гонении на православие, воздвигнутом до войны правительством генерала Славой-Складовского; слишком был красноречив его «весьма секретный» циркуляр, найденный в 1939 году в бумагах бежавшего от немцев в Румынию келецкого воеводы Дзядоша — он содержал подробную программу постепенного искоренения русской культурной и общественной жизни в Польше. Однако, не участвуя в борьбе поляков с немцами; отказав в помощи связанной с польской заграничной разведкой небольшой группе русских эмигрантов-новопоколенцев; отвергнув тех, кто до войны участвовал в насильственной полонизации православной Церкви в Польше, Комитет не допускал участия своих членов в гонении, которое немцы обрушили на поляков. Виновники исключались из русской среды. Эта участь постигла, например, профессора Варшавского университета, видного историка и православного богослова, грубо оскорбившего религиозное и патриотическое чувство поляков. Ни упорная настойчивость профессора, ни немецкое давление на Комитет не вернули ему отнятой членской карточки.

Комитет избегал сношений с польскими тайными организациями — с этой второй и с каждым днем все более очевидной властью на

польской территории, оккупированной Германией, — но поляки, друзья Комитета, появлялись на Вейской. Там, например, можно было встретить Станислава Волк-Ланевского, жизнь которого — от рождения в Ананьевском уезде до соприкосновения с А.П. Кутеповым в годы расцвета и самоликвидации «Треста» — была связана с русской стихией. В 1938 году, будучи в Варшаве советником польского министерства внутренних дел, он оказал Комитету одну незабываемую услугу. При немцах он остался — вероятно, был оставлен — в Варшаве, участвовал в подготовке покушения польских террористов на актера Иго Сима, убитого за доносы на поляков. Комитет знал, что Ланевский — участник польского подполья, но не отказал ему в помощи, заслуженной прежним, совершенно исключительным, благожелательным отношением к русским эмигрантам. Трагическая смерть этого верного друга в борьбе за свободу Польши была не только польским, но и русским горем.

Сентябрь 1939 года был для русских в Польше драматическим месяцем. Соглашение Молотова с Риббентропом, подписанное в августе в Кремле, обрекло Польшу на четвертый раздел, но, в отличие от «патриотов», рассуждавших в парижских кабаках о «возвращении России на исконные русские земли», население Вольни, Виленщины и Польсы знало, чем ему грозит советское «освобождение».

В Москве было решено, что граница между германской и советской «зонами влияния» пройдет по Висле и по Нареву. Это решение отдавало большевикам Прагу — предместье Варшавы с православной митрополией, с собором Св. Марии Магдалины, со значительной частью русских варшавян. Город пылал под немецким обстрелом, выход на улицу грозил смертью, но уже в сентябре, пренебрегая опасностью, русские варшавяне начали перебираться с правого берега Вислы на левый.

Разбив поляков, Германия добилась от Москвы изменения первоначального соглашения. Демаркационной линией, разделившей Польшу на две части, стали не Висла и Нарев, а Буг. Красное нашествие миновало Прагу, Люблин и Холм, но из советской зоны потянулись на Запад беглецы. Уходили оттуда католики и православные, крестьяне и помещики, одиночки и семьи. Русскому Комитету пришлось помогать им и в то же время ограждать русских жителей созданного немцами на обломках Польши генерал-губернаторства от бессмысленного, жестокого произвола некоторых оккупантов.

По распоряжению Германии, население генерал-губернаторства было разделено на несколько национальных групп. Каждый обитатель этой территории обязан был принадлежать к одной из них. Все общественные и культурные организации, за исключением немецких, были за-



прещены. Национальным группам было разрешено создать или сохранить по одному Комитету.

Польский был назван Главным Попечительным Советом во главе с графом Роникером. Председателем Белорусского Комитета был избран энергичный самостийник, д-р Щорс. Кавказские эмигранты были вначале возглавлены умным и гибким дипломатом, д-ром Алшибая, но, при всей своей гибкости, он не поладил с немецким чиновником и должен был уступить место князю Накашидзе, принадлежавшему до войны к русофобскому «Прометею». Председателем Татарского Комитета, основанного позже других, был литовский татарин Абдул-Гамид Хурахович. Эти комитеты не сочувствовали обращению немцев с поляками и дожили поэтому до развязки, наступившей 1 августа 1944 года, в день восстания, поднятого в Варшаве против немцев генералом Бор-Коморовским.

Украинский Комитет, центром которого был Краков, вел себя иначе. Его председатель, бывший доцент Ягеллонского университета д-р Кубийович, издатель географической карты, на которой Украина простиралась от Каспийского моря до истоков Вислы, называл себя «провидником», то есть вождем, и завидовал лаврам хорватского фюрера Павелича. Его делегат в Варшаве, полковник Пототовко, был расстрелян в своем служебном кабинете польскими террористами, убившими попутно нескольких случайных посетителей украинского Комитета.

В 1939 году немцы потребовали от комитетов ограничения их деятельности благотворительностью, но в короткий срок комитеты отвоевали себе другие, более широкие права. Немцы сами, своим отношением к населению, способствовали расширению комитетских функций.

Ежедневные облавы на улицах и в домах, бесконечные аресты, бессудные расстрелы — в последние годы оккупации заложников расстреливали на улицах — не сразу вызвали вооруженное сопротивление поляков. Прошли не месяцы, а годы, прежде чем польские террористы обратили против немцев то презрение к закону, которое постоянно проявляла германская власть. Польские мстители, переодетые в немецкие мундиры, начали врывать в учреждения и квартиры, действуя так, как это делала полиция, — без ордеров на обыск и арест, с шумом и бранью, с избиениями и стрельбой. Этот ответный террор создал равновесие сил в беспощадной войне, которая велась в Варшаве, но оно окончательно установилось не раньше 1943 года. До него единственной защитой населения были ходатайства, обращенные к тем же немцам. После каждой облавы, после ухода каждого эшелона в концентрационный лагерь, просьбы об освобождении текли как лавина. Немцы потре-

бовали, чтобы эти ходатайства представлялись не самими просителями, а национальным Комитетом.

Тактика Русского Комитета, через руки которого прошли тысячи просьб об освобождении арестованных или случайно захваченных уличной облавой людей, строилась на двух средствах: на неустанном утверждении, что русские соблюдают нейтралитет в польско-немецком споре, и на поисках немцев, не лишенных совести и чести. Надо признать, что их нашлось тогда в Варшаве и в Кракове немало. Имена д-ров Голлерта и фон Тротта, ассесора Шульце, советников Клейна и Гейнеке могут быть повторены с благодарностью теми, кто знает, как незначителен был урон, понесенный русским населением Польши в то время, когда вокруг него лилась потоком кровь.

Дни на Вейской делились на «приемные» и «неприемные». Дважды в неделю доступ к председателю был открыт всем желающим. Приходили не только члены Комитета. Раздавались не только исполнимые, но и безрассудные просьбы. В «неприемный» день на разговор с председателем мог надеяться только тот, кто приходил по «арестному» делу. Так служащие Комитета окрестили случаи, требовавшие немедленного вмешательства, вызванного чьим-либо арестом.

До 1941 года посетителями Вейской были те, кто бежал в генерал-губернаторство из восточной Польши от советского террора, и те, кто искал защиты от террора немецкого. После вторжения Гитлера в Россию положение изменилось. Беженцы с Волыни и Полесья рвались домой. Немцы не пропускали их на правый берег Буга. Комитет заготовил удостоверения, в которых было сказано, что такой-то, бежавший в Варшаву от большевиков, возвращается на родину, в Ровно или Гродно. На немцев, воспитанных в уважении к бумажкам и печатям, эти похожие на паспорт книжечки оказывали магическое влияние. Их число — с риском для Комитета — непрерывно росло.

Возможностью попасть за Буг воспользовались солидаристы, тогда так себя еще не называвшие. Их исполнительное бюро, переехавшее из Белграда в Берлин, направляло в Варшаву молодежь, желавшую попасть в Россию. По поручению Н.Т.С, его варшавский представитель А.Э. Вюртлер обратился к Комитету с просьбой о содействии. Соглашение состоялось — побывав на Вейской, молодые люди уезжали в Пинск или Острог под видом возвращающихся на родное пепелище беженцев. Для них, конечно, «неприемных» дней не бывало.

Не было их и для тех русских варшавян, которым посчастливилось побывать в России. В 1941 году их было немало. Поведение немцев в Польше не способствовало вере в освободительную цель их похода на Восток, но Комитет полагал, что немецкий натиск наносит советскому

кораблю непоправимую пробоину. Некоторые русские варшавяне захотели в этом убедиться. Они попали в Россию, воспользовавшись тем, что немцы вербовали для своей армии переводчиков.

Рассказы вернувшихся в Варшаву были первыми достоверными сведениями о положении в России. Переводчики сходились в описании возмутительного отношения немцев к населению и к военнопленным. Некоторые проявляли замечательный дар военного предвидения — поражение немцев на Волге было предсказано Комитету задолго до капитуляции фельдмаршала Паулюса бывшим есаулом Кубанского войска. Стратегические предсказания другого варшавянина по изумительной точности приближались к ясновидению. В тяжелую обстановку комитетских приемов, в разговоры о нужде, страхе и смертельной опасности эти посещения вносили оживляющую струю. Я охотно уделял им нужное время и поступил так же, когда осенью 1942 года моя секретарша, В.А. Флерова-Булгак, сказала, что меня хочет видеть посетитель, едущий из Киева в Берлин.

На письменный стол в моем кабинете легла визитная карточка. Готическим шрифтом на ней было напечатано: «Wagon von Mantheyffell».

Незнакомое имя вызвало краткое колебание...

— Что ему нужно?

— Не знаю... Едет в Берлин... Какая-то просьба.

Немец, называющий себя просителем, не был на Вейской редкостью. Часто они появлялись не одни, а с молодыми польками. Просили, умоляли признать их спутницу русской. На польке немец жениться не мог. Брак с русской эмигранткой разрешался. Другие немцы появлялись, чтобы своим присутствием — как им казалось — поддержать просьбу русского авантюриста из числа расплодившихся в Варшаве искателей концессии и любителей легкой наживы, добивавшихся благотворительной вывески. Взглянув на карточку, я подумал, что лучше избавиться от докучливой просьбы, сославшись на «неприемный» день, но ведь этот посетитель побывал в чудесном Киеве...

К желанию увидеть человека, который недавно шел по Крещатику, поднимаясь по Прорезной, стоял у Золотых Ворот, смотрел из Купеческого сада на Подол и Заднепровье, присоединилась другая мысль: «А что, если через этого барона я могу связаться с Коваленкой?»

Колебание рассеялось...

— Просите, — сказал я В.А. Флеровой-Булгак.

С именем Коваленки было связано давнее желание. Я хотел узнать судьбу двух портретов, которые помнил с самого раннего детства. Первый, написанный Шмаковым, изображал мою мать — в бальном платье, с пунцовой розой на корсаже, в сияющем и радостном расцвете.

На втором, темном до черноты, подпись художника скрывалась под тяжелой рамой, увенчанной сложным гербом. Молодое лицо, написанное в профиль, выделялось светлым пятном — лицо моей прабабушки, Екатерины Васильевны Гагариной. В детстве я видел его в Троицком — нижегородском родовом гнезде, где древней и важной старухой, окруженной внуками и правнуками, она заканчивала жизнь, чудесно начатую превращением крепостной крестьянской девушки в княгиню.

После ее смерти портрет достался моей матери. Она его берегла, но, когда в 1921 году она, мой брат и я, после расстрела отца, тюремных злоключений, борьбы и страданий, поочередно пробрались из России в Польшу, портреты остались в Киеве на произвол судьбы. Я иногда надеялся, что в старости увижу их в каком-либо музее, в освобожденной от большевиков России.

Летом 1942 года я набрел в берлинском «Новом слове» на объявление — некий Коваленко извещал, что в Киеве, на Фундуклеевской, им открыта антикварная лавка. Я вспомнил портреты — военный разгром первой русской столицы мог их забросить к старьевщику... Вспомнил, но искать не стал. Слишком много было других забот, но почему не спросить о Коваленко человека, побывавшего в Киеве?

В.А. Флерова-Булгак открыла дверь, впуская посетителя. По привычке я поднялся навстречу. К столу подошел молодежавый блондин, гладко выбритый, незаметно седеющий. Взгляд серых глаз был пристальным, но в то же время не совсем спокойным. Лицо — не русское, но и не тонкое, какое-то, мелькнула мысль, «не баронское»... Да, не баронское, но все же балтийское, не то эстонское, не то латышское... Крепкое, волевое крестьянское лицо... Нет, не похож этот барон на родовитого потомка тевтонских рыцарей, но мало ли какая кровь течет в баронских жилах... Отмахнувшись от первого впечатления, я спросил:

— Womit kann ich dienen?

— Могу ли говорить по-русски? — ответил гость.

— Конечно... Садитесь, пожалуйста...

Он сел. Нас разделял письменный стол. Большие окна бросали в комнату яркий свет. На посетителе был темный синий пиджак. Галстук, не в меру пестрый, показался безвкусным. Внимание остановилось на рубашке.

На первый взгляд — одна из тех дешевых мужских рубаш, которыми до войны была завалена Европа, но — как странно — косые, четко простроченные швы поднимаются на груди от пуговиц к плечам... Такая вещь не могла быть куплена в Берлине! В безобразных швах почудилось советское клеймо.

— Чем могу служить? — спросил я вторично.

Барон заговорил о деле: он — проездом в Варшаве; считал долгом побывать у председателя Русского Комитета; у него — хорошая торговая связь с Киевом; ему хочется наладить отношения с русскими купцами в Варшаве: может быть, кто-нибудь воспользуется возможностью выгодного вывоза варшавских товаров в Киев... Я прервал:

— Комитет не занимается торговлей... Русских купцов в Варшаве немного, да и как торговать? Граница заперта на семь замков, а привозить из Киева в Варшаву нечего...

Гость не сдался. Торговля с Киевом сулила, по его словам, большие барыши. Население Украины нуждается во всем. В Киеве нет ниток, иголок, мыла. Взамен можно привезти серебро и фарфор, которого там сейчас столько в комиссионных лавках.

— В комиссионных лавках? Кстати, барон, знаете ли вы в Киеве антикварный магазин Коваленки?

Барон смутился:

— Какого Коваленки?

— Того, что на Фундуклеевской... В «Новом слове» было его объявление...

Барон казался растерянным; затем, как бы вспомнив что-то, негромко, но отчетливо сказал:

— Коваленко — это я...

— То есть как?

— Очень просто...

Запутанный рассказ был неправдоподобен. Отец барона — Коваленко — был, по его словам, агрономом и управлял до революции именьями Скоропадских. Мать, урожденная Мантейфель, была остзейской немкой. Сам барон родился в России, никуда до войны не выезжал, был многократно арестован большевиками, сидел в тюрьмах, скрывался, служил бухгалтером в кооперативах...

— Все это хорошо... Но почему же вы барон Мантейфель?

— Собственно говоря, моя фамилия — барон Коваленко фон Мантейфель... Вы, вероятно, знаете, что Розенберг позволил на Украине тем, в чьих жилах течет немецкая кровь, не только стать немецкими подданными, но и принять немецкую фамилию, в данном случае — фамилию матери...

— И титул?

— Да, и титул.

Это было сказано твердо, но «человек, побывавший в Киеве», больше меня не занимал. Передо мной был явно самозванец, вероятно — аферист. Я сухо его оборвал, заметив, что разговор затянулся.

— Если вам угодно войти в сношения с русскими фирмами в Варшаве, обратитесь к Борису Константиновичу Постовскому.

Я назвал члена правления, который ведал в Комитете помощью русским промышленникам и купцам.

— А нельзя ли найти ход в украинские фирмы?

— Не знаю... Спросите Бориса Константиновича...

Вероятно, в моем голосе прозвучало нетерпение. Гость это заметил и встал. Я позвонил:

— Проводите барона...

Дня через три, встретившись с Постовским, я спросил:

— Видели Мантейфеля?

— Нет, он у меня не был.

«Новое Слово» сообщило, однако, что Александр Коваленко назначен киевским представителем газеты. Следовательно, в Берлине он, очевидно, побывал.

Август 1944 года был в Берлине сухим и душным. Малейшее движение воздуха поднимало тучу едкой известковой пыли. От развалин пахло трупами и газом. Город ежедневно подвергался воздушной бомбардировке. Англичане и американцы прилетали словно по точному расписанию — в десять вечера и после полуночи. Больших налетов не бывало, но появление неприятеля держало город в напряжении. До второго отбоя никто не ложился.

В эти вечера я часто бывал у Василия Викторовича Бискупского (генерал-майор Василий Викторович Бискупский, был в 1932—1945 годах в Берлине начальником Управления делами российской эмиграции в Германии). Ему тогда — что я узнал, со всеми подробностями, три года спустя, после его смерти — угрожала страшная опасность. Арестованный по делу о покушении на Гитлера бывший германский посол в Риме Ульрих фон Гассель записал в дневнике разговор с Бискупским, не пощадившим Гитлера и Розенберга. Вдове фон Гасселя удалось, после казни мужа, переправить дневник в Швейцарию, где он был издан после войны, но в это последнее берлинское военное лето жизнь Бискупского висела на волоске.

По воспитанию, по привычкам, по душевному складу он не был и не мог быть заговорщиком. Конспирация с ее своеобразными законами претила его природе — консервативной, с оттенком барской лени. Он не участвовал, да и не мог — как русский — участвовать в заговоре, который, в случае удачи, должен был дать Германии новое правительство, но заговорщиков знал, с ними встречался и связывал с их успехом надежду на то, что немецкий народ не совершит самоубийства, освободится от Гитлера и Розенберга. После 20 июля расплата за не-

осторожное общение с заговорщиками грозила ему ежеминутно, но, чувствуя мою тревогу за него, он отделялся шуткой.

Дом № 112 на Кантштрассе, где он временно приютился после разрушения прежнего жилища, был островом в море развалин. В маленькой комнатухе негде было сесть. Телефон стоял в передней. Все, чем Бискупский дорожил, и, в частности, его архив, хранивший любопытнейшие сведения о первых покровителях Гитлера, сгорело в доме № 27 на Блейбтрейштрассе, где с 1934 года находилось Управление делами российской эмиграции в Германии. Этот пожар избавил его от бремени, которое забота о вещах накладывает на человека. Смертельная опасность избавила от страха перед смертью.

О сгоревшем имуществе он говорил с усмешкой. С такой же усмешкой, за которой мне чудилась грусть, вспоминал очень близкого к нему человека, который после первых больших налетов на Берлин не выдержал испытания и, под предлогом лечения, променял столицу на безопасный провинциальный городок:

— Бедняга не любит сирен...

Он сам относился к их вою стоически. Неторопливо, продолжая начатый разговор, собирал шляпу, палку и пальто — «новых ведь при нынешних порядках не купишь», — спускался в подвал и, сутулясь, прислонялся к стене. Во время налетов, не обращая внимания на взрывы, Бискупский рассказывал — а он был отличным рассказчиком — один забавный или любопытный случай за другим. Вспоминал Петербург, свой полк, трунил над бывшим гетманом Скоропадским, говорил о Кобурге... Варшава и ее жизнь в годы немецкой оккупации были предметом его неиссякаемых расспросов. Многое казалось ему непонятным, почти невероятным. Он удивлялся, смеялся, хвалил эвакуацию русских варшавян и новых беженцев из России, которых Комитет, за пять дней до польского восстания, вывез в Словакию. Спрашивал меня:

— Как вы это сделали?

Однажды я рассказал ему появление странного барона, ставшего киевским представителем «Нового Слова». Бискупский восторженно слушал. Каждое упоминание этой газеты его задевало. Он ее не любил, а она платила ему тем же. Я ждал от него обычного, гневного отзыва об ее редакторе, В.М. Деспотули<sup>70</sup>, об его немецком покровителе Георге Лейббрандте, но Бискупский на этот раз ограничился вопросом:

— А знаете ли вы, кем был в действительности Коваленко?

— Нет, не знаю...

— Напрасно... Вы пропустили случай к нему присмотреться... У вас в Варшаве побывал сам знаменитый Опперпут...

— Как Опперпут? Тот самый, времен Кутепова и «Треста»?

— Да. Тот самый... Мне рассказал Х., а ему карты в руки во всем, что касается Киева при немцах... Так вот, по его словам, немцы в 1943 году раскрыли в Киеве советскую подпольную организацию. Ее начальником был не то капитан, не то майор государственной безопасности, нарочно оставленный в Киеве для этой работы. Его арестовали. Постепенно размотали клубок. Установили с несомненной точностью, что человек, называвший себя в Киеве Коваленкой, побывавший в Варшаве как барон Мантейфель и пользовавшийся, вероятно, и другими псевдонимами, был в действительности латышом, старым чекистом Александром Уппелиншем, которого все знают под фамилией Опперпут...

— Что же немцы с ним сделали?

Бискупский пожал плечами:

— Не знаю... Расстреляли, должно быть...

### Киевский антиквар

В 1969 году сотрудник «Нового Русского Слова» Юрий Сергеевич Сречинский сделал попытку разгадать «тайну Александра Коваленки» — киевского антиквара, побывавшего в Варшаве под именем барона фон Мантейфеля. Он обратился к читателям газеты с просьбой сообщить, что им известно о Коваленке, и получил отклики бывших киевлян, встречавшихся с Коваленкой в его антикварной лавке. Некоторые авторы этих откликов высказали сомнение в том, что Коваленкой называл себя старый чекист Опперпут, утверждая, что в 1942 году владельцу киевской лавки было не больше 40 лет, но другие определили этот возраст иначе — на десять лет старше.

Сходясь в сообщениях о том, что Коваленко и все служащие его магазина были арестованы немцами, авторы откликов разошлись в определении времени ареста. В одном из полученных Ю.С. Сречинским писем был упомянут арест служащих Коваленки, но об его судьбе ничего определенного сказано не было.

В 1958 году в Лондоне, на украинском языке, вышла книга С. Мечника «Під трьома окупантами». На стр. 117—119 этой книги автор рассказал: «Еще один характерный случай произошел тогда (в годы германской оккупации) в Киеве. Гестапо раскрыло разветвленную сеть НКВД. Наша организация имела об этом сведения общего характера, полученные от наших членов, засланных в некоторые немецкие учреждения. Дело касалось человека, который появился в Киеве вскоре после занятия Киева немцами и выдавал себя за «украинского графа» по фамилии Коваленко. Он приобрел права немецкой национальности —



фольксдейчерство — и открыл на улице Короленки торговое предприятие. Этот человек проявил большую ловкость, опутал многих высоких немецких чиновников, делал им подарки, устраивал вечеринки, само собой разумеется, с участием веселых женщин. В городской управе он также имел верных людей, с помощью которых опутал ряд наивных украинцев. Более того, от немцев Коваленко получил разрешение съездить в Берлин для установления, по его словам, связи с немецкими фирмами. По пути он остановился в Варшаве, где имел встречи с несколькими старыми русскими эмигрантами.

Между тем, в связи с другим делом, в руки гестапо попал один капитан государственной безопасности, которого НКВД оставило для работы в Киеве. У него был найден ряд компрометирующих материалов, указывающих на коммунистических подпольщиков под немецкой оккупацией. Он не выдержал пыток, сломился, назвал своих сотрудников. В их числе был Коваленко. Гестапо ему сначала даже не поверило, но капитан госбеза представил убедительные доказательства. Коваленко был арестован и расстрелян.

В киевском гестапо работали старые русские эмигранты. Один из них, во время выпивки, рассказал нашему члену, что настоящая фамилия Коваленки — Опперпут и что он еще в 1922 году принадлежал к известной советской провокационной организации в Западной Европе, к так называемому «Тресту». Этот русский утверждал, что Коваленко, во время своей поездки в Варшаву, устанавливал связи с большевистскими агентами в эмигрантской среде. Говорил ли он правду, был ли Коваленко действительно Опперпутом, который, в свое время, был активным участником «Треста», мы никогда установить не смогли, но факт, что гестапо расстреляло его, как большевистского агента».

Историческая ценность этого показания состоит в том, что оно было опубликовано за одиннадцать лет до начала произведенного Ю.С. Сречинским тщательного расследования «тайны Александра Коваленки» и за семь лет до появления «Мертвой зыби» Никулина. Следовательно, ни статьи Сречинского, из которых последняя была напечатана «Новым Русским Словом» 18 января 1971 года, ни рассказ Никулина о «Тресте» повлиять на Мечника не могли. Он подтвердил то, что мне в Берлине рассказал В.В. Бискупский.

Ю.С. Сречинский установил несомненную принадлежность Коваленки к существовавшей в годы оккупации в Киеве коммунистической подпольной организации. Он сослался не только на полученные им отклики читателей «Нового Русского Слова», но и на изданную в 1965 году в Москве агентством печати «Новости» книгу «Фронт без линии фронта». В этой книге есть глава о фирме «Коваленко и компания».



С.Л. Войцеховский



Д.Л. Хорват



В.В. Орехов



В.А. Ларионов



кн. К.А. Ширинский-Шихматов



В.В. Шульгин



«Утриш» в Варненском порту

«Во второй половине октября 1941 года в Киеве, на улице Ленина, в доме № 32, открылся крупный комиссионный магазин. Реклама, которая широко публиковалась в газетах, извещала жителей, что киевский торговый дом О.О. Коваленко всегда имеет в большом выборе золотые вещи, бриллианты, часы, антикварные изделия, букинистические книги, ковры, картины... Торговые дела хозяина шли отлично... Скоро начали циркулировать слухи, что Коваленко — вовсе не Коваленко, а барон Мантейфель, единственный наследник богатых родственников, проживавших в Германии. Слухи оказались верными. Коваленко дал распоряжение своим двенадцати служащим называть его бароном фон Мантейфелем».

Отметив, что «для действующих лиц рассказа барон фон Мантейфель был просто Алексеем, то есть человеком, активно помогавшим советской разведке», Ю.С. Сречинский привел цитату из «Фронта без линии фронта»: «Алексей был «крышей», и прикрывал он Митю Соболева, и не только прикрывал, но и обеспечивал его деньгами, связью и зачастую документами», а Митя Соболев был «старым чекистом, работавшим в органах еще с 1918 года», то есть — прибавлю я — с того же года, когда чекистом стал Опперпут. «Весной 1942 года, — по данным той же советской книги, — барон был неожиданно арестован гестапо. Арестовали его якобы за незаконную продажу золота. Правда, спустя десять дней он был освобожден, но за бароном, как оказалось потом, вели непрерывное наблюдение пять агентов гестапо и абвера».

Это наблюдение, вероятно, привело ко вторичному аресту владельца антикварной лавки и к ликвидации его предприятия, но об его последующей участи агентство «Новости» ничего не сказало. Между тем, казалось бы, человек, рискующий жизнью в коммунистическом подполье, заслужил, с советской точки зрения, не только внимание, но и награду. Не предпочли ли большевики молчание, чтобы не быть уличенными во лжи — никулинском изображении Опперпута раскающимся чекистом, превратившимся в белого террориста?

## Послесловие

Воспоминания, включенные в эту книгу, не были попыткой дать читателю историю Кутеповской боевой организации и «Треста». Мало-малыски полное освещение этой темы невозможно, пока многое скрыто в советских и некоторых зарубежных архивах. Мой труд — всего лишь свидетельское показание, подтвержденное сохраненными или полученными из разных источников документами. К тому же я сознательно ограничился годами, когда орудием советской дезинформации и провокации в борь-

бе с Кутеповым и другими эмигрантами была «легенда», называвшая себя Монархическим Объединением России.

После ее разоблачения, в апреле 1927 года, в жизни Кутеповской организации наступил второй период, отмеченный подвигом и несколькими удачами ее участников, но и гибелью большинства. Это были годы «после «Треста», еще требующие — с исторической точки зрения — тщательного изучения.

Отмечу только то, что именно в эти годы погибли с оружием в руках М.В. Захарченко, Г.Н. Радкович и оба соратника В.А. Ларионова по «боевой вылазке в СССР» — Д. Мономахов и В.С. Соловьев. Обстоятельства смерти М.В. Захарченко теперь известны не только из советского сообщения об ее гибели, но и из документа, обнаруженного в так называемом Смоленском архиве, ставшем в 1941 году достоянием Германии, а ныне находящемся в Соединенных Штатах, и из показаний свидетеля этой смерти, ставшего эмигрантом в годы германско-советской войны.

При всей неизбежной неполноте, мои воспоминания указывают — как мне кажется — на три задачи, поставленные «Тресту» его советским возглавлением. Этими задачами были: а) противодействие русской эмигрантской и иностранной антикоммунистической активности; б) дезинформация и ее проникновение в русскую зарубежную и иностранную печать; в) утверждение, что в России существуют организованные круги, способные свергнуть диктатуру коммунистической партии и заменить ее другой властью.

С тех пор многое изменилось в соотношении сил между «социалистическими странами» и внешним миром, но цель, поставленная некогда «Тресту», осталась неизменной. Внимательный читатель этой книги заметит, может быть, сходство между тактикой этой «легенды» и тем, что делается теперь, пятьдесят лет спустя.

*Н. Виноградов<sup>71</sup>*

## К ИСТОРИИ БОЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛА А.П. КУТЕПОВА<sup>72</sup>

Июнь 1927 года

(Дело Опперпута. Высылка двух групп в СССР)

Весной 1927 года, в северной группе Кутеповской организации (КО), часть членов (пять человек), которая во главе с Марией Владиславовной Захарченко-Шульц и Георгием Николаевичем Радковичем еще с 1923 года

принимала участие в московской «монархической организации» (в т. наз. «Тресте»), произошло — не совсем обычное — событие.

В середине апреля из Москвы, где она находилась, неожиданно приехала в Гельсингфорс (перейдя советско-финскую границу) М.В. Захарченко в сопровождении никому не известного человека «оттуда». По мере выяснения всех обстоятельств этого внезапного приезда, неизвестный оказался видным агентом ОГПУ, участником многих большевистских провокаций, Эдуардом Опперпуттом (настоящая фамилия двойная: Упениньш-Опперпут). Последний заявил как финляндским властям, так и русским эмигрантам, что раскаивается в своей прошлой чекистской деятельности, порвал с большевиками и честно перешел в ряды антибольшевиков.

Дело Опперпута, поскольку это имя было тесно связано с КО, в свое время было нами детально разобрано, и этот разбор приводил нас к убеждению, что вся эпопея этого перебежчика — при наших эмигрантских данных — остается неразрешимой. Если у нас нет всех исчерпывающих сведений о честности перехода к нам Опперпута и о его, несомненной для нас, гибели от рук ОГПУ у Смоленска в июне 1927 года, то и у всех до сих пор уверенно писавших о нем как о провокаторе имеется еще меньше доказательств к утверждению его предательства. Выносить пока тот или иной приговор этому человеку мы не имеем никакого права.

Сообщая те сведения, которые были нам известны, мы предоставляем читателю самому разобраться не только в деле Опперпута, но и частично во всей истории, которая в эмиграции получила наименование «Треста». Мы, разумеется, далеки от мысли «обелять» свою организацию и представлять борьбу в сусально-розовом свете, хотя бы только потому, что люди, ходившие «туда», независимо от обстоятельств, которые их окружали, для русского человека навсегда останутся подлинными героями. Имена их не нуждаются ни в каких наших прикрасах. Мы стремились только к одному: восстановить элементарную правду, которая прежними господами исследователями, одними вольно, а другими невольно, была искажена до неузнаваемости.

\* \* \*

По приезде в Гельсингфорс М.В. Захарченко-Шульцу сразу же написала генералу А.П. Кутепову, прося его приехать в Финляндию для разбора на месте всего дела (с «монархической внутрirosсийской организацией» в Москве было покончено) и принятия необходимых решений.

Между тем переход в эмиграцию видного агента ОГПУ вызвал необычайный шум не только в русских, но и в иностранных кругах. Со всех сторон посылались сенсации и разоблачения. Вопреки обыкновению не

молчала даже советская печать. Вокруг «дела Опперпута» сразу сложилась нездоровая и тяжелая обстановка.

Господа «очень осведомленные» исследователи изображают КО вообще, а в приводимый нами момент особенно, мелким сборищем легкомысленных и наивных авантюристов, которые с азартом, для разбора, бросились немедленно в провокаторские объятия ловко-де расставленным ОГПУ через Опперпута.

Изображение совершенно недостойное. Ведь поразительным является то, что ни один — еще раз: ни один «историк» не только не имел никаких данных к подобному изображению, но вообще не имел абсолютно никакого представления о КО. Откуда же были взяты подобные сведения?

Дальше мы увидим, что господа исследователи т. наз. «Треста», имея самые смутные понятия о том, что описывали, с необычайной легкостью и неподражаемым искусством прибегали к одному излюбленному приему: отсутствующие факты и сведения они заменяли «логическими построениями и выводами» собственного изобретения. Причем последние, состряпанные одним, передавались другим «историком» уже в виде «точного факта», который не подлежал никакому сомнению.

Если бы господин исследователь немного призадумался над теми обвинениями, которые сыпались со всех сторон на КО, и особенно на генерала Кутепова, еще совсем недавно (конец ноября, декабрь 1926 г. и позже) в связи с исчезновением генерала Монкевица, то, надо полагать, он воздержался бы от своего «описания» и сообщил бы в своей «истории» иное, более близкое к действительности.

Приехавший во второй половине мая из Парижа в Финляндию А.П. Кутепов отдавал себе отчет, что всякое сношение с бывшим провокатором уже «авансом» накладывает на всю организацию «черное пятно», что всякая связь с непроверенным до конца большевистским агентом неизбежно ляжет «только» на все решения и поступки КО. Успех, а еще больше неудачи неминуемо свяжутся через Опперпута с ОГПУ. Вот что говорил генерал Кутепов М.В. Захарченко-Шульц в первый момент их первого разговора.

Что же повлияло на изменение решения, что узнал А.П. Кутепов сначала из рассказов М.Б., а потом из бесед с Опперпутом?

\* \* \*

В первых числах апреля в Москве Опперпут рассказал М.В. Захарченко-Шульц, что «монархическая организация», в которой она участвует, является «легендой» (провокацией) ОГПУ и все «монархисть», и

он в том числе, принадлежат к особой группе сотрудников КРО «специального назначения». В эту группу, созданную в начале 1922 года (после реорганизации ВЧК в ОГПУ), вошли, по выбору начальства, не только испытанные чекисты (штатные), но в нее были завербованы и новые агенты (внештатные) КРО из числа бывших людей разных общественных и политических положений в императорской России. Эта группа со дня своего возникновения получила «особые права» и «особое назначение»: она была очень тщательно законспирирована не только от обычных полицейских агентов (милиции, угрозыска), но и от всех прочих агентов самого ОГПУ.

Эта-то особая совершенно замкнутая и скрытая от всех внутренних глаз группа агентов по выполнению «специальных задач» и получила по чекистской конспиративной терминологии название «группы треста».

Эта группа — рассказывал Опперпут — с одной стороны, вовлекала, когда это было нужно, эмигрантов и иностранцев в подлинно конспиративную «контрреволюционную» деятельность (и ее агенты изображали, согласно требованию момента, соответствующий элемент то монархистов, то евразийцев, то социалистов-революционеров), с другой стороны, это позволяло верхушке ОГПУ проверять общую «революционную бдительность» всех советских «ок».

Путешествие эмигрантов в настоящих конспиративных условиях, под надзором агентов группы «Трест», являлось наилучшим способом проверки всей советской полицейской системы. Тот вопрос, который все время беспокоил комфараонов: возможна ли в СССР подпольная работа? — тщательно контролировал все недочеты этой группой.

Опперпут рассказал, что во время поездки Шульгина на юг (в Киев) ничего не знали не только местные отделения ОГПУ, но даже и такие чекистские вельможи, как Балицкий. Эта группа также, по приказу сверху, занималась и ликвидацией «неудобного» и «исчерпавшего себя в работе» чекистского элемента. Оказалось, что по указанию и при содействии группы «Трест» члены КО убили под Минском чекиста Опанского (о ранее бывших подобных случаях, равно и о ликвидации чекистов Наимского, Турова-Гинсбурга и Орлова у нас нет точных данных). Эти сведения Опперпута, казавшиеся тогда совершенно невероятными, неожиданно и очень скоро подтвердились самим ОГПУ через сообщение английской газеты «Морнинг пост» (см. ниже).

Были ли у группы «Трест» еще «назначения», Опперпут не знал. Он заявил М.В. Захарченко-Шульц, что рассказывает все это потому, что, по имеющимся у него данным, она, Шульц, и все остальные белогвардейцы скоро должны быть арестованы и публично судимы. Он, Опперпут, также не сомневается, что в затеваемом ОГПУ новом деле будет



ликвидированы и некоторые агенты группы из числа бывших людей, и, наверное, в первую очередь он сам, как бывший офицер. Он много работал в ОГПУ, но никогда не видел к себе доверия. «Чекистская машина, — говорил Опперпут, — это мясорубка для всех, и в том числе для самих мясников. Рано или поздно я буду ликвидирован. Сейчас и наступил для меня решительный момент, я перехожу в ваши ряды и буду бороться с большевиками, как это делаете вы». (Опперпут также говорил М.В. о своих моральных переживаниях за годы чекистской работы.)

Именно благодаря этой сложной «структуре» большевицкой провокации М.В. Захарченко и Г.Н. Радкович (бывшие в ней под фамилией супругов Шульц) так до самого конца и не могли разобраться в ней, хотя у них часто сомнения сменялись уверенностью (они еще в 1923 году, при первом своем походе, сразу на границе, убедились в наличии провокации, но, приехав тогда в Москву, попали в очень сложную и жуткую обстановку). Террористические акты «монархической организации» вводили в заблуждение. Да и целый ряд моментов до сих пор остается неразгаданными. Так, Шульцы считали те условия, которые создались «в московской организации», «необходимой школой для членов КО, которые не были еще в СССР». И в 1924 году они просили разрешить о впуске «пополнения», — тогда ОГПУ разрешило впустить только еще троих (приехали: Каринский, Шорин и Сусалин<sup>73</sup>), но в дальнейшем, в течение более двух лет, все подобные просьбы Шульцев отклонялись под разными предложениями.

Группа «Трест» тщательно оберегала в Москве свои тайны. Полковник Сусалин, несмотря на все предупреждения Шульцев, не проявил осторожности: он выразил свои сомнения о «монархической организации»... и немедленно исчез. Когда Шульцы начали справляться о нем у «руководства», то им было отвечено, что Сусалин был опознан в Москве на улице болгарскими коммунистами, которые знали его по Софии как белогвардейца. Спасти его было невозможно. Сусалин наряду с Самойловым<sup>74</sup> и Строевым<sup>75</sup> (преданных в 1927 году провокатором Адеркасом) и были настоящими и единственными жертвами большевистской провокации в КО. Остальные погибшие к провокации не имели никакого отношения.

\* \* \*

Разумеется, эти же слова должен был сказать и всякий другой агент-провокактор, которому было предписано внедриться в эмигрантскую белую организацию. Но М.В. Захарченко-Шульц отнюдь не была тем без-

гласным собеседником, который должен был только выслушивать покаянные речи агента ОГПУ. Ведь она наблюдала Опперпута в течение более трех лет, и именно тогда, когда он был настоящим провокатором, т. е. М.В., как никто другой, могла оценить его раскаяние в свете всей «монархической» эпопеи. И эта оценка оказалась для Опперпута благоприятной: если у М.В. до самого конца не было доверия, то какая-то степень его несомненно существовала, особенно после его «исповеди». К сожалению, мы не знаем всех тех больших и мелких черточек из многолетних московских наблюдений Захарченко, по которым складывалось ее мнение о том или ином участнике провокации. Нам известен только один случай.

После отъезда Шульгина из СССР М.В. слышала, что был момент, когда знатный путешественник «повис на волоске», и только «присутствие духа Оскара Оттовича» (т. е. Опперпута) — как ей тогда рассказывали — спасло его от гибели. В расшифровке это означало, что ОГПУ собиралось Шульгина арестовать (эти сведения были у Бурцева) и только уговоры и доводы Опперпута спасли его. Здесь как раз и пришла «Оскару Оттовичу» блестящая мысль: Шульгин о своем путешествии напишет книгу! Эта мысль чрезвычайно понравилась начальству. «Дни» Шульгина, переизданные Москвой, пользовались большим успехом, и, зная искренность и восторженность автора, чекисты вправе были ожидать от книги о путешествии большого эффекта. Она стоила «показательного процесса».

Даже будучи в Финляндии, Опперпут ни разу не обмолвился об этом случае, что, несомненно, говорило в его пользу. Был и еще один очень важный факт. Опперпут не только рассказал о «Тресте» и предупредил об опасности М.В. Захарченко-Шульц, но он теряет вместе с последней несколько (опасных!) дней, чтобы известить о создавшейся ситуации и остальных членов КО: Радковича, Каринского и Шорина, бывших в то время в провинции (эта группа вышла из СССР через Польшу, где была арестована). Следует отметить, что ни один «очень осведомленный» историк, кроме Чебышева, об этом факте даже не упомянул.

И этот «провокационный жест» Опперпута можно истолковать как угодно. Например, «логически» можно говорить о тончайшей мере виртуозности: чтобы придать переходу провокатора абсолютную правдоподобность, ОГПУ выпускает не только Захарченко, но и остальных белогвардейцев, в надежде получить двойные плоды после «игры» Опперпута. Но возможны и другие «логические построения»: не целесообразно ли было ОГПУ выпустить с Опперпутом только М.В., а остальных все же задержать, отчего правдоподобие перехода агента несколько бы не пострадало. Опперпут мог бы легко и весьма реально объяснить ре-

альность полученных им сведений непосредственной опасностью ареста и полной невозможностью физически предупредить группу Радковича.

Польский «историк» сообщает, что «легкомыслие руководителей русских организаций и финляндской разведки было так велико, что Опперпута, прошедшего в Финляндии несколько месяцев, даже подробно не допросили о «Тресте». Надо отдать полную справедливость г. Враге: он «разделал» не только русскую эмиграцию и своих иностранных коллег, но и не пощадил и себя. «Пилсудский, — рассказывает он, — приказал начальнику разведки категорически потребовать от МОР сведений о советском мобилизационном плане».

Охотно верим, что это именно было так, и в действительности: диктатор Польши в военном деле был, видимо, не очень сведущ, но приводить такой факт, по нашему мнению, поляку не следовало бы. Такое требование к подозреваемому уже провокатору со стороны Генерального штаба чудовищно и равносильно было требованию «привести живьем Сталина». Ни один грамотный офицер, знающий, что такое мобилизационный план, и даже слепо веровавший во всемогущество МОР, все же никак не мог предъявить такое требование.

Опперпут провел в Финляндии полтора месяца (с 14 апреля по 31 мая), и за эти 45 дней финляндская разведка выяснила куда больше о «Тресте», чем польский штаб за пять лет, доказательством чего как раз и служит «история» бывшего начальника русского отдела.

Называя показания Опперпута «сенсационными фельетонами», г. Врага даже не знал того, что основной канвой всех «историй «Треста», и в том числе и его собственной», именно были «фельетоны» перебежчика. Без последних никто и ничего о «Тресте» и не мог бы написать. Можно проследить, что ошибки Опперпута (например, в делах Бирка и Рейли-Розенблюма и др.), допущенные им по незнанию тех фактов, которые позже были известны в эмиграции, целиком повторяются во всех «историях».

Опперпут в Финляндии написал несколько записок (ни один из перебежчиков не дал столько материала о работе ОГПУ, как он), которые никогда и нигде полностью не были опубликованы. Две из них, касавшиеся второстепенных моментов (сведения о Якушеве, о самом Опперпуте, данные о Савинкове, рассказы о Рейли и пр.), к кое-кому попали и пересказывались в печати (например, Шульгиным в его «Послесловии» к «Трем столицам», видел их частично, по-видимому, и Бурцев), остальные записки «канули в вечность». А они-то как раз и касались наиболее интересных вопросов, и в том числе вопроса «контакта» господ иностранцев с ОГПУ. Как мы знаем со слов генерала Кутепова, «иностранцы» сведения Опперпута подтверждались авторитетными лицами. Из жалоб

английского джентльмена, что «офицеры иностранных штабов, имевшие дело с «Трестом», частью были смещены, частью были уволены», явствует, что данные Опперпута соответствовал действительному положению вещей.

Из всей обильной «литературы» о «Тресте», кроме последней польской версии, следует отметить особо еще и английскую «историю». Как видно, господа иностранцы не были равнодушны к этой эпопее. В 1936 году в газете «Возрождение» (№ 3962 и др.) была опубликована в выдержках и пересказе Амфитеатрова «История одной провокации» «очень надежного по осведомленности английского источника». Не вызывает никакого сомнения, что ее автором являлся (по-видимому, как раз уволенный в отставку) агент Интеллидженс сервис в Прибалтике. К сожалению, его имя так и осталось неизвестным. Эта «история» составлена «в виде критических замечаний» истории Чебышева. Естественно, обе эти иностранные «истории «Треста» заслуживают особого внимания. Если русские журналисты, вроде того же Чебышева, подчеркивали недостаток документального материала (что им несколько не мешало слухи превращать в факты), то господа иностранцы, наоборот, усиленно подчеркивали свою исключительную осведомленность, что, с занимаемым ими бывшим служебным положением, придавало их рассказу в глазах читателя особую ценность и вызывало авансом полное доверие. Мы и позволим себе, наряду с «историей» Чебышева (так сказать, «первоисторика!»), кое-что в их описании разобрать.

Однако из всего материала в печать попало всего-навсего несколько опперпуповских анекдотов, которые — чуть ли не единственное в его показаниях — вызывают полное сомнение в их подлинности. Приведем два. «Генеральный штаб одной стран, — рассказывает Опперпут, — поднес в дар редкую, осыпанную камнями саблю» одному из организаторов «легенды».

Как-никак, а иностранные генштабисты все же были господами офицерами, и конфузить так их не следовало. И они никак не могли штатскому человеку-чекисту преподнести такой дар, которым редко удостоиваются даже на войне полководцы. Если не принять во внимание, что этот агент ОГПУ в глазах этих «наивных» людей был членом МОР, т. е. конспиратором и контрреволюционером, то такой громоздкий и богатый подарок явно бы провокационный: уже с границы владельца «сабли, осыпанной камнями» ОГПУ отравило бы к себе на Лубянку. И еще один. «Штаб одной великой державы, получив через «легенду» подложные военные документы, щедро наградил соответствующего агента ГПУ; когда же совершенно случайно тому же штабу предложили настоящие документы по тому же вопросу, они были

возвращены с припиской: «Эти документы фальшивые. Настоящие имеем».

Что «документы» получались и за них платили — факт, но приписка штаба, «что документы фальшивые» (такой приписки вообще не могло быть), говорит не только об ошибке офицеров, но она также ясно указывает, что этот штаб допускал возможность снабжения от МОР и фальшивками, т. е., иными словами, у штаба имелись подозрения. А если последние существовали, то вся картина взаимоотношений в корне не меняется. Предложение же (вторичное!) военных документов свидетельствует о явной контрреволюции в ОГПУ: «совершенно случайно» таковые не передаются.

Казалось бы, одни эти опперпутовские анекдоты должны были вызвать вопрос: зачем рассказывается во всеулышание эта юмористика и не скрываются ли за ней более серьезные факты действительности?

Однако мы видим, что господа исследователи все приняли за чистую монету. Чебышев, приведя анекдоты, глубокомысленно замечает: «Гипноз «легенды», как видите, никого не пощадил, «легенды» заколдовали всех», а в другом месте своей обширной «истории» он восклицает: «Находят на людей такие массовые затмения!»

Если еще можно говорить о затмении у некоторых участников провокации из русской эмиграции, то у иностранных штабов никакого гипноза в помине не было, но зато и затмение и гипноз полностью овладели такими «историками», как Чебышев, который не смог разобраться ни в халтуре Агабекова, ни в анекдотах Опперпута, сообщая во всеулышание безответственные утверждения.

Но сам перебежчик знал о штабах не только анекдоты, он знал вещи посерьезнее: большевистские провокации в больших масштабах, говорил Опперпут, проводятся большевиками по украинской «линии» (эти сведения были и у КО), и не без участия поляков. Ясно, что подобные сведения крайне нежелательны для широкой огласки. Эти данные Опперпута подтверждаются и бывшим министром «западно-украинского правительства» Василием Панейко, который в своей книге (Париж, 1939) прямо говорит, что именно поляки спровоцировали советский процесс «Союза освобождения Украины».

В обширной и многогранной провокационной работе большевиков эмигрантская «акция» была мелкими и ничтожными делами ОГПУ, сводившимся к дискредитированию и разложению русского зарубежья. Этим мы не хотим ни умалить «блестящей» работы чекистов, ни уменьшить тех последствий, которые эта работа имела в сфере русской эмиграции. Грандиознейшие же — действительно международного значения — коммунистические провокации разыгрывались по другим «линии»

ям» и, особенно, по коминтерновской (хотя бы взять дело Алджера Хисса). Последние гл. обр. и служили для осуществления советской внешней политики. И «поучительная» статья г. Николаевского «Уроки «Треста» — написанная только на основании двух детективных «историй» (Чебышева и Враги)! — является классическим примером публицистическо-партийного «дышла»: куда повернул, там и вышло.

У генерала Кутепова и особенно у М.В. Захарченко было больше доказательств в пользу Опперпута, чем те, которые мы привели здесь. И тем не менее ни А.П. ни М.В. никак не впали в полное доверие: без полной проверки его быть и не могло. А проверка была одна — террористический акт. Многие говорили в пользу Опперпута, и генерал Кутепов остановился на наиболее справедливом решении: не отталкивать перебежчика, дать ему возможность реабилитироваться на деле.

При таком принятом решении естественно было и выслушать советы Опперпута, как человека наиболее осведомленного. Утверждение господ «историков, что Опперпуту было поручено общее руководство (они судили по тому факту, что он дал Ларионову список ленинградских советских учреждений), являются безответственными. Не только план (одновременно взрывы в Москве и в Петербурге), но и выбор места московского взрыва принадлежали исключительно М.В. Захарченко.

\* \* \*

К 31 мая обе группы прибыли на советскую границу. Московская группа в составе Захарченко-Шульц, Петерса (имевшего документы на имя Вознесенского) и Опперпута уходит на 24 часа раньше второй, петербургской, состоявшей из Ларионова, Мономахова и Соловьева.

М.В. Захарченко уславливается с Ларионовым, чтобы их взрывы были почти одновременно: по получении известия из Москвы ленинградская группа бросает свои бомбы в намеченное ими место.

«Уходившие направились по тропинке через лес, — рассказывает Ларионов, последним видевший всю московскую группу, — мелькнули несколько раз среди кустов ольхи и скрылись для нас навсегда». Что дальше случилось с московской группой, мы почти ничего не знаем. Не знаем, где правда, где ложь и в тех коротких сообщениях, которые сочли нужным дать палачи. Мы знаем только, что на поимку бежавших из Москвы террористов были брошены все чекистские силы и их двадцатидневные скитания были подлинным крестным путем, настоящей для них гологофой.

Сообщения от 5—6—8 июля 1927 года ОГПУ гласили, что группа в составе Захарченко-Шульц, Вознесенского и Опперпута пыталась в ночь

на 3 июня взорвать соседний со зданием ОГПУ дом. Покушение не удалось. Группе из Москвы удалось достичь Смоленской губ. В 10 км от Смоленска Опперпут был настигнут крестьянской облавой, организованной ОГПУ. Он оказал энергичное сопротивление и был убит в перестрелке. Захарченко-Шульц и Вознесенский попали в засаду красноармейцев и были также убиты в перестрелке. При Опперпуте найден был дневник, в котором излагалась подготовка покушения и указан был маршрут террористов от границы. При перестрелке террористы тяжело ранили одного рабочего, одного кестьянина и одного милиционера.

Они убили шофера, отказавшегося помочь им спастись от погони, и тяжело ранили его товарища. Несколько позже корреспонденты «Дейли Экспресс» и «Таймс» сообщали, что Опперпут был убит 19 июня, а Захарченко-Шульц и Петерс погибли четыре дня спустя (23 июня).

Через три месяца (21.IX.1927) эмигрантская газета в Варшаве «За Свободу» перепечатала сообщение английской газеты «Морнинг пост» (в свою очередь, перепечатанное всей эмигрантской печатью), в котором говорилось, что известный провокатор Опперпут, якобы убитый вместе с Захарченко-Шульц и Вознесенским, на самом деле жив и предназначается руководителями Чека к дальнейшей провокаторской деятельности. 27 июля он получил из рук советской власти, по представлению ОГПУ, красный орден за свою успешную провокационную деятельность. В настоящее время ему поручается специальная миссия на Дальнем Востоке, для каковой цели он, конечно, опять под новым вымышленным именем направится в Китай. Удачное покушение, устроенное Опперпутом и повлекшее за собою смерть помощника начальника минского ГПУ Опанского, по сообщению «Морнинг пост», было организовано центральным московским ОГПУ, с которым у Опанского установились «натянутые отношения».

На этом сообщении — типичной чекистской дезинформации — необходимо остановиться, т. к. оно как раз и было тем единственным и неотразимым доказательством предательства Опперпута у всех господ «историков», которое не подлежало никакому сомнению.

Вряд ли кто может оспаривать, что все сообщения и корреспонденции для иностранной печати могли появиться только с разрешения ТАСС, т. е. того же ОГПУ. Но сообщение «Морнинг пост» отнюдь не простая корреспонденция, это «сенсация», и сенсация, «раскрывающая» тайны ОГПУ. Откуда мог безвыездно сидящий в Москве под чекистским надзором иностранец получить такие точные сведения?

Опперпут, знавший о группе Ларионова и не предупредивший взрыва (даже по самым уважительным причинам) в Партклубе, никак не мог быть награжден «красным орденом» — это не в стиле и не в

духе ОГПУ, которое таких промахов не прощает. Но какая точность: 27 июля! и из рук сов. власти! (Калинина, Политбюро?), «новая специальная миссия»... «под вымышленным именем»... Но самое интересное в этом сообщении — это упоминание об убийстве Опанского при участии Опперпута. Если бы последний был действительно жив, то после такого сообщения «Морнинг пост» Опперпут бы должен был последовать за Опанским.

Тайна ОГПУ, настоящая чекистская тайна, делающаяся достойней газетного сообщения (да еще в Европе), приводит к немедленному исчезновению исполнителей. Следовательно, если Опперпут не был убит в Смоленской губ. в июне как белобандит, то в сентябре он был бы ликвидирован, как «исчерпавший себя» чекист. И роль московского корреспондента «Морнинг пост» была бы незавидной. Именно одно упоминание об убийстве Опанского с указанием в нем Опперпута (ни один иностранец в Москве не мог бы узнать не только точного имени такого чекиста, но и самого факта без разрешения ОГПУ) совершенно определенно говорит, что последнего уже не было в живых.

Эта дезинформация ОГПУ в сентябре не была случайна, она была пущена с особым и точным расчетом, она приурочивалась к тем неудачам КО, которые были в августе (гибель Соловьева и Шорина, поимка Болмасова и Сольского, суд и расстрел последних).

ОГПУ отлично знало, что никакие неудачи не остановят «кутеповцев», что люди там есть и они еще пойдут: необходимо дискредитировать КО. И все это легко достигалось одной дезинформацией об Опперпуте. И как мы видим по «историям «Треста», этот расчет чекистов оказался совершенно безошибочным: не только неудачи, но взрыв в Петербурге господина исследователи немедленно связали с провокацией Опперпута.

Однако, раскрывая свою прошлую тайну об участии Опперпута в убийстве Опанского, ОГПУ никак не предполагало, что этот факт из показаний перебежчика не был известен даже «самым осведомленным» лицам. ОГПУ никак не могло себе представить, что многие рассказы Опперпута никогда не увидят света. Следует также указать, что в книге Кичкасова «Белогвардейский террор против СССР» (1928 г.) имя Опперпута полностью выпало, точно его и существовало.

\* \* \*

По делу «июня 1927 года» мы располагаем еще двумя новыми свидетельствами. Первое из них — статья нового эмигранта г. Ивана Репина, которая сообщает о двух ценных моментах, до того нам неизвестных.



И. Репин точно указывает место и описывает сцену самоубийства Захарченко-Шульц и Петерса. Это случилось у станции Дретунь Смоленской губ., где находились красноармейские лагеря, в которых автор отбывал свой учебный сбор. Скрывавшиеся в этом районе М.В. и Петерс выходят (23 июня?) на поляну леса, где вела учебную стрельбу одна из рот. Приняв последнюю за облаву, Захарченко и Петерс стреляются (можно предполагать, что облавы ОГПУ теснили их именно к месту красноармейских лагерей).

Второй момент, который мы узнаем из статьи нового эмигранта, — это арест и долгое пребывание в тюрьмах ни в чем не повинных людей, обвиненных ОГПУ в связи с террористической заграничной группой. Если для иностранцев и эмигрантов ОГПУ могло сообщить об Опперпуге все, что ему надо было (то убит, то жив, то награжден и т. д.), то внутри у себя оно, конечно, не считало нужным скрывать истины.

Обвинения невинных людей, как указывает г. Репин, строились на связи со всей московской террористической группой, в том числе был и Опперпуг. Если бы последний продолжал быть агентом ОГПУ (да еще награжденным), то вряд ли в чекистских абсурдных обвинениях фигурировал бы здравствующий провокатор. Для обвинения достаточно было и двух имен заведомо «белобандитских».

\* \* \*

Другое свидетельство — одного из нас, который во время войны, в августе 1942 года, побывал в Смоленске. «В сопровождении заместителя градоначальника Смоленска г. Георгия Гамзюка, — сообщает В.А. Ларионов, — я посетил градоначальника Смоленска Меньшагина, который пригласил меня и г. Гамзюка к себе на чашку чая. В разговоре Меньшагин рассказал, что в продолжение многих лет работал как советский правозащитник в том же Смоленске. Вспоминая затем интересные случаи из своей практики, он сообщил, что осенью 1927 года ему пришлось защищать в местном суде стрелочника, который обвинялся в том, что позволил в июне переночевать у себя в будке белогвардейцу, который на следующее утро был после перестрелки убит на Смоленском сахарном заводе. Это и был Опперпуг. Стрелочник был приговорен на 10 лет «Кз». Этот рассказ пришелся к слову, т. к. Меньшагин не знал, кто я. Для него я был лишь эмигрант, приехавший из Германии для розыска брата. Этот рассказ Меньшагина имеет документальную силу, т. к. его может подтвердить и г. Г. Гамзюк (проживающий теперь в США), слушавший его.

Как известно, в печати имеется и другое свидетельство о ином конце Опперпута — это статья г. Войцеховского в «Возрождении» «Разговор с Опперпутом». (Дело происходило во время войны в Варшаве, куда якобы явился под вымышленной фамилией... Опперпут!)

Статья г. Войцеховского чрезвычайно характерна для господ исследователей, она весьма показательна для истории «Треста»: вот именно на таких «источниках» и базировались их описания. Г. Войцеховский передает слух, причем источник последнего скрыт под буквой икс. Допустимо ли это? И этот слух Бискупского — Войцеховского у редактора «Возрождения» превращается в факт. «Что же немцы с ним сделали?» — спрашивает автор. Бискупский пожал плечами: «Не знаю... Расстреляли, должно быть...» Это «не знаю» и «должно быть» ген. Бискупского, наряду со всем рассказом г. Войцеховского, становится очень хорошим источником, из которого получилось категорическое примечание редактора.

Следующий «историк» сошлется уже на авторитет г. Мельгунова. О действиях «ленинградской группы» (Ларионов, Мономахов и Соловьев) нам точно известно все, и казалось бы, что это дело не вызывает никаких сомнений. Однако в «историях» успех этой группы объясняется полнейшей случайностью и снова связывается с провокаторством Опперпута.

И здесь (как и во многом другом) пальма первенства в разборе петербургского взрыва 7 июня 1927 года, на основании показаний экс-чекиста Агабекова и собственных «логических построений», принадлежит английскому «историку». Вот образец мышления этого иностранца.

«После неудачного покушения в Москве Захарченко-Шульц убедилась в провокации Опперпута и вместе с Петерсом скрылась». Это было 3 июня. Что же делает провокатор Опперпут...

«Он (или начальник его Артузов), — рассуждает агент Интеллидженс сервис, — замешкался, передержал срок и упустил момент вмешательства». «А замешкался потому, что спешить с арестом петербургской тройки ему не было нужды. Она должна была приступить со своим взрывом только после оглашения московского взрыва в газетах. Но Опперпут же знал, что московского взрыва, который произвести должен был он, не будет». Таким образом он имел в своем распоряжении сколько угодно времени, чтобы выжидать удобного момента к аресту тройки с поличным на месте покушения. Он и дождался, да непредвиденность сделала так, что переждал.

«Непредвиденность эта, — по словам английского разведчика, — заключалась в том, что у Ларионова «не выдержали нервы» и он бро-

сил свои бомбы раньше срока, чего не ожидал агент ОГПУ, провокатор Опперпут».

Если замешкавшемся в таком деле агенту Интеллидженс сервис грозило только увольнение со службы, то чекисту в СССР, «передержавшему срок», это стоило бы куда дороже, о чем Опперпут и Артузов-Кожуев были осведомлены совершенно точно. Если бы у ОГПУ имелись не донос Опперпута, а только лишь подозрения о существовании в Ленинграде группы Ларионова, то при той ситуации (весьма похожей на панику), которая была у чекистов в июне 1927 года в Москве, были бы брошены все силы ленинградского отделения на охрану границы, дорог, станций и т. д., что было ими сделано после взрыва 7 июня и держалось потом еще несколько месяцев (и на что наткнулась группа КО, вышедшая в августе того же 1927 года). И уже, во всяком случае, если чекистам «не было нужды спешить» с арестом, то все же им полагалось вести за группой наблюдение, иначе они не могли ее «накрыть на месте преступления». Как-то очень несерьезно говорить о том, что Опперпут с ОГПУ имели в своем распоряжении сколько угодно времени. Точно группа белогвардейцев состояла из роботов и жила припеваючи на советском курорте, специально дожидаясь, пока их ОГПУ арестует и расстреляет.

Да и Опперпут, по отпущенным КО средствам для московской группы, знал, что и группа Ларионова имела деньги всего на несколько дней, самое большее на неделю (это и было максимальным сроком пребывания их в СССР).

Если бы Ларионов бросил свои бомбы 3 июня, на что имел полное право, предполагая неудачу московской группы (что и соответствовало действительному положению вещей — покушение в Москве было в ночь на 3-е), то еще можно было бы говорить о «нервах». Но группа ждет еще целых четыре дня и только вечером 7 июня выполняет свое задание, т. е. проявляет совершенно исключительную выдержку. Сколько же надо было ждать...

Если английскому «историку» потребовались кое-какие «построения» для доказательства «передержки срока», то его польский коллега принял британские рассуждения за уже существовавший факт. Г-н Врага просто заявляет, что «эта тройка выполнила возложенную на нее задачу благодаря тому, что уклонилась от инструкций, данных ей Опперпуттом». Так вырабатывался дружными усилиями «очень осведомленных историков» штамп о «фактах» в истории большевистских провокаций.

Агент Интеллидженс сервис в доказательство провокаторства генерала Монкевица приводил выдумку собственного изобретения («о мощных офицерских организациях в СССР») и слухи. Главным же «доку-

ментом» у него было анонимное сообщение газеты «Руль» от 9.12.26 г., в котором говорилось, что генерал Монкевиц предал лейтенанта Старка<sup>76</sup>. Последний не принадлежал к КО, а был как раз многолетним курьером иностранных разведок, и предательство, таким образом, не могло быть совершено генералом Монкевицем. Никаких фактов больше не сообщалось.

Г-н Врага превращает генерала Монкевица в начальника штаба генерала Врангеля (начальниками штаба были последовательно генерал Шатилов и генерал Миллер): было от чего «ахнуть», Но допустимо ли это сообщать широкой публике... Не приведя ни одного факта предательства генерала Монкевица, г. Врага сообщил, что, «по нашим сведениям», Монкевиц еще в 1932 году служил в ГПУ в Москве. Оставляем эти сведения на совести господина историка и сделаем небольшое сравнение.

«Некоторые разведки установили, — говорит он же, — даже в консульствах или при своих дипломатических представителях в Москве особых офицеров связи для контакта с представителями МОР на советской территории». Так как г. Врага никогда в СССР не был, то, пожалуй, интересно послушать тех, кто там был.

Бывший латвийский дипломат г. Озолс в своей книге («Мемуары посланника», Париж, 1939) описывает «ту ужасающую, зараженную предательством атмосферу, которая создана большевиками вокруг и даже внутри иностранных посольств. В этом Наркоминдел является орудием в руках ГПУ. От шпионажа и провокации невозможно избавиться даже в самом здании посольства: агентами ГПУ оказывались не только низшие служащие, но подчас и весьма ответственные работники посольского аппарата. ГПУ довело до виртуозности метод вербовки нужных ему посольских служащих, сначала вовлекая их в действия, способные скомпрометировать, а затем подчиняя их своей воле угрозой разоблачения. В результате именно таких махинаций покончил с собой в те годы в Москве японский военный агент».

Вокруг посольств, рассказывает г. Озолс (был в Москве как раз во времена т. наз. «Треста», с 1923—1929 гг.), «были установлены наблюдательные посты в домах напротив и на углу улицы. Недалеко дежурили еще служебные автомобили и мотоциклеты». И теперь спросим историка, могли ли особые офицеры связи в описанной г. Озолсом обстановке развивать конспирацию с МОР...

Те факты, которые в небольшом количестве были известны господам историкам, говорили не только о нашей общей малоосведомленности, но они настоятельно им указывали воздержаться от описания того, о чем они имели лишь очень примитивное представление.

## Предисловие

В основу настоящего издания мною положена изданная в Варшаве на польском языке Союзом Юристов с Восточных Окраин Польши брошюра о процессе Бориса Коверды в варшавском чрезвычайном суде. С любезного согласия издателей этой брошюры я перевел ее полностью на русский язык. Однако для русского читателя, интересующегося подробностями убийства Войкова и дела Коверды, ее содержание не может быть признано достаточным. Поэтому я дополнил его некоторыми подробностями, относящимися как к самому ходу процесса, показаниям свидетелей, заявлениям самого Бориса Коверды в суде, так, особенно, к той обстановке, в которой этот процесс протекал и в которой произошло убийство Войкова. С этой целью я пользовался собственными записями, сделанными во время процесса в зале суда, и личными впечатлениями, вынесенными в день убийства Войкова и в день процесса Коверды. Необходимость считаться с размером настоящего издания помешала мне дополнить его рядом других подробностей, относящихся главным образом к тем политическим событиям, которые были вызваны убийством Войкова. Таким образом, оценка этого события не входила в мою задачу. Текст речей обвинителя и защитников в процессе Коверды дан мною в точном переводе с авторизованного польского текста.

**Обвинительный акт о предании Бориса Коверды  
Чрезвычайному суду в качестве обвиняемого  
по статье 453 Уголовного кодекса**

7 июня 1927 года, в 9 ч утра, посланник СССР Петр Войков, в сопровождении сотрудника посольства Юрия Григоровича прибыл на главный вокзал для встречи возвращавшегося из Лондона через Берлин полномочного представителя правительства СССР в Лондоне Аркадия Розенгольца. Встретившись с Розенгольцем, посланник Войков отправился с ним пить кофе в железнодорожный буфет, а затем оба вышли на перрон к скорому поезду, отходящему из Варшавы в 9 ч 55 мин; этим поездом Розенголец должен был выехать в Москву. В тот момент, когда посланник Войков с Розенгольцем находился около спального вагона этого поезда, раздался револьверный выстрел, направленный в посланника Войкова. Стрелял неизвестный мужчина. Войков отскочил, бросился бежать; нападающий стрелял ему вслед, в от-

вет на что Войков вынул из кармана револьвер, обернулся и несколько раз выстрелил в нападавшего, затем стал падать и упал на руки подбежавшего полицейского околоточного Ясинского. Нападавший, увидев приближавшуюся полицию, по требованию которой он поднял руки вверх и бросил револьвер на землю, отдался добровольно в руки полиции, заявляя, что он — Борис Коверда и что стрелял, желая убить Войкова в качестве посланника СССР, дабы отомстить за Россию, за миллионы людей. Посланник Войков, по оказанию ему первой медицинской помощи на вокзале, был перевезен в госпиталь Младенца Иисуса, где в 10 ч 40 мин того же дня скончался.

Произведенное в тот же день профессором Варшавского университета Грживо-Домбровским вскрытие трупа показало, что Войков получил две огнестрельные раны: одну — в область грудной клетки, по левой стороне, другую — в область мягких тканей правого плеча. Эксперт профессор Грживо-Домбровский признал, что ранение грудной клетки было соединено с ранением левого легкого и что рана эта безусловно смертельна, ибо ею было вызвано внутреннее кровоизлияние в область легких в количестве 3600 кубических сантиметров.

Стрелявшим в посланника Войкова оказался Борис Коверда, 19 лет, ученик гимназии Русского Общества в Вильне, который, будучи допрошен в качестве обвиняемого, признал себя виновным в преднамеренном убийстве посланника Войкова и заявил, что, будучи противником существующего в России политического и социального строя и стремясь к выезду в Россию, дабы там принять активное участие в борьбе против этого строя, он прибыл в Варшаву с целью получения разрешения представительства СССР на бесплатный въезд в Россию, а когда ему было в этом отказано, решил убить посланника Войкова как представителя власти СССР. Коверда при этом сказал, что с посланником Войковым он никогда не разговаривал, никаких претензий к нему не имел, ни к какой политической организации не принадлежал и свой поступок совершил самостоятельно, без чьего-либо уговора или соучастия.

На основании вышеуказанных данных житель г. Вильны Борис Коверда, 19 лет, обвиняется в том, что: 7 июня 1927 года в Варшаве на главном вокзале, намереваясь лишить жизни посланника СССР в Польше Петра Войкова, выстрелил в него из револьвера шестикратно и смертельно ранил его в область грудной клетки, по левой стороне, что вызвало внутреннее кровоизлияние в область легких и смерть Войкова, причем поступок этот был совершен по поводу исполнения Петром Войковым его официальных обязанностей полномочного посланника СССР в Польше, аккредитованного при президенте Речи Посполитой.

Преступление это предусмотрено статьей 453 Уголовного Кодекса, и на основании ст. 208 Устава Уголовного Судопроизводства и ст. 1, 4, 10, 12 закона о чрезвычайных судах от 30 июня 1919 г. с дополнениями от 25 февраля 1921 г. и п. I Распоряжения Совета Министров от 28 декабря 1926 г. дело подлежит рассмотрению Чрезвычайного Суда в Варшаве.

*Варшава, 11 июня 1927 г.*

(Подписал) П р о к у р о р *Свионтковский.*

\* \* \*

Таков текст обвинительного акта, в котором изложены все известные данные об обстоятельствах убийства Войкова и которое решило вопрос о предании Бориса Коверды чрезвычайному суду и, следовательно, о выпавшем на его долю суровом приговоре. Текст этот необходимо, однако, дополнить некоторыми подробностями, которым, по вполне понятным причинам, не нашлось места в официальном документе.

Автору этих строк удалось увидеть Коверду через 15 минут после совершенного им покушения, в момент первого допроса в помещении полицейского участка на главном варшавском вокзале. Несмотря на только что пережитое, несомненно, большое волнение, Коверда был совершенно спокоен, лишь слегка бледен, и твердым голосом отвечал на задаваемые ему вопросы. Когда одно из лиц, присутствовавших при допросе, спросило его: «Зачем вы это сделали?», Коверда ответил:

— Я за национальную Россию и против интернационала...

Во время первого допроса был произведен личный обыск Коверды. На нем были найдены: лишь последний номер польской газеты, платок и несколько мелких вещей. Денег при нем не было совершенно. В первый момент вещи эти были положены на столе в полицейской канцелярии, рядом с окровавленным воротничком Войкова. Постепенно для допроса Коверды на вокзал съехались все представители высшей судебной, полицейской и административной власти; допрос продолжался несколько часов; после него Коверда был перевезен в закрытом автомобиле, под усиленным полицейским конвоем, в варшавскую следственную тюрьму, т. н. «Павяку».

Данные обвинительного заключения о намерении Коверды поехать для активной борьбы в Россию совершенно соответствуют действительности. Варшавское полпредство отказало Коверде в визе в Россию, и это решило судьбу Войкова. В Варшаву Коверда приехал из Вильны, где постоянно жил в последние годы. Между днем его приезда и днем убийства Войкова прошло около двух недель. Все это время Коверда про-

жил, в качестве уголовного жильца, у бедной торговки-еврейки и питался одной водой и баранками. Большевики недоумевали, каким образом Коверда узнал о том, что Войков будет на вокзале, но недоумение это разъясняется очень просто: в варшавских газетах Коверда прочел о предполагавшемся отъезде Войкова в Москву и в течение нескольких дней ходил подстергать его к московскому поезду. Когда Войков приехал к этому поезду для встречи с Розенгольцем, его настигла рука Коверды.

Для проверки показаний Коверды о том, что он не был связан ни с какой русской эмигрантской организацией, польские власти произвели в Варшаве, Вильне и других местностях Польши ряд обысков в местных русских учреждениях и арестов среди русских деятелей. Обыски и аресты эти не дали никакого уличающего материала.

Присутствовавший при убийстве Войкова Розенгольц в первые минуты после убийства бегал в паническом страхе и волнении по варшавскому вокзалу. Он выехал затем в Москву вместе с гробом, содержащим останки Войкова, и вернулся в Варшаву для того, чтобы дать во время процесса Бориса Коверды свои показания.

Войков сохранял перед смертью значительное присутствие духа. Придя в сознание в госпитале, в который он был перевезен с вокзала, он отдал своему секретарю распоряжение, касавшееся бывших при нем бумаг и ключей полпредства, о судьбе которых он беспокоился. Умер он в присутствии министра иностранных дел Залесского, приехавшего в больницу от имени польского правительства.

Из больницы труп Войкова, в набальзамированном виде, был перевезен в полпредство, которое воспользовалось этим случаем для устройства в Варшаве коммунистической демонстрации. В течение двух дней труп Войкова был выставлен на всеобщее обозрение в зале полпредства, задрапированном красной и черной материей. В зале этой, скрытый за красным занавесом, оркестр непрерывно играл похоронные марши, а мимо возвышения, на котором труп Войкова лежал в гробу со стеклянной крышкой, вереницей проходили варшавские коммунисты и любопытные, допущенные в полпредство.

Польское правительство выразило вдове Войкова и «правительству СССР» соболезнование и выполнило все формальные обязательства, вытекавшие из наличия дипломатических отношений между Польшей и советской Россией.

10 июня гроб с останками Войкова был перевезен на варшавский главный вокзал, а оттуда — в особом поезде — в Москву. За гробом по улицам Варшавы шли все местные большевики из полпредства и Розенгольц, представители польского правительства и дипломатического корпуса и наряд польских войск, одновременно отдававших праху Войкова



воинские почести и охранявших порядок (настолько строго, что похоронное шествие двигалось по совершенно пустынным улицам).

После этой перевозки останков Войкова в Москву весь интерес Варшавы сосредоточился на процессе Коверды, который снискал себе симпатии польского общества своей молодостью и патриотизмом своего поступка, несмотря на политические осложнения, вызванные для Польши его выстрелом.

Возвращаемся, однако, к тексту варшавского польского издания...

### Протокол судебного заседания от 15 июня 1927 года

Чрезвычайный Суд в Варшаве в составе: председателя — И. Гуминского, членов суда — И. Козаковского, А. Скавинского, секретаря — М. Маевской, при участии прокурора Апелляционного Суда К. Рудницкого — слушал уголовное дело по обвинению Бориса Коверды по ст. 453 Уг. Кодекса.

Заседание открылось в 10 ч 45 мин утра. Председатель приказал приставу ввести подсудимого. Подсудимый занял место на скамье подсудимых. В качестве защитников явились: по выбору, на основании письменной доверенности, адвокат Павел Андреев и адвокат Мариан Недзельский и, на основании устного полномочия, адвокат Франциск Пасхальский и адвокат Мечислав Эттингер.

П о д с у д и м ы й Коверда заявил, что уполномочивает адвокатов Пасхальского и Эттингера на участие в его защите.

П р е д с е д а т е л ь задал подсудимому вопросы на основании статьи 638 Уст. Уг. Судопроизводства.

П о д с у д и м ы й заявил: «Меня зовут Борис Коверда, сын Софрона и Анны. Я родился в Виленском уезде 21 августа 1907 года. Место постоянного жительства — Вильна. Национальность — русская. Подданство мое мне не известно, отец мой, кажется, является польским гражданином. Вероисповедание — православное. Окончил 7 классов гимназии Русского Общества в Вильне. Холост. Ученик гимназии и служащий редакции еженедельника «Белорусское Слово». Судим не был. Копию обвинительного акта прокурора о предании меня чрезвычайному суду получил».

После оглашения председателем списка лиц, вызванных на процесс, пристав доложил, что все свидетели, за исключением Аркадия Розенгольца, явились и находятся в комнате для свидетелей; эксперт профессор Грживо-Домбровский присутствует в зале судебного заседания.

Председатель сообщил, что чрезвычайный суд получил сегодня ноту восточного отдела политико-экономического департамента министерства иностранных дел и огласил текст этой ноты. (Содержание ее касалось сообщения, полученного министерством иностранных дел о выезде Розенгольца из Москвы в Варшаву.)

Прокурор предложил суду принять ноту министерства иностранных дел к сведению и приступить к слушанию дела, с тем что свидетель Розенгольц явится в суд сегодня или завтра утром, заявляя, что если бы судебное следствие было закончено и свидетель Розенгольц не прибыл перед его окончанием, следовало бы признать его отсутствие оправданным уважительными причинами и огласить его показание, данное во время предварительного расследования.

Затем присоединилась к предложению прокурора.

Чрезвычайный суд постановил: признать причины неявки свидетеля Розенгольца в суд на основании ст. 642 Уст. Уг. Судопр. уважительными и огласить его показание, данное во время прокурорского расследования, в случае неявки свидетеля до окончания судебного следствия.

Затем председатель огласил обвинительный акт о предании Бориса Коверды чрезвычайному суду и спросил подсудимого: признает ли он себя виновным?

Подсудимый заявил:

«Признаю, что убил Войкова, но виновным себя не признаю. После девяти часов утра я вышел на перрон и прогуливался в течение некоторого времени между поездами. Когда я дошел до середины поезда, поданного к перрону, я увидел Войкова, который шел по перрону с другим, неизвестным мне лицом. Я шел в сторону здания вокзала, а Войков с сопровождавшим его лицом — от вокзала. Я выстрелил в Войкова несколько раз. Войков отвернулся и начал убегать в сторону вокзала; однако, сделав несколько шагов, он остановился и выстрелил несколько раз в мою сторону. Войков стрелял тогда, когда я уже расстрелял все мои пули и перестал стрелять. Когда у меня не хватило пуль, я отбежал от Войкова на несколько шагов и с поднятым в воздух револьвером направился к шедшему мне навстречу полицейскому, по приказанию которого я бросил револьвер на землю и был арестован. Я убил Войкова за все то, что большевики совершили в России. Лично я его не знал».

По окончании этого заявления введены были свидетели, к которым председатель обратился с вопросами на основании ст. 702 Уст. Уг. Судопр., причем оказалось, что Юрий Григорович является атеистом, Мариан Ясинский, Константин Домбровский, Альфонс Новаковский, Ипполит Юдицкий и Феликс Абрамович — католики, Сура Фениг-

штейн — иудейского вероисповедания, Климентий Агафонов — старообрядец, остальные же свидетели — Анна Коверда, Софрон Коверда, Семен Захаренок, Лев Белевский, Бронислав Дружкой-Подберезский, Юрий Белевский, Арсений Павлюкевич, Ирина Коверда, Петр Майдачевский, Дмитрий Герасимов, Василий Юженко, Иосиф Дзичковский и Лидия Свитич — православные. Анна Коверда — мать подсудимого, Софрон Коверда — его отец, а Ирина Коверда — сестра. Все трое, уведомленные председателем о содержании статьи 705 Уст. Уг. Судопр., заявили, что желают давать показания. Все остальные свидетели в родстве с подсудимым и убитым Войковым не состоят, судимы не были. Свидетель Иосиф Дзичковский — православный священник. Эксперт профессор Виктор Грживо-Домбровский, римско-католического вероисповедания, в родстве с подсудимым и убитым Войковым не состоит.

Председатель предложил сторонам высказаться по вопросу о порядке допроса свидетелей.

Прокурор внес предложение о допросе Анны, Софрона и Ирины Коверды на основании ст. 705 Уст. Уг. Судопр., эксперта — на основании ст. 713, священника Дзичковского на основании п. 8 ст. 712, остальных свидетелей, за исключением Юрия Григоровича, под присягой. Что касается последнего свидетеля, то прокурор внес предложение об отобрании от него торжественного обещания.

От имени защиты адвокат Эттингер присоединился к предложению прокурора.

Свидетель Агафонов заявил, что согласен принести присягу вместе с православными.

Чрезвычайный суд постановил: допросить свидетелей Анну, Софрона и Ирину Коверда на основании ст. 705 Уст. Уг. Судопр. без присяги, эксперта профессора Грживо-Домбровского, на основании ст. 713 Уст. Уг. Судопр., от присяги освободить, священника Иосифа Дзичковского, на основании п. 1 ст. 712 Уст. Уг. Судопр., допросить без присяги, свидетеля Юрия Григоровича, на основании п. 2 ст. 712 Уст. Уг. Судопр., в связи со статьей III Конституции, допросить без присяги, отобрав от него обязательство, остальных свидетелей привести к присяге.

По приведении к присяге католиков католическим ксендзом, православных и старообрядца — православным священником и Суры Фенигштейн — раввином, по выполнении постановлений ст. 716 и 717 Уст. Уг. Судопр., свидетели, за исключением Григоровича, были отведены в особое помещение; эксперт Грживо-Домбровский был оставлен в зале судебного заседания.

Прежде чем перейти к изложению свидетельских показаний в том виде, в каком они зафиксированы в судебном протоколе и переданы в польском издании, с которого мы делаем настоящий перевод, необходимо дать нашим читателям картину той обстановки, в которой происходил суд.

С раннего утра здание варшавского Окружного суда, в котором заседал чрезвычайный суд по делу Коверды, окружено было толпой лиц, желавших проникнуть в зал судебного заседания. Наряды полиции оказались слишком слабыми для того, чтобы сдерживать толпу, которая проникла в здание суда. Для восстановления порядка пришлось очистить от публики не только это здание, но и весь прилегающий к нему двор, после чего полицейские посты были расставлены у всех входов. Только после принятия этих мер предосторожности в зал допущены были лица, получившие возможность присутствовать на процессе. Несмотря на строгий разбор, с которым производился пропуск, зал оказался переполненным. Не только все скамьи для публики, но и все проходы, места за судьями и т. п. оказались занятыми. В публике преобладали представители польской администрации, суда, прокуратуры, полиции, адвокатуры и т. п. Русская эмиграция представлена была немногочисленной группой лиц во главе с председателем Правления Российского Комитета в Польше В.И. Семеновым. Присутствовало также несколько большевиков из полпредства, причем — вступивший после смерти Войкова в исполнение обязанностей советского поверенного в делах в Варшаве — советник полпредства Ульянов также прибыл в суд. На него никто не обратил внимания, и он, заняв место среди публики на одной из последних скамей, вскоре удалился. Среди свидетелей также был один большевик — «завхоз» полпредства Григорович. Представ перед судом, он злыми глазами исподлобья рассматривал суд и публику, которая не щадя замечаний по адресу его типичного, преступного лица.

Польская и иностранная печать представлена была на процессе значительным числом журналистов, количество которых все увеличивалось и к моменту объявления приговора достигло 120 человек. Среди них было также два большевика, корреспонденты «Правды» и «Известий», занявшие места в стороне от «буржуазных» журналистов, за одним из последних столов.

Борис Коверда был введен в зал суда под сильным полицейским конвоем и сразу завоевал общую симпатию своей улыбкой и выражением лица. На скамье подсудимых, в чистом, привезенном ему родителями, белье и скромном пиджачном костюме, он казался совершенно юным

мальчиком. Свои показания Коверда давал, как и все свидетели, за исключением священника Дзичковского, на польском языке. В первый момент он очень волновался, во все остальное время процесса держал себя совершенно спокойно, несмотря на то что до объявления приговора в напряженной атмосфере судебного заседания возникали даже опасения в возможности вынесения смертного приговора...

В польском издании процесса Коверды ход судебного следствия изложен следующим образом.

### Показания свидетелей обвинения

1. Свидетель Ю р и й Г р и г о р о в и ч заявил, что дает безусловное обещание говорить правду, а затем сказал, что о факте убийства посланника Войкова ничего не знает, ибо при этом убийстве не присутствовал. Свидетель сопровождал посланника на главный вокзал, где Войков должен был встретить Розенгольца. Поезд из Берлина прибыл в 9 часов с минутами. Когда Розенгольц вышел из спального вагона, Войков и свидетель заметили его и Войков подошел к Розенгольцу. Свидетель был от них в таком расстоянии, как от своего места в суде до места прокурора. Сразу после приезда Розенгольца он ушел с вокзала.

На основании ст. 701 Уст. Уг. Судопр. П р е с е д а т е л ь постановил изменить порядок допроса и приступить к заслушанию экспертизы.

От имени защиты адвокат Э т т и н г е р обратился к суду с просьбой о допросе эксперта после допроса свидетелей, особенно тех, которым известна прошлая жизнь подсудимого.

П р е с е д а т е л ь удовлетворил ходатайство защиты, и суд приступил к допросу свидетелей. Свидетели, вызывавшиеся поочередно и допрашивавшиеся на основании ст. 718—724 Уст. Уг. Судопр., показали нижеследующее:

2. Свидетель Мариян Я с и н с к и й, околоточный полиции: «В день убийства я был на службе на вокзале. Отошел скорый поезд в Люблин. В этот момент я услышал несколько выстрелов на одном из соседних перронов. На ходу я заметил, что публика бежит с перрона № 8—9, и на этом перроне заметил посреди него двух людей, стрелявших друг в друга из револьверов; один из них убежал в сторону здания вокзала, другой бежал за ним. Тот, который убежал, дал два выстрела в сторону нападавшего. Я подбежал к первому и схватил его за руку. В этот момент он упал. Оказалось, что это был посланник Войков. К другому лицу, поднявшему револьвер в воздух, подбежали полицейские, а ко мне подошел один господин, который заявил, что он — посол из Лондона

Розенгольд, а раненый — посланник Войков. Перед тем как Розенгольд подошел ко мне, я спросил раненого, кто он, но он ответил лишь каким-то непонятным словом; и тотчас же губы у него посинели и он начал зеленеть. Розенгольд — на вопрос, знает ли он убийцу, — ответил: «Мерзавец, прохвост, сукин сын». При мне Войков дал два выстрела, всего с обеих сторон было дано около 10 выстрелов. Я видел Коверду, когда он шел с поднятым в воздух револьвером, приблизительно в 20 шагах от Войкова. Я занялся раненым и перенес его в помещение дежурного околоточного. Будучи в помещении, в которое был отведен Коверда, я слышал только, как тот сказал: «За Россию». Когда я обратился к Войкову с вопросом, он был в сознании».

Свидетель Г р и г о р о в и ч на вопрос прокурора дополнительно показал: «С посланником Войковым я случайно был тогда на вокзале. Постоянно я его не сопровождал и с ним не ездил. Полиции о поездках Войкова не сообщалось. Посланник Войков один выходил в город. Мне известно, что он один ездил в автомобиле, которым сам управлял, ездил по Висле в моторной лодке».

3. Свидетель Константин Д о м б р о в с к и й, полицейский, показал: «Я нес службу при дежурном околоточном на Главном вокзале. Я услышал выстрелы, выбежал из помещения на перрон и увидел неизвестного с револьвером в руках, бывшего лицом в сторону вокзала. Неизвестный этот тотчас же упал около самого поезда. Публика из окон вагонов кричала, что на перроне есть еще другой, который стрелял. Я отошел на несколько шагов и заметил человека, шедшего по перрону с револьвером в руках. Я и полицейский Ясинский побежали за этим человеком, который находился между вагонами двух поездов на линиях 8—9. Человек этот остановился и повернулся лицом к нам. В руках он держал револьвер. По нашему требованию он положил револьвер на землю. Я тут же произвел личный обыск и нашел в кармане брюк четыре револьверных патрона. В револьвере не было уже ни одной пули. На вопрос, зачем он стрелял, человек этот ответил: «Я отомстил за Россию, за миллионы людей». С раненым посланником Войковым я не разговаривал, им занялись околоточный Ясинский и полицейский Шиманский. Коверда был совершенно покоен, когда мы его арестовали».

С у д постановил предъявить свидетелям вещественные доказательства. По распечатании пакета оказалось, что в нем находятся: 1) револьвер системы «Маузер», без номера, с пустой обоймой; 2) револьвер «Браунинг» № 80481 и, отдельно от него, обойма с двумя патронами; 3) 4 патрона к «Маузеру».

По предъявлении этих предметов свид. Д о м б р о в с к о м у последний заявил: «В кармане у Коверды я нашел четыре патрона. Он

имел револьвер «Маузер». При переносе посланника Войкова в карету скорой помощи я не присутствовал, так как стерег Коверду. Разговоров с ним я никаких не вел, он также ничего не говорил».

4. Свидетельница Сура Ф е н и г ш т е й н показала: «Подсудимый жил у меня в течение нескольких дней. Он приходил вечером, а утром выходил. Никто к нему не приходил. Поселился он у меня во вторник вечером. В первый день праздника Троицы я должна была переехать в больницу. Через несколько дней ко мне пришли дети в больницу и сказали мне, что меня ищут и чтобы я выписалась из больницы. Дети были у меня в среду. Я была в больнице два дня. Я просила Коверду, чтобы он дал документы для прописки, но он документов не дал, объяснив, что документы у него в школе, в которой он держит экзамены. Коверда должен был жить у меня две недели, до двух недель не хватало одного дня. Подсудимый говорил, что уезжает».

На вопрос председателя, который предупредил, что на вопросы он может не отвечать, подсудимый Б о р и с К о в е р д а заявил: «Я приехал в Варшаву за две недели перед убийством, 23 мая, кажется, в понедельник вечером. Один день я прожил в гостинице «Астория». К Фенигштейн переехал во вторник и жил у нее две недели».

Свидетельница Ф е н и г ш т е й н на вопрос председателя заявила: «Я приняла подсудимого Коверду в жильцы, ибо как раз от меня уехала одна жилица».

### **Показания свидетелей защиты**

5. Свидетельница А н н а К о в е р д а заявила: «Об убийстве я узнала из газет. Оно было для меня неожиданностью. Борис был всегда впечатлительным, тихим и скромным. Он содержал семью, так как я болела и не имела работы. Он работал на всю семью. Борис был моим опекуном и защитником, опекуном своих сестер. Как сын Борис был очень добрый, хотел все сделать для того, чтобы мать его не страдала. Он заботился о том, чтобы мне ни в чем не было плохо, и думал о том, как помочь. Я прихожу отсюда, из Польши. Мы виленские жители, жили в Вильне перед войной. В 1915 году мы были эвакуированы властями из Вильны в Тамбов, потом выехали в Самару. Борис родился в окрестностях Вильны. Мы жили в России до 1920 года. Я вернулась в Польшу с детьми, муж должен был остаться в России. Мы вернулись в Польшу легально. К возвращению склонило нас то, что я тут родилась и жила. Мой муж — народный учитель в Бельском уезде. В последнее время у меня была работа и я зарабатывала. Перед этим я была безработной, и тогда меня и дочерей

содержал сын. Дочери мои не зарабатывают. Муж иногда присылал деньги, главным образом, однако, нас содержал Борис. Он работал в редакции газеты «Белорусское Слово», был экспедитором, а в последнее время и корректором. Зарабатывал он по 150 злотых в месяц и прирабатывал еще каких-нибудь 20 злотых в месяц. В прошлом году он зарабатывал меньше и нам приходилось очень плохо, мы голодали. Борис болел скарлатиной и дифтеритом, был в больнице шесть недель. Сразу по выздоровлении взялся за работу. Я работаю с января, зарабатывала сначала 150, а потом 200 злотых в месяц. Борис отдавал мне все заработанные деньги. Газета «Белорусское Слово» издается на белорусском языке. Борис много читал. По взглядам он был демократ. Большевикам не симпатизировал. То, что он видел в Самаре, не могло создать в нем благоприятного для большевиков настроения. Когда мы жили в Зубчаниновском поселке Самарской губернии, у Бориса было много неприятностей, его преследовали, называли «буржуйским» ребенком, уничтожили школу, в которой он учился, и церковь. Раз при нем был разговор о том, что приехал священник, что большевики заперли его в хлев и издевались над ним, и это произвело на Бориса большое впечатление. Борис был верующим до последнего момента. В этом году он был у исповеди и причащался, это было даже для меня неожиданностью, так как он очень был занят работой. Разговоры о большевиках у нас дома бывали. Борис был очень впечатлительным и нервным, так как много работал. Сын моей сестры был убит большевиками. Борис часто об этом говорил с моей сестрой. Он был свидетелем разгрома Чрезвычайки, слез моей сестры, которую он любил, так как она была его крестной матерью. Когда Борис был еще шести-семи-летним мальчиком, я иногда ему читала историю России, я тогда была учительницей, а он учился в школе. На него особенно сильное впечатление произвела история Сусанина. Он сказал мне: «Мама, я хочу быть Сусаниным». Дома мы говорили только по-русски, мы считаем себя русскими по культуре. Белоруссию я Россией не считаю. Борис в Самаре был свидетелем того, как расстреливали на льду нашего знакомого о. Лебедева. Другого знакомого, Кабанцева, большевики увели, и нельзя было узнать, что они с ним сделали. Борис, будучи тогда ребенком, видел отчаяние его жены и часто говорил о ее слезах. Кабанцевы были наши хорошие знакомые. Борис видел в России, как большевики преследовали его учительницу, которую он очень любил. При нем в Самаре начальником четырех учебных заведений был назначен еврей, который вел с детьми разговоры о Христе, говоря, что Он — только способный сектант. Думаю, что это произвело на Бориса впечатление. Когда Борис после болезни начал выздоравливать, первой его просьбой была просьба о том, чтобы отслужить молебен. В Вильне я была начальницей школы и начальницей при-



юта. Когда Борис был в третьем классе гимназии, он уже вынужден был зарабатывать себе пропитание и работать в качестве экспедитора в газете. Тогда он приносил домой газеты, названий которых я не помню. Дома мы получали «Виленское Утро», «За Свободу» и другие газеты. Были также польские газеты и какие-то русские заграничные издания. В 1922—1923 годах сын работал в экспедиции «Нашей Думки». Это была газета по направлению не совсем коммунистическая, но близкая к коммунизму. В редакции «Белорусского Слова» не было коммунистических газет, но бывали различные русские газеты. Мне не приходилось видеть, чтобы Борис делал вырезки из газет».

б. Свидетель С о ф р о н К о в е р д а: «В последний раз я виделся с сыном на праздник Рождества Христова. Мы тогда вместе проводили праздники. С тех пор я с ним не виделся. Я жил отдельно, так как тяжелые условия вынуждали меня жить отдельно. Я учитель народной школы. Во время каникул, в разговоре с сыном, мы не раз затрагивали политические темы и у меня создалось впечатление, что свою работу он несет только ради заработка, в котором он нуждался. С детских лет он был впечатлительным, и я теперь понимаю трагедию его души. Борис был очень способным: он понимал, что свои способности он может развить, что он может выдвинуться, но это было бы возможным только в России, при наличии других материальных условий существования. Препятствием к этому являлся большевизм. Нужда портила Борису жизнь. Тяжкие материальные условия отражались на его душе. Его юная душа не могла с этим примириться, в ней родился протест, и протест этот выразился в форме выстрела. Борис был еще ребенком, учеником первого класса, когда он сделался свидетелем большевистских зверств, и зверства эти оставили на нем неизгладимое впечатление. Я сын крестьянина, родился в Бельско-Подляшском уезде. Я польский гражданин, как уроженец Бельского уезда, — и на основании списков населения получил паспорт. В начале войны я был чиновником Крестьянского банка в Вильне. В 1914 году я поступил охотником в армию. Меня признали негодным, потому что я плохо слышу правым ухом, но я, видя, что простой народ идет на войну, сам подал заявление, что здоров и прошу о зачислении меня в армию. В окрестностях Сморгони я был очень тяжело ранен. В течение четырех месяцев я лечился в Москве, и как раз в этот момент произошел большевистский переворот. В Вильне еще до войны я принадлежал к партии социалистов-революционеров и принимал участие в нелегальной работе. Я был убежден в том, что царская власть угнетает крестьян, и, как крестьянин, стремился к улучшению крестьянской доли. Когда произошел переворот, я принимал участие в уличных боях против большевиков. Большевики, однако,

после переворота мобилизовали меня и назначили комендантом этапного пункта. Потом зачислили меня в армию. С этим я не мог примириться и в 1921 году бежал тайно из России, перешел границу под Несвижем, семья моя тогда была в Польше. Границу я перешел в качестве офицера Красной армии. Мою семью я застал в нужде. В 1922 году я начал издавать в Варшаве газету «Крестьянская Русь». Это был орган организации Савинкова, демократического направления. Я издавал эту газету, пока у меня были деньги. Я — белорус, моя жена тоже. Дома мы говорим по-белорусски, по-русски и по-польски, над нами смеются, что мы так различно говорим. При Керенском в 1917 году я боролся против большевиков и говорил об этом с Борисом. Он человек верующий и правдивый. В прошлом году он тяжело болел и был близок к смерти. После болезни его впечатлительность усилилась, жена и дочь мне писали, что он очень впечатлителен и что ему тяжело живется. О судьбе тех, кто вместе со мной боролся против большевиков, я ничего не знаю. Когда я был в Самаре, то слышал о расстрелах: говорили, что такой-то и такой-то расстреляны. Когда Борис был в третьем классе, мы жили вместе. Сын работал тогда в качестве экспедитора в редакции белорусской националистической газеты. Потом белорусские национальные газеты приобрели коммунистическую окраску. Часто ли газеты, в которых работал Борис, подвергались конфискации, — не знаю. Борис работал в редакции еженедельника «Белорусская Криница», «Белорусские Ведомости», перестал в них работать в 1924 году. Тогда он начал работать в редакции еженедельника «Громадский Голос». Он учился в белорусской гимназии, а по окончании шести классов перешел в гимназию Русского Общества в Вильне. Не знаю, вызывали ли его в политическую полицию. О деле Сологуба я слышал, но ничего не помню. Я знаю, что был такой процесс, связанный с белорусской гимназией, и это вызвало оставление этой гимназии Борисом. О том, что он считает себя русским, Борис за последнее время мне не говорил. О револьвере мне ничего не известно. Читал ли Борис «От двуглавого орла к красному знамени» Краснова<sup>78</sup>, — не знаю».

Эти показания родителей Бориса Коверды нуждаются в некоторых пояснениях. Следует указать на то, что осторожный и крайне сдержанный тон этих показаний, особенно в вопросе о национальной принадлежности семьи Коверды — русские или белорусы, — а также в вопросе о языке этой семьи, объясняется особыми местными условиями. Из показаний видно, что родители Коверды принадлежали в прошлом к демократической и даже социалистической части русской интеллигенции, что, конечно, не предрешает вопроса об убеждениях их сына. Показания устанавливают как крестьянское происхождение семьи Ковер-

да, так и те очень тяжелые материальные условия, в которых эта семья жила в последние годы в Польше. Во избежание недоразумения следует указать, что те коммунистические белорусские издания, о которых идет речь в показаниях, имели в лице гимназиста Бориса Коверды не редакционного сотрудника, а технического служащего. Работа в этих изданиях, вызванная материальной необходимостью, только усилила ненависть Бориса Коверды к коммунистам и содействовала выявлению его национального самосознания: Борис Коверда почувствовал себя не белорусом, в том смысле, в каком это слово ныне употребляется в Польше, а русским и даже бросил белорусскую гимназию, перейдя по собственной инициативе в русское учебное заведение.

7. Свидетель Семен Захаронко показал: «Об убийстве Войкова я узнал из газет. Подсудимого Коверду я знаю с 1921 года и был с ним в приятельских отношениях. Я считаю его человеком очень честным и добросовестным. Я познакомился с ним в гимназии и встречался в редакции. 21 или 22 мая сего года я был вместе с Ковердой в кинематографе и сказал ему, что уже поздно и что ему, может быть, опасно так поздно возвращаться домой. Коверда ответил, что он не боится, потому что у него есть револьвер, и показал мне дуло револьвера, который был у него в кармане. Когда в прошлом году был первый так называемый съезд Западной Белоруссии в Вильне, — Коверда изгнал из помещения, в котором этот съезд происходил, ученика белорусской гимназии Саковича и еще другого, фамилию которого я не помню, так как считал их сторонниками коммунизма. Съезд этот был созван д-ром Павлюкевичем. Подсудимый Коверда говорил по-русски, считал ли он себя русским — не знаю. Я встречался с Ковердой очень редко. Коверда сказал мне, что револьвер он получил для охраны д-ра Павлюкевича, так как коммунисты хотят напасть на него. Является ли газета Павлюкевича полонофильской — не знаю. Политикой я не занимаюсь. На съезде д-ра Павлюкевича я был случайно. В редакцию «Белорусского Слова» я ходил как гость. Я очень редко говорил с Ковердой о политике. О газете «Белорусские Ведомости» я с ним не разговаривал. Я считал Коверду противником коммунизма. Он везде, где мог, осуждал большевистское направление, доказательством чего служит то, что он изгнал со съезда Западной Белоруссии двух своих товарищей, которых считал коммунистами. Коверда указывал на условия жизни в советской России, обращал внимание на то, что там творится, говорил, что это ужас. Смертные казни в России возмущали его. Поступок его явился осуществлением его переживаний. В разговорах Коверда говорил о поступках большевиков. Сам я в России не был, тамошних условий не знаю. Я тут родился и эвакуирован не был».

8. Свидетель Лев Б е л е в с к и й: «О покушении на посланника Войкова я ничего не знаю. Подсудимого Коверду я знаю как ученика гимназии Виленского Русского Общества. Я являюсь директором этой гимназии. В прошлом учебном году Коверда поступил в нашу гимназию в седьмой класс. Это было осенью 1925 года. Я тогда еще не был директором, а лишь учителем. В классе Коверды я не преподавал. Коверда перешел к нам из белорусской гимназии. Я знал, что Коверда находится в очень тяжелых материальных условиях, что он вынужден работать как на собственное пропитание, так и на пропитание своей семьи. Поэтому мы мирились с частым пропуском уроков с его стороны и он хоть с трудом, но был переведен в 8-й класс. Коверда работал в редакции «Белорусского Слова». В начале этого года газета эта временно не выходила и тогда Коверда, который вообще был способен, начал делать успехи и регулярно посещал гимназию. Потом вновь начал работать в редакции и снова стал пропускать уроки. Он говорил, что должен работать. В разговоре со мной Коверда жаловался на тяжелые материальные условия. Все преподаватели относились с симпатией к Коверде и относились снисходительно к тому, что он пропускал уроки. Несмотря на это, когда окончились занятия в 8-м классе, возник вопрос, что делать с Ковердой. 21 мая текущего года на заседании педагогического совета было принято постановление об исключении Бориса Коверды из списка учеников гимназии. Мы вынуждены были это сделать на основании существующих правил. Коверда был тихим, спокойным, послушным, сосредоточенным и замкнутым. Характер у него был мягкий. У него никогда не бывало столкновений ни с преподавателями, ни с товарищами. Школьной дисциплине он подчинялся. Он казался спокойным, но нервность его выдавали характерные экспансивные движения и быстрая походка. Я помню такой случай, характеризующий Коверду. Был ноябрь, шел мокрый снег. Вечером после уроков, — у нас уроки происходят вечером, — я встретил Коверду на лестнице в легком пиджаке. Я сказал ему, что, будучи так легко одетым, можно простудиться; он, улыбаясь, ответил, что привык, так как верхнего платья у него нет. Как директор гимназии я могу сказать, что Коверда оставил в гимназии самые хорошие воспоминания. Исключение Коверды на основании постановления педагогического совета было для меня тяжелой обязанностью. Я считал, что он отказался от посещения гимназии, так как он знал, что его товарищи приступают к выпускным экзаменам, а он с поста почти не посещал уроков. Я считаю, что Коверда бросил гимназию. Уже после Рождества он очень редко бывал в гимназии, а после поста совершенно перестал бывать. Наша гимназия частная и без прав. Уроки происходят вечером, ибо, находясь

в тяжелых денежных условиях, мы вынуждены сдавать наше помещение на утренние часы, чтобы этим усилить наши средства. Число учеников незначительное — 101 человек, в том числе 99 русских и 2 еврея. Все это преимущественно дети русской интеллигенции, нередко занятой физическим трудом, ввиду отсутствия другой работы. Белорусская гимназия имеет больше учеников, более 200. Это дети белорусских семейств. Мы вопроса о национальности не исследуем. Если кто-либо хочет к нам поступить и считает себя русским по культуре, мы стараемся его принять. Мы приняли нескольких учеников из русской начальной школы. Поляки к нам не поступают. Был только один случай, что в этом году обратился в нашу гимназию один поляк, приехавший из России с маленьким сыном, и хотел отдать к нам мальчика, но не отдал. О замкнутости Коверды я говорю на основании личных впечатлений. Я никогда не делал Коверде выговоров по поводу пропуска им уроков. Я говорил с ним о плате за учение, и это был для меня тяжелый вопрос. Гимназия наша находится в очень тяжелых материальных условиях, и я должен был знать материальное положение учеников. Так было и с Ковердой. У него были слезы на глазах, когда он говорил, что хочет окончить гимназию, но не может платить. На этой неделе я разговаривал с товарищами Коверды. Они мне говорили, что встречались с Ковердой и рассказывали ему об экзаменах. Коверда загадочно говорил о том, что ему также предстоит сдать экзамен, и потом его товарищи объясняли, что этот экзамен — это его поступок. Общее мнение о Коверде гласило, что это человек безусловно идейный, не бросающий слов на ветер, сосредоточенный, впечатлительный, мягкий, и трудно было поверить, что Коверда мог совершить этот поступок. Всем было ясно, что Коверда переживал что-то крупное, что-то ценное, какую-то тайну. Это было общее мнение товарищей Коверды по гимназии. Коверда был безусловно правдолюбивым юношей. Я не замечал в нем никакой лжи, ничего, что можно было бы отнести к отрицательной стороне в его характеристике. Восемнадцатилетний мальчик работал так, как не мог бы работать взрослый человек, и потому мы до последнего момента оставляли его в гимназии. Я полагаю, что в нашей гимназии большинство учеников дети польских граждан. Сначала было много детей эмигрантов, когда вопрос о гражданстве еще не был разрешен. В списках гимназии Коверда записан как русский. Я считаю Коверду русским. Я спрашивал учителей белорусской гимназии, отчего Коверда ушел из этой гимназии, — и мне было сказано, что там часть учеников принадлежала к коммунистической партии, что Коверда выступил против своих товарищей и что на этой почве ушел. Однако поведение Коверды в этой гимназии было превосходным, и никаких столкновений на поли-

тической почве не было. Нашу гимназию я стараюсь изолировать от политики. Настроение молодежи лишено идейной основы, политикой она не интересуется. Старшее поколение интересуется политическими вопросами. Русское общество говорит о своем горе, о судьбе России, но лишено возможности проявлять общественную жизнь. В газетах говорится о положении эмиграции. Издающаяся в Варшаве газета «За Свободу» очень распространена, также распространены газеты, издающиеся в Париже. Я видел распространяемые среди русского населения монархические воззвания крайнего толка. В нашей гимназии существует маленькая библиотека, состоящая из пожертвованных книг. Коверда, кажется, не пользовался книгами из этой библиотеки, так как она возникла в середине года. Коверда работал в редакции «Белорусского Слова». Газету эту издает д-р Павлюкевич. На религиозные темы я с Ковердой не разговаривал. Его мировоззрение мне не известно».

9. Свидетель Бронислав Д р у ц к о й-П о д б е р е з с к и й: «Я сотрудник еженедельника «Белорусское Слово» и знаю Бориса Коверду с апреля 1925 года как человека трудолюбивого, интеллигентного, нервного и честолюбивого. С первого дня знакомства я считал Коверду решительным противником большевистского строя. Коверда обратился ко мне с просьбой о получении через депутата Тарашкевича визы на выезд в Чехию или Россию. Я обратился к депутату Тарашкевичу, но последний отказал, говоря, что ничего не может сделать для получения визы в Прагу, так как чешское правительство не дает новых стипендий, а визы в Россию устраивать не может, ибо на это не распространяются его связи. Это было в прошлом году, скорее в 1926 году, чем в 1925-м. Я до сих пор работаю в редакции «Белорусского Слова». Мы время от времени получаем русские советские и эмигрантские газеты. Получаем «Руль» и время от времени какие-то парижские газеты. Сотрудники редакции могли пользоваться этими газетами в редакции. Подсудимый Коверда имел доступ к этим газетам: он был корректором и администратором, а в последнее время делал выдержки из иностранных газет и переводил их на белорусский язык. Основной заработок Коверды составлял 150 злотых в месяц. Не получив визы, Коверда жалел об этом. Он несколько раз говорил, что не может выйти из трудного материального положения и не может продолжать образования в тех условиях, в каких находится. Нервность Коверды усиливалась с 1925 года. Чрезмерная нервность его раз проявилась по поводу какой-то мелочи: он хотел даже совершенно покинуть редакцию. В политическом отношении Коверда был противником большевиков. В газете «Белорусское Слово» был отдел, посвященный русскому вопросу. В нем отмечались случаи террора и, давались картинки того, что творится в России. Вопросы о поло-

жении русской эмиграции мы не затрагивали. В последнее время Коверда составлял выдержки из русской зарубежной печати: они касались террора в России. Эти выдержки он делал в течение полугода. В наших статьях мы осуждали большевистский строй. В последнее время Коверда очень часто выявлял свои политические симпатии».

**П р о к у р о р:** «Не говорил ли свидетель с Ковердой по вопросу о его переходе из белорусской гимназии в русскую и о том, что он не окончил гимназию?»

**С в и д е т е л ь:** «Об этом мы говорили мельком. Разговора о выезде Коверды в Варшаву я не помню. Коверда говорил, что тут он не может получить образования и хочет поехать в Россию, чтобы там получить образование и легче его закончить. Я являюсь деятелем белорусского лагеря. Коверда делал выдержки о терроре из газет «Сегодня», «Руть» и «Новое Время».

10. Свидетель Климентий А г а ф о н о в, товарищ Коверды по гимназии, показал: «Коверда был противником большевиков. В Вильне он всегда выступал против них. Был всегда скромным и спокойным. На политические темы со мной не разговаривал. Мы читали парижские газеты. Я учился с Ковердой в седьмом и восьмом классах виленской гимназии Русского Общества. Отчего Коверда ушел из белорусской гимназии — не знаю. Коверда перестал ходить в гимназию, потому что занялся работой в редакции. Вне гимназии я встречался с Ковердой несколько раз на улице. Когда в Вильне демонстрировалась кинематографическая картина «Волжский бурлак», Коверда в моем присутствии сказал, что такие большевистские картины не должны демонстрироваться и что следовало бы, как в Риге, сорвать демонстрацию. В отношениях со своими товарищами Коверда не был разговорчив, скорее был замкнут. Однажды я получил от Коверды парижский журнал «Борьба за Россию». Случая нервности или резкого возбуждения Коверды я не помню».

11. Свидетель Юрий Б е л е в с к и й, сын директора гимназии и товарищ Коверды по гимназии, показал: «Об убийстве Войкова ничего не знаю. О самом Коверде могу сказать, что он мой близкий и хороший друг. Мы познакомились в 7-м классе русской гимназии в Вильне в 1925 году. Борис Коверда был набожным, скромным и симпатичным. Мы его любили и уважали, так как он приходил в гимназию усталый от работы. На его плечах лежала вся тяжесть содержания семьи. Тяжелым трудом Борис Коверда содержал семью. Мы одновременно с Борисом перешли в 7-й класс, но из разных учебных заведений. Мы пробыли вместе два года, но виделись сравнительно редко, так как он пропускал уроки, будучи очень занятым работой. Борис мне говорил, что целыми днями он тяжело трудился в редакции, где он был экспедито-

ром, администратором, корректором и переводчиком на белорусский язык. Борис мне рассказывал, что, когда он поступил в редакцию, там не было служащего, умеющего писать по-белорусски. Коверда делал переводы. Раз я встретил Коверду на улице, он был очень печален и сказал, что ему предложено либо совершенно бросить работу, либо работать даром. Это было в прошлом году. Более месяца Коверда работал почти даром. Я считаю себя русским, Коверда также. Коверда говорил, что очень и очень любит Родину. Говорил, что Родина находится в очень тяжелом положении. Я наблюдал Коверду с 1925-го по 1927 год. Он всегда отличался спокойствием, в последнее время нервности я в нем не замечал и перемены его настроений также не заметил».

12. Свидетель Арсений П а в л ю к е в и ч показал: «Я знаю Коверду три года, он работал в редакции еженедельника «Белорусское Слово», издателем которого я являюсь. Коверда работал в качестве экспедитора и корректора. Он был трудолюбив. Нервность в нем я заметил после перенесенной им тяжелой болезни — скарлатины. Он был очень самолюбив, и на почве этого самолюбия у него бывали столкновения с сотрудниками в редакции. В «Белорусском Слове» он работал от начала существования этой газеты. Получал он 150 злотых в месяц. Мы пережили очень тяжелый денежный момент. Коверда зарабатывал 50—70 злотых в неделю. В материальном отношении ему было очень тяжело, так как он содержал всю семью. Затем положение улучшилось и в течение последних трех месяцев Коверда получал около 100 злотых за дополнительную работу. Зарабатывал он 150—250 злотых в месяц. Литературным трудом Коверда не занимался, так как был слишком молод. Часто делал переводы, был корректором, интересовался религиозным отделом и вступал в переписку с методистами. Любил ходить в церковь и выступал против методистов во имя православия. Соблюдал церковные обряды и ходил в церковь на богослужения. Свой переход из белорусской гимназии в русскую Борис Коверда объяснял материальными соображениями: там нужно было платить, а тут он учился даром. Мы относились к нему как к юноше. Взгляды его были неопределенными. К кому следует причислить Коверду в национальном отношении, к белорусам или к русским, — не знаю. Мы его называли Борисом и о национальности не спрашивали. В прошлом году с ним произошел некоторый перелом. Борис говорил, что не верит в успех Белоруссии и склонялся скорее к нашему направлению. Все же я не могу установить, кем он себя считал: русским или белорусом. С одной стороны — влияние русского отца, с другой — матери и окружающих. Национальное самосознание в Коверде не определилось. В отношениях с сотрудниками редакции у Коверды случались споры, о чем я говорил



при допросе меня судебным следователем. Может быть, это было последствием пережитой болезни, может быть, это было вызвано влиянием тяжелых материальных условий на его учение. Случилось однажды, что я на Пасху уехал на окраины. Все было готово для издания, и номер должен был выйти без меня. Коверда собирался куда-то на праздники. У нас вышла тогда задержка с деньгами, и служащие не получили денег. Коверда получил немного в счет и не мог поехать, куда собирался и не выехал совершенно. Служащие надеялись получить наградные к празднику. Борис Коверда получил меньше, чем то, на что рассчитывал, возмутился и хотел бросить газету, написал на мое имя резкое письмо, но остальные служащие его успокоили, и он работы не бросил. Когда я вернулся, Борис обратился ко мне с просьбой о прощении, на что я ответил, что мы об этом поговорим потом. Коверда сам обратился ко мне и вторично просил прощения. Я ему сказал, что он не должен был так поступать ввиду наших хороших отношений. Он так заплакался, что я сам начал просить у него прощения. Борис остался в редакции и продолжал хорошо работать. До болезни он не был таким нервным, как после нее. После болезни он сделался настолько нервным, что это было почти ненормальным, особенно в последние месяцы. Может быть, эта резкая нервность была вызвана ходом его учения. В прошлом году Коверда хотел выехать в Россию, но скрывал от меня, а на вопрос о своем будущем ответил, что хочет получить высшее образование в России, что рассчитывает на падение большевиков и может оказаться там полезным! В течение последнего года нервность его начала усиливаться. По мере умственного развития в нем резко усиливались его антибольшевистские настроения. В нашей редакции он мог высказывать свои взгляды, и это никого бы не удивило. Поступок Коверды оказался, однако, для нас неожиданным, так как я не заметил, что он вступает на путь, ведущий к опасному поступку. Поступок Коверды вызван его антибольшевистским настроением. Прежняя жизнь Коверды вызвала этот поступок; Коверда — человек, всегда державшийся вдали от своих сослуживцев, искренний, способный на аффект. В последнее время он составлял выдержки из русских газет. У нас был отдел «СССР», и в этом отделе мы сообщали о наиболее ярких событиях из большевистской жизни. Отдел этот составлял Коверда, но руководили им г. Друцкой-Подберезский и отчасти я. Коверда делал выдержки из эмигрантских русских газет: «За Свободу», «Сегодня». О прошлой работе Коверды в 1922 году я ничего не знаю. О случае пожертвования им одного доллара я не помню, хотя знаю, что что-то такое было».

13. Свидетель Альфонс Н о в а к о в с к и й показал: «В связи с совершением покушения на посланника Войкова я произвел обыск в

квартире Бориса Коверды в Вильне. Обыск не дал никаких результатов. В политическом отношении Борис Коверда пользовался хорошей репутацией, ни к какой политической организации не принадлежал. Обыск был произведен для установления, не принадлежит ли Коверда к монархической организации. Коверда ни в каких отношениях с местными политическими деятелями не состоял и ни к какой организации не принадлежал. Русская колония в Вильне немногочисленна, монархистов среди нее около 100 человек. О связи Коверды с монархической организацией не было никаких данных. В квартире Коверды в Вильне мы нашли квитанцию в получении казной Великого Князя Николая Николаевича пожертвованного им одного доллара».

14. Свидетель Ипполит Ю д и ц к и й, служащий одной из виленских типографий, показал: «Об убийстве Войкова ничего не знаю. Бориса Коверду знаю по типографии, в которую он приходил в качестве корректора газеты «Белорусское Слово». Ближе я Коверду не знал. Револьвера ему не продавал».

П р о к у р о р обратился с просьбой о задании Коверде вопроса, купил ли он у свидетеля Юдицкого револьвер и когда именно.

По предупреждении председателя о том, что ему принадлежит право не отвечать на вопросы и что молчание не будет считаться доказательством вины, обвиняемый Б о р и с К о в е р д а заявил, что револьвер он купил у свидетеля Юдицкого полтора года тому назад.

Свидетель Ю д и ц к и й на вопрос председателя ответил, что служил он в Союзе Охраны Безопасности Государства, а в армии не служил.

15. Свидетель Феликс А б р а м о в и ч заявил: «По распоряжению полицейского комиссара Новаковского я разыскивал Юдицкого, который скрылся. Об убийстве посланника Войкова и подсудимом Коверде ничего не знаю».

16. Свидетельница И р и н а К о в е р д а показала: «Я работала в экспедиции, куда меня устроил брат Борис, и получала за это деньги из редакции. О большевиках с братом не говорила. У нас дома бывали такие периоды, что продавалось все, так как не на что было жить. Было время, когда только брат Борис нас содержал».

### **Заключение судебно-медицинской экспертизы**

Профессор Виктор Г р ж и в о - Д о м б р о в с к и й сказал: «Посланник Войков скончался от огнестрельной раны левого легкого. Легкое было прострелено, и произошло внутреннее кровоизлияние в раз-

мере 3600 кубических сантиметров. Выстрел был дан из короткого огнестрельного оружия среднего калибра. Являющийся вещественным доказательством маузер мог быть этим оружием. Кроме этой раны, Войков был ранен спереди в правый бок. Рана эта не нарушила кровеносных сосудов и была легкой раной. Первая рана была безусловно смертельной. Пуля попала сзади, слегка сверху вниз. Порядка выстрелов установить невозможно, они произошли один за другим в короткий промежуток времени, и даже расстояния, на котором были произведены выстрелы, установить нельзя. Смерть наступила не сразу. Направление смертельного выстрела, данного сзади, говорит о том, что раненый был либо более высокого роста, чем стрелявший, либо что раненый после первого несмертельного выстрела отвернулся и наклонился и вторично был ранен сзади. Защита и борьба могли иметь место. Признаков выстрелов, данных в упор, не установлено. Патроны маузера начинены бездымным порохом и на расстоянии 20 сантиметров не оставляют следов ожога. Ввиду того что в данном случае выстрелы ранили сквозь одежду, даже в случае стрельбы в упор — следы пороха были бы на одежде, а не на коже. Что касается личности подсудимого, то болезни, которые он недавно пережил, т. е. скарлатина и дифтерит, могли вместе с неблагоприятными материальными условиями вызвать ослабление способностей владеть собою».

После выслушания показаний эксперта суд возобновляет допрос свидетелей.

17. Свидетель Петр М а й д а ч е в с к и й показал: «Бориса Коверду я знал с начала текущего года. Мы говорили с ним о жизни в России, о переживаниях, и Коверда говорил, что они так подействовали на его нервы, что он не может успокоиться. Коверда говорил, что большевики угнетают русский народ и погубили Россию».

18. Свидетель Дмитрий Г е р а с и м о в показал: «С Борисом Ковердой я познакомился после Нового года. Его отношение к большевистскому строю было отрицательное, а поведение большевиков в России производило на него сильное впечатление».

19. Свидетель Василий Ю ж е н к о : «Я познакомился с Борисом Ковердой в июле прошлого года, работая в качестве секретаря газеты «Белорусское Слово». Частных разговоров я с ним не вел. Коверда производил впечатление противника большевиков. Он возмущался актами большевистского террора».

20. Свидетель священник Иосиф Д з и ч к о в с к и й, духовник Коверды, дававший свои показания на русском языке, показал: «Я Коверду знаю, он мой ученик по русской гимназии. Знаю его как хорошего ученика и христианина. Борис Коверда был христианином не толь-

ко на словах. Он относился к Закону Божьему с особенным вниманием. Посещал церковь. Я видел, что он в семье получил религиозное воспитание, и этим отличался он от остальных моих учеников. Он бывал у исповеди и причастия. В последний раз он исповедовался у меня в прошлом году, я это хорошо помню. В текущем учебном году я был законоучителем в гимназии только до ноября. Я слышал, что на Пасху в текущем году. Коверда исповедывался и причащался».

21. Свидетельница Лидия С в и т и ч показала: «Я живу в одном доме с Ковердой и знаю всю семью Коверда очень хорошо. Борис был исключительно хорошим учеником и сыном: когда семья оказалась в тяжелом положении, он сам работал и зарабатывал на ее пропитание. Борис обладал мягким характером, несколько нервным, был очень добросовестным мальчиком. Я знала его только с наилучшей стороны. Он учился в белорусской гимназии, но дома у них говорили всегда по-русски. Отношение Коверды к большевикам всегда было отрицательное. Борис Коверда — примерный сын, добрый ребенок. О политических убеждениях его ничего не знаю».

По окончании допроса свидетельницы Свитич адвокат Э т т и н г е р заявил, что подсудимый желает дать объяснения, но просит о назначении перерыва.

Председатель объявил перерыв до шести часов вечера.

Многочисленная публика, переполнявшая зал судебного заседания во время свидетельских показаний, была несколько разочарована, так как действительно показания эти не соответствовали по форме и содержанию значению дела. Большинство свидетелей очень волновались и говорили тихим, сдавленным голосом, и только свидетели Л. Белевский и Павлюкевич вложили в свои характеристики Бориса Коверды много сердечности и теплого участия.

Во время перерыва не только зал заседания, но и все здание суда с прилегающим к нему двором были совершенно очищены от публики и наново оцеплены полицией, которая приняла усиленные меры предосторожности, ввиду полученных сведений о том, что вечером в суде может появиться случайный свидетель убийства Войкова — изгнанный из Лондона полпред Розенгольц. Вход в зал заседания поэтому был оставлен еще большими затруднениями, чем с утра, и не принадлежащие к составу суда и свидетелей лица пропускались лишь после трехкратного предъявления документов. Во все время перерыва и позже, вплоть до самого объявления приговора, перед зданием суда продолжали толпиться любопытные.

Заседание суда возобновилось в 6 ч 25 мин вечера, и суд приступил к заслушанию объяснений подсудимого.

## Показание обвиняемого

Коверда поднялся со своего места и громко, отчетливо, на польском языке заявил следующее:

«Я хочу объяснить, каким образом я дошел до покушения на большевистского посла Войкова. Большевистский переворот застал меня учеником реального училища в Самаре. Однажды директор училища перед выходом из школы собрал нас, учеников младших классов, и предупредил, чтобы мы не шли домой по главным улицам. Он сказал, что город занят красной гвардией и что нас могут побить за то, что мы носим форменные фуражки. Я жил тогда в поселке Зубчаниновка, в 17 верстах от Самары, и ездил ежедневно в город. Я на железной дороге ежедневно был свидетелем бесчинств, совершаемых бандами демобилизованных солдат-большевиков. Раз я видел, как такая банда побила начальника станции и бросила в топку машиниста. Потом реальное училище закрылось, и я жил в Зубчаниновке. Там тоже я не раз был свидетелем актов террора. Однажды при мне мучили священника, которого увели куда-то, и я его больше не видел. В другой раз Зубчаниновку заняли красноармейцы. Они ходили по поселку в поисках лошадей и, увидев меня, спросили, где здесь лошади, и прибавили, что побьют меня, если я укажу неправильно. Началась гражданская война, и после чехов Самару заняли красные; и я опять был свидетелем террора в его полном объеме. Пошли расстрелы, грабежи, аресты».

Во время этих показаний Коверду постепенно охватило волнение, и последние слова он проговорил почти плача. Но затем взял себя в руки и продолжал совершенно спокойно и твердо:

«Через год после большевистского переворота наша семья возвращалась в Вильну, и по дороге я опять везде видел большевистские бесчинства. По дороге в Польшу я много слышал о чека. Я был мал тогда, но я помнил, что был в жизни какой-то порядок, а затем наступил хаос. Может быть, со временем я бы все это забыл, но в Вильне я в течение двух лет был экспедитором в белорусских большевистствующих газетах. Я увидел, что эта работа ведется на червонцы, выкованные из церковных ценностей. Хотели и меня втянуть в эту работу, но я перешел в полонофильский «Громадский Голос». Но и тогда я еще мало интересовался борьбой с большевиками. И только перейдя в организацию Павлюкевича, я начал читать о советской революции, начал читать газеты, в том числе и советские, я прочел книгу Краснова, которая произвела на меня большое впечатление. Я читал статьи Арцыбашева<sup>79</sup>, я читал и польские книги, в том числе и книгу о голоде, и я понял, кто виноват в том, что положение России дошло до того, что люди стали людоедами.

Еще в прошлом году я хотел ехать для борьбы с большевиками в Россию. Я говорил об этом моим друзьям. Не знаю, почему они умолчали об этом здесь перед судом. Но пришло время материальной нужды, и мне не удалось осуществить мой замысел. Но когда мое материальное положение укрепилось, я опять начал мечтать о борьбе и решил поехать в Россию легально. Я собрал немного денег и приехал в Варшаву, а когда мне было в этом отказано, я решил убить Войкова, представителя международной банды большевиков. Мне жаль, что я причинил столько неприятностей моей второй родине — Польше. Вот в газетах пишут, что я монархист. Я не монархист, а демократ. Мне все равно: пусть в России будет монархия или республика, лишь бы не было там той банды негодяев, от которой погибло столько русского народа.

Это заявление Коверда произнес при напряженном внимании всех присутствовавших.

Председатель обратился к сторонам с вопросом о том, чем желают они дополнить судебное следствие.

Прокурор обратился к суду с просьбой задать подсудимому следующие вопросы: 1) почему он знал Войкова и каким образом ориентировался, что стреляет именно в него, и 2) откуда знал, что Войков будет на вокзале.

В ответ на эти вопросы подсудимый, предупрежденный о том, что он может не отвечать и что молчание не будет почитаться доказательством вины, заявил: «Я знал Войкова по фотографиям, печатавшимся в иллюстрированных изданиях. Кроме того, я видел его в советском консульстве. О том, что Войков должен быть на вокзале, я узнал из газет — я прочел, что Войков выезжает в Москву. Я знал, что есть только один скорый поезд, отходящий в советскую Россию в 9 ч 55 мин утра, и знал, на каком пути этот поезд стоит. Я хочу еще прибавить, что я убил Войкова не как посланника, а как члена коминтерна».

Адвокат Недзельский обратился к суду с просьбой задать подсудимому вопрос о том, не помнит ли он, какая последняя прочитанная им книга произвела на него решающее впечатление.

На этот вопрос, предупрежденный председателем о праве не давать на него ответа, подсудимый Коверда ответил: «Последняя книга, которую я читал, были «Записки писателя» Арцыбашева.

Защитник Андреев обратился к суду с просьбой о присоединении этой книги к делу и о разрешении защите ссылаться на нее.

Прокурор заявил, что экземпляр этой книги (найденный в вещах Коверды) был предметом осмотра по настоящему делу, и отметил, что ссылки на «Записки писателя» вообще не имеют никакого значения, но экземпляр книги с собственноручными отметками Коверды

свидетельствует о его психологии и потому против присоединения этого экземпляра к делу он не возражает.

Защитник А н д р е е в заявил, что отказывается от своей предшествовавшей просьбы и просит о присоединении к делу принадлежащего Коверде экземпляра, прибавляя, что, по словам Коверды, экземпляр этот был у него отобран вместе с остальными его вещами.

С у д п о с т а н о в и л: определить содержание пакета, заключающего часть вещественных доказательств, а именно, как выяснил осмотр:

1) Дело Виленского Окружного Суда в Вильне Уг. № 289/25 о Ионе Тененбауме, он же Кауль Вальтер, он же Ян Рейнер, Арсени Канцевском и Алексее Сологубе, обвиненных по ст. 102 ч. I Уг. Код.

2) Книгу Арцыбашева «Записки писателя» с подписью на первой странице карандашом «Борис Коверда» на русском языке и с различными подчеркнутыми местами и приписками в тексте.

3) Несколько экземпляров издающейся в Риге газеты «Сегодня» за 1925 год.

4) Папку, содержащую: а) конверт с квитанцией в получении одного доллара и двумя фотографиями Бориса Коверды, б) справку об ученике 7-го класса виленской 8-классной гимназии Русского Общества, в) метрическое свидетельство о рождении Бориса Коверды, г) заполненное Ковердой в русском (советском) консульстве анкеты и его же прошение в это консульство.

5) Книгу Ант. Стародворского п. н. «Советка Реформа Рольна» («Советская земельная реформа») с надписью на обложке по-польски «Ратунку» и по-русски — «Помоги».

Ч р е з ы ч а й н ы й С у д п о с т а н о в и л: присоединить к делу: 1) протокол осмотра и вскрытия трупа посланника Войкова (стр. 16—20, акт С.С.1), 2) протокол осмотра чемодана Бориса Коверды (стр. 14 а. С.С. I), 3) протокол осмотра отобранных у Коверды револьвера и патронов (стр. 59 а. С.С.1), 4) протокол осмотра бумаг, документов, книг и газет (стр. 67—67 а. С.С.1.) и разрешил сторонам ссылаться на них.

### Допрос Розенгольца

Судебный пристав сообщил, что свидетель Аркадий Р о з е н г о л ь ц, поверенный в делах СССР, прибыл в суд.

Мы несколько ниже приводим показания Розенгольца в той протокольной форме, в которой они зафиксированы в польском издании, с которого мы делаем настоящий перевод, но, прежде чем сделать это,

необходимо остановиться на некоторых характерных подробностях появления Розенгольца в варшавском суде на процессе Коверды.

Польская брошюра почему-то умалчивает о том, что в 7 ч. вечера суд объявил перерыв, который должен был быть кратким, так как о приезде Розенгольца в Варшаву было уже известно и ждали только его приезда в суд. Но бывший лондонский полпред заставил себя ждать. Он приехал в суд только в 8 ч 45 мин вечера.

Ожидание это прошло в зале суда в томительной атмосфере. Сам Борис Коверда сохранял все время спокойствие, улыбаясь беседовал со своими защитниками, но в публике заметна была известная нервность. Хотя господствовало общее убеждение в том, что суд не может приговорить Коверду к смертной казни, теоретически эта возможность все же существовала и казалась некоторым неисключенной в той напряженной политической обстановке, которая после убийства Войкова создавалась в польско-советских отношениях.

Когда суд занял свои места и председатель обратился к судебному приставу со словами: «Введите свидетеля Розенгольца», все глаза обратились к двери в глубине зала, через которую вошел в него невысокий, плотный, хорошо одетый и еще не старый брюнет — изгнанный из Англии советский представитель, по пути в Москву присутствовавший при убийстве Войкова.

Побывав в Москве, Розенголец несколько оправился от того панического страха, в котором он находился в день убийства Войкова, но все же в суд он прибыл в сопровождении усиленной охраны: несколько польских полицейских и несколько гебистов из полпредства привезли его в закрытом автомобиле в суд, провели сквозь ряды публики к свидетельской скамье и никого не подпускали к нему до того момента, когда во время речи защитника Недзельского Розенголец поднялся со своего места и в сопровождении своей полицейской свиты и советских «журналистов» Братина и Ковальского вышел из здания суда.

Польская брошюра передает показания Розенгольца следующим образом:

На вопрос п р е д с е д а т е л я, обращенный к свидетелю, о том, понимает ли он по-польски, свидетель Р о з е н г о л ь ц дал отрицательный ответ. Ввиду того, что свидетель Розенголец не понимает по-польски, чрезвычайный суд постановил вызвать в качестве переводчика чиновника канцелярии председателя варшавского окружного суда Климентия Шероноса.

Стороны выразили согласие на допрос свидетеля Розенгольца на основании ст. 713 Уст. Уг. Судопр. и освободили переводчика от присяги на основании той же статьи.



Чрезвычайный Суд постановил: допросить свидетеля Аркадия Розенгольца без присяги на основании ст. 713 Уст. Уг. Судопр. и на основании той же статьи освободить от присяги эксперта-переводчика.

Свидетель Аркадий Розенголец показал через переводчика на русском языке следующее: «Из Берлина я уведомил по телеграфу посланника Войкова о том, что буду в Варшаве. Посланник Войков встретил меня на вокзале вместе с сотрудником полпредства Григоровичем. Узнав от меня, что я ни в чем не нуждаюсь и никаких поручений Григоровичу давать не собираюсь, посланник Войков Григоровича отослал. С посланником Войковым мы сперва зашли в вокзальный буфет, затем посланник Войков показал мне свой автомобиль, после чего мы вернулись на вокзал. Мы шли по перрону и разговаривали. Посланник Войков сказал мне: «Чтобы узнать страну, надо прожить в ней несколько лет...» В этот момент мы услышали где-то совсем близко несколько выстрелов. Не знаю, стрелял ли убийца спереди или сзади. Когда раздался выстрел, все разбежались. Я отошел в сторону, обернулся и увидел посланника Войкова, который бежал в направлении, противоположном тому, по которому мы шли. Я не полагал, что в Варшаве возможно такое преступление и что это стреляют в посланника Войкова. Вслед за Войковым бежал какой-то человек с револьвером и стрелял. Сделав несколько шагов, Войков остановился, выхватил револьвер и выстрелил два раза в нападавшего, потом заколебался и упал на руки подбежавшего полицейского. Убийца, отбегая, проделывал какие-то манипуляции с револьвером. У меня создалось впечатление, что он хочет его вторично зарядить. Он сдался подбежавшим полицейским, подняв револьвер вверх. Посланника Войкова мы перенесли в одно из помещений вокзала, затем перевезли его в карете скорой помощи в госпиталь, где он скончался в моем присутствии. Я общался с Войковым несколькими словами, после того как он был ранен на вокзале. Войков жаловался, что ему тяжело лежать на спине, присел, но ему сделалось еще хуже. Затем он попросил вызвать двух профессоров, которых назвал. Ни о причине убийства, ни о личности убийцы мы с Войковым не говорили. На вокзале я слышал сказанное убийцей одному из полицейских слово «Русь».

По окончании этого допроса председатель обратился к сторонам с вопросом, не желают ли они какого-либо дополнения следствия. Стороны никаких пожеланий по этому вопросу не высказали.

Защитник Андреев от имени защиты обратился к суду с просьбой о перенесении прений сторон на следующий день. Остальные защитники присоединились к этой просьбе.

**П р е с е д а т е л ь** разъяснил, что судебное следствие закончено и что просьба защиты не может быть удовлетворена, так как состав суда принимает участие в рассмотрении одного дела в пятницу и должен к этому подготовиться.

По окончании прений сторон, текст которых приводится нами ниже, суд предоставил Коверде право последнего слова, от которого Коверда отказался, а затем в 11 ч 45 мин удалился на совещание, продолжавшееся до 12 ч 35 мин. По окончании этого совещания председатель суда огласил приговор, текст которого нами также приводится, присовокупив, что приговор этот является окончательным и обжалованию не подлежит.

### **Прения сторон. Речь прокурора Казимира Рудницкого**

Господа судьи! Трагизм рассматриваемого сегодня дела усиливается несомненно в значительной степени вследствие того обстоятельства, что посланник великой державы, русский по национальности, убит на чужой для него территории 19-летним гимназистом, также русским по национальности. Ибо Коверда безусловно является русским. Он является русским не только по происхождению, не только по языку, не только по вероисповеданию, которое, как мы слышали, является для него чем-то большим, чем простая отметка в паспорте, но прежде всего по одушевляющей его экзальтированной, плохо понятой, ведущей на неверные пути, но тем не менее глубокой любви к своей родной стране.

Польский гражданин, воспитанный на польской территории, считающей Польшу, по собственному заявлению, своей второй родиной, он, хотя и жалеет о вреде, нанесенном Польше своим поступком, не сомневается, однако, в том, что вред этот оправдывается полезным, в его глазах, его первой родине поступком. Мать его говорит о возвращении в Польшу как о возвращении на родину; для нее Вильна, где она прожила долгие годы, где она родилась, где создалась ее нынешняя семья, это родина, к которой она стремится и на которой желает жить. Для ее сына родиной является Россия, а сам он в собственных глазах — эмигрант с этой родины, изгнанник, тоскующий по ней, думающий о ее величии и могуществе, беспокоящийся о ее судьбе.

И на какие бы ошибочные пути ни привела бы его эта любовь, мы не можем не принять во внимание той правды, что любовь эта в нем живет, управляет его неопытным разумом, направляет его ошибочные, преступные шаги.

Но, господа судьи, мы не можем считать убийство посланника Войкова спором между нынешней и будущей Россией или между Россией сегодняшнего и Россией вчерашнего дня и тем более не можем стать на ту точку зрения, что приговор наш должен разрешить великий процесс между двумя частями одного народа. Мы ни на минуту не можем останавливаться над вопросом, кто прав: нынешние ли правители России или та эмиграция, которая, усталая и возмущенная, как каждый лишенный родины человек, желает ввести в России какой-то новый порядок. Мы не можем разрешать этого спора и касаться его не только потому, что никто из современников не в состоянии решить, на чьей стороне правда в великих исторических переворотах, но еще и потому, что это спор русских с русскими, спор в чужом государстве, борьба сил в чужом общественном организме.

Мы не можем также поднимать вопроса о том, был ли или не был террористический поступок Коверды вызван и оправдан террором в России. Мы не можем ставить этого вопроса так, как поставил его русский писатель, книжка которого была для Коверды постоянным и направляющим чтением. Мы не можем спрашивать, кто «первый» начал применять террор. Террор не исчерпывает содержания революций, он является лишь слишком часто применяемым методом борьбы, и я думаю, что история, указывая на достижения или отдавая должную дань революционным переворотам, никогда не найдет слов оправдания для террора. Конечно, террор не перечеркивает достижений Великой французской революции, но все то, чего эта революция добилась для человека и гражданина, не освящает и не оправдывает гибели тысяч человеческих существований.

Террористический акт всегда является преступлением, человеческий суд должен его преследовать и карать виновных. И, оставляя в стороне те факторы, о которых я упоминал и которые могли бы нарушить спокойствие, необходимое для вынесения приговора, мы должны заняться сегодняшним делом, как делом об убийстве посланника Петра Войкова Борисом Ковердой.

С таким подходом к вопросу очень сильно соединяется мысль о вечной, никогда не умолкающей человеческой гордыне. Коверда убил за Россию, говоря этим, что стреляет от имени России. Право выступления от имени народа он присвоил. Никто его не уполномочивал ни на борьбу от имени России, ни на месть от ее имени. Он узурпировал это право говорить от имени народа или, по крайней мере, от имени той его части, которую он считает народом. Он сам принял на свои плечи тяжесть преступления, не находящегося ни в чьих интересах, ничего не разрешающего, ничего не начинающего и ничего не кончающего. Если

бы мы хотели воспользоваться простым сравнением и представить великие волны исторических процессов в образе морских волн, которые, ударяясь о берег, вырывают в нем все новые линии и формы, то мы должны были бы считать Коверду одной из тех мелких капель воды, одним из тех атомов, которые составляют волны, но являются лишь их мельчайшей частицей, такой частицей, которую волна несет, бросает ее, пользуется ею как своим орудием... Коверде казалось, что в его власти изменить направление волн своим чувством, своей мыслью и своим поступком. В нем заговорила извечная гордыня человеческой личности. Он забыл о тех великих и таинственных силах, которые управляют ходом истории, о скрещении всех тех влияний, свидетелями результата которого мы являемся, не понимая одновременно, вследствие каких законов он возникает. Коверде показалось, что он, бесконечно малая частица, сможет изменить бег волны, укрепить ее силу, уничтожить отпор прибрежных скал. Он поверил, что ему известна правда, что он является выразителем этой правды, ее законодателем и мечом. Он забыл о том, что даже величайшие человеческие умы не познавали исторической правды в моменты возникновения исторических перемен, а что же говорить о его наполовину юношеской, несерьезной мысли. Он забыл, наконец, что, для того чтобы судить о своей стране, чтобы осуждать тех людей, которые являются ее выразителями в данный исторический момент, необходимо жить в этой стране, быть свидетелем событий, вдумываться и проникать чувством в чужие поступки и быть неслыханно осторожным, как в осуждении, так и в похвале... Так же трудно различить, что является непреодолимой исторической необходимостью, а что — злой человеческой волей, как легко быстро осудить и скоро — совершить акт мести.

И так, как в той великой волне, которая подтачивает гранит, лишь малой частицей был покойный посланник Войков, так же малой частицей является подсудимый. В хаосе страшного циклона, в борьбе стихий разыгралась драма двух атомов. Они столкнулись и в этом столкновении разбились. Один физически, другой морально. Какова будет судьба брэнной жизни этого второго — разрешите вы, господа судьи!

И мы должны принять во внимание только это столкновение двух атомов, на которое я уже столько раз указывал, мы должны познакомиться со всем тем, что влияло на душу Коверды, что вызвало его поступок, чтобы определить за этот поступок соответствующее наказание.

Прежде всего мы должны заняться рассмотрением вопроса о том, было ли преступление, совершенное Ковердой, следствием заговора какой-либо организации или слабо между собою связанных, но действующих сообща нескольких лиц. Обыски, произведенные среди русских

эмигрантов, у лиц, которые по тем или иным причинам казались полиции подозрительными, не дали никаких результатов. Ни в Вильне, ни в Варшаве, ни в Белостоке не были обнаружены никакие нити, связывающие Коверду с кем-либо, кто мог бы быть его вдохновителем или помощником в его кровавом поступке. Очевидно, что эти негативные данные не исключают возможности существования распространенного террористического заговора против представителей СССР в Польше. Помоему, однако, эту возможность исключают обстоятельства, предшествовавшие покушению и сопровождавшие его выполнение. Коверда, как известно, прибыл в Варшаву 23 мая, следовательно — за две недели до убийства. Он остановился первоначально на одну ночь в гостинице «Астория», а затем в течение двух недель снимал угол, платя злотый за каждую ночь, без прописки, в убогой квартире Фенигштейн. Разве организация, своевременно обдумывающая покушение и заботящаяся об его исходе, не снабдила бы своего представителя возможностью легального пребывания в Варшаве, дав ему хотя бы поддельный паспорт — которого, как мы знаем, у Коверды не было совершенно — и значительную сумму денег, облегчающую, может быть, трудное, но во всяком случае, возможное бегство? Между тем денег, как мы знаем, в день покушения Коверда не имел. Разве организация, затем, не сделала бы попытки облегчить ему бегство, хотя бы приготовив автомобиль? А ведь мы знаем, что Коверда после покушения не сдвинулся с места, спокойно ожидая, пока полиция подойдет и арестует его. Очевидно, что о бегстве его никто не думал, что с точки зрения заговора невероятно, хотя бы во имя безопасности других заговорщиков, которых власти могли бы разыскать, имея в своих руках физического исполнителя покушения. Поведение Коверды по отношению к посольству в высшей степени неумное со стороны заговорщика. Он почти ежедневно бывал в консульстве, ходатайствуя о бесплатном проезде в Россию, где, как он нам здесь говорил, он имел намерение вести борьбу с правительством. Такие почти ежедневные визиты давали возможность заметить и запомнить его, могли вызвать подозрение, могли вызвать интерес к его личности и намерениям, могли довести до раскрытия заговора, если бы за спиной Коверды был заговор, и до предотвращения покушения. А между тем до 1 июня, до даты окончательного отказа со стороны консульства, Коверда, не скрывая своей фамилии, находится там, оставляет свою фотографию, одним словом, поступает так, как поступать заговорщику нельзя, как ни один заговорщик не поступает. Наконец, самое покушение на посланника Войкова произведено им в очень неудобных для этого условиях. Основываясь на газетных сообщениях, Коверда ежедневно поджидает Войкова в течение нескольких дней на одном и том

же месте, совершенно не зная, когда произойдет предполагавшийся отъезд посланника в Москву и произойдет ли он вообще. А между тем для людей, хоть немного знающих образ жизни посланника, могло быть известным, что его легко встретить — как это показал свидетель Григорович — без всякой охраны, то гуляющим по улице, то управляющим автомобилем, то едущим в моторной лодке по Висле. Возможность встречи с посланником в течение четырех или пяти дней была более вероятной где бы то ни было, чем на главном вокзале, день прибытия посланника на который был неизвестен, а возможность бегства после покушения — очень невелика.

Все эти внешние обстоятельства, сопутствующие покушению, указывают несомненно на то, что Коверда совершил его один, без чьей-нибудь посторонней помощи.

Что, однако, вызвало это страшное решение подсудимого, что толкнуло его на поступок, неожиданный для поляков и для тех, кого он коснулся?

Очевидно, что годы, прожитые Ковердой в России, не были причиной этого. Гражданская война в России оставила в нем туманные воспоминания, не непосредственные впечатления от тех ужасов, с которыми связана всякая гражданская война. Такие воспоминания могли бы запасть в его душу очень глубоко, если бы он переживал их непосредственно, если бы он собственными глазами видел пролитие братской крови. Но, как мы знаем, самые страшные вещи доходили до него, 13—14-летнего мальчика, лишь в форме рассказов. Его собственные переживания, особенно в той наивной форме, в которой он о них сегодня нам говорил, совершенно лишены признака глубокой трагедии. Эти детские неприятности, как снятие ученической шапки, как угроза избиения в случае неверных указаний, даже как закрытие школы, которую он посещал, могли, несомненно, глубоко запасть в душу ребенка и жить в ней как неприятные, раздражающие воспоминания, но они не могут быть тем материалом, который сам по себе в состоянии вызвать катастрофический взрыв. Мне кажется, что другой фактор воспитывал душу Коверды и заботливо развивал в ней элементы ненависти и мести. Этим элементом была та литература, вернее, журналистика, которой Коверда питался в течение нескольких последних лет. Он рано начал жить в мире газетных, всегда подбираемых к направлению газеты, сведений. Мы ведь знаем, что в последнее время он, кроме чисто технической работы, выполнял для газеты, в которой работал, особые выдержки, касающиеся тех мрачных событий, которые, по мнению большей части прессы, а особенно эмигрантской, составляют содержание жизни современной России.

Я сказал сегодня: чтобы судить свою страну, надо жить в ней, в ней работать, в ней страдать. Нельзя, однако, судить ее, живя в атмосфере печатного слова, газетных заметок и эмигрантского раздражения, ибо суд этот никогда не будет глубоким и верным. Та искусственная атмосфера, в которой билось сердце Коверды, не могла не образовывать его мысли и воли. Живя в состоянии постоянного возбуждения, Коверда однажды вернулся к воспоминаниям детства, о которых говорила нам его мать, захотел стать, как герой его мечты, Сусанин, спасителем гибнущей России и начать борьбу с теми, кого он безапелляционно считал ее врагами и угнетателями. Реально мысль эту он ясно себе не представлял. Либо выезд в Россию и там — какая-то организация, какое-то объединение единомышленников, а может быть, только какие-нибудь террористические акты, либо, в случае невозможности выезда, какое-то убийство, необходимое для пробуждения пассивной, по мнению Коверды, эмиграции. Хаос мысли, насыщенный тяжким запахом крови. Если мы прибавим, что его экзальтированная и фанатическая природа, не могущая найти никакой благородной формы для осуществления своих мечтаний о служении Родине и видящая это служение прежде всего в совершении преступления, столкнулась с книгой, написанной, может быть, с болью в сердце, но полной, с одной стороны, ненависти к людям современной России и, с другой, индугенции для каждой мысли и каждого действия, направленного против этих людей, то мы должны безусловно признать, что не русская действительность, а ее отражение в зеркале журналистики было тем фактором, который вызвал смерть посланника Войкова.

В психике Коверды, в его впечатлительности мы должны искать ответа на вопрос, превосходил ли кровавый поступок его душевные силы, мог ли он родиться на их почве или должен был кто-то Коверду настраивать. Я утверждаю, что в не успокоившейся до сегодняшнего дня атмосфере русских взаимобвинений и борьбы экзальтированная и неуравновешенная душа Коверды самостоятельно выковала проект убийства.

Я могу не останавливаться пространно на юридическом определении поступка. Факт, что убийство посланника Войкова произошло на основе продолжительных размышлений о необходимости применения террора по отношению к отдельным лицам, находящимся у власти в советской России, что конкретный план существовал в мыслях Коверды в течение нескольких дней, что он систематически искал встречи со своей жертвой, что, наконец, после самого факта убийства он не выражал никаких признаков того возбуждения, о котором говорит ст. 458 Уг.

Код., позволяет мне с полной решительностью и без колебания установить, что иной квалификации, чем та, которую предусматривает ст. 453 Уг. Код., в данном случае быть не может. Безусловно следует исключить квалификацию ст. 467 второй части Уг. Код.

Цель Коверды была так несомненна, его стремление лишить посланника Войкова жизни установлено с такой безусловностью, что нельзя допустить возможности квалификации поступка Коверды как тяжкого ранения со смертельным исходом.

Вопреки сообщениям, распространяемым некоторыми иностранными газетами о том, что посланник Войков скончался вследствие запоздалой и недостаточной медицинской помощи, следует констатировать, что «скорая помощь», вызванная немедленно после покушения, прибыла через десять минут после выстрела. Посланник Войков, немедленно перевезенный в госпиталь Младенца Иисуса, был перенесен в операционную залу, где тут же перед началом операции скончался в 10 ч 40 мин, т. е. через неполные 50 минут после ранения.

Если же мы затронем вопрос о подсудности дела чрезвычайному суду, то очевидно, что сомнения, кроме разрешенного вопроса о квалификации преступления, может вызывать только то обстоятельство, что посланник Войков не был государственным служащим Речи Посполитой Польской, а представителем иностранной державы. Прежде всего мы должны констатировать, что в тексте распоряжения совета министров от 28 декабря 1926 года предусмотрено предание чрезвычайному суду за убийство «официального лица». И вот, может возникнуть вопрос, пользуются ли особой защитой лишь официальные лица Польского государства или всякого другого государства, поскольку они сделались предметом покушения по поводу или во время исполнения своих служебных обязанностей. Из объяснений Коверды ясно, что он убил посланника Войкова именно как представителя советской власти. Должность и обязанности посланника иностранной державы не могут быть приняты и выполняемы без соизволения той власти, которая правит государством, в которое назначен посланник. В Польше, согласно конституции, посланник не может выполнять своих обязанностей без принятия его верительных грамот президентом Речи Посполитой. Таким образом, выполнение его обязанностей зависит не только от назначения со стороны его государственной власти, но также безусловным условием этого выполнения является согласие власти государства, в которое он назначен. Так, в лице посланника объединяются до некоторой степени элементы государственного служащего иностранного государства и государственного служащего страны, на территории которой он действует. Характер деятельности посланни-



ка, состоящий в разрешении ряда вопросов, касающихся интересов обоих государств, еще более подчеркивает правильность такой точки зрения. Практика судов, дававших разъяснения о применении кодекса, ныне имеющего законную силу на польской территории, шла в том же направлении. Верховный трибунал в Вене разъяснил по поводу избиения русского пограничника при задержании контрабандиста на австрийской территории, что виновный не подлежит тому наказанию, какому подлежал бы за избиение австрийского пограничника, только потому, что со стороны русского пограничника имели место незаконные действия; а в другом, совершенно аналогичном, случае тот же трибунал признал, что немецкий таможенный служащий находится под той же защитой закона, что и австрийский таможенный служащий, в случае совершения над ним насилия, ввиду того что между Австрией и Германией существует конвенция, дающая таможенной страже право действовать на австрийской территории. Является несомненным, что раз целая часть административного аппарата может пользоваться на основе особых международных соглашений правами, сравниваемыми иностранного чиновника с собственным, то тем более посланник иностранной державы, обладающий на основании трактатов, постановлений Конституции и дипломатических обычаев особыми полномочиями, дающими ему право действовать официально на чужой территории, должен пользоваться той же защитой, что и чиновник того государства, в котором посланник официально действует.

Коверда, господа судьи, должен понести суровое наказание. Даже несмотря на его молодой возраст, очень суровое. Ибо его вина невыразимо тяжка. Его выстрел убил человека, убил посланника, убил иностранца, который жил на польской земле, веря в свою безопасность.

Речь Посполита, которая вашими устами скоро скажет свое слово, должна осудить и сурово наказать этот выстрел, выстрел неразумный и фатальный, эхо которого дай бог чтобы перестало греметь после слов вашего приговора. Слишком тяжко оскорблен авторитет Речи Посполитой, чтобы она могла быть милостивой. Она сама себе обязана большой строгостью по отношению к виновному. Поэтому и вы не можете не быть строгими.

Через несколько минут вы, в ваших сосредоточенных мыслях и чувствах, должны превратиться в мысль и чувство Речи Посполитой, должны беспокоиться ее беспокойством, возмущаться ее гневом и наказать на основе ее мудрости. А если вы захотите проявить сострадание на основе того милосердия, которое есть в Речи Посполитой, то взвесьте и помните, что это не вы, а она будет проявлять милосердие.

Защитник **М а р и а н Н е д з е л ь с к и й**: Господа судьи! В истоках человеческого существования кроется возникновение той заповеди, которая заключается в простых словах: не убий! Еще тогда, когда велась обычная будничная борьба за каждое приобретение, когда более сильный перегрызал более слабому горло в борьбе за пищу, в человеческой душе зарождалось понимание того, что существование и развитие человечества должно быть основано не на убийстве, а на уважении к человеческой жизни. Это неясное, подсознательное чувство в течение тысячелетий пустило в человеческих обществах такие глубокие корни, что превратилось в главную и самую важную заповедь среди тех заповедей, на которых основано существование мира. Почти 2000 лет прошло с того момента, когда Великий Учитель придал этой заповеди, уже созревшей в представлении лучших современных людей, новое глубокое значение и содержание, сказав: «Люби ближнего, как самого себя» Вся позднейшая история Европы и мира является только борьбой за воплощение этих святых заповедей в жизнь. Среди преследований и битв, среди религиозных диспутов и ученых споров одна идея росла и крепла, идея необходимости дать человеческой жизни защиту, ибо это является основным условием всякого прогресса, без которого невозможно представить себе истинную цивилизацию. И вот в XX столетии казалось, что близок момент полного триумфа этой святой заповеди. Сознание ее правды сделалось общим во всем мире, и только в самых глухих его уголках, на островах среди океана, сохранились следы людоедства. А у народов цивилизованных продолжало существовать лишь понятие о допустимом пролитии крови в военных столкновениях, в защите прав и интересов отдельных народов. Но и эти пережитки прошлого уже колебались под могучим дуновением идеи всеобщего мира, могущего раз навсегда вычеркнуть войну из числа средств к разрешению человеческих споров. И вот в этот исторический момент на востоке Европы разверзлись врата ада и на земной поверхности оказалась кучка лжепророков, провозглашающих новые принципы: ошибочен путь, по которому до сих пор шло человечество, бесплодна любовь к ближнему. Лишены всякого значения завоевания христианской этики в человеческой совести и писанные законы народов, убийство и месть являются заповедью будущего, которое следует строить на крови и развалинах.

«Мы уничтожаем девять десятых человечества, ради того чтобы одна десятая дождала до победы большевизма», — сказал первый пророк Ленин. «Единственной формой победы является уничтожение противника», — прибавил второй пророк Троцкий. Третий, Бухарин, заявил, что

только казни и убийства образуют сознание коммунистического человека. Дзержинский считал кровавый террор чрезвычайчак признаком народного гнева, получившего систематическое оформление. Зиновьев прославляет убийства сотен тысяч людей, называя их славой русской революции. Диктатор Украины, Лацис, цинически выдвигает новый принцип юстиции, перед которым содрогнулась бы даже душа полудикого, примитивного человека: «Не ищите доказательств того, что подсудимый словом или делом выступал против советской власти. Первым вопросом должно быть, к какому классу он принадлежит. Это должно решить вопрос о его судьбе. Нам нужно не наказание, а уничтожение». А существует, кроме того, заявление одного из этих лжепророков, которое, как молния, освещает самые глубокие тайники темной души новой религии и возглашает миру смертный приговор всем достижениям христианской цивилизации. «Долой любовь к ближнему! — сказал Луначарский. — Мы должны научиться ненависти. Мы ненавидим христиан, даже лучшие из них — наши враги. На знаменах пролетариата должны быть написаны лозунги ненависти и мести» И из всех этих заявлений выпирает одно-единственное слово — убий, убий, убий!.. Убий старика и ребенка, убий солдата и гражданина, убий пастыря, убий женщину, убий незащитного больного, убий...

Кто-нибудь может подумать, что нет той сатанинской силы, которая могла бы воплотить эти страшные лозунги в жизнь. Напрасная наивность! Банда кровожадных палачей захватила в свои руки власть над великой русской страной и совершила преступление, погрузив целый народ в море крови и слез. Пущена в ход машина уничтожения, убившая несчетное число людей. По подсчетам С. Мельгунова — 1 700 000 человек убито по распоряжению кровавой чрезвычайки. Кто же не понимает того, что, когда совершался этот кровавый погром, ужас охватил весь русский народ, и всеми возможными путями вырывались из пределов страны многочисленные изгнанники, которые, спасая свои головы от меча палачей, потеряли все, что было им дорого: потеряли родину, потеряли родную землю, потеряли имущество.

Русский эмигрант! Кто лучше понимает твоё несчастье, чем поляк, который в истории собственного народа в течение стольких лет сам был изгнанником. Кто лучше понимает твою горе, русский изгнанник, чем народ Адама Мицкевича, который сказал, что нет слов для определения пределов несчастья изгнанников...

А нужно помнить, что трагедия русской эмиграции, быть может, больше трагедий других эмиграций, когда-либо существовавших. Ибо те, кто овладел Россией, захлопнули немедленно двери родного дома перед тем, кто ушел в изгнание. И им было сказано: нет у вас родины вове-

ки, никогда не будет вам позволено вернуться на родную землю! И это запрещение проводится в жизнь по отношению ко всем эмигрантам: как по отношению к тем, кто хотел бы вернуться на родину для начала новой борьбы, так и по отношению к тем, которые жаждут начать на родной земле новый труд, как, наконец, и по отношению к тем, которые ни о чем не думают и ничего не проектируют, а только не могут больше жить вдали от родного края, которые желают вернуться на родную землю только для того, чтобы припасть к ней лицом и оросить ее сердечными слезами.

Не права поэтому та часть польского и европейского общественного мнения, которая осуждает поступок Бориса Коверды за то, что он совершил его на чужой земле, вопреки правилам гостеприимства. Ибо Коверда рассуждал так же, как рассуждал здесь господин прокурор. Он хотел поставить на карту свою молодую жизнь и свести счета в самом советском притоне. Но ему было отказано в паспорте. Ему преградили путь страх комиссаров за собственную безопасность, страх, всегда характеризовавший палачей, не заботящихся лишь о чужой жизни и равнодушных к стонам и крикам отчаяния. Вот почему то, что должно было произойти, произошло не на русской, а на польской гостеприимной земле. А истинным виновником этого является не Борис Коверда, а советский строй, который, с одной стороны, поддерживает ненависть и отчаяние в душах эмигрантов, искусственными мерами принуждает их к жизни на чужбине, а с другой стороны, посылает за границу своих представителей, выставляя, таким образом, людей, являющихся живым символом кровавой большевистской теории и олицетворением источника несчастий всей эмиграции. Нужно же сказать себе, что вся Европа усеяна миллионами людей, могущих предъявить большевизму ужасные счета, счета не на жизнь, а на смерть: одной частью этих людей является миллион эмигрантов, коренных русских, которым больше нечего терять, так как их лишили всех моральных и материальных ценностей, за ними следуют иностранцы, жившие и работавшие в России, которых также лишили всего: те поляки, французы, немцы, англичане, которые шли в Россию полные сил и культуры, знания, капитала и которых современная Россия изгнала из своих пределов, оставив им лишь нищенский посох. Есть, наконец, третья категория людей, ненавидящих большевизм и советскую власть за то, что они делают здесь, на собственной нашей земле, поджигая наш дом. Они хотят взорвать этот дом, уничтожить быт, нашу культуру, нашу государственность, нашу цивилизацию. Что может быть более бесспорного, чем права самозащиты, кто может требовать от европейца, чтобы он спокойно ждал обвала своего дома, кто может удивляться тому, что в Европе растет

число активных людей, полных молодой энергии, готовых заставить большевиков отозвать из Европы свои разрушительные представительства? Европа усеяна миллионами людей, видящих собственное спасение и спасение мира в уничтожении большевизма. И вот, в этих условиях, по столицам Европы проходят многочисленные советские дипломаты, для которых их правительство требует таких условий безопасности, чтобы волос не упал с их головы. Оно требует безусловной гарантии, что жизнь их безусловно будет защищена. Оно требует этого во имя европейской культуры, во имя святой заповеди: не убий! Ах, я хотел бы спросить лидеров большевизма: что бы было, если бы Европа на один момент последовала бы их призывам и захотела написать на своих знаменах слова ненависти и мести? О, как коротка была бы тогда жизнь тех многочисленных советских дипломатов, на руках которых до сих пор не высохла кровь их невинных жертв!

Но нет! Европа доказала, что может быть верной своему слову, ибо, как верный пес, стережет она безопасность и спокойствие коммунистических эмиссаров, а население ее доказало, что может сдерживать свои страсти, овладевать своим все более возрастающим справедливым гневом только потому, что в крови и костях европейца живет вечная заповедь: не убий!

Может ли быть более яркое доказательство этому, чем то, что за все время большевистского кошмара, повисшего над Европой, произошли только два акта борьбы: один в 1923 году — убийство Воровского, другой через четыре года — убийство Войкова. Коммунисты! Будьте хоть раз справедливы, скажите: являются ли эти две смерти действительно такими ужасными по сравнению с 1 700 000 жертвами вашей Чeka, не говоря уже о миллионах человеческих существований, поглощенных гражданской войной, голодом, нуждой и болезнями? Будьте хоть раз искренни, скажите: являются ли эти две жизни убитых действительно столь многим по сравнению с десятками миллионов?

Нет, вся культурная Европа и особенно Польша и вся русская эмиграция оказались непоправимо верными христианской культуре, непоправимо послушными заповеди: не убий! И, господа судьи, когда мне говорят, что торжественные похороны праха Войкова были организованы нашим правительством только ради международной вежливости и дипломатического протокола, я этому не верю. Каждый, кто знает польскую душу, поймет и почувствует, что в мрачном биении барабанов и жалобном звуке труб, сопровождавших убитого, звучал плач цивилизованного человека над несчастьем, поразившим покойного, над горем его вдовы и детей. Неисправимый цивилизованный человек низко склонил голову перед величием смерти...

Борис Коверда был, как мы здесь слышали, образцовым и верующим христианином. Он чувствовал себя поэтому наследником духовной работы поколений и считал себя призванным к активной защите этого наследства. Откуда в евангельски простой душе этого мальчика взялось столько решимости, столько смелости, скажем даже — столько жестокости, чтобы приговорить живого человека к смерти и собственной рукой исполнить этот приговор? Вот глубокая загадка, которую может объяснить только человек, близко знающий, на основании собственного опыта и переживаний, весь ужас большевистского погрома, человек, который сам пережил и перечувствовал, какой удар нанесли человеческой душе эти страшные переживания, переходящие всякую меру человеческой выносливости. Инстинкт убийства, родившийся в чистой душе Коверды, является не чем иным, как брызгой пены с гребня волны, гонимой северным ветром по безбрежному морю крови, пролитой большевиками.

Кто может отрицать, какое большое значение — как для определения степени вины Бориса Коверды, так и для оценки его поступка с точки зрения большой политики — имеет вопрос: имел ли Коверда сообщников, другими словами, не является ли его поступок выполнением решения или приговора, направленного на организацию террора? Нам сейчас придется решать этот вопрос. Известно, что среди русской эмиграции существует ряд групп и союзов всевозможного направления, от монархистов до социалистов-революционеров включительно. И вот, при многолетнем существовании этих различных организаций, как уже было сказано, раздалось только два выстрела, направленных в советских дипломатов: выстрел Конради и выстрел Коверды. Притом Конради был швейцарцем, и только Коверда — русский. Со времени одного покушения до времени другого прошли годы. Можно ли говорить о том, что таким образом проявляется террористическая деятельность организации, можно ли видеть в этих двух самостоятельных и столь различных, хотя бы по личности участников, покушениях, реализацию заранее обдуманного плана? Конечно нет. Террористическая организация, действующая таким темпом, не является террористической организацией и ни для кого не представляет опасности. Есть еще другое доказательство того, что Борис Коверда не действовал от имени организации. Если бы он был представителем какого-либо большого объединения, то нашлись бы люди, русские или иностранцы, которые предоставили бы ему необходимые средства, без которых не может обойтись ни одно обдуманное действие, которые снабдили бы убийцу какими-либо усовершенствованными техническими средствами. Ничего подобного в данном случае не было. Напротив, весь капитал Бориса Коверды перед убий-

ством составляли 20 грошей, истраченные им на покупку перронного билета, а все его оружие составлял старый, изношенный и заржавленный автоматический револьвер. Есть еще другое доказательство, вытекающее из установленных судебным следствием условий последних лет жизни Бориса Коверды. Правда, он жил в Вильне, в большом городе, поддерживающем связь с внешним миром, но это еще ничего не доказывает: чтобы пользоваться благами этой связи, надо было иметь ту свободу действий, которая дается хотя бы минимальной обеспеченностью. Мы видели тут совершенно ясно, как текла жизнь Коверды: более 10 часов ежедневного усиленного труда, подрывавшего молодые силы, ничтожный заработок, который должен был удовлетворять потребности почти всей семьи, ни гроша для себя лично, ни одной свободной минуты, ни одной возможности отойти от обычного серого станка будничной работы. Да, Коверда номинально жил в большом, почти столичном городе, а в действительности он прозябал в своем темном углу, отделенном от мира глухими досками. Несмотря на все эти бьющие в глаза доказательства, не оставляющие места сомнениям, люди, проникнутые враждебной нам политической тенденцией, повторяют с упорством маньяков: «А, однако, должна была быть организация! Коверда должен был иметь сообщников!»

Ну что же, я согласен с тем, что он имел сообщников, но других, чем это вы думаете, — таких сообщников, которые не могли снабдить Коверду ни деньгами, ни оружием по той простой причине, что сообщники Коверды не принадлежат к этому миру. В тот момент, когда Борис Коверда стал лицом к лицу с кровавым советским сановником, за его плечами стояли как стена 1 700 000 душ убитых людей: стариков и юношей, женщин и детей, священников, врачей, сестер милосердия... Эти души вложили в слабую руку Бориса Коверды нечеловеческую силу и подняли ее для того, чтобы нанести этим заржавленным оружием смертельный удар тому, кого судьба приговорила к смерти.

Что ты сделал, несчастный мальчик? Спокойствие всей страны нарушено, всюду волнение и тревога. Гостеприимство братского государства нарушено также. Большая страна, лежащая к востоку от нашей границы, потрясает оружием и призывает к кровавой мести. Десятки голов твоих соплеменников падают в Москве с плеч в ответ на твой поступок. Страшные последствия, которых еще нельзя учесть, последствия, которые, казалось бы, должны пасть на твою голову и раздавить тебя своей тяжестью.

Я не знаю, однако, было бы это справедливым. Не могут эти последствия, имеющие международное значение, пасть на Бориса Коверду, ибо они так велики, что их нельзя рассматривать как результат индивиду-

ального поступка. Самый размер их заставляет предполагать, что причины того, что происходит после убийства, более широки и глубоки. Большие исторические события возникают только на основе великих и глубоких причин. И если коснуться анализа этих причин, нужно сказать прямо, что основаны они на неустранимой коллизии между всемирной современной христианской культурой и попыткой большевиков вернуть человечество на путь варварства. Вот почему бременем великой исторической ответственности следует отягчить не личность Бориса Коверды, а весь тот строй, на совести которого уже столько катастроф и совесть которого еще запятнается не одной катастрофой до тех пор, пока не наступит победа справедливости и правды.

Не следует поэтому бросать тех великих событий, которые созданы историей, на чашу весов приговора в этом деле. Зато следует бросить на эту чашу, клонящуюся к милосердию, те другие печальные последствия, которые проявятся в его собственной жизни: выстрелы Коверды привели его самого к продолжительному тюремному заключению, выстрелы эти сделали то, что сам Борис Коверда, который не мог видеть страданий своей семьи, осужден сам смотреть на нее сквозь слезы и тюремную решетку. Эти безграничные страдания, без надежды на лучшее будущее, должны быть брошены на чашу милосердия. А если бы и этого было мало, то пусть на эту чашу брошен будет символ, который Коверда хотел защитить, крест, на котором написана заповедь: не убий! А если и этого мало, то бросим на чашу весов любовь к родине, которой Коверда посвятил свою молодую жизнь. И чаша милосердия должна перевесить!

Защитник П а в е л А н д р е е в: Господа судьбы, будучи вынужденным говорить в защиту Бориса Коверды, несмотря на смертельную усталость, вызванную работой целого дня и страхом за подсудимого, я надеюсь, что забота о судьбе этого бедного мальчика укрепит мои силы и позволит мне достойно выступить в его защиту. Однако если неизвестная мне и чуждая обстановка, серьезность дела и высокий столичный суд, перед которым я говорю впервые, помешают мне украсить мою мысль красноречием, достойным значения дела и вас, господа судьбы, если мысли мои не будут воплощены в подобающую форму, то я убежден, что высокий суд за неумелой формой моей речи увидит искреннее и полное любви к маленькому Борису Коверде содержание.

Но все же, чтобы прения не были напрасными, чтобы спор между обвинением и защитой велся в одной плоскости, я должен ответить на речь господина прокурора одним замечанием: борьба между Ковердой



и Войковым не была борьбой между двумя русскими, различно относящимися к положению своей Родины. Нет, Коверда страдал несчастьями своей Родины, боролся за нее, а Войков был представителем не Родины Коверды, а ужасного, возникшего на крови и питающегося кровью государственного новообразования, которое даже на своих знаменах уничтожило имя России.

Родина не состоит из одной территории и населения. Родина является комплексом традиций, верований, стремлений, святынь, культурных достижений и исторической общности, основанной на человеческом материале и на земле, им населенной. Родина — это история, в которой развивается нация. А разве СССР может создать нацию, может создать народ? Нет. И не во имя различно понимаемого блага Родины боролся Борис Коверда, а против злейших врагов своей Родины выступил этот бедный одинокий мальчик.

И может быть, он здесь, из всех защитников, более всего близок мне как человеку, отец которого был русским, а мать полькой. Он близок мне и понятен, ибо я не забыл моего долга перед Родиной моего отца. Я не забыл и не забуду языка, на котором развивали мою душу и впитывали в нее понятия права, справедливости, любви и чести. Не мог этого забыть и Борис Коверда, как не мог он не видеть всего ада нужды, отчаяния и унижения, в который брошена его Родина теми, кто самое имя «Россия» тщится вычеркнуть из словаря истории.

Не могла этого вынести душа чистого мальчика, в ней родился бунт, и Борис Коверда выступил против страшной силы, но не во имя гордыни, не во имя самозванного изменения бега истории, как думает это господин прокурор.

Гордыня? Господа судьбы, разве в этом мальчике, сидящем здесь на скамье подсудимых, можно заметить хотя бы тень гордыни, этого смертного греха? Разве вы не поняли, господа судьбы, что Борис Коверда является мальчиком с чистой, кристальной душой и голубиным сердцем, мальчиком, способным к жертвам, мальчиком, которого на страшный поступок убийства толкнула не гордыня, а любовь к своим единоплеменникам, угнетаемым, унижаемым и убиваемым третьим интернационалом.

Я сказал, что в душе Бориса Коверды родился протест. Но как это произошло? Каким образом этот мальчик с голубиным сердцем, мальчик верующий, мальчик, для которого религия не была только обрядом, но существом души, неожиданно превратился в мстителя и вопреки догматам своей веры нарушил Божью заповедь: не убий.

Это не произошло неожиданно. Ненависть постепенно развивалась в душе мальчика и постепенно достигла таких размеров, что взрыв сде-

дался неизбежным. И если бы он не направился против Войкова, то направился бы против самого Бориса Коверды. Если мы начнем рассматривать отдельные события в жизни Бориса Коверды, о которых он нам сам говорил, то мы не найдем среди них такого, которое непосредственно вложило бы ему в руку револьвер. Но таким образом нельзя относиться к вопросу, ибо, разделяя отдельные факты, складывающиеся для создания определенной психологии, мы всегда сможем создать ряд мелких, пустых и смешных вещей. Личные переживания в жизни Коверды — песчинки, но, вместе взятые и связанные с тем, о чем Коверда слышал и читал, они создают скалу, которая раздавила верующую душу мальчика и толкнула его на отчаянный поступок.

В детстве он был свидетелем того, как рушился весь общественный порядок, в котором он жил, как его ученическая шапка, гордость его девятилетнего сердца, сделалась предметом насмешек, предметом, могущим создать опасность. Он узнал о том, что некоторые улицы, по которым он обычно ходил в школу, сделались опасными даже для таких маленьких детей, как он. Он узнал, что такое голод, он узнал, что можно безнаказанно угнетать и убивать людей, видел, что это делают те, кто сделался хозяевами его Родины, что это делают большевики.

Видел ли Борис Коверда там, за границей, явления, укрепляющие сердце и ум? Нет. Постепенно развивалось сознание ребенка, постепенно расширялся круг его наблюдений, и со всех сторон он видел только ужас.

Не буду говорить о том, свидетелем чего он был в Совдепии. Это уже сказал мой созащитник Недзельский. Но то, что он видел, родило в его душе возмущение, отвращение и презрение, граничащее с помрачением рассудка. Под впечатлением тех ужасов, которые ныне совершаются в России, развивалась душа бедного мальчика, который, несмотря на все искушения, остался, согласно свидетельству его духовника, учителей и родителей, чистым, верующим и любящим ребенком. Ни разу не отошел он в сторону от раз избранного пути, и, когда его товарищи по белорусской гимназии пытались втянуть его в коммунистическую работу, которая велась под видом работы культурной, он почувствовал, по собственным словам, что червонцы, на которые ведется эта работа, выкованы из церковных ценностей, бросил белорусскую гимназию и поступил в гимназию русскую, где его окружила атмосфера еще более благоприятствовавшая укреплению ненависти к людям, превратившим его прекрасную Родину в страну ужасов и сад пыток.

Труд, которым он был занят, давал ему возможность знакомиться из газет, что творится за границей, и сравнение официальной лжи большевистских газет с правдой, которую сообщали все доступные ему газеты мира, постепенно вливавшие в его наболевшую и отравленную

душу яд ненависти, создало невыносимое состояние. Так дальше жить было невозможно, нужно было что-то предпринять, иначе помрачение начинало угрожать душе человека.

Вокруг себя он видел апатию, трусость, лень. Там, за границей, — ужас и смерть. Выбора не было. Коверда начал делать попытки попасть нелегально за границу, чтобы там бороться за своих братьев, но это ему не удалось. Он приехал в Варшаву, но и тут его встретила неудача — визы он не получил. Если нельзя бороться там, нужно бороться здесь.

А жизнь не останавливается, психическое настроение растет и усиливается, и, наконец, в руки Коверды попадает самый страшный из обвинительных актов, предъявленных большевикам: книга М.П. Арцыбашева «Записки писателя». Это был фитиль, вызвавший взрыв.

На польской земле, на своей второй родине, бедный мальчик совершил поступок, о котором жалеет из-за нанесенных Польше неприятностей, определяя вместе с тем себе самый суровый размер наказания, ибо мы знаем, что Борис Коверда был юношей верующим и готовым на самопожертвование ради ближних. Мальчик, который не колебался для блага семьи посвятить личную карьеру, но бросил школу для общего блага и не поколебался поставить на карту собственную жизнь.

Коверда убил Войкова, но является ли это основанием для предания его чрезвычайному суду? Я решительно говорю: нет.

Закон о чрезвычайных судах, закон, предназначенный ко внутреннему применению, закон исключительный вообще — не допускает пространительного толкования и требует точного применения. Цитируя этот закон, господин прокурор слишком рано прервал цитату, ибо закон этот охраняет официальное лицо не всегда и не во всех случаях. Только в том случае, когда убийство официального лица было совершено во время либо по поводу исполнения им служебных обязанностей — убийце угрожает чрезвычайный суд.

А кого убил Коверда? Войкова ли, посланника при Речи Посполитой Польской, или Войкова, члена коминтерна? А ведь таким двуликим Янусом был убитый Войков. Мы находим ответ в словах Коверды: «Я убил Войкова не как посланника и не за его действия в качестве посланника в Польше — я убил его как члена коминтерна и за Россию». Именно за все то, что Войков и его товарищи по коминтерну сделали с Россией, убил его Борис Коверда. При чем же тут убийство официального лица по поводу или во время исполнения им его служебных обязанностей?

О, если бы в моих руках, господа судьбы, были бы улики деятельности Войкова в Польше, в качестве члена коминтерна, не было бы речи о суде вообще, а о чрезвычайном суде в особенности.

Господа судьи, завтра праздник Божьего Тела, праздник Пречистой Крови, пролитой за грехи мира, праздник Величайшей Жертвы и Любви. Я не хочу, не могу верить и не поверю, чтобы польский суд, суд народа, который столько собственной крови пролил за свою и чужую свободу, захотел пролить эту жертвенную кровь ребенка и погрузить жизнь этого мальчика во мрак небытия.

Защитник Мечислав Эттингер: Господа судьи! Мы разделили защиту — и моей задачей является представить вам наш взгляд на вопрос о подсудности вам этого дела. Позволяет ли закон Речи Посполитой судить сегодня Коверду и определить размер наказания на основании немилосердно строгих правил о чрезвычайных судах? Можно ли лишать его гарантий, которые дает подсудимому обычное судопроизводство, лишать его оценки его вины на основании нормального закона? Защита глубоко убеждена в том, что предание Коверды чрезвычайному суду противоречит закону. Мы требуем, чтобы вы исправили эту ошибку обвинения, передали дело на рассмотрение в порядке обычного судопроизводства.

Обвинение полагает — господин прокурор только что в своей речи это высказал и убеждал суд в правильности своих выводов, — что покойный посланник Войков, в качестве представителя советской власти при правительстве Речи Посполитой, пользовался в нашем государстве опекой и защитой закона, которыми Речь Посполита ограждает собственных представителей. Я полагаю, что с легкостью смогу убедить вас в том, как далек этот взгляд обвинения от юридической действительности и насколько он необоснован.

В Польском государстве закон ограждает иностранца наравне с польским гражданином. За нарушение интересов иностранца грозит не меньшая ответственность, чем за покушение на права польского гражданина. Но сверх меры, которую мы признали достаточной для ограждения всех собственных граждан, наше законодательство не ограждает иностранца, хотя бы он в своей стране по государственным соображениям пользовался особой усиленной защитой закона.

Каждое государство заботится прежде всего об упорядочении собственной жизни, о своем строе, о своей власти и авторитете, о своих нуждах и интересах. Мы очень далеки от международной солидарности, доходящей до отсутствия в законодательстве различия между собственными и чужими интересами. Каждое законодательство служит собственному государству. Если оно ограждает официальных лиц или чиновников, грозя суровыми наказаниями за направленные против них

преступления, то оно делает это несомненно не во имя абстрактной идеи власти и не ради чужих государств, а ради гарантии безопасности и уважения к представителям и органам своей власти. Одинаковое отношение законодателя к иностранным официальным лицам наравне с собственными было бы необъяснимым, находилось бы в несомненном и очевидном противоречии с общей тенденцией — и потому, когда закон говорит о чиновниках или официальных лицах, мы не можем предполагать, что законодатель одинаково имеет в виду как собственных, так и иностранных официальных лиц, без различия. Позиция нашего законодательства в этом вопросе, совершенно очевидно, не должна возбуждать никаких сомнений. В тех случаях, когда действующий у нас уголовный кодекс желает обеспечить иностранному официальному лицу усиленную охрану, он делает это в особом постановлении. Кроме указаний на ответственность за покушения на глав иностранных государств, мы находим в кодексе особые постановления, охраняющие честь и неприкосновенность иностранных дипломатических представителей, — в ст. 478 и 535. Ничего, кроме этого, закон о преступлениях против дипломатических и иных иностранных официальных лиц не говорит. Поскольку в кодексе существуют особые постановления об оскорблении и нарушении личной неприкосновенности дипломатических представителей, из этого вытекает, что ввиду отсутствия соответствующего постановления покушение на жизнь иностранного дипломатического представителя должно подлежать общим постановлениям об ответственности за убийство. Иначе невозможно понимать молчание закона.

Впрочем, даже тогда, когда кодекс исключительным образом ограждает иностранное официальное лицо, он не уравнивает его с официальными лицами Речи Посполитой и совершенно явно отмечает разницу. Оскорбление нашего воита, не особенно высокого сановника в нашей чиновничьей иерархии, карается по закону значительно более тяжко, чем оскорбление представителя верховной власти иностранного государства.

Дух закона совершенно ясен: кроме ст. 478 и 535, кроме оскорбления и насилия над личностью дипломатического представителя, все остальные преступления против иностранных официальных лиц рассматриваются в кодексе как преступления против обычных лиц, безотносительно к положению потерпевших. Таковы же были постановления бывшего русского законодательства. Известный русский криминалист, знаменитый Таганцев, решительным образом выводил из этого законодательства мысль о том, что убийство иностранного посла создает ответственность, равную ответственности за обыкновенное убийство. Когда позже в России создавался уголовный кодекс, недавно временно принятый нами, кодекс 1903 года, поднята была, правда, мысль о том, не

следует ли выделить в законе убийство иностранного дипломатического представителя. Составители проекта единогласно отвергли эту мысль. Как сказано в докладной записке редакционной комиссии, по существу составляющей наилучшее толкование к нашему современному кодексу, они считали, что нет причин считать убийство посла убийством квалифицированным, влекущим повышенное наказание и что совершенно достаточно ответственность на основании общего постановления об убийстве, содержащегося в ст. 384 проекта, соответствующей нынешней статье 453. Так понимали кодекс самые видные представители русской юридической мысли. Но обвинение ссылается на распоряжение о введении чрезвычайных судов, вводящее чрезвычайное судопроизводство в делах об убийстве «официальных лиц»...

Иностранный дипломатический представитель, аккредитованный при правительстве Речи Посполитой, не является, правда, чиновником или официальным лицом на основании кодекса, но является таковым, по мнению обвинения, на основании распоряжения о чрезвычайных судах. Я позволю себе заявить, что такой метод толкования является для меня совершенно непонятным и произвольным. Толкование не может находиться в зависимости от данного постановления, оно должно быть единообразным для всего законодательства. Так же как понятие официального лица, несмотря на отсутствие особых указаний в законе, включает в себя исключительно действующих от имени нашей власти представителей Речи Посполитой, так же понятие официального лица в нашем законодательстве может включать лишь польских официальных лиц. Я повторяю: в толковании закона обязательна последовательность.

Если мы расширим понятие официального лица, то будем во имя элементарной логики обязаны признать, что наши законы, говоря о чиновнике, имеют в виду каждого чиновника, говоря о государстве — каждое государство, не только Речь Посполитую. Наш закон, наши суды защищали бы в таком случае также и авторитет иностранной власти, иностранного политического и общественного строя, защищали бы одновременно противоречивые и враждующие между собою принципы и доктрины. Так, например, пропаганда, направленная на свержение коммунистического строя в России, превратилась бы у нас в преступное деяние, предусмотренное ст. 129 Уг. Код., ибо коммунистическая Россия является государством, а ст. 129 говорит вообще о «существующем в государстве общественном строе». Репатриант, на основании ст. 9 Уг. Код., был бы в Польше ответственным за контрреволюционную деятельность на русской территории. Я привожу наиболее яркие, но логически вытекающие из предпосылки примеры. Я мог бы повторять их до бесконечности.

Официальным лицом для нашего законодательства, для нашего суда является исключительно официальное лицо, состоящее на службе Речи Посполитой, в широком значении официальной службы, как ее понимает наше законодательство. Им является государственный служащий и служащий органов самоуправления, как на самом высоком, так и на самом низком месте, но всегда только служащий нашей власти.

Посланник Войков не состоял на службе Речи Посполитой, не был представителем польской власти — и покушение на его жизнь является для нас только простым убийством.

Господин прокурор ссылался на аккредитование посланника, на официальное признание деятельности Войкова правительством Речи Посполитой. Аккредитование сводится к признанию посланника как представителя чужого государства и, следовательно, как иностранного официального лица, представляющего свое государство, на основе международного права, в отношениях с государством, его принимающим, и стоящего вне государства, в котором он свою миссию выполняет.

С не меньшей правотой можно было бы сказать, что нормальные дипломатические отношения между двумя государствами являются взаимным признанием государственного строя и государственной деятельности, а потому логически вызывают обязательства взаимной их защиты в полном объеме. Составители кодекса 1903 года, несомненно, принимали факт аккредитования посла во внимание. Несомненно помнили об аккредитовании и функциях посла и западные законодатели, создавшие особые постановления о защите чести иностранных дипломатических представителей и обходившие молчанием вопрос о защите их жизни. Я не могу предположить, что по какой-то странной случайности все до сих пор об этом забывали.

Впрочем, в международных отношениях следует помнить о принципе взаимности. Поэтому обратимся к законодательству советской республики. Советский уголовный кодекс 1922 года, повторяя в ст. 142 почти дословно ст. 455 действующего у нас кодекса о квалифицированном убийстве, пропускает, однако, в ней постановление об убийстве официального лица. О лишении официального лица жизни советский кодекс говорит в ст. 64, в разделе «О контрреволюционных преступлениях»: «организация в контрреволюционных целях террористических актов, направленных против представителей рабоче-крестьянских организаций, подлежит...» Тут всякие толкования излишни. Никто не скажет, что постановление это ограждает аккредитованного в Москве посланника буржуазного государства. Впрочем, советское законодательство последовательно подчеркивает, что оно ограждает исключительно строй и власть современной России, что оно служит исключительно своему

государству. Об отношении советского законодательства к другим государствам пишет официальный комментатор кодекса 1922 года, Эстрин, в официальном органе, рассматривая вопрос об ответственности граждан РСФСР за преступления, совершенные вне ее пределов: «Советская республика отнюдь не намерена ограждать правопорядка какого-либо из буржуазных государств. Не каждый поступок, хотя бы заключающий в себе фактическую сторону, предусмотренную кодексом, подлежит наказанию... Наш суд обязан разрешить вопрос, не вызван ли данный поступок условиями буржуазного строя, действие которых отпадает или, по крайней мере, нейтрализуется в РСФСР, благодаря чему преступник не составляет угрозы для правопорядка рабоче-крестьянской России». Кто же от нас может в этих условиях требовать, чтобы мы ограждали в наших судах особой защитой авторитет и интересы советской власти? Для нас, для нашего законодательства, убийство советского посланника Войкова является простым убийством и высокое звание Войкова не должно оказать влияния на размер наказания, которое будет определено польским судом Коверде.

Сам законодатель, вводя чрезвычайное судопроизводство, решаясь на столь большое, опасное для действия судебных установлений отклонение от нормальных принципов, несомненно не предполагал, что созданный им закон послужит когда-либо предлогом для повышения степени наказания за убийство посла иностранного государства.

Вспомним текст ст. 2 закона: «Чрезвычайные суды будут установлены... в том случае, если преступления, перечисленные в ст. 1, будут учащаться и превращаться в угрозу для общественного порядка и безопасности».

«Будут учащаться» — то есть превратятся в обычное, повседневное явление. А когда же существовало у нас опасение, что будут учащаться и повторяться покушения на послов хотя бы и враждебных по отношению к нам государств? Существует ли такое опасение в настоящий момент? В то время когда составлялось постановление, заключающее в себе упоминание о покушениях на жизнь официальных лиц, никто, наверное, не думал об ограждении безопасности иностранных чиновников и никому не приходило в голову, что постановление может быть так истолковано, как это сделало в данном деле обвинение. Все говорит против такого толкования. Я верю поэтому, что вы примете во внимание, господа судьи, нашу просьбу о передаче дела на рассмотрение в порядке обычного судопроизводства и потому других вопросов рассматривать не будете. Однако, исполняя долг защиты, я вынужден остановиться в кратких словах еще на одном.

В настоящий момент у вас уже более нет сомнений в том, кого вы судите и какие мотивы руководили Ковердой при совершении по-



кушения на жизнь советского посланника. Вы знаете, что на скамье подсудимых оказался мальчик с чистой и честной душой, несмотря на совершенное им убийство. Мальчик этот горячо полюбил Россию и возненавидел тех, кто захватил в ней власть, за причиненное ей горе и несчастья. Он стремился к борьбе на русской территории за лучшее будущее России. Перед ним закрыли двери родины, хотя никто не знал о его намерениях. После этого он не смог овладеть с помощью своей молодой воли своими чувствами и на польской земле исполнил покушение на Войкова, который в этот момент был для него исключительно символом ненавистного большевизма. Он совершил покушение на человеческую жизнь. Но не забудем о том, что там, откуда он напряженным слухом ловил каждое эхо, доносились до него только выстрелы и стоны, что он постоянно слышал и читал о неисчислимых кровавых казнях! Что же удивительного в том, что он недооценивал человеческую жизнь?

Нам знакома психология кроваво-политической борьбы. Мы знаем, что массовые казни не устрашают и не мешают дальнейшей борьбе, что они скорее возбуждают и пробуждают стремление к мести, так же как на войне возбуждает бойцов весть о расстреле взятого в плен неприятелем товарища.

Можно ли отвергать, что Ковердой руководило чувство, нераздельно владевшее его мыслями и душой в тот момент, когда он решил убить Войкова и привел свое решение в исполнение? Переводя же этот неопровержимый факт, для каждого из нас после нескольких часов процесса несомненный, на юридический язык, мне принадлежит право констатировать, что Коверда задумал и выполнил свое преступление «под влиянием сильного душевного волнения», говоря словами кодекса. Нет законодательства, которое бы не приказывало принимать во внимание этого состояния души виновника преступления. Суд должен считаться с силой человеческого чувства. Если бы Коверда не был предан чрезвычайному суду, ему угрожало бы наказание, высшая степень которого едва доходит до самой низкой степени наказания за обыкновенное убийство.

Проявление ненависти было вызвано любовью и страданием. Для Коверды это была только месть за преступления, совершенные большевиками над его Родиной. Помня обо всем этом, вы бы не могли, господа судьи, отказать Коверде в очень значительных смягчающих вину обстоятельствах. И в таком случае то наказание, к которому вы бы его приговорили, не соответствовало бы степени его преступления.

Коверда понесет за совершенное им в Польше преступление заслуженное наказание. Но его не может судить суд, которому формально

это дело неподсудно, который связан исключительными постановлениями и лишен возможности вынести приговор на основании действительной степени его виновности.

Защитник Франциск Пасхальский: Когда несколько лет тому назад на швейцарской территории рукой Конради был убит представитель советской России — Воровский, далекая от России, с Россией никогда ничем исторически не связанная Швейцария сделалась свидетельницей процесса, во время которого перед судом прошли многочисленные свидетели, формулировавшие обвинительный акт против советского строя. Речь моего коллеги адвоката Обера превратилась в великолепную застужку, закрывающую кровавую книгу истории последних лет России. Следует признать, что сегодняшний процесс во многом напоминает тот процесс, разыгравшийся среди швейцарских гор, но вместе с тем он от этого процесса совершенно отличается. На скамье подсудимых получеловек, полуробенек.

Были моменты во время показаний Коверды, когда его уста кривились, как бы в плаче, и когда в них звучала как бы детская просьба. Коверда не сумел нарисовать истории своей первой Родины, каковой он считает Россию, не сумел говорить языком взрослого политического деятеля, пережившего и обдумавшего драму и решившего обратить своим выстрелом внимание на трагический узел событий. Коверда до сих пор помнит только мелкие, как бы ничего не значащие события детства своего и из этих событий делает выводы.

На сегодняшнем процессе, кроме того, не было свидетелей, вызвать которых защита могла бы в других условиях судопроизводства и которые своими показаниями дополнили бы объяснения слишком юного подсудимого. Чрезвычайное судопроизводство помешало нам использовать тех многочисленных, по всей Европе рассеянных, обвинителей, которые взяли бы на себя моральную ответственность за поступок Коверды.

В течение нескольких часов мы допросили ряд свидетелей, показания которых по существу были бледными и лишенными красок. Несколько более интересных фигур, вроде отца Коверды, старого, довоенного эсера, затем офицера Красной армии, в конце концов — савинковского деятеля, редактора Павлюкевича, одного из лидеров белорусского движения в Польше, вот и весь политический материал, столь убого представленный в этом процессе. Остальные свидетели несомненно умеют чувствовать, может быть, даже умеют понимать чувства Коверды, но зато не умеют его защищать. А между тем мы все, принима-

ющие участие в этой судебной трагедии, прекрасно понимаем ее значение, чувствуем, что Коверда не одинок, что процесс этот как бы сводит к минимуму часть мрачной картины. Но одновременно дело Коверды войдет в историю как доказательство того, как правительство Польши умеет соблюдать договоры. Когда посланник Войков был убит, праху его были оказаны генеральские почести и он под охраной польского рыцарства был доставлен к границе, где заканчивается польский барьер западноевропейских понятий о государстве и праве. Более того, правительство Пресветлой Речи Посполитой, в лице прокуратуры, наложило на вашу судейскую совесть тяжкую обязанность судить Коверду в порядке чрезвычайного судопроизводства. Представитель СССР был огражден приравнением его к понятию официального лица. Это сделало правительство, так хорошо понимающее опасность, которую Россия представляет для Польши, правительство, которое только ввиду существующей связи между коммунистической партией и соседней державой вынуждено до сегодняшнего дня сохранять в уголовном кодексе статью 102, пережиток русского царизма, находящийся в таком полном противоречии с великой идеей гражданской свободы, светящей нам из Вавельского возрождения. Но правительство сделало это, ибо оно из той же вечной сокровищницы народа-духа, народа рыцарского великоления почерпнуло другую заповедь и эту заповедь диктует своим гражданам. В мече Болеслава, бьющем в ворота Киева, в знаменах Стефана Батория, принимающих сдачу Полоцка, во всей великой трагедии Польши, наследником которой является правительство маршала Пилсудского, существовал и существует рыцарский принцип не вести двойной дипломатической игры, и перед этим принципом каждый гражданин Польши обязан покорно склонить чело.

Господа судьи! На основе этого принципа, вопреки всем чисто юридическим сомнениям по настоящему делу возник чрезвычайный суд, который, как я сказал, сократил рамки процесса. В силу вещей это сокращение должно было вызвать исключение из процесса всего того, что творится в России, с которой подписан мирный договор. Но, господа судьи, никто не может нам запретить говорить здесь обо всем том, что Коверда пережил и что толкнуло его на убийство.

Итак, эти детские воспоминания, ничего не значащие, как я сказал. Несомненно, для нас, которые видели уже столь многое, они имели бы второстепенное значение, но для него они — основа жизненного опыта. Он видит эти воспоминания в крови сквозь алмазы своих собственных слез. Однажды с него сорвали шапку, когда он шел в школу, якобы за то, что он был маленький «буржуйчик», а для Коверды это была не фуражка, это был символ его положения в жизни.

Коверда любил «батюшку». Этот «батюшка», вероятно, не был героем, но Коверда верит в Бога, в православие, к своей вере глубоко, по-детски, привязан — и вот «батюшку» раздевают донага, ведут к замерзшей реке, производят там над ним «ледяное крещение», и «батюшка» больше не возвращается домой. Несомненно, таких «батюшек» в России было много. Несомненно, белокаменная столица царей, украшенная тысячами церквей, могла бы рассказать Коверде и другие истории. Но для детской души, которая впервые смотрит на мир, иногда достаточно одна такая картинка, так, как достаточно было одной такой картинки для Коверды.

Коверда вернулся в Польшу, во вторую названную Родину. Жизнь заставила работать. Мальчик оказался экспедитором белорусской газеты, окрашенной в коммунистический цвет. Он получил возможность наблюдать своих товарищей, упоенных коммунистической идеологией, сторонников советской России. Он начал читать советские газеты. И вот — в нем начал зарождаться протест. Именно в этот момент история «батюшки» воскресла в нем, как живая. Публикуемые в газетах приговоры по делам контрреволюционеров в советской России все более пробуждали эти воспоминания. И наконец, мальчик почувствовал, не разумом, а силой детского чувства, что он — враг своих недавних друзей. Он перешел из белорусской гимназии, с которой не имел ничего общего, в русскую. Почувствовал себя русским и противником большевиков. В дальнейшем он принялся за изучение русских заграничных и советских газет, вчитывался в номера «Борьбы за Россию», созревал. Каждый отмеченный в русских газетах акт террора является для него криком, выхваченным из русской действительности, криком убиваемого, призывом к мести. Он более не в состоянии понимать строя, он не верит в то, что счастье мирового пролетариата требует кровопролития, он не видит целесообразности убийства, но ужас убийства постепенно наполняет его желанием воскликнуть: «Довольно!»

Я не хочу говорить о русской действительности, но должен зато подчеркнуть переживания, родившие выстрел, от которого на Главном вокзале пал его превосходительство господин посланник Войков. Мне кажется, что даже те, кто истолковал эволюционный манифест Маркса и Энгельса, широко вводя в свою доктрину укрепление диктатуры пролетариата при помощи террора, не имеют права удивляться, более того, должны были бы понять психику мальчика, который поверил в диктатуру русского народа так, как они — в диктатуру пролетариата. Во имя этой диктатуры, соединенной в его представлении с церковными песнопениями и звоном московских колоколов, он применил тот же метод, что и они.

Жажда мести растет, растет. Мальчик перестает учиться. Он бросает работу, которая обеспечивает пропитание не только ему, но и любимой матери. Товарищи готовятся к экзаменам. Молчаливый, замкнутый Коверда проговаривается: «Я также, наверно, буду держать экзамен». Больше он ничего не поясняет. И только, вероятно, губы его дрожали так, как они дрожали в суде, когда он, руководимый глубоким юношеским чувством, просил Польшу простить его за то, что он «причинил ей столько неприятностей». Удивительное в этом ребенке соединение чего-то взрослого и чего-то совершенно детского.

Коверда приехал в Варшаву, и тут в его руки попала книга, удивительная книга, так неслышанно близкая полякам, несмотря на все различия в истории Польши и России. Во время процесса спрашивали, были ли у Коверды сообщники. Господин прокурор снял с защиты обязанность доказывать, что этих сообщников не было. Я боюсь, однако, что сообщников надо искать далеко, в могилах, рассеянных по безграничным русским просторам, в реках, розовеющих от крови, среди тех, кто погиб от голода, от тифа, от пролетарской диктатуры, среди всех тех, кто перечислен в этой именно книге Арцыбашева. Я убежден, что, если бы этот великий русский писатель, имя которого как молния проšlo по Европе, был жив, ребенок Коверда не был бы на скамье подсудимых один. Арцыбашев бы этого не позволил. Ибо, если необходима была книга, замыкающая цикл размышлений Коверды, то этой книгой сделалась несомненно книга Арцыбашева, так напоминающая «Книги изгнания» Мицкевича. В этой книге Арцыбашев обращается к швейцарским судьям по поводу дела Конради со словами: «Помните, что вас окружают миллионы теней, тысячи убитых мужчин, насиуемых перед смертью женщин, детей и старцев, как бы распятых на кресте. Все они напрасно молили небо о возмездии, но никто до сих пор не ответил на эту мольбу». Из этого настроения, столь близко напоминающего фрагменты из импровизаций Мицкевича, родилась идея, которая во имя народа топчет нравственность. «Тот, кто поднял меч, пусть гибнет от меча». «Вы, — восклицает Арцыбашев, — избрали террор средством тирании. Ваш террор — преступление. Террор, направленный против вас, — справедливое возмездие». И, в конце концов, он приходит к той как будто простой истине, которая сопутствовала всем усилиям польского оружия: «Родина не дается даром». «Мы, и только мы имеем право решать судьбу нашей родины». Наконец, в той же книге нашел Коверда также и разрешение вопроса о нарушении нейтралитета страны, в которой русский эмигрант совершает убийство: «Нельзя считаться с ним, так как следует кричать на весь мир, что мы — не парии, а граждане Европы».

Простите, господа судьи, что я позволил себе эти несколько иностранных цитаты, но цитаты эти — вся защита Коверды. В них кристаллизовалась идеология борющейся эмиграции, идеология тем более красноречивая для души юного мальчика, что тот, кто ее создавал, по примеру польских поэтов, черпал ее из глубины своего чувства и своей безграничной тоски по России. Недаром в книге Арцыбашева Ковердой подчеркнуты многие его мысли. Другие мысли Коверда сопроводил своими детскими примечаниями. Книга эта является сообщником преступления.

Вот история возникновения убийства. Зачатая где-то на берегу Волги, обдуманная в связи с швейцарским, на земле Винкельрида разыгравшимся, процессом, совершенная в городе, столько раз орошенном кровью в защите от той самой России, во имя которой сегодня выступает Коверда.

Тайна истории, неисповедимые пути Провидения заставляют Коверду, представителя русских идеалов, говорить о двойной родине, заключать в своей юношеской душе Польшу и антибольшевистскую Россию. И если бы взглянуть на этот процесс с исторической точки зрения, может быть, именно это заявление Коверды было бы для нас наиболее интересным, ибо я не могу согласиться с господином прокурором, когда он отказывает личности в праве прокладывать пути истории. Для господина прокурора человек — это только незначительная крупинка, зернышко песка, гонимое временем. О нет. Мне кажется, что один пример Коверды, который записал свое имя в историю, является ярким опровержением такой теории. Ибо, если существует идея, которая противопоставляет себя всем теориям той или иной диктатуры, если история не является только механическим развитием событий и происшествий — в истории этой должно найтись место для человека. История ему это место уступает, особенно в Польше, в Польше мучеников и поэтов, в Польше вождя, который создал чудеса вооруженной силой, о чем мы не имеем права забывать. И поэтому для меня Коверда не является крупницей, а с нескольких дней, несмотря на свою молодость, уже является человеком.

Господа судьи, я уже сказал в начале моей речи, что польское правительство возложило на вашу судейскую совесть невыносимую тяжесть судить Коверду в порядке чрезвычайного судопроизводства, что оно сделало это, желая дать яркое доказательство лояльного отношения Польши к выполнению договора даже в тех случаях, когда она не может рассчитывать на взаимность. Но, господа судьи, нет власти, которая могла бы требовать смерти Коверды. Я позволил себе сказать, что этой смерти не имели бы права требовать даже те, против которых Коверда на-

правил свой выстрел. Он перенял их метод действий — он не виноват в том, что служит другой идее. Его детской головы не может также требовать ни польское общество, ни польский народ. Этот народ не забыл своих героев. Тень Березовского охраняет голову Коверды от слишком сурового приговора.

Господа судьы, я верю, что ваш приговор, в котором должно заключаться величие народа, покажет миру, что Польша, памятуя свои страдания, умеет понимать чужое горе.

\* \* \*

Коверда со скамьи подсудимых, под охраной двух полицейских с винтовками в руках, внимательно слушал прения сторон. Не менее внимательно слушали их судьы, переполнившие всю прилегающую к судейскому столу часть зала представители печати и публики, которая заняла не только все места, для нее предназначенные, но густой стеной стояла в проходах. Со свидетельской скамьи с заметным волнением прислушались к речам отец, мать и юная сестра Бориса Коверды.

Речь прокурора Рудницкого произвела на слушателей большое, глубокое впечатление и, по-видимому, очень неприятно подействовала на Розенгольца. Когда же после прокурора заговорил защитник Недзельский, Розенгольд не выдержал и покинул зал.

Все четыре защитника Коверды произнесли свои речи по-своему блестяще. Говоривший первым адвокат Недзельский защищал Коверду по приглашению всех русских общественных учреждений в Варшаве. Он в политическом отношении является видным представителем польской «национальной демократии». Говоривший вторым защитник Андреев, виленский адвокат, имел удовольствие быть единственным русским защитником Коверды и в свою речь вложил свое русское понимание трагедии России и причины выстрела Коверды. Третья защитительная речь блестящего варшавского адвоката Эттингера была, быть может, наиболее сильной с юридической точки зрения и произвела большое впечатление своей аргументацией против подсудности дела чрезвычайному суду. Наконец, четвертый защитник Коверды, известный варшавский адвокат Пасхальский, в политическом отношении близкий к радикальным кругам польского общества, испещрил свою речь рядом исторических воспоминаний и намеков на прошлое Польши, что делает содержание его речи, быть может, менее понятным для широкого круга русских читателей, но не уменьшает ее достоинства.

От последнего слова обвиняемый отказался. После выполнения последних формальностей Суд удалился для постановления приговора.

## Решение суда

15 июня 1927 года. От имени Речи Посполитой Польской, Окружный Суд в Варшаве, в качестве чрезвычайного Суда, на судебном заседании в нижеследующем составе: председатель: вице-председатель Окружного Суда И. Гуминский, судьи: И. Козаковский, А. Скавинский, секретарь: М. Маевская, прокурор Апелляционного Суда Рудницкий, рассмотрел дело Бориса Коверды, обв. по ст. 453 Уг. Код. в том, что он 7 июня 1927 года в Варшаве на Главном вокзале, имея намерение лишить жизни посланника СССР в Польше Петра Войкова, шестикратно выстрелил в него из револьвера, смертельно ранил его в область грудной клетки, по левой стороне, что вызвало внутреннее кровоизлияние и смерть Петра Войкова, причем преступление это совершил по поводу исполнения Петром Войковым его официальных обязанностей в качестве полномочного посланника СССР в Польше, аккредитованного при Президенте Речи Посполитой.

Факт убийства посланника Войкова обвиняемым Ковердой был установлен в судебном следствии сознанием самого Коверды и показаниями свидетелей Розенгольца, Ясинского и Домбровского в связи с мнением эксперта д-ра Грживо-Домбровского о безусловной смертельности раны, нанесенной подсудимым, вследствие чего чрезвычайный суд признал вину Коверды совершенно доказанной.

Более подробной мотивировки требует поднятый защитой вопрос о подсудности дела Коверды суду в порядке чрезвычайного судопроизводства. Защита подвергала сомнению подсудность дела чрезвычайному суду с двух точек зрения: 1) потому что Войкова якобы нельзя считать «официальным лицом» в понимании п. в ст. 1 пост. совета министров от 28 декабря 1926 года (собр. узак. № 128, п. 759); 2) ввиду отсутствия состава преступления, предусмотренного ст. 453 Уг. Код., вместо которой, по мнению защиты, следовало бы применить ст. 485 Уг. Код., изъятую из компетенции чрезвычайного суда.

В ответ на эти указания защиты чрезвычайный суд устанавливает следующее: включенный в состав постановления совета министров от 28 декабря 1926 года термин «официальное лицо» не известен ни Уголовному Кодексу 1903 года, ни закону о чрезвычайных судах от 30 июня 1919 года. Закон говорит о ст. 453 Уг. Код. без ограничительных условий. В уголовном кодексе имеются термины «чиновник» и «должностное лицо». Слово «функционариуш» употреблено в кодексе лишь по отношению к железнодорожным чиновникам (ст. 396, 399, 559, 567, 587) и чиновникам фабричных, банковских, благотворительных учреждений, кредитных, земских, городских и т. п. (ст. 543, 575, 578 и 580). Кроме того, в законе о



государственной полиции от 23 июля 1919 года находится в ст. 27 термин «функціонариуш полиции» (полицейский служащий). Из сопоставления этих фактов следует сделать тот безусловный вывод, что совет министров своим постановлением от 28 декабря 1826 года особо оградил не только государственных чиновников, но всех официальных лиц, т. е. всех лиц, кои на территории Речи Посполитой Польской несут официальные обязанности. Употребление термина «функціонариуш публичны», вместо слова «чиновник», в понимании ст. 646 ч. 4 Уг. Код., или «государственный служащий», свидетельствует о том, что вопрос идет не только о государственном чиновнике или служащем, но о каждом лице, выступающем официальным образом. Не может быть двух мнений в вопросе о том, что представитель иностранного государства, аккредитованный при Президенте Речи Посполитой и тем самым допущенный к исполнению своих служебных обязанностей на территории Польского государства, является именно таким «официальным лицом» («функціонариуш публичны»), ибо он не только выполняет свои обязанности от имени и в пользу своего государства, но выполняет также на основе международного права некоторые функции и по отношению к польским гражданам (выдача виз) и облегчает польскому правительству осуществление задач, связанных с политическими, торговыми и иными отношениями с иностранным государством, т. е. выполняет официальные обязанности как по отношению к своему государству, так и по отношению к Польше. Поскольку убитый Войков был аккредитованным при г. Президенте Речи Посполитой Польской посланником СССР, постольку он был огражден п. в ст. 1 пост. сов. мин. от 28 декабря 1926 года, а покушение на него соответствует условиям этого постановления в связи с ст. 453 Уг. Код. Следует прибавить, что, хотя защита хотела видеть в жертве покушения Коверды не посланника СССР, а «представителя коминтерна», суд ни в коем случае такого воззрения, совершенно искусственного и не подтвержденного никаким доказательством принадлежности Войкова к коминтерну, разделить не может. Согласно словам самого Коверды, сказанным в присутствии свидетеля Домбровского, он стрелял «за Россию, за миллионь», т. е. мстил Войкову как представителю российского правительства, а не как представителю коминтерна, являющегося учреждением этого правительства для действия вне России. Характер представительства Войкова вытекал именно из его должности посланника. Стреляя в Войкова, Коверда стрелял в посланника. Таким образом, все сомнения о подсудности дела об убийстве Войкова чрезвычайному суду следует признать несущественными во всем их объеме.

Переходя ныне к другому поднятому защитой вопросу, о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 453 Уг. Код., чрезвычайный суд

устанавливает отсутствие каких бы то ни было юридических и фактических оснований для применения ст. 458 Уг. Код. Согласно дословному тексту ст. 458 и законодательных мотивов к ней (Таганцев, стр. 617), ст. 458 не может быть применяема во всех тех случаях, когда намерение возникло в состоянии аффекта, но было осуществлено хладнокровно. Для применения ст. 458 Уг. Код. необходимо, чтобы намерение и выполнение преступления вытекали из одного аффекта. Если на основе вышеуказанных тезисов рассмотреть преступную деятельность подсудимого Коверды, следует прийти к выводу, что поступок убийцы, который в течение нескольких дней сохранял намерение убийства неизвестного ему человека и совершил убийство совершенно спокойно, что доказано сохранением полного спокойствия и после убийства, как это удостоверил свидетель Домбровский, ни в коем случае это преступление не может быть рассматриваемо на основании ст. 458 Уг. Код. Элемент аффекта отсутствует как при обдумывании преступления, так и при его совершении. Ненависть Коверды к большевистской власти не является достаточным основанием для применения ст. 458 Уг. Код. Делая окончательный вывод, чрезвычайный суд признает, что Коверда должен быть подвергнут ответственности по ст. 453 Уг. Код., притом в порядке чрезвычайного судопроизводства.

Остается последний вопрос, т. е. вопрос о размере наказания. В этом отношении суд полагает, что применение постановлений ст. 19 ч. 1 закона о чрезвычайных судах по отношению к Коверде совершенно не соответствовало бы внутренней стороне преступления и находилось бы в противоречии с целью уголовного наказания. Наказание должно соответствовать степени вины с точки зрения напряжения злой воли и имеет в виду как исправление осужденного, так и защиту общественного порядка в форме предупреждения возможности повторения преступления. Смертная казнь находится в противоречии с целью исправления осужденного и может быть оправдана только в тех случаях, когда необходимо противодействовать эпидемическому характеру преступления. Будучи совершенно необходимой в делах о бандитизме, смертная казнь является совершенно лишней, когда происходит одиночный случай, лишенный примеров в прошлом и не вызывающий опасения в будущем. Не только знание польской психики, но и данный конкретный факт убийства русского русским является достаточным основанием для категорического утверждения, что общественному порядку в Польше не угрожает эпидемия убийств, вроде убийства Войкова. Косвенным образом это признал даже представитель СССР — свидетель Розенгольц, который «не ожидал в Польше покушения на Войкова». О распространении такого рода преступлений в Польше «особенно опасным для по-

рядка и общественной безопасности образом» — как гласит ст. 2 закона о чрезвычайных судах — не может быть и речи. Поэтому нет необходимости применения самого сурового наказания. Кроме того, применение это противоречило бы высшей справедливости, ибо молодость подсудимого и его нравственные достоинства, установленные свидетельскими показаниями, говорят в пользу того, что, сохранивший жизнь и вернувшийся по отбытии наказания в лоно общества, Коверда может сделаться его полезным членом. Во имя этих ценностей и во имя благородного принципа исправления преступника суд считает для Коверды достаточным наказание в размере 15 лет каторжных работ. Это, правда, является максимумом наказания, предусмотряваемого ст. 453 Уг. Код., но, по мнению суда, убийство на польской территории, совершенное эмигрантом, нарушившим долг благодарности за право убежища и к тому же по отношению к представителю иностранного государства, т. е. с нанесением большого ущерба моральному престижу Речи Посполитой и ее политическим интересам, требует применения этого максимума. Так как, однако, на основании постановления ст. 19 ч. 4 закона о чрезвычайных судах вышеуказанные чрезвычайно важные смягчающие вину обстоятельства, к которым следует также причислить глубокий патриотизм подсудимого Коверды и глубину понимания им страдания его сородичей, дают суду возможность приговорить Коверду к бессрочным каторжным работам, суд этот приговор выносит, а для смягчения наказания постановляет использовать принадлежащее ему на основании ст. 775 Уст. Уг. Судопр. права.

Исходя из указанных мотивов, на основании ст. 453 и 36 Уг. Код., § 1 постановления сов. мин. от 28 декабря 1926 года, ст. 19 ч. 4 закона о чрезвычайных судах от 30 июня 1919 года и ст. 775 Уст. Уг. Судопр. е д и н о г л а с н о п о с т а н о в и л:

жителя города Вильны Бориса Коверду, 19 лет, сына Софрона и Анны, приговорить к лишению прав на основании ст. 25, 28, 30, 34 и 35 Уг. Код., к бессрочным каторжным работам и возмещению судебных издержек. От уплаты издержек Коверду освободить на основании ст. 68 временных правил о судебных расходах. Из числа вещественных доказательств револьвер «Маузер» с патронами конфисковать в пользу казны, револьвер «Браунинг» с патронами вернуть посольству СССР в Варшаве, дело виленского окружного суда № К. 289 25 вернуть этому суду, остальные вещественные доказательства вернуть приговоренному Коверде. На основании ст. 775 Уст. Уг. Судопр. обратиться через г. министра юстиции к г. Президенту Речи Посполитой с ходатайством о замене Коверде бессрочных каторжных работ теми же работами на пятнадцатилетний срок.

Приговор суда был выслушан Ковердой и присутствовавшими на процессе лицами стоя. Когда оглашавший приговор председатель суда Гуминский дошел до слов о бессрочной каторге, вздох облегчения прошел по залу, а Коверда встретил приговор с выражением радости на лице. Его отец подбежал к скамье подсудимых, крепко обнял и поцеловал сына, который тотчас же, под конвоем полицейских, был отвезен в тюрьму.

Приведенный выше текст дает русскому читателю полное представление о том, как происходил в Варшаве суд над Борисом Ковердой. Особые политические условия помешали этому процессу превратиться в такой суд над коммунистической властью в России, каким был в свое время процесс Конради. Но значение поступка Коверды это не уменьшает. И быть может, главное значение этого поступка не в самом факте обособленного и не организованного террора, а в том, что в лице Коверды против коммунистической власти восстал представитель молодого, только что начинающего жить поколения русского народа.

Напрасно большевики утверждают, что Коверда является «наемником иностранных империалистов». Девятнадцатилетний мальчик, сын того крестьянства, именем которого коммунистическая партия установила в Москве свою диктатуру, человек, не лишившийся во время революции никаких имущественных благ и этих благ не искавший, Борис Коверда выступил против большевиков во имя поруганной Родины, во имя той России, которая была и будет вновь. В поступке Коверды, в наличии смелости и патриотизма в молодом русском поколении, приходящем на смену усталым бойцам, залог ее возрождения.

*В. Орехов*<sup>80</sup>

## ДВА ВИЗИТА<sup>81</sup>

Теперь, когда Борис Коверда вышел из своего заточения, я могу признаться, что два раза навещал его в тюрьме. Свидания наши были вполне законными, с соответствующего разрешения, но писать об этом было нельзя.

Оба раза мы были в тюрьме с моим другом С.А. Войцеховским, который, да не будет смущена его всегдашняя поразительная скромность, заслуживает глубокой признательности национальной эмиграции за его непрерывные заботы об узнике-герое. В течение 10 лет Сергей Львович ни на один день не переставал думать о Коверде и все время старался облегчить его положение.

Есть еще одна чудная русская семья: муж и жена — фамилию их, увы, назвать не смею, — которая очень скрасила заточение Бориса Софроновича своими трогательными о нем заботами. Когда я в последний свой приезд заходил к ним и взял себя смелость (которую, я надеюсь, все простят мне) благодарить их от имени русских патриотов за отношение к Коверде и воочию убедился в том, что и в медвежьих углах русского рассеяния есть великие своей простотой и благородством люди, я не мог, к своему стыду, сдержать слез радости и благодарности... Эти два имени, никому, кроме Коверды, Войцеховского и меня, неизвестные, когданибудь будут мною названы, и пусть Родина — не мачеха, а мать — воздаст им должное.

Коверда-узник меня поразил. Я ожидал увидеть истомленного, измученного, может быть, озлобленного человека и встретил вдумчивого, работающего над собой, живо интересующегося всем близким нам русского патриота.

Когда я в пределах возможности говорил с ним о русских делах, я поражался тому знанию обстановки, с каким он оценивал наше положение. Он все 10 лет непрерывно следил за эмигрантской жизнью. Ежедневно к нему приходили газеты и журналы.

Друзья не забывали его своими письмами. Сидя в каторжной тюрьме в захолустном польском городишке Грудзянце, Коверда следил за Россией и эмиграцией и, право, знал о ней гораздо больше, чем многие из русских эмигрантов, живущие в Западной Европе.

Но главное — это дух, который не был в нем сломлен десятилетним сидением в камере. Такой вере в Россию, такому горению могли бы позавидовать многие из нас, увы, не выдержавшие страшной прозы эмигрантских будней.

И когда я сравниваю девятнадцатилетнего мальчика, отдавшего десять лучших лет жизни за Россию и не переставшего быть верным русскому идеалу в каторжной тюрьме, и тех, например, несчастных опустившихся людей, которые готовы, пусть ради куска хлеба насущного, идти на любой компромисс со своею совестью, мне делается как-то стыдно и больно.

Описание тюрьмы в Грудзянце и жизни в ней Б.С. Коверды в свое время дал в «Часовом» С.Л. Войцеховский, писать об этом сейчас не стоит, да полагаю, что скоро, быть может, сам Борис Софронович на этих страницах с нами всем поделится. Но мне хочется только подчеркнуть, что и в польской тюрьме были люди, которые поняли все величие жертвы русского юноши. И мы этих людей тоже когданибудь вспомним добром.

Когда я расставался с Ковердой вторично, мы крепко расцеловались. «До скорого свидания». — Я считаю сейчас уже не дни, а часы». — «Что

вы будете делать?» — «Прежде всего хочу немного отдохнуть. Мечтаю о том, чтобы первые месяцы мне позволили быть с самим собой. Я хочу привыкнуть к воле». Вдумайтесь только в эти слова: привыкнуть к воле. Ведь десять лет — тюремная стена почти без прогулок, ибо прогулка с уголовными — перспектива средняя. Звонок, колокол и думы, думы, думы...

Но Господь хранил Коверду и сохранил его для нас, для русского дела, для России. Будем же его беречь, не только как славного, чистого человека, но и как символ борьбы за Родину, жертвенный и незапятнанный. Ибо, когда думаешь о Коверде, невольно вспоминаешь классический образ Сократа, уже раз приводимый мною в «Часовом». «...Или ничего не стоили те люди, которые сражались под Троей, и первый из них, бесстрашный сын Фетиды... Сказала ему богиня: если ты отомстишь за Патрокла, ждет тебя неминуемая гибель. Он ей ответил: презираю я смерть и презираю опасность. Хуже мне жить, не отомстивши за своего друга».

Есть имена, которые не забываются и не могут быть забыты. Вильгельм Тель, Шарлотта Корде, Канегиссер, Захарченко-Шульц, полковник Сусалин... Одни — в далеком прошлом, в истории, другие — пали в муках за честь Родины, только немногие, очень немногие с нами. Среди них Борис Софронович Коверда. Будем же мысленно с ним в день 15 июня.

**В. Безруков<sup>82</sup>**

### **ИЗ ЦАРСТВА САТАНЫ НА СВЕТ БОЖИЙ<sup>83</sup>**

Ровно два года тому назад восемь смельчаков, восемь убежденных русских людей, проживших несколько лет под властью большевиков и понявших, что совдепия — не Россия, что там честному русскому человеку невозможно жить, не входя на каждом шагу в компромиссы со своей совестью и честью, восемь сильных людей, ищущих Света и задыхающихся в царстве сатаны, сошли на болгарскую землю; 50 лет тому назад болгарская земля их отцами и дедами была освобождена от ига чужеземцев, от жестокостей башибузуков! И здесь, в этой обетованной земле они снова увидели Свет Божий.

Все великое — просто! И как просто повествует об этом удивительном подвиге один из участников его. Не было ни мощной поддерживающей их тайной политической организации, ни денежных средств, ни заговора с неизбежными вдохновителями и исполнителями, но зато не

было и, увы, так часто всюду проникающих предателей; восемь одиноких, полуголодных людей, связанных абсолютной уверенностью друг в друге и строжайшей дисциплиной в отношении избранного ими себе в начальники наиболее сильного и выдержанного из них, совершили деяние необычайное!

Как часто приходится слышать от лиц, живущих вне царства сатаны и глубоко ненавидящих эту сатанинскую власть, скорбный возглас: «Да что же мы, беженцы, здесь можем сделать против большевиков?» Я бы хотел, чтобы все они, вспомнив, что они не беженцы, а эмигранты, прочитали рассказ о том, как «Утриш» из советского стал русским судом, как он вошел под национальным русским флагом в Варненскую бухту и как на вопрос: «Кто и откуда?» — удивленные болгары услышали: «Из Севастополя, но не советский, а русский!»

В царстве сатаны ослабевшие духом люди имеют в тысячи раз больше оправданий, и все же там нашлись «непримиримые», которые показали, что даже и там можно что-то сделать против большевиков, нанести им вред и найти почву для борьбы и для победы над ними.

Сила не в количестве борцов и не в деньгах только; залог успеха в твердо поставленной себе цели, в непримиримости участников, в их взаимной уверенности друг в друге, в дисциплине и в сознании, что они прежде всего русские люди.

Тем же, кто подал пример всей эмиграции, этим «молодым, здоровым и прежде всего русским людям» — честь и слава!

*Е. Миллер*

Среди мрака преступной, все ширящейся пропаганды пораженчества и непротивления в отношении борьбы с большевиками ярким маяком светит геройский поступок представителей юного поколения истинно русских людей. Когда даже часть православного духовенства склоняется перед богоборческой властью, когда обязательство в отказе от борьбы с сатанистами дают некоторые иерархи зарубежья, — весь смысл которого заключается в этой борьбе, — отрадно видеть, что растут и крепнут настоящие русские силы, которых не коснулась страшная зараза.

Да послужит их геройский поступок примером для всех нас.

*Князь М. Горчаков*

\* \* \*

Мы бежали из страны ужаса, рабства и нищеты, где грубой силой и дьявольской хитростью растлевают людские души и тела, где низость, предательство и подлая жестокость правителей тиранически управляют

несчастливым русским народом. Там, за роковой смертной чертой, честные русские люди давно уже отвыкли улыбаться; там некому защищать честь женщины и спасти ребенка, растущего преступником или дикарем. Иноплеменные властители попрали и втоптали в грязь все то, что дорого и свято сердцу и уму честного русского человека. Зло там торжествует.

Да укажет нам, русским изгнанникам, Бог и наша совесть пути к раскрепощению наших братьев от ига сатанинской власти. А до тех пор будем знать и помнить, что пресловутая твердая власть и сила большевиков есть мираж и обман, как и самое существо их власти.

### Приготовление к побегу

Захват судна «Утриш» был задуман и осуществлен небольшой группой лиц, и никто, кроме ушедших на «Утрише», не был посвящен в это дело.

Наше стремление вступить в Русскую Белую армию для беспощадной борьбы с большевиками заставило нас остановиться на этом не совсем обычном способе переезда из СССР за границу. Наша группа состояла из восьми человек. Кроме того, с нами согласилась ехать г-жа П.Д. Добровольская с ребенком, желавшая попасть к мужу, морскому офицеру, жившему во Франции. Большевики не разрешили ей в свое время выезд за границу, поэтому она решила «пройти границу нелегально».

Все мы хорошо знали друг друга, потому вопрос о взаимном доверии — необходимейшем условии для удачи такого предприятия, сам собой разрешался. К моменту бегства трое из нас служили на действительной службе в Красной армии, из которых двое были мотористами Качинской авиационной школы. Существовали различные проекты побега. В конце концов, мы решили использовать «Утриш», лучшее парусно-моторное судно на Черном море.

Предварительные приготовления начали еще осенью 1924 года. Быстро пролетела зима. Наступил март месяц. Погода держалась скверная: дождь, грязь, слякоть, туман. Как известно, время весеннего равноденствия — время штормов, но полоса их тогда почему-то еще не наступила.

С началом весны стали готовиться к отъезду. Прежде всего нужны были денежные средства. После долгих усилий нам удалось собрать небольшую сумму. Де Тиллот<sup>84</sup> принужден был совершить несколько поездок спекулятивного характера, в результате чего наши ресурсы увеличи-



лись на несколько десятков рублей. Чтобы не обращать на себя внимания частыми встречами в городе, мы стали собираться на окраинах.

«Утриш» еще стоял на швартовых в Одесском порту, хотя навигация уже началась. В скором времени обстоятельства неожиданно так сложились, что нам во что бы то ни стало нужно было бежать немедленно (де Тиалот на досуге взорвал пороховой погреб в районе Севастопольской крепости). «Утриша» ждать мы уже не могли. Решено было завладеть одним из моторных катеров «Крымкурсо» («крымское курортное сообщение»), совершавших пассажирские рейсы по южному берегу Крыма, и идти в Болгарию. Решили сесть под видом экскурсантов, направляющихся в Ялту, взяв с собой съестных припасов на неделю, и под видом груза достаточное количество горючих и смазочных материалов.

Группами в два-три человека мы бродили около пристани южнобережных катеров Крымкурсо (вдоль Корниловской набережной) и внимательно осматривали небольшие суда. Одно из них показалось нам подходящим. Навели справки. Выяснилось, что это быстроходный катер с хорошим мотором. Вместить он мог, на наш взгляд, человек тридцать — тридцать пять.

Времени терять было нельзя. Второго мая 1925 г. я отправил одному из своих знакомых за границу телеграмму: «Telegraphiez à Gabriel, son aide est très nécessaire». Лицо это, получив депешу, предприняло необходимые шаги, и вследствие этого о нашем прибытии заранее были осведомлены нужные лица за границей. Это нам впоследствии весьма помогло.

За неделю до посадки на катер вбегает Джон и объявляет, что пришел «Утриш». По моему предложению план бегства на катере оставляется и мы возвращаемся к первоначальному решению — захватить «Утриш». Решено было взять судно на третьем рейсе.

Парусно-моторное судно «Утриш» (в прошлом китоловное судно, впоследствии «Иван Бургард»), принадлежавшее советскому «Государственному Черноморско-Азовскому пароходству» («Госчап»), совершало регулярные товаро-пассажирские рейсы между Одессой и Севастополем с заходом во все промежуточные порты: Евпаторию, Ак-Мечеть, Хорлы, Скадовск, Очаков. Судно это новейшей конструкции, железное, с превосходным нефтяным мотором (полудизель), в 120 лошадиных сил, дающее без парусов максимум 9,5 узла. Большевики «национализировали» «Утриш» у владельца, заново отремонтировали его и поставили новый мотор.

Чтобы обмануть бдительность ГПУ (за нами велась усиленная слежка), трое из нас, которым особенно опасно было садиться в Севасто-

поле, должны были ехать поездом в Евпаторию и там сесть на судно. Пятеро же остальных и дама с девочкой должны были отправляться из Севастополя. Билеты были куплены в разные места побережья.

Мы были вооружены револьверами разных систем, которые, с небольшим количеством патронов, спрятали в наших вещах, и только у одного, за неимением револьвера, был финский нож.

## От Севастополя до Тарханкута

12 мая в 9 часов утра мы с П-вым выехали в Симферополь. Там нас должен был ждать де Тиллот. Он нас встретил около вокзала, и мы вместе отправились в гостиницу. Документы наши были в относительном порядке. Взяли дешевенький номер на окраине города, где и переночевали. На следующий день рано утром мы отправились на симферопольский вокзал. Пошли не позавтракав, так как опасались, что не хватит денег на покрытие дальнейших расходов. Была надежда, что наши приятели, оставшиеся в Севастополе, позаботятся о продовольствии.

На вокзале публики было немного. Пока П-в брал билеты, двое каких-то чекистов из железнодорожного отдела ГПУ внимательно за нами наблюдали. Затем, обменявшись между собою несколькими замечаниями, они куда-то скрылись. Когда мы сели в поезд, чекисты вновь появились на перроне и глазами кого-то искали. Несмотря на то что мы благополучно мчались в курортном поезде в Евпаторию, самочувствие наше было не из приятных. В прошлом за нами числился ряд тяжелых, с точки зрения советской власти, преступлений; при нас имелось оружие и компрометирующие документы.

Тем временем «Утриш», простояв положенное время в севастопольском порту, к 10 ч утра начал отдавать швартовы. Безмолвно, никому не заметные, сидели в разных частях корабля пятеро неизвестных молодых людей. Была еще некая дама с маленькой девочкой. Отойдя от пристани и развернувшись, «Утриш» прибавил ходу. Все ближе и ближе выход из Южной бухты в Северную. Справа по корме остался Малахов курган...

Наш поезд шел довольно быстро. Прибыв в Евпаторию, мы отправились к пристани «Госчапа» (б. Русского Общества Пароходства и Торговли), где должен был ошвартоваться «Утриш». На пристани, среди немногочисленной публики, расхаживало несколько чекистов в форме. Двух из них мы встречали в Севастополе. В голову полезли назойливые вопросы: не известно ли ГПУ о нашем замысле? Приедут ли наши друзья? Может быть, они уже арестованы?!

Переложили револьверы из чемоданов в карманы. Взяли билеты в Хорлы. Денег едва-едва хватило. Стараясь быть незаметнее, с нетерпением ждем прихода судна. Томительно протянулся целый час. Но вот слева на горизонте показалась точка. П-в вышел посмотреть на подхваченное судно. Это была парусная лайба. Около 2 ч 30 мин дня показалось опять судно в том же направлении. Мы не выдерживаем и по очереди выходим из здания морского агентства на пристань. «Утриш», красиво пересекая волны, быстро приближался. Наших никого не видно. Быть или не быть? Вглядываемся пристальнее. Одного узнали: это был К-в. Он высунулся, чтобы дать знать о себе и посмотреть, приехали ли мы. Вскоре увидели и остальных. Они сидели так, что их с берега почти не было видно. Разместившись в разных частях судна, они не обращали друг на друга ни малейшего внимания.

Чекисты все еще находились на пристани. По-видимому, на наше счастье, мы не показались им подозрительными. К тому времени поголовные проверки документов и багажа пассажиров уже не производились. Специальные пропуска были также отменены.

Стали грузиться. Команда помогла нам перенести чемоданы. Неприятное открытие: и команда, и администрация «Утриша» были все здоровые и крепкие люди. Если дело дойдет до рукопашной — нам несдобровать.

Прошло еще томительных полтора часа. Наконец-то гудок. Собака капитана, завертевшись волчком, стала ловить свой хвост, оказывается, она всегда так в торжественные моменты. Второй гудок. Третий. Отдали концы. «Утриш» стал отходить. Собака все еще вертелась. Пристань, дома, церковь, люди, чекисты — все это постепенно ушло назад.

Мы вошли в Ак-Мечеть около 5 ч вечера. Кроме нас восьмерых и дамы с ребенком, на борту находились: 15 чел. администрации и команда (капитан, 2 помощника, боцман, 3 моториста, 3 рулевых, 2 матроса, как и ученики-практиканты) и 12 настоящих пассажиров. Как потом оказалось, среди команды было 4 коммуниста (рулевой — профуполномоченный и мотористы) и 2 комсомольца (ученики-практиканты). Все же остальные, включая и пассажиров, были беспартийными. Среди пассажиров было несколько моряков, 2—3 купца, фельдшер, женщины и дети.

Предчувствуют ли все эти люди, что им готовят ближайшие часы? Невдалеке от меня находился Джон.

— Купили вы в Севастополе провизии?

— Кажется, нет, — ответил Джон хмуро, — впрочем, спроси М-ра. Он этим заведовал. А вы чем запаслись?

— Ничем, едва хватило денег на билеты. Не ели с раннего утра.

Вскоре выяснилось, что у М-ра также не хватило денег для закупок продовольствия. Итак, предстояла длительная голодовка.

— Нечего сказать, приятная перспектива, — проворчал Джон. — Легко сказать, не ешь до ночи.

Спohватившись, он отошел и сделал вид, что наш разговор был совершенно случайным.

Я подошел к Гарри.

— Знаешь, Валентин, — сказал он, не глядя на меня, — я жду не дождусь момента, когда смогу открыть ураганный огонь.

Я удивился:

— Послушай, Гарри, насколько мне известно, у тебя весьма ограниченное количество патронов.

— Более чем ограниченное, — уныло протянул мой приятель, — единственный и, кроме того, мой «бульдог» почти всегда дает осечку.

Несмотря на трагичность положения, я чуть не прыснул со смеху, на что Гарри криво усмехнулся.

— Послушай, отчего же ты не приобрел финский нож?

— Я думал, да не было денег. Джон оказался счастливее.

Я незаметно отошел.

Вдруг мимо меня с радостным видом пронесся де Тиллот.

— Валентин, у меня в кармане кусок пирога; я о нем и забыл. Съедем, что ли, и угостим П-ва.

Я не заставил себя уговаривать. Остальным не дали, чтобы не обнаруживать нашего знакомства. К тому же перед отъездом из Севастополя все они плотно поели.

— Вот болгары удивятся, — услышали мы неподалеку шепот П-ва, — когда Красная армия к ним пожалует.

— Прошу выражаться осторожнее, — заметил А-в, бывший взводный командир конницы Жлобы. — Что было, то прошло.

— Ну ладно, не сердись, я пошутил, — сказал П-в.

Мы снова разошлись.

«Утриш» все больше удалялся от берега. Решили захватить судно, когда мыс Тарханкут окажется на траверзе. Распределили роли. Руководил захватом де Тиллот. В инициативную группу, кроме него, входили я и М-р.

На судне некоторые из нас, я в том числе, переоделись в форму советских военных летчиков, с голубыми нашивками. На это у нас были свои причины. Бывшие на палубе матросы и пассажиры, как показалось нам, заметили эту перемену.

Море было спокойно. День был ясный, но прохладный. К вечеру дали стали мгаться. Шли полным ходом в большом отдалении от берега

(7—8 миль). Мыс Тарханкут был недалеко. Мимо прошел океанский советский пароход «Трансбалт». Солнце садилось.

Капитан, старый морской волк, беседовал о чем-то со вторым помощником. Время от времени один из мотористов выходил на палубу подышать свежим воздухом. Кок готовил ужин для администрации и команды. Команда и пассажиры занимались каждый своим делом. Фельдшер, возившийся со своей походной аптечкой, предложил одному из пассажиров — штурману дальнего плавания — какое-то средство от мучившей его зубной боли.

— Да поймите вы, — говорил он, — что капли эти я принимал сотни раз, и всегда без результата.

— Нет, нет, не погорьте, эти капли хотя и от желудочных заболеваний, но помогают также и от зубной боли. Нужно только как следует приложить к болящему месту пропитанный шарик из ваты.

Моряк более не прекословил и принялся было старательно запикивать в рот вату.

— Ваня, — послышался голос из моторного помещения, — скоро ли приготовишь ужин?

— Подождешь, — ответил кок, — когда будет готово — скажу.

— То-то, живее поворачивайся, есть хочется.

— Это ты мне — живее поворачивайся? — рассвирепел кок. — Вас тут целая орава, и каждый кричит: скорее, скорее! Да разве на вас угодишь? Побыли бы вы в моей шкуре, узнали бы, что значит быть коком.

— Ваня, а ты его по зубам, — насмешливо произнес комсомолец, проходя мимо.

— Ну а ты что пристал, молокосос этакий? — накинулся на него кок. — Вот отдеру тебя как следует, будешь знать, как вмешиваться не в свои дела.

— Да я, Ваня, пошутил, — сказал комсомолец. — Я знаю, что тебе морду все бьют, а ты никому.

— Правильно, — отозвался профуполномоченный, стоявший поблизости. — Ваня по доброте своей и муху не обидит.

Вокруг послышался смех.

— Убирайтесь вы ко всем чертям! — заорал кок. — Как придем в Одессу, обязательно сбегу с этого проклятого судна и найду что-либо получше. С этими хамами служить нет никакой возможности.

— Не сбежишь, Ваня, — хладнокровно заметил один из рулевых, — места нынче на улице не валяются. Коли имеешь кусок хлеба, держись за него руками и ногами, если ты не дурак.

Взбешенный кок скрылся в камбузе. Несколько минут спустя оттуда раздался грохот разбитой посуды, собачий визг и яростный рев кока.

Из камбуза вылетает, расстилаясь по палубе, несчастный пес с куском мяса в зубах. Вдогонку несутся осколки тарелок, деревянные ложки и, наконец, сам кок. Собака исчезает в кают-компаний, куда кок не дерзает последовать.

— Ты, Ваня, что-то очень рассеян сегодня, — замечает боцман.

Кок, не отвечая, скрывается в камбузе.

Запах вкусных блюд действует раздражающе. Голод все более дает себя чувствовать. Мы с тоской наблюдаем, как уничтожался сытный обед. Джон засматривает в каюты. Негодование на неравномерное распределение корабельных благ написано на его лице. Он становится все мрачнее.

Один из матросов подсел к К-ву и М-ру и стал с ними заговаривать. М-р угостил его вином, и это окончательно развязало матросу язык. Мы получили ряд ценных сведений об администрации и команде.

Окончательно стемнело. Зажжены огни. Тарханкутский маяк ярко светит справа по носу. Виднеются на берегу и другие огни.

Капитан, приятный человек, как истый джентльмен, предложил г-же Добровольской с девочкой одну из кают, но она поблагодарила и предпочла оставаться на палубе. Они расположились на юте. Девочке холодно, и мать заботливо ее укутывает...

Подходя к Тарханкуту и готовясь его обогнуть, судно стало приближаться к берегу, и дальнейший курс его был вблизи берега — не далее 1—2 миль расстояния.

Надо было покончить дело до поворота на Ак-Мечеть.

Главную задачу — арест капитана и старшего помощника — взял на себя де Тиллот. М-р должен был ему помогать. В мое ведение поступила корма судна, где у штурвала стоял рулевой и откуда был вход в каюты. Мои помощники Гарри и Джон. Невдалеке, в боковых проходах, стали К-в и П-в. Около трюма, у входа в моторное помещение расположился А-в. На бак послать было некого — не хватало людей.

### Захват «Утриша»

Было холодно. Все мы надели шинели. Чтобы согреться, некоторые из нас выпили немного вина (у М-ра был небольшой запас). М-р предложил по стакану вина капитану и второму помощнику, но те поблагодарили и отказались. Скоро капитан и старший помощник спустились в каюты. Второй помощник стоял на вахте на капитанском мостике. Большая часть команды находилась наверху, остальные были в кубрике. Пассажиры расположились на досках, которыми был накрыт трюм.

Было около 9 ч вечера. Наверху все посты нами уже заняты. Пора начинать. С богом! Де Тиллот, вооруженный большим «стейером», спустился в капитанскую каюту. За де Тиллотом спустился М-р. Уже на трапе де Тиллот вогнал патрон в ствол, и курок громко щелкнул.

Условлено было, что нами наверху ничего не будет предпринято до тех пор, пока де Тиллот и М-р не сообщат, что у них внизу благополучно.

Войдя в каюту спящего капитана, де Тиллот разбудил его и, нацелив револьвер, сказал:

— Сообщаю вам, что мы, группа врангелевцев, меняем курс и идем к болгарским берегам.

— Что вам угодно? — переспросил капитан, вскакивая и протирая глаза.

— Сообщаю вам, что мы, группа врангелевцев, меняем курс и идем к болгарским берегам.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — пригласил капитан.

— Благодарю вас. Есть ли на судне оружие?

— Оружия нет.

— Сейчас будет произведен обыск, и, если будет найдено оружие, вы будете расстреляны. Есть ли оружие у команды?

— Нет... нет...

— Если у команды будет найдено оружие, вы получите пулю в лоб, — заявил де Тиллот.

— Нет, — ответил капитан, — ручаться не могу. Официально ни у кого нет, а неофициально, может быть, и есть.

— Хорошо. Прокладывайте курс на Варну.

Капитан выкладывает из шкафа карты, роняет их на пол и никак не может найти ту, которая ему нужна.

— В сущности, это дело старшего помощника... — бормочет он.

Войдя вместе с М-ром в каюту старшего помощника, разбудили и его. Под угрозой револьверами тот дал приблизительно те же сведения, что и капитан. Их соединили вместе; карта отыскалась, и сообща они стали прокладывать требуемый курс.

Вдруг открылась дверь каюты и вошел старший моторист.

— Руки вверх! — закричал де Тиллот.

Моторист остолбенел, но повиновался. Его обыскали; оружия при нем не оказалось.

— Если мотор будет испорчен, все равно кем и почему, вы будете расстреляны; не забывайте, что вы коммунист.

Пока де Тиллот, еще в Севастополе изучивший главнейшие правила судовождения, а также устройство и действие судовых компасов, наблю-

дал за прокладкой курса, М-р получал от моториста сведения о состоянии судового мотора. Сам будучи мотористом, М-р в случае необходимости мог при помощи А-ва, тоже моториста, справиться с работой по уходу за мотором.

Дверь снова открылась, и вошел профуполномоченный, бывший посредник между профессиональным союзом и судом, а также между командой и администрацией. Этот также был арестован, оружия при нем также не было. Все четверо были крайне испуганы, но старались владеть собой, что, однако, удавалось им весьма плохо.

Мы все наверху не знали, что и думать. Прошло почти полчаса, а снизу сигнала никакого не было. Подошел К-в, и мы с ним и с Гарри обменялись тревожными предположениями о том, что творится внизу. Нервы наши были напряжены до крайности.

Между тем команда почувствовала что-то неладное. Похоже было, что они приняли нас за агентов ГПУ, производящих обыск на судне (чекисты носят зеленые нашивки; наши голубые от времени выцвели и казались тоже зелеными). Отчасти укрепить их в этой мысли могло также то обстоятельство, что де Тиллот, при входе в каюту капитана, громко щелкнул револьвером.

Спустя некоторое время второй помощник спустился с мостика и, сказав несколько слов рулевому, поднялся на прежнее место. Его слов мы не расслышали, но, так как судно после этого стало брать вправо, мы заключили, что догадавшийся помощник приказал вести «Утриш» к берегу. Впоследствии мы узнали, что этот поворот вполне отвечал правильному курсу судна.

Рулевой (профуполномоченный), которому многое казалось весьма подозрительным, неоднократно отрывался от штурвала и заглядывал в кают-компанию, дверь которой оставалась открытой до тех пор, пока де Тиллот не приказал старшему помощнику закрыть ее. Сам он не мог этого сделать, так как не знал, что дверь у входного люка закрывалась при помощи особых крючков сверху и снизу. Еще ранее, услышав щелканье револьвера де Тиллота, рулевой сообщил об этом ходившей по палубе команде; затем, сдав вахту своему заместителю и решив, как лицо официальное, присутствовать при обыске, он спустился в каюту капитана. В этом мы ему не помешали, так как опасались преждевременно поднять тревогу.

И вот тут-то мы увидели, как трудно было привести в исполнение намеченный ранее план захвата судна. Де Тиллот и М-р могли быть убиты внизу, в то время как мы наверху теряли драгоценные минуты. А приход судна в Ак-Мечеть означал бы нашу гибель и провал всего предприятия.



Вдруг я заметил, что вахтенный рулевой с ужасом на меня смотрит. Только потом выяснилось, что из прорванного кармана моей шинели выглядывало дуло нагана.

Дальнейшее ожидание становилось невозможным, и К-в по собственному решению спустился в кают-компанию. По его просьбе я незаметно сунул ему свой наган, оружие более надежное, получив в обмен его браунинг.

Приоткрыв дверь в кают-компанию и увидев, что де Тиллот и М-р целы и невредимы, К-в спросил:

— Ну, как у вас там?

— Все в порядке, — ответил де Тиллот. — Оружие есть?

— Нет.

— А у команды?

— Тоже нет.

Тогда К-в с поднятым револьвером бросился наверх. Выхватил револьвер и я, и мы оба закричали рулевому:

— Лево на борт!

Затем К-в бросился на капитанский мостик и, арестовав второго помощника, спустил его в трюм.

Рулевой между тем медлил. Стоявший рядом со мною Гарри выхватил свой револьвер. Рулевой сказал:

— Без разрешения капитана менять курс не могу.

Я еще раз крикнул:

— Больше не повторяю! Лево на борт.

Рулевой повиновался. В это время из бокового прохода выскочил с револьвером в руке П-в.

Услышав шум наверху, де Тиллот запер четырех арестованных в капитанской каюте и, взяв ключ с собой, вместе с М-ром бросился наверх.

Необходимо было, арестовав команду и пассажиров, произвести в кубрике обыск. Оставив Гарри своим заместителем на юте, я вместе с остальными бросился к трюму. Перепуганные пассажиры накрылись одеялами и лежали без движения. Так как очевидно было, что они люди безобидные, то мы, успокоив их, пока не тревожили. Быстро были арестованы и посажены в трюм люди из команды, находившиеся на палубе.

В это время де Тиллот заметил, что с судном творится что-то неладное. Оказалось, что рулевой, исполнив приказание «Лево на борт», не отвел руля, и судно, как волчок, описывало ряд циркуляций (капитан позже говорил, что мы едва в тот момент не налетели на прибрежные камни).

Де Тиллот бросился к рулевому и приказал идти на Вест. Рулевой снова заколебался:

— А мне за это ничего не будет?

— Ничего, ничего, не беспокойтесь.

Рулевой исполнил приказание, и судно, в последний раз описав дугу, стало удаляться от крымских берегов. Затем двое из наших ворвались в кубрик и арестовали четырех матросов, находившихся там. Последние страшно перепугались, когда им крикнули: «Руки вверх!», и не оказали никакого сопротивления.

В кубрике был произведен тщательный обыск, но и там оружия не нашли. Матросов выводили по одному наверх и сдавали мне; я же препровождал их в трюм. Все они были крайне испуганы. Особенно волновался кок, который почему-то вообразил, что его хотят расстрелять в первую очередь. Тщетно мы успокаивали его. Он умолял пощадить его ради жены и детей. Джон, вооруженный ножом, произвел на кока особенно сильное впечатление.

Тем временем нами была уничтожена политическая литература, хранившаяся в судовой библиотеке, и проверены документы у команды.

Вскоре спустили в трюм и пассажиров. Нашу спутницу с ребенком препроводили туда немного позже, причем М-р умышленно грубо крикнул ей:

— Что вы шляетесь назад и вперед! Сидите в трюме и не вылезайте.

Я и П-в еще раз успокоили пассажиров, сказав им, что бояться им нечего, так как мы не бандиты, а солдаты Русской Армии.

Любопытный разговор произошел у меня со старушкой-пассажиркой.

— Вы билы?

— Билы.

— Я ж думала, шо билы уси уतिकли, а воны утиклы, та не уси. А нас мабуть не расстреляют?

Я ее успокоил.

— А колы мы доидымо до Хорлив?

— Мы совсем туда не приедем, а вы будете там, вероятно, через несколько недель.

— А я думала завтра зранку буты у Хорлив.

Пауза.

— И чога я тильки поехала на цим судни? Я маю невестку в Хорлах. Вона до мене пысала, шоб я проихала до ней. Я и хотила ихаты на потягу (поезд). Невистка як узнала, то и написала: не изжайте потягом, а то заплутаетесь. Ну я и сила на пароход, и на ж тооби. Восемьдесят рокив живу на свити, ныколы по морю не издыла, а теперячки,

на старости поихала, и не заплуталась, а не туды приихала, куды треба. Усим своим дитям и унукам буду казать, шоб никола ны издылы на пароходи.

Когда г-жа Добровольская спустилась в трюм, все находившиеся там бросились к ней, спрашивая, о чем мы с ней разговаривали наверху и кто мы такие. Наша спутница, притворившись крайне испуганной, заявила:

— Да разве с ними можно разговаривать? Ведь их человек двадцать, и у каждого по два револьвера. Кто они — неизвестно: говорят, белые.

Возле трюма была поставлена охрана. «Утриш» был в наших руках.

## По Черному морю

Минута была жуткая... Что, если с берега заметят наш уход? Не заметить было трудно, тем более что мы повернули с зажженными огнями. Не говоря уже о пограничной береговой охране и специальных катерах, предназначенных для ловли контрабанды, между Тендровской косой, где находился тогда советский военный флот, бывший в практическом плавании, и Севастополем постоянно шныряли небольшие суда специального назначения, служившие для связи. Мы могли быть очень легко открыты.

Вызвали из трюма одного из команды, чтобы потушить огни.

— Такой-то.

Молчание (слышно, как в трюме кто-то произнес: «Ишь, и фамилию знают»).

— Такой-то, выходи.

— Да я ж ничего, беспартийный; разве я что-нибудь такое?

— Выходи, говорят тебе; туши огни.

Матрос медленно стал подниматься по трюмному трапу, бормоча: «Вот идешь, а на что идешь, и сам не знаешь». На полпути остановился. Обернулся.

— Братцы, ежели со мной что случится, не поминайте лихом.

Голос из трюма:

— Да ты иди, чего ждешь.

Идущий рассвирепел:

— Как чего ждешь?! Сам иди, дурак.

Наконец профуполномоченный (это был он) поднялся на палубу и потушил огни на всем судне, после чего его снова спустили в трюм. Вскоре туда же отправили и отстоявшего вахту рулевого, которого наверху сменил профуполномоченный.

Сменившись с вахты, рулевой, спустившись в трюм, увидел г-жу Добровольскую и мрачно сказал:

— Вот эта дама видела, что я пережил, когда один из них крикнул мне: «Больше не повторю! Лево на борт».

Г-жа Добровольская поддержала его, сказав:

— Да, вы пережили много.

С флагштока был сорван красный флаг и выброшен в море. Мы расположились в кубрике. Половина отдыхала, а остальные занимали посты наверху. Администрация и часть команды содержались под арестом, мотористам же и рулевым было приказано остаться при исполнении своих обязанностей.

Беспартийные матросы и пассажиры отнеслись в общем ко всему происшедшему внешне спокойно. Совсем иначе держали себя коммунисты. Животный страх выражался на их лицах. Не одно гнусное убийство из-за угла лежало, без всякого сомнения, на душе каждого из них. Мы не желали мараить рук в крови этих негодяев без особой необходимости. Кроме того, у нас были на это свои соображения.

Пока все в порядке. Хорошо, если удастся уйти незамеченными. Если же нет — короткая перестрелка и блестящий фейерверк. «Утриш» никогда уж не увидит берега.

Неожиданно к горлу подкатывается клубок. В чем дело? Сам себя не могу понять. Грустно, но почему? Что я терял? Ведь я уходил от рабства на волю. Кошмар оставался позади; впереди же светлые ожидания. Но вдруг сразу понял — я покидал Родину.

Проходя по палубе, я заметил, что сигнальный огонь около спасательной шлюпки продолжает гореть, причем светил он довольно странно — вспыхивая и угасая. Опасаясь, что это сигнал тревоги по азбуке Морзе, П-в вывинтил лампочку и выбросил ее в море.

После поворота судно еще около часа шло в западном направлении. Пройдя миль десять, мы взяли еще левее и пошли новым курсом зюйд-вест 54 градуса, к Варне. Счисление было сделано капитаном и проверено де Тиллотом. Решили изобразить потопление судна и с этой целью выбросили в море один из спасательных кругов.

Береговые огни уже скрылись. Один маяк еще светил довольно ярко, но вот и он стал едва заметен, превратившись в светящуюся точку, но точка эта светила еще в течение долгого времени. Наконец скрылась и она.

Опять приступ острой тоски. Мои спутники переживали, по-видимому, то же, что и я.

Капитан спросил де Тиллота:

— Вы моряк?

— Да, по необходимости.

Заметив у де Тиллота маленький компас, капитан снова спросил:

— Неужели вы думаете вести судно по этому компасу? Уберите вашу пушку (револьвер), и вы заметите отклонение стрелки.

— Совершенно верно, г-н капитан, — ответил де-Тиллот, — но мне этот компас нужен для того, чтобы во всякое время, в любом месте я мог определить курс судна, хотя бы приблизительно.

Казалось, все нам благоприятствовало, даже мгла, превратившаяся в туман.

Де Тиллот распорядился, чтобы каждые два часа менялась вахта у штурвала и в машине. Везде был наведен полный порядок. Под дулами револьверов приказания выполнялись с чрезвычайным усердием. О господствовавших в команде настроениях можно судить по следующему факту. Когда один матрос, обратившись с какой-то просьбой к де Тиллоту, назвал его «гражданином», другой поправил: «Не гражданин, а господин или Ваше Высокоблагородие».

Чудная ночь. Ветер то дует порывами, то стихает. Слух необычайно восприимчив. Гулко и равномерно работающий мотор действует на нервы. Хочется тишины, покоя. Или, может быть, это только реакция после недавнего напряжения? Ночь темна, но не непроглядна. Кое-где слабо мерцают звезды. Холодно. Я поднял ворот шинели. Взглянул на часы: 11 ч 5 мин.

«Утриш» идет на славу. Чуть видна тень за кормой. Я не моряк, но чувствую нечто подобное нежности к этому судну, несущему нас к новой жизни.

Через час-полтора после захвата судна я спустился в кают-компанию. В ней кроме капитана и помощников находились де Тиллот и М-р. Пожелав доброго вечера присутствовавшим, я вложил наган в висевшую на поясе кобурку и уселся поудобнее.

В каюте было тепло и уютно. Капитан и помощники хотя и были страшно потрясены происшедшим, но понемногу стали примиряться с неизбежным. Следует заметить, что капитан вполне овладел собой и держался с полным достоинством. Он советовал нам идти в румынский порт Констанцу, мотивируя свое предложение недостаточным количеством горючих и смазочных материалов. Несмотря на то что парусов тогда на судне не было (находились в починке на берегу), мы категорически отказались, так как опасались, что румыны выдадут нас большевикам. Опасения наши вовсе не безосновательны. Мы знали о вероломстве румын и о их ненависти ко всем без исключения русским. Румыны неоднократно выдавали большевикам вынужденных бежать из советской России русских эмигрантов.

— Господа, — обратился де Тиллот к капитану и его помощникам, — считаю своим долгом предупредить вас, что, если вам дорога жизнь, не пытайтесь нас перехитрить, точнее — не пробуйте пойти вместо Варны в другое место. Если это произойдет, вы будете немедленно расстреляны.

Здесь я невольно вспомнил о печальном факте, имевшем место незадолго до нашего побега. Группа русских офицеров села на парусное судно, шедшее из Новороссийска в Батум. В открытом море офицеры завладели кораблем с целью бежать в Турцию. Однако неумение ориентироваться в море погубило их. Капитан сумел привести судно в Батум, уверяя их до последнего времени, что судно находится у турецких берегов. Офицеры были схвачены батумской Чекой и расстреляны после невероятных пыток и издевательств.

Капитан поспешил нас заверить в том, что будет точно исполнять все наши приказания и отдаст команде соответствующее распоряжение. Помощники его высказались в том же духе.

Второй помощник, между прочим, сказал, что, по его мнению, наше предприятие обречено было на неудачу, так как советские пограничные посты войск ГПУ, заметив наш уход, телеграфируют Штабу Флота в Севастополь; Штаб же даст телеграмму на Тендру. Оттуда вышлют за нами в погоню два быстроходных миноносца, которые нас и обнаружат. На это мы возразили, что живыми в руки большевиков не дадимся и судна также не вернем. Мы пояснили затем, что в случае неудачи «Утриш» будет нами зажжен и потоплен. Последнее наше заявление еще более обескуражило капитана и помощников. Но и поездка в Варну им мало улыбалась.

Де Тиллот спросил, есть ли на судне провизия и в каком количестве. Ответ, данный капитаном, был неутешителен. Съестных припасов могло хватить на несколько дней, да и то при условии экономии. Мы выразили надежду, что по прибытии судна в Болгарию советское правительство так или иначе сумеет наладить снабжение команды и пассажиров. Что же касается нас, то мы рассчитываем по приходе в Варну сразу же съехать на берег.

Разговаривали мы с администрацией, как и со всеми на судне (за исключением, конечно, коммунистов), с полной вежливостью.

Пробыв в каюте с час, я поднялся на палубу. Администрации было разрешено выходить по одному человеку наверх, но при условии, что они ни с кем из команды и пассажиров не будут вступать в разговоры.

Ночь прошла спокойно. Никто из нас не смыкал глаз. Наверху были только мы одни. Капитан с помощниками находились в каюте, мотористы при моторе, остальная команда и пассажиры — в трюме, и толь-

ко вахтенный рулевой стоял у штурвала, находясь в зоне моего наблюдения.

Пассажирам и команде спустили в трюм постельные принадлежности и разрешили зажечь свет. Сверху трюм был накрыт досками и брезентом. Находившимся в нем разрешили выходить по одному человеку наверх, всякий раз с нашего на то разрешения. Всем, однако, дано было понять, что малейшее неповиновение повлечет за собой беспощадную кару.

При проверке курса судна мне приходилось делать замечания рулевым, допуская значительные отклонения компасной стрелки. Всякий раз, когда на вахте стоял профуполномоченный, амплитуда этих отклонений превышала 5 градусов, и почти всегда вправо. По моему мнению, рулевой хотел, чтобы мы попали в Румынию. Дошло до того, что я пригрозил ему наганом. С этого момента амплитуда отклонений сильно уменьшилась.

Итак, я наблюдал за вахтенным рулевым и капитанской каютой, а также время от времени проверял компасный курс. На капитанском мостике имелся еще один компас, но им не пользовались, так как он был неисправен. Де Тиллот, К-в и М-р находились преимущественно на капитанском мостике. Остальные были на шканцах и на баке. Во время пути мы неоднократно всматривались в горизонт, но ничего подозрительного не обнаруживали. Прекрасные судовые бинокли Цейсса верно нам служили.

В трюме произошел тем временем следующий случай. Бывшие там обнаружили исчезновение находившегося среди них кока. Все недоумевали, куда он мог провалиться. Высказывались различные предположения; его окликали, искали, но безуспешно. Перед рассветом мы громко отдали распоряжение исчезнувшему коку немедленно подняться наверх и готовить пищу. Повторять приказания не пришлось. Кок вдруг появился в трюме столь же загадочно, как и исчез и, не отвечая на расспросы окруживших его матросов и пассажиров, стремглав помчался исполнять приказание.

Потом выяснилось, что, после того как всех спустили в трюм, кок, желая спрятаться подальше от непредвиденных им судовых событий, сорвал доски с ящичка, в котором были упакованы смоляные тросы, накрыл себя теми же досками и мирно проспал в ящичке всю ночь. Бедняга вылез оттуда мокрым и грязным. На подтрунивания окружающих он, полный сознанием своей правоты, не обращал никакого внимания.

Между тем Джон, не евший, как и все мы, предыдущие сутки, еще с вечера начал впадать в черную меланхолию. Почувствовав себя госпо-

дином положения и случайно заняв боевую позицию в непосредственной близости к камбузу, Джон был приятно удивлен таким соседством. Его изобретательный ум немедленно придумал меню, соответствовавшее обстоятельствам. Нужно заметить, что отсутствием аппетита он никогда не страдал. Держа наготове единственное имевшееся в его распоряжении оружие — финский нож — и время от времени воинственно им помахивая, причем нож блестел в сумерках наступавшего утра, Джон внушал суетившемуся коку непреодолимый страх. Кок старался вовсю, выказывая свое усердие в полной мере. Время от времени Джон спрашивал: «Скоро?» Энергия кока удесятерилась, и он подбостранно-почтительно выкрикивал: «Есть! Так точно! Сию минуту!», хотя ничего еще не было готово. После небольшой паузы слышался новый, более суровый окрик Джона: «Если готово, то почему не подаешь?» Кок, цепеня от ужаса, с прилипшим к гортани языком, носился как вихрь, доводя скорость своих движений до нечеловеческих пределов. «Что ты мечешься, точно угорелый, — замечал Джон, — ведь толку от этого немного». — «Но что же мне делать?! — восклицал в отчаянии кок. — Ведь я стараюсь изо всех сил». — «Ты у меня поговори еще, я тебе покажу, что делать, бездельник. Будешь доволен».

Было уже светло, когда пища была наконец готова. Все мы набросились на еду с жадностью голодных волков. Лицо Джона прояснилось. Он оказался вполне на высоте положения и своим чудовищным аппетитом удивил даже нас, знавших об этой его слабости. Кок хлопотал по-прежнему, прислуживая нам с величайшей охотой и предупредительностью. Когда один из нас оканчивал есть, он почему-то говорил: «Мерси».

Начало дня не предвещало хорошей погоды. Мгла держалась по-прежнему, но вскоре задул легкий ветерок, и туман стал рассеиваться. Блеснули первые лучи солнца. Стало суше и теплее, но ветер все более и более свежел. Белые гребешки волн виднелись повсюду. Вокруг судна, шедшего полным ходом, резвились дельфины. За арестованными по-прежнему строго наблюдали.

Ясная погода, однако, беспокоила нас, так как опасность погони не миновала. Размышляю на эту тему. Весьма вероятно, что большевики действительно послали за нами в погоню два быстроходных миноносца — все, что они могли, по нашему предположению, тогда сделать (остальные миноносцы были тихоходны). Но вот вопрос, успеет ли погоня нас настигнуть, если большевики разгадают наш план и пойдут на пересечку нашего курса?

«Утриш» по распоряжению должен был прийти в Хорлы в 6 ч утра. Так как судно заходит в Ак-Мечеть только при наличии пассажиров или



груза, то там неприбытие его к указанному по расписанию сроку подозрений не вызовет. В 6 ч утра судна в Хорлах нет. Ждут час, другой. Часов в восемь утра запрашивают Евпаторию и Ак-Мечеть. Евпатория отвечает: «Утриш» вышел около 5 ч дня». Ак-Мечеть — «Судно не пришло». Возникают первые подозрения. Ждут еще короткое время, а затем о происшедшем сообщают в Севастополь. Там тревога. Решают, что с судном что-то неладное. Начморси (начальнику морских сил) приказывают отправить на поиски «Утриша» миноносцы. Их срочно вызывают с Тендровской косы. Миноносцы могли выйти не ранее 12 часов дня, т. е. спустя 15 ч после захвата судна. Времени у них на поиски нас оказывается достаточно. Стараясь отогнать невеселые мысли, я подошел к Гарри и начал с ним беседу на отвлеченные темы.

Гарри и Джон. Назвали мы их так потому, что оба в совершенстве изучили английский язык и являлись поклонниками всего английского. Гарри немного идеалист, Джон чуть-чуть материалист. Гарри слегка сентиментален, Джон чужд этого. Гарри отменно вежлив, Джон же — в мере, свойственной русским людям. Гарри дипломат, Джон предпочитает политику прямых действий. Теперь два слова о де Тиллоте. Для осуществления задуманного нами дела нужны были выдержка, боевой опыт и крепкие нервы. Де Тиллот совмещал в себе все эти качества. Остальные действующие лица описываемых событий, в свою очередь, старались как можно лучше выполнить возложенные на них обстановкой боевые задачи.

День пролетел незаметно. Тревога нас не покидала до захода солнца. К вечеру задул норд-ост. С наступлением темноты огни были вновь зажжены, и судно, прошедшее к тому времени большую часть пути, стало приближаться к берегам Болгарии. Ветер между тем переходил в штормовой. Некоторые из нас начинали чувствовать себя скверно, в особенности де Тиллот; я еще крепился. Сказывалось то, что мы не моряки. Положение становилось серьезным. Все мы еще держались на ногах, но некоторые вот-вот должны были свалиться.

«Если мы укачаем, то матросы заберут нас голыми руками», — подумал я. Когда я высказал свои опасения де Тиллоту, он заявил:

— Что касается меня, то я буду стрелять и лежа.

Часов около восьми вечера открылись два маяка — слева болгарский и немного вправо румынский, оказавшийся Калиакрией. Мы знали, что радиус их действия простирается до 30 миль.

Вот и заграница. Две маленькие светлые точки на темном, почти черном горизонте. Не свет даже, а подобие его, какой-то слабый отблеск. Вокруг бурное море, штормовой ветер и качка, проклятая, нестерпимая качка, которая ослабляет энергию, мысль и даже чувство

самосохранения. Наше счастье, что мы идем по ветру; в противном случае волны, выросшие до чудовищных размеров, залили бы судно.

Мы бродим как тени. У Джона давно исчезли присущие ему юмор и аппетит, и он оставил кока в покое. П-в бесцельно слоняется по палубе вместе с Гарри. Де Тиллот лежит уже в кубрике. С К-вым и М-ром также, вероятно, не все благополучно; по крайней мере, на палубе их не видно. Один А-в чувствует себя хорошо и, стоя на капитанском мостике, задумчиво смотрит на разыгравшуюся стихию.

Подошел П-в.

— Коля, де Тиллоту лучше? — спросил я.

— Какое там лучше; валяется по-прежнему, — был ответ.

— Ну а как ты чувствуешь себя?

— Скверно, а ты?

— Я также.

На палубе показались М-р и К-в. Они возбужденно о чем-то говорили. Вскоре к ним присоединился де Тиллот. Что-то, несомненно, произошло. В чем дело?

— Команда ненадежна, — ответил де Тиллот, — хотят взбунтоваться.

— Кто передал?

— Добровольская.

Строгости были удвоены. Никого из арестованных, за исключением женщин, ни под каким предлогом не пускали наверх. За неповиновение пригрозили немедленной расправой.

Проходя мимо трюма, я услышал за собою какой-то скрип. Мальчишка-комсомолец приоткрыл оконце моторного помещения и наблюдал за мною.

— Закрой, или застрелю как собаку.

Тот медлил. Я поднял револьвер и прицелился. Ставня закрылась.

Я поднес к глазам бинокль и стал всматриваться в даль. Картина была поистине феерическая. В оранжево-желтых отблесках гребней черных валов было что-то зловещее. Свет маяков слепил глаза. Жуткое впечатление производила пустынная палуба судна, на котором, кроме меня, рулевого и двоих наших, не было ни души. Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, я обернулся. Рулевой тотчас же отвел глаза и с подчеркнутым вниманием стал всматриваться в компас. Я поднялся на мостик и, пробыв там некоторое время, спустился вниз. Шел осторожно, чтобы не поскользнуться на мокрой палубе.

Вдуг слева по носу показались какие-то огни. На большом отдалении от нас, пересекая наш курс, двигалась слева направо полоса света. Вероятно, это был пассажирский пароход, шедший из Константинополя в Констанцу. Вскоре пароход скрылся.

В это время капитан неожиданно поставил нас в известность, что к Варне не пойдет. Свое решение он мотивировал тремя соображениями: 1. Из-за шторма опасно положить лево руля и стать лагом к волне; 2. Возможно, что около Варны расположены минные поля, местонахождение которых ему не известно; 3. Недалеко от Варны имеются подводные камни, где в свое время погибли многие русские суда: «Колхида», «Петр Великий», один миноносец и др. Капитан, по его словам, считал себя не вправе вести людей и судно на верную гибель. Он и его помощники умоляли нас идти к румынскому мысу Калиакрия, чтобы отстояться там, пока не утихнет буря. Они уговаривали нас сделать затем оставшиеся от Калиакрии до Варны 18 миль на судовой шлюпке. Сами же они предполагали в этом случае вернуться в советскую Россию.

Отказ капитана заставил нас призадуматься. Расстреливать его не хотелось, да и нельзя было отказать в вескости приведенных им доводов. С другой стороны, мы не желали идти в Румынию, в силу приведенных выше соображений.

Мнения среди нас разделились, но большинство все же склонялось к тому, чтобы последовать совету капитана и идти к румынским берегам. На просьбу дойти оттуда до Варны на шлюпке мы также ответили согласием. Мы опасались, как бы доведенная до отчаяния команда, страшно боявшаяся Болгарии (особенно коммунисты), не испортила нам мотора.

## У берегов Румынии

«Утриш» немного взял вправо. Калиакрский маяк приближался. Вскоре все пространство вокруг было ярко освещено. Буря при таком освещении казалась еще более грозной и величественной. Огромные валы беспрепятственно налетали на нас, и их гребни захлестывали палубу. Звенела разбитая посуда в камбузе. Изнутри судна доносились шум и грохот летавших там всевозможных предметов, от палубных цветков до кока включительно. Корабль содрогался; снасти скрипели. Вскоре маяк оказался на правом траверзе, и мы, огибая мыс, стали входить в небольшой, защищенный от норд-оста залив. Ветер сразу стих, но зыбь почему-то усилилась, перейдя в мертвую.

При подходе к заливу все огни были потушены. Риск был большой. Если бы румыны заметили наш приход, то, несомненно, их береговая охрана постаралась бы нас задержать или по крайней мере обстреляла бы судно. К счастью, этого не случилось. Румынская пограничная стража оказалась не бдительнее пограничных постов ГПУ.

«Утриш» бросил якорь в одной миле от берега. Было около полуночи. Администрация и команда стали ждать исполнения нашего обещания, но мы и не думали садиться в шлюпку. У нас имелись сведения, что в случае нашей посадки команда намерена таранить нас судном. Момент был тревожный. Необходимо было действовать решительно.

Сказано было так, чтобы все слышали, что если старший моторист откажется на рассвете завести мотор, о чем он в припадке отчаяния заявил, когда становились на якорь, то сначала будет расстрелян профуполномоченный, а затем и сам моторист. Чтобы окончательно подействовать на этих двух коммунистов, мы заперли их в одной из кают. Я их стерег. Профуполномоченный — детина саженого роста, с бычьей шеей и косматыми руками гориллы, стоя на коленях и плача, просил пощадить его. Старший моторист умолял нас подумать об их семьях. Де Тиллот ответил:

— А вы, коммунисты, думали о семьях, когда расстреливали офицеров в 1920 году?

Тем не менее через некоторое время положение наше стало критическим. Наверху находился только А-в, вооруженный двумя револьверами, на которого качка не действовала; мы же все укачались и лежали в кубрике.

Нужно заметить, что трап из кубрика на палубу был крут и узок. Если бы команда покончила наверху с А-вым, то наша песенка была бы спета.

Внезапно мы услышали сверху протяжный вопль:

— А... а...

Сознание опасности вернуло нам силы, и мы, схватив револьверы, бросились наверх. Тревога оказалась напрасной. Стошнило одного из пассажиров в трюме. Этот случай встряхнул нас, и мы почувствовали себя лучше. Вскоре качка стала уменьшаться. Конечно, если бы команда своевременно узнала о нашем беспомощном положении, то воспользовалась бы этим. Что произошло бы тогда, — трудно сказать. Сомнительно, чтобы А-в, атакованный одновременно с разных сторон, вышел победителем из слишком неравного боя.

В 2 ч 30 мин утра старший моторист был освобожден (профуполномоченный остался под арестом) и получил приказание приготовить мотор. В 3 ч 10 мин мы снялись с якоря и пошли вдоль румынского берега к Варне. Наступил момент, когда капитану должны были быть вручены все полномочия по дальнейшему ведению судна. Этого требовала обстановка. Как выше было упомянуто, вход в Варненскую бухту мог быть минирован. Кроме того, «Утриш» мог сесть на рифы.

Стоя рядом со мной, капитан вдруг с живостью обернулся:

— Ну, вот вы, например. Судно в ваших руках. Зачем вы угрожаете мне револьвером?! Хотите меня застрелить, что ли? Ведь я вам не опасен.

— Нисколько не опасны, господин капитан, — ответил я, — но около нас в каюте сидит профуполномоченный.

— В таком случае извините меня.

Рассветало. Прошли румыно-болгарскую границу. Вдали показался вход в Варненскую бухту.

## Варна

Невозможно передать словами то особенное настроение, которое овладело всеми нами в ту минуту. Страна рабства, ужаса и крови осталась позади. Неустройства береговой службы пограничной охраны войск ГПУ, халатность «товарищей», халатность самодовольных, чувствующих себя безнаказанными советских убийц дали возможность вырваться из ада на свет божий нам, их заклятым врагам. Мы не были, как утверждают большевики, «белогвардейской бандой». Трое из нас служили солдатами в Белой армии, все же остальные в ней не были; трое дезертировали из Красной армии и явились на «Утриш» в день его выхода в море, в полном красноармейском снаряжении.

Теперь уже поздно, господа «защитники» угнетенного народа, создатели новой «счастливой» России, нет — СССР, простите. «Утриш» в территориальных водах Болгарии. Нахмурятся ваши рожи, товарищи комиссары, когда узнаете, что несколько граждан «Свободной Республики» совершили внеочередной, столь редкий рейс в запрещенные страны и что граждане эти не агенты 3-го Интернационала, не сотрудники ГПУ, не умирающие больные или 70-летние старушки, а молодые, здоровые русские, прежде всего русские люди. Да и кораблика жаль. Не так уж их много в вашем распоряжении.

До Варны оставалось 2—3 мили. Всем находившимся на судне решено было выйти наверх, чем большинство и воспользовалось немедленно. Из сигнальных флагов был шит русский трехцветный флаг и по команде де Тиллота поднят согласно морским правилам.

При входе в Варненскую бухту нас несколько раз окликало сторожевое судно, но мы этих окликов не слышали. «Утриш» отдал якорь посредине бухты 15 мая 1925 года около 5 ч 30 мин утра.

Невольно бросились в глаза тысячи разноцветных флагов на судах, стоявших на рейде. Заметили среди них два русских. Какой-то шутник из наших высказал предположение, что болгары приготовили нам тор-

жественную встречу, и действительно, с набережной и из города доносились звуки музыки и радостные крики, переходившие время от времени в громовое «Ура!». Был день тезоименитства болгарского царя Бориса.

От сторожевого судна отвалила шляпка и приблизилась к нам. Нас спросили о чем-то по-болгарски. Мы ни слова не поняли, но догадались, что спрашивают, кто мы и откуда. Мы ответили, что прибыли из Севастополя. Шляпка пошла к берегу. Немедленно вслед за этим мы приказали опустить четверку, в которую сели де Тиллот, я, М-р и К-в. Пошли к берегу. Там к этому времени собралась громадная толпа, которую с трудом сдерживала цепь полицейских. Мы подошли к домику коменданта порта, но высадиться нам не позволили (в то время в Болгарии, после взрыва церкви Св. Недели, было введено осадное положение).

Комендант порта резко спросил:

— Откуда судно?

— Из Севастополя.

— Судно советское?

— Было. Теперь русское.

— Был у вас карантинный врач?

— Нет.

— Что же вы, не знаете морских порядков, что ли? Ведь с судна, пришедшего из-за границы и не осмотренного карантинным врачом, никто не может сойти на берег.

— Мы не моряки и морских порядков не знаем.

— Не разговаривайте. Идите назад.

Мы пошли обратно к судну. Настроение у нас было невеселое. Самые горькие мысли приходили в голову.

Что же будет дальше? Неужели нас приняли за подосланных большевиками агентов или просто за пиратов? Тогда нам пощады не будет. Но нет, не может быть. Где же в таком случае справедливость? Ведь находятся же здесь части Русской Армии генерала Врангеля, а если это так, то, без сомнения, в Варне имеются представители Главного командования. Не думаю, чтобы могла пропасть телеграмма, посланная мною 2 мая. Если же она дошла по назначению, то результаты этого не замедлят сказаться.

Как бы то ни было, но очевидно, что положение создалось чрезвычайно серьезное. Уже один факт грубого тона коменданта в разговоре с нами удручающе на нас подействовал. Необходимо во что бы то ни стало настаивать на том, чтобы нам разрешили увидеться с представителями Главного командования или, по крайней мере, позволили бы нам

переговорить с уполномоченным местных русских политических организаций. В противном случае мы погибли.

Подойдя к «Утришу», поднялись на палубу, сдали четверку на бакштов и стали выжидать дальнейших событий. Сообщили нашим друзьям, оставшимся на судне, о разговоре с комендантом. Они также приуныли. Команда с удивлением на нас поглядывала. Матросы думали, что нас встретят на берегу несколько иначе.

В скором времени от берега отвалило несколько шлюпок с вооруженными офицерами и матросами. В одной из них находились комендант порта и карантинный врач. Пришвартовались. Поднялись на палубу. С удивлением смотрели они на группу вооруженных молодых людей в чужой форме, стоявших на юте.

— Кто здесь капитан? — спросил на чистейшем русском языке комендант порта, высокий представительный мужчина средних лет, искоса на нас поглядывая.

Капитан «Утриша» подошел.

— Каким образом и для чего советское судно под русским флагом прибыло в Болгарию?

Капитан, горячо жестикулируя, стал излагать суть дела. Мы со стороны наблюдали за выражением лица коменданта. К нашему немалому удовольствию, лицо его, постепенно проясняясь, расплылось в широкую улыбку.

Не дослушав капитана, он подошел к нам и спросил:

— Это вы, господа, захватили судно?

Мы ответили утвердительно, после чего комендант стал весьма любезен, но между прочим сказал, что в Болгарии коммунистов беспощадно вешают. При этих словах лица коммунистов побелели; на нас же это обстоятельство произвело самое лучшее впечатление. Наконец-то мы нашли страну, где с коммунистами не церемонятся.

— Аналогичный случай имел место в истории Болгарии, — продолжал комендант. — Десять лет тому назад болгарский патриот Христо Ботев завладел вражеским судном и привел его в Болгарию. Эпизод с вами — второй такой случай. Оружие, господа, при вас?

— Да.

— Будьте добры его сдать.

Комендант полковник Мишин отлично владел русским языком, так как долгое время прожил в России, где окончил Морской кадетский корпус.

Полицейский чиновник предложил нам сдать оружие и документы, что мы и исполнили. Сдача происходила на баке. Болгары с любопытством осматривали наши разнокалиберные револьверы и рассмеялись, когда Джон вручил им свой нож, а Гарри револьвер с одним патроном.

Нас и наши вещи обыскали. На судне также был произведен повальный обыск.

Стоя на баке, я вдруг услышал веселый смех. Оказалось, что в трюме болгары нашли громадную красную звезду, сажени полторы в поперечнике, сделанную из дерева (звезда эта выставлялась и иллюминировалась во время советских праздников). При общем хохоте ее спустили в шлюпку и свезли на берег.

После обыска болгары оставили всех на судне. На капитанский мостик поставили часового. С мотора сняли форсунки. Комендант порта сказал, что о нас будут наведены справки, и если окажется, что мы те, за кого себя выдаем, то нас освободят и спустят на берег. Документы нам обещали вскоре вернуть (мы их получили через три недели). Карантинный врач не стал нас осматривать, после того как узнал, что на судне больных нет.

Мы попросили коменданта сообщить о нашем прибытии русским военным представителям, что он и обещал сделать. Вскоре болгары сели в шлюпки и ушли.

Началось томительное 17-дневное сидение на «Утрише». На берег никого не пускали. Мы расположились в трюме, с пассажирами; команда снова заняла кубрик.

На следующий день после нашего прибытия к нам приехали представители штаба 1-го армейского корпуса Русской Армии, полковники Р-в и С-в. Расспросив нас обо всем подробно и выяснив наши нужды, они обещали принять все меры к скорейшей нашей реабилитации и освобождению.

Тем временем наши отношения с командой все более и более обострялись. Были два случая покушения на жизнь де Тиллота. В первый раз с фок-мачты непонятным образом сорвался блок и задел де Тиллота по плечу, не причинив, к счастью, вреда. Работавший в тот момент на мачте матрос объяснил происшедшее несчастной случайностью. В другой раз рядом со спавшим в трюме де Тиллотом упал сверху топор.

На следующее утро после второго покушения мы заявили о происходящем навестившему нас русскому штаб-офицеру. Он немедленно приказал команде собраться на правых шканцах и сказал, обращаясь к собравшимся:

— Слушайте, вы все, — если хоть один волос упадет с головы кого-либо из этих молодых людей, никто из вас домой не вернется. Здесь вам не советская Россия, а Болгария.

Предупреждение было сделано вовремя, так как до нас доходили слухи, что команда ищет удобного случая, чтобы с нами расправиться. С того же дня покушения прекратились.



Дни проходили. «Утриш» иногда швартовался у пристани для пополнения запасов питьевой воды. К судну подходила болгарская охрана и полицейские чиновники, которые в эти моменты с особенной бдительностью наблюдали за всеми, находившимися на «Утрише». Никого из посторонней публики на пристань тогда не пускали. Однажды болгарский чиновник спросил капитана «Утриша»:

— Неужели вас захватили восемь человек?

— Как видите, — ответил капитан и, подумав немного, прибавил: — Бандиты привели.

— Значит, не только у нас имеются бандиты, которые соборы взрывают (намек на взрыв коммунистами церкви Св. Неделя в Софии), но и у вас есть?

Капитан ничего не ответил.

Ежедневно нам доставлялась с берега свежая провизия. Хотя отношения наши с командой были более чем натянутые, кок по-прежнему трепетал при виде Джона и беспрекословно его слушался. Это обстоятельство не могло не отразиться самым благоприятным образом на нашем столе.

Однажды Джон спустился в трюм крайне раздосадованный. На наш вопрос, в чем дело, он хмуро ответил:

— Кок зазнался. Когда я велел ему готовить скорее, он сказал: «Подождете».

Мы стали над Джоном подтрунивать. Он вспыхнул:

— Если кок сказал это мне, то интересно, что он вам скажет?

На это мы ничего не могли ему возразить. Из дальнейших расспросов выяснилось, что незадолго перед этим Джон имел неосторожность использовать для варки грязного белья чистое кухонное ведро. Этого кок стерпеть не мог. И действительно, мы вспомнили раздававшиеся сверху несколькими днями ранее чьи-то брань и крики.

Время тянулось томительно медленно. По вечерам мы собирались в кружок и пели хором песни Белой армии. М-р и А-в были хорошими тенорами, Джон обладал недурным басом. Коммунисты не скрывали своего неудовольствия, но мы не обращали на них никакого внимания.

Почти ежедневно приезжали с берега полицейские чиновники и производили допрос. Наши друзья из Русской Армии часто нас навещали. Несмотря на все их хлопоты, положение наше продолжало оставаться неясным. Нам даже было сообщено, что не исключена возможность высылки нас обратно в советскую Россию. Поневоле надежды сменялись отчаянием.

Мало-помалу, однако, у нас стало складываться убеждение, что дело все же будет решено в нашу пользу. К этому заключению мы пришли

вследствие становившегося все более и более внимательным отношения к нам болгарских властей.

Нетрудно поэтому понять наши переживания в день получения из Софии распоряжения выслать нас в советскую Россию. Итак, смерть нас стерегла повсюду. Что ж, умирать так умирать. Но не развеваться больше на «Утрише» позорящей Черное море красной советской тряпке. Решено было зажечь судно, самим же броситься в море и попытаться вплавь достичь берега. В распоряжении оставшихся на судне была бы достаточно вместительная судовая шлюпка.

Только тогда, в те страшные, незабываемые минуты, вполне осознали мы то, от чего ушли, и что нам вновь грозило, и что на этот раз уж было бы неизбежно, — попади мы снова туда, где тысячи подвалов Чека сотен, многих сотен городов, сел и деревень хранят вопиющие, кошмарные тайны совершенных в них злодеяний.

Больших усилий стоило Штабу корпуса Русской Армии добиться отмены распоряжения, приговаривавшего нас к смерти. Позже мы узнали, что в нашей судьбе приняли живое и деятельное участие М.М. Федоров<sup>85</sup>, болгарский посол в Париже г-н Морфов, генерал от кавалерии Шатилов<sup>86</sup>, русский представитель в королевстве С.Х.С. г-н Штрандман<sup>87</sup> и, впоследствии, некоторые другие лица. Их вмешательство не замедлило произвести самое благоприятное впечатление в болгарских правительственных кругах.

Мы были спущены на берег 1 июня 1925 года и получили право свободного жительства в Болгарии. Всем содействовавшим нашему освобождению от нас, утришцев, русское спасибо и сердечный привет.

Спустя пять дней были освобождены и г-жа Добровольская с дочерью. Из оставшихся на судне первыми были отправлены в советскую Россию пассажиры. Администрация и команда «Утриша» вернулись к себе только в январе месяце 1926 года. «Утриш» остался в Болгарии.

Курьезная деталь. Начальник гарнизона Варны, изредка нас навещавший на «Утрише», в один из своих приездов сообщил, что так как у нас нет денег, то мы будем первое время довольствоваться за счет сумм константинопольского полпредства. Мы ответили, что не желаем от большевиков брать ничего; когда же нам что-либо понадобится, то возьмем у них сами, не спрашивая. Начальник гарнизона остался весьма доволен таким ответом и сказал, что выяснит вопрос в самом ближайшем будущем. В скором времени нам сообщили, что болгарское правительство довольствуется нас за свой счет. Потом уж оказалось, что нас все же каким-то непонятным для нас образом кормили на советские деньги. Ели мы не плохо.

Впоследствии мы не раз задавали себе вопрос, была ли большевиками послана за нами погоня? Ответ на него мы прочли в московской «Правде»: «С возникновением опасения за судьбу парохода «Утриш», вышедшего из Евпатории в Одессу и не прибывшего на место назначения, из Одессы вылетели два гидроплана на поиски. Неожиданно у одного гидроплана остановился пропеллер, и он спустился на воду. В моторе возник пожар. Ветром гидроплан отнесло от берегов. Девять суток летчики находились в гондоле гидроплана на краю гибели и потеряли надежду на спасение. По счастливой случайности на десятые сутки их прибило к карабашским берегам. Судьба второго гидроплана неизвестна».

В Болгарии мы сразу почувствовали себя как на Родине, прежней, далекой, подлинной России. Мы никогда не забудем радушия и гостеприимства болгар. Я — в русской церкви в Варне. Среди молящихся много чинов армии генерала Врангеля. Чудное пение хора, в соединении с воспоминаниями о бурных, недавно пережитых днях, переполняют душу неизъяснимым умилением перед благодатью Божественного Промысла. С поразительной яркостью и отчетливостью встают передо мною образы и картины прошлого.

Пасхальная ночь в 1924 году. Все храмы Севастополя полны молящимися. Народу столько, что нельзя войти не только в храм или церковный дворик, но невозможно даже проникнуть в близлежащее к ним пространство. В толпе много красноармейцев, красных командиров и военных моряков. Тут же хулиганят орды комсомольцев, поющих богохульные песни, пристающих к девушкам и выкрикивающих площадные ругательства. В толпе раздаются возгласы негодования. Какой-то красноармеец дал звонкую оплеуху одному из наиболее ретивых комсомольцев. Точно по сигналу, многие из публики набросились на хулиганов. Двух комсомольцев избили, остальные с отвратительной руганью стали отступать. Вдруг к месту происшествия, раздвигая толпу, подошли трое в кожаных куртках и бархатных кепи и попросили следовать за собой двух лиц из публики, на которых им указали комсомольцы. Пришедшие хотели задержать и красноармейца, но тот скрылся. Я помню, как побледнели арестованные и как с подергиванием на лице они повиновались. Вновь грянул комсомольский хор. Кто-то рядом со мной истерически крикнул: «Мерзавцы, душегубы окаянные, безбожники!» Я огаянулся; дряхлый старичок грозил кулаком негодьям. Его также взяли. С какой-то женщиной сделался припадок. В исступлении она выкрикивала проклятья по адресу советской власти. И ее увели.

Я не выдержал и ушел. Подходя к Владимирскому собору, еще издали услышал площадную брань и дикие крики. Рабфаковцы устроили

штуртовское факельное шествие вокруг собора и заглушали церковный хор звериными выкриками. Другая группа их не пускала прихожан в церковь.

Я пошел к Петропавловскому собору. Здесь картина иная. Хулиганов не слышно. Народу очень много, но войти можно. Меня поразило то, что среди молящихся было много советских военных в полной форме. Десятки красноармейцев, моряков, командиров, летчиков. Стояли они так, чтобы по возможности не быть заметными. Рядом со мной два красноармейца истово осеняли себя широким, русским крестным знаменем, а впереди них третий усердно отбивал земные поклоны.

Я смотрел на этих людей и думал: «Вот вы, Красная армия, ну что в вас «красного»? Где плоды ежедневных обязательных трехчасовых занятий по политграмоте?» Лица открытые, глаза смотрят не исподлобья. Обыкновенные русские люди, верующие и бесхитростные. Никакая агитация таких людей сломить не может, но отсутствие достаточного кругозора в соединении с пассивностью тяжелой на подъем натуры мешают им сбросить коммунистическое иго. Но от этих-то людей и падет в свое время советская власть. День свержения большевиков не за горами... Вновь пробудится Белое движение, на этот раз стихийное, и Россия спасется.

*Д. Хорват*<sup>88</sup>

## О ПОЛОЖЕНИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ<sup>89</sup>

### Беседа Главы Дальневосточной эмиграции со Старшиной Русской Национальной Общины Шанхая Н.Ю. Фоминым<sup>90</sup>

Я ехал в Пекин с большим волнением в душе. Работая в течение года по объединению русских эмигрантов Шанхая в одну общую для всех организацию, я не раз получал письма генерала Д.Л. Хорвата, в которых он высказывал одобрение моей работе, но, т. к. лично я не могу считать себя окончательно удовлетворенным результатами моей работы, свидание с главою эмиграции имело для меня решающее значение.

В тишине посольского квартала Пекина, посреди большого тенистого парка, во дворце бывшего австрийского посольства живет со своей семьей Д.Л. Хорват. Там же и помещается канцелярия главы эмиграции, которой заведует М.Я. Домрачев.

Через несколько минут, после того как рикша подвез меня к подъезду дворца, я был принят генералом Хорватом в его кабинете. Я не видел

Д.Л. Хорвата около 10 лет и могу сказать без прикрас, что я не мог обнаружить в наружности и облике генерала сколь-либо заметных перемен.

Высокий советник китайского правительства, получавший еще очень большое содержание и совершенно обеспеченный человек тогда и теперь безработный и почти лишившийся средств, генерал Д.Л. Хорват был одним и тем же обаятельным, полным энергии и особой, свойственной только немногим людям бодрости духа человеком.

Быстрый во взгляде и движениях, интересующийся всем, лично разбирающий и прочитывающий всю несметную корреспонденцию, которую приносят кучами по несколько раз в день, лично руководящий работой многочисленных отделов объединения, помнящий наизусть наиболее интересные места из посланных ему донесений и отправленных им инструкций, генерал Хорват невольно изумляет своего собеседника.

Я чувствую, что я невольно лыщу генералу, но, вспоминая свои собственные переживания, вспоминая ту усталость, которую чувствуешь в сорок лет иногда под влиянием разочарований в работе, вспоминая ту нервность, которую часто видишь в окружающих, было бы несправедливо, говоря о генерале Хорвате, не отметить этой удивительной его черты, которая делает его головой выше многих и многих современных деятелей.

Спокойствие и выдержка, терпимость к чужому мнению при твердости своих собственных взглядов, вдумчивая доброжелательность в сношениях со всеми, вера в успех национального дела, огромный опыт и знание во всех вопросах администрации, экономики и международных отношений дополняют облик этого замечательного государственного деятеля, которого счастливая судьба сохранила для России на далекой ее окраине.

О генерале Хорвате писалось много и много еще будет написано. Я, конечно, не имею в виду сказать, что я открыл эти черты его личности и характера, но дело в том, что их нельзя не заметить и нет никаких оснований к тому, чтобы их замалчивать.

Я имел честь и удовольствие быть гостем генерала Хорвата в течение нескольких дней. Приходило ли письмо с обращением к генералу Хорвату из Европы или из одного из пунктов Дальнего Востока, получалось ли интересное известие в газетах, генерал Хорват всегда выражал готовность к беседе, охотно высказывая свои мнения по самым разнообразным вопросам. Я также имел возможность ознакомиться с содержанием объемистой переписки, которую генерал Хорват вел и ведет с представителями иностранных держав, с нашими организациями на Западе и с местными дальневосточными деятелями и организациями.

Чтобы суммировать все то, что в разное время высказал мне генерал Хорват, и ввиду того огромного значения, которое представляют собой

высказанные им мнения и взгляды, я, с разрешения Его Превосходительства, задал ему несколько конкретных вопросов, ответы на которые мне разрешено предать гласности.

1) Как смотрит генерал Хорват на общее значение русской эмиграции и на свое положение как главы дальневосточной эмиграции?

— Я считаю, что русская эмиграция во много раз численностью превосходит те 400 000 коммунистов, которые насильственно правят Россией и пытаются представлять ее народ и интересы за границей.

Сохранив верность России и ее национальным задачам, объединенная в общей ненависти к большевикам с подавляющей массой населения России, эмиграция составляет неразрывную часть русской нации, и ее представители за границей являются поэтому гораздо более правомочными представителями России, чем те полпреды, которых рассылает по всему миру кучка узурпаторов-большевиков.

При жизни Верховного Вождя Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича я получил от Е. И. В. почти неограниченные полномочия для работы на Дальнем Востоке, неоднократно подтвержденные его личными письмами. Я не считаю полномочия эти утратившими значения с кончиной Его Высочества, ибо в данное время не существует Центрального объединяющего всю русскую эмиграцию органа.

Дальневосточная эмиграция в лице ее выборных органов и подавляющего числа национальных организаций также признала меня главой и после кончины Е. И. В. Великого Князя в ряде присланных мне постановлений подтвердила это признание. Вместе с тем и эмиграция Европы и Америки признала меня главой эмиграции на Дальнем Востоке. В силу вышеуказанного значения русской эмиграции я, как глава Дальневосточной ее части, считаю себя ответственным за русское национальное дело на Дальнем Востоке во всем его объеме и всю свою работу направляю исходя из этого положения.

2) Каково положение русского вопроса, и в частности на Дальнем Востоке, в свете сложившейся к данному моменту международной конъюнктуры?

— Сближение двух сильнейших экономически государств мира Англии и Америки, к тому же обладающих могущественными военными флотами, вносит совершенно новую струю в работу по созданию экономического сотрудничества народов, которое было выдвинуто вперед как спасительный новый план, на смену признанной опасной и отжившей военно-экономической конкуренции государств.

Пакт Келлога, эта страховка в руках творцов экономического переустройства мира, по-видимому, поступит под охрану двух сильнейших государств Англии и Америки. Экономика всех остальных госу-

дарств может оказаться в зависимости от воли Англо-Американского союза.

В этих условиях русский вопрос приобретает совершенно исключительное значение, т. к., с одной стороны, совершенно нельзя себе представить сколь-либо обеспеченного плана мировой экономики без участия в нем России, а с другой, государства, поставленные в зависимость от мощного англосаксонского союза, будут несомненно стремиться противопоставить гегемонам другую, не менее мощную, политико-экономическую комбинацию, которая в современных условиях немыслима без участия России.

Экономическое ничтожество советской России всем известно, а политическое ее ничтожество определяется совершенно наглядно хотя бы в течение длительного китайско-советского конфликта и зависит исключительно от непрочности самой власти, ненадежности армии и общего безвыходного положения страны и населения, созданного большевистским режимом.

Национальная Россия нужна для восстановления экономического и политического равновесия мира, как никогда еще она не была нужна, и я надеюсь, что найдутся силы, которые, поняв это, сделают соответствующие выводы. В частности, на Дальнем Востоке имеет самодовлеющее значение вопрос о проникновении большевистской заразы в Азию.

Непрекращающаяся работа коминтерна направлена прямо на разрушение государственности и, следовательно, экономики в Японии, Китае и Индии. В Китае, в особенности большевики, споспобствуя гражданской войне и одновременно развивая в среде недовольного войной населения коммунистическую пропаганду до небывалых еще доселе размеров, прямо стремятся к захвату власти китайскими коммунистами.

В этих условиях, а также ввиду уже существующего китайско-советского конфликта, можно ждать, что отпор коммунистам последует именно в Азии, тем более что обстановка здесь несомненно выгоднее, чем в Европе. Это может повлечь за собой частичное разрешение участия дальневосточной эмиграции.

3) Как строится и работает объединение дальневосточной эмиграции?

— Я в общем доволен ходом дела. Вначале, два года тому назад, когда началось объединение, оно пережило бурный рост, который, конечно, напугал наших врагов большевиков. Они при посредстве своих агентов, находящихся повсюду за границей и, к сожалению, проникших в среду эмиграции, приняли все меры к тому, чтобы разлагать эмиграцию на местах. Но должен сказать, что здоровый инстинкт победил, и вот уже несколько месяцев, как работа опять пошла усиленным темпом.

К данному моменту нет ни одного сколь-либо заметного населенного пункта на всем огромном пространстве Китая, где бы жили русские эмигранты и где бы не было органа дальневосточного объединения или моего уполномоченного. В Японии представительство дальневосточного объединения также организовано в большинстве значительных пунктов.

С генералом А.Н. Кутеповым мною установлено дружественное сотрудничество и взаимная поддержка в исполнении задач, порученных ему и мне почившим Верховным Вождем. Кроме того, мною поддерживается связь и взаимная информация с рядом национальных организаций в Европе и Америке.

Успех в деле объединения дальневосточной эмиграции в связи с происходящими событиями вызвал большой подъем повсюду в эмиграции, что свидетельствуется рядом полученных мною из Европы и Америки писем от организаций и отдельных лиц. Нельзя сомневаться в том, что, когда потребуется, Дальневосточная эмиграция встретит широкую поддержку со всех концов русского рассеяния.

Ввиду многочисленности русского населения в полосе отчуждения КВЖД особенное внимание было обращено на организацию эмиграции в этом районе. Там во многих крупных пунктах организованы национальные общины и в более мелких — представительства. Полоса отчуждения разбита на районы, в которых имеются мои районные уполномоченные и особоуполномоченные в некоторых городах. Самым ценным в процессе этой работы является то, что эмигрантское население объединяется на местах по собственной инициативе, посылая затем ко мне ходатайства о присоединении. Таким образом, объединение носит добровольный, как бы народный характер и является поэтому весьма жизненным. Мои уполномоченные везде имеют сношение с местными китайскими и японскими властями и если не признаны ими официально, то, во всяком случае, доброжелательное сотрудничество повсюду обеспечено.

Ввиду создавшегося в полосе отчуждения КВЖД тревожного положения мною были даны на места инструкции по организации самообороны, которая должна осуществляться в каждом отдельном случае с ведома китайских властей. Организации созданы, но оружия им китайскими властями, к сожалению, пока еще не выдано.

Надеюсь, что теперь, после ужасного по размерам и жестокости избиения мирных русских поселенцев красными в Трехречье, китайские власти согласятся на выдачу оружия, тем более что в большинстве провинций Китая жители поселков китайцы имеют разрешение на организацию вооруженной самообороны от нападений разбойничьих шаек.



4) Каковы, по мнению генерала Хорвата, основные причины советско-китайского конфликта и каким образом он мог бы быть разрешен?

— Основная причина конфликта, помимо всем известных обстоятельств политического характера, лежит в ненормальности организации управления дороги, во главе которого был поставлен орган — Правление, состоящее из представителей назначаемых непосредственно правительствами двух государств — Китая и советской России.

Это совместное управление было, как известно, создано в 1924 году в силу Мукдено-советского соглашения, которым было уничтожено владение дорогой частное предприятие «Общество Кит. Вост. ж. д.» и владельцами дороги были объявлены оба государства — Китай и СССР.

До этого соглашения все случавшиеся вследствие совместной службы лиц двух национальностей конфликты разрешались в органах Управления дорогой и в Правлении, которое было высшим органом для дороги. Все эти случаи затрагивали лишь интересы общества, как коммерческого предприятия. Оба государства оставались в стороне, имея в лице Правления нечто вроде буфера. С учреждением нового порядка государства, через своих представителей, участвовали сами в управлении дорогой. При возникновении конфликта вопрос уже не мог ставиться в плоскость нарушения интереса дороги как предприятия. Вопрос неизбежно должен был рассматриваться как нарушение интересов одного государства представителями другого.

Конфликт был неизбежен при всякой комбинации участвующих. При наличии же большевиков в качестве одной из сторон надо было удивляться долготерпению китайцев. Я не вижу никакой возможности мирного разрешения вопроса между двумя странами при создавшемся положении. Большевики никогда не согласятся отступить от участия в непосредственном управлении дорогой. Присутствие их агентов на дороге посреди китайского населения и те средства, которые они получают от работы дороги, дают им слишком большие преимущества в деле ведения коммунистической пропаганды в Китае, чтобы они согласились от них отказаться.

Китайцы, со своей стороны, фактически владея дорогой, находятся в выгодном положении, тем более что благодаря помощи эмигрантов дорога работает нормально и дает значительный доход. Вместе с тем китайцы декларировали, что они не намерены захватить дорогу и признают по-прежнему права России, однако нельзя себе представить, чтобы они согласились добровольно на возвращение большевиков на дорогу в прежнее или хотя бы близкое к прежнему положение.

При таких условиях возможно только разрешение вопроса или вооруженной силой, что по моему мнению, мало вероятно, или путем

комбинации, при которой большевики были бы исключены с дороги, но интересы России были бы сохранены и был бы установлен порядок, при котором местное население могло бы жить и пользоваться дорогой в безопасности.

Юридическая основа для создания такой комбинации, по моему мнению, имеется. В самом деле, достаточно было бы Китаю решиться вернуть дорогу в то положение, которое существовало до 1924 года, т. е. снова отдать в ведение ее настоящего владельца «Общества Китайской Восточной железной дороги», отношения которого, как коммерческого предприятия, с Россией и Китаем точно определены Уставом. Русская сторона в этом деле была бы представлена русской эмиграцией.

Я считаю, что коммунистическая партия, насильственно управляющая Россией, организовавшая на территории России интернациональное государство, даже не состоит в русском подданстве, ибо самое имя России изъято большевиками из употребления. Поэтому большевистское интернациональное правительство не имеет никаких юридических прав для владения имуществом, принадлежавшим России, и владеет всем только по праву захвата.

Русской эмиграции было бы естественно поручить, до установления национального правительства в России, сохранение интересов России в деле управления дорогой. Эмиграция заслужила это еще и своим участием в спасении дороги от разрушения в течение только что минувших месяцев. Никакие конфликты при этом были бы невозможны.

Высказывая такой план, я питаю мало надежды, что Лига Наций или Дипломатический корпус в Китае пожелают потрудиться, чтобы содействовать его исполнению, но я по совести считаю, что это единственный разумный, законный и естественный выход из положения. Большевикам ничего не осталось бы, как убрать свои войска с границы Китая.

5) Как должна строиться активная помощь эмиграции в деле освобождения нашей Родины?

— При современном положении внутри России, которое мне очень хорошо известно, я считаю, что активная деятельность эмиграции может и должна развиваться, ибо почва для подготовки восстания имеется.

В период текущей эмиграция должна явиться силой, связующей Территорию и Зарубежье, силой организующей; когда возникнет борьба, активные силы эмиграции должны будут прийти на помощь, а может быть, при благоприятной внешней обстановке нам будет принадлежать инициатива восстания. Мы должны учесть и последующее и должны обеспечить помощь освобожденной территории после восстания.

Надо иметь в виду, что национальная власть, хотя бы на части территории, освобожденной от большевиков, может быть создана только

в России. Всякие разговоры об организации власти в эмиграции и о будущем порядке правления я считаю праздными и вредными, ибо они способствуют делению наших сил на партии и вызывают недоверие к нам в среде населения Сибири. Итак, активная работа необходима, но она не должна переходить пределы закономерности по отношению к тому государству, на территории которого мы находимся.

К сожалению, иногда наблюдаются тенденции к сепаратным действиям в области активной борьбы. Подобные действия отдельных групп наносят страшный вред общему делу. Большевики только и ждут небудуманных не связанных между собою выступлений. Они несомненно будут стараться сделать своих агентов проводниками и пособниками такой работы, т. к., будучи обречена на неизбежный неуспех, она отдаст в руки большевиков часть активного элемента эмиграции и тех, кого они втянут в дело на территории России.

Будучи затеяно без должной оценки внешней обстановки, не обеспеченное дальнейшей поддержкой, такое выступление, даже удавшись на первых порах, все равно влечет гибель дела в ближайшем будущем и тогда уже — потоки крови и бедствия ни в чем не повинных людей.

Само по себе дело государственной организации освобожденной территории и удовлетворения всех потребностей, которые возникнут в результате удавшегося восстания, представляет собою задачу величайшей сложности, требующую огромной подготовки руководителей. Над этим также надо задуматься тем, кого жажда подвига толкает на отрыв от общего дела.

В заключение скажу: заповедью нашей в области открытой борьбы должно быть: разведывать можно и надо по разным направлениям, проявив максимум инициативы, идти же на борьбу надо с выдержкой, дисциплинированно, всей наличной силой, с единым планом и единым руководством.

б) Какие ближайшие задачи эмиграции по текущему моменту?

— Наше объединение создано и развивается успешно. Необходимо, чтобы все русские люди на местах расселения эмиграции отдали себе отчет в происходящем и поняли бы всю важность всемерной поддержки объединения и его местных органов. Эмиграция имеет повседневную жизнь, в которой все своим личным трудом создают свое и своей семьи благосостояние.

С глубоким уважением я отношусь ко всем, кто, не согнувшись под ударами судьбы на чужбине, проявил талант и работоспособность и, тем достигнув личной обеспеченности, одновременно поднял на высоту имя русского человека, засвидетельствовав перед всем миром могучий творческий дух нашего племени. Но не должны мы забывать общих задач,

не выполняя которые мы распылимся, ослабнем, потеряем свое национальное лицо.

Сохранение нашей веры православной, нашего языка, быта и национальной культуры, воспитание детей и юношества, призрение больных и потерявших трудоспособность и помощь бедным — вот те задачи, которые неотступно стоят перед эмиграцией как обществом, как частью русской нации в ее повседневной жизни. И я хотел бы, чтобы органы объединения на местах сделались бы средоточием общих усилий эмиграции по выполнению этих задач.

Для этого нужно, чтобы по возможности все эмигранты сделались участниками объединения, памятуя, что личным доброжелательным участием, а не холодной критикой со стороны они могут исправить и те недочеты, которые, может быть, ими замечаются в работе руководящих органов. Необходима жертвенность, и я хотел бы, чтобы все аккуратно вносили свои членские взносы, создавая денежную силу объединения, ибо без денег не возможен успех в работе. Надо помнить, что каждый грош, внесенный в фонд объединения, увеличивает нашу национальную силу. Необходима жертвенность и в приложении своих сил и способностей, и в использовании своего досуга на общее дело. Только в таких условиях, работая, мы сможем создать большую национальную силу, с которой будут считаться все, которая заслужит внимание и помощь и которая сможет выполнить наши задачи на Дальнем Востоке во всей их полноте.

На этом закончилась моя беседа с главою эмиграции. Сердечно распрощавшись со мною, генерал Д.Л. Хорват просил передать его привет русской Национальной Общине и всем эмигрантам Шанхая.

*Ю. Сербии<sup>91</sup>*

## О РАЗВЕДКЕ<sup>92</sup>

В конце 1917 года (или в начале 1918-го), точную дату не помню, в служебные часы в Полевом Штабе в Екатеринодаре, где я исполнял должность старшего адъютанта оперативного отделения, ко мне подошел дежурный по Штабу офицер и доложил, что меня хочет видеть одна дама по очень важному делу.

У меня знакомых дам на Кубани не было. Когда я вышел в приемную, ко мне подошла интересная молодая женщина и заявила, что хочет поговорить со мной наедине. Она показала свою визитную карточку, в которой значилось: графиня Орлова-Давыдова. На мой вопрос, кто

ее муж, незнакомая сказала, что ее муж чиновник русского консульства в Шанхае. Муж, по ее словам, остался в Китае (временно), а она решила проведать своего брата в Европе. В дальнейшем со мной разговоре эта дама заявила, что несколько дней тому назад была на Дону, видела все окружение Корнилова и Алексеева<sup>93</sup>, в штабе которого узнала и мою фамилию.

Цель ее приезда в Екатеринодар — разыскать брата, находящегося в добровольческих отрядах на Кубани. В дальнейшем по строжайшему секрету она сообщила, что из Ростова на Кубань пробирается группа офицеров, и назвала их фамилии.

Действительно, Полевой Штаб получил сведения, что в станице Ладожской большевиками арестована группа офицеров и посажена в здание школы. Получив эти сведения, полевой Штаб выслал взвод юнкеров, который и освободил этих офицеров. Один из них при свидании со мной заявил, что дама действительно была на Дону не так давно.

Он дал мне о ней благоприятные отзывы. Прибывшая, для меня незнакомка, посещала каждый день Полевой штаб с просьбами дать ей убежище в Екатеринодаре, пока она свидится с братом. Полевой Штаб шел ей навстречу главным образом в лице генерал-квартирмейстера полковника Лесевича<sup>94</sup>, очень доброй и отзывчивой души человека. Ей был предоставлен номер в Войсковом Собрании Кубанского Казачьего Войска.

У меня к ней сердце почему-то не лежало. Она окружила себя поклонниками-офицерами и не скрывала своего стремления войти со мной в интимную связь. О ее поведении я в конце концов доложил моему начальнику штаба, полковнику Науменко<sup>95</sup>. Он уполномочил меня вести за ней негласно наблюдение, т. к. разведывательное отделение Полевого штаба совершенно не справлялось со своими обязанностями. Дама эта умела лавировать между своими почитателями и «заставила» одного офицера серьезно ею увлечься.

С другой стороны, ее видимая, кажущаяся благонадежность как будто обеспечивалась показаниями двух генералов, находившихся в Екатеринодаре, — Филипова<sup>96</sup> и Колесникова<sup>97</sup>, знавших ее барышней по Карсу.

Все же у меня лично создалось впечатление, что дама эта является личностью весьма подозрительной. О поисках своего брата она как будто забыла. В один вечер, получив соответственное письменное полномочие Полевого штаба, я в ее отсутствие (она ушла с кавалерами в театр) произвел в ее комнате обыск и нашел много уличающего материала. По возвращении ее из театра я арестовал ее, несмотря на резкие протесты окружающих, и препроводил в комендатуру.

В это время Екатеринодар агонизировал: вблизи города шли непрерывные бои. 28 февраля 1918 года город был оставлен белыми, и даль-

нейшая судьба этой дамы мне неизвестна. Выяснилось, что она являлась засланной красными шпионкой и никакого брата не имела.

Во времена генерала Врангеля белая конница, вернее, штаб конного корпуса одно время имел своей стоянкой большое село Верхний Рогачик, километрах в десяти от Днепра. Это был конец лета 1920 года, точно сейчас не помню, возможно, что начало осени.

На нашем левом берегу недалеко от Верхнего Рогачека находилось село Знаменское. Северный (правый) берег Днепра в районе Никополя занимала 1-я советская стрелковая дивизия, недавно прибывшая с северного фронта Гражданской войны, где дралась против войск генерала Миллера. Прибыв в Таврию, она соприкоснулась в бою с Корниловской дивизией<sup>98</sup> и была разбита. Остаткам ее красное командование дало пассивную задачу: пользуясь естественным рубежом Днепра, парировать попытки белых форсировать реку. Красная дивизия состояла из 9 полков — сильно поредевших, как я уже упоминал, после встречи с корниловцами.

Один чиновник советской администрации, живший и служивший на красной стороне, на северном берегу Днепра, в районе Никополя, имел жизненную потребность, видимо семейного характера, поддерживать постоянную связь с противоположным берегом (белым) и как-то, прибыв из Знаменского, просил штаб корпуса дать ему разрешение причалить на лодке к левому берегу Днепра в районе села Знаменского для свидания со своими родственниками и близкими людьми на этом берегу. В виде компенсации он обещал информировать нас о красной стороне. Соответствующий документ был ему выдан.

Как-то в этот описываемый мною период времени указанный субъект приводит интересный и ценный документ, а именно копию приказа с официальным штампом 1-й красной дивизии и соответствующими подписями советского командования. В этом приказе было указано, что советская Россия заключила мир с Польшей, и был упомянут подробный текст соглашения с Речью Посполитой. Затем сообщалось, что все свободные красные силы будут двинуты против Врангеля, и конница Буденного в первую голову. Этот документ мне было приказано немедленно отвезти в Штаб 2-й армии, что, конечно, я и выполнил.

Документ был исключительной ценности. Возможно, что генерал Врангель еще документально не знал о той печальной для него ситуации, в которую вовлекла его Польша. Лично для меня, а я думаю, что и для многих было ясно, что для армии генерала Врангеля наступают трагические дни; да так оно и было.

В летние месяцы 1920 года в Таврии шли постоянные бои с переменным успехом между частями генерала Врангеля и красными. У бе-

лых все же результаты боев в большинстве случаев оканчивались для них не только благополучно, но и успешно, чего про советские части сказать было нельзя. Врангель усиленно укреплял Сиваш, отлично учитывая прежние ошибки, окончившиеся новороссийской трагедией.

В один из июльских дней шел бой в районе села Торгаевка (Таврия), переходившего из рук в руки. В момент захвата его белыми я, состоя в штабе генерала Барбовича<sup>99</sup> (начальником штаба был генерал Крейтер<sup>100</sup>) на должности штаб-офицера Генерального Штаба по разведывательной части, проник в здание школы, которая до этого времени была занята красным командованием. Просматривая оставленные в спешном порядке красными на столе бумаги и документы, ввиду их панического отхода из этого села, я, к моему изумлению, наткнулся на документ, открывший мне глаза на многое.

Это была копия подлинного рапорта начальника работ по укреплению Сиваша генерал-лейтенанта артиллерии Макеева<sup>101</sup> Главнокомандующему Русской армии о положении работ по укреплению Сиваша: что было сделано и чего еще недоставало сделать; т. е. общая и исключительно интересная для красных картина достижений по обороне Сиваша. Копия подлинного доклада Макеева была подписана советским военным специалистом Паука (царский офицер Генерального Штаба, служивший в развед. отд. Ставки). В это время Паука играл значительную роль у Фрунзе, командуя советскими войсками против Врангеля.

Интересно, кто мог предоставить красным такой документ? А так же почему он остался после ухода большевиков из села на видном месте, сразу бросившийся мне в глаза среди других разбросанных бумаг? Значит, советские агенты проникли и к Макееву.

В той же Торгаевке среди брошенных большевиками бумаг мне попались разведывательная сводка южного красного фронта, подписанная тем же Паука. На полях этой сводки были перечислены источники, на основании которых составлена эта сводка.

Между прочим, одним из источников являлось показание взятого в плен генерала Генштаба Ревизинова<sup>102</sup>. Сводка эта была составлена толково; в ней был указан весь стратегический план Врангеля по выходе из Крыма в Таврию. А именно — первоначально прикрываться Днепром и привести в оборонительное состояние участок Токмак—Азовское море. Единственно с чем не справились большевики, это с данными о белой коннице. Они посчитали полноценными полками ячейки полков царской конницы, когда они имели состав всего двух-трех эскадронов.

И этот документ лежал на столе среди вороха других мало значащих бумаг. Думаю, что оба эти документа были оставлены благожелателями белых.

Я приведу несколько примеров (эпизодов), характеризующих работу разведки большевиков уже во время эмиграции, ту работу, с которой мне пришлось непосредственно столкнуться.

Русский военный агент в Югославии полковник Базаревич<sup>103</sup> и начальник 4-го отдела РОВСА генерал Барбович, а до него престарелый генерал Экк<sup>104</sup> как-то проходили мимо возможности попасть в сети большевистской работы. А между тем, как будет указано ниже, эта работа советских агентов главным образом касалась военного состава эмиграции, в большинстве своем не разложившегося и неуклонно настроенного антисоветски, несмотря на свою скромную жизнь и еще более скромные жизненные перспективы.

Со смертью Врангеля ячейки всех соединений, как царского времени, так и добровольческой формации, стали постепенно угасать, и вся русская молодежь, за исключением малого десятка человек, как правило, ни военным, ни политическим делом не интересовалась и ушла просто в обывательщину. Единственный молодежный актив вошел в состав НТС.

Надо сказать, что руководители его сумели поддерживать у русской молодежи, этой искательницы вечной правды, активный дух, любовь к России, мечту об изменении политической структуры своей Родины и даже объективное участие в низвержении коммунистической головки. «Игра в солдатики» их интересовала мало.

Помимо НТС в Белграде образовалось в разное время несколько групп, правда весьма малочисленных по своему составу, хотевших взять на себя инициативу по конспиративной работе борьбы с большевиками.

Я лично участвовал в двух-трех группах разновременно. Должен отметить, что в составе их в большинстве входили очень приличные и добросовестные люди; но были, конечно, и «хохштаплеры» — не предатели, а просто легковесные политические авантюристы, имевшие желание играть роль «младотурок». Одно время среди конспираторов были получены сведения, что в смысле помощи в работе против большевиков могут быть полезны немцы. За несколько лет до Второй мировой войны они в Югославии не имели своего военного агента, и обязанность эту выполнял один из секретарей посольства, в прошлом активный германский офицер старой германской армии.

С ним был дружен Генштаба полковник Петр Петрович Дурново<sup>105</sup>, служивший в Прибалтике. Они хорошо были знакомы по прибалтийскому краю и в конце Первой мировой войны, когда в Рижском районе оперировала германская «железная» дивизия. Сам Дурново был отлич-



но материально обеспечен, занимал нижний этаж на улице Кн. Павла, № 15, в Белграде, изредка приглашал к себе русских эмигрантов после тщательной проверки. Приглашенные обсуждали вместе с Дурново вопросы, как найти ход к немцам, чтобы воспользоваться их поддержкой в борьбе против большевиков. Сам Дурново убеждал приглашенных гостей, что единственный способ вести конспиративную работу в этом направлении — это при помощи немцев. Эту уверенность, между прочим, развивал Федор Ардадьонович Дракин<sup>106</sup>, тесть Линицкого, с которым меня свел почтенный человек, русский офицер Югославянской армии, не ведавший, что из себя представляют Дракин и Линицкий. Последний показал себя ярким русским патриотом, ненавидящим большевиков, утверждавшим, что он также имеет связи с германским посольством, и выразившим желание участвовать в русской организации, стремящейся отправить своих людей за железный занавес для совершения террористических актов по немецким каналам, при их поддержке.

Люди нашлись; среди них были уже побывавшие в советской России эмигранты, командированные туда Кутеповской организацией. Лично я вначале доверял вполне Дракину. В Галлиполи он состоял военным чиновником Гвардейского кавалерийского полка (полковника Апухтина<sup>107</sup>).

В дальнейшем жизнь показала обратное. В те времена многие не потерявшие веру в свое национальное достоинство и не забывшие свою Родину русские эмигранты упорно добивались связи с ней в каком угодно масштабе, желая быть информированным и оттуда о действительной жизненной и политической ситуации; это с одной стороны, а с другой — прямо с вредительской точки зрения, т. е. имея желание повредить им чем-нибудь, каким угодно способом большевистской власти.

Молодежь эмигрантская главным образом жертвенно отозвалась на эти стремления и с опасностью для своей жизни рисковала собою, желая проникнуть в пределы СССР для указанной цели. Молодежь — это вечная искательница правды, поэтому ее порывы осуждать нельзя. Насколько они были целесообразны и соответствовали той обстановке — это вопрос другой. Но порыв не терпит перерыва, особенно в годы юности. НТС воспользовался стремлением молодежи; устраивал для них доклады, сообщения, организовал клуб, учредил курсы военной подготовки, причем особенно упирал на подготовку-практику уличного боя.

Представляете себе, как должен был торжествовать Линицкий, состоя в центральном правлении Белградского НТС, имея к себе полное доверие со стороны этой организации, будучи всегда в курсе всей ее жизни и мероприятий, неустанно следя за отправкой молодежи в страну «ЗЭКа». Меня лично вызвал один из тогдашних руководителей НТС — Байдалаков<sup>108</sup> для прохождения курса военной подготовки среди моло-

дежи НТС. Лично я в НТС никогда не состоял и в курсе его работ не был. Большинство из моих учеников первого набора погибли при переходе границы через Днепр или через Польшу, о чем я узнал уже впоследствии и участвовать в подготовке молодежи отказался.

Советская разведка в эмиграционные круги проникла достаточно глубоко. Я не буду касаться работы Скоблина, Плевицкой и пр. в Западной Европе, а затрону лишь на шумевший процесс на Балканах — д-ра Линицкого, Дракина и компании. Линицкий являлся квалифицированным и, пожалуй, идейным советским агентом. Окончив университет в Югославии, имея своим родственником (дядей) довольно известного генерала Генштаба Линицкого<sup>109</sup>, он быстро и непринужденно втерся в эмигрантские круги Белграда. Сделавшись членом местного правления галлиполийцев, ярким «поклонником» РОВСа, включился в одну из ячеек конницы, если не ошибаюсь, в кадр 4-го гусарского Мариупольского полка<sup>110</sup>, стал близким интимным приятелем адъютанта начальника 4-го отдела РОВСа генерала Барбовича, ротмистра 10-го Ингерманландского полка Альбина Комаровского<sup>111</sup> и, наконец, активным членом Правления НТС.

Немного коснусь личности Комаровского. Я не считал его коммунистом, как многие офицеры это утверждали. Большевики просто его перехитрили. По некоторым данным, он имел от РОВСа задание дружить с Линицким и выведывать у него все, что касается мероприятий Советов среди эмиграции. Линицкий был женат на очень интересной дочери Дракина. Сам Дракин служил в Министерстве Путей Сообщения и в петлице своего пиджака всегда носил портрет покойного Короля Александра, что очень импонировало не только русским, но и сербам. Как будто внешне было все в порядке. Линицкий и Комаровский каждый день встречались и подолгу разговаривали в канцелярии военного агента полковника Базаревича, которая служила и штабом генерала Барбовича, или в русской столовой Егорова, где обыкновенно обедал Комаровский, находившейся внизу в глубине двора против Королевского дворца на ул. Краля Милана.

Дракин очень умно устроил слежку за РОВСом. В Белграде на Таковской улице, № 50, занимая на 2-м этаже квартиру, он предоставил ее половину семье генерала Барбовича. Обе половины квартиры были соединены дверью. Все, что происходило у Барбовича, отлично было слышно в квартире Дракина.

К генералу Барбовичу приходили часто с докладами старшие начальники РОВСа. У него часто бывал очень почтенный и серьезный генерал Гернгросс<sup>112</sup>. Он был глухой, и, как все люди, лишившиеся слуха, повышают голос, то же было и с ним. Супруги Дракины подсаживались к двери и выслушивали все то, о чем кричал Гернгросс, и записывали...

Между ними дамами Марией Дмитриевной Барбович и г-жой Дракиной поддерживались дружеские отношения. Все, что эта чета слышала в комнате Барбовича, передавалось Линицкому. Дракин, желая прикинуться, что он никаких деловых сношений с Линицким не имеет, просил меня не ставить Линицкого в известность о наших с ним разговорах ни в каком случае. После долгих разговоров я убедился, что между Дракиным и Линицким несомненно существует связь, которую отрицал Дракин, и что эти люди не заслуживают доверия.

Я обратил внимание на п. 5 анкеты, которую надо было пополнять каждому собирающемуся в «командировку» за железный занавес. Пункт 5 анкеты особенно напирал на сведения: какие родственники «командируемого» за «железный занавес» имеются и где они на территории СССР находятся? Говоря с Дракиным об этом 5-м пункте, я указал ему, что мне непонятно это требование немцев. Дракин на это ответил, что это категорическое требование немцев и без заполнения анкеты полностью вся структура отправки за «железный занавес» людей будет аннулирована.

Я не мог удовлетвориться этими ответами Дракина и в конце концов после резкого разговора с Дракиным, увидев политический шантаж, настойчиво потребовал вернуть мне анкеты, и тут же я разорвал их вместе с присланными фотографиями, бросив все в печь.

В соседней комнате восседала г-жа Дракина, слышала весь разговор, и, когда я вышел из их спальни, она мне заметила: «Успокойтесь, зачем ссориться?» Через месяц после этого «инцидента» Линицкий и Дракин были арестованы Югославянской полицией за шпионаж в пользу Советов и за глубокую коммунистическую пропаганду среди сербов. Повод к их аресту я подробно описывать не буду. Как то, так и другое в деталях в свое время было известно широкой русской эмиграции.

Могу только отметить, что в аресте Линицкого виноват он был сам. Известная работница НТС Мария Дмитриевна Пепескул (недавно выпущенная из Сремско-Митровацкой тюрьмы по приказу Тито в Югославии после 10-летнего в ней пребывания) сообщила о нем в полицию. Пепескул в обществе Комаровского и Линицкого была на каком-то русском вечере. Линицкий воспользовался ключом от ее комнаты, временно удалился с вечера и открыл ее комнату, перерыл какие-то бумаги, и это обнаружила Пепескул.

\* \* \*

Рассматривая деятельность многих агентов, я должен упомянуть про одного провокатора, который погубил много национальной русской молодежи. Это господин, он же полковник Симинский<sup>113</sup>, быв-

ший одно время начальником политического отдела штаба генерала Врангеля в Крыму. Он, будучи в командировке, не вернулся в штаб Врангеля, и покойный генерал в своих воспоминаниях, изданных уже в эмиграции, об его преступном бегстве указал конкретно.

Прошли года. Наступил 1941 год. 22 июня 1941 года немцы врываются в советскую Россию, и в эти дни Симинский показывается в Белграде, вербует массу русской жертвенной молодежи, якобы для пропаганды против коммунизма и Сталина в тех районах, которые оккупированы и будут заняты германскими войсками.

Молодежь живо откликнулась на этот призыв, веря в его неподдельную искренность. Обедая в этот день у своего знакомого полковника М-ва на Четнической улице Сеньяка, я застал очень нервно и возбужденно настроенных молодых людей. Они собирались куда-то в далекий путь. Все приготовления к путешествию обставлялись с какою-то таинственностью. Единственно, что мне удалось узнать, это то, что их завербовали немцы для пропаганды среди пленных и жителей через Симинского. Разговорившись с одним молодым, человеком, я заметил, что Симинский не внушает мне доверия и что об его особе можно прочесть в воспоминаниях Врангеля.

Этот молодой человек на меня накинулся, упрекая всех стариков в том, что они всю эмиграцию занимались «пимом», т. е. панихидами, интригами и молебнами, а когда молодые силы, отряхнув эмигрантскую плесень, хотят приступить к национальной работе, то, вместо поддержки со стороны старого элемента, слышится только критика, проникнутая полным пессимизмом.

Дальнейшая судьба посланных Симинским молодых людей была поистине трагична. Немцы порешили сделать из них только шпионов. Молодежь от этой работы категорически отказалась. В результате явились расстрелы, аресты и другие репрессии за невыполнение германских требований. Акция провокатора Симинского провалилась окончательно. Оставшиеся в живых русские молодые люди, за исключением тех, кто еще томился в немецких тюрьмах, были отправлены в Белград, и там под страхом военно-полевого суда запретили что-либо рассказывать им про свою «командировку». К сожалению, этот провокатор Симинский после оккупации немцами Югославии вернулся в Белград.

В дни его работы в Белграде он нашел убежище на вилле одного почтенного русского генерала в Топчидере, имевшего к нему доверие. Симинский и после провала акции с вербовкой молодежи под прикрытием гестапо продолжал свободно проживать в Белграде. В дальнейшем он продолжал служить в разведке одного из государств и в заключение был арестован французской контрразведкой после Второй мировой войны в районе Боденского озера, где и ликвидирован.

ПУТИ-ДОРОГИ<sup>115</sup>

Карпуша Захаров при рождении получил имя святого, которого праздновали в тот день, в который он родился. Таков был порядок у староверов, и такова была традиция в семье его матери. Она всемерно старалась воспитать своего единственного сына в православной вере.

Первые три года своей жизни, как ему потом рассказывали, он все время лежал без движения в своей детской кроватке, не живя и не умирая, чем приводил в сокрушение свою мать и отца. Но его тетушки и дядюшки были более равнодушны и откровенны, говоря: «Не жилец он на белом свете, хотя бы его Господь Бог бы прибрал; не мучился бы сам, да и других бы не мучил». Доктора, не находя никакой видимой причины его болезни, отказались его лечить.

К концу третьего года его безнадежного состояния вдруг, без всякой видимой причины, неожиданно для всех его близких, Карпуша стал заметно поправляться. Любовь матери к своему ребенку и горячая молитва сделали то, что не под силу было докторам и лекарствам. Ребенок стал оживать и развиваться самостоятельно, хотя все же на всю свою жизнь он остался не вполне физически крепким, сохранив за собой кличку «задохлика».

Тихо, в семейной обстановке, протекала первая пора его детства. Первое сознание своего бытия у него относится к концу третьего года его лежания в кроватке, тихо, одиноко, в его детской комнате, что запечатлелось в его свежей памяти на всю его жизнь.

Его прадед был полковником небольшого Волжского Казачьего Войска, имевшего в те давние времена своим центром село Дубовку, расположенное на правом, нагорном берегу Волги, севернее города Царицына, нынешнего Волгограда.

Во времена царствования Екатерины Второй, когда Потемкин переселял запорожцев с Днепра на Кубань, то и волжскому войску тоже было предложено переселиться на юг, на новую границу государства Российского, на реку Терек, подтверждая этим указом старую казачью поговорку, что граница государства Российского находится на конце острия казачьей пики. В то время здесь, на Тереке, была вечная война русских с вольнолюбивыми горцами — чеченцами, кабардинцами и черкесами.

В одном из боев с кабардинцами дед Карпуши, будучи молодым офицером, был тяжело ранен. Русские войска, под сильным натиском противника, не успели его подобрать, оставив его на поле сражения. Его

увезли к себе в аулы кабардинцы; там его вылечили известными им травами и дали знать русскому правительству через покоренные, мирные аулы, что у них находится русский офицер Захаров, взятый ими в плен тяжело раненым, в таком-то бою, тогда-то, и что они готовы его обменять на сумму денег, положенную за обер-офицера. Русское правительство выкупило деда Карпуши за указанную сумму. То было время далекого прошлого, когда люди были менее культурны и, как тогда говорили, с дикими нравами, не то что теперь, в наш просвещенный век со всеми его техническими и космическими достижениями, когда ни за какие деньги никого нельзя выкупить и никому нельзя выехать из-за железного занавеса. Впоследствии дед Карпуши дослужился на Кавказе до чина полного генерала. В своей станице, на Тереке, он на свои средства выстроил школу и церковь, где и был похоронен в склепе под пушечный салют прибывшей Терской батареей из города Моздока отдать последний долг его чину.

Ярким эпизодом на всю жизнь Карпуши в его памяти осталось его путешествие со своими родителями по Военно-Грузинской дороге из Владикавказа в Тифлис и дальше, к пограничной реке Аракс, отделяющей Россию от Турции, к месту службы его отца.

Ночью, на пути к почтовой станции Казбек, одна из четырех лошадей упала под экипаж и стала биться, желая освободиться. Ямщик и отец Карпуши быстро соскочили с экипажа и старались освободить упавшую лошадь, поставив Карпушу сбоку шоссе у телеграфного столба с монотонно гудящей проволокой над его головой. Рассказы взрослых о том, что в горах живут разбойники, которые по ночам нападают на проезжающих, однообразно-унылый звук гудящей телеграфной проволоки, ночь — все это навяло на него печально-тревожное настроение.

Вдруг вдали, в ночной тишине, стал слышен ясно лошадиный топот. Карпуша насторожился, считая, что это едут разбойники. Его детское сердечко стало учащенно биться, а проволока все продолжала свою унылую песню. Лошадиный топот становился все слышнее и слышнее, а его сердце стучало все сильнее и сильнее. Постепенно из тумана стали вырисовываться всадники в бурках, которые, увидев экипаж, быстро соскочили со своих лошадей, и ведя их в поводу, направились к месту, где стоял Карпуша.

Онемев от страха, он не мог ни кричать, ни бежать. Прибывшие люди привязали своих лошадей за все тот же телеграфный столб и сами быстро направились к экипажу. Они помогли откатить его назад и освободить из-под него упавшую лошадь. Лошадь сильно хромала, и ее привязали сзади. Ночные всадники, пожелав отцу Карпуши счастливо доехать до станции, сели на своих лошадей и стали продолжать свой

путь, отмечая его постепенно замирающим звуком лошадиного топота в ночной тишине. Эти люди, как ему объяснили, были ночным разъемом, охраняющим свой участок дороги. Потом уже без всяких дорожных приключений они доехали до места службы его отца, на русско-турецкой границе, на берегу реки Аракс.

В этом глухом и отдаленном местечке Карпуша прожил начало своего тихого, однообразного детства, окруженный унылыми горами и скучной природой. Когда и как научился читать, — он не помнит, очевидно, грамота ему давалась не трудно, но зато он запомнил и полюбил свою первую детскую книжку — «Родное слово», нашего знаменитого педагога Ушинского. Он запомнил также маленький домик, в котором они жили, и большой, железный, дугообразный мост через реку Аракс, выкрашенный в красный цвет. Возле моста, на русской стороне, была небольшая казенная постройка пограничной стражи, где всегда стоял часовой и где проверяли вещи людей, едущих в Россию или в Турцию. Это было его единственным развлечением в этом скучном месте. Скрыто было тогда от него, что спустя тридцать лет ему придется три раза нелегально преодолевать эту реку вброд и вплавь, но об этом речь будет впереди.

Вскоре отец его закончил здесь свою службу и они вернулись снова на Северный Кавказ, в маленький городок, где когда-то жил поэт М.Ю. Лермонтов, описавший эти места и жизнь своих героев — княжны Мэри, Печорина и Грушницкого. Здесь Карпуша свое дошкольное образование получил в частном пансионе ученой дамы, после чего выдержал экзамен в среднюю школу во Владикавказе. Ему запомнилась красивая картина цепи снеговых гор, уходящей от Казбека к Эльбрусу в голубовато-розовых тонах дымки восходящего и заходящего солнца.

Когда он был уже в старшем классе, как обычно, он приехал домой на летние каникулы. Его матушка однажды, посмотрев на него внимательно, сказала: «Ты, Карпуша, никогда не женишься», что так и сбылось в его жизни.

Хорошо закончив среднюю школу, он поступил в одно из высших учебных заведений в Москве. Будучи уже студентом последнего курса, как обычно, он приехал из Москвы домой на лето.

Однажды он поехал со своим отцом на охоту, на пасеку, которая отстояла от их хутора в восемнадцать километрах ближе к горам. Здесь было много цветов для пчел и непуганой дичи для охоты. И вот, видят они всадника, едущего по полю, кого-то ищущего. Когда он увидел пасеку, то быстро направился к ней и, подъехав, спросил: «Здесь ли находится полковник Захаров?» Назвав фамилию отца Карпуши и получив от него утвердительный ответ, всадник вручил ему пакет по мобилизации. Отец Карпуши прочитал бумагу, расписался на конверте и сказал молодого-

му кучеру: «Ну, Андрей, запрягай Гнедого, — война». Андрей, стоявший до этого времени молча и наблюдавший всю эту сцену, грустно ответил: «Значит, я иду в первую голову, как кавалерист запаса».

Так слово «война» было сказано в самой мирной обстановке — на пасеке. Андрей запряг высокого, стройного Гнедко, который вскоре же после своего кучера и вслед за ним пошел на войну тоже. Отец Карпуши, как находившийся уже в отставке, был назначен председателем военно-конской повинности этого района, и Карпуша тоже поступил в военное училище и по окончании его попал на Западный фронт в дивизию генерала П.Н. Краснова, а в полку познакомился с штаб-офицером С.Г. Улагаем<sup>116</sup>.

Захарову запомнились особенно два боя: первый ночной бой под Вулькой-Галузийской, где наша пехота должна была прорвать линию окопов противника в лесу. Но пехота, дойдя до сильного проволочного заграждения немцев, не смогла его преодолеть. Наша хорошая легкая артиллерия была мало полезна здесь в лесу. Дивизия генерала П.Н. Краснова была спешена в помощь пехоте, но, понеся значительные потери, тоже успеха не имела.

Уже много позже, когда подошла тяжелая артиллерия и сделала свое дело, тогда для всех был виден результат ее действия, когда проходили через занятые уже неприятельские окопы, видя высоко на деревьях висящие колья с проволокой, но момент был уже упущен и дивизия генерала П.Н. Краснова в прорыв не пошла.

Другой бой, более удачный, был на реке Стоходе, когда второй дивизион войскового старшины С.Г. Улагая, вплавь, верхом, неся значительные потери людьми и лошадьми, переплыв реку, занял часть неприятельского берега, с боем у деревни Рудка Червище и господского дома — Тобола, ценой убитого пулей в голову командира пятой сотни и тяжело раненного тоже пулей в шею командира четвертой сотни и убитых и раненых казаков и лошадей. За этот бой войсковой старшина С.Г. Улагай получил Георгиевский крест.

Потом наша пехота занятую часть берега у противника за зиму сильно расширила в обе стороны и вперед и создала тот Черевещенский плацдарм, с которого весной 1917 года должно было начаться наше наступление. Но этому, к сожалению, не было суждено осуществиться, и вместо движения вперед, после революции, разложившаяся армия бесславно покатила назад.

Захаров прибыл из Киевского офицерского госпиталя к себе на Кавказ и жил одно время в станице у своей тетушки. Однажды, еще в начале революции, проходя по улице станицы мимо нескольких разговаривающих стариков, он услышал сказанную одним из них фразу: «И



будет время, когда вы будете ходить по хлебу, а хлеба есть не будете». Эти слова, сказанные в начале революции, ему показались настолько неправдоподобными, что Захаров в душе посмеялся над ними. Но прошло сорок лет, и когда он после десяти лет советской каторги был на принудительной высылке в Сибири, то вспомнил это предсказание, которое буквально с ним там исполнилось.

До прихода на Кубань генерала Корнилова, когда из Новороссийска двинулся отряд матросов на Екатеринодар, желая водрузить в нем свое знамя советов, полковником Галаевым<sup>117</sup> был наспех сформирован отряд на защиту города из офицеров, студентов, гимназистов и другой молодежи. В этом отряде была русская, молоденькая доброволка: Таня Борхаш, прибывшая из Москвы на Кубань.

Отряд полковника Галаева выступил на станцию Георгиево-Афинская и дал бой наступавшим матросам. Во время боя Таня Борхаш, желая предупредить одного из добровольцев о грозящей ему опасности, успела только крикнуть ему: «Берегитесь, берегитесь, в вас целится матрос!» И с этими словами сама упала мертвой. Отряд матросов был разбит, а в Екатеринодаре хоронили после боя полковника Галаева, Таню Борхаш и других, с цветами и печальной музыкой.

Уже в Сибири, в приполярных лагерях, об этом бое и смерти Тани Борхаш, Захарову вспоминал участник этого боя Анатолий Павлович Половинкин<sup>118</sup>, тоже русский эмигрант, как и Карпуша, но из Ниццы, и тоже выданный, как и он, вместе с другими войсками генерала П.Н. Краснова из Лиенца большевикам. А потом уже, когда Захаров после каторги в Сибири был в поселке Тупик, отбывая принудительную высылку, о Тани Борхаш ему рассказывал другой русский эмигрант офицер, но взятый большевиками из Румынии, капитан артиллерии, Владимир Александрович Влесков, помогавший полковнику Дроздовскому формировать в Яссах его отряд. Влесков жил в Москве, в свое время, в большом доме, где и Таня Борхаш, которая была спортсменкой и большой любительницей лыжного спорта. Так, совершенно случайно, из самых разных источников и разных мест, иногда бывает возможным услышать правдивое сказание.

Во время гражданской войны Захаров попал в войска генерала Врангеля, двигавшегося на восток к Волге, по маловодным и малонаселенным, целинным местам, где люди занимались главным образом скотоводством, разводя овец, коров, лошадей и верблюдов. Не знал тогда Захаров, что с этими двугорбыми представителями астраханских степей, по прошествии четверти века, снова придется встретиться, но уже в Северной Италии, и совершить с ними переход ночью, в снежную метель, через Альпы, Монто-ди-Кросе, из Италии в Австрийский Тироль.

После взятия Царицына, который советы называли своим «Красным Верденом» и который в то время защищал Ворошилов со своим комиссаром Сталиным, главная часть войск генерала Врангеля пошла по Волге на Саратов, а другая часть была переброшена под командованием генерала С.Г. Улагая за Волгу, в направлении на город Царев и дальше на восток к уральским казакам. Захаров попал за Волгу с воинской частью. Здесь настроение крестьян, не знавших помещичьей власти и живших свободно и привольно, было совсем иное.

Они всемерно старались помочь добровольческим войскам, не желая принимать надвигающуюся на них коммуны. Их молодежь на своих лошадях организовалась в конный отряд, который назывался «Степные партизаны» и способствовал успешному продвижению вперед добровольцев.

В день праздника Спаса, 6 августа, Захаров с двумя автомобилями попал в большое село. Служба в церкви была уже закончена, и на площади было много девушек и молодых людей, одетых по-праздничному. Они, увидав машины, прибежали приветствовать добровольцев, засыпая их разными фруктами. От уральских казаков подходили уже разъезды, прося прийти к ним на помощь, а затем, вместе с ними, идти в Оренбургскую область тоже к казакам, и помочь им освободиться от красных, и уже всем вместе выйти в тыл красным войскам, преследующим отступающего адмирала Колчака. Таков был план генерала Врангеля, которого всемерно поддерживал в то время атаман Донского войска генерал П.Н. Краснов.

Впоследствии, уже в эмиграции, Захарову пришлось читать статью в советском журнале, советского офицера генерального штаба, озаглавленную: «Ключ белых к победе», где он писал, что единственный, кто правильно понял и правильно решил, куда в то время надо было направить удар, — это был железный барон Врангель, идя за Волгу на Урал и Оренбург, с выходом в тыл красным войскам, преследующим адмирала Колчака. Разбив живую силу красных, бросивших лозунг: «Все на Колчака!», Москва потом сама упала бы в руки, как «спелое яблочко». А вышло по-другому. Когда красные разбили Колчака, то они бросили свой другой лозунг: «Все на Деникина!»

Под Орлом определился неуспех, и главное командование потребовало конный корпус генерала С.Г. Улагая из-за Волги и перебросило его к Купянску, Старому и Новому Осколу, желая спасти положение. Однако кратчайшее расстояние не всегда бывает лучшим, а в стратегии особенно, и иногда окольными путями можно лучше и быстрее достигнуть намеченной цели. Так не спасли Колчака и Москвы не взяли.

Здесь настроение малоземельных крестьян было уже совсем другое, не то что за Волгой, и они, в лучшем случае, оставались пассивными, не

получая земельной реформы, а слыша лишь указание на какое-то мифическое Учредительное собрание.

Как было тяжело переживать эту неудачу, несмотря на всю жертвенность и доблесть войск. Захаров в разговорах со своими родственниками, имевшими свои земли, говорил, что надо бы добровольно отдать свою землю неимущим крестьянам, как люди Добровольческой армии добровольно отдают свою жизнь. Но ему возражали, говоря, что он слишком молод так рассуждать и что говорит он так, потому что не он наживал эту землю и поэтому он так легко ею и распоряжается. Рассчитывать же только на одну доблесть Добровольческой армии оказалось невозможным, так как все ее успехи на фронте сводились тылом к нулю.

Уже в эмиграции пришлось Захарову беседовать с одним старым русским дипломатом, который сообщил ему, что П.А. Столыпин пал жертвой своей земельной реформы, с одной стороны, благодаря попустительству некоторых министров его кабинета, на которых имели сильное влияние магнаты, боявшиеся лишиться своих латифундий, а с другой стороны, крайне левые увидели в этой реформе то, что П.А. Столыпин угадал, что надо было в то время России, чтобы избежать в будущем революции, и поэтому для них надо было его убрать с дороги революции. Помещики, мечтавшие сохранить свои земли и даже после революции 1917 года, потеряли все, что имели, и крестьяне, мечтавшие всю свою жизнь об увеличении своего малого земельного надела, тоже потеряли и то небольшое, что у них было. Большевики, наобещав им горы золота, ограбили их, говоря крестьянам: «Мы вам обещали землю, берите ее, пашите, сколько надо, но продукцию, зерно, мы вам не обещали. Земличка ваша, а пшеничка наша, водичка ваша, а рыбка — наша». Итак, во всем большевистский обман.

Добровольческая армия постепенно, с упорными боями, спускалась к югу. Зимой 1919 года друзья Захарова, будучи в г. Екатеринодаре и желая узнать свою судьбу перед надвигающимися событиями, зашли к ясновидящему персу. Как потом они рассказывали, этот перс долго не соглашался на их просьбы, но, видя их неотступное желание, наконец согласился, сел в кресло, натер нозоть большого пальца до блеска и стал смотреть на него, как в зеркало, сосредоточив все свое внимание на этой блестящей точке. После некоторого времени перс сказал, что они вскоре должны будут покинуть свои родные места и их ожидает малая вода; затем они снова вернутся на свою родину, но пройдут только половину пути до цели своего путешествия и вновь должны будут покинуть родные места, уходя среди высокой травы, скрывающей человека, сидящего на лошади, после чего их всех ожидает уже большая вода.

Все предсказанное ясновидящим персом в то время было для них так малопонятно и необычно, что никто этому не поверил, посчитав, что перс хотел от них избавиться, сказав им какую-то неправду. В конце зимы 1920 года, проделав кошмарную эвакуацию в Новороссийске, многие должны были покинуть родные места и «малой водой» попасть в Крым. Вот когда началось сбываться предсказание перса.

Захаров прибыл в Новороссийск во время эвакуации и должен был пересечь с коня на миноносце «Живой» и идти с генералом С.Г. Улагаяем связаться с частями армии, не смогшими погрузиться из-за отсутствия транспорта и поэтому отступившими на юг по Черноморскому побережью.

В Страстной четверг в лучах заходящего солнца миноносце «Живой» с поднятым Андреевским флагом и с принятыми на всякий случай мерами предосторожности малым ходом стал входить в бухту Туапсе, неизвестно кем занятую.

Уже был слышен призывной звон церковного колокола на Страсти Господни, как вдруг раздался орудийный залп с берега и снаряды низко пронеслись над миноносцем. Андреевский флаг оказался здесь неприемлем, что ясно указало, кем был занят город Туапсе. Командир «Живого», Максим Андреевич Лазарев<sup>119</sup>, искусно маневрируя и отстреливаясь, стал выводить свой миноносец в море.

Но снаряды красных все время ложились близко у бортов и в большом количестве. Выбравшись в море, взяли курс на юг в надежде встретиться со своими отступившими войсками где-то южнее Туапсе. Вечером начал дуть сильный ветер, и к ночи разыгрался сильнейший шторм. Огромные морские волны перекатывались через палубу миноносца. За ужином в маленькой кают-компании офицер механик Тихобразов<sup>120</sup> доложил командиру миноносца М.А. Лазареву, что в трюм миноносца все время прибывает вода, очевидно через отверстие, сделанное осколком снаряда противника. В довершение всех бед динамо тоже вышло из строя, свет погас, и откачивать воду пришлось ручными помпами, но она сейчас же снова попадала в трюм. Люди выбились из сил, но «Живой», барахтаясь в бушующем море, все же шел по указанному ему курсу. К утру буря утихла, а миноносец попал в полосу густого тумана, и штурман, мичман Бочманов, не мог определиться, чтобы узнать свое местоположение в море, почему командир приказал застопорить машины, боясь в тумане попасть на свои мины, поставленные нами еще в минувшую войну против турок и немецкого «Гебена».

Наконец легкий ветер рассеял туман, и «Живой», с поднятым флагом о бедствии, тихо вошел в Батумский порт. Не судьба была высидеться в Страстной четверг на землю, и не судьба была погибнуть в сильнейший шторм в бушующем море на подбитом миноносце.

Захаров был послан к представителю здесь Добровольческой армии, генералу Парахонскому<sup>121</sup>, и сообщил ему о случайном прибытии «Живого» и его бедственном положении. Генерал очень любезно принял его, выдал сумму грузинских денег для командира миноносца, так как добровольческие деньги здесь хождения не имели, затем познакомил его со своей семьей и полковником в черкеске, графом Воронцовым-Дашковым<sup>122</sup> и пригласил Захарова к себе на Светлую Заутреню в его большой квартире, а после разговеться с ними вместе. Поблагодарив за ласковый прием и приглашение, он на шлюпке «Живого» прибыл на миноносцу и передал деньги командиру, что было очень кстати, чтобы улучшить пасхальный стол офицерам и команде после трудного похода.

В назначенное время Захаров прибыл к генералу Парахонскому, в его квартире прослушал Светлую Заутреню и вместе со всеми, по-семейному, принял участие в пасхальном столе. Как это было не похоже на то, что всего только сутки тому назад он пережил в бушующем море.

Залатав пробоину и не получив каменного угля от коменданта порта, в то время уже английского офицера, через несколько дней «Живой» был взят на буксир пришедшим из Константинополя миноносцем «Дерзким», большего размера, типа «Новик», и благополучно прибыл в Севастополь, не сумев исполнить данную ему задачу. Вскоре после этого вторично был послан генерал Улагай, и Захаров, на лучшем миноносце «Беспокойном», отплыл в Сочи и Сухум, где им на этот раз удалось связаться с отступившими войсками из Новороссийска и наладить их перевозку в Крым.

В августе 1920 года был назначен десант генерала Улагая из Крыма на Кубань, на берег Азовского моря, в станицу Приморско-Ахтарскую, или, как ее называют местные жители, Ахтари. Захаров со своими друзьями тоже попал в этот десант. Успешно, с боями, они продвигались вперед к городу Екатеринодару, но, дойдя до узловой станции Тимошовка, которая несколько раз переходила из рук в руки, и неся значительные потери, не получая пополнения, генерал Улагай приказал отступать, прикрывая огромный обоз раненых.

Красные войска уже успели захватить станицу Приморско-Ахтарскую, где была база десанта, и поэтому пришлось взять новое направление через огромные Кубанские плавни, с высокими камышами, с миллиардами комаров вдоль реки Протоки, через станицу Гривенскую, к рыбацкому поселку Ачуеву, при впадении реки Протоки в Азовское море.

Отступая из станицы Гривенской, вдоль реки Протоки, через попадавшиеся по пути хутора, среди высоких камышей, скрывающих всадника с головой, Захаров верхом догнал повозку, на которой под буркой лежал

человек. Он спросил у везущих: «Кого везете?» — «Раненого генерала Шифнер-Маркевича!»<sup>23</sup> — был ответ. Продолжая свой путь, Захаров поравнялся с одинокой, отступающей пушкой Марковской батареи, узнав по их черно-белым погонам людей, ее сопровождавших.

Случайно его взгляд встретился с глазами молодого поручика, марковского артиллериста, и Захаров невольно раскрыл широко глаза от удивления и радости, воскликнув: «Миша Горюнов! Какими судьбами!» Молодой офицер-марковец, улыбаясь, протянул ему руку. Миша Горюнов был студентом физико-математического факультета Московского университета, когда Захаров, будучи в то же время тоже студентом в Москве, имел комнату с пансионом в семье Миши Горюнова, на Арбате. Тогда были оба студентами, а теперь оба на Кубани встретились офицерами.

К Захарову подъехал один из его приятелей, бывших в 1919 году вместе с другими в г. Екатеринодаре у ясновидящего перса, и, указывая рукой на высокие камыши, улыбаясь, сказал: «А помните, что нам в прошлом году предсказал ясновидящий перс и чему мы, смеясь, тогда не поверили? Эвакуация в Крым, вот вам, — «малая вода», как он нам тогда говорил, затем возвращение на родину и отступление с полпути среди высокой травы, скрывающей всадника».

Захаров достал военную карту из полевой сумки этой местности, и точно: станция Тимошовка, за которую они так сильно боролись, неся большие потери, была на полпути от их высадки в станице Приморско-Ахтарской и от города Екатеринодара — их конечной цели. А вот и предсказанная «высокая трава», скрывающая всадника, — «камыши». Осталась последняя часть предсказания — «большая вода», их всех ожидающая, которая не заставила себя долго ждать в момент эвакуации в ноябре из Крыма через Черное море Константинополь, Галлиполи, Лемнос, Египет, Бизерту, Сербию, — кому куда была судьба.

Генералу Улагаю удалось вывести не только всех раненых и больных, но и все свои войска, со всеми пушками и лошадьми, а также и местных жителей с их атаманом Рябоконею. С пароходами генерала Улагая ушли в Крым и рыбацкие баркасы, как их называли шутя, «Лимоньки-на эскадра».

Вернувшись из кубанского десанта в Крым, Захаров жил сначала в Керчи, в доме Д.К. Месаксуди, владельца большой фабрики табачных изделий, а позже переехал в Алупку, где со своими друзьями поместился в оставленной выехавшими хозяевами чудной даче Руперти. Внизу у моря был дворец в готическом стиле графа Воронцова-Дашкова с знаменитыми мраморными львами на лестнице главного входа, чудным парком с озером и лебедями.

Но не долго пришлось Захарову наслаждаться красивой крымской осенью на берегу моря. Его вскоре послали в Севастополь. Подходя к городу, было видно какое-то движение людей с вещами и груженых экипажей к пристани, и когда Захаров, сойдя на берег, спросил о причине этого движения, то ему удивленно ответили: «Разве вы не знаете об эвакуации Крыма?»

Он был в море и этого приказа еще не знал. Придя в штаб Севастопольской крепости, Захаров попал в кабинет ее коменданта, в то время генерала Н.Н. Стогова<sup>124</sup>, бывшего одно время еще на Кубани начальником штаба у генерала Улагая, и передал ему, что было поручено. «Ну знаете, теперь такая идет суматоха, — сказал генерал Н.Н. Стогов, — что я вам советую не возвращаться обратно в Алупку, а держитесь меня и будем вместе выбираться последними». Но Захарова в Алупке ждали его друзья, и он, поблагодарив за внимание к нему генерала, простившись с ним, пошел на пристань искать что-либо идущее в Ялту. Ему посчастливилось найти отходящую через два часа парашуну.

На набережной, у больших интендантских складов, была какая-то очередь. Захаров, имея два часа свободного времени, пошел узнать, что там происходит. По дороге вдруг он встретил своего ветеринарного полкового врача по войне 1914—1918 годов, магистра ветеринарии, — А.П. Колесникова, одиноко стоящего без всяких вещей.

Обрадовавшись друг другу, пошли вместе к интендантским складам, где всем уезжающим выдавали на дорогу продукты питания. Чиновник попросил Захарова написать расписку в получении ящика мясных консервов и большого мешка кускового сахару (меньше не выдавали, т. к. не было время развешивать). Все это они вдвоем погрузили на недалеко стоящую шхуну и через два часа, как было сказано, пошли в Ялту.

Захарова встретили прибывшие из Алупки его друзья, узнав также об эвакуации Крыма. Пароходы были уже переполнены желающими уйти, и Захарову, его друзьям и другим посоветовали дожждаться вышедшего из Константинополя в Ялту парохода «Константин», т. к. других перевозочных средств не было.

В городе уже началась кое-где уличная стрельба ожидавших скорого прихода новой власти. Интересно было знать, кто скорее придет в Ялту — пароход «Константин» из Константинополя или красные из Симферополя?

Всю ночь просидели на молу пристани, прислушиваясь к стрельбе в городе и ожидая услышать с моря сигнал идущего парохода «Константин» за оставшимися. На рассвете, наконец, услышали долгожданный голос с моря подходящего в тумане к Ялте «Константина», и все облегченно вздохнули и оживились, вспоминая недобрым словом новороссийскую эвакуацию.

Погрузившись на «Константин», Карпуша и его друзья увидели на палубе одиноко стоящих знаменитого конника генерала Павлова<sup>125</sup> и адмирала князя Путятина<sup>126</sup> и пригласили их в свою маленькую, тесную каюту, за что были вознаграждены рассказом князя Путятина о случайной встрече и удачном бое дредноута «Екатерина» с немецким «Гебенем». Адмирал князь Путятин в то время был командиром «Екатерины».

Когда все ожидающие были погружены, «Константин» отдал в последний раз концы своей родине и, прогудев в знак прощания с ней, тихо стал отделяться от пристани. Много людей стояло на палубе, смотря на удаляющийся от них город и окрестные горы, желая запечатлеть в своей памяти, для многих в последний раз, вид своей родины. У многих глаза были влажны, не зная, что их ждет впереди, но все были все же довольны тем, что избежали большевистских лап, уходя через Черное море в неизвестную даль.

Благополучно проделав черноморский поход, «Константин» тихим ходом вошел в красивый Босфор. Все вышли на палубу любоваться видами справа и слева. Как в сказке, появлялись мраморные мечети с их ажурными минаретами и чудные дворцы по берегам пролива. А развалины башен и стен Семибашенного замка говорили о давнем владычестве здесь древней Византии.

В начале Мраморного моря стояла масса пароходов с прибывшими русскими, покинувшими вынужденно свою родину. С одного из них доносилось чудное пение кубанских казаков: «Из далеких стран полуденных, из турецкой стороны, шлют привет тебе, родимая, твои верные сыны».

Захарову и его друзьям удалось сойти на берег, и он, с помощью амбала (турецкий носильщик), благополучно пронес в гостиницу «Румелия» в Галате хорошо упакованный русский трехлинейный карабин, патронташ, полный патронов, седло и минимум остальных вещей. Турецких денег было очень мало, а добровольческие здесь не имели никакой цены, и Захаров, с невеселым настроением и весьма туманной перспективой на будущее, вышел из своей гостиницы и пошел на мост через Золотой Рог в Истамбул.

Вдруг, среди массы двигающихся людей и экипажей, в одну и другую сторону, он увидел высокую фигуру в офицерском пальто с белыми блестящими пуговицами, но без погон и на голове имевшую белую папаху. Фигура эта, радостно улыбаясь, протягивала свою руку к Захарову. Это был молодой, красивый высокий курд Хасан. Он был взят в плен русскими под Саракамышем, когда Энвер-паша наступал со своим корпусом в Первую мировую войну в Закавказье.



Пленных раздавали людям, ведущим свое хозяйство, и Хасан попал в хозяйство кубанского казака-черноморца. Когда генерал Корнилов шел по Кубани, то старый казак приказал Хасану слушаться хозяек, а им не обижать его и не кормить салом, а сам и его сыновья поседдали коней и присоединились к войскам генерала Корнилова. Когда же в 1920 году была общая эвакуация с Кубани, то Хасан на этот раз не захотел оставаться с женщинами и ушел с казаками в Крым. Во время десанта генерала Улагая из Крыма на Кубань Хасан случайно попал к Захарову, у которого все люди были конные, а пешему Хасану он обещал добыть тоже коня на богатой Кубани. Так Хасан проделал десант и вернулся со всеми в Крым, но уже с конем.

Хасан, живя среди казаков, потомков запорожцев, научился хорошо балакать (говорить) по-украински. Здесь, на чужбине, на турецком мосту, Захаров, увидав Хасана, радостно с ним поздоровался. На его вопрос, где и как он устроился, Захаров дал ему свой адрес и сказал, что живет он далеко не блестяще, турецких денег мало, но есть оружие и патроны, которые надо хорошо прятать, т. к. международная полиция их отбирает, а владельцев арестовывает, и что поэтому Захаров хотел бы эти вещи ликвидировать, считая, что война уже закончена, но не знает как. Хасан, улыбаясь, сказал ему: «Завтра утром ты никуда не уходи и сиди дома, я приду за оружием». Попроцавшись, каждый пошел своей дорогой, потеряв друг друга в море людей.

На следующее утро, в указанное время, раздался стук в дверь и вошел Хасан, все в том же офицерском пальто и белой папахе. Захаров достал свой карабин и патронташ с патронами и передал все Хасану. Он снял пальто, надел карабин на одно плечо, дулом вниз, застегнул патронташ на груди, а потом уже надел свое пальто, скрывшее все, что было под ним, попрощался и ушел.

Приятель Карпуши стал смеяться над ним, говоря, что теперь Хасана мы больше уже не увидим. Но Захаров не хотел так плохо думать. И вот через два дня снова стук в дверь и снова вошел улыбающийся Хасан и выложил крупную сумму турецких денег. Видя это, приятель Карпуши достал свой массивный золотой портсигар и передал его Хасану. Тот взвесил его на руке, одобрительно почмокал языком и сказал, что это продать просто, и с этими словами положил портсигар себе в карман. В тот же день он принес кучу турецких лир. Захаров поблагодарил Хасана за его помощь и спросил его, что он думает дальше делать, на что тот беззаботно ему ответил: «Поживу немного в Стамбуле и потом поеду к себе в Курдистан».

Да, у Хасана было куда ехать, а вот у Захарова было совсем иначе. Одного умения ходить в конные атаки здесь было совершенно недоста-

точно, и надо было думать о другой квалификации, и он решил пересесть на коня стального, поступив в американскую школу шоферов-механиков. Окончил ее и получил аттестат на английском языке со всеми печатями. Эта новая его профессия в будущем ему очень была полезна на Среднем Востоке.

Когда Кемаль-паша разбил греческую армию в Малой Азии, на реке Сокарке, и когда султан турецкий должен был покинуть Константинополь на английском крейсере, знакомый Захарова, английский полковник шотландец Эллиот, предупредил его, что их войска тоже должны будут оставить оккупированный ими Константинополь, уйдя в Египет, и предложил ему поступить к ним в армию. Но это никак не входило в программу его жизни, и он, поблагодарив полковника за предложение, уехал через Болгарию в Сербию, где подписал контракт на работу во Франции и с группой русских эмигрантов прибыл в Нормандию, на большой металлургический завод, возле города Каен. Здесь ему пришлось работать при доменных печах. Эта работа сильно его утомляла, но зато он раньше окончил свой контракт и приехал в Париж.

Здесь Захаров снова встретился с генералом Улагаяем, который тоже приехал из Константинополя во Францию и имел постоянное местопребывание в Марселе. Генерал Улагай познакомил Захарова с генералом А.П. Кутеповым, который после нескольких с ним встреч предложил ему нелегально поехать в Россию и узнать там истинное положение на месте. Путешествие несомненно было интересное, но не без риска. Это было летом 1925 года. Итак, вопрос о нелегальной поездке в Россию был решен в положительном смысле.

Сборы у одинокого Захарова были весьма не сложны. Прибыв в Марсель, он купил билет на большой пассажирский пароход «Сфинкс», идущий через Александрию в Бейрут. Было лето, и погода благопритствовала путешествию морем. Когда подходили к Александрии, еще до того, как показались признаки земли, стали появляться на горизонте из моря какие-то треугольники различной величины, постепенно увеличивающиеся по мере приближения. Это были знаменитые египетские пирамиды, памятники человеческой гордости для одних и рабского труда и слез — для других.

Учеными высчитано, что из самой большой пирамиды Хеопса можно выстроить современный город на 200 000 человек. Труд поистине был египетский при их построении, без всякой современной строительной техники, 5000 лет тому назад. Работали рабы, как муравьи, строя эту пирамиду свыше 50 лет. Но кормили этих рабов, чтобы они были трудоспособные, говорят исследования тех же ученых, сытно, не так, как в сибирских лагерях, когда Захаров отбывал там свою десятилет-

нюю каторгу, тоже строя советскую вавилонскую башню в назидание потомству, как не надо было жить людям вот уже скоро 50 лет.

Пробыв в Египте несколько дней, «Сфинкс» пошел на Бейрут. Перед Яффой он остановился на внешнем рейде, и к нему с берега подошли пассажирские катера. Часть пассажиров, в числе которых был и Захаров, ушли в Яффу, откуда уже автомобилем по шоссе через Назарет и дальше он прибыл в город Иерусалим.

С каким духовным трепетом он впервые посетил этот библейский город и святые места, связанные с жизнью Иисуса Христа. Захаров счел своим долгом побывать у митрополита Анастасия и, получив у него благословение и проводника, русского старика Илью, отправился в «Русский дом на раскопках», где обычно останавливаются приезжие русские.

Свое несколько странное название этот «Русский дом на раскопках», получил оттого, что в свое время Великий князь Сергей Александрович, имея древний план Иерусалима, времен жизни Иисуса Христа, купил несколько современных домов и, снеся их, произвел под ними, по старому плану, раскопки и отрыл, глубоко внизу, древнюю, каменную, наружную стену Иерусалима тех времен, под землей хорошо сохранившуюся.

В этой стене есть небольшие ворота, через которые выводили за город на казнь преступников. Через эти ворота прошел и Иисус Христос на свою «крестную казнь». Ворота эти называются «Судными», и они и часть открытой стены теперь находятся внутри высокого здания, возведенного над ними. Стены этого здания расписаны русскими художниками картинами из жизни Спасителя. От этой стены, с этими воротами, недалеко находится и Голгофа, место казни Иисуса Христа, так что надпись над головой Спасителя — «Иисус Назарей Царь Иудейский», написанную по приказанию Пилата, можно было читать с этой стены, о чем и написано в Евангелии.

Несколько дней, проведенных в этом «Русском доме на раскопках», Захаров использовал в посещениях вместе со своим проводником, русским стариком Ильей, им указанных святых мест. Неизгладимое, на всю жизнь, осталось у него впечатление от его пребывания в Иерусалиме.

Дальше его путь был из Иерусалима через Дамасские ворота, Иордан, по берегу Геннисаретского озера по шоссе на Дамаск, по той древней дороге, по которой в свое время шел преследовать христиан Савла и на которой, после видения ему, он сам сделался ревностным христианином Павлом.

Город Дамаск несколько древен, настолько он и красив своими старинными постройками, мечетями с минаретами. Вокруг него много фруктовых садов и виноградников. Здесь есть немало арабов-христиан. В одном доме Захаров встретил монаха-араба, прекрасно говорившего

по-русски, и на его вопрос, где он научился так хорошо говорить по-русски, тот, улыбаясь, ему ответил: «Я в Петербурге окончил Духовную академию, где и научился русскому языку».

Дальше на восток дорога идет через древнюю Пальмиру с ее каменными развалинами циклопических сооружений. Невольно приходится удивляться, видя высокие, каменные колонны со сводами из огромных камней, как это, в те времена, люди могли втаскивать наверх такие тяжести. Здесь был в то время французский контрольный пограничный пост, а дальше уже на восток открывалась безводная Аравийская пустыня.

Единственный указательный столб, со стрелой на восток и надписью по-английски «На Багдад», был при выезде из Дамаска в пустыню, а другой такой же столб, тоже со стрелой, но в обратном направлении, на запад, и с надписью «На Дамаск», можно было увидеть уже перед Багдадом, пройдя 700 километров Аравийской пустыни.

Между этими двумя столбами изредка попадались скелеты павших верблюдов, выбеленные аравийским солнцем, свидетелем трудного караванного пути через пустыню. Но привычные шоферы арабы, без компаса, без карты, смело углубляются со своими машинами в пустыню, ориентируясь днем по солнцу, а ночью по звездам. Путь этот в то время был несколько опасен еще и потому, что некоторые кочевые племена арабов-бедуинов склонны были приумножить свое благополучие за счет путешественников и поэтому в пустыню выпускали машины только два раза в неделю, собрав все машины вместе, произведя им тщательный технический осмотр и обеспечив запас воды из расчета по одному узкому длинному брезентовому мешку воды на каждого едущего, а впереди шла военная машина с пулеметами.

Позже уже аэроплан время от времени наблюдал за бегущими машинами в песках пустыни, и если случались почему-либо длительные задержки и остановки, то сбрасывали им в мешках искусственный лед и жареных кур. Задолго до города Багдада на горизонте сначала показывается темная полоса — это верхушки высоких финиковых пальм в садах, окружающих город.

Слово «Багдад» — арабского происхождения, и оно состоит из двух слов, — «баг» и «дад», что в переводе означает — сад и финик. И действительно, финиковых пальм здесь масса, и культивируют их с незапамятных времен. Они дают сытную, вкусную пищу населению. Арабы народ высокий, худой, жилистый и отлично выносят нестерпимую для европейцев жару в 50°. В жару они пьют очень мало и маленькими глотками черный свой аравийский кофе. Цвет кожи их тоже цвета жареного кофе, но не черный, как у негров. Европейские магазины, банки и конторы обычно работают утром, до 11 часов и вечером, после

пяти, когда начинает спадать жара, тогда как арабы работают целый день под солнцем и чувствуется в них, что это настоящие хозяева своей пустыни.

В Багдаде показывают место, где якобы Шехерезада рассказывала свои сказки из 1001 ночи, а немного южнее, на реке Тигре, есть развалины древнего Вавилона, где когда-то были знаменитые висячие сады Семирамиды.

Высокая температура в Багдаде, доходящая до 45—50°, но с сухим воздухом пустыни, как низкая — 50° и — 56° приполярного края, но тоже с сухим воздухом и без ветра, где Захарову пришлось отбывать советскую каторгу, одинаково для человека выносимы, но для русских все же холод более приемлем, чем жара.

Из Багдада в Персию можно ехать или поездом узкоколейкой до пограничного города Ханекина с его нефтяными разработками, или автомобилем через местечко Шарабан. Ханекин довольно большой, бойкий торговый пограничный город, после которого уже начинается Персия (Иран). Отсюда дорога идет в глубь страны в ущелье между гор. Здесь есть вырубленная в скалах древняя дорога Александра Македонского (Искандера — по-арабски), который со своими войсками, покоря царство за царством и обращая их в рабство, продвигался на восток во время своего знаменитого похода на Индию.

Эти рабы строили дороги и снабжали его армию. Есть на этой дороге высеченная ими в скале большая ниша, где сидел Александр Македонский, пропуская перед собой войска на походе. Так об этом говорит до сих пор население и история. Как и египетские пирамиды, это тоже можно отнести к памятнику человеческой гордости своего бытия и рабского труда, крови и слез для других.

В Первую мировую войну этой дорогой, но с востока на запад из корпуса войск генерала Н.Н. Баратова<sup>127</sup> в Персии был послан для связи с англичанами, оперировавшими в то время под Багдадом против турок, офицер Кубанского казачьего войска 1-го Уманского полка, со своей сотней казаков, сотник Василий Данилович Гамалий<sup>128</sup>, получивший за свой поход русский и английский орден.

Дорога, выющаяся в горах между скал, проходит вблизи границы арабского Курдистана, откуда бывали ночные нападения на почту. Эта дорога приводит к городу Керманшаху, большому административному и торговому центру. В 25 километрах восточнее Керманшаха находится знаменитая высокая, отвесная, как стена, скала Бейситун. На этой скале, вверху, высечены барельефы людей с длинными бородами и быки с крыльями, относящиеся ко времени царствования персидского царя Дария.

Внизу этой скалы вырублена пещера, в середине которой стоит каменный конь с всадником. Неподалеку от этого места находится и селение Бейситун. Сюда приезжали европейские ученые и делали свои записи, рисунки и фотографии. Дальше дорога вьется, подымаясь постепенно к высокому горному перевалу Асад-Абад, где зимою бывают постоянные снежные метели и заносы.

Перевалив этот горный хребет, дорога зигзагообразно, круто спускается к городу Хамадану — древней Экбатане. Это тоже большой административный и торговый центр. Здесь в то время была гостиница «Франция», хозяин которой француз Демерле, но тоже эмигрант из России после революции, у которого одно время Захаров служил шофером, на его большой грузовой машине. В Хамадане же на окраине города находится могила Эсфирь, сложенная из огромных каменных плит. Это той Эсфирь, которой в Библии посвящена отдельная небольшая книга под названием «Эсфирь».

Следующий этап дороги проходит тоже через горный перевал — Авеч, и тоже с постоянными зимой снежными заносами. Спустившись с этого перевала вниз, можно было видеть сбоку шоссе стоящий одиноко дом с забитыми окнами и дверями досками. Здесь была когда-то конная почтовая станция, до автомобильного сообщения, и дом в таком виде невольно вызывает печальные размышления об ушедшей из него жизни. Но этому домику, однако, суждено было приютить у себя в прошлом великого князя Дмитрия Павловича<sup>129</sup>, когда он был выслан в Персию из Петербурга за участие в убийстве Распутина. Пути Господни неисповедимы, и возможно, что эта высылка его в Персию в то бурное время в России послужила спасением его жизни.

Прибыв в Тегеран, Захаров познакомился с русским эмигрантом, полковником Парфением Варфоломеевичем Филаретовым<sup>130</sup>, чье имя было хорошо известно не только русским эмигрантам, но и многим персам. Полковник Филаретов — человек интересной жизни, и поэтому с ним следует познакомиться подробнее.

Во время покорения Кавказа в Чечне русскими войсками был подобран мальчик-сирота, чеченец. Его крестили, дав ему имя Варфоломей, и русские добрые люди воспитали его в русском духе. Так он жил в станице Михайловской Сунженского отдела Терского казачьего войска. Когда пришла пора ему жениться, то за него вышла замуж дочь станичного священника Филаретова, и он получил вместе с женой и ее фамилию — Филаретов. У них родился сын Парфений, который, окончив среднюю школу и Виленское пехотное училище, вышел в Сибирь, в Читы, в один из сибирских пехотных полков. В Первую мировую войну, получив тяжелое ранение, он был послан инструктором в Персию в

Русско-Персидскую дивизию в Тегеран. Здесь его застала революция 1917 года. Его вскоре назначили начальником Хамаданского отряда.

В этом отряде также служил исполнительный офицер, начальник пулеметной команды Риза-хан Пехлеви, будущий основоположник новой персидской шахской династии после династии Каджар. Полковник Филаретов, видя его ревностную службу, всемерно ему протезировал. Ни для кого не было секретом, что когда Риза-хан Пехлеви сделался шахом Персии, то полковник Филаретов имел большие связи при дворе нового шаха. Это было также известно и первому советскому полпреду Родштейну, прибывшему в Персию после прихода большевиков к власти.

На приеме во дворце Риза-шаха Пехлеви Ротштейн сказал: «Не стоит нам, двум великим державам, ссориться из-за какого-то белогвардейского полковника Филаретова». На что он получил ответ: «А я вас попрошу больше этого вопроса не касаться!» Так впоследствии, до самой смерти полковника Филаретова, никто уже не беспокоил.

В Тегеране же жил капитан Преображенского полка, Константин Иванович Карташевский<sup>131</sup>, бывший воспитатель персидского принца, Ибрагим-мирза Каджара, который в Петербурге окончил Пажеский корпус и Русскую военную академию, а в Персии, при новой династии Пехлеви, был начальником Мешедского военного округа, где сходятся границы трех государств — России, Персии и Афганистана. Капитан Карташевский настолько хорошо знал персидский язык и персидскую литературу, что персы, в спорных вопросах своего языка, обращались к нему и что ага (господин) Карташевский скажет, то и будет правильным.

Большой популярностью также пользовался Николай Львович Марков<sup>132</sup>, бывший адъютант генерала Н.Н. Баратова в Персии во время войны 1914—1918 годов. По образованию он будучи архитектором здесь строил много разных казенных зданий — больницы, летний дворец шаха в Шамране и др. Здесь также проживал итальянец по рождению, но русский по жизни Антон Антонович Фонтен, один из строителей Сибирской магистрали и большой специалист по проводке туннелей. В Персии он, служа у русского инженера Б.С. Чарнецкого, тоже эмигранта, проводил туннель для шоссейной дороги в Луристане.

Первое время в Персии много шоферов было русских, оставшихся здесь из автороты корпуса генерала Н.Н. Баратова, узнавших, что в России революция, и выписавших к себе свои семьи из России.

Город Тавриз является главным административным и торговым центром Персидского Азербейджана и отстоит от русской границы в 100 километрах. Приехав из Тегерана в Тавриз, Захаров здесь встретил своих знакомых и друзей, тоже русских эмигрантов, от которых, получив ему нужные сведения, поехал верхом с проводником к берегам пограничной

реки Аракс, протекающей в большой, широкой долине между русскими и персидскими горами.

С персидского нагорного берега, там, далеко в туманной дымке за рекой Араксом, видна была запрещенная для него страна Советская. Тридцать лет тому назад Карпуша жил со своими родителями на том берегу этой реки; кубанские казаки, пластуны, стояли постами по этой границе и пели свои здесь песни:

Там, где волны Аракса шумят,  
Там посты чинно в ряд по границе стоят!  
Сторонись! По дороге той конный, пеший не пройдет живой!  
Там, вдали от родной стороны, от детей и жены, где стоят пластуны,  
Сторонись! По дороге той конный, пеший не пройдет живой!

В сознании Захарова было вполне понятное некоторое опасение за нелегальный переход границы, но какое-то необъяснимое чувство это сознание побеждало. И в одну из тихих летних ночей Карпуша, с помощью проводника, оказался на другом берегу реки Аракс, что в те времена было не очень уж трудно.

Пройдя осторожно прибрежную полосу высоких камышей, Захаров стал подыматься по насыпи новой железной дороги, идущей из Баку вдоль реки Аракс. Благополучно пройдя полотно железной дороги, он прошел еще некоторое расстояние и, найдя укромное местечко, прилег, ожидая рассвета.

Впереди, по линии железной дороги, были слышны частые паровозные свистки, из чего он понял, что в том месте должна быть ему неизвестная станция и что там паровоз делает свои маневры. Пошел мелкий дождь. Из темноты стал доноситься все сильнее и сильнее нарастающий звук выдыхаемого пара тяжело везущего паровоза. Звуки все усиливались и становились все слышнее и слышнее. Наконец ночную темноту прорезал яркий сноп лучей паровозных фар из-за крутого поворота, а через несколько минут появились два ярких глаза пыхтящего чудовища, тянувшего за собой большое количество товарных вагонов. Это был рабочий поезд, идущий на невидимую станцию, откуда были слышны свистки паровоза. Когда уже совсем рассвело и наступило снова утро Карпуши на его родине, дождь прекратился.

Выйдя из своего убежища, Захаров пошел в сторону предполагаемой им станции, идя по полотну железной дороги, между рельс, спокойным, неторопливым шагом. Впереди линия железной дороги делала крутой поворот, огибая выступ возвышенности, за которой ничего не было видно.

Пройдя этот поворот пути, вдруг впереди он увидел небольшой железнодорожный мостик через какой-то ручей, впадающий в реку Аракс. Но мост сам по себе дело не столь опасное, хуже было то, что на нем



стоял часовой с винтовкой, охраняя его, оплетенного кругом колючей проволокой. Ни на секунду не останавливаясь и не изменяя скорости своего движения, Захаров приближался к часовому, конечно, с некоторым внутренним волнением. Когда он поравнялся с часовым, тот, очевидно приняв его за рабочего или железнодорожного служащего, равнодушно посмотрел на него, не сказав ему ни слова.

Продолжая все тем же шагом свой путь, несколько не ускоряя, хотя и хотелось поскорее уйти от этого опасного места, он благополучно прибыл на станцию, откуда ночью были слышны свистки паровоза. Здесь он купил билет и благополучно приехал в столицу Азербейджана — Баку. Отсюда надо было брать новый билет для продолжения пути по главной железнодорожной линии. Подойдя к одной из касс, где стояла очередь покупающих билеты, Захаров обратился к одному из стоящих в очереди с вопросом: «Господин, скажите пожалуйста, где касса, чтобы взять билет в Н?» — назвав нужный ему город.

Этот человек как-то удивленно, но не враждебно посмотрел на него и указал ему другую кассу, сочтя, очевидно, такую оплошность Захарова в обращении к нему за неуместную шутку, не придав этому крамольному слову — «господин» — никакого значения.

Карпуша купил новый билет и из Баку прибыл к своим верным друзьям, где узнал все, что было нужно. Здесь он узнал у них, что неожиданный совершенно для них случай убедил их в том, что в штабе генерала Кутепова, в Париже, не все благополучно.

Отдохнув, Захаров стал собираться в обратный путь. Теперь ему нужно было осторожно выбираться из-за железного занавеса. Обратный путь для него был труднее, но не в смысле техники перехода границы, а ввиду его напряженной усталости нервов. Захаров опять попал к проводнику, который должен был указать ему время и место перехода пограничной реки Аракса.

Живя у проводника, Карпуша стал ожидать этот момент. Прошло уже двое суток, в течение которых он каждый вечер был готов к тому, что этой ночью пойдет в обратный путь, но все его ночные приготовления каждый раз были напрасны. На третий день, в полдень, когда ярко светило солнце, вышел младший брат проводника из помещения, захватив с собой уздечку для лошади, а вслед за ним вышел и сам хозяин. Они у двери стали о чем-то тихо стовариваться, после чего младший брат ушел куда-то, а хозяин-проводник вернулся и, улыбаясь, сказал Захарову, чтобы он собирал свои вещи, чему Захаров был удивлен, но, взяв свой скромный багаж, вышел с ним из его помещения.

Был тихий солнечный день. На склоне горы, на камне, сидел брат проводника, держа в руке уздечку, и пел спокойно песнь восточной

мелодии, наблюдая за двумя пасущимися возле него лошадьми. Захаров, увидя, что проводник спокойно пошел вперед, обходя стороной домик пограничной стражи, невольно приостановился, думая, нет ли здесь какой-либо ошибки, но проводник, поняв его мысль, улыбнулся и стал рукой указывать ему, чтобы он следовал за ним.

Монотонная, немного унылая песнь брата проводника продолжала спокойно литься в воздухе тихого солнечного дня. Захаров пошел смелее за проводником, и вскоре они прошли самое опасное место, войдя в высокие прибрежные камыши реки Аракса. Время было обеденное, и, очевидно, никому в пограничном домике не хотелось опаздывать. Проводник объяснил Захарову, что его поющий брат все время наблюдает за пограничным постом и своей спокойной песней уведомляет его, что все спокойно, что они могут продолжать свой путь вперед. Если бы песнь оборвалась бы и он стал бы кричать на своих непослушных лошадей, то это было бы сигналом им остановиться и спрятаться. Но к счастью, песнь все время спокойно продолжала им сопутствовать все дальше и дальше от опасного места. Дойдя в камышах до широкой и быстрой реки, проводник указал Карпуше дальнейшее направление переправы и место выхода на другой берег.

Крепко пожав друг другу руку, Захаров, раздевшись, продолжал свой путь дальше, а проводник — обратно, к себе, получив условленную сумму за беспокойство. Как это оказалось тогда просто и легко в умелых и верных руках контрабандистов. Восточная мелодия продолжала доноситься до Карпуши все тише и тише и, наконец, замерла.

Захаров благополучно достиг противоположного берега Аракса. Его охватило одновременно два чувства: первое — это радость выхода на свободную землю, а другое — чувство грусти об оставленной им вторично своей родине и своих близких друзьях.

Вскоре он снова попал тоже к своим друзьям, но уже по эту сторону Аракса. Из Тавриза он, прибыв в Тегеран, остановился у полковника Филаретова и стал хлопотать о своей обратной поездке во Францию.

Получив все нужные визы, Захаров отправился уже знакомым ему путем обратно и прибыл в приморский оживленный город Бейрут на автомобиле, а дальше морем в Марсель, где жил генерал С.Г. Улагай. От него он узнал, что вскоре после его отъезда в Персию и дальше, в Россию, к генералу Улагаю из Советского Союза приезжал некто, рассказывая ему, что там якобы все население готово к восстанию и ожидает только лишь прибытия из-за границы одного из видных генералов эмиграции, который бы их возглавил.

Захаров же привез вести как раз обратные и без труда убедил С.Г. Улагая, что это ловушка, рассчитанная на незнание истинного положения там

на месте. Вскоре, из совершенно другого источника, были получены такие же сведения, подтверждающие сообщение Захарова.

Прибыв в Париж, он часто бывал в квартире генерала А.П. Кутепова и предупреждал его быть ему осторожным. Генерал Кутепов представил Захарова Великому князю Николаю Николаевичу, в то время проживавшему в Шуаньи, в 25 километрах от Парижа. Великий князь, выслушав доклад Захарова, поблагодарил его за правдивое сообщение, пожав ему руку.

Однажды генерал А.П. Кутепов вызвал его к себе, и они вместе отправились в гостиницу в Париже к одному советскому лицу, прибывшему из Советского Союза. Во все время их разговора Захаров был все время возле генерала А.П. Кутепова, и по окончании их беседы они благополучно вышли из этой гостиницы.

Уже в то время, в 1925 году, плелась, наверно, вокруг генерала А.П. Кутепова незаметная ему паутинка предательства, о которой он не знал, но, наверно, чувствовал, почему и вызвал Захарова сопровождать его на это свидание, помня его предупреждения быть осторожным.

В 1926 году генерал А.П. Кутепов вновь предложил Захарову нелегально поехать в Россию. За это время он успел хорошо отдохнуть от всех впечатлений и переживаний и согласился на вторичное посещение своей родины.

На этот раз, прибыв на пароходе в Бейрут, он изменил несколько свой маршрут, взяв направление через древние библейские города — Тир и Сидон, и дальше, по побережью Средиземного моря до Яффы, а оттуда, через Назарет, в Иерусалим. Здесь он снова побывал у митрополита Анастасия и, прожив в Иерусалиме несколько дней, отправился в Персию через Дамаск, Пальмиру и Багдад.

В Тегеране он поступил шофером в Военный персидский банк, в его отдел почты, и совершал свои дальние поездки к южным берегам Каспийского моря, в Решт, Энзели, в Тавриз, где сходятся границы России, Турции и Персии, затем в северо-восточную часть Персии, в город Мешед, Серакс на пограничной реке Теджен, где тоже сходятся границы России, Персии и Афганистана, а также в Исфган, Хамадан, Керманшах и Багдад.

В то время автомобильный транспорт в Персии был новинкой, и Захаров застал еще большие верблужьи караваны, тянувшиеся медленно, цепочкой в разных направлениях Персии и Афганистана. Когда он смотрел на все умение и любовь обращаться с этими некрасивыми, но очень выносливыми и неприхотливыми в еде животными, ему представлялась картина многих тысячелетий тому назад, когда первобытный человек впервые приучил служить себе этих животных, являющихся несомненно

одним из самых древних видов транспорта и доживших еще до автомобильной и авиационной техники.

Сколько этими тружениками пустынь за это время перенесено на себе тяжестей для человека. Как-то на остановке одного большого каравана верблюдов Захаров спросил старого, опытного чарводара (погонщика), почему они вешают колокол на шею верблюдам. Тот ему объяснил, что замечено, когда верблюд с тяжелым грузом идет по твердой, не песчаной дороге, то ему трудно и больно его лапе, не имеющей копыта, как у лошади, и он начинает стонать, но однообразный, ритмический звук колокола отвлекает его от боли ног, и он, вслушиваясь в него, идет веселей, как зачарованный.

Часто Захарову на почтовых станциях или в дорожной чайхане (чайный домик), ожидая своего почтового чиновника с почтой, приходилось слышать восточное пение под аккомпанемент тары (род мандолины). Вначале это пение и музыка были ему малопонятны и большого восторга не вызывали. Но, прожив пять лет в Персии, видя большие, полупустынные пространства, выжженные неумолимым солнцем, безлесные горы, вечно безоблачное небо Иранского плоскогорья с его жгучим солнцем, — вся эта скучная природа, несомненно, отразилась в этой своеобразной, немного унылой восточной мелодии, и уже в последние годы своего здесь пребывания он вошел во вкус этой музыки и пения, и они ему стали приятны, как его давнишние хорошие знакомые.

В Персии земли много, но воды мало, и здесь главный вопрос в воде, т. к. все посевы, как пшеница и другие, должны искусственно орошаться, потому что дождей здесь почти не бывает.

Но после спуска с Иранского плоскогорья вниз, на север, к южным берегам Каспийского моря, картина резко меняется. Здесь дорога идет через большие лиственные леса с речками, по берегам которых садят чудный персидский рис, апельсины, лимоны и чай, а на юге Персии, у берегов Персидского залива, растут финиковые пальмы и другие субтропические растения.

Наиболее опытными шоферами и выносливыми являются арабы. Они в своей пустыне без компасов, без карты или каких-либо опознавательных знаков хорошо ориентируются днем по солнцу, а ночью — по звездам. Тогда между Багдадом и Дамаском на протяжении 700 километров никакой дороги не было, а машины шли развернутым фронтом, чтобы не глотать пыль, по довольно твердому, слежавшемуся песку пустыни, прямо на восток или на запад.

Как-то Захарову пришлось ехать в компании 25 машин из Багдада в Дамаск с шоферами-арабами. В то время летом под Багдадом для орошения была пущена вода из реки Тигр по арыкам (каналам), и по-

этому пришлось отклониться несколько в сторону от обычного пути. Солнце уже стало садиться, а первого оазиса Ромадья все нет и нет.

Наконец, по знаку старшего шофера, все машины стали съезжаться к нему. За время быстрой езды под аравийским солнцем Захаров устал и вылез из машины, разостлал на горячем песке пальто и лег отдохнуть. Перед ним сидели в кружок арабы-шоферы, поджав по-турецки под себя ноги, и весело разговаривали. В сознании засыпающего Карпуши запечатлелся красный диск заходящего солнца. Сколько он спал — не знает, только во сне почувствовал, что кто-то его трясет за плечо, стараясь разбудить.

Наконец, открыв глаза, Захаров увидел перед собой темную южную ночь, и на этом небе низко висели яркие, большие звезды. Перед ним стоял араб, тряся его одной рукой за плечо, а другой указывал на звезды. Захаров влез в свою машину, и все понеслись в неизвестном ему направлении, освещая фарами пустыню. Вскоре вдали приветливо замелькали огоньки нужного оазиса, куда не смогли приехать днем по солнцу, а попали ночью, по звездам.

Однажды в пустыне у одной из машин случилась задержка, и все машины подъехали к ней, ожидая ее исправления. Шофер-араб полез под свою машину и сказал своему помощнику дать ему «ачар инглиз», что в переводе значит — английский ключ. Через несколько минут шофер с руганью выбросил этот ключ и просит принести ему — «ачар москоб» (русский ключ). Захаров, услышав такое название, заинтересовался им, вылез из машины и подошел поближе, чтобы хорошенько увидеть ему неизвестный русский ключ, но очевидно существующий в природе.

Помощник шофера нес в одной руке самое обыкновенное зубило, а в другой молоток. После нескольких хороших ударов молотом по зубилу шофер привел в движение нужную ему гайку, исправил задержку и вылез довольный из-под машины. На вопрос Карпуши, почему они называют зубило и молоток русским ключом, шофер, улыбаясь, ему сказал, что они заметили, что русские шоферы часто ими пользуются и что это бывает успешно.

Во время войны французов с друзьями, небольшим, но очень воинственным и свободолюбивым арабским племенем в Сирии, когда после войны 1914—1918 годов Франция имела мандат на управление этим краем, пришлось Захарову как-то ехать из Багдада в Дамаск. Под Дамаском на всех дорогах стояли контрольные, вооруженные посты друзов, не пропуская ни одного европейца.

Захаров был единственный европеец среди ехавших арабов, и он не знал об этих строгостях. Его предупредили ехавшие с ним багдадские арабы об этом. Они замотали ему голову по-арабски арабским платком,

надели сверх его европейского костюма род широкого летнего пальто или накидки — «аба» из тонкой местной материи. Машины тихо проходили мимо вооруженных друзов, которые всматривались в лица проезжавших. Арабский костюм и аравийское солнце очень помогли Захарову благополучно выбраться из опасного места войны, благодаря заботам самих же о нем арабов. Вообще, на Среднем Востоке, будь то Аравия, Персия или Афганистан, где приходилось Захарову бывать с автомобилем, он заметил благоприятное отношение местного населения к русскому человеку.

Так проходило время у Захарова в его постоянных дальних поездках с почтой, пассажирами или грузом. Вернувшись как-то в Тегеран из своей очередной поездки, он узнал от знакомых и из газет, что в Париже похищен генерал А.П. Кутепов. Как был похищен генерал, он не мог знать, но кем, Карпуша догадывался, и он не ошибся, когда 16 лет спустя в Москве, на Лубянке, военный следователь, ехидно улыбаясь, спросил его: «А где теперь генерал Кутепов?»

В Персию стали поступать известия, что в России Сталин, силой оружия и ссылками в Сибирь, производит всеобщую коллективизацию, окончательно ликвидируя одиночное хозяйство. Все эти сведения были очень интересны, и надо было их проверить там, на местах, что и заставило Захарова снова побывать нелегально в России.

В это время была уже зима. В горах шел снег, а в долинах — дожди, и вода в реке Араксе сильно поднялась и бурно несла мутные волны. Переплывать теперь можно было только с лошадей, что и осуществил он при помощи верного проводника, взявшего его лошадь обратно.

Захаров вторично побывал у своих друзей, и повсюду были разговоры о принудительной коллективизации. По ночам он на станциях наблюдал толпы раскулаченных хозяев, отправляемых в лагерь. Желая узнать в большем масштабе в других местах, он поехал по железной дороге, через Сызранский мост за Волгу, дальше на Оренбург и дальше на Ташкент.

Везде жуткая картина раскулачивания, с ее дикостями. Прожив в Ташкенте некоторое время, Захаров решил закончить затянувшееся его путешествие и снова вернуться в Персию. Но теперь ему уже надо было брать другое направление — северо-восточный угол Персии, где сходятся границы России, Персии и Афганистана. Он взял билет на Ашхабад и, не доезжая его, слез с поезда и ночью, зимой, научившись у арабов вести свой путь по звездам, направился к пограничному хребту Карадах, отделяющему Россию от Персии.

Без проводника, без каких-либо опознавательных знаков в горах, зимой, трудно определить конец территории одного государства и начало другого. Он шел всю ночь по глубокому снегу, без дороги, ориен-

тируясь все время по звездам. Это путешествие его сильно утомило, хотя одет он был легко, но вместе с тем тепло. Когда уже рассвело, то он двигался уже тихо, из последних сил. Перед ним невдалеке появилась горная, полузанесенная снегом деревушка. Интересно было знать, какому государству она принадлежит?

Захаров стал наблюдать издали просыпавшуюся в ней жизнь и по некоторым признакам решил, что в ней живут персы и что он незаметно для себя снова попал на свободную землю, к свободным людям. И он не ошибся, когда услышал персидскую речь, а войдя в деревушку, увидел медный герб льва и солнца на шапке служащего.

Захаров знал, что персы эмигрантов не выдают. Когда советский летчик Карнаухов из Ашхабада на аэроплане перелетел в Персию в город Мешед, то, как ни старались Советы добиться его выдачи, им это не удалось. Им выдали только их аэроплан.

Город Мешед считается у персов священным. Здесь похоронен их имам (святой), Риза-Хоросан, здесь же и родина знаменитого персидского поэта Фирдуси, жившего 500 лет тому назад. Начальником Мешедского военного округа был в то время принц Ибрагим-мирза<sup>133</sup>, окончивший в Петербурге Пажецкий корпус и Русскую военную академию, а его помощником был русской службы полковник Шихлинский<sup>134</sup>.

Из Мешед Захаров прибыл в Тегеран, замкнув свое трудное круговое путешествие по России вторично. Он списался с генералом С.Г. Улагаетом и, получив визы, выехал во Францию.

В 1931 году прибыв во Францию, он привез неутешительные новости из России, а здесь узнал о похищении генерала А.П. Кутепова и смерти Великого князя Николая Николаевича. В постоянном общении с друзьями для него незаметно подошла Вторая мировая война.

Когда стали формироваться у генерала Власова и генерала Краснова из отступивших казаков из своих областей и из пленных советской молодежи войска, с лозунгом Русской освободительной армии от сталинской деспотии на русском трехцветном щите, Захаров вступил в ее ряды. В его памяти еще свежи были картины дикого произвола Сталина на его родине, когда он побывал там в 1925-м и в 1930 годах. Его сначала назначили в Ченстохов для устройства прибывающих русских, не желавших оставаться у Сталина, а позже его перевели в Краков для той же цели. Люди бежали от дикого режима, кто как мог. Кто на лошадях, в повозках, а кто поездом.

В двух километрах от Кракова был женский монастырь с пустыми новыми бараками, куда и направили вторую русскую эмиграцию с их семьями. Это не был лагерь, здесь не было проволоки или забора и

ни одного часового. Люди могли уходить когда и куда угодно. Среди новых эмигрантов нашлись молодые учителя и учительницы, которые быстро устроили для детей школу, разбив их на группы по возрасту и знаниям. Нашелся медицинский персонал, который устроил амбулаторию, получив оборудование из Кракова. Была устроена отличная, общая для всех, кухня, приготавливавшая простую, но вкусную пищу. Три священника, выехавшие со своими семьями из Перемышля, привезли с собой в вагоне церковные книги, церковную утварь и иконостас. Они устроили походную церковь, организовали из молодежи чудный церковный хор и стали совершать церковные службы и требы.

В конце лета, когда поспели монастырские хлеба, Захаров обратился к молодежи с просьбой помочь польским монашкам убрать их поля. Дружно, весело, по-русски, с песнями хлеба были быстро убраны. Но сталинский вал продолжал катиться на запад все дальше и дальше. И вот пришло распоряжение всем грузиться в большой состав поезда, идущего в Северную Италию, к подножию Альп, в древний город, еще времен Римской империи, в долине реки Таглиаменто, — город Толмецо.

Здесь было много свободных больших школ и домов, где и осел первый этап второй русской эмиграции. Постепенно волна бегущих от сталинского режима все увеличивалась и стали прибывать все новые поезда с новыми эмигрантами. Были заняты свободные помещения в Джемоне, Артенье, Нимис-Буи и других местах в направлении на Удино к Триесту. По этой дороге на Джемону когда-то проходили чудо-богатыри А.В. Суворова спасать Италию, а теперь из России бежали сюда спасаться сами русские.

Однажды Захарова встретил его друг детства, а теперь его начальник, полковник Терского казачьего войска М.И. Зимин<sup>135</sup>, атаман терцев и астраханцев, и попросил принять в его конную воинскую часть, в обоз, прибывших русских, с их семьями из астраханских степей с Волги, с их 27 верблюдами. Как известно, лошади бояться этих представителей степей и пустынь, и поэтому никто их брать к себе не хотел. Захаров переговорил со старшим этой группы беженцев Кравченко и зачислил как людей, так и их верблюдов на довольствие при своей конной части. Как обозная часть, эти 27 верблюдов очень успешно несли службу снабжения и транспорта в своих арбах с большими колесами, а также по горам выюком.

Так незаметно подошла весна 1945 года, а вместе с ней и Страстная неделя перед русской Пасхой. Люди приготовили уже все к встрече Светлого Праздника, как вдруг неожиданно было получено приказание в Страстную пятницу всем сниматься и идти к городу Толмецо, что у подножия Альп, и дальше, на альпийский перевал Monte di Croce



(Крестовая гора), на границе Италии и Австрии, в Австрийский Тироль, к городу Лиенц.

Поздно вечером, в Страстную пятницу, под сильным дождем, двинулись по указанному направлению, покидая гостеприимную долину реки Таглиаменто. В горах становилось все холоднее и холоднее, и мокрая одежда стала замерзать. Медленно по горам двигалась змеей колонна людей со своими лошадьми, повозками и в конце 27 верблюдами. В ночь со Страстной субботы на Светлое воскресенье подошли к перевалу Monte di Croce. Здесь в это время бушевала снежная метель, но после спуска в Австрийский Тироль, по другую сторону Альп, наступившая Пасха встретила всех тихим солнечным днем.

В лесу священники отслужили Светлую Заутреню, и все приготовленное к празднику еще в Италии очень пригодилось здесь, в Австрийском Тироле. Генералам П.Н. Краснову и Власову удалось освободить многие тысячи русской молодежи, попавшей в плен к немцам во время войны и томившейся в их лагерях. Никаких присяг или обязательств никто от них не требовал, это было их добровольное желание вступить в войска генерала Краснова для борьбы с интернациональным, коммунистическим правительством и деспотом Сталиным. Это, конечно, было очень не по душе Сталину и, наверно, еще кому-то, не хотевшему видеть сильную, национальную Россию.

Не долго пришлось подышать свободным воздухом вырвавшимся от Сталина. Никто не мог предвидеть надвигающейся трагедии Лиенца в английской зоне, куда попали войска генерала П.Н. Краснова. Английское командование, зная, что никто добровольно не поедет в лапы Сталину на расправу, прислало офицера с машинами без всякого конвоя, сообщив, что английский генерал просит офицеров прибыть на какое-то совещание на 1—2 часа.

Как можно было не поверить офицеру-«джентльмену»? Когда сели в машины и отъехали от Лиенца, где находилось несколько десятков тысяч людей, то дальше по дороге стали высаживаться английские солдаты с автоматами, а в интервалы между машин въехали английские танкетки. Всем стало ясно, что их взяли обманным путем. Едучи к Сталину на расправу, Захаров думал: почему Запад всегда считает себя высокогуманным, а казаков обязательно дикарями? Но у этих дикарей спокон веков было священное, нерушимое правило для всех к ним пришедшим: «С Дона выдачи нет!», чего здесь, к сожалению, на реке Драве, у «просвещенных мореплавателей» они не нашли.

Прошло 18 лет после лиенцкой трагедии, и даже мертвый Сталин стал невыносим в Москве, и пришлось его извлечь из мавзолея. И мало помогла эта выдача русских в угоду Сталину, и дорого обошлась им ска-

занная фраза Ллойд-Джорджа еще в начале русской революции 1917 года, что и с людоедами торговать можно. Те в прошлом съели их знаменитого мореплавателя Кука, а эти много хитрее и опытнее — съели их колонию, а перед самой Америкой за это время успел вырасти красный махровый цветочек — Куба. И нечего теперь удивляться тому, что коммунизм так шагает повсюду. Большевики, следуя еще вначале революции своему лозунгу: «Мы, на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем!» — раздули, пустив красного петуха гулять по всему миру.

К вечеру прибыли к каким-то баракам за колючей проволокой и с английскими часовыми. Ночью кто-то покончил с собой, повесившись, не желая идти к Сталину, а приятель Захарова, с которым он жил вместе в одной комнате, в бараке под Лиенцем, тоже русский эмигрант из Парижа, писатель Евгений Тарусский<sup>136</sup>, отравился ночью, наверно, хранившимся при нем ядом. Когда его вынесли из барака и положили на траву, Захаров, зная, что у Тарусского в Париже остались жена и сын, и желая сохранить для них что-либо на память от ушедшего близкого им человека, подошел к нему в последний раз и снял с его груди университетский значок.

В штабе генерала П.Н. Краснова был молодой талантливый советский лейтенант Николай Давиденков, один из лучших учеников знаменитого профессора Павлова. Он, будучи раненным, был взят немцами в плен, а поправившись, поступил в войска генерала П.Н. Краснова. Здесь он занимал должность начальника отдела пропаганды. Приезжал он в Париж и в Бельгию, в главные центры русской эмиграции, и выступал с антибольшевистскими лекциями. В Бельгии он женился на русской девушке, эмигрантке. Захаров часто бывал в штабе генерала П.Н. Краснова и их обоих хорошо знал. Давиденков тоже был выдан большевикам, и, уже когда Захаров был в сибирских лагерях, ему передавали, что лейтенант Давиденков погиб в одном из лагерей.

На другой день, снова под конвоем, повезли офицеров генерала П.Н. Краснова дальше. Прибыв в город Юденбург, англичане стали через мост по счету передавать привезенных офицеров представителям советской власти, стоявшим на другом берегу реки. Некоторым удалось перепрыгнуть через перила высокого моста и покончить в собой, упав внизу на камни.

Захаров вместе с другими офицерами попал в распоряжение советских войск. Молодые советские офицеры, указывая на погоны офицеров генерала Власова и генерала П.Н. Краснова, говорили друг другу: «Смотри; смотри, у них такие же русские погоны, как и наши!» Но не знала эта молодежь того, что 25 лет тому назад за эти русские погоны большевики расстреливали офицеров без суда на месте. Советскому интер-

национальному правительству надо искоренить все русское национальное начало, и оно теперь с остервенением старается уничтожить в душе человека его самое святое — веру.

К группе, в которой был в офицерской форме и Захаров, подошли советские офицеры и стали спокойно, без всякой к ним вражды, с ними разговаривать. Один из них, годами постарше, сказал: «Вы нас не бойтесь, мы для вас не опасны, нам нужно только догнать отступающих немцев, а вот бойтесь тех, кто идет сзади нас, их мы тоже не любим», явно намекая на представителей ГПУ. И точно, попав к ним в руки, картина сильно изменилась в худшую сторону, как в смысле питания, так и обращения. За это время Захаров успел где-то простудиться и к нему вернулась персидская желтая лихорадка. Его положили вместе с другими больными на солому, на пол какого-то старинного венгерского замка, покинутого хозяевами (Фельдбах).

Кругом был лагерь переданных большевикам войск власовцев и красновцев, и только в одном этом месте их было свыше 50 000 человек. По прошествии нескольких дней военный санитар сказал Захарову, что его кто-то хочет видеть и ждет его в коридоре. Каково же было его удивление и радость, когда он увидел своего вестового Королькова, из молодых советских солдат, который позже тоже был выдан вместе с другими.

Поздоровавшись с Корольковым, Захаров услышал от него: «Как вы, господин сотник, похудели и не бриты; я завтра приду со своим земляком, у него сохранилась еще бритва, и мы вас побреем и принесем сухарей. Я вас долго искал в этой суматохе и, наконец, нашел». Захаров поблагодарил Королькова за его заботу о нем и, простившись с ним, пошел в свою палату. На другое утро Корольков, как обещал, пришел со своим земляком, с бритвой и сухарями. Захаров знал, что офицеров отправят раньше, и, прощаясь с Корольковым, снял с руки часы, сказав: «Возьми, Корольков, себе на память, да хорошенько спрячь, может быть, у тебя их и не отберут».

Какое отрадное чувство принес с собой этот простой, душевный, русский человек. Жива еще душа России, и не всякому народу по плечу такое испытание, и восстанет вновь Россия, духовно обновленная. Вскоре после этого всех офицеров погрузили в товарные вагоны, с невероятным уплотнением, и через Румынию, Фокшаны огромный поезд, с установленными на крышах вагонов пулеметами и прожекторами, тронулся в Россию.

Это было уже третье путешествие на свою родину из-за границы Захарова, на этот раз уже совершенно легально, но не добровольно. Путь на Западный Урал был долгий и трудный. В пути, в жару, давали соленую сельдь и сухари и очень ограниченное количество воды. Горя-

чей пищи не полагалось. Люди в течение двух недель испытывали постоянную жажду, не имея возможности за все время ни разу умыться.

Наконец прибыли на Урал, в места, которые в добольшевистское время назывались «не столь отдаленные». Здесь Захарову пришлось прожить в лагере три года, а после уже его с другими политическими ссыльными отправили за «каменный пояс», как говорили во времена Иоанна Грозного, за Урал, в «места весьма отдаленные», в Приполярный край, к 60-й параллели, на каторгу, и на пять лет принудительной высылки в отроги Восточных Саян, в Сибирь, в Красноярский край.

Заключенные (слово «арестант» не употребляется) были направлены в лагерь со старыми деревянными бараками. В течение нескольких дней все обильно пили воду после многодневной жажды в пути, а так как за время езды в вагонах плохо питались и сильно ослабели, то от чрезмерного водопития люди стали пухнуть, начиная со ступней ног и выше, и когда опухоль доходила до сердца, то дело становилось явно безнадежным.

У Захарова опухоль стала уже подниматься выше колен, и лагерный врач втиснул его в переполненный лазарет. Питание здесь было лучше, и опухоль постепенно стала падать, но ступня все же осталась как колода. Черные, цинготные пятна на ногах остались ему на память о трудном времени его переживаний.

Так с лета и до зимы Захаров провозился со своей цингой, а в феврале, под конвоем двух вооруженных солдат, поездом, через Пермь, отправили его в Москву. Захарова в «черном вороне» (тюремный автомобиль) с вокзала доставили в главную цитадель ГПУ, на Лубянку.

Внизу из вестибюля повели его в специальное помещение, где у него отобрали, при обыске, его карманное маленькое Евангелие и стали тщательно проверять, и если находили нужным, то и распарывать швы его одежды. Дойдя до воротника его пальто, инспектор, ощупывая пальцами каждый шов, вдруг просиял, нащупав под воротником зашитый Захаровым университетский значок погибшего Евгения Тарусского.

Делом одной минуты было для опытных рук вынуть это вещественное доказательство, с крамольным золотым двуглавым орлом наверху. Все отображенные вещи были переданы военному следователю, а Захарова ввели снова в вестибюль, в стенах которого были устроены маленькие, одиночные камеры без окон, освещенные сверху сильным электрическим светом. Их заключенные называют каменными мешками. Ему приказали раздеться догола, и дверь, щелкнув замком, закрылась.

Оставшись в костюме Адама до грехопадения, но с крестиком на шее, Карпуша пребывал в полном одиночестве. Минут через двадцать послышалась возня за толстой железной дверью у замка, и вдруг она отворилась. Перед ним стояла в белом халате молодая женщина, дер-

жа медицинские аппараты в руке для определения здоровья. Быстрым движением руки она сорвала с Захарова его крестик и стала выслушивать его сердце. «Вот так свобода вероисповеданий, всюду рекламируемая, — подумал Захаров, — отобрав Евангелие, отобрали и даже нателный крестик, да еще в самом главном центре — в Москве».

После медицинского осмотра повели его по бесконечным коридорам и лестницам, устланным специально бесшумными коврами. Наконец Захарова ввели в камеру, где было уже человек пять заключенных. Сделав общий поклон, он занял свободную указанную ему железную койку с довольно грязным матрасом и другими постельными принадлежностями. Все пять ранее заключенные стали молча, но внимательно его рассматривать, а когда надзиратель вышел и замкнул за собой дверь, стали подходить и узнавать, откуда взят Захаров, давно ли он с воли и какие слышно новости.

Это были все обычные вопросы заключенных, но, как правило тюремной этики, никто никогда не спросил его, за что он посажен. Ему запомнились особенно двое из этих заключенных. Один, высокий, сильно исхудавший человек, лет шестьдесят. Он первый подошел к Захарову и рассказал ему свою историю. Попал он сюда после взятия Берлина советскими войсками, будучи русским эмигрантом с 1920 года.

В старой русской армии он был командиром батареи и любил конный спорт. Его фамилия — капитан Купчинский<sup>137</sup>. В Берлине ему удалось открыть свой книжный магазин под названием «Русское национальное книгоиздательство». Когда Берлин был взят советскими войсками, то в его квартире жили советские офицеры, не обращая на него внимания, а вот когда несколько позже появились представители ГПУ, то его сразу посадили на аэроплан и отправили в Москву, на Лубянку. Здесь ему сказали: «Ну много же ты нам испортил кровушки, сознавайся лучше во всем сам». Капитан Купчинский понятия не имел, чем это он мог им испортить их кровушку и в чем ему надо было сознаваться. Все его доводы военный следователь с грубой руганью отвергал. Тогда он, не выдержав, сказал ему: «Если вы не прекратите ругань, я ни на какие вопросы отвечать не буду».

Следователь подскочил к нему и сказал: «У тебя там, в Берлине, было «Русское национальное книгоиздательство», а здесь ты слышишь русское национальное ругательство, что, не нравится?» Бедного Купчинского после этого отправили в военный замок в Лефортово, в одиночную камеру со строгим режимом и уменьшенным и без того малым пайком. После сидения там, в течение всей зимы, у него на голове выпали почти все волосы и он мог ходить, только держась руками за стену. Но после всего им перенесенного вдруг отношение к нему его следователя изменилось к<sup>1</sup>

лучшему. Оказывается, что они действительно искали офицера Купчинского, но моряка<sup>138</sup>, который в это время благополучно жил и здравствовал в Швеции, а вместо него мучили и давили по ошибке артиллериста Купчинского.

Другим интересным сокамерником был советский хирург, Александр Александрович Королев. Как он рассказывал, отец его еще до революции был старшим дворником в Москве, в большом доме. Семья их была большая, но пироги все же всегда ели по праздникам. Александр Александрович окончил в Москве гимназию и медицинский факультет в университете. Во время Второй мировой войны он был уже видным хирургом большого военного госпиталя в Москве. Когда немцы близко подошли к Москве, то высший персонал госпиталя уехал в Самару, а хирург Королев остался с тяжелоранеными и низшим персоналом. Когда же немцев от Москвы отогнали, то явились из Самары уехавшие сослуживцы и обвинили его, Королева, в том, что он якобы умышленно остался в Москве, чтобы сдать немцам.

Своему военному следователю он энергично и смело опровергал эту ложь, но все же бежавшие в Самару от опасности и вернувшиеся, когда она миновала, получили военные медали, а хирург Королев — пять лет заключения в исправительных лагерях. Если в главном центре, в Москве, таково судопроизводство, то ничего удивительного в том, что далеко от Москвы, в Приполярном крае, в лагере, Захарову пришлось услышать на заявление одного из заключенных начальнику, что это не по закону, его ответ: «Что! Не по закону! Закон здесь тайга, а прокурор медведь, иди жалуйся!»

Уже к концу сидения в этом узнице, на Лубянке, в Москве, Захарова перевели в маленькую камеру. Войдя в нее, он увидел перед собой пожилого человека восточного типа. Когда они ближе познакомились, то он узнал, что его новый знакомый, по фамилии Адамян, был управляющим нефтяными приисками Гукасова в Румынии и что ему удалось вовремя жену и двух его девочек отправить в Париж, а сам он остался по делам в Румынии. С прибывшими военными советскими у него отношения были нормальными. Они его просили помочь менять их деньги на румынские, что он охотно им и делал, а вот появившиеся люди из ГПУ забрали его в Москву, на Лубянку так быстро, что ему случайно удалось захватить только детское небольшое одеяльце. Как-то трогательно и вместе с тем забавно было видеть в этих стенах у большого человека в руках это маленькое розовое детское одеяльце, которое он с такой любовью показывал ему.

Захарову труднее всего было ночью, после вечерней поверки, когда можно было ложиться спать и когда, казалось бы, можно было отдохнуть

во сне, хотя бы на короткое время от печальной действительности. Но не тут-то было, здесь заключенный и ночью должен страдать. Наверху камеры, высоко под потолком, висит электрическая лампочка большой светосилы, и все находящиеся в камере в обязательном порядке должны лежать лицом к этой лампе, не смея ничем прикрыть головы от сильного света.

Эта была попытка электрическим светом, и если кто-либо ее не выдерживал и ложился отвернувшись от неумолимой лампы, то немедленно раздавался стук ключами в дверь и через волчок (отверстие в двери) надзиратель требовал, чтобы нарушитель их правила повернулся снова лицом к свету. Но под конец ночи усталость все же побеждала электричество и человек засыпал ненадолго тревожным сном.

Часто следователи устраивали умышленно ночные допросы, иногда на всю ночь, сами себя сменяя друг другом, и измученного заключенного отпускали под утро, когда ложиться спать или лежать строжайше было воспрещено. Если заключенный не давал тех сведений, какие хотел следователь, то заключенного сажали в холодный карцер, где дул постоянно холодный поток воздуха, и давали ему уменьшенный штрафной паек. Все эти меры воздействия Захаров испытал на себе.

Как-то ночью на допросе военный следователь, ехидно улыбаясь, спросил его: «А где находится теперь генерал Кутепов?» — и, не получив ответа, сказал: «Ну, рассказывай, где ты там жил?» Захаров назвал ему государств двенадцать, в которых за время эмиграции он жил. Следователь долго смотрел на него и наконец соизволил изречь: «Ну, знаешь, твоя брехня ни в какие ворота не лезет, что ты так и мог свободно разъезжать по всем там заграничам». На это Захаров ответил ему спокойно, что он никого не ограбил и не убил и что ему давали свободно визы так же, как и всем другим. Наконец следствие было закончено, и Захарова перевели с Лубянки в Бутырскую тюрьму, где он пробыл недели две-три.

Когда заключенных выводили во внутренний двор на прогулку, то выше стен двора была видна крутая башня, в которой сидел, как здесь говорили, Пугачев. Из Бутырок возили Захарова на суд в военный трибунал, где его осудили на 10 лет каторги и вскоре после этого перевели в пересыльную тюрьму, на Пресню, ожидать очередной этап.

Трудно представить, чтобы в Москве, в столице, была такая ужасная тюрьма — трущоба. Камеры со сплошными двойными нарами набиты людьми сверх всякой меры. Мест не хватало не только лежать или сидеть, но и стоять друг возле друга. Считалось за большое счастье захватить место на цементном полу, под нарами. Маленькое сверху окошечко с решеткой было все время открыто, но воздуху людям было совершенно недостаточно. Все были голы или полуголы, и со всех струился пот по разгоряченному телу.

Люди с открытыми ртами часто дышали, как рыбы, выброшенные из воды. Если воздуха было мало, то зато клопов было такое изобилие, что на стенах, давя их пальцами, писал кто что хотел, вместо красных чернил, изощряясь от скуки в тюремной литературе. Этот кошмар длился недели три, пока собрали этап опять на Урал, и, наконец, отправили, кормя в пути неизменной соленой селедкой и минимумом питьевой воды, почему все испытывали постоянно страшную жажду.

Наконец этап прибыл на Урал в большой лагерь с 5000 человек, из которых только 700 человек было политических, а остальные — бытовики (уголовные). Первая, меньшая группа — политическая, считалась социально опасной, и к ней применялись особо строгие меры и наказания, а вторая — большая, уголовная, считалась социально обиженными, и для них были всякие поблажки и послабления.

Баракы были старые, деревянные, с прогнившими полами и двухэтажными нарами. Общее впечатление было безотрадное. Захаров сидел возле своего барака, и, наверно, вид у него был далеко не радостный, так как, ощутив на своем плече сильную чью-то руку, он услышал следующее к нему обращение: «Ты что это, батя, пригорюнился?» Захаров повернул голову к говорившему и увидел большого, средних лет, улыбающегося человека и ему ответил: «Да чему же радоваться, посмотри вокруг, что делается». — «Эх, батя, не тужи, это только первые десять лет трудно, а потом привыкнешь. Вот я уже вторую десятилетку отсиживаю, 19-й год, и видишь, ничего».

Такое утешение мало улучшило его настроение. Как можно физически прожить столько лет в этих условиях и сохранить еще в себе чувство юмора? В своем политическом бараке Захаров познакомился с заключенным Воиновым, местным жителем из города Соликамска, отстоящего от этого Боровского лагеря в двух километрах, на более высоком месте и видного через высокий забор лагеря.

На просьбу Захарова рассказать ему о городе Соликамске вот что он услышал о нем от заключенного Воинова: «Само название этого города, Соликамск, указывает на то, что он лежит на берегу большой, многоводной реки Камы и что в нем люди добывают соль. При царе Иоанне Грозном городок был маленький, обнесенный кругом рвом и тыном. Жители добывали соль, а во время набегов диких племен отсиживались в этом городке. Гарнизон Соликамска в то время был очень мал и мог вести войну только оборонительную. Если осада затягивалась и съестные припасы подходили к концу, то жители, тайным подземным ходом из города ночью уходили к Каме, где были заранее ими спрятаны затопленные лодки, садились в них и по реке спускались к более населенным местам, пока дикие держали осаду. Такое положение очень мешало добывать соль, и



поэтому воевода написал царю письмо, прося его увеличить гарнизон. Царь Иоанн Грозный прислал городку Соликамску образ Иоанна Воина и грамоту, в которой он пишет: «Сейчас прислать ратных людей не могу, т. к. сам веду войну с Казанью (1552), и они мне нужны самому, а вот посылаю я вам икону Иоанна Воина, ему вы усердно молитесь, и он вам поможет». Так жили, молились и отбивались от неприятеля на далекой окраине тогдашней России. Эта икона и грамота царя Иоанна Грозного находятся в одной из церквей Соликамска, обращенной в музей, а другая церковь обращена в какой-то склад.

Наступили скучные, однообразные дни. Каждое утро из ворот лагеря, под конвоем, отправляли несколько сот заключенных на работу на берег реки Камы в Бумкомбинат. Это был огромный завод производства разных сортов бумаги из древесины. Несмотря на то что в Москве на Лубянке Захаров был признан инвалидом, здешняя власть на местах все же заставляла его ходить на работу.

Ему дали длинный багор, и он, вместе с другими, должен был багрить, зацепив багром огромную лесину за комель (толстый конец), и вытаскивать ее из воды на берег. Толкать и тянуть огромные стволы деревьев в воде у него хватало сил, а вытащить из воды на берег, где нужна была сила и шноровка, — этого-то у него не было, почему его скоро забраковали, оставив в лагере.

На Каме хотя и было трудно физически, но человек оживал, видел большую рыбную реку, по которой плыли пароходы и буксиры с плотами и с вольными людьми, и на этом огромном пространстве не видно было начальства и конвоя, стоящих далеко кругом в оцеплении. В зоне же лагеря при наличии более четырех тысяч собранных вместе разных уголовных, шла постоянно картежная игра, пьянство и поножовщина. Играли, ставя на кон как свои, так и казенные вещи, а также на интересные вещи вновь прибывшего заключенного и ничего об этом еще не знавшего, что его хорошие сапоги кто-то уже выиграл, а кто-то их проиграл и проигравший обязан их представить выигравшему.

Закон у них не писан, но исполняется ими между собой всеми строго. Обычно у каждого матерого вора или бандита есть свое окружение из заключенных ребят в возрасте от 12 лет, посаженных в большинстве случаев за расхищение социалистического имущества, как они объясняли Захарову, — с голодухи. Вот им-то и поручается для их практики проигравшим достать эти вновь прибывшие сапоги. Эти дети, в этих так называемых «исправительных лагерях», за время своего в них пребывания усваивали все приемы и опыт старых воров и бандитов и, выходя из лагеря на свободу, были уже более опытными и более развращенными, чем до лагеря. Они тоже играют в карты и, проиграв все вещи, проигрывают

и свой скудный хлебный паек за месяц вперед. Натянув на свое голодное, голое тело простыню или кусок какой-либо тряпки, вечно голодные, шныряют по лагерю в поисках чего-либо съедобного или какой-либо вещи, так как в лагере даже самая ничтожная вещь имела какую-то свою рыночную цену. Их в лагере называли «индией», и когда они где-либо появлялись, то заключенные старались предупредить друг друга о том, что идет «индия», и все старались держать свои вещи поближе к себе.

В столовой бригадир, получив нарезанный порциями хлеб для своей бригады, нес обычно на деревянном подносе, конвоируемый с обеих сторон своими людьми, иначе один из голодающих детей подбегал к подносу, ударял сильно кулаком снизу, и у незадачливого бригадира весь хлеб разлетался фонтаном во все стороны, быстро подбираемый все той же вечно голодной «индией». В один миг, как воробьи, схватив хлеб, разбегались голодные дети в разные стороны, утолив случайно свой вечный голод, а бригада людей оставалась без хлеба, хлебная жидкий суп, называемый по-лагерному «баладой», крича: «Суп «Байкал»!», указывая этим на его прозрачность, хотя на доске меню-раскладки было написано: суп гороховый.

Захаров подсчитал, что в миску наливали порцию в 23 столовые ложки, не больше, и никакой добавки даже этого прозрачного «Байкала» никто не мог получить. На второе блюдо давалась жидкая каша, пшенная, ячневая или овсяная, весом около 200 граммов, и считалось, что она заправлена растительным маслом. Как-то Захаров услышал возмущенный возглас молодого, здорового заключенного, пришедшего с работы, обращенный к надзирателю: «Да я дома своей кошке давал больше, чем вы здесь даете человеку!»

Одно время, чуть ли не всю зиму, каша сильно отдавала запахом керосина. Заключенные морщились, ругались, но поедали ее без остатка. Как потом узнали, масло ошибочно попало в железные бочки из-под керосина и на вольном рынке никак не шло, поэтому и прислали его в лагерь заключенным, куда вообще шли все продукты, не могущие уже быть проданными в социалистических магазинах. Другой раз ели пищу целую неделю без соли, съев все запасы лагерной соли, пока удалось привезти из Соликамска, где спокон веков добывается соль и отстоящего всего в двух километрах от лагеря. Когда же заключенные говорили обо всем начальству, то оно им отвечало: «А что же вы думали, приехали сюда на курорт!» Точно только на курортах у них положено есть пищу без керосина, но с солью.

Тяжелое впечатление производили в лагере заключенные без руки, или ноги или без обеих ног выше колен, передвигающиеся сидя в деревянном ящике с маленькими колесами, упираясь руками о землю. Эти и без того

уже несчастные люди, очевидно, были все же опасны советской власти, сохранив свой язык, одно из самых сильных оружий против нее.

Некоторые из заключенных носили на шее крестики, сделанные ими самими из алюминиевых столовых ложек. У Захарова тоже был такой крестик вместо сорванного и отобранного у него на Лубянке, в Москве. У многих уголовных руки и грудь были разукрашены татуировкой в виде разных изображений и изречений, а некоторые из них имели во всю грудь очень искусно и художественно сделанные большие кресты с сиянием.

В своем бараке Захаров познакомился со стариком, которого все называли отцом Василием. До революции он был машинистом скорых поездов Москва—Курск и получал, как он говорил, основное жалованье 110 руб. в месяц, да еще разные прибавки за экономию топлива, за исправность машины, поверстные, и бывали месяцы, когда он зарабатывал до 150 р. в месяц, тогда как младший офицер в армии в то время получал всего 70 рублей. Этот старый машинист сумел дать детям образование, была у него своя библиотека хорошая, а пришла революция — все у него отобрали, объявив, что он буржуй, и самого посадили в лагерь исправляться. Другой знакомый Карпуши, тоже советский заключенный по статье 58 политической, москвич, советский летчик, капитан Орешин Иван Феофанович. Во время Второй мировой войны он, летая в Румынии, над немцами, был подбит, и аппарат его упал в нейтральную зону, между немцами и советскими войсками. Падая, капитан Орешин повредил себе руку. Немцы раньше сумели его подобрать к себе. А когда после войны его репатриировали, то его обвинили в том, что он якобы умышленно упал, чтобы сдаться немцам.

Одно время бригадиром Захарова был Анатолий Ильич Фастенко, который, узнав, что Карпуша русский эмигрант из Франции, рассказал ему всю свою историю. В молодости, до революции он со своими друзьями не хотел отбывать воинскую повинность. Его несколько раз вызывал к себе жандармский офицер и в вежливой форме старался убедить его изменить решение, но он не соглашался. Тогда ему и его приятелям сказали, что их по закону, вместо воинской повинности, должны выслать в Сибирь. Они были молоды, родителей имели состоятельных и согласились ехать этапом в Сибирь. Живя на высылке в деревушке, у какой-то старушки, он часто слышал из своей комнаты голос проходившего по улице урядника, спрашивающего его хозяйку: «Ивановна, а что твой, дома?» На что та ему со двора отвечала: «Наверно, дома, а куда ему деваться». Вскоре Фастенко и его друзьям такое патриархальное житие в Сибири надоело, и они решили бежать домой, имея деньги, а оттуда уже за границу. С обратными ямщиками, привозившими почту, им удалось сговориться, и те, за известную сумму, передавая их друг другу, вывели к железной до-

роге. В конце концов, они попали во Францию, где Фастенко поступил в телефонное общество, изучил французский язык и хорошо зарабатывал и жил. Его друзья уехали дальше, в Америку. Впоследствии и он переехал к ним и работал электромонтером, изучив здесь английский язык. Когда в России произошла революция и у власти был Керенский, он написал своим родителям, и те ему сообщили, чтобы он теперь ехал домой, т. к. многие из-за границы уже вернулись. Анатолий Ильич, имея хорошие деньги, накупил костюмы, разных вещей и подарков и поплыл в Одессу. Но во время его морского плавания к власти успели прийти большевики, и когда он приплыл в Одессу, то все его вещи и деньги у него отобрали, как буржуазные излишки, и ему кое-как удалось добраться к своим. Впоследствии и его направили в этот же лагерь.

При этом лагере была рабочая зона со столярными мастерскими. Как-то начальство стало вызывать из заключенных желающих и умеющих владеть столярным инструментом. Захаров когда был в средней школе, то в свободное время ходил в хорошо оборудованную, при школе, столярку и там, под руководством опытных столяров, постиг это ремесло в достаточной степени. Он тоже записался в столярку, где они из березовых чурок делали бельевые прищепки, получая за это небольшую плату. Уходя с утра в эту рабочую зону на целый день, куда им приносили их незатейливый обед, Захаров, работая, отдыхал здесь от лагерного беспросветного унылого бытия. Но эта физически не тяжелая работа давала ему не только душевный отдых, но и небольшой заработок для улучшения своего скудного питания. За неимением другой возможности, приходилось пользоваться услугами уголовных, работавших в самых интересных местах лагеря, как на продуктовом и вещевом складах, а также и на кухне.

Так прошли три года его пребывания в этом лагере, где зимы были терпимы, не ниже  $-35^{\circ}$ . И вот однажды стали готовить большой этап из политических заключенных, куда-то далеко. Все здесь засекречено, и никто не мог толком узнать, куда идет этот этап. Чаще всего называли город Ташкент, как потом оказалось, по созвучию.

Захаров тоже попал в этот этап. Снова подали товарные вагоны в конце зимы, и снова началась жизнь на колесах. Зная, что в Ташкенте климат теплый, не уральский, этапники с затаенной радостью ожидали эту перемену, но в вагонах от этого теплей не делалось, а становилось все холодней и холодней. Наконец, политический этап выгрузили на большой, узловый станции Тайшет, а не в Ташкенте, как ожидали.

Эта станция Тайшет находится на магистрали Сибирской железной дороги, в Восточной Сибири. Здесь, неожиданно для себя, заключенные увидели нескольких японских солдат. Это были остатки от репатриированной в 1949 году японской Квантунской армии, взятой в плен во

время Второй мировой войны. Они строили от станции Тайшет на северо-восток, через тайгу и дальше, на Колыму, где добывают золото, железную дорогу к реке Лене.

Попав в оставленные японцами лагеря, прибывшие русские им на смену увидели много японских, непонятных надписей и брошенные предметы японского обихода, а также неподалеку от лагеря, на склоне горы, обширное японское кладбище, что не улучшило настроения вновь прибывших. Здесь, в местах уже «весьма отдаленных», в Приполярном крае, Захарову пришлось пробыть семь лет. Зимы здесь много суровее, чем на Урале, доходя до  $-50^{\circ}$  и  $-56^{\circ}$ . Но слабым утешением было то, что в Сибири есть еще более холодное место — это Верхоянск, где зимой бывает  $-62^{\circ}$  и куда они, к счастью, не попали.

При вступлении в этот лагерь заставили всех прибывших заключенных раздеться догола, здесь же на дворе, хотя местами еще лежал снег, и старший надзиратель объявил: «Так как вы все «контрики» (контрреволюционеры), осужденные в каторжные, строгие лагеря, то никакого вам режущего и колющего вещества не полагается, и поэтому будет производиться строгий «шмон» (обыск)».

Пока надзиратели тщательно проверяли все вещи раздетых заключенных, под открытым небом, «контрики» сильно промерзли и дрожали. Режим в этих лагерях, где были одни политические, был тоже много строже, но приполярный паек, ввиду холода, был немного увеличен и хлеба давали на 100 граммов в сутки больше. В этом лагере на 1200 человек была главным образом молодежь, по-лагерному называемая «работяги». Они ходили под усиленным конвоем на лесоповал (рубка леса), а прибывшие с ними старые, слабые и инвалиды, как Захаров, занимали разные должности внутри лагеря — кто дневальным в бараке, кто на кухне, кто парикмахер, доктор, санитары, бухгалтеры, писаря в конторе лагеря и пр., все они официально назывались хозобслужбой, а по-лагерному просто — «придурками».

Среди прибывшей молодежи были власовцы и красновцы. Они рассказывали, что военные следователи с ними были особо строги, крича: «Как вы, рожденные при советской власти, могли пойти против советского строя!» И им вместо обычных 10 лет каторжных работ давали 25 лет. Захарова, как инвалида, назначили в этом лагере заведовать центральным водораспределением на водокачке, находящейся в центре лагеря, где он должен был постоянно быть, и даже ночью, имея за большой печью для себя одиночную нару. Захаров познакомился с привезенными из Харбина бывшими офицерами армии Колчака. Часто к нему заходил на водокачку полковник Олег Иванович Исаев<sup>139</sup>. В прошлом у его родителей было имение в Уфимской губернии. Он, будучи молодым офицером, слу-

жил в Нижегородском драгунском полку, в корпусе генерала Н.Н. Баратова в Персии.

Одно время был он в Шанхае и был женат на сестре доктора Казем-Бека, умершего в Харбине. Одна из его дочерей вышла замуж за сына адмирала Хорвата, Димитрия. Олега Ивановича забрали из Порт-Артура, где он жил в сторожке при русском большом кладбище. Когда он освободился раньше Захарова, то писал ему на его высылку после лагеря. Еще в лагере у Исаева была большая седая борода, а после лагеря он принял пострижение и теперь стал иеромонахом, отцом Андреем.

Приходил также к Захарову отдохнуть от барачного шума оставленный в лагере японский генерал Танака, всегда улыбающийся, тихий, спокойный и со всеми приветливый. Был также здесь и молодой японский военнопленный, которого почему-то в лагере все именовали Аркашкой, на что тот охотно всегда откликался, научившись хорошо говорить по-русски.

Вообще у Захарова в лагере среди заключенных было много знакомых, приходивших к нему отдохнуть и поговорить на запрещенные темы. В лагере был старик чеченец, с седой бородой, с Кавказа, по имени Али Эльсанов. Он, приходя к Захарову, здесь, в тиши, на водокачке, в углу расстилал свой арестантский бушлат и совершал свой намаз (молитвы).

В одно из обычных его посещений после намаза Захаров спросил, за что его, такого старого, забрали сюда. Али достал из-за пазухи аккуратно связанную пачку бумаг и, найдя в ней что ему было нужно, передал бумагу Захарову со словами: «На, читай!» Карпуша развернул эту бумагу и прочитал в ней следующее. Вверху было написано — «копия», слева, сбоку, отпечатано на машинке: «Постановление народного суда в Гудермесе»; дальше шло самое постановление: «Али-Эльсанов, чеченец такого-то аула, осужден народным судом в Гудермесе на 25 лет каторжных лагерей за то, что он молил Бога избавить его от советской власти». Дальше, как обычно, шли внизу подписи секретаря и председателя, дата и печать.

Прочитав эту бумагу, трудно было поверить, как это могло быть, что безбожная советская власть могла наказать 75-летнего старика за его молитвы на 25 лет каторгой, почему Захаров и спросил его, как это могло случиться. Эльсанов ему объяснил, что когда он молился, то молодой чеченец-комсомолец подслушал и на него донес. Советская власть, считающая себя сильной, хотя и безбожная, а все-таки побаивается за свое существование. «А вдруг Аллах услышит молитву Эльсанова и избавит его и других от их власти?»

Однажды председатель поверочной комиссии, проходя мимо Эльсанова и увидя перед собой глубокого старика, спросил его: «А тебе, ста-

рик, сколько лет?», на что Али ему ответил: «Мне сто лет!» Начальник удивленно вытаращил на него глаза. Тогда Али ему объяснил: «Сейчас я имею уже 75 лет, да советская власть мне подарила 25 лет, а всего выходит — сто лет». Начальство, не сказав ни слова, круто повернувшись, вышло из барака.

Заходили к Захарову сосланные старые священники и старый иеромонах, отец Сергей, и, приняв соответствующие меры осторожности, вполголоса совершали свои молитвы. Среди них был священник отец Михаил из Житомира, который при немцах, по настоянию огромного количества верующих прихожан, должен был открыть шесть церквей, за что и был сослан в Сибирь, а церкви без священников закрыли, когда в Житомире снова утвердилась советская власть. Но вера из разрушенных и закрытых храмов ушла глубоко в сердца верующих, а советской власти достались одни храмы и развалины.

Между надзирателями был один особенно злостный безбожник. Как-то он зашел на водокачку и спросил Захарова: «Ты скажи, когда в этом году Пасха?» Вопрос был такой неожиданный, да еще от такого заведомого безбожника, что Захаров, невольно смеясь, сказал ему: «Да тебе-то зачем это знать, ведь ты же не веруешь?», на что тот ему ответил: «Да это не для меня, моя баба не дает мне проходу и покоя, и все пристает, — пойди да пойди к заключенным и узнай у них, когда будет Пасха». Захаров, зная от ссыльных священников, охотно сообщил ему эту дату.

Некоторым заключенным разрешалось писать письмо домой, одно в полгода, не чаще, и через них удавалось получать в письмах и посылках семена цветов — ромашки, настурции, васильки, анютины глазки. Будучи любителем цветов, Захаров перед водокачкой поделал клумбы и насадил цветы. Это отвлекало и хотя немного скрашивало, на короткое время, скучную лагерную жизнь.

В этом же лагере был заключенный, тоже русский эмигрант, Анатолий Павлович Половинкин, из Ниццы. Его отца и мать большевики расстреляли на Урале. Анатолий Павлович часто заходил к Захарову и жаловался на свое слабое сердце. Он попал сюда, как и другие, из войск генерала Краснова. Завезли в этот лагерь из Харбина и китайца У Де Фу, как буржуя, владельца домов. Он с исключительной любовью и усердием обрабатывал возле водокачки землю и выращивал в этих трудных условиях овощи. Попал также из Харбина тихий, застенчивый Александр Александрович Туманов, с которым Захаров пилил дрова. Здесь же был и русский эмигрант, Яков Ильич Аващ<sup>140</sup> из Парижа, попавший тоже сюда после выдачи красновцев в Лиенце. Он вел отчетность в санитарной части и составлял лагерное несложное меню.

Утром, после завтрака, у ворот лагеря выстраивались на развод на работу, бригады заключенных. Лагерное начальство передавало их по счету конвою, для отвода на место работы. Выведа заключенных за ворота лагеря и пересчитав несколько раз, старший конвоир, обычно сержант, расписывался в книге в получении заключенных. Потом он подавал команду: «Заключенные, внимание!» (вместо прежнего: смирно), после чего продолжал: «Заключенные переходят в распоряжение конвоя, в пути не отставать, не разговаривать, не растягиваться, равняться в своей пятерке. Шаг вправо, шаг влево конвой считает за побег и применяет оружие без предупреждения! Понятно?»

«Понятно, понятно, каждый день одно и то же, веди, что ли!» — раздавались возгласы заключенных из колонны. После чего снова подавалась команда: «Колонна, шагом марш!» Впереди колонны шли два или три конвоира-автоматчика, столько же справа и слева. Это были головной и боковые дозоры, а сзади шли главные силы конвоя.

Некоторые из конвоя держали огромных, злых полицейских собак на цепочках, на случай побега. С такими мерами охранения приходили к месту работы, где начальник конвоя отмечал флажками запретную линию и, расставив по местам часовых, распускал заключенных на работу.

У Захарова часто невольно напрашивалось сравнение после объявления начальником конвоя, что «конвой применяет оружие без предупреждения», с требованием старого устава добольшевистского времени, где говорилось, что в случае побега арестованного конвоир мог применять оружие только после трехкратного окрика «стой!». Но то было буржуазное время и буржуазные предрассудки, не то что теперешнее, со всеми его достижениями и когда жизнь человека настолько обезличена и обезценена, что убить его может любой конвоир по закону без предупреждения и что на практике так и бывало.

Был в лагере из Харбина русский эмигрант Тепляков, и был он расстрелян конвоем лейтенанта Морозова за якобы попытку к побегу. Стрелявший из автомата и убивший его солдат получил отпуск и награды за свою ревностную службу. Если убитый падал не за черту запретной линии, отмеченной воткнутыми в землю флажками, то стрелявший командовал всем здесь присутствующим заключенным: «Ложись!», и все должны были ложиться лицом вниз, а стрелявший в это время перетаскивал убитого за запретную черту.

При таких условиях и погиб Тепляков. На выстрел прибежал караульный начальник и вместе со стрелявшим наспех составляли акт о побеге. Привозили убитых таким образом и других заключенных в лагерь с работы. Однажды приехавший контролер в лагерь спросил заключенных: «Что, вас здесь не бьют?», на что стоявший здесь же заключенный, тоже



привезенный из Харбина, Виктор Гайдук, ему сказал: «Нет, нас здесь не бьют, а просто расстреливают».

Начальство больше после такого ответа подобных вопросов уже не задавало. После смерти Сталина лагерное начальство и конвой сократили свой произвол. Однажды ранним утром, когда все бараки с зарешеченными окнами, где помещаются заключенные на ночь были еще замкнуты железными болтами и огромными замками, надзиратель, «злостный безбожник», запустил в лагерную зону лошадей пастись. Между бараками были старые глубокие ямы. Боясь, что лошади могут покалечиться, и увидав Захарова у его водокачки, он крикнул ему: «Захаров, смотри за лошадьми!», на что тот ему ответил: «У меня есть свои обязанности на водокачке, я пастись лошадей не буду. Начальник лагеря назначил пастуха для этого». Надзиратель рассвирепел, подбежал к Захарову, угрожающе сжав кулаки, и прохрипел ему в лицо: «Что, почуяли свободу!», но, не тронув его, пошел искать пастуха.

Зимой обычно в день отдыха весь лагерь заключенных, под охраной конвоя, выходил в лес по дрова. Это была натуральная повинность, и никто от нее не освобождался, т. к. тепло было необходимо всем при морозах  $-50^{\circ}$  и даже  $-56^{\circ}$ . Впереди шли молодые, здоровые, пробивая дорогу в глубоком снегу, а за ними шли слабые и инвалиды. Такое путешествие напоминало способ кормления туземцами зимой своих животных, когда сначала шли лошади, разгребая копытами снег, чтобы найти себе корм, за ними шел рогатый скот и последними шли овцы. Такой первобытный способ кормления животных называется «тебеневкой».

Придя на место, где заранее были уже срублены и очищены от ветвей лесины, и взвалив себе на плечи, выбрав каждые несколько человек по своей силе срубленное дерево, шли по проторенной уже тропинке в том же порядке. Колонна сильно растягивалась из-за отстающих слабых, и то и дело слышалось понукание конвойных: «Не отставать! Не растягиваться!» Наконец раздавалась не уставная, но для всех очень понятная и приятная команда начальника конвоя: «Перекур с дремотой! Колонна стой!» Люди сбрасывали со своих плеч тяжелую ношу, садились на нее и, кто имел махорку, крутил из газеты козью ножку (род папиросы), а другие быстро разводили небольшие костры и предавались от усталости и слабости дремоте.

Конвой курил тоже, но не дремал. В это время все старались быть обычными людьми без разделения на конвой и заключенных. Можно было наблюдать, как конвойный с автоматом давал прикурить заключенному от своей папиросы, и слышать их разговор в шутливой форме. Неуставной «перекур с дремотой» на это время был сильнее строгого устава;

все это чувствовали и старались не переходить чувства меры в своих отношениях, оберегая этот здесь редкий и короткий случай человеческого бытия. Но вот проходило время блаженного «перекура с дремотой», раздавалась команда: «Бросай курить, туши костры!», и люди снова становились одни — конвоем, а другие — заключенными. Заключенные взваливали на свои плечи бревна и старались поскорее прийти в лагерь и отдохнуть, а конвой шел по сторонам колонны, уже по уставу.

Часто заходил в лагерь начальник лагеря со своей восьмилетней дочкой Валец, ласковым ребенком. Ее знал весь лагерь. Когда они заходили на водокачку к Захарову для проверки порядка, он всегда давал ребенку цветы со своих клумб. Однажды вечером зашел к Захарову один из молодых заключенных, его знакомый, после работы и спросил его: «А ты не слышал о том, как Валя отпела сегодня надзирателю?» — и рассказал ему следующее: «Мы грузили шпалы в вагоны в рабочей зоне на шпалорезке, а Валя ходила между штабелей шпал среди нас и собирала цветочки. Вдруг слышим голос надзирателя: «Валя, уходи отсюда, здесь заключенные», на что она ему ответила: «Ну так что же, а заключенные не люди?» Надзиратель отошел от нее, не сказавши ни слова.

Рассказывали Карпуше заключенные, работающие на лесоповале, где иногда участки работ заключенных бывают рядом с работами вольных, завербованных в России, которые осторожно от конвоя с ними переговаривались, завидуя заключенным: «Вот вы хотя и плохую пищу, но горячую имеете три раза в день, а мы, придя с работы, уставшие, мокрые, голодные, должны бежать в ларек, настоишься там в очереди и купишь не то, что хочешь, а что есть, и, придя домой, от усталости не знаешь, не то варить, не то ложиться спать; наскоро поешь всухомятку и так и валишься спать. А утром рано одеваешься, а одежда за ночь не высохла, мокрая, и спешишь на работу выполнять свою норму. А уйти до конца срока вербовки — не смеешь. У вас и одежда казенная и бараки теплые, не то что у нас».

Да, все это верно, но эти люди забыли одно, что они имели хотя небольшой радиус относительной свободы, которой заключенные совсем не имели и согласны бы были переносить еще большие лишения ради свободы, даже этой, относительной. Дорогая вещь эта свобода, что узнаешь, к сожалению, когда ее теряешь.

Пришел к Захарову вольный прораб (производитель работ) и обратился к нему с просьбой: «Вы разрешите из ваших цветочков сделать веночек умершему моему сыночку?» Карпуша сказал ему: «Приходите завтра, веночек будет готов». В лагере были всякие умельцы, и Захаров попросил одного из них, своего знакомого, сделать веночек. Этот умелец из алюминиевой толстой проволоки сделал каркас, который был весь

унизан маленькими букетиками цветов и выглядел нарядно. Отец умершего ребенка остался доволен.

В первый год своего пребывания в этом лагере Захаров спросил одного из заключенных из этих же мест: «Сколько времени длится у вас здесь зима?», на что тот равнодушно ему ответил: «Да у нас двенадцать месяцев зима, а остальное лето». Впоследствии Карпуша убедился, что еще 10 июня бывают последние морозы, а 20 августа наступают первые морозы новой зимы. За это короткое лето земля успевает оттаивать не глубоко. Водопроводные трубы на водокачку укладывали на глубину двух метров, чтобы не замерзала в них вода. Цветы и огородную рассаду выращивают в бумажных горшочках, когда еще на дворе лежит снег и стоит мороз, месяца за полтора до тепла, выигрывая этим время у зимы и удлиняя короткое лето.

Картофель никогда не созревал, и его зеленые еще листья и ветви от мороза чернели, а клубни были водянистыми. В этом каторжном лагере, обнесенном деревянным забором-частоколом, в пять метров высоты, благо что лесу вволю, и опутанном колючей проволокой с деревянными вышками по углам, в которых день и ночь стояли часовые с автоматами, здесь все заключенные должны были носить каторжные личные свои номера, большого размера, черного цвета, на белой материи. Они нашивались на спине и выше колена на левой ноге.

Посреди лагеря был барак, называемый «буром» (барак усиленного режима), обнесенный вторично кругом высоким забором и колючей проволокой. Это была тюрьма в тюрьме. Здесь помещались человек сорок молодых, здоровых уголовных, с большим уголовным прошлым. Если их выводили на работы, то предварительно всегда надевали им на руки стальные наручники и снимали их только в лесу, на работе.

Придя в лес, эти бытовики разводили костры для часовых и большой для себя, садились вокруг костра, побросав в него, у кого были, рукавички, курили и делились впечатлениями. Прораб (производитель работ), обычно из вольных, подходил к ним и спрашивал: «Ну что, ребята, работать будем?» Все молчат, и только их атаман, один за всех, отвечал ему, что рукавичек нет. Срочно из лагеря всем приносили новые рукавички и приходил сам начальник лагеря и спрашивал: «А теперь работать будете?» Опять их атаман за всех ему спокойно отвечал: «Начальник, мы эту тайгу не садили и пилить ее не будем, а вон видишь пилу, зови свою жену и пили с ней сам». После этого надевали на них снова наручники и обратно вводили их в лагерь и больше их не тревожили.

Они, по понятиям власти, были социально обиженные, не то что осужденные по 58-й статье, политические, которых начальство считает социально опасными, и к ним была другая мерка и другой строгий режим. За

отказ от работы сначала им дают штрафной паяк и строгий арест на несколько дней. Если же эта мера не действовала, то возбуждалось против отказчика новое дело, и суд мог увеличить значительно срок наказания.

Однажды заключенный, знакомый Захарова, сказал: «А вон пошел бывший советский генерал Тодорский». Карп знал только, что его все называли по имени — Александром Ивановичем, но, узнав случайно, что фамилия его Тодорский, подошел к нему и спросил его: «Александр Иванович, правда, что ваша фамилия Тодорский и что вы генерал?» — «Да, я самый и есть» — был его ответ. «А не было ли у вас родственника преподавателя русского языка?» — «Да, это мой брат». — «Так он был моим преподавателем в средней школе, — ответил ему Захаров. — Но как вы попали в это узилище?» — «Еще при Ленине я занимал крупный пост в авиации, а при Сталине вот попал сюда». Захаров прочел в газете об освобождении этого генерала, требовавшего исправления истории, написанной угодливыми советскими историками.

В лагере был еврей из Вильно, бывший владелец небольшого чугунолитейного завода, Айзик Соломонович Троцкий. Но это никакой не родственник Троцкого-Бронштейна, а однофамилец. Айзик Соломонович был очень близорук и слаб здоровьем и, зайдя к Захарову отдохнуть, рассказал ему свою историю. Когда немцы быстро двинулись на восток к Литве, то ему с семьей не удалось выбраться вовремя из Вильно, и их спрятали в своем подвале, под домиком, на окраине Вильно русская женщина, няня их сына.

Она, уходя в город, уже занятый немцами, на работы, их замыкала на ключ, а вечером возвращалась с новостями. Много тогда погибло евреев, но им удалось уцелеть до прихода советских войск. Когда немцы отступили от Вильно, Айзик Соломонович вышел из своего убежища и узнал от тоже уцелевшего своего родственника, что советский летчик, майор, должен лететь в освобожденную уже от немцев Румынию и что он может за известную сумму взять с собой не более 20 человек, с минимумом вещей.

Боясь, что немцы смогут вновь вернуться в Вильно, Айзик Соломонович, посоветовавшись с женой, согласился тоже лететь в Румынию, думая оттуда, уже пароходом, попасть в Палестину. В назначенный день 18 человек, взяв с собой все свои ценности, прибыли на аэродром. Майор усадил их всех в свой аппарат и благополучно поднялся воздух. Но вскоре он сказал, что случилась какая-то задержка в моторе, и стал спускаться. Когда же они приземлились, то оказалось, что это был тот же самый аэродром, откуда они улетели. Послышались голоса людей, держащих револьверы в руках: «А ну, вылезайте все!» У них эти люди отобрали все ценности и предали их суду. На суде Троцкий сказал: «Ну, я и моя жена

признаем, что мы виновны, но сын наш 12 лет чем виноват, который полетел по нашему настоянию?» Суд сослал Айзика Соломоновича в Сибирь, в лагерь, жену в тюрьму, а сына отправили на Колыму, где добывают золото.

Был здесь же старый профессор Одесского университета, Георгий Георгиевич Воронов, биолог. Сначала он отбыл 10 лет в Соловках. Когда он был выпущен из лагеря там же, на поселение, то он занимался там фотографией. Паек был скудный, и однажды, придя в ларек, чтобы прикупить что-либо, он узнал, что, кроме мускатного ореха, которым были завалены все полки, ничего нет. В письмах к своим родственникам в Петербург он описал этот случай, и те его просили присылать им мускатный орех посылками, которого там в то время не было, а они ему на Соловки присылали продукты питания. Когда началась Вторая мировая война, то все ранее осужденные по статье политической 58 и уже отбывшие полностью свое наказание автоматически снова попали в лагерь на 10 лет, но на этот раз уже в Сибирь. Его жена, тоже биолог, тоже сидела в женском лагере где-то в Сибири. В свободное время профессор Воронов читал знакомым заключенным интересные лекции о пчелах. Но позже Захарову сообщили, что старик Воронов умер в другом лагере, не выдержав второго срока своего заключения.

Интересный в лагере был заключенный Юрий Михайлович Янковский. Это была живая история Приморского края на Дальнем Востоке. Его отец был поляк, сосланный, после последнего польского восстания, в Иркутск. Отбыв ссылку, он женился на русской и поехал в Приморский край, в то время недавно еще Россией освоенный и мало еще заселенный. Сначала он работал в конторе при угольных шахтах на острове Аскольде, южнее Владивостока, где и родился у него сын Юрий.

Позже отец Юрия Михайловича занял свободный полуостров, где устроил ферму и занялся охотой на пятнистых оленей, панты (рога) которых скупали китайцы, платя хорошие деньги, и из них приготавливали лекарство (пантекрин). Юрию Михайловичу было тогда лет восемь. Работников у них не было, и всю работу по ферме исполняла его мать. Когда надо было идти доить коров, то она брала с собой малолетнего сына Юрия, а также американский штуцер, находила укромное возвышенное место, ставила там своего сына, повесив ему на шею заряженный американский штуцер, и предупреждала его, чтобы он смотрел кругом внимательно, нет ли где хунхузов (китайских разбойников), которые шайками в то время бродили повсюду, забирая в плен новопоселенцев, чтобы получить за них выкуп. Мать уходила доить коров, чутко прислушиваясь, не зовет ли ее сын Юрий. Когда появлялись хунхузы, Юрий Михайлович звал свою мать, та, прибежав, снимала с него

штуцер и начинала в них стрелять, давая возможность этим услышать тревогу ближайшим фермерам, и они шли на выручку.

Земли свободной здесь было вволю, охота — чудная и леса — замечательные. Когда Юрий Михайлович подрост, отец его на своем полуострове стал разводить пантовых оленей и спиливать рога, не убивая их. Это дело у них пошло хорошо, и его отец всемерно хотел приучить сына к хозяйству, а он стремился учиться и с помощью матери уехал через Японию в Америку. Здесь летом он работал в больших фермах, а зимой учился в университете. Через несколько лет, закончив свое образование, он вернулся к себе в Россию. Отец, увидав, что сын стал самостоятельным, передал ему все свое хозяйство.

Юрий Михайлович развел и улучшил оленеводство, завел конный завод, как любитель этого спорта, приобрел для ловли рыб морские катера. Выстроил большой новый дом, а потом и небольшую церковь. В 1904 году, в Японскую войну, у него проездом останавливался молодой офицер с женой, посланный государем, как военный корреспондент, правдиво написать обо всем им виденном на войне. Это был будущий генерал П.Н. Краснов, служивший в то время в Лейб-Атаманском полку в Петербурге. Он побывал в Японии, в местах, где содержались русские военнопленные, и совершил большое морское путешествие вокруг Индии. Прибыв в Одессу, а затем в Петербург, сделал доклад государю обо всем.

Это все было Захарову известно еще от самого генерала П.Н. Краснова, когда он жил в эмиграции во Франции. Юрий Михайлович много охотился также и на тигров, и у него были хорошие, смелые его помощники, сибирские охотники. Им удавалось брать тигров живыми, за что они получали хорошие деньги, поставляя их в Европу, в зоологические сады. В лагере, после вечерней поверки, в бараке, у печки часто он, по просьбе заключенных, рассказывал интересные эпизоды из своей жизни. В лагере же он начал писать свою книгу «Пятьдесят лет охоты на тигров». В других лагерях сидели два его сына, а в женском лагере — его племянница, поэтесса Виктория.

Вместе с Захаровым, в том же лагере, был хлеборез Николай Шарый, на обязанности которого надо было весь хлеб поделить на порции по весу для заключенных. В прошлом он был учителем на Украине, а теперь тоже заключенный. Когда немцы пришли на Украину, то они мобилизовали молодежь на трудовую повинность и отправляли их в Германию. Шарый всемерно сопротивлялся этой отправке, чему было свидетелем все его село, но немцы, силой оружия, все же заставили его уехать. По окончании войны его репатриировали на родину и судили. На допросе у следователя он ссылался на все село как на свидетеля его сопротивления, но для следователя этого было мало, и он сказал Шаро-

му, что они все это хорошо знают. На вопрос Шарого: «Так за что же вы меня тогда судите?» — следователь зло ему ответил: «Ах ты, такой-сякой, разэтакий, так знай же, за что мы тебя судим! — за то, что ты там много видел». И бедный Шарый тоже угодил на каторгу в Сибирь.

Знакомый Захарова, заключенный колхозник рассказал ему случай из жизни его деревни. Давно это было, тому будет уже не меньше сорока лет. Неподалеку от их деревни был большой лес, в котором жил лесничий, который держал больших, злых собак от волков. Летом дети часто ходили в этот лес по грибы или по ягоды. В этой же деревне был пастух, который пас деревенское стадо в этом же лесу на его опушке или на поляне. Однажды летом пошел из деревни в лес мальчик лет семи по ягоду, и, когда он проходил мимо лесной сторожки, собаки лесника выскочили и набросились на него. Пока прибежал на крик ребенка лесничий к собакам, они успели ребенка загрызть насмерть. Лесничий увидал пастуха, свидетеля всей этой драмы, и, зная, что он по суду будет отвечать, позвал пастуха и стоворился с ним за деньги, что пастух о случившемся несчастье никому не скажет. Ребенка закопали в лесу. Родители мальчика стали его искать, но им сказали, что его видели идущим в лес и, наверно, он там заблудился, а волки его растерзали. Поискали, поискали отец и мать мальчика и, не найдя его, так и решили, что он погиб от волков. Но вот теперь, по прошествии сорока лет после этого случая, когда пастуху пришло время умирать, то он не мог умереть и кричал на всю деревню. Деревенские простые люди говорили ему: «Ты покайся перед народом, наверно, у тебя за душой большой грех, что тебя даже смерть не берет». И когда умирающий пастух всенародно признался, что он за деньги скрыл гибель мальчика, он после этого тихо скончался. Видно, самый трудный момент в жизни человека, когда душа расстается с телом. Вот об этом и написали в письме заключенному колхознику сюда, в лагерь, из деревни.

Был у Карпуши знакомый из заключенных, старик, жандармский унтер-офицер, заходивший к нему поговорить и отвести душу: «Смотрю я на все и дивлюсь, как это было тогда и как оно стало теперь. Раньше на весь Западный Урал, в Перми, в главном жандармском управлении, было нас жандармов всего 36 человек по штату, да пять или шесть человек жандармских офицеров и управлялись. А теперь у них там целая армия ГПУ, а кричат — свобода! Вот раньше была действительно свобода, только ее мало ценили, а много ругали, а теперь, не имея того, что было, все молчат и не смеют кричать. Кто хотел тогда, мог ехать куда кто хочет, на все четыре стороны. Продаст хату и хозяйство, и езжай себе хоть в Америку. А теперь-то и продавать нечего, все колхозное, да и никого никуда и не пускают уехать, самим рабы нужны. Ругали правительство, ругали

царя, и никто за это никого никуда не сажал. Недаром была тогда и поговорка, что «за глаза и царя ругают». А теперь попробуй ругнуть, так тебя сейчас схватят и спросят: «Что? Тебе рабоче-крестьянская власть не нравится?» — и загонят в Сибирь.

Хлебнули их свободы по горло. В лагерях-то теперь что же, все сидят жандармы и буржуи? Буржуи поумирали или уехали за границу, а все это теперь крестьяне да рабочие. И раньше ссылали тоже, мы знаем, но разве за такие пустые слова, и столько народу, да и так разве кормили? Одним словом, дожили до ручки!»

Привели в лагерь, в одиночном порядке, небольшого роста, сухонького старичка, тоже отбывать наказание. Имя его Лев Ефимович Катанский. Он часто заходил к Захарову и помогал ему пилить дрова и всегда был радостный и никогда не унывал. Вот что он рассказал Карпу о себе. В молодости он ушел в тайгу, смастерил себе избушку, расчистил полянку, где сажал овощи, да так и жил отшельником, имея священные книги. В тайге жили и другие, как он, ушедшие от мирской суеты. Были у них тайные тропинки, по которым они сообщались друг с другом. Зимой Лев Ефимович, перед тем как ложиться спать, сыпал горох перед своей избушкой для глухарей, и те уже это место хорошо знали и, поев весь горох, долбили клювами в дверь, прося добавки. У него была полуручная лиса, для которой он собирал остатки от еды и всегда клал в одно и то же место, и она приходила подкармливаться. Когда он звал ее: «Лиска! Лиска!», то она, зная его голос, выходила из кустов, но взять в руки не давалась. Вот так и жил Лев Ефимович с птицами и зверями, никому не мешая, в тайге. Однажды зимой над тайгой пролетал неподалеку от его полянки советский аэроплан, а через несколько дней пожаловали к нему на лыжах солдаты. Они его арестовали, забрали его и его книги с собой, а избушку сожгли. Начальник их строго его спросил:

«Кто тебе разрешил жить отдельно от людей в тайге?»

«А что, ты, что ль, садишь тайгу, что не разрешаешь, тайга Божья!» — в свою очередь спросил его Лев Ефимович.

«Вот ты у меня поговоришь, когда я тебя закатаю в лагерь».

И закатал его на 8 лет в каторжный лагерь. Здесь Льва Ефимовича и его судьбу знал весь лагерь, и каждый старался как-либо выразить ему свое внимание: молодежь из леса приносила ему бруснику, листья черной смородины, и он на водочачке варил свой чай.

Однажды заслуженный коммунист, зная, что на водочачке у Захарова бывают сосланные священники и старики из заключенных, зашел и обратился к нему со следующими словами: «Захаров, я читал ваши священные книги и Апокалипсис, где говорится о четырех конях. «Вот вышел сначала конь белый, а после конь рыжий, и сразились всадники на этих



конях». Я думаю, это говорится здесь о вас, белых, и о нас, красных, и о нашей гражданской войне, в которой мы победили вас. Затем выходит конь вороной, а это я считаю, что здесь говорится о нашем голоде в 1921 году, и мы это пережили. Но вот выходит четвертый конь, конь бледный, и имя ему смерть. Здесь уже и мы бессильны».

На его лице выразилась унылая безнадежность. Присутствующий при этом разговоре Лев Ефимович Катанский сказал ему: «Друг мой, это бессилие и боязнь у вас перед бледным конем оттого, что у вас нет любви к человеку и вы хотите людей насильно сделать счастливыми. Но насильно мил не будешь — так говорит русская поговорка. Вы это знаете, поэтому-то и боитесь смерти. А Любовь совершенная не имеет страха, потому что она сильнее смерти. Смерть властна только над телом, над материей, но не над Духом Любви совершенной. Вы в эту Любовь сами не веруете и другим запрещаете, заставляя людей силой верить в бездушную материю, которая и есть ваш бог». Заслуженный коммунист улыбнулся и сказал, выходя: «Эх, Лев Ефимович, голубиное ты сердце!» Что он хотел этим сказать? Свое одобрение или свое осуждение? Скорее всего, свое удивление, что, несмотря на все содеянное ими окаянство, есть все же на Руси люди с голубиным сердцем. А с базаровским представлением, что из тебя после смерти вырастет только лопух, однако, умирать как-то обидно, а верить в Любовь совершенную, побеждающую смерть, — запрещает партия. Вот тут-то и получается трагизм положения, от которого одни лечатся водкой, а другие чем-либо иным, кто как умеет.

Наибольшее количество осужденных в политических лагерях — люди по 58-й статье, по пункту 10 и на 10 лет. В лагерях их попросту называют «болтунами». Вина их в том, что одни имели смелость, а другие — неосторожность высказать свои суждения, не созвучные с советской властью. Однажды, в разговоре о минувшей Второй мировой войне, молодой советский заключенный, зная, что Карпуша русский эмигрант, сказал ему: «Что же вы думаете, выиграли бы мы войну, если бы не пообещали народу распустить колхозы и открыть церкви да если бы не помогла бы нам Америка машинами и продуктами питания? Одними погонами да орденами, что на нас надели, многое не сделаешь»

Так живя и работая в этом Приполярном крае, через семь лет заключенные узнали, что железная дорога, протяжением в 700 километров через тайгу, от станции Тайшет через Братск и далее на северо-восток до большой реки Лены, закончена. Но сколько полегло здесь русских и японцев при постройке этого пути — знают только тайга да советская власть, но они молчат.

И вот настал долгожданный день, когда Захарову сказали идти в контору лагеря оформляться на освобождение. Десять лет тому назад,

когда его на Урале утешал какой-то заключенный тем, что только первые десять лет трудны, а потом привыкнешь к этой жизни, — тогда это казалось ему совершенно невозможным, а теперь он убедился, что эти десять лет он все-таки физически смог выдержать, но привыкнуть к такой жизни он не смог и не старался. Тогда ему казалось, что если и настанет для него день освобождения, то этот день будет каким-то особенным, необычным, с ярко светящим, по-иному, солнцем. Но в действительности оказалось это много проще.

Безучастным тоном надзиратель сказал Захарову идти в контору, так же, как обычно говорили заключенным идти с вещами на очередной этап. Жизнь в лагере продолжала идти своим прежним порядком, но в сердце Карпа уже вспыхнула радость бытия. Хотя будущее еще было в полном тумане неизвестности, но, какое бы оно ни было, все же хотелось верить, что будет лучше настоящего.

Надзиратель вывел группу освобожденных за ворота лагеря, в которой был Захаров и еще один эмигрант из Парижа, Дмитрий Сергеевич Нестеров, указал на двухэтажный вдали дом и сказал: «Идите туда и там получите дальнейшее направление», а сам ушел обратно в лагерь. Оставшись без обычного конвоя, сопровождавшего в течение десяти лет каждый шаг заключенного, никто сначала не решался двинуться к указанному дому, настолько для всех это было необычно — после десяти лет каторги стать вновь, как и раньше, до лагеря, свободным человеком.

Потоптавшись на месте, стали говорить друг другу: «Ну что, пошли, что ли?» Здесь Захаров получил справку о том, что он отбыл 10 лет советских каторжных лагерей по 58-й статье с перечислением пунктов, а также ему выдали направление к месту его принудительной высылки, на 5 лет, в Красноярский Край, в Хакасскую область, в местечко Ши́ра.

В октябре 1956 года Захаров прибыл к месту своего назначения. В местечке Ши́ра плохо было с квартирами, как вообще везде, и начальство устроило его жить в «Заготзерно» (элеватор), при его пожарном отделении, с условием, что за это он должен был в пожарке топить печь. Вскоре Карпуша перезнакомился со всеми молодыми пожарными. Они знали, что он из эмигрантов и что освободился из лагеря, но никто никогда не спросил его, за что он отбывал каторгу. Таков порядок в Сибири.

За долгие зимние вечера Карпуша многое узнал от них для него интересного. Один из них рассказывал, что его мать еще до революции служила прислугой у местного золотопромышленника Иваницкого, прииск которого от местечка Ши́ра отстоял километрах в шестидесяти, в отрогах Восточных Саян. Когда пришла революция, то Иваницкие уехали за границу. Их прииск национализировали, назвав его «Коммунарм», и стали разрабатывать в большем масштабе. Иваницкие, прожив

за границей свой капитал, договорились якобы через какой-то заграничный банк с советами, что они укажут, где ими зарыто золото, в одном месте 100 кг, а в другом — 150 кг, с условием, что какая-то часть достанется им. Приезжала жена Иваницкого, в дорогих мехах, в Шира и ездила в бывший свой золотой прииск. Указала место клада, где, действительно, нашли 100 кг золота, а другие 150 кг найти не смогли. Однако золото, оказывается, дороже всяких политических убеждений и, как известно, запаха не имеет.

На первое время у Захарова были небольшие им заработанные в лагере деньги, но они стали быстро подходить к концу. Он пытался наняться пилить дрова или ухаживать за лошадьми, но как только дело доходило до бумаг и узнавали из них, что он — освобожденный лагерник, по 58-й статье, политический, то везде в советских учреждениях оказывались места уже занятыми.

И вот, живя в «Заготзерне», где на дворе лежали кучи зерна, под открытым небом, осенью поливаемые дождями, а зимой засыпаемые снегом, будучи голодным и не имея права взять из этих промокших куч горсти зерна, о чем его предупреждали доброжелатели еще вначале, иначе сейчас же пришлют статью за расхищение социалистического имущества, Захаров, как и все, ходил по рассыпанному по всему огромному двору зерну, оставаясь голодным.

Вот тогда-то и вспомнил он фразу старика, сказанную сорок лет тому назад, еще в начале революции, в 1917 году, когда он жил в станице, у своей тетушки, и над этими сказанными стариком словами, будучи тогда молодым, он в душе посмеялся, не поверив: «Будет время, когда вы будете ходить по хлебу, а есть его не будете». Но теперь уже эти буквально оправдавшиеся слова у него больше не вызывали смеха при виде перед собой печальной действительности.

В этом «Заготзерне» процветал дремучий бюрократизм и бесхозяйственность, и директоров меняли здесь часто. Как только начиналась уборочная кампания хлебов, мобилизовались все машины на вывозку хлеба из колхозов. Дороги, как известно, грунтовые и мало приспособленные для автомобилей. Зерно в колхозах насыпается прямо в кузов автомобиля, как песок, до краев-бортов, так как нет ни мешков, ни брезентов, и везется с возможной и невозможной скоростью, преследуя цель: выполнить и перевыполнить заданное соревнование по вывозке хлеба. Так как зерно «наше», то на него мало кто обращает внимание, и поэтому на дорогах его много теряют. В «Заготзерне» берут сначала пробу, а потом зерно идет на просушку в машины, если таковые есть и если они исправны, а затем ссыпается в амбары, которых тоже не хватает. Тогда, в таком случае, зерно ссыпается прямо на землю, посреди

двора, в большие кучи. По ним ходят, дождь его мочит, и никому нет никакого до этого дела, оно — «наше».

Карпуше приходилось наблюдать, что хлеб еще возили зимой, из «глубинок», — отдаленных колхозов, когда шел снег, мешая его со снегом. При погрузке зерна в вагоны его насыпают без мешков, и тоже масса зерен теряется между рельсами, но жителям собирать его строго запрещено, иначе сейчас же «пришьют» статью за расхищение социалистического имущества.

Как известно, частной продажи хлеба ни в зерне, ни в муке, ни выпеченного, — нет. Все находится в руках государства. Зерно государство не продает вообще, муку — два раза в год, по 3 кг на человека, к 1 Мая и к 7 Ноября, к государственным праздникам. Весь хлеб государство выпекает на своих «хлебозаводах», стандартный и плохого качества, как по смеси, так и по выпечке, требуя 62 процента припека. Поэтому жидкообразная масса, называемая тестом, должна выливаться в железные трапециевидные формы, иначе все расплывется, и выпекается оно в сильно нагретых печах, где сразу кругом хлеба получается корка, а зато в середине сохраняется 62 процента припека-влаги. В технику выпечки хлеба Захаров посвятил главный пекарь, получивший понижение по службе, так как у него вышел припек ниже 62 процентов. Жители покупали этот неполноценный хлеб как для себя, так и для своих животных, так как никакое зерно не продается. Но теперь даже и это ограничено количеством 1 кг на человека. Три года тому назад, т. е. в 1960 году, знакомый Карпуши, железнодорожный путевой сторож, получал 600 р. в месяц, на что он мог купить по цене 2 р. — 1р. 80 к. за кило — 300 кг хлеба, и все. Это было недавно и совершенная правда, тогда как когда Захаров говорил с молодежью о добольшевистском времени, то получал ответ: «Это было давно, и совсем неправда».

Придя в милицию к капитану Доможанову, Захаров сообщил ему, что он пытался поступить на работу, но везде, узнав из его бумаг, что он политический ссыльный, все советские учреждения, боясь статьи 58-й, ему отказывали в работе. Капитан Доможанов сказал ему: «Да, дела у вас незавидные, единственно, что я могу вам сделать — это записать вас на переосвидетельствование медицинской комиссией, и если она Вас признает инвалидом, то вы получите путевку в Ширинский инвалидный дом, в поселок Тупик». Десять лет тому назад, в Москве, на Лубянке, из-за слабости сердца Захарова признали инвалидом, а теперь, после десяти лет каторжных лагерей, требуется вновь переосвидетельствование, точно каторжные лагеря — курорты, где инвалиды за это время могли поправиться. Но таковы правила советского строя.

В назначенный день и час Захаров прибыл в амбулаторию на переосвидетельствование. Ему представлялось, что комиссия будет состоять из одного или двух врачей, председателя и фельдшера. Он поступал в указанную ему дверь, откуда неожиданно услышал молодой женский голос: «Войдите». Войдя в комнату, его взору представилась совершенно иная картина: за столом, в белых халатиках, сидели три молодые девушки, в возрасте от 18 до 25 лет. Старшая из них по возрасту и, очевидно, по занимаемой ею должности спросила его, беря из рук Карпуши справку милиции: «Вы пришли на переосвидетельствование по инвалидности?» Получив утвердительный ответ, она сказала: «Разденьтесь до пояса». Пока Карп раздевался, представительницы инвалидной комиссии весело между собой щебетали. Самая младшая из них, как потом оказалось — секретарь комиссии, посмотрев на полураздетого Захарова, сказала: «А вы, видно, в молодости занимались физкультурой (гимнастикой)?» — «Да, вы не ошиблись», — ответил ей он. «Дедуся, а почему бы вам не жениться?» — продолжала секретарь. После такого неофициального предложения пошел неофициальный разговор и смех. Наконец старшая из девиц сказала Карпу подойти к ней поближе, и она стала выслушивать его сердце, легкие и проверять давление, а потом сказала ему: «А теперь вы можете одеться». Затем она обратилась к двум другим девицам этой комиссии с предложением: «Дадим ему вторую категорию, общее заболевание, и без переосвидетельствования», на что те согласились, и секретарь комиссии, желавшая женить Захарова, выдала ему справку о его инвалидности второй группы.

Карпуша поблагодарил милых девушек за их внимание к нему и, получив нужную бумагу, вышел. Он не знал еще, что эта бумага давала ему право на полное государственное обеспечение по его инвалидности, а написанное в ней слово — «без переосвидетельствования» — то, что в течение пяти лет его принудительной высылки уже больше никакая комиссия не беспокоила. Но само название поселка, где находился инвалидный дом, — Тупик, заставило Захарова невольно призадуматься.

Как он узнал потом, в прошлом здесь был действительно тупик пути-дороги в тайгу, и отсюда уже начиналась сплошная тайга и сам поселок находился в ней. Но жители поселка, вырубая тайгу на свои нужды, отодвинули ее от себя, и на ее месте появились огороды и поля. Здесь было несколько инвалидных деревянных барачков, в которых размещались по комнатам 120 человек инвалидов разной степени инвалидности. Захаров, не нуждаясь в посторонней помощи, имел вторую группу инвалидности и поселился в барачке, отстоящем от поселка в двух километрах еще дальше в тайге, где было инвалидное подсобное хозяйство, посеvy, огороды и покос. За свою работу трудоспособные инвалиды

получали половину обычной платы, а вторая половина шла в кассу инвалидного дома на общее их содержание. Захаров три зимы ходил в тайгу пилить и рубить дрова для инвалидного дома и получил новую квалификацию труда, лесоруба.

Желая узнать практически работу в колхозе, он летом ходил на полевые работы. Для инвалидов работа была без всякой нормы. Как правило, никто в колхозном труде по-настоящему не заинтересован, отбывая коммунистическую барщину, и поэтому не работает по-хозяйски. Если и встречался вначале какой-то энтузиаст, то на него остальные косо смотрели, спрашивая: «Что тебе, больше всех что ль надо?» — «Да ведь теперь же это наше добро» — «Вот если бы оно было не «наше», а «мое», я бы тогда старался».

Ответ прост и понятен, наверно, и для каждого советского руководителя. Но вот в том-то и беда — а куда же деть десятки миллионов загубленных человеческих жизней и сорок с лишним лет убитого времени? Поэтому, несмотря на то что вся их идея и система есть утопия, противная здравому смыслу, все-таки лучше пусть будет колхозное «наше», иначе придется признаться в банкротстве всей своей системы и отвечать.

За несколько лет своего пребывания в Тупике Захаров познакомился со многими жителями, и они его частенько приглашали то на соленные грузочки, то на сибирские пельмени с возлиянием. В километрах семи от Тупика, в восточных отрогах Саянского хребта, есть рабочий городок Туим, где добывают руду. Здесь, случайно, Захаров познакомился с одним пожилым человеком, чудаком, русским, приехавшим с Аляски, поверив советской пропаганде. У него на Аляске осталось хозяйство, и он хотел бы вернуться, но ему это никак не удавалось.

В инвалидном доме был интересный старик чуваш, который на кухне инвалидной помогал чистить овощи. В японскую войну в 1904 году он был рядовым какого-то пехотного полка. Сам он небольшого роста, но, как он рассказывал, в молодости был очень ловкий и проворный. Когда их полк пошел в атаку на японскую пехоту, то он увидел недалеко от себя впереди японца, держащего знамя. Будучи ловким и быстрым, он прорвался вперед между сражавшимися в штыки русскими и японцами и штыком заколол японского знаменщика. Когда знамя упало, он наступил ногами на древко, руками сорвал с него полотнище и успел его засунуть себе за гимнастерку. В это время он почувствовал острую боль в ноге, но русские одолели японцев, и он вместе с ними, сторяча побежал их преследовать. На бегу он заметил, что вся нога его в крови, у него закружилась голова, и он, потеряв сознание, упал. Когда пришел в себя, то увидал, что он лежит на чистой койке и что около него доктор и несколько офицеров.

Они ему рассказали, что его подобрали без сознания на поле сражения. В госпитале, когда его стали раздевать, то нашли у него за пазухой японское знамя. Он был награжден Георгиевским крестом, его отдали в учебную команду и предлагали ему сверхсрочную службу. После службы он ушел с хорошей пенсией, рублей тридцать в месяц, что в то время было большими деньгами в деревне. Эта пенсия дала ему возможность скопить себе на старость хорошую сумму. Но пришла революция, пришли люди от революции, наставили на него наганы, сорвали с него Георгиевский крест, как царскую награду, и отобрали у него за это все его деньги, заработанные им своей кровью на войне.

Как известно, отличительной чертой русского человека было его добродушие и веселость, что и теперь осталось, несмотря на далеко не блестящее его положение. Во время владычества Сталина часто приходилось читать всем во всех советских газетах, на первой странице, лозунги, написанные жирным шрифтом: «Догнать и перегнать Америку», и тут же приводились цифры и проценты количества мяса, молока, масла и шерсти на одного человека. Но это было хорошо на бумаге, а в жизни выходило иначе.

Как-то ехал знакомый Захарова в поезде по своим родным местам и смотрел в окно вагона, наблюдая виды всеми нами любимой русской природы. Вдруг знакомый Карпуши увидел в окно вагона, вдали, человека с длинной палкой в руке и около него какое-то ему мало понятное пестрое стадо. Невольно он обратился к своему соседу: «Дедушка, а что это там такое?» — «Да это пастух пасет коз. Ты думаешь, один Сталин умный, а русский мужик — дурак? Вот когда Сталин приказал обложить частновладельческих коров налогом — мясом, молоком, маслом, а пасти на государственных землях совхозов и колхозов запретил, так что можно было пасти только по обочинам дорог, но что это за корм для коровы, — то мы порезали коров и завели коз. Пускай теперь Сталин догоняет и перегоняет Америку на козах».

Однажды Захаров шел по сибирской тайге, по дороге, где неподалеку был лесоповал (рубка леса). Его стала нагонять большая грузовая машина и, догнав, остановилась возле него. Открывается дверка кабины, и ему неизвестный шофер кричит: «Батя, ты что ж это в наш-то атомный век да ходишь пешком? Полезай в машину!» — и довез его до конечной его цели. И это бывает совсем не редко.

В другой раз как-то ехал Карпуша в местном автобусе, делающем свои рейсы через ряд колхозов. С места отправления шофер спрашивает каждого пассажира, кому куда ехать, и продает билеты. Вдруг Захаров услышал голос шофера: «А вам, гражданин, куда ехать?» — «Мне? Мне надо в «Путь к коммунизму». Так назывался один из ближайших

колхозов. Смотрит Карп, шофер улыбнулся, безнадежно махнул рукой и сказал: «Туда никогда не опоздаете, всегда поспеете! Следующий!» Это было так непосредственно и забавно слышать, что пассажиры рассмеялись, да и сам путешествующий в колхоз «Путь к коммунизму» тоже не обиделся.

Когда еще Захаров был в лагерях, то случайно он на пересылке встретился со своим приятелем, тоже служившим в войсках П.Н. Краснова и который, как и все, тоже был выдан большевикам в Лиенце. Он дал Захарову адрес, куда он после освобождения поедет и откуда будет хлопотать об отправке его во Францию. Освободившись раньше Захарова и не имея принудительной высылки, как Карп, он уехал после лагерей, куда и предполагал.

Захаров, попав в Тупик на высылку, написал ему о своем местопребывании. Вскоре Карп получил от него ответ и адрес французского консула в Москве, а через непродолжительное время получил чудную продуктовую посылку с запиской от неизвестной ему доброжелательницы, Татьяны Николаевны, которая написала, что она случайно узнала от Павла Ивановича Джалюка о том, что его друг застрел в Сибири, и что она в память погибшего своего мужа, инженера, при Ежове, в 1937 году, решила послать эту посылку. Захаров написал своей доброжелательнице благодарность за столь щедрое к нему внимание. Потом все время, в течение нескольких лет, он получал хорошие от нее посылки, от человека, которого никогда не знал и даже не видел.

Получив адрес французского консула в Москве, Захаров написал ему письмо. Вскоре пришел от консула ответ, в котором он просил Захарова сообщить ему его краткую биографию. Карп написал, что он эмигрант и доброволец гражданской войны и с войсками генерала Врангеля выехал в эмиграцию, а с войсками генерала П.Н. Краснова был выдан Советам.

Так, работая в тайге по заготовке дров для инвалидного дома, проходило время высылки. Зимой пришлось однажды Захарову пилить со своим напарником огромную лиственницу, толщиной в несколько обхватов. Длинная пила, по названию «Дружба», длиной в 1 м, 80 см, в середине дерева едва проходила, и, чтобы свалить такого великана вручную, им понадобилось пилить целый день. Когда огромная лиственница с сильным грохотом рухнула на землю, то подсчитали число годовых колец на срезанном пне; их было 475. Этому дереву уже было 60 лет, когда царь Иоанн Грозный в 1552 г. шел войной на Казань. Захарову стало как-то жаль смотреть на лежащего такого великана.

Однажды милиционер из рабочего городка Туима пришел в поселок Тупик, в инвалидный дом, проведать свою сестру-инвалидку. Он зашел



в комнату Захарова и сказал ему: «Тебе из Красноярска (административный центр) пришло разрешение на выезд». Когда Захаров пришел в городок Туим, то в милиции ему подтвердили, что действительно есть разрешение на выезд, но для этого надо ехать в город Красноярск.

После того как Захаров приехал на поезде в Красноярск, здесь ему сказали, что есть из Москвы разрешение на выезд, но предупредили его, что дальнейшее уже будет зависеть от здешнего начальства, как оно соизволит решить (власть на местах). Просидев целый день в томительном ожидании, наконец он получил бумагу с разрешением на выезд во Францию в двухмесячный срок. Храня это разрешение как зеницу ока, Захаров вернулся в Тупик и послал консулу телеграмму, что ему дано разрешение на выезд.

Через несколько дней Карп получил от него деньги на дорогу, присланные ему друзьями из Франции. Собрав свой несложный багаж и попрощавшись с инвалидами и знакомыми ему жителями поселка Тупик, Захаров поехал на санях на ближайшую станцию, провожаемый инвалидом, молодым лейтенантом, с которым он вместе жил в инвалидном бараке, в одной комнате. На станции купили водки и выпили по-русски — «посошок» и «стремянную», на дальнюю дорогу.

Захаров купил билет до Москвы и поехал, оставляя в Сибири 10 лет каторги и 6 лет принудительной высылки. Пять суток езды скорым поездом понадобилось ему, чтобы добраться до Москвы. Прибыв в субботу 25 февраля 1961 года в 11 ч утра в Москву и зная, что учреждения по субботам работают только до 12 ч дня, Захаров нанял такси и сказал шоферу везти его во французское консульство. Шофер подозрительно посмотрел на таежного старика, своего седока, но однако повез. Не доезжая нескольких домов до консульства, на всякий случай, он высадил Захарова и, указав ему на большой дом впереди, сказал: «Вон видишь тот большой, впереди слева, дом, то и есть французское консульство».

Захаров расплатился с шофером и пошел к указанному ему дому. И только он стал подыматься по каменной лестнице, как на своем плече почувствовал чью-то сильную руку и услышал вопрос: «Куда идешь?» Захаров обернулся и сказал: «К французскому консулу». — «А ну, пойдем к старшому!» — ответил ему милиционер, и они пошли к старшому, который стоял недалеко. Тот взял все бумаги Карпа, аккуратно их переписал в свою записную книжку и сказал Захарову, возвращая ему его бумаги, указывая на маленькую калиточку: «Проходи сюда»

Не надо было больше повторять приглашения. Он быстро направился в дом через двор. Вбежав по лестнице, Захаров встретил служащего, который указал ему, где помещался консул. Дверь в его кабинет была открыта, и Карп увидал стоящего у письменного стола высокого, сред-

них лет человека, и около него стояли несколько молодых женщин, очевидно служащих и уже одетых в теплые пальто.

Консул, увидав в дверях Захарова, вежливо спросил его по-французски: «Кто вы, и что вы желаете?» Услыхав названную Захаровым фамилию, никогда его не видя раньше, а зная его только по переписке с ним, весело сказал: «Войдите» — и указал на одно из кресел у его стола, а одной из стоявших служащих сказал принести досье Захарова. Та быстро принесла папку с бумагами. Консул взял у Захарова разрешение на выезд, проверил и сказал: «Все в порядке, полетите вы в Париж с первым аппаратом». Потом позвонил куда-то по телефону, и минут через десять вошла молодая, интересная француженка. Консул познакомил ее с Захаровым и сказал: «Mlle N. тоже собирается лететь в Париж, и вы полетите вместе». Прелестная парижанка, видя перед собой таежного старика, спросила Захарова, улыбаясь: «А вы летали на аэроплане?» Карп ответил, что никогда. «О, это совсем не страшно, — продолжала Mlle N. — Мы подыдемся на 9000 метров, за бортом будет — 50°, но в аппарате тепло и уютно, и через три с половиной часа будем в Париже». Консул по телефону вызвал шофера и сказал ему: «Поезжайте с господином Захаровым на городскую станцию «Метрополь» и купите билет на первый отлетающий аппарат в Париж, а также помогите найти комнату в гостинице».

Приехав в «Метрополь», Карп обратился к одной из девиц, прося билет на Париж. «А вы имеете разрешение?» — спросила она его. Захаров дал ей свое разрешение, с которым она исчезла куда-то минут на пятнадцать, и, вернувшись, выписала ему билет, предупредив его не опаздывать в понедельник к 12 часам в Шувалово. Хотя Москва и большая, но найти свободную комнату в гостинице очень трудно, и только под вечер, в Останкине, за Москвой, в новой хорошей гостинице, удалось найти комнату. Шофер, прощаясь с Захаровым, предупредил его, быть ему готовым к 8 часам утра в понедельник, т. к. нужно будет еще заехать за Mlle N.

В этой гостинице жило много студентов восточных наций. Сообщение с Москвой — автобусом. Захаров в понедельник рано утром спустился в ресторан, закусил, выпил кофе и стал ожидать 8 часов, когда должен был за ним заехать шофер. Какой-то благообразный пожилой человек видя, что Карп уже одет по-дорожному и с небольшим багажом, спросил его: «А вы, как видно, куда-то едете?» Захаров сказал ему, что едет он во Францию и что ожидает шофера. Случайный незнакомец, услышав слово «Франция», улыбнулся, быстро осматриваясь по сторонам, и, наклонившись, шепотом сказал ему, не зная, что Захаров бывал во Франции: «Мой сын туда ездил, вот где живуха»

Вскоре приехал шофер, и Захаров вместе с ним, захав за Mlle N., поехали в Шувалово на аэродром. Здесь началась таможенная проверка вещей. Два хороших чемодана Mlle N., которые нес носильщик, после того как она показала свой паспорт, прошли с ней без осмотра. Когда очередь дошла до Захарова, молодой таможенный чиновник, увидев перед собой его, в таежном бушлате, шапке и сапогах, и его самодельный колхозный сундучок, сделанный им самим еще в Тупике, в Сибири, сказал ему: «А ну показывай свои вещи». Захаров открыл крышку, и чиновник, явно брезгливо порывшись в несложном арестантском имуществе, где была одна чистая смена белья, полотенце, мыло, кружка, ложка и другие мелкие арестантские вещи, хлопнув разочарованно крышкой, сказал ему: «Проходи!»

Прелестная спутница, как добрая фея, улыбалась, наблюдая эту картинку. Вскоре громкоговоритель оповестил, что публику просят занимать места в авионе. У трапа аппарата, по которому поднималась публика, стоял лейтенант пограничных войск, и он проверял только паспорта. Когда Захаров вошел в аппарат, то распределитель мест сказал ему: «Ты, батя, садись тут, у окошечка, и поглядывай в него», указав место поближе к багажному отделению. Когда публика разместилась, Захаров увидел далеко впереди стоящую свою попутчицу. Она, обернувшись назад, смотрела на пассажиров и, увидев его, оставила свое место, подошла к нему и села рядом с ним на свободное кресло, начав предлагать ему папиросы и конфеты.

Вскоре появились стюардессы — молодые, интересные русские девушки, в хорошо сшитой форме из хорошего материала, с пилотками на головах. Они, обходя пассажиров, тоже стали угощать конфетами от головокружения. Потом было сказано всем пассажирам закрепить себя специальными ремнями к сидению. Вскоре что-то заревело снаружи, и аппарат побежал, набирая скорость и легко отделившись от земли, — «Туполев» («Ту-104») поплыл в воздухе, забирая быстро высоту.

Пассажиров было человек шестьдесят и половина мест была свободных. Посреди между рядами кресел в проходе бегали дети, в возрасте 4—6 лет. Из кабины пилотов были переданы для публики бюллетени, в которых сообщалась фамилия пилота, бортмеханика, высота — 9000 м, температура за бортом — 50°, маршрут — Москва—Рига—Копенгаген—Брюссель—Бурже (Франция).

Часа через два стали готовиться завтракать. Каждый пассажир выдвинул перед собой крышку стола, а стюардессы принесли закуски с неизменной русской икрой, курицу с рисом под белым соусом, в горячем виде, десерт и кофе. После завтрака, под шум моторов, публика в креслах стала дремать. Захаров, сидя у иллюминатора, видел далеко

внизу, как снег или как вату, белые облака, а сверху была чистая синевая неба. Это все, что можно было наблюдать на такой высоте. Вскоре внизу замелькали игрушечные деревушки с маленькими домиками и полями, в виде разной величины и цвета прямоугольников. Это была уже Франция.

Шестнадцать лет тому назад Захаров уехал на восток из Франции навстречу катившемуся на Европу сталинскому валу, а теперь после всех его переживаний в плену у Сталина он вновь попал во Францию, но уже воздушным путем, и стал снова свободным русским эмигрантом, прийдя в свое первобытное состояние.

Все предсказанное Захарову еще в его далекой молодости за сорок лет вперед сбылось с ним с буквальной точностью. И не должно удивляться тому, что есть люди, одаренные духом ясновидения, о чем говорит апостол Павел в Деяниях Апостольских — гл. 16, стих 16. А величайший драматург Шекспир говорит устами Гамлета о том, что «есть многое в мире, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам» («Гамлет»).

Однако даже лживые идеи иногда имеют у масс свой временный успех и бывают сильнее воинской доблести и самого совершенного оружия. Но если крепко верить в Любовь совершенную, то Она сильнее всех атомов, всяких идей и коня бледного.

*Б. Павлов<sup>141</sup>*

## СЕМЬЯ ДУРНОВО<sup>142</sup>

Разбирая старые письма, наткнулся на несколько писем, датированных 57-м и 58-м годами, от Никиты Дурново<sup>143</sup>. Он тогда, отсидев десять лет в концлагере, был выпущен из Советского Союза.

Те, кто кончил в 1926 году Крымский кадетский корпус<sup>144</sup>, его хорошо знают, я же лично знаю его с 1920 года. В 1920 году мы с ним оказались в Крыму, в Феодосии, в 3-м классе, в сводно-кадетской роте при Константиновском военном училище<sup>145</sup>. Потом вместе пережили эвакуацию, вместе были в Стрнице и в Белой Церкви. В моей памяти он остался как хороший товарищ, высоко порядочный, всеми любимый, несмотря на то что был очень вспыльчив и тогда мог незаслуженно оскорбить, чем попало ударить и наделать больших глупостей. Особенно если дело касалось, как ему казалось, его чести, Никита полностью терял самообладание. В такие минуты у него как-то странно мутнели глаза — поэтому и прозвище его было «Никитка мутный глаз», на которое он немножко обижался.

В 1926 году мы оба кончили корпус и наши дороги разошлись. Он поступил в Белграде в Войну академию, а я поехал учиться в университет в Люблян.

Войну с Германией он встретил как капитан-летчик югославянской армии. Его эскадрилья находилась где-то вблизи Мостара. Как мне рассказывали, эта эскадрилья в короткую войну 41-го года не особенно хорошо себя показала. В последний день войны часть самолетов даже не исполнила приказа и не поднялась с аэродрома. Возмущенный поведением своих сослуживцев, на следующий день, узнав о капитуляции и не желая вместе с ними сдаваться в плен, Никита один вылетел на своем аппарате и потом спустился на Браничком поле, близ Белграда. Там он снял с себя югославянские погоны и, как он потом говорил, навсегда распрощался с югославянской армией. Вскоре он уехал на работу в Германию, но перед концом войны он почему-то вернулся в Югославию, где и был выдан советчикам.

Отсидев, как я уже упомянула, 10 лет в концлагере, он каким-то чудом был выпущен как иностранный подданный за границу. Вернулся он полным инвалидом, наверное, потому его и выпустили. Жена его за это время вышла второй раз замуж и завела новую семью, за что ее, конечно, трудно винить. Кто бы мог предположить, что человек после стольких лет может вернуться за границу из советского лагеря. А он приехал и остался один, больной и никому не нужный. Но он никогда не жаловался на свою судьбу, в его письмах всегда была бодрость и какая-то теплота и умиротворенность. В одном из своих писем он мне писал: «Что касается меня, то я не жалею о годах, проведенных в лагерях, и не беру это с трагической стороны. Наоборот, я теперь больше привязался к нашим, — душа уж больно хороша у нашего народа. Да, конечно, годы под советчиной многих испортили, но нельзя ведь по ним всех равнять».

Он все мне писал, что мечтает поехать повидать мать, которая жила где-то под Парижем, он же тогда ютился на окраине Вены. «Вот все собираюсь поехать к маме, да со здоровьем моим пока не получается», — писал он. Не знаю, удалось ли ему это. Вскоре я получил от его сожителя извещение о его смерти.

У Никиты была сестра Машута и брат Вася<sup>146</sup>. Вася тоже был наш крымец, только на несколько лет моложе. Помню, он маленький приходил к нам в роту проводить брата. После окончания корпуса он поступил в Белградский университет, но мирная жизнь эмигранта его не удовлетворила. Он вступил в Союз Нового Поколения, призывавший тогда русскую молодежь к активной борьбе с большевиками. Этой работе он отдает себя полностью и как завершение посылается с задани-

ем в Советский Союз. В 1939 году, за несколько недель до начала мировой войны, он вместе с Шурой Колковым<sup>147</sup> и Леушиным<sup>148</sup> переходит в Польшу границу.

Шура Колков тоже наш кадет-крымец. Я его помню тоже еще по Крыму — мы в один день с ним приехали с фронтов в Феодосию; я попал в 3-й, а он в 4-й класс. В то время еще почти мальчик, ему было лет пятнадцать, он был уже в погонах вахмистра.

В группе, шедшей в Россию в 1939 году, Шура Колков был за руководителя, т. к. уже имел в этом деле стаж. В этом 1938 году он ходил с заданием в Россию, пробыл там несколько месяцев и благополучно вернулся обратно. Но из похода 1939 года ни Вася Дурново, ни Шура Колков, ни Леушин не вернулись. Переход через границу прошел благополучно, но после этого от них никаких сведений не поступило. Начавшаяся война смешала все карты и замела все следы.

Машута Дурново сначала училась в гимназии в Пановичах (Словения), потом, как мне кажется, училась не то в Кикинде, не то в Бечее. Моя жена помнит ее именно по Пановичам. Машута была из них самой озорной девчонкой, бичом классных дам, а потому и одной из самых популярных у подруг. В памяти других, кто ее знал позднее, она осталась как жизнерадостная, всегда веселая молодая женщина. Милостивая, с челкой на лбу, картавящая при разговоре, с огромным запасом энергии, запевала в хоре, всегда душа общества. Но это одна сторона ее облика. Как она себя показала в дальнейшем, она также была человеком, готовым на большие жертвы. Она, как и ее брат Вася, стала членом Союза Нового Поколения и, как он, когда было нужно для дела, бросила все и пошла в Советский Союз. Вместе со своим мужем, Георгием Казнаковым<sup>149</sup>, в 1940 году она из Румынии перешла в Бессарабию, которая тогда была занята Красной армией. Потом от них было сообщение, что они благополучно добрались до Кишинева. Больше известий не было, — что случилось с ними, так и осталось неизвестно.

Теперь, оглядываясь назад, смотришь на все другими, более трезвыми глазами. Конечно, много было ненужной бравады, по молодости лет лишней самоуверенности, часто неосновательной и раздражающей других нетерпимости, но, не будь этих так называемых «нацмальчиков», нечем было бы вспомнить нам, тогдашней русской молодежи в Югославии — теперь старикам — эти предвоенные годы.

Мать Дурново, сама в прошлом сестра милосердия Добровольческой армии, вырастившая двух сыновей и дочь, умерла одинокая и всеми забытая несколько лет назад в старческом доме под Парижем.

К слову сказать, мне Никита Дурново писал, что после выхода из концлагеря, перед тем как быть выпущенным за границу, он был на-

правлен в транзитный лагерь для тех, кого собираются выпустить из Советского Союза. Там он встретил еще одного нашего кадета-крымца, Колю Воинова<sup>150</sup>, а также Марию Дмитриевну Пепескул, игравшую вначале важную роль в Союзе Нового Поколения. Но как видно, большевики раздумали их выпустить, т. к. о них позднее ничего не было слышно.

*С. Войцеховский*

## ЭПИЗОДЫ<sup>151</sup>

### Опечатка

В 1920 году Б.В. Савинков основал в Варшаве ежедневную газету «Свобода», переименованную — после его высылки из Польши — в «За Свободу». Ставший тогда ее редактором Д.В. Философов был, как и Савинков, врагом большевиков, но в то же время противником эмигрантов, веривших в возможность восстановления монархии в России. В резких статьях он одинаково не щадил коммунистов и «реакционеров».

Этим он мог бы привлечь сердца существовавшей тогда в польской столице небольшой русской демократической группы, состоявшей из двух-трех социалистов и нескольких единомышленников П.Н. Милюкова, но едким сарказмом Философов их оттолкнул. Об единственном варшавском меньшевике Ю.А. Липеровском, как-то совмещавшем до революции принадлежность к социал-демократической партии с должностью воспитателя в кадетском корпусе, он написал, что голову ему заменяет медный таз, а варшавского корреспондента парижских «Последних Новостей» А.П. Вельмина<sup>152</sup> прозвал «помощником нотариуса» и не упускал случая прибавить эту кличку к его имени. Не мудрено, что демократическая группа его возненавидела. Создалось положение, в котором газета могла назвать друзьями всего лишь нескольких бывших сотрудников Савинкова по Народному Союзу Защиты Родины и Свободы.

Толчком к выходу из этой изоляции стал для нее — в июне 1927 года — выстрел Б.С. Коверды в советского посла Войкова. Действовавший тогда в Польше закон об ускоренном судопроизводстве предусматривал за политическое покушение только два наказания — смертную казнь или пожизненное заключение. Русских эмигрантов это, конечно, взволновало. Они захотели помочь Коверде подготовкой его защиты. Почин был сделан председателем Российского Комитета в Польше В.И. Семеновым, человеком состоятельным и поэтому независимым. Нужно было

спешить, так как, по тому же закону, суд обязан был вынести приговор в семидневный срок.

Русский виленчанин, адвокат П.В. Андреев, значительно позже — в 1940 году — арестованный в Вильне чекистами, вывезенный ими в Россию и пропавший без вести в казанской тюрьме, вызвался приехать в Варшаву для защиты подсудимого. По просьбе Семенова польский юрист, бывший киевский присяжный поверенный Мариан Недзельский согласился в этой защите участвовать. Все казалось налаженным, когда Философов неожиданно сообщил, что хочет встретиться со мной по очень срочному делу. Предложить эту встречу Семенову он не мог, так как однажды высмеял в статье его небольшой рост, полноту и близорукость.

Я знал редактора «За Свободу» только понаслышке. Пропать, отделявшая его от консервативной части русских эмигрантов, была настолько глубока, что за первые шесть лет моей эмигрантской жизни в Варшаве мы ни разу не встретились. Услышав, однако, что речь будет о Коверде и его судьбе, я ответил, что немедленно приеду.

Разговор состоялся в тесной, заваленной книгами и газетами комнате, которую Философов снимал в квартире не то немецкой, не то еврейской семьи. Сразу, без обиняков, он сказал, что участие Недзельского в защите будет вызовом правительству Пилсудского, так как этот адвокат — член ненавистной маршалу оппозиционной национал-демократической партии. Он прибавил, что на снисходительность суда можно надеяться лишь в том случае, если, кроме Недзельского и Андреева, защитниками будут варшавские адвокаты Францишек Пасхальский и Мечислав Эттингер. Он попросил меня срочно сообщить это Семенову — не как ультиматум, а как совет человека, равнодушного к судьбе Коверды.

Семенова рассказ об этом разговоре возмутил. Против Эттингера он не возразил, но от приглашения Пасхальского отказался наотрез, назвав его «русофобом, революционером и масоном — олицетворением сил, ополчившихся на Россию в 1917 году». Успокоившись, он все же попросил меня у Пасхальского побывать.

Я это сделал на следующий день — не один, а с Философовым. Украшенная — в лучшей части города — коллекцией великолепного фарфора, богатая квартира близкого к правящим польским кругам адвоката не вязалась с представлением о левизне и революционности. Договорились мы легко. Кем-то, очевидно, предупрежденный, он не удивился обращенной к нему накануне судебного разбирательства просьбе стать защитником Коверды, а о Недзельском не сказал ни слова. Мне это показалось предзнаменованием того, что на смертной казни прокурор настаивать не будет. Суд приговорил подсудимого к пожизненному заключению, но обратился к президенту Игнатию Мосцицкому с просьбой о замене пятна-



дцатью годами каторжной тюрьмы. Президент это отклонил, но 3 мая 1928 года приговор был смягчен объявленной в Польше амнистией.

Дело Б.С. Коверды стало началом постепенного сближения редактируемой Д.В. Философовым газеты с теми, кого он недавно обвинял в реакционности. Нападки на В.И. Семенова и возглавленный им комитет прекратились.

В моей жизни это лето было трудным. Я только что испытал — в апреле 1927 года — тяжкий политический удар — разоблачение советской провокации в том якобы тайном Монархическом Объединении России, с которым был связан и которое вошло в историю под своим «конспиративным» обозначением «Трест».

Сознавая мою неопытность и неосторожность, я — после этой катастрофы, постигшей не только меня, но и созданную генералом А.П. Кутеповым боевую организацию, — стал снисходительнее к тем, кого раньше осуждал. Отношение к Философову смягчилось тем более, что я был ему признателен за заботу о Коверде. Побывав в редакции «За Свободу», я познакомился с ее сотрудниками и стал членом созданного ими русского Литературного Содружества.

Повлияло на мои отношения с редактором газеты и сделанное им мне в апреле 1928 года предостережение о возможных последствиях столкновения моего брата Юрия с несколькими членами Объединения Русской Молодежи в Польше, обвинявшими его, как председателя, в «диктаторских замашках». Этот конфликт — по словам Философова — превратился в травлю, начатую двумя молодыми людьми, оказавшимися, много лет спустя, в захваченной коммунистами Польше, советскими агентами.

Философов предвидел, что это может толкнуть Юрия на необдуманый поступок, и не ошибся — 4 мая 1928 года мой брат выстрелил в Варшаве в советского торгового представителя Лизарева, легко его ранил и был приговорен за это к десятилетнему, позже сокращенному, заключению, которое отбыл в Мокотовской тюрьме. После этого покушения на жизнь советского «дипломата» польское правительство закрыло Российский Комитет и выслало В.И. Семенова во Францию. Эмигранты лишились заступника, не жалевшего времени и средств на нужную им правовую и иную помощь.

Хотелось это исправить, но заняться общественными делами я не мог, так как, вскоре после разоблачения «Треста», генерал Кутепов назначил меня своим резидентом в Варшаве для связи с польским генеральным штабом. В январе 1930 года, после похищения генерала чекистами, я понял, что конспиративная борьба с коммунистическими захватчиками власти в России ведется неравными силами, поглощает много напрасных

жертв и должна быть заменена другим подходом к освободительной задаче. В этом мнении меня невольно укрепил генерал А.М. Драгомиров, которому ставший после Кутепова возглавителем Русского Обще-Воинского Союза генерал Е.К. Миллер доверил руководство боевой организацией. Он потребовал от меня действий, не только неосуществимых в варшавской обстановке, но и несовместимых с тем доверием, которое мне, как представителю Кутепова, оказывал генеральный штаб. Попытка переубедить нового начальника в нецелесообразности и — в моем случае — неблагоприятности «конспирации на два фронта» не удалась. Из организации я выбыл, и это заставило подумать о возобновлении прерванной высылкой В.И. Семенова политической и юридической защиты бесподанных русских эмигрантов. Моим замыслом я поделился с двумя деятелями, которые по возрасту, опыту, положению в дореволюционной России и значению в варшавской русской колонии были старше и авторитетнее меня, — с генералом П.Н. Симанским и с Н.Г. Булановым.

Симанский был по происхождению дворянином и помещиком; по образованию — офицером генерального штаба, а по призванию — историком, автором монографии о Суворове и многих научных трудов, а в эмиграции — сотрудником польского журнала «Беллона», посвященного военной истории и стратегии. Буланов, коренной москвич, был до революции гласным городской думы, представителем именитого купечества, разделявшим умеренные взгляды октябристов. В годы польско-советской войны он был в Варшаве одним из членов созданного Савиновым Русского Политического Комитета, от имени которого подписал мертворожденное соглашение с Петлюрой, а после войны стал там же преуспевающим строительным подрядчиком.

Оба были людьми набожными, консервативной и в то же время прагматической складки, понимавшими неизбежность компромиссов, на которых строится любая нетоталитарная общественная жизнь. Оба присоединились к моему мнению о необходимости создания в Польше нового эмигрантского комитета, но не могли ответить на вопрос — как найти приводной ремень к тем польским правительственным учреждениям, от которых зависело достижение намеченной цели. Мое предположение, что, при очевидном желании Философова найти общий язык с «правыми», помочь может именно он, показалось им верным. Переговоры с редактором «За Свободу» были поручены мне.

Был составлен меморандум, объясняющий наши намерения. Философов передал его начальнику восточного отдела министерства иностранных дел Тадеушу Голувко, понимавшему — в отличие от некоторых других влиятельных поляков, — что пестрый этнический состав населения Польши обязывает ее к удовлетворению хотя бы наиболее насущ-

ных нужд национальных меньшинств. Русские эмигранты, с точки зрения международного права, были иностранцами, но Голувко признал, что существование их представительства будет полезно не только им, но и польской власти. Он убедил в этом министерство внутренних дел, утвердившее в 1931 году устав Российского Общественного Комитета в Польше. Его первым председателем стал Буланов, а одним из членов правления — Философов.

Возникновение этой коалиции предрешило судьбу газеты, основанной Савинковым, но ее замена новой, названной «Молва», стала возможной не сразу. Нужно было договориться о программе, о редакции, сотрудниках и типографии. Подразумевалось само собой, что Философов останется издателем. Вероятно, не без помощи Голувки ему удалось получить согласие распространенной польской газеты «Экспресс Поранны» на использование ее великолепных, только что доставленных из Дрездена ротационных машин, позволивших украсить газетные листы новинкой — цветными иллюстрациями.

Никогда — ни раньше, ни позже — русская эмигрантская газета не печаталась в столь благоприятной обстановке. Глаз, привыкший к тесным, темноватым помещениям небольших типографий, к пятнам черной краски на полах и стенах, к обрывкам грязной бумаги по углам, не мог наглядеться на высокий, просторный, светлый зал, на его безупречную чистоту и на чудесные машины, выбрасывавшие на стоящие перед ними столы аккуратно сложенные четверо экземпляры газеты.

По соглашению Философова с «Экспрессом Поранны» первый номер «Молвы» появился 6 апреля 1932 года. К этому дню еще не все было готово. Не была снята квартира для редакции. Не был даже установлен ее состав. Поэтому в первом номере он не был указан, а написанная Философовым передовая статья им подписана не была. Она отметила, что газета «начинает свое бытие во дни, когда русское зарубежье переживает тяжелый моральный кризис».

«Причины кризиса, — утверждала статья, — сложны и многообразны. Питает его, главным образом, насильственный отрыв зарубежья от родины, слишком затянувшееся пребывание на чужбине. В этой нездоровой атмосфере люди зачастую теряют бодрость и энергию и, что особенно страшно, должную сопротивляемость разлагающим элементам». Поэтому газета, написал ее издатель, «должна быть фактором созидующим и ведущим, обращать свой голос ко всем живым силам зарубежья, поднимать их энергию, бороться с их усталостью и распыленностью, а потому нашей главной задачей мы считаем действительное объединение активных групп эмиграции. Все непримиримые противники коммунизма и большевизма, от умеренного монархизма до крестьянского демокра-

тизма с республиканским уклоном, по глубокому нашему убеждению могут, и должны быть нашими союзниками и соратниками в борьбе за свободную Россию».

От мнений Савинкова и прежних взглядов самого Философова в этом призыве к созданию широкой политической коалиции с участием пусть только «умеренных» монархистов не осталось, таким образом, ничего. «Новую Россию, — сказано было затем в статье, — мы мыслим как Россию-Империю, народы которой равноправны, граждане которой ограждены равным для всех законом. Ни реставрации, политической или социальной, ни какого-либо соглашательства с коммунизмом и большевистским правительством. В новой России, признающей нынешнее территориальное устройство Европы, должна осуществляться мирная созидательная работа, безмерно трудная после долгих лет большевистского разгрома». Упомянуто было и внимание, которое газета хотела уделить «всем молодым начинаниям в области общественной и культурной».

Несколько дней спустя все было улажено и в заголовке, рядом с названием газеты, были перечислены члены редакционной коллегии и самой редакции. Председателем коллегии стал, конечно, Д.В. Философов, а ее членами — В.В. Бранд<sup>153</sup>, Е.С. Вебер-Хирьякова, Г.Г. Соколов и я. В редакцию — кроме Соколова и меня — вошел А.И. Федоров.

Трудно было бы тогда предсказать судьбу создателей новой газеты. Философов скончался в августе 1940 года, в Отвоцке под Варшавой, после долгой и мучительной болезни, причинившей ему тяжкие страдания. Он был погребен на варшавском православном Вольском кладбище, но могила не сохранилась.

В.В. Бранд был из всех сотрудников «Молвы» наиболее близким к Философову человеком. Их связывало прошлое участие в савинковском Народном Союзе Защиты Родины и Свободы. После его разгрома Бранд не сошел с пути политической конспирации. Он был одно время связан с Братством Русской Правды<sup>154</sup>, а затем стал одним из ведущих членов Национально-Трудового Союза Нового Поколения. В 1941 году этот союз, слегка изменивший к тому времени свое название, командировал его, как многих других своих членов, на занятую германскими войсками русскую территорию. В марте следующего года он скончался в Смоленске от тифа.

Е.С. Вебер-Хирьякова и ее муж, А.М. Хирьяков, которого иногда называли «другом Льва Толстого» потому, что в молодости он, бросив службу во флоте, стал толстовцем и бывал в Ясной Поляне, приехали в Варшаву из Парижа по приглашению Философова, который рассчитывал на их помощь в редакции «За Свободу». В этом он отчасти просчитался — душевно и телесно бодрый, несмотря на немалый возраст, Хирьяков был литератором, но не журналистом. В Литературном Содружестве он удив-

для слушателей необыкновенной памятью — мог прочитать наизусть не только несколько лирических стихотворений, но и целую поэму. Все злободневное занимало его мало. Зато неоценимой помощницей редактора стала молодая, по сравнению с мужем, Е.С. Вебер-Хирьякова, соединившая свою девичью фамилию с фамилией супруга. Она угадывала настроение Философова, понимала вызванную скрытой причиной сложность его характера, при которой ладить с ним было не легко.

Жизнь ее оборвалась трагически. В октябре 1939 года, на третий или четвертый день германской оккупации Варшавы, она отравилась и пыталась отравить свою семилетнюю дочь — красивую, похожую на отца девочку, которую родители называли Елочкой. Сделала она это потому, что была еврейкой и понимала, чем ей и ребенку угрожает гитлеровский расизм. Девочка, однако, выжила, а после смерти отца, скончавшегося в 1942 году, ею занялись польские монахини. В католическом монастыре она благополучно дождалась конца войны.

Г.Г. Соколов не воспользовался в июле 1944 года, при приближении советских войск к Варшаве, предоставленной русским эмигрантам возможностью эвакуироваться на Запад. Он остался в захваченной коммунистами Польше, сговорился с ними и был «избран» председателем советофильского Русского Благотворительного Общества, но был им недолго. Запутавшись в каких-то сделках, он был обвинен в спекуляции и арестован. Его дальнейшая судьба мне не известна.

А.И. Федоров вовремя выехал из Варшавы и прожил, после войны, несколько лет во французской зоне Германии. В 1950 году он переехал отсюда в Соединенные Штаты, где стал позже преподавателем русского языка и профессором Роттерского университета в Камдене.

По печальному опыту я знал, как может повредить газете опечатка. Поэтому в тот день, когда впервые в «Молве» должны были быть названы члены редакционной коллегии, я предупредил корректора А.С. Домбровского, что хочу увидеть полосы, то есть сверстанные страницы, до их сдачи в печать.

Домбровский — бывший армейский пехотный офицер и георгиевский кавалер — был человеком необыкновенно добросовестным. При большой семье жилось ему нелегко, но печатное дело он любил и работал для русской газеты, хотя, как польский гражданин, мог легко найти более прибыльное занятие. На него можно было положиться, но — тем не менее — когда он по телефону сообщил мне, что номер готов, корректура проверена и за отсутствие опечаток он ручается, я настойчиво повторил просьбу прислать полосы на просмотр.

Все, действительно, было набрано безошибочно — и статьи, и информации, и объявления. Я уже хотел подтвердить это моими инициа-

лами, но взглянул на заголовок и — о ужас — увидел, что в словах «редакционная коллегия» пропущена одна буква.

Случайно или сознательно кто-то сделал ошибку, которая — не будь она исправлена — вызвала бы злорадную насмешку тех, кто не мог простить Философому поворот редакционного руля направо. Крупными буквами над его фамилией и именами его новых сотрудников было напечатано: «Реакционная коллегия».

## Трудные годы

Скажи мне кто-нибудь в 1941 году, за две недели до германского вторжения в Россию, что в Варшаве, с моим участием, создается русское правительство, я назвал бы это глупой шуткой. Теперь я знаю, что обвинил меня в этом не кто-либо, а Альфред Розенберг, идеолог национал-социализма.

«Среди докладов Розенберга Гитлеру, — сообщил семь лет спустя Б.И. Николаевский в «Новом Журнале», — имеется внеочередной доклад от 8 июня 1941 года, написанный со следами нескрываемой тревоги. Дело состояло в следующем: в этот день канцелярия Розенберга получила информацию о том, что некто Войцеховский, видный русский эмигрант в Варшаве, ведет разговоры с рядом русских эмигрантов относительно формирования русского антибольшевистского правительства, подчеркивая, что это дело очень срочно ввиду близости войны и что переговоры эти он ведет по поручению человека, близкого к гитлеровскому наместнику в Варшаве — Франку.

Розенберга это дело взволновало не только потому, что оно свидетельствовало о широкой болтовне вокруг подготовки похода на Москву, которая считалась величайшей государственной тайной, но и потому, что оно свидетельствовало о существовании на самой верхушке нацистской партии сторонников совсем иной политики по вопросу о России, чем та, которую проводил он. Он настаивал на недопустимости каких бы то ни было отступлений от линии, которая была наметена им и утверждена Гитлером».

Не мне судить о том, из какого источника Розенберг почерпнул свои фантастические «сведения». Мне не удалось обнаружить упомянутую Николаевским копию доклада Розенберга в тех американских архивах, где она могла сохраниться. Рано или поздно кто-либо ее найдет. О себе скажу только то, что разрыв Гитлера со Сталиным казался мне в 1941 году неизбежным.

Люди осведомленные предвидели его раньше. Бывший министр иностранных дел польского эмигрантского правительства в Лондоне, граф

Эдуард Рачинский, опубликовал 8 августа 1948 года в лондонском еженедельнике «Вядомасці» частичное содержание записи о состоявшейся 19 июня 1940 года встрече Винстона Черчилля с польским премьер-министром, генералом Владиславом Сикорским. «Черчилль, — сказано в этом документе, — надеялся на то, что, после успешной обороны Англии от вторжения, Гитлер будущей весной, хотя бы для того, чтобы чем-то занять свои значительные армии, которые он не захочет и не сможет распустить по домам, соблазнится, может быть, ударом по Москве».

С февраля 1941 года варшавяне не сомневались в предстоявшем германском походе на Восток. Бросалось в глаза накопление немецких войск в Польше. Когда из Брюсселя в Варшаву приехал на несколько дней В.В. Орехов, я показал ему, в центре города, Саксонскую площадь, запруженную военными обозами, и назвал войну неизбежной, вопреки мнению тех, кто утверждал, что эти дивизии «отведены с Запада на отдых», и верил в прочность клочка бумаги, подписанного в августе 1939 года в Москве фон Риббентропом и Молотовым.

К вероятности гитлеровского вторжения в Россию В.В. Орехов не был равнодушен, но об эмигрантском правительстве речи между нами не было. Мы не предвидели самоубийственное безумие национал-социалистического отношения к русскому народу, но полагали, что почин вызванных обстановкой русских начинаний должен исходить в Берлине от генерала В.В. Бискупского.

Упомянутый Николаевским документ доказывает недоброжелательное отношение Розенберга к Франку, которого Гитлер назначил генерал-губернатором небольшой части оккупированной немцами Польши. Избравший своей резиденцией не пострадавшую от войны Варшаву, а избежавший этой участи Краков, наместник фюрера был — не менее Розенберга — орудием его «восточной политики». Приписать ему иные мнения мог только такой его противник, каким был Розенберг.

Я видел Франка только раз — пронесившимся по улицам Кракова в бронированном автомобиле, под охраной пулеметчиков и мотоциклистов. Его подчиненные, ведавшие тем, что немцы называют *Bevoelkerngswesen*, считали русских эмигрантов величиной, не заслуживающей внимания, и занимались преимущественно поощрением польско-украинской РОЗНИ. В книге «*Das Generalgouvernement, seine Verwaltung und Wirtschaft*», изданной в Кракове, в 1943 году, одним из ближайших сотрудников Франка Иосифом Бюлером, украинцам посвящены девять страниц. На трех рассмотрены племенные особенности закопанских горцев, а русскому населению генерал-губернаторства отведены пятнадцать строк: «Русские — великороссы — не могут быть названы коренной этнической группой, так как они, главным образом, оставшиеся в 1915 году (в Поль-

ше) царские чиновники и землевладельцы или политические эмигранты. Поэтому центры русской жизни существуют только в городах прежней «конгрессовой» Польши, прежде всего — в Варшаве, как бывшем административном центре, а затем в Петрокове, Ченстохове, Кракове и некоторых городах Варшавского и Люблинского дистрикта. Все это — небольшие колонии с не превышающим ста человек составом и с незначительным числом детей. Уровень их культурной и экономической жизни, в некоторых случаях, очень высок. Несмотря на исконную вражду русских и поляков, они поддерживают доброжелательные отношения с представителями бывшей польской правительственной власти. Их отношение к Германии лояльно».

Русские колонии в генерал-губернаторстве были действительно невелики, но в Варшаве на учете Русского Комитета состояло свыше 8 тысяч человек.

Автором книги, изданной Бюлером, был его молодой сослуживец и член национал-социалистической партии, д-р Вальтер Фель. Книга поступила в продажу после сокрушительного поражения германских армий на Волге, когда некоторые немцы начали постепенно сознавать совершенные Гитлером в России преступные ошибки, но в 1941 году Франк и его подчиненные были упоены победами над Польшей, Францией и Югославией. Страх перед сговором Франка с русскими эмигрантами мог возникнуть только в больном воображении Розенберга.

Мало кому известный адвокат, защищавший Гитлера в судах Веймарской республики и, в награду, вознесенный его бывшим подзащитным на полупрестол Краковского кремля — Вавельского замка, — Франк вел сохранившийся дневник, обнажающий его поведение. Истребление польского народа или, в лучшем случае, его изгнание на Восток и замена поляков немецкими переселенцами осуществились бы в случае победы Германии, но она с каждым днем становилась все менее вероятной. Поэтому отношение Франка к полякам испытало неоднократные, но не существенные колебания. Прямолинейным — с первого дня до последнего — оно было лишь по отношению к евреям. Задача, которую Франк и его сотрудники пытались разрешить, когда имели дело с остальным, не польским населением, сводилась к желанию отгородить национальные меньшинства от поляков и, если удастся, использовать их в борьбе с ними.

Правление Российского Общественного Комитета предвидело это с весны 1938 года. Столкновение Германии с Польшей казалось ему неизбежным. Гитлеровский антикоммунизм не вызывал преувеличенных надежд. Когда события все это подтвердили, русское население генерал-губернаторства примирилось с установленным новой властью разграни-



чением поляков и меньшинств, но вовлечь его в борьбу с поляками немцам не удалось.

Лежачего не бьют... Свидетели катастрофы, постигшей Польшу, — русские эмигранты, прожившие там два десятилетия, — не забыли это правило. Некоторые поляки ждали от них более враждебного отношения к оккупантам, вплоть до содействия польским подпольным организациям, но эта надежда отклика в русской среде не вызвала. Слишком была памятна недавняя «работа» Союза Православных Поляков, пытавшегося, при поддержке правительства, вытравить «московский дух» из церковной жизни и даже способствовавшего разрушению нескольких православных храмов. Известно было и другое — в сентябре 1939 года не все польские учреждения, застигнутые врасплох молниеносным германским вторжением, успели уничтожить свои архивы. В бумагах келецкого воеводы Дзядоша был найден подписанный председателем совета министров, генералом Славой-Складковским, тайный циркуляр, предписывавший полное искоренение всех проявлений русской жизни в Польше.

В обстановке немецких расправ с поляками и польского контртеррора смешно и глупо было бы мечтать в Варшаве о создании там русского зарубежного правительства.

Отношение русских эмигрантов в Польше и в других европейских странах к войне Гитлера со Сталиным не было единодушным. Немногие отрицали начисто любой стовор с немцами и предпочитали им большевиков. Некоторые — немногочисленные — видели в национал-социализме непререкаемую истину и ждали от германского канцлера чуда — превращения его учения в основу «интернационала» равноправных народов, в том числе и русского. Третьи пошли на связь с «восточным» министерством Розенберга, но, на этом скользком поприще, мечтали о «борьбе на два фронта». Они исходили из наивной веры в неизбежность превращения войны, после поражения Германии, в столкновение ее западных противников с советскими коммунистами. Остальные, рано убедившись в невозможности стовора с Гитлером, надеялись на его замену во главе Германии человеком, понимающим, что без русского участия в борьбе большевики побеждены не будут. Одним из них был генерал В.В. Бискупский.

Номинально он был начальником созданного после прихода Гитлера к власти Управления делами русской эмиграции в Берлине. Оно оказывало бесподанным эмигрантам правовую помощь, но ею занимался С.В. Таборицкий, ставший германским гражданином и членом правящей партии и к тому же не очень с Бискупским ладивший.

Генерал открыто называл себя монархистом и при жизни Великого князя Кирилла Владимировича признавал его главой Дома Романовых, но

это мнение никому не навязывал. В прошлом он был, вероятно, сибаритом, но в Берлине — даже до войны — жил, по сравнению с русскими варшавянами, скудно и считал каждый пфенниг. Розенберг его ненавидел. Выходившая в Берлине под редакцией В.М. Деспотули газета «Новое Слово» это отношение послушно отражала. Генерал А.А. Власов видел в нем ретрограда дворянского толка, а сам Бискупский понимал, что, доколе Розенберг и ему подобные будут влиять на политику Германии, ни о какой русской освободительной борьбе с немецкой помощью речи быть не может.

Существует документ, указывающий на его попытку предупредить немецких противников Гитлера о роковых последствиях ненависти фюрера к России и к русскому народу. Этот документ — запись в дневнике германского дипломата Ульриха фон Хасселя. Ее автор — бывший посол при Квиринале, отозванный из Рима по требованию Риббентропа, — числился на службе, но жил в Берлине не у дел.

«Ко мне, — написал он 13 июля 1941 года, — пришел берлинский представитель организации белых русских, в полном отчаянии именно потому, что он и его друзья поставили на немецкую карту. Он все более убеждается в том, что война ведется не против большевизма, а против русских. Лучшее доказательство состоит в том, что смертельный враг русских, Розенберг, поставлен во главе политического руководства. Он сказал, и я полностью с ним согласился, что, если Гитлер будет так продолжать и определится его цель, во-первых, подчинить Россию национал-социалистическим гаулейтерам и, во-вторых, ее расчленив, Сталину удастся создать возглавленный им русский фронт против германского врага».

В военные годы фон Хассель был с Карлом Фридрихом Герделером и с генералом Людвигом Бекком одним из главных участников заговора, который привел 20 июля 1944 года к покушению на Гитлера в его ставке и к неудачной попытке военного переворота в Берлине. Расследование установило причастность бывшего посла к этим событиям. Он был арестован и казнен 8 сентября. Попади его дневник в руки следствия, Бискупский не избежал бы участи заговорщиков. К счастью, вдова фон Хасселя спасла тетради, которым ее муж неосторожно доверял свои впечатления и разговоры. В 1946 году его дневник был издан в Швейцарии.

### Ночной разговор

В 1951 году в Германии была издана книга Эдвина Эриха Двингера<sup>✓</sup> об А.А. Власове. Эпиграфом к ней были слова казненного большевиком генерала: «Победить Россию могут только русские». Год спустя дру-

гой немецкий писатель — Юрген Торвальд — напомнил, что случается с теми, кого боги лишают разума. Рассказав трагедию Власова и его соратников, он обвинил Гитлера в непонимании значения русского участия в войне со Сталиным.

В отличие от Двингера, который знал Власова, мог вспомнить встречи с ним, но прибавил собственный доммысел, Торвальд собрал документы и показания свидетелей — написал не роман, а достоверный исторический труд. Я знаю его только как автора этой книги и потрясающего описания советского вторжения в Германию, но с Двингером связано воспоминание об его не только литературном, но и личном отношении к России.

Война Германии с большевиками вызвала в оккупированной немцами Варшаве временное и непрочное затишье. После кровавых столкновений с польскими подпольными организациями, после облав и стрельбы на улицах города немцы и поляки были потрясены походом Гитлера на Восток. Их надежда была противоположна, но впечатления одинаковы. Молниеносное наступление германских дивизий, сказочное число взятых в плен красноармейцев вскружили немцам головы, отразились на поляках смущением и унынием. Только немногие понимали, что Смоленск и Киев — не вся Россия. Поражение Сталина казалось окончательным. Упоенные успехом немцы ослабили в Варшаве репрессии. Поляки готовились к саботажу в германском тылу, но еще не приспособились к новому положению.

В ноябре 1941 года неудача немцев под Москвой показала, что об их скорой победе речи быть не может. Робко и неуверенно поползли слухи о страшном русском морозе, о недостаточном снабжении германских войск зимним обмундированием, о неизбежности долгой борьбы с неизвестным исходом. Заговорили варшавяне и о том, что отношение немцев к населению захваченной ими русской территории не отличается от их поведения в Польше и, пожалуй, хуже. Точных сведений не было. Правда была скрыта расстоянием и скудостью достоверной информации.

В один из этих дней временного успокоения в Варшаве и тревожных известий с Востока начальник отдела народонаселения и общественного призрения в немецком губернском управлении Хайнц Ауэрсвальд спросил по телефону, может ли он побывать у меня с писателем, направляющимся в Минск. Я ответил приглашением на тот же вечер.

Поколение, к которому Ауэрсвальд принадлежал, испытало в детстве позор Версальского мира и выросло в Веймарской республике. Оно презирало власть, навязанную Германии военным поражением. Свастика стала для него символом национального возрождения. Как многие молодые немцы, он поверил фюреру. В национал-социалистическую партию при-

влекла его не нужда, а патриотизм. Он вырос в бюргерской зажиточной семье, избежавшей последствий разорительной инфляции, и был до войны адвокатом в Берлине. Случайно я узнал, что к этой профессии он вернулся после поражения Германии и скончался в Дюссельдорфе в 1970 году.

Крушение Польши было для русских варшавян катастрофой. Оно нарушило налаженную жизнь, многих лишило заработка, а некоторых и крова. Тревожнее житейских затруднений стала близость демаркационной линии, за которой — над Бугом — стояли советские войска.

В 1939 году русское население Речи Посполитой состояло из польских граждан и бесподанных эмигрантов. Граждане были — на словах — равноправны с поляками. Их представителем в Сейме был единственный русский депутат, виленский старообрядец Б.А. Пименов. Эмигранты были обладателями нансеновских паспортов, нуждавшихся в частом продлении. Приобрести в Польше недвижимость они не могли. Передвижение по стране было ограничено чертой оседлости. Въезд в восточные воеводства был запрещен и допускался только с особого разрешения. Несмотря на это, жилось в Варшаве русским — даже эмигрантам — беззаботно. Страна дышала изобилием. Не трудно было найти занятие, соответствующее знанию и образованию. Немало было старожилов, связанных с Польшей давними узами. Война ударила по ним так же, как и по полякам.

Разрушительная осада, стремительный распад польского государства и сокрушительная победа Германии вызвали в русской среде понятную растерянность. Из всех существовавших до войны организаций устояла лишь одна — Российский Общественный Комитет. Как только прекратилась воздушная бомбардировка и умолкли обстреливавшие город орудия, этот комитет распахнул двери перед каждым нуждавшимся в помощи. Он сразу стал центром, к которому потянулись не только эмигранты, но и польские граждане, называвшие себя до войны русским национальным меньшинством. Из него, как из малого зерна, вырос в 1940 году избравший меня председателем Русский Комитет — признанное оккупационной властью представительство русской части населения краковского генерал-губернаторства.

Немцы — надо сказать — не сразу обратили внимание на существование в Польше национальных меньшинств. Они не стали преследовать тех русских эмигрантов, которые, в первые дни войны, призвали к сопротивлению Германии. Так, например, не пострадали редакторы варшавского журнала «Меч» — В.В. Бранд и Г.Г. Соколов.

То же можно сказать и об украинцах. Племянник Петлюры, депутат Скрышник, произнес в день вторжения германских войск в Польшу речь, в которой обещал полякам верность и помощь украинцев. Это не помешало ему стать позже на Волини, в годы ее временной оккупации

Германией, епископом украинской православной Церкви, отнюдь не полонофильской. Ныне, как митрополит Мстислав, он возглавляет эту Церковь в Соединенных Штатах и в Западной Европе.

Немцы вначале ограничились тем, что предложили благотворительным и просветительным организациям в генерал-губернаторстве прекратить свое существование и создать взамен лишенные политических функций национальные самоуправления. Первым был основан польский Главный Попечительный Совет, возглавленный графом Адамом Роникером. Несколько позже возникли комитеты — русский, кавказский и украинский — а затем белорусский и татарский.

Положение польской организации стало очень трудным, когда немцы перешли от первоначального притеснения поляков к гонению — к истреблению интеллигенции и молодежи. Рациональные комитеты — за исключением украинского — благоразумно воздержались от всего, что могло навлечь на них ненависть поляков, но председатель украинцев, полковник Поготовко, был уличен в доносах на поляков и расстрелян ими в своем кабинете.

Надзор отдела народонаселения и общественного призрения над деятельностью комитетов был поверхностной формальностью. Затруднения возникали только тогда, когда нужно было хлопотать об освобождении арестованных. Гестапо, от которого их судьба зависела, подчинялось непосредственно Берлину, а Краков оберегал свое местное значение и запретил любое обращение комитетов к немецким полицейским учреждениям. Поэтому благожелательность Ауэрсвальда имела немалое значение. Возглавлявший кавказских эмигрантов д-р Г.К. Алшибая, умный и тонкий дипломат, не поладил с второстепенным чиновником и вынужден был уступить свое место более покладистому князю Накашидзе.

Секретаршей Ауэрсвальда была, в первые месяцы оккупации, эффективная, голубоглазая уроженка Риги. Она превосходно говорила по-русски и по-польски и поэтому помогла своему начальнику разобраться в запутанном наследии польской политики — отношении к национальным меньшинствам и к эмигрантам. Она сразу стала его незаменимой сотрудницей, а вскоре и женой. Победы Гитлера во Франции, Норвегии и на Балканах поразили ее воображение, воспламенили немецкий энтузиазм. Впрочем, и тогда она осталась человеком сострадательным и добрым. Я сохранил о ней признательную память.

Из нескольких тесных комнат, в которых война застала Российский Общественный Комитет, он переехал, весной 1940 года, в прелестный особняк графа Стефана Тышкевича на аллее Роз. Под квартиру председателя и мою канцелярию был снят один из этажей барского дома на Вейской улице.

Я знал эту часть Варшавы с детства. С балкона, наискосок, я мог увидеть дом, в котором несколько десятилетий прожил В. К. Гловацкий<sup>155</sup>, друг и однополчанин моего отца. За углом были ворота, из которых нянька вывозила меня в младенчестве на прогулку в Уяздовские аллеи. Дальше, за великолепным парком королевских Лазенок, стояли бывшие казармы л.-гв. уланского Его Величества полка, в который мой отец вышел корнетом из кавалерийского училища. Все вокруг напоминало мне не только детство, но и невозвратную связь Варшавы с Россией, да и сама моя квартира была русским островком в польском море.

Днем, когда в приемной толпились посетители, в канцелярии стучали пишущие машинки, а в мой служебный кабинет проникали отголоски тревожной и опасной жизни варшавян, русский облик моего жилища временно затемнялся. Вечером наступала тишина. Служащие расходились. Только у входных дверей оставалась вооруженная охрана. Во многих комнатах гасился свет. Шумное учреждение становилось на ночь частным обиталищем.

В каждой комнате — как полагается — висели образа, перед которыми до меня молились предки. Сидя в кабинете за письменным столом, я видел на стене большой, во весь рост, портрет императора Николая Павловича в резной позолоченной раме. Он был изображен на поле битвы, в лосинах и ботфортах, с голубой андреевской лентой через плечо и треуголкой в левой руке. В столовой портрет его несчастного правнука в красном доломане и белом ментике гвардейских гусар отражался в большом зеркале, висевшем над буфетом. Справа от царского портрета, в столовой, на полках застекленной горки лежали русские ордена и медали. Над ними сказочные павлины распускали белые хвосты на фарфоровой вазе, изготовленной по датскому образцу в России императорским заводом в честь скандинавской принцессы, ставшей русской императрицей. Слева, на акварели знаменитого художника, добрый молодец в парчовом кафтане и соболиной шапке, поднося к губам цветущую розу, улыбался красной девиче в ярком сарафане.

В этой русской обстановке Ауэрсвальд познакомил меня с Двингером. Гости приехали поздно. Как он это делал часто, Ауэрсвальд привез не только писателя, но и свою жену. На нем был темный костюм. Только незаметный, круглый значок в петлице пиджака выдавал его принадлежность к партийной элите. Двингер — невысокий, коренастый, с первым признаком проседи в темных волосах над живым, выразительным лицом — появился в непонятном мундире, не военном и не партийном, с заменяющим погоны серебряным жгутом на плечах.

Ауэрсвальд назвал его своим другом и вскользь упомянул его звание прусского академика, прибавив, что некто в Берлине, сохраняющий

инкогнито, встревожен положением в России. Москва не взята; сопротивление советской армии ожесточилось; население, встречавшее немцев с хлебом и солью, помогает красным партизанам. Некто хочет знать, почему это случилось. Двингер должен побывать на занятой германскими войсками советской территории и, вернувшись в Берлин, сообщить свои впечатления. В то время когда малейшее сомнение в победе Гитлера называлось преступлением, это начало разговора было доказательством безграничного доверия. Я спросил Двингера, знает ли он русский язык, и услышал, что в первую войну он побывал в нашем плену.

В доме было тихо, и так же тихо было на улице. Домоправительница, пожилая женщина, знавшая пять поколений моей семьи — от прабабушки до моей внучки, — уже спала. Моя жена поставила на стол тот душистый, крепкий кофе, который способствует беседе. Мы одинаково понимали, что настали роковые дни. Мы одинаково были встревожены, хотя повод к тревоге был, конечно, разным. Мои собеседники были немцами. Их волновала судьба Германии. Мне Россия была дороже, но мы одинаково знали, что победа Сталина, если она суждена, пронесется как смерч, не только над Германией, но и над русским народом и русскими эмигрантами. Никогда — ни до ни после войны — я не разделял иллюзии тех, кто верил в перерождение коммунизма. В зловещей тишине варшавской зимней ночи мы разное относились к национал-социалистической Германии, но одинаково предвидели, что нам сулит ее поражение.

Я рассказал недавнюю поездку в Берлин и безуспешную попытку найти там людей, понимающих, что поведение немцев в России сулит им гибель. Я сказал то, что позже повторил генерал Власов, — покорить Россию невозможно, победить коммунизм может только русский народ. Мне не пришлось тратить время на доводы. Двингер схватывал слова на лету, поддерживая меня всякий раз, когда Ауэрсвальд возражал только для того, чтобы не видеть пропасть, которую мы ему показали. Его жена, долго слушавшая нас внимательно и молча, неожиданно вмешалась в разговор. Она, очевидно, не могла примириться с крушением мечты. Ей трудно было признать, что Германия зашла в тупик.

— Русский народ, — сказала она, — истощен коммунистическим террором. Его правящий слой истреблен. Без немецкой помощи Россия никогда не наладит новой жизни.

Она в это, видимо, верила. Русские эмигранты не были в ее представлении врагами. Со мной она захотела быть откровенной до конца.

— Подумайте, как это было бы прекрасно! — воскликнула она. — Мой муж мог бы стать, например, сибирским генерал-губернатором, а вы, господин Войцеховский, его помощником...

Предвкушение этого счастья вспыхнуло в ее глазах. Они потухли под укоризненным взглядом Ауэрсвальда. Может быть, она невольно выдала то, о чем и он мечтал, когда немецкие танки неудержимо катились на восток, но в эту ночь он понял, что предлагать мне, в моем доме, перед портретом русского монарха, положение германского чиновника в недостижимой Сибири смешно и неприлично. Бестактность жены его расстроила. Он попробовал это заглазить, обратившись к Двингеру:

— Вот, кстати, о Сибири... Вы там побывали... Скажите, вам там было очень тяжело?

Немецкий писатель, которому когда-то далекая Сибирь казалась, может быть, страной кнута и каторги, отмахнулся от вопроса как от назойливой мухи.

— Ах, бросьте, — ответил он раздраженно и на мгновение замолчал. Потом, другим голосом, прибавил восторженно и убежденно: — Поверьте мне, господа... Кто не знал прежней России, тот не знал счастья...

### Братья Котляревские

А.П. Вельмин был до осени 1939 года варшавским корреспондентом парижских «Последних Новостей». Бывший киевлянин, член «кадетской» партии, он и в эмиграции остался единомышленником П.Н. Милюкова. В 1936 году он был избран председателем Русского Попечительного Комитета в Польше, основанного Б.В. Савинковым после прекращения польско-советской войны, но ставшего позже прибежищем варшавской Русской Демократической Группы.

В сложной обстановке германской оккупации он от участия в русской общественной жизни уклонился. По его собственным словам, возглавленный им комитет «с приходом немцев предпочел совсем прекратить свою деятельность».

К созданному остальными русскими организациями, под моим председательством, Русскому Комитету он отнесся отрицательно и понял пользу, приносимую им русской части населения, лишь тогда, когда захотел навестить в Саксонии своего друга, бывшего члена Государственной Думы, барона Ф.Р. фон Штейнгеля. Поездка была невозможной без удостоверения о русской национальности, которое он, конечно, за моей подписью получил. Это рассказано им в статье «Русское население в Польше во время немецкой оккупации» (Новый журнал. 1946. № XIV). В той же статье он упомянул трагическую судьбу братьев Котляревских.

«Когда, — написал он, — в 1943 году усилились убийства немцев в Варшаве польскими тайными организациями, немцы ответили на это



расстрелами заложников. Не проходило недели, чтобы не было расстреляно 100—200 человек. Расстрелы эти производились публично на улицах и площадях города. Обыкновенно вывешивались большие списки заложников, причем указывалось, что все это «агенты англо-американской плутократии и коммунистического большевизма», которые приговорены к расстрелу, но будут помилованы, если в течение трех месяцев не будет ни одного покушения на немца. Так как покушения не прекращались, то через несколько дней публиковался этот же список, но с указанием, что все эти лица публично расстреляны. Затем публиковался новый список заложников. Разумеется, все заявления, что эти лица были какими-то «агентами» и были за это судимы, являлись сплошной ложью. Немцы просто помещали в списки лиц, находившихся в данный момент в тюрьме, а иногда и лиц, только что захваченных при очередной облаве на улицах города. В эти же облавы попадали совершенно мирные, случайные прохожие. Производились эти облавы с целью набрать людей на работы в Германии.

В число таких «агентов» попали и некоторые русские, в том числе бывший редактор газет «Наше Время» и «Русское Слово» Ф.А. Котляревский и его брат. На квартире Ф.А. Котляревского был арестован его родственник, поляк, у которого были найдены нелегальные польские издания. Это было достаточно, чтобы все жившие в этой квартире лица были арестованы, а на другой день Ф.А. Котляревский и его родственник попали в число «агентов», подлежащих расстрелу. Все усилия председателя Русского Комитета С.Л. Войцеховского спасти Ф.А. Котляревского не имели успеха, и через несколько дней мы прочли его фамилию еще раз — в списке расстрелянных. Брат же его погиб по собственной неосторожности — в момент ареста всех живших в квартире он не был дома. Чины гестапо заперли пустую квартиру и взяли с собой ключи. На другой день, узнав об этих арестах, Е.А. Котляревский, несмотря на предостережение друзей, имел неосторожность отправиться в гестапо за ключами от квартиры. Оттуда он не вернулся, а через несколько дней и он фигурировал в списке расстрелянных «агентов». Оба брата Котляревские были хорошо известны в нашей варшавской русской колонии и, конечно, не были никакими «агентами» и не принимали никакого участия в деятельности польских антинемецких организаций».

Так — в 1943 году — думал и я, но теперь знаю, что попытка спасти Ф.А. Котляревского от расстрела была не только безуспешной, но и безнадежной. А.П. Вельмин ошибся, предполагая, что Ф.А. Котляревский не был причастен к борьбе польских тайных организаций с германской оккупацией. Правду я узнал в 1954 году из воспоминаний бывшего возглавителя польского вооруженного сопротивления, адвоката Сте-

фана Корбонского (Stefan Korbonski. W imieniu Rzeczy-pospolitej. Paryz, 1954).

«Был у нас в центре, — рассказал он, — молодой человек из Познани, среднего роста, рыжеволосый, молчаливый и старательный, всегда очень хорошо одетый. По профессии он, кажется, был юристом — студентом или кандидатом на судебную должность. Не было случая, чтобы я, в том или ином нашем помещении, не застал его, всегда на месте, внимательным и готовым к услугам. Он был чем-то вроде секретаря Возглавления Гражданского Сопротивления. В разговорах я его называл Рыжим. Псевдонима и фамилии не помню.

В начале 1943 года наш центр помещался на улице Згода, вблизи Хмельной, в квартире доцента, ботаника Вишневого, или, точнее, его тестя, белого русского, бывшего до войны редактором русской эмигрантской газеты... Он не раз открывал мне двери, но за все время мы не обменялись ни одной фразой. Позже Вишневский начал работать для нас, в частности прятал наши бумаги в своих гербариях. Несколько тысяч папок, содержащих засушенные растения, лежали на деревянных полках в его комнате, и мы временно пользовались ими для нашего архива. Вишневский рассказал мне, что его тесть не только сторонится тех белых русских и их организации в Польше, которые пошли на сотрудничество с немцами, часто только ради лучших продовольственных карточек, но даже считает, что пользовавшиеся в течение стольких лет польским гостеприимством русские не должны вести на польской территории политики, расходящейся с интересами хозяев. Может быть, тут имели значение и другие побуждения, как, например, нежелание идти с Германией против России, даже советской, но — так или иначе — в нашем распоряжении была квартира, принадлежавшая русскому.

Однажды Рыжий, с глазу на глаз, сказал мне, что неожиданно встретил на улице старого знакомого, поляка Л., ныне несомненного агента гестапо, который немедленно привязался к нему, расспрашивая, чем он занимается в Варшаве и как устроился. Рыжий с трудом от него отделился, но после этой встречи чувствует себя в опасности тем более, что живет по «левым» бумагам, так как гестапо — вот уже два года — разыскивает его, как участника подпольной организации, провалившейся в самом начале своего существования. Он не сомневался в том, что Л. сделает все возможное, чтобы его проследить и выдать.

Мы все, без исключения, разыскивались гестапо, но все же нехорошо, что его агент напал на прямой след сотрудника центра. Так как роль Л. как агента гестапо была установлена, раздумье было кратким, а решение — немедленным и, я сказал бы, по тому времени шаблонным: «Нужно дать знать кому следует и убрать Л. возможно скорее. Приго-

товъге соответствующее распоряжение на подпись и, лучше всего, сами его отвезите. Завтра не появляйтесь здесь и, если возможно, не оставайтесь в Варшаве и, во всяком случае, перемените конспиративную квартиру. Контакт с нами сохраните только через связную»... Рыжий исчез, и только раз в несколько дней связная Дуся сообщала, что он жив и здоров. Настал день, когда связь оборвалась и Рыжий пропал бесследно. Мы немедленно очистили и «усыпили» все известные ему помещения... Я поговорил с Вишневым и потребовал, чтобы все покинули квартиру, по крайней мере на короткое время, и скрылись. Я предложил денежную помощь, поддельные документы. Вишневский, однако, отказался, утверждая, что, во-первых, если Рыжий и арестован, то никого не выдаст, потому что он — человек стойкий, а во-вторых, квартира очищена до последней нитки и гестапо в ней ничего не найдет.

Слушая его, я с сомнением качал головой. Я бы не поручился за кого-либо, не исключая меня самого, если бы дело дошло до пыток. Как можно сказать? Но ничего не поделаешь! Не хотят — пусть не хотят. Может быть, Рыжий не арестован, а только скрылся в провинцию? Голова была забита множеством других вопросов, связанных с его исчезновением, так что о квартире на улице Згоды я думать перестал.

Несколько дней спустя была получена плохая весть. Гестапо ночью ворвалось в квартиру и захватило там всех... На четвертом году войны сознание притупилось и никто так живо, как в начале оккупации, на подобные случаи не отзывался... Однако я едва устоял на ногах, пробегающая как-то утром взглядом красную афишу с фамилиями лиц, расстрелянных во время публичной казни, наткнулся на имена Вишневого и его тестя. Не поверив глазам, я прочитал их вторично. Несмотря ни на что, я не был подготовлен к такому скорому концу. Сомневаться, однако, я не мог... Так погиб молодой, многообещающий ученый и, вместе с ним, как косвенный участник нашей борьбы с Германией, благородный русский человек».

До войны Ф.А. Котляревский жил в Варшаве, но принадлежавшая ему газета «Русское Слово» выходила в Вильне, где типографией ведал его брат. Оба были людьми купеческой складки, и дела их шли недурно. Газета не была эмигрантской и только с оговоркой могла быть названа антисоветской. Эмигранты довольствовались существовавшими — в разное время — в Варшаве газетами «За Свободу» и «Молва» или выписывали из Берлина, Парижа и Риги другие русские издания. Котляревские обращались не к ним, а к многочисленному коренному населению восточных окраин Польши, часто называвшему себя украинцами или белорусами, но тяготевавшему к русскому печатному слову. Угождая читателям, они уделяли в своей газете больше внимания местной жизни, чем русским темам.

Советофильским «Русское Слово» не было, но часть его сотрудников считала, что «Россия в любом кафтане — белом или красном — остается Россией». Эта фраза была однажды сказана бывшим депутатом польского Сейма Н.С. Серебренниковым, побывавшим до войны в Москве и заручившимся там представительством советских изданий на Польшу. В 1940 году тем, кто ему поверил, пришлось убедиться в своей трагической ошибке — нагрянувшие в занятую советскими войсками Вильну московские чекисты арестовали этих «патриотов», пропавших затем без вести в далеких лагерях и тюрьмах.

Известие об аресте Ф.А. Котляревского мгновенно облетело Варшаву. Кто-то высказал предположение, что он обвинен в продаже газетной бумаги одной из многочисленных тайных польских типографий.

Это одно — если бы оказалось правдой — должно было затруднить хлопоты об его освобождении, тем более что в комитете он зарегистрирован не был и, следовательно, был в немецких глазах не русским, а поляком. Все же попытка показалась мне необходимой. Съездив в Брюловский дворец — управление германского губернатора Варшавы, — я ее сделал.

Меня выслушали вежливо и даже согласились навести по телефону справку в гестапо, но по тому, как нахмурился услышавший ответ чиновник, я понял, что надеяться на благой исход нельзя.

— Советую вам, — сказал он, — забыть это дело... Человек, которому вы хотите помочь, тяжело провинился... К тому же он не подлежит вашей опеке... Вы только повредите себе и комитету...

На Вейской, в моей канцелярии, секретарь доложил, что свидания со мной просит брат арестованного. Я принял его немедленно, хоть раньше не встречал и увидел в это утро впервые.

Внешне он был сдержан и спокоен. Сказал, что избежал ареста, так как случайно ночевал не дома, а затем обратился ко мне с невыполнимой просьбой — побывать в гестапо и убедить его вернуть ключи от опечатанной ночью квартиры. Он прибавил, что ему совершенно необходимо туда проникнуть.

Я посоветовал забыть это и немедленно уехать в Вильну, где остались его жена и дочь. Когда он заикнулся, не сходить ли ему за ключами в гестапо самому, я назвал это безумием.

На третий день он пришел на Вейскую вторично, но был неузнаваем — мутный взгляд, опухшее лицо, растрепанные волосы, смятая одежда. Войдя в мой кабинет, он не сел, а как мешок, свалился на ближайший стул. Прерывающимся голосом он еще раз попросил меня раздобыть ключи от роковой квартиры.

Я был потрясен непониманием угрожавшей ему опасности, но от обращения к гестапо категорически отказался... Пошатываясь, он вышел из комнаты... Дня через два появилось сообщение об его расстреле.

### Варшава. Июль 1944 года

Летний день казался мирным и спокойным. После нескольких лет жестокого немецкого террора и польского кровавого возмездия Варшава притаилась. Стрельба на улицах затихла, прекратились облавы и бессудные расстрелы. Обе стороны знали, что им предстоят грозные события.

Еврейское гетто было уничтожено весной 1943 года, после упорного сопротивления его последних обитателей. Уцелевшие развалины были сровнены с землей, но вокруг их каменного кладбища жизнь бурдила по-прежнему.

Рынки были завалены снедью, доставленной мешочниками и крестьянами. Небольшие, уютные рестораны соблазняли обильным перечнем вкусных блюд. Баснословные цены росли под дождем бумажных ассигнаций. Мрачные личности, оглядываясь исподлобья, торговали на толкучках золотом и французским коньяком. Из-под полы они предлагали и оружие — бельгийские браунинги и советские автоматы.

По ночам случались грабежи. Город был наводнен ночными пропускками — настоящими и поддельными. Патрули боялись прохожих больше, чем они — немецких жандармов. Никто не знал, кто был ночью хозяином Варшавы — немцы ли, тайные ли польские организации или осмелевшие преступные шайки. Днем устанавливалась обманчивая тишина — предвестница бури.

На Вейской улице, в нарядном доме, один этаж которого был занят канцелярией и квартирой председателя Русского Комитета, затихье сказалось сокращением потока посетителей. В приемной не толпились те, кто недавно прибегал к моей помощи каждый раз, когда с русскими варшавянином случалась беда.

Удивителен человек... Как легко он верит шаткому благополучию... Как скоро забывает обвалы, от которых бежал накануне... Как жадно цепляется за самую зыбкую почву...

Не раз в то лето, приближавшее войну к развязке, я безуспешно пытаюсь вразумить просителей, добивавшихся содействия в таких делах, как покупка дома или дачи, связанная с необходимостью удостоверить национальность покупателя. Призрак легкого обогащения скрывал от них пропасть, разверзавшуюся под ногами.

Разговоры с беженцами из Ростова, Харькова или Киева, успевшими выбраться оттуда при отступлении немцев, сложными не были. Одни стремились дальше, на Запад. Другие боялись Германии. Завороженные, после голодающей России, изобилием польских рынков, они хотели задержаться подольше в Кракове или Варшаве и были недовольны тем, что я настаиваю на их немедленном отъезде.

Советское наступление приближалось к Бугу. Оно было достаточно красноречивым, но сослаться на него я не мог. Немцы считали сомнение в их победе преступлением, а горький опыт жалоб и доносов научил меня осторожности.

Приближение фронта беспокоило многих, но не всех русских варшавян. Одни не верили, даже тогда, в обреченность Германии. Другие, вместе с поляками, надеялись на чудо — появление английских парашютистов над Варшавой. Третьи утешали себя тем, что «коммунисты изменились к лучшему». Большинство сознавало опасность, но не знало, что предпринять.

Только новые беженцы могли беспрепятственно двинуться на Запад. Остальное население было приковано к городу сложной цепью трудовых и паспортных правил. Немногие русские дельцы, разбогатевшие на войне, добывали пропуска и переселялись в Чехию. Она почему-то казалась им верным убежищем, но стала западней. Двое или трое сразу сделались в Праге жертвой шантажистов, связанных с немецкой полицией. Остальные попали позже в советские сети.

Внешне в это последнее лето германской оккупации в варшавском Русском Комитете ничто не изменилось. В Михаелине, на восточном берегу Вислы, как в прошлые годы, был открыт детский летний лагерь. Поблизости, в Свидере, разместился эвакуированный из Брест-Литовска русский приют. В самой Варшаве, в особняке графа Тышкевича, зятя покойной Великой княгини Анастасии Николаевны, членам комитета раздавались мука и сахар. Служащие, радуясь перерыву в долгом напряжении, приводили в порядок архив.

До войны я был управляющим делами Российского Общественного Комитета — эмигрантской организации, к которой польские граждане не принадлежали. Судьба всех русских варшавян стала моей заботой в тот сентябрьский день 1939 года, когда я услышал по радио распоряжение польской военной власти об оставлении столицы всеми способными носить оружие мужчинами. Исполнение этого приказа означало бы уход в единственном направлении, еще не отрезанном стремительным германским вторжением в Польшу. Оно означало приближение к советской границе, которую большевики — как я предвидел — готовились нарушить.

За несколько лет до полета Риббентропа в Москву и подписанного им там соглашения Гитлера со Сталиным эта опасность меня беспокоила. В статье, написанной для большой консервативной польской газеты «Курьер Варшавский», сотрудником которой я был под псевдонимом Эрго, я предсказал неизбежность советского нападения на Польшу в случае польско-германской войны. Мне возразил в той же газете находившийся тогда в опале противник пилсудчиков, бывший начальник польского главного штаба генерал Владислав Сикорский, впоследствии возглавивший польское зарубежное правительство в Лондоне и погибший 4 июля 1943 года в загадочной авиационной катастрофе у берегов Гибралтара. Он назвал мое опасение ошибкой и заверил, что «Россия никогда не поддержит Германию против Польши».

Этот оптимизм показался мне тогда иллюзией. В сентябре 1939 года он стал очевидной ошибкой. С минуты на минуту я ждал известия о появлении советских войск на польской территории и не соблазнился приглашением добрых друзей «переждать события» в их пограничном имении на Волины.

Распоряжение об оставлении города меня формально не касалось. Я был уроженцем Варшавы, но не польским гражданином, а бесподанным обладателем нансеновского паспорта. Однако не это повлияло на мое решение. Я был готов уйти куда угодно, но только не в объятия советчиков.

Позже, недели через две, в разгаре германской осады города, немецкое командование согласилось на эвакуацию дипломатов и других иностранцев. Под артиллерийским обстрелом Б.С. Коверда и я пробрались из Мокотова — той окраины, где мы оба тогда жили, — к вице-председателю Общественного Комитета Н.С. Кунцевичу, чтобы, посоветовавшись с ним, добиться включения русских эмигрантов в этот исход. Еще не дойдя до цели, мы поняли, что, даже в случае благоприятного ответа, непрерывная бомбардировка не даст возможности уведомить и собрать русских варшавян.

До разрушения электрической сети германской артиллерией и авиацией радио было единственным источником сведений о положении. Так я узнал, что демаркационная линия между советской и германской оккупацией Польши пройдет по Висле. Это было затем изменено дополнительным соглашением Берлина с Москвой, но первоначальный раздел отдавал Прагу — восточное предместье польской столицы — большевикам.

Веселый и бесстрашный юноша Толя Гюббенет взялся сообщить это настоятелю православного собора Св. Марии Магдалины на Праге, протоиерею Иоанну Коваленко. Это ему удалось, но предупрежденный об опасности священник сказал, что ни он, ни его прихожане не покинут во время осады храма, ставшего их убежищем.

1 октября 1939 года германские войска вступили в Варшаву. Русской части населения краковского генерал-губернаторства, созданного оккупантами на части польской территории, временно стали угрожать не советские коммунисты, а другие бедствия. Неизбежность потрясения и даже полного разгрома русской жизни на польской земле обозначилась года два спустя — в ноябре 1941 года, — когда варшавяне поняли, что Германию постигла под Москвой вряд ли поправимая неудача.

Восточный поход Гитлера стал мне казаться вероятным за несколько месяцев до его вторжения в Россию. Приготовления были настолько явными, что их в Польше видел каждый. К тому же в январе я получил неожиданное подтверждение догадки.

Свидания со мной попросил немец, назвавший себя Козловским, сотрудником берлинских газет. Разговор состоялся вечером, 21 января, у камина, в моем кабинете. Собеседнику было, вероятно, лет сорок, но просесть в темных, взъерошенных волосах и глубокие морщины на обветренном лице старили его значительно. С первых же слов я понял, что журналистом его назвать нельзя.

Любой разговор с незнакомцем был в те годы трудным и порой опасным. Нужно было быть молчаливым и сдержанным. На этот раз беседа особенно не клеилась. Гость задал несколько вопросов о Русском Комитете, об его работе, но выслушал ответы невнимательно, а затем — с оговоркой, что вопросу не следует придавать значения и что вызван он одним только праздным любопытством — захотел узнать, как отнесутся русские эмигранты к войне Германии с СССР, если эта совершенно невероятная война когда-либо вспыхнет.

Лед был сломан... Я коротко ответил, что наше отношение к войне будет зависеть от Германии. Я прибавил, что нам известны взгляды фюрера, изложенные в его книге, но мы надеемся, что вождь германского народа пересмотрел написанное лидером национал-социалистической партии. Я сослался на мою статью в «Часовом», в которой это было сказано подробнее и отчетливей.

Козловский записал мои слова. Мы расстались, словно речь шла о погоде. Встретиться с ним еще раз мне не пришлось, но и так стало очевидным, что война на германском Восточном фронте неизбежна.

Осенью 1941 года бывший председатель Российского Общественного Комитета Н.Г. Буланов, ставший им после смерти П.Н. Симанского, и я побывали в Берлине. Нам удалось повидать д-ра Георга Лейббрандта, одного из ближайших сотрудников Розенберга. До войны он был начальником внешнеполитического штаба национал-социалистической партии. Меня с ним тогда познакомил П.Н. Шабельский-Борк, служивший в Управлении делами русской эмиграции в Германии.



Мы надеялись, что Лейббрандт — родившийся в Херсонской губернии сын немецких колонистов — понимает невозможность завоевания России и обреченность политики, направленной одновременно против большевиков и против русского народа, но ошиблись. Одураченный первоначальным успехом германского оружия на восточном фронте, он высокомерно сказал, что наша тревога напрасна, так как Германия непобедима и в подсказке не нуждается.

19 ноября того же года я еще раз съездил в Берлин и был принят штандартенфюрером Элихом, который позже не только помог генералу А.А. Власову, но, может быть, спас его жизнь, скрыв от Гиммлера доказательства отрицательного отношения русского генерала к национал-социализму. В присутствии нескольких подчиненных Элиху офицеров я сказал, что отношение Германии к русскому народу приведет к катастрофе. Это было записано стенографом, но — к немалому моему удивлению — не повлекло неприятных последствий.

В марте 1943 года я написал состоявшему на службе отдела пропаганды германского гражданского управления в Варшаве д-ру Карлу Грундманну, бывшему до войны польским гражданином и получившему образование в Польше, что в сознании населения оккупированной русской территории германское вторжение из военного похода — Feldzug — стало походом разбойничьим — Raubzug. Грундманн отнесся спокойно к этому резкому определению. Оно осталось безнаказанным даже тогда, когда он отослал мое письмо в Берлин, министерству пропаганды. Очевидно, существовали немцы — в том числе и национал-социалисты, — разделявшие мое мнение.

Все чаще возникал передо мной вопрос: чем кончится война для русских эмигрантов, доверивших мне свою судьбу? Что ждет их в случае все менее вероятной победы Гитлера? Принудительное переселение куда-либо в Бургундию или Ломбардию было бы счастливой участью. Расовое помешательство сулило худшее.

— Я вас очень уважаю, — сказал однажды не совсем трезвый полицейский офицер, которому я вручил прошение об облегчении чьей-то участи, — но, если фюрер прикажет, я вас, конечно, расстреляю.

Поражение Германии грозило не немецкой, а советской пулей. Первым из членов Русского Комитета заговорил об этом со мной Б.К. Постовский. Он упомянул Фельдкирх — небольшой австрийский город на границе Лихтенштейна. Я не предвидел, что увижу его в последние дни войны, при очень необычных обстоятельствах. Меня привлекал не он, а Равенсбург, расположенный в Вюртемберге, на пути из Ульма к Боденскому озеру. В мае 1944 года семейные обстоятельства дали мне случай там побывать. Попутно я остановился в Берлине для первой моей встречи с генералом А.А. Власовым.

Ничто — 20 июля — не отражало в Варшаве близости фронта. Днем — что случалось редко — я рано справился с текущими делами и вышел на узкую террасу, окаймлявшую фасад моей квартиры. Справа, над площадью Трех Крестов, плыл в воздухе серый купол костела Св. Александра, названного так при его закладке в честь русского монарха. Слева улица упиралась в Уяздовский госпиталь. В 1942 году на его задворках, за колючей проволокой, в грязных и вшивых бараках умирали от ран, голода, туберкулеза и тифа советские солдаты, искавшие спасения в плену и обреченные на безжалостное истребление.

Горсточка русских женщин, преодолев с моей помощью запреты и препятствия, пошла в эти бараки. Пренебрегая опасностью, она кормила голодных, помогала больным, утешала умирающих и заплатила за этот подвиг двумя жизнями. В июле 1944 года от уничтоженных барачников, на грязном пустыре, остались только поросшие бурьяном груды кирпича и досок. Бывшие жертвы этого ада — если уцелели — больше не нуждались в помощи. В чистых и сытых лагерях веял новый дух, предшественник Пражского манифеста и Русской Освободительной Армии.

Внизу, под террасой, улица была безлюдна. Тяжело ступая по тротуару, прошел пожилой немецкий ефрейтор, в коротких сапогах и поношенном обмундировании. Две женщины в платках, накинутых на плечи, остановились в подворотне, продолжая неторопливый разговор. Небо, неподвижное и бледное, слегка золотилось над крышами, под еще высоким солнцем. Я вернулся в комнаты и включил радио.

До войны мой аппарат улавливал не только Европу, но и прекрасные московские концерты. В тревожной обстановке оккупированной Варшавы мне было не до музыки. В полдень, до завтрака, я выслушивал немецкую военную сводку и больше к радио не прикасался. Это было возможно потому, что подробный бюллетень московских и лондонских передач составлялся ежедневно сотрудником комитета, опытным журналистом А.К. Свитичем<sup>156</sup>.

20 июля — после долгого перерыва — захотелось услышать рояль или оркестр, но, вместо них, раздался возбужденный голос. Он говорил из Берлина о движении воинских частей, о распоряжениях какой-то новой власти. Гитлер — мелькнула мысль — убит... В Германии началась гражданская война... Почему же так спокойно Варшава?.. Ведь если это правда, здесь вот-вот начнется беспощадная резня...

Связи с немецкой оппозицией я не искал, но ее существование не было для меня тайной. В те майские дни 1944 года, когда я впервые увидел в Берлине А.А. Власова, мне пришлось побывать у немца, бывшего киевлянина и родственника одного из комитетских юристов-консультантов, адвоката В.А. Яценко. Кроме меня и этого юриста, третьим гостем за обеденным столом был один из бывших министров Веймарской рес-

публики. Не стесняясь присутствием двух русских эмигрантов, он взволнованно заговорил о необходимости устранения Гитлера силой.

При всем моем отрицательном отношении к поведению национал-социалистов в Польше и в России, я вернулся в Варшаву озабоченным. Переворот в Берлине — казалось мне — неизбежно станет сигналом к восстанию в захваченных немцами странах. Это было особенно несомненным в Польше, при ее ненависти к оккупантам и сильном, боеспособном подполье. Свержение Гитлера означало немедленный удар поляков по немцам, прежде всего в Варшаве. Мнимое спокойствие могло ежеминутно смениться бурей. Нужно было проверить впечатление от берлинской радиопередачи. Помог короткий разговор по телефону.

— На фюрера в ставке, — сказал немец, скрывавший под холодной внешностью постоянную готовность помочь русским эмигрантам, — было покушение, но он уцелел... Заговорщики пытались захватить власть в Берлине, но потерпели неудачу... В Варшаве все спокойно...

21 июля, утром, я побывал в Брюловском дворце. Сооруженный в XVIII столетии графом Генрихом Брюлем, министром и доверенным советником короля Августа III, он был, после поражения Наполеона, первой варшавской резиденцией наместника Царства Польского, Великого князя Константина Павловича. Независимая Польша разместила в нем министерство иностранных дел. Последний министр, полковник Юзеф Бек, ценю больших затрат вернул обветшавшему зданию былую пышность. Немцы, оккупировав Варшаву, воспользовались им для своих гражданских учреждений. Три небольшие комнаты, в боковом крыле, были отведены отделу национальностей и общественного призрения варшавского губернского управления. Когда, после первоначальных колебаний и ведомственных столкновений, было разрешено создание Польского Попечительного Совета и меньшинственных национальных комитетов, их подчинили надзору этого отдела.

Его первым начальником был берлинский адвокат Ауэрсвальд, которого сменил взбалмошный баварец Гейнрих. После него началась чехарда — фронт нуждался в пополнении, и чиновники все чаще становились солдатами.

Надзор — надо это признать — не был ни придирчивым, ниременительным. Невелика была и помощь, но, в некоторых случаях, она отвращала немалую опасность. Так, например, Ауэрсвальд отказал члену правления Русского Комитета Г.М. Плотникову в удостоверении об арийском происхождении, но, после нескольких разговоров со мной, подписал другое, в котором было сказано, что «изучение представленных комитетом документов не обнаружило признаков неарийского происхождения». Трудно было добиться большего для че-

ловека — русского и православного, — родители которого были несомненными евреями.

Летом 1944 года начальником этого отдела был недавно назначенный на эту должность молодой, молчаливый и очень благовоспитанный немец — фон Тротта. Я знал о нем только то, что он был, до Варшавы, начальником уезда в Коломые. Виделись мы редко — нужда в сношениях была в то лето невелика. Дело, которое привело меня к нему 21 июля, было настолько незначительным, что я его забыл, но не стерлось в памяти неожиданное завершение разговора.

Я поднялся и хотел проститься. Остановив меня движением руки и назвав меня так, как это часто делали немцы, он спросил негромко, но отчетливо:

— Не думаете ли вы, господин фон Войцеховский, что смерть Гитлера была бы благом для Германии?

Это могло быть провокацией или доказательством необыкновенного доверия. Что-то в повадке, во всем облике фон Тротта исключало первое предположение. Я ответил медленно, взвешивая каждое слово:

— Думаю, что, удайся покушение, мы бы сегодня встретиться здесь не смогли.

23 июля было воскресенье. Бюллетень А.К. Свитича показался тревожным. Советское наступление перешагнуло Буг. В московской сводке военных действий был упомянут Седлец. Это меня взволновало. Детский лагерь в Михалине и приют в Свидере все еще находились на правом берегу Вислы. Им угрожала опасность внезапно увидеть советские танки. Я сказал жене, что должен немедленно там побывать.

С 1940 года летние лагеря комитета и Дом Русской Молодежи в Варшаве были моим любимым детищем. Начало было трудным — не хватало средств и опытных руководителей, да и участие детей и молодежи в лагерях было для русских варшавян новинкой.

До войны в польских университетских городах существовали союзы или, по меньшей мере, кружки русских студентов, а в Варшаве, с перебоями, Общество Русской Молодежи, но они не имели навыка к скаутским методам общения с детьми и подростками. Попытки создания русских скаутских отрядов пресекались польским правительством, а в 1938 году оно постановило приступить к искоренению всех проявлений русской общественной жизни в стране. Помешала этому война.

П.А. Жирицкий, бывший, до вторжения германских войск в Польшу, членом национального кружка русской молодежи в Лодзи и изучивший скаутизм в польской организации, получил в 1940 году согласие комитета на создание летнего лагеря в Свидере. Начало было примитивным. На лужайке, обрамленной лесом, участники лагеря ночевали в шалашах

и самодельных палатках, готовили пищу над костром, обмывали кружки и кастрюли в мелководной речке, но погоны их рубах были украшены трехцветной ленточкой, а на мачту ежедневно поднимался русский флаг. Это привлекло внимание и помощь. Почин оказался удачным.

После него более многолюдные и благоустроенные лагеря русской молодежи пользовались в том же Свидере усадьбой, предоставленной А.А. Солмогубом. Скауты жили там не в палатках, а в неказистых, но еще крепких деревянных дачах. На спортивной площадке устраивались состязания, которыми руководил Г.М. Шульгин. По воскресеньям и праздникам приезжавший из Варшавы священник служил литургию в превращенной в часовню беседке. В 1942 году впервые, кроме варшавян, участниками лагеря были русские юноши и девушки из Радома и Ченстохова, но неприятный случай нанес всему этому непредвиденный удар.

Начальником лагеря был в то лето Б.Б. Мартино, обладавший необыкновенной способностью привлечь сердца молодежи. Он был одним из тех членов Национально-Трудового Союза, которых эта организация переправляла из Югославии, Франции и Германии в Польшу и оттуда на занятую германскими войсками русскую территорию. Вначале это делалось под видом возвращения беженцев, спасавшихся в Варшаве от советской оккупации Волины и Полесья. Удостоверения, выданные им Русским Комитетом, заменяли пропуска. По просьбе А.Э. Вюрглера, совмещавшего принадлежность к правлению комитета с возглавлением НТС в Польше, я подписал не менее 230 таких фиктивных удостоверений. Мне это тогда казалось выполнением патриотического долга.

Б.Б. Мартино, приехав из Белграда, хотел двинуться дальше, в Минск или Смоленск, но заболел. Поправившись, он занялся в Варшаве русским Домом Молодежи и преобразил его талантливым руководством. Назначение в лагерь было наградой за эту удачу.

В Свидере, к сожалению, он проявил крайнюю несдержанность в споре с молодой участницей лагеря и ударил ее. Расследование установило, что на правдивые показания его друзей по НТС рассчитывать не приходится. Пришлось его сменить. Начальником лагеря стал А.В. Шнее, принадлежавший тогда к той же, что и Мартино, политической организации, но позже — по другой причине — с нею порвавший. В 1943 году лагерь был переведен из Свидера в соседний дачный поселок Михалин и из скаутского стал детским.

Готовность русских варшавян доверить комитету детей в опасное, военное время налагала на меня немалую ответственность. Я ее сознавал, когда приехал в лагерь на молебен по случаю его открытия — 9 июля — и думал о советском наступлении. Две недели спустя я понял, что настала срочная необходимость вернуть детей в Варшаву.

Накануне А.В. Шнее сообщил, что в Михалине спокойно. Не только не было ни одного отъезда детей из лагеря, но даже поступила просьба принять двух мальчиков. Польские партизаны, по его словам, опасностью для лагеря не были. А.В. Шнее столкнулся с ними, когда — на третий день существования лагеря — захотел с одним своим русским сослуживцем по варшавскому городскому молочному хозяйству выкупаться в Висле. Идти к реке пришлось по песчаной тропинке, сквозь ельник, отделенный от лагеря густым кустарником. Внезапно, на повороте, раздался по-польски окрик: «Стой!»

Юноша с винтовкой наперевес показался из-за дерева. Двое других, также вооруженных, отрезали отступление. Пришлось поднять руки. Пленников обыскали и отвели на полянку, где человек, похожий на офицера, потребовал предъявления документов. Ему были показаны регистрационные карточки, выданные оккупационной властью населению генерал-губернаторства. Русская национальность обладателей была обозначена большой буквой. Из леса доносились отрывистые возгласы — шло военное учение.

Вернув бумаги, офицер спросил, чем А.В. Шнее и его спутник занимаются в Михалине. Выслушав ответ, он прекратил допрос и заговорил о вторичном, за пять лет, вторжении советских армий в Польшу. Их приближение к Варшаве его явно тревожило. Разговор стал дружелюбным. Поручик — как его называли партизаны — предупредил, что не отпустит задержанных до окончания учения. Не побывав на Висле, они вернулись в лагерь часа через три.

Сказав жене, что сообщу из Свидера по телефону, долго ли там пробуду, я на главном варшавском вокзале сел в дачный поезд. Он был пуст, но, когда вагоны, вынырнув из подземного туннеля на железнодорожный мост, оказались над Вислой, я увидел, что ее берега, ставшие со времени войны безлюдными, усыпаны, как разноцветным бисером, яркими пятнами купальных костюмов. Не сотни, а тысячи варшавян грелись на песке или плескались в воде. Они, очевидно, считали, что дни германской оккупации сочтены и беспокоиться больше не о чем, но меня это мнимое спокойствие не обмануло. Оно не ослабило тревоги, вызвавшей поездку.

Находившийся в Свидере приют — его первая цель — был создан летом 1941 года в Брест-Литовске самоотверженной русской женщиной, пожелавшей помочь брошенным на произвол судьбы детям убитых или бежавших советских офицеров и служащих. Не знаю, сколько их было первоначально, но более семидесяти было эвакуировано ранней весной 1944 года в краковское генерал-губернаторство и оказалось на попечении варшавского Русского Комитета.

А.В. Шнее хотел воспользоваться близостью Свидера к Михаину, чтобы приобщить приют к жизни детского лагеря, но это ему не удалось. Приютские дети отличались от варшавян не только внешне — однообразной одеждой и наголо остриженными головами мальчиков, — но и молчаливой скрытностью. Некоторые помнили пропавших без вести родителей. В этом я случайно убедился.

Вскоре после эвакуации приюта из Бреста мне пришлось побывать в небольшом польском городе — Ченстохове, — где им была оставлена девочка лет десяти, заболевшая в пути и отданная на попечение местных русских старожилов. Войдя в их дом, я положил на стол оружие, с которым, в те трудные годы, не расставался. Увидев мой семизарядный «вальтер», девочка, вероятно, вспомнила отца и воскликнула восторженно и радостно: «Наган!»

Основательница приюта сидела на террасе старой, запущенной дачи за накрытым столом. Она пила чай с архимандритом Мстиславом Волонсевичем, приехавшим по воскресеньям в Свидер для богослужений. Он был членом делегации комитета в Жирардове под Варшавой, называл себя противником коммунизма и, в дни наибольшего успеха Гитлера, усиленно, хоть и неудачно, добивался епископской кафедры в Крыму. После войны он перебежал в Берлине из западной зоны в советскую, признан московскую патриархию и получил от нее желанный сан.

Прервав их мирное чаепитие, я сказал, что передовые советские части подошли к Седлецу и что поэтому нельзя медлить тем, кто не хочет их увидеть. Архимандрит вскочил и скрылся не простившись. Начальница приюта ответила спокойно и твердо, что предпочитает остаться в Свиdere. Это, может быть, прибавила она, поможет детям найти родителей, да и двинуться приюту некуда.

Времени на спор не было, да и спорить не хотелось. Доводы были убедительны. Все же сердце жжалось, когда, сойдя с террасы в большой, запущенный сад, я увидел ребят, празднично одетых в белые блузы и синие юбочки или штанишки. Одни пугливо, другие равнодушно смотрели на меня, но две-три девочки подбежали и прижались к моим рукам, в надежде на привет и ласку. Я погладил их русые головки и, не оглядываясь, вышел за калитку.

Нужно было исполнить обещание, данное жене. Я хотел сказать по телефону из усадьбы знакомых, живших летом в Свиdere, что побывал в приюте, поеду в лагерь и вернусь не скоро, но она меня перебила:

— Знаешь ли ты, что немцы увозят свои семьи из Варшавы? У нас побывал Б.К. Постовский. Он привез мне и нашей дочери пропуск в Равенсбург. Поезд отойдет в два часа, с восточного вокзала. Что ты мне посоветуешь? На всякий случай я собрала вещи, но ждала твой звонок.

— Уезжайте, — ответил я, — даст бог, увидимся...

Я не мог вернуться в город, не позаботившись о детском лагере. Ничто меня к этому не принуждало, кроме воспитания, с детства готовившего к службе государству. Я был школьником, когда рухнула империя, но в эмиграции возник новый общественный долг. Комитет был для русских варшавян единственным заступником и прибежищем. Я не мог обмануть их доверие.

Сказав жене еще несколько слов, я прервал разговор и вызвал к телефону А.В. Шнее. Я приказал немедленно закрыть лагерь; сдать детей тем родителям, которые на воскресенье приехали в Михалин, а остальных перевезти в городской Дом Молодежи. Я предупредил, что дождусь на станции в Свидере известия о выполнении этого распоряжения.

На вокзале, в неуточный час, толпа дачников ждала поезда в город. Она казалась спокойной, но, конечно, знала, что эвакуация немцев из Варшавы началась. События придвинулись вплотную. Красноречивым доказательством были плакаты, прибитые к деревьям в двух шагах от станции. Белый орел — польский герб — поднимал на них свои крылья на малиновом щите. Одинокий всадник выехал из лесу, взглянул на толпу, круто повернул и ускакал в сторону Михалина. Партизаны — мелькнула мысль — прислали разведчика. Первый поезд пришлось пропустить. Наконец, показался А.В. Шнее.

— Ваши указания, — доложил он, — исполнены. Дети идут из лагеря пешком, но удалось раздобыть подводы для перевозки их вещей.

Погрузка прошла благополучно. Дома я застал тишину. Канцелярия, ради праздника, не работала. У входных дверей, в небольшой комнате, дремал дежурный. Домоправительница взволнованно сообщила, что моя жена и дочь давно уехали на вокзал. Тесть, старый генерал, вернувшийся из дальней церкви, их не застал.

В том же вагоне, что и моя семья, Варшаву покинула девочка, которую тогда называли Лялей Егоровой. Нельзя говорить о ней, не сказав предварительно несколько слов о Б.К. Постовском.

Он был сыном сенатора, мимолетно побывавшего министром юстиции в бурные дни 1905 года. Воспитывался в Петербурге, в Императорском Училище Правоведения, которое почему-то не окончил; получил высшее образование на юридическом факультете столичного университета; в Первую мировую войну был в санитарном поезде уполномоченным Красного Креста. Революция его не разорила, так как принадлежавшее ему полесское имение отошло по Рижскому договору к Польше. Он в нем не жил, а занялся продажей изделий польских и карпатских кустарей в другие страны, преуспел на этом поприще, был даже правительственным комиссаром польского павильона на между-



народной выставке в Кенигсберге. В 1940 году, при создании Русского Комитета в Варшаве, его выдвинул в правление кружок бывших членов Общества Русской Молодежи в Польше. Сердце мое никогда к ним не лежало, и предчувствие не обмануло. После поражения Германии, в 1945 году, возглавители этого кружка — Д.Д. Шумилин и В.В. Макшеев — стали в Польше активными сотрудниками коммунистической власти. На Б.К. Постовского это тени не бросает — до конца своей жизни он остался противником большевиков.

Основной чертой его характера была напористость. Он не умел и не хотел замкнуться в рамки общественной дисциплины. Это приводило к столкновениям с теми членами комитетского правления, компетенцию которых он иногда нарушал своим вмешательством. Приходилось улаживать эти споры и закрывать глаза на то, что порой он отзывался критически и обо мне.

Я ценил его активность, полезную русским варшавянам. Не ограничиваясь в комитете отведенными ему по уставу рамками возглавителя торгово-промышленного отдела, он охотно брался за любое полезное и нужное дело. Я был особенно рад его участию в сношениях с немецкими учреждениями в Кракове и Варшаве — низкопоклонством он не страдал и никогда не унижал русское достоинство. Его настойчивость помогла мне наладить помощь советским военнопленным в Уяздовском госпитале. Он же создал в Варшаве русскую общину сестер милосердия, заботившихся в германских военных лазаретах о так называемых восточных добровольцах.

Неоднократно он обращался ко мне с просьбой о помощи тому или иному русскому эмигранту. Все же я удивился, когда летом 1943 года он попросил меня подписать удостоверение о русской национальности девочки, которую назвал Еленой Егоровой, дочерью пропавшего без вести офицера. Ею, по его словам, занялась, после исчезновения отца, хорошо мне известная русская варшавянка.

Просьба была незначительной, но именно поэтому показалась мне странной. Она была очевидной попыткой обойти установленный порядок выдачи таких удостоверений. Ей предшествовала проверка, которой занимался не я, а главная канцелярия комитета на аллее Роз. Мне докладывались только редкие, сомнительные случаи. Явное желание Б.К. Постовского нарушить установленное правило показалось мне странным. Я сказал, что хочу увидеть ребенка.

Дня через два в мой кабинет вошла с Постовским девочка, которой — по данным предъявленной мне анкеты — было десять лет. Выглядела она старше и была тщательно, нарядно одета. Мало кто так одевал тогда в Варшаве детей. Светлая соломенная шляпка была украшена

синей бархатной лентой. Из-под нее на плечи ложились волной темные кудри. Матросская блуза и короткая юбка не вязались с ростом и сложением, но красивое, спокойное лицо могло быть названо детским.

Б.К. Постовский был по обыкновению словоохотлив. Девочка, остановившись у двери, не сказала ни слова. Я взглянул на нее, нажал на письменном столе янтарную кнопку звонка, вызвал из канцелярии моего секретаря, передал ему анкету, в которой Елена Егорова была названа дочерью русского и грузинки, и распорядился приготовить удостоверение. Подписав его, я подвергнул не только себя, но и мою семью смертельной опасности, угрожавшей каждому, кто — хоть косвенно — был причастен к укрывательству евреев, но мог ли я отказать в помощи ребенку? Я подчинился одному из тех душевных движений, которые сильнее осторожного расчета.

Правду о Ляле рассказала мне позже та дама, которая заботилась о ней в Варшаве. Лишившись сына, считавшего себя поляком и погибшего в страшном немецком лагере Аушвитце, она помогла не только этой девочке. Назвать ее я, к сожалению, не могу — она не хочет ни славы, ни награды.

Елену Егорову в действительности звали Геней Розенманн. Она родилась в 1929 году, в Белостоке, где ее родители были расстреляны немцами в гетто. Б.К. Постовский омолодил ее в анкете на несколько лет. Тетке — сестре матери — удалось переехать со своей семьей и Лялей из Белостока в Варшаву. Там все они — кроме Ляли — были расстреляны 13 мая 1942 года. Выдал их поляк, домовладелец, сдавший им квартиру и получивший за это немалые деньги. Лялю — за две недели до их гибели — спасла готовность русской женщины ее приютить.

С этой дамой и с моей семьей она в июле 1944 года благополучно доехала из Варшавы в Равенсбург, где — в течение трех лет — принадлежала к собравшейся в этом городе многолюдной русской колонии, состоявшей главным образом из варшавян. В Израиле, куда она затем переселилась к родственникам и где создала счастливую семью, Ляля Егорова не забыла своих русских друзей.

Внезапный отъезд жены и дочери был для меня тяжким ударом. Я не знал, что ждет их в пути. Я не был уверен в том, что когда-либо их увижу. Помочь им я ничем не мог. Предстояло выполнение долга перед теми русскими людьми, над которыми повисла опасность захвата Варшавы советской армией. Предположив, что фон Тротта, несмотря на воскресенье, должен быть в Брюловском дворце, я связался с ним по телефону.

— Сделаю все возможное, — обещал он, — но пришлите списки тех, кому нужны пропуска.

В картотеке комитета значились — по одной только Варшаве — восемь тысяч имен. Летом 1943 года, в предвидении неизбежной катастрофы, они были разделены на группы по числу русских варшавян, обладавших телефонами. В каждую группу, кроме владельца аппарата, были включены его семья и не слишком дальние соседи. Остались пробелы, но я надеялся на то, что в критическую минуту они заполнятся сами.

Первыми на возникшую в городе тревогу откликнулись служащие моей канцелярии. К вечеру все они были в сборе. Я рассказал им разговор с фон Тротта и прочитал написанное мною и обращенное к членам комитета извещение. Двое занялись его распространением по телефону. Остальные помогали — делали отметки в картотеке, занялись приготовлением первых списков. На это ушла вся ночь.

«Немецкие семьи, — написал я, — покидают город. Комитет надеется, что ему удастся эвакуировать русских варшавян, не только женщин и детей. Нужно срочно составить списки желающих уехать. Включить ли вас в него? Пожалуйста, передайте это сообщение вашим русским соседям. Запишите их фамилии и адреса. Комитет не может их предупредить, так как телефона у них нет».

Я ожидал, что каждый услышавший это извещение благодарно и положительно откликнется, но ошибся. Кроме признательности и слезной просьбы не забыть, помочь, спасти моим сотрудникам пришлось выслушать смущенные ответы тех, кто благодарил за внимание, но прибавлял, что болезнь или семейные обстоятельства заставляют остаться в Варшаве. Во многих случаях привязанность к квартире, к мебели, к имуществу была сильнее страха перед надвигавшейся опасностью.

На рассвете я предоставил служащим короткий отдых. Все они обещали вскоре вернуться в канцелярию, и все, с одним исключением, обещание исполнили.

Кроме эмигрантов и польских граждан русского происхождения в Варшаве было тогда немало новых беженцев из России. Некоторые попали в общежитие, которое немцы почему-то называли карантинном, хоть на карантин оно похоже не было. Другие ютились где могли. Арендованное комитетом небольшое здание Гранд-отеля на Хмельной улице вмещало свыше 150 священников, профессоров, инженеров, врачей и их семьи. На частных квартирах жили православные епископы, возведенные в этот сан в годы германской оккупации Украины и Белоруссии. Я не сомневался в том, что все эти новые эмигранты не захотят остаться в эвакуированном немцами городе, и не ошибся.

С раннего утра 24 июля бывшие советские граждане потянулись к дому, в котором я жил. Многие пришли с вещами — скудным скарбом, пределавшим далекий путь с берегов Кубани, Дона и Днепра. Не

только лестница на третий этаж, но и тротуар на улице заполнились встревоженной толпой. Я приказал вынести стул во внутренний двор и, поднявшись на него, сказал, что комитет позаботится о новых беженцах, как о собственных членах. В этот и в следующие дни, до завершения эвакуации, этот стул неоднократно заменял мне трибуну.

Я знал, что могу положиться на канцелярию. За исключением одной, только что принятой на службу барышни, не вернувшейся после бессонной ночи, она состояла из верных, преданных делу людей. Все же внезапная перемена обстановки повлияла и на них. Все вокруг рушилось. То, что накануне казалось нужным, вдруг лишилось значения. Надо было опять их подчинить одной направляющей воле.

В 1940 году, в день моего переезда с прежней квартиры на Вейскую улицу, канцелярией была заведена книга для записи посетителей. Ее практическое значение оказалось незначительным. Она — надо сознаться — была подражанием порядку, заведенному берлинским Управлением делами русской эмиграции. Число посетителей можно было бы установить, в случае надобности, и без подробной, именной записи, но, раз начата, книга заполнялась ежедневно. Выйдя 24 июля из моего кабинета в приемную, я заметил, что на столе у дежурного ее нет. Несмотря на толпу, добывавшуюся входа в канцелярию, я потребовал возобновления записи. Это показало служащим, что установленное правило должно соблюдаться до отмены.

Вечером в тот же день фон Тротта известил меня, что Словакия согласилась принять русских варшавян. Он сообщил приблизительное время отправки первого эшелона и обещал предоставить комитету товарный вагон для перевозки архива и имущества в Равенсбург. Бывший член правления Российского Общественного Комитета в Польше Г.А. Малюга и А.В. Шнее взяли этот вагон сопровождать. Первенство принадлежало, однако, спасению людей, а не вещей. Ради них я решил пожертвовать большей частью архива и всем имуществом, в том числе и моим, кроме национальных реликвий.

Пока в приемной составлялись списки желающих уехать из Варшавы; пока списки эти отвозились для получения пропусков в открытое фон Тротта вблизи комитета временное отделение возглавленного им учреждения; пока в моей столовой сидели на узлах и чемоданах семьи тех моих сотрудников, которым предстоял отъезд в Словакию, в канцелярии началась поспешная упаковка. Были вынуты из рам портреты императоров, полученные до войны Российским Общественным Комитетом от варшавского польского окружного суда, в них, конечно, не нуждавшегося. Из особняка на аллее Роз был доставлен великолепный дворцовый портрет императрицы Марии Александровны, супруги Царя-Освободителя — дар

тому же комитету от польского Красного Креста. Был положен в ящик тяжелый мраморный бюст этого монарха — памятник, установленный по случаю 50-й годовщины введения судебных уставов в Царстве Польском в бывшем дворце Красинских, простоявший там до оставления Варшавы русскими войсками в 1915 году и приобретенный мною 20 лет спустя с торгов, на которых он был назван «ненужным камнем». Из Дома Русской Молодежи было привезено освященное в Свидере знамя русских скаутов, которое — после войны — я передал побывавшему у меня Б.Б. Мартино для Организации Русских Юных Разведчиков.

Во второй половине дня 25 июля дежурный доложил, что меня хочет видеть редактор Н-ский. В Польше, до войны, редактором называли каждого журналиста. Н-ский был тогда сотрудником популярной консервативной польской газеты, для которой я изредка писал короткие заметки на русские темы. Мы встречались в редакции, но знакомство было поверхностным. Польский националист и ревностный католик, он в годы германской оккупации, по слухам, примкнул к сопротивлявшемуся ей партизанскому отряду. Его появление в комитете в разгаре приготовлений к эвакуации русских варшавян было странным и необъяснимым.

Лучше Н-ского я знал его родственника — писателя и соредатора той же газеты. Он тоже был поляком, но человеком западной, европейской складки, терпимым и мягким. Доброжелательно и бескорыстно он исправлял мои рукописи, пока я не научился писать по-польски правильно, и содействовал их появлению в печати. Это стало началом наших добрых отношений, но охватившая Польшу в 1938 году волна воинствующего шовинизма мое участие в польской печати прекратила. Об его судьбе в военные годы я ничего не знал. Кто-то утверждал, что видел его в Лондоне. Поэтому я крайне удивился, когда, вместо Н-ского, в мой кабинет вошел он. Мы обнялись и расцеловались. Нежданный гость сказал, что хочет со мной поговорить, но не в комитете. Я ответил, что охотно выйду с ним в город. Осторожно протиснувшись по лестнице, загроможденной людьми и вещами, мы спустились вниз.

На Мокотовской улице, наискосок от Вейской, существовала небольшая кондитерская, принадлежавшая русской вдове адвоката-поляка. Там, в уютной обстановке, можно было выпить чашку кофе и съесть вкусное пирожное. Подавали их к столикам польки, не занимавшиеся этим до войны. Одной из них была высокая, красивая брюнетка — артистка Софья Андрыч. Я не знал, что она — жена бежавшего из немецкого концентрационного лагеря левого социалиста Станислава Цыранкевича, будущего премьер-министра коммунистической Польши.

В этот тревожный день посетителей, кроме нас, в кондитерской не было. Мы сели за столик в темноватом углу. Пианист, скупавший за

роялем, прикоснулся к клавишам — раздалось томное танго. Нам это было кстати — можно было поговорить свободно.

С. — я вынужден ограничиться этой буквой — спросил, намерен ли я эвакуироваться из Варшавы. Услышав, что день отъезда мною не решен, он посоветовал его ускорить. Я спросил причину. Он сослался на приближение советских войск к Варшаве и прибавил, что немцы к обороне не способны. Я возразил, назвав немецкое сопротивление возможным.

— Без боя, — сказал я, — они Варшаву не сдадут.

С., однако, настойчиво повторил совет:

— Уезжайте возможно скорее... До 30 июля мы обеспечим вашу безопасность... После мы ни за что не ручаемся...

Я понял, что он сказал это не только по своему почину. Кто мог его прислать? Только поляки, и притом причастные к конспиративному подполью. Не значит ли предупреждение, что они готовы к вооруженному восстанию?

— Скажите, — спросил я, — не понадобятся ли вам после 30 июля радиоаппараты?.. В комитете, на аллее Роз, сложено их около двухсот, сданных русскими эмигрантами на хранение... Придется их там оставить... Если сможете, воспользуйтесь ими... Пусть это будет благодарностью за дружеское предупреждение...

С. улыбнулся... Ничто прямо сказано не было, но мы поняли друг друга. Пора было вернуться на Вейскую — мое отсутствие могло показаться странным. Мы еще раз обнялись и распрощались.

Он пережил варшавское восстание и, к счастью, уцелел. В ноябре 1944 года мы случайно встретились на улице, в Кракове, но поговорить не удалось. До сих пор не знаю, что его побудило прийти ко мне в июле. Из воспоминаний участников восстания теперь известно, что оно должно было начаться до 30 июля, но было дважды или трижды отложено.

Комитет ничем не заслужил внимания и тем более благодарности польских тайных организаций, борющихся с Германией. Связи с ними я не искал, сознавая ее опасность не только для меня, но и для всех русских эмигрантов в оккупированной немцами Польше. Дважды, однако, пришлось сообщить полякам отношение комитета к обстоятельствам, вызванным войной.

В 1939 году, после поражения Польши, в Варшаве возникла состоявшая из пяти-шести польских граждан русского происхождения группа, провозгласившая своей целью захват нескольких католических храмов, превращенных русской властью после второго польского восстания в православные церкви и возвращенных католикам независимой Польшей. Вдохновителем этой группы был пожилой человек, состоявший до германского вторжения профессором православного богословского факультета

варшавского университета и еще недавно усердно кадивший Ватикану на униатском съезде в Велеграде.

Свое внимание эта группа обратила на польский гарнизонный костел. Профессора прельщал не столько он, сколько принадлежавшие ему доходные дома, но попытка захвата кончилась плачевно. Католики свою святыню отстояли. В пылу возникшей свалки воинственный богослов разбил палкой витраж, украшенный польским гербом. Комитет этот поступок осудил и исключил виновника из числа своих членов. Это постановление было сообщено варшавскому архиепископу, кардиналу Каковскому, посетившей его русской делегацией.

Летом 1943 года почта доставила мне заказное письмо. Оно было адресовано по-немецки. Отправитель указан не был, а его адрес — несуществующий номер дома на улице Солец — был, очевидно, ложным. Вскрыв конверт, я нашел в нем обращенное ко мне, как к председателю Русского Комитета, распоряжение тайного делегата польского эмигрантского правительства. Подпись — несомненный псевдоним — была неразборчивой. Круглый оттиск оборотной стороны польской монеты — Белого орла — заменял печать. «От имени и по поручению правительства Речи Посполитой, временно пребывающего в Лондоне, — было сказано в письме, — сообщаю и предписываю Вам нижеследующее».

За этим вступлением следовали три пункта. Первый был обвинением членов комитета в том, что они пользуются средствами передвигания, предназначенными немцам, как, например, передними площадками вагонов варшавского трамвая. Представитель польского зарубежного правительства назвал это недопустимым. Во втором было отмечено — со ссылкой на долгое наблюдение, — что русские варшавяне и даже председатель комитета бывают в немецких ресторанах, нарушая этим лояльность польских граждан к государству. Третьим пунктом делегат лондонского правительства обратил мое внимание на то, что члены комитета «носят значки, выделяющие их, как группу, пользующуюся предоставленными оккупантом преимуществами». Мне предписывалось «в осторожной форме обратить внимание членов комитета на недопустимость этого обыкновения и побудить их к его прекращению».

Требования сопровождалась ссылкой на законы, принятые польским правительством после его бегства в Румынию, и на предусмотренные этими законами кары за их нарушение. Не будь этой угрозы, письмо было бы вежливым, почти любезным. Его автором был, несомненно, кто-то, причастный в прошлом к польскому министерству внутренних дел. Буквы, предшествовавшие номеру письма, совпадали с теми, которыми до войны обозначал свою переписку отдел национальных меньшинств политического департамента этого министерства. Упреки были

мелочны, а распоряжения невыполнимы, но я не захотел промолчать и пригласил двух поляков на чашку чая.

Одним из них был пожилой человек, которого я знал давно, с начала двадцатых годов. Он был консерватором и, внешне, типичным польским шляхтичем. Долго прожив, до революции, в России, он, как многие поляки, сроднился с нею и русофобом не был. По возрасту и по характеру он вряд ли мог быть участником активного подполья, но я дорожил его мнением и хотел, чтобы он услышал мое.

Второй принадлежал к другой среде. Сын зажиточных крестьян, получивший высшее образование во Львове, он делал до войны удачную служебную карьеру и осторожно плыл по течению политики Пилсудского и его преемников. Оккупация скомкала и разбила его жизнь. Связь с подпольными организациями была, в его случае, вероятной.

Они встретились у меня впервые и сразу поняли, что я их пригласил не для пустого разговора. После первых, неизбежных вступительных слов я показал, а затем прочитал им письмо правительственного делегата и воскликнул взволнованно и резко:

— Считаю это возмутительным! Если у польского правительства в Лондоне нет большей заботы, чем слежка, с какой площадки входят в трамвай русские варшавяне, то я его с этим поздравляю... Скажу вам прямо, что я это требование отвергаю... Обвини меня ваше правительство в выдаче поляков немцам и пригрози оно расстрелом, я бы это понял, но в этом, слава богу, оно упрекнуть меня не может. Настаивать же на том, чтобы русский эмигрант не лез в вагон спереди, когда сзади войти невозможно, смешно и странно... Скажите сами, могу ли я заставить человека отказаться от дешевой похлебки, которой он уголяет голод в немецкой столовой? Многие поляки делают то же, когда это им удастся... А о значке комитета скажу вам, что на нем не свастика, а двуглавый орел, и носим мы его не с согласия немцев, а вопреки их прямому запрету... Вы, — заключил я спокойнее, — мои польские друзья... Пользуюсь вашим присутствием, чтобы назвать полученное мною предписание невыполнимым... Я ему не подчинюсь, невзирая на последствия...

Осенью того же года, на рассвете, меня разбудил дежурный, сказав, что заплаканная полька умоляет меня ее немедленно принять. В приемной я застал жену моего второго июньского гостя. Она рассказала, что муж был ночью арестован и увезен в гестапо.

— Ради бога, помогите, — умоляла она.

Положение было трудным. Арестованный был поляком, пилсудчиком и, вероятно, участником тайной организации. Что мог я сделать в его защиту? Правительство генерал-губернаторства запретило национальным комитетам обращения к учреждениям, подведомственным Гиммлеру. Это



было одним из проявлений бюрократических трений между Краковом и Берлином. Каждое ходатайство, обращенное к полиции, нуждалось в предварительной санкции отдела национальностей и общественного призора. После Ауэрсвальда и Гейнриха, его начальником в Варшаве был молодой силезский юрист, более всего опасавшийся призыва в армию и поэтому крайне осторожный. Представить его себе защитником бывшего польского чиновника я не мог. Объяснив это несчастной женщине, я прибавил, что должен подумать.

Утро прошло в мучительных колебаниях. Решение созрело внезапно, когда я, для успокоения, вышел из дому на короткую прогулку. На площади Трех Крестов, где поляки часто собирались вокруг мегафонов, чтобы услышать германскую военную сводку и другие сообщения, кучка людей стояла у стены одного из зданий, перед наклеенным большим красным объявлением. Я знал, что такие плакаты появлялись в Варшаве после каждого убийства немца польскими террористами и содержали списки обреченных на расстрел заложников. На этот раз упомянуто было сто имен. Все были названы коммунистами. Всем угрожала казнь. Во втором столбце, в алфавитном порядке, я увидел имя и фамилию моего недавнего гостя.

Вернувшись бегом в канцелярию, я ее предупредил, что еду в Брюловский дворец. Я не знал, удастся ли попытка спасти осужденного, но понял, что могу сделать это безопасно для себя и для комитета. Любезно принятый, я начал разговор заявлением, что хочу поговорить о не совсем обыкновенном случае.

— Боюсь, — прибавил я, — что престиж германской власти в Варшаве может пострадать...

Не дав собеседнику времени опомниться, я сообщил ему, что случайно увидел список приготовленных к расстрелу заложников, обвиненных в коммунизме, и обнаружил в нем имя человека, который никогда коммунистом не был.

— Многие русские эмигранты, — сказал я, — знали его хорошо... Многим он помог, пользуясь до войны своим служебным положением... Если они узнают, что он расстрелян как коммунист, это подорвет доверие к немецкой власти.

Мои слова были соломинкой, за которую хватается утопающий, но доля правды в них была. Названный мною человек действительно состоял до войны на польской государственной службе по министерству внутренних дел. Он, конечно, не был коммунистом, но я преувеличил и приукрасил его помощь русским эмигрантам, чтобы оправдать ходатайство. В действительности он в прошлом был послушным орудием польской политики и лишь накануне нападения Германии на Польшу понял вред,

причиненный его отечеству шовинистическим разгулом разрушителей православных храмов на Холмщине и тайным циркуляром генерала Славой-Складковского об искоренении всех проявлений русской общественной жизни. Мой ход не был убедительным, но ничего другого я сделать не мог. Я надеялся вызвать в немецком юристе отпор формальной неправде, причислившей арестованного к коммунистам. Эта надежда меня не обманула. Вопреки всему тому, что творилось в городе, охваченном террором и контртеррором немцев и поляков, мой знакомый был на третий день освобожден. Уцелел ли он после войны, я не знаю.

Кроме разговора с С., мне — в эти необыкновенные дни — была суждена еще одна удивительная встреча, но 26 июля началось не ею. Со мной простились служащие комитета, уезжавшие с семьями в Словакию, — правитель моей канцелярии А.В. Полянский, его помощник К.К. Яворский и другие. Из членов комитетского правления только Н.С. Кунцевич пожелал разделить мою участь, как бы она ни сложилась. Четверо служащих поступили так же. Я никого не задерживал — невнятный гул советских орудий доносился издалека.

Отправка первого эшелона должна была состояться днем. Я поехал на главный варшавский вокзал с Г.А. Малюгой, которому — в тот же день — предстоял отъезд в Равенсбург с сохраненной частью моего архива. Состоявший из вагонов третьего класса поезд стоял на запасном пути. Перед ним выстроились уезжавшие — русские варшавяне и новые беженцы — со своими вещами. Посадка еще не началась.

— Митрополит приехал! — воскликнул кто-то.

Действительно, вдоль поезда, направляясь ко мне, шел митрополит Дионисий в сопровождении двоих или троих священников. Остальное православное духовенство предпочло остаться в городе. Я подошел к митрополиту, принял его благословение и, по окончании посадки, простился с ним в вагоне.

Это было нашей последней встречей, завершившей долгие драматические отношения. До 1939 года я был упорным, непримиримым и — должен сознаться — не всегда справедливым противником его политики. Она казалась мне угодливой, уступавшей всем требованиям польского правительства и отрывавшей православие в Польше от его русских корней. Не связанный участием в церковной жизни отвергнутой мною польской автокефалии, я недостаточно считался с трудным положением митрополита, созданным крушением России и ее порабощением коммунистами.

Первый удар этой непримиримости был нанесен первоиерархом русской зарубежной церкви, митрополитом Антонием, откликнувшимся на приглашение митрополита Дионисия побывать в Польше и не приехавшим туда из Югославии только потому, что польская печать резко этому

воспротивилась. Встреча двух иерархов состоялась, однако, в Бухаресте и была как бы признанием польской автокефалии русской заграничной церковью.

Вторым ударом стала — в 1939 году — неудачная попытка упразднения автокефалии и грубое вмешательство немцев в этот церковный спор, стоившее жизни двум ближайшим сотрудникам митрополита. Его временное отстранение от управления православной церковью в краковском генерал-губернаторстве завершилось неожиданным возвращением к этому управлению с ведома и согласия генерал-губернатора Франка. Автокефалия — в территориально сокращенном объеме — была восстановлена. Продолжение борьбы с нею было бы — в обстановке войны и оккупации — бессмысленным. Митрополит Дионисий протянул Русскому Комитету руку. Я ее принял.

Вечером 26 июля я мог назвать начало эвакуации русских варшавян в Словакию законченным. Каждый пожелавший ею воспользоваться смог это сделать. В моей квартире на Вейской остались Н.С. Кунцевич и четверо служащих канцелярии. Неожиданно к ним прибавился еще один человек.

— Вас, — сказали мне, — хочет увидеть оборванный старик. Он утверждает, что знает вас с детства. Зовут его Михаилом Ивановичем Зориным...

Неужели он, подумал я, тот Миша, которому я, вероятно, обязан жизнью? Но какой же он старик? Ведь если это он, ему должно быть лет сорок восемь, не больше... Однако вошедший в мой кабинет посетитель действительно выглядел гораздо старше. На нем был ветхий, обтрепанный немецкий мундир со срезанными погонами, серые брюки, разлезающая обувь. Долго не стриженные волосы были седыми на висках. Лицо заросло щетиной. Только глаза были молоды.

— Вы меня не узнаете? — спросил он негромко. Узнать я его не мог — помнил белобрысого курносого паренька — но как это ему сказать? Неверно истолковав мое молчание, он прибавил: — Помните двадцать первый год? Я — Миша Зорин...

Нет, я не забыл его. Существуют люди и события, которые забыть нельзя. Не только упомянутый им год, но и далекое детство вошли ко мне с этим грязным, несчастным, рано состарившимся оборванцем. Прежде чем расспросить, нужно было о нем позаботиться.

Часа через два вымытый, побритый и переодетый М.И. Зорин рассказал, как он оказался в Варшаве и что привело его на Вейскую. Он был сыном горничной, прослужившей много лет в доме моего деда А.Т. Тимановского, издателя «Варшавского дневника», а затем — в семье моих родителей. Братья и я почтительно называли ее Марией Григорьевной.

Миша был участником наших детских игр. Он учился в школе расквартированного в Варшаве лейб-гвардии Литовского полка и носил его форму, которой — признаться — я очень завидовал. В 1914 году он ушел с полком на фронт и был в Восточной Пруссии ранен в руку. После революции связь с его матерью и с ним оборвалась.

Летом 1921 года меня в захваченной большевиками Одессе нашла приехавшая из Киева дама, родственница знаменитой артистки Веры Комиссаржевской. Она привезла состоявшую из нескольких слов записку. Рукою моей матери, на клочке бумаги, были написаны фамилия и киевский адрес Марии Григорьевны. С запиской я получил знакомое кольцо. Темный сапфир и сверкающий бриллиант в платиновой оправе были бесспорным доказательством того, что приезжая мою мать повидала.

В сентябре мне удалось пробраться в Киев, но я не застал там ни матери, ни брата. Мария Григорьевна радушно приняла меня и сообщила, что ее сын дважды побывал с ними на границе и, поочередно, перевел в Польшу. 27 сентября он сделал это — для меня — в третий раз. Трижды ему помог бывший камердинер деда, владевший на советской стороне хутором верстах в двух от отошедшей по Рижскому договору в Польшу воынской деревни Майкове. Оттуда мы на следующий день попали в пограничный город Острог, а затем — в польский репатриационный лагерь в Ровно. Миша колебался, не стать ли и ему эмигрантом, но привязанность к семье победила. Он вернулся в Киев. На прощание я подарил ему материнское кольцо.

С тех пор он прожил двадцать лет под советским гнетом. Война показала ему освобождением, но — как и множество других русских людей — его обманула. В 1943 году начался трудный путь на Запад. Знакомую с детства Варшаву он увидел тогда, когда передовые советские части достигли Вислы. Кто-то на улице, узнав в нем беженца, посоветовал:

— Сходите в Русский Комитет... Председателем там Войцеховский...

Настала моя очередь отплатить старый долг.

27 июля я проснулся в опустевшей квартире. В канцелярии молчал телефон, не стучали пишущие машинки. Не было ни души в приемной. Необыкновенно тихо было и на улице. Варшава казалась вымершей. Предостережение польского друга было, очевидно, не напрасным. Варшавяне что-то знали и к чему-то готовились. Н.С. Кунцевич и я нашли отсрочку отъезда опасной и назначили его на следующий день.

Утром я обошел комнаты, прощаясь с ними. Вещей я не жалел. Семейные иконы и часть моих книг были отосланы в Равенсбург. Остальное было бы в предстоящей трудной жизни лишним грузом. Я предвидел испытания, уготованные русским эмигрантам, оставшимся в годы военной бури непримиримыми противниками коммунизма.

Днем захотелось в последний раз взглянуть на польскую столицу. Секретарь вызвался разделить со мной прощальную прогулку. Город поразил нас жуткой тишиной, в которой шаги отзывались гулким эхом. Редкие прохожие жались к стенам, словно чего-то опасаясь. Мы дошли до площади, которую варшавяне называли, по старой памяти, Варецкой, хотя она давно была переименована в честь Наполеона. Там, у здания почтамта, всегда переливался поток пешеходов, автомобилей и извозчиков пролеток. На этот раз мы не увидели никого.

Дальше, на Мазовецкой улице, нас удивил зазвучавший вблизи струнный оркестр. Он раздавался из садика Филиппса — летнего кафе, названного так потому, что в доме, отделявшем его от улицы, помещалась до войны известная голландская фирма. Нам захотелось взглянуть на этот оазис в варшавской пустыне.

На просторной площадке, под немногими деревьями, были расставлены круглые столики. Две-три чахлые клумбы пытались оправдать название сада. За многими столами кто-то сидел. Вот и знакомое лицо — русский инженер Корольков, крупный делец, очевидно не помышляющий об отъезде...

Мы прошли вглубь, заказали мороженое. Его принесла нарядная официантка. С террасы доносился венский вальс. Трудно было поверить, что мы только что расстались с могильной тишиной.

В Варшаве меня знали многие. Нас заметили. Подошла и присела к нашему столику дама, управлявшая садом, — дочь дипломата, представлявшего до революции Россию в одном из европейских королевств и легко, несмотря на придворное звание, сменившего вехи после октябрьского переворота. Ее муж — мой ровесник, варшавянин по рождению, сын однополчанина и друга моего отца — знал меня с детства. В независимой Польше он стал офицером, прикомандированным в 1920 году к французской военной миссии и сохранившим в более поздние годы светскую связь с дипломатическим корпусом и польским обществом. Его решение остаться в Варшаве меня не удивило, но мое появление в садике Филиппса поразило его жену.

— Как, — воскликнула она, — вы еще здесь?

Я притворился непонимающим:

— Что же в этом странного?

Вопрос ее смутил — она не могла сказать, что польское восстание может вспыхнуть ежеминутно. Может быть, я поколебал ее уверенность в его неизбежности. Беспомощно оглянувшись, она заметила молодую женщину, сидевшую в раскладном садовом кресле:

— Да, пожалуй... Видите эту блондинку, секретаршу Фишера, немецкого губернатора... Она тоже здесь... А я-то думала, что вы давно уехали...

Шутку нужно было прекратить. Я ответил:

— Нет, не уехал, но уезжаю, а вам желаю всего доброго... Передайте Левушке мой привет... Знаю, что Варшаву вам покинуть трудно...

Мы расстались дружелюбно. Неделю спустя она была убита бомбой, сброшенной немецким летчиком на питательный пункт польских повстанцев.

Из трех православных храмов, сохранившихся в Варшаве после Первой мировой войны, Троицкий на Подвалье был более других эмигрантским и русским. Еще до разделов Речи Посполитой его основали греки, торговавшие с Польшей. От них через полтора столетия сохранилась над входом византийская икона.

Внешне храм на церковь похож не был. Он был спрятан в низком флигеле, в глубине двора, окаймленного с трех сторон тяжелыми стенами старинного дома. В начале двадцатых годов одна из квартир в этом здании была занята русским эмигрантским Красным Крестом. После высылки из Польши его председательницы Л.И. Любимовой и ее сотрудников, обвиненных в создании тайной монархической организации, но фактически ставших жертвами мирного договора Польши с большевиками, там же разместился Российский Комитет, председателем которого был В.И. Семенов. После покушения моего брата Юрия на жизнь советского торгового представителя Лизарева, в мае 1928 года, этот комитет был закрыт польским правительством. Помещение было опечатано, но через три года предоставлено созданному с моим участием Российскому Общественному Комитету. Эмигранты, естественно, туда стекались. Церковный двор был свидетелем многих радостных и печальных встреч.

Когда эмигрантский поток прекратился и наладился казавшийся прочным русский быт в Варшаве, церковь на Подвалье сохранила прежний, преимущественно беженский облик. Не в пример более богатому собору Св. Марии Магдалины на Праге — восточном предместье Варшавы — она не испытала давления сторонников украинизации или полонизации. В день вступления германских войск в Варшаву — 1 октября 1939 года — Н.Г. Буланов с ее клироса сообщил теснившимся в ней варшавянам, что Общественный Комитет по-прежнему существует в пострадавшем от осады городе.

Настоятелем Троицкого прихода был протоиерей Александр Субботин — высокий, статный, красивый человек, умело ладивший с прихожанами и с нелюбимой ими митрополией. Он был особенно внимателен ко мне, когда я стал председателем Русского Комитета, и даже смущал меня этим во время совершаемых им богослужений.

Также высок, благообразен и заметен был второй священник, протоиерей Димитрий Сайкович. В отличие от настоятеля, он и до войны

был противником митрополита Дионисия и провозглашенной им автокефалии православной церкви в Польше. В 1939 году он приветствовал его отстранение и оказавшуюся кратковременной замену приехавшим из Берлина и принадлежавшим к русской зарубежной церкви митрополитом Серафимом. Крушение надежды на упразднение автокефалии после ее признания краковским генерал-губернатором Франком отразилось на нем тяжело. Он отошел от привлекавшей его раньше русской общественной жизни. Здоровье пошатнулось. Смерть подстерегла. Он скончался на Вольны, вскоре после окончания войны.

Меньше этих двух священников я знал третьего — молодого протоиерея Георгия Потоцкого. Небольшой, черноглазый и смуглый, он мог сойти за молдавана или левантинца. До войны он был в Варшаве тюремным священником, а в годы оккупации, после возвращения митрополита Дионисия к власти, стал его ближайшим сотрудником в сношениях с немецкими учреждениями. Меня поэтому удивило, что на обращенную к Троицкому приходу просьбу отслужить в моей квартире на Вейской напутственный молебен отозвался именно он.

Известие о моем предстоящем отъезде распространилось, очевидно, по городу, так как к полудню 28 июля в мою канцелярию начали стекаться те, кто хотел со мной проститься. В числе многих пришла В.Н. Блаументаль, подруга моей матери, почитаемый русскими варшавянами педагог. Пришел Л. — поляк, женатый на русской. До захвата власти в Польше маршалом Пилсудским он занимал видное положение в одном из министерств и избавил многих русских землевладельцев от направляемого против них злостного истолкования земельной реформы. Растрогал меня другой поляк — портной, исполнивший в прошлом немало моих заказов. Прощаясь, он протянул мне 50 германских марок и сказал:

— Вам деньги будут теперь нужней, чем мне... Возьмите их, пожалуйста...

Протоиерей Потоцкий предвидел то, что мне предстояло после войны. Он включил в молебен особое прошение об избавлении от человеческой клеветы. Впрочем, он предсказал и свою судьбу.

— Почему вы, отец Георгий, — спросил я, приложившись ко кресту, — остаетесь в Варшаве?

— Я знаю, — ответил он тихо, — что остаюсь на смерть, но решение не изменю.

Недели через три он, его жена и дети погибли под развалинами дома на Медовой улице. От Троицкой церкви, после подавления восстания, не осталось камня на камне.

Женщина, помогавшая моей жене в хозяйстве, была вдовой поляка. Она не захотела расстаться с Варшавой, но не бросила работы до

конца. После молебна я попросил ее накормить меня и моих спутников.

— Сергей Львович, — всплеснула она руками, — дома нет ничего, разве только гречневая каша...

— Что же, дайте кашу...

Она подала ее на фарфоре, в большой столовой. За овальным столом нас было семеро уезжавших и двое пожелавших нас проводить служащих комитета — М.И. Пантикова и милый юноша, которого назвать не могу, так как его судьба мне не известна. Непреодолимые причины заставили их отказаться от отъезда. Тем трогательнее было их присутствие — свое отношение ко мне и к комитету они, в трудную минуту, засвидетельствовали без забрала.

В буфете я нашел одну забытую бутылку шампанского. Разлив вино в стаканы, я поднял свой:

— За Россию, господа...

На вокзал мы дошли пешком. В последний раз я взглянул на город, где был ребенком, куда вернулся эмигрантом. Я знал, что прощаюсь с ним навсегда. Со мной был вещевой мешок — единственное достояние — и в нем трехцветный флаг, некогда сшитый и освященный по почину В.И. Семенова для Российского Комитета в Польше и еще недавно стоявший на древке под иконами в зале особняка на аллее Роз — тот флаг, которому я, в меру сил и разума, служил в Варшаве. От этой службы я был освобожден эвакуацией русских варшавян. Прежняя жизнь оборвалась. Предстояла новая, полная тревоги и опасности. Скорый поезд в Берлин был ее началом.

### Саша. Памяти друга

На заре нашего столетия Могилев был небольшим губернским городом, в котором русская имперская стихия мирно уживалась со следами польского влияния и многочисленным еврейским населением. С крутого, правого берега реки раскрывалась широкая картина низкого левобережного предместья окаймляющих его полей и — вдали — темной полосы белорусского леса.

Город был древним. Археологи обнаружили в окрестностях следы первобытных поселений, существовавших задолго до Новгородской и Киевской Руси, но сохранившиеся памятники городского зодчества были не старше семнадцатого, а то и восемнадцатого века.

Над обрывом, спускавшимся к Днепру, стоял просторный особняк — губернаторский дом. В 1812 году в нем побывал завоеватель,



французский маршал Даву. Наискосок, на той же площади, возвышалась сооруженная в 1678 году белая башня ратуши, а на двух расходящихся от нее под острым углом главных улицах — Большой Садовой и Днепровском проспекте — украшали город пленившие Блока белые храмы: основанный в 1620 году Богоявленский Братский монастырь и окруженная глухой стеной архиерейского двора построенная в 1795 году погребенным в ней позже епископом Георгием Конисским семинарская Преображенская церковь.

Белым был и заложенный в 1780 году императрицей Екатериной Второй и австрийским императором Иосифом в память их могилевской встречи небольшой собор — приновренное к нуждам православного богослужения подражание античным образцам, — но ратуша и остальные церкви, только восьмиконечными крестами отличавшиеся от католических костелов, напоминали, что здесь некогда господствовала не Москва, а Польша.

Учеником первого класса Могилевской гимназии был в 1912 году мой сверстник, которого я — по некоторым соображениям — назову не подлинным именем, а Сашей Александровым. По отцу он был русским, но по матери — внуком швейцарского педагога, составителя распространенного тогда в России учебника французского языка. Навсегда обосновавшись в Могилеве, этот иностранец полностью не обрусел, но дочерей выдал за местных помещиков — русского и поляка.

Классом я был старше Саши, и близкими друзьями мы в ту пору не были. В январе 1920 года мы случайно встретились в Одессе, накануне ее оставления Добровольческой армией. Он был вольноопределяющимся в отряде генерала Н.Э. Бредова, участвовал в его трудном зимнем походе от Черного моря до верховьев Днестра и был — как все бредовцы — интернирован в Польше и остался там политическим эмигрантом. Я же — как многие другие участники борьбы с поработившим Россию коммунизмом — был брошен 24 января 1920 года в Одесском порту на произвол судьбы ответственным за эвакуацию, но позаботившимся только о себе генералом Н.Н. Шиллингом. Незнакомая еврейская семья спасла меня и сослуживца, прапорщика Кравченко, от верной гибели в занятом большевиками городе, но лишь в сентябре следующего года мне удалось перейти на Вольни границу, отделившую Польшу от России, и стать в Варшаве эмигрантом. Испытанная опасность и могилевские воспоминания превратили неожиданную встречу с Сашей в начало прочной дружбы.

Весной 1923 года я по неопытности и неосторожному доверию к дореволюционным чинам и званиям был вовлечен в тайное Монархическое Объединение России, утверждавшее, что оно возглавлено в Москве гене-

ралом А.М. Зайончковским, но оказавшееся чекистской провокацией, так называемой «легендой». Эту печальную страницу моей жизни я рассказал в книге «Трест», напечатанной издательством «Заря».

Резидентом М.О.Р. и одновременно представителем созданной генералом А.П. Кутеповым боевой организации непримиримых и активных противников коммунистической диктатуры был в Варшаве Ю.А. Артамонов. Он выезжал на советскую границу каждый раз, когда предстоял ее переход кутеповцами или участниками М.О.Р., но частые отлучки могли обратить на него нежелательное внимание. Поэтому обслуживание пограничных «окон» нужно было поручить кому-либо другому. Зная стремление Саши приобщиться к борьбе, я предложил ему эту опасную обязанность.

23 декабря 1925 года он перевел из Польши в Россию бывшего члена Государственной Думы В.В. Шульгина, описавшего в книге, озаглавленной «Три столицы», свою якобы тайную, но в действительности состоявшуюся с ведома М.О.Р., то есть чекистов, поездку в Киев, Москву и Петроград. Сашу Александра, который встретил его на польской границе, он, конечно, забыть не мог.

По замыслу Москвы, безопасность связанных с М.О.Р. эмигрантов должна была быть — до поры до времени — полной, но даже О.Г.П.У. не могло все предусмотреть. Несколько лет советчины наложили на Россию отпечаток, отличавший ее от прошлого и легко становившийся ловушкой для тех, кто сталкивался с ним впервые, после Белграда, Парижа или Праги. Одновременно подсоветское население научилось отличать заграничное от местного. Саша убедился в этом в Минске, где переночевал у молодого «тайного монархиста», бывшего в действительности — как теперь известно — чекистом Е.И. Криницким.

По варшавской привычке Саша утром захотел побриться. Он знал, что это можно сделать легко — в те годы расцвета «новой экономической политики» в столице советской Белоруссии еще существовали частные парикмахерские. Саша зашел в ближайшую. Пожилой хозяин усадил его в кресло, намылил щеки и вдруг, как бы невзначай, спросил:

— А вы давно из Польши?

Эмигранта, накануне тайно перешедшего границу, вопрос ошеломил. Стараясь не выдать волнения и не показаться удивленным, он ответил:

— Из Польши?.. Нет, я вчера приехал из Москвы...

Парикмахер промолчал и больше не сказал ни слова, но, расплачиваясь, Саша не выдержал и сам заговорил:

— Почему вам показалось, что я из Польши?

Владелец парикмахерской ответил не сразу, а затем, взглянув на незнакомого клиента, сказал медленно и веско:

— У нас так не стригут...

В апреле 1927 года нас постигла непоправимая беда. Люди, которым мы слепо верили, — бывший генерал Н.М. Потапов и бывший действительный статский советник А.А. Якушев — оказались советскими агентами, если не прямо чекистами. Их «легенда» — Монархическое Объединение России — перестала существовать, а Кутеповской организации был нанесен жестокий удар. Слабым утешением было то, что Кутепов и польский генеральный штаб, поддерживавший с 1922 года оживленную связь с М.О.Р., не лишили меня доверия и что я даже вскоре стал, вместо Артамонова, резидентом боевой организации в Польше.

Сашу никто ни в чем упрекнуть не мог, но и делать ему, в создавшейся обстановке, было нечего — пограничные «окна» захлопнулись. Исходным плацдармом «боевых вылазок» кутеповцев в Россию стали Финляндия и Латвия. Обошлись эти «походы» дорого — ко второй половине 1928 года боевые отряды Кутепова были, по существу, истреблены.

Моя причастность к какой-либо конспирации прекратилась навсегда в 1930 году, вскоре после похищения Кутепова чекистами, но часто, встречаясь с Сашей, я вспоминал с ним события, неразрывно нас связавшие.

Вспыхнувшая в 1939 году война отразилась на нашей дружбе — видеться мы стали реже. На меня, как председателя Русского Комитета в Варшаве, выпала, в тягчайшей обстановке гитлеровского террора и польского вооруженного сопротивления, нелегкая забота о русских эмигрантах и о многочисленных новых беженцах из России.

Не мне судить о том, как я с этой задачей справился, но никогда не забуду те июльские дни 1944 года, когда на правом берегу Вислы к городу приблизились советские войска, а на левом нужно было эвакуировать старых и новых варшавян в Словакию. Накануне моего отъезда — после этой эвакуации — я захотел взглянуть на составленные моей канцелярией списки тех нескольких тысяч человек, которые уже находились в относительной словацкой безопасности. Имен осаждавших меня в последние дни бывших обитателей Смоленска, Минска, Киева, Ростова и других русских городов я, конечно, не знал, но фамилии давних русских варшавян были мне известны. Я увидел, что Саши в этих списках нет.

Расстояние от дома, где я жил тогда, до той центральной части города, где Саша сохранил не пострадавшую в 1939 году от бомбардировки квартиру, было невелико. Моего друга я застал в выходившей окнами во двор большого дома темноватой столовой. Он сидел в кресле, хотел подняться, но не смог. «Он очень болен», — шепнула его жена. Все же я спросил, как может он — при его прошлом — остаться в го-

роде, который несомненно станет в недалеком будущем добычей коммунистов. Слабым голосом Саша ответил, что двинуться он не в силах и что его решение бесповоротно. Мы обнялись и расцеловались. Мы знали, что видимся в последний раз.

Крушение национал-социалистической Германии застало меня в беженском лагере на границе Австрии и Лихтенштейна. Кого там только не было! Преобладали русские эмигранты — старые и новые, — но немало было и латышей, крымских татар и венгров.

Утром 3 мая 1945 года мимо лагеря, в обход города Фельдкирха, промчались французские танки, а несколько позже у пограничных проволочных заграждений появились альпийские и марокканские стрелки. Дня через три военный губернатор Фельдкирха, капитан де Лестранж, назначил А.В. Мамонтова и меня директорами лагеря. Осенью французское командование одобрило мое предложение о создании Социальной Службы Перемещенных Лиц в Форарльберге и назначило меня представителем русских эмигрантов в этом учреждении. При господствовавшем тогда в Европе беззаконии это не избавило меня от смертельной опасности.

Служившие во французской военной полиции в Германии коммунисты и их попутчики, привлеченные исходившим, к сожалению, из русской среды вымыслом о якобы вывезенном мною из Варшавы несметном богатстве, дважды пытались меня похитить. В сентябре 1945 года это им — под предлогом ареста — удалось, но моя семья подняла тревогу, и французские офицеры меня освободили. В следующем году похитители, приехавшие из Германии в Фельдкирх, где я тогда жил, не застали меня дома и сами были арестованы в моей квартире. Несколько позже та же участь постигла их русского вдохновителя, а летом 1947 года французская зона в Германии была очищена от таких преступников настолько, что я смог безопасно переехать туда из Австрии.

Как я ни был дружен с Сашей, вспоминал я его — признаюсь — в это трудное время не часто, но его судьбу я неожиданно узнал. Однажды в лагере ко мне подошел один из немногих живших в нем поляков и сказал:

— Простите, господин Войцеховский... Вы ведь, кажется, варшавянин?.. Не хотите ли взглянуть на польскую газету?

Он передал мне измятые, побывавшие во многих руках страницы сероватой бумаги. Первая была заполнена устаревшими известиями, приправленными советской пропагандой. На второй не менее тенденциозные статьи удивили меня тем, как скоро польский язык воспринял с коммунистической фразеологией чужие слова и обороты, если можно так сказать — осоветился. Третья состояла из декретов и распоряжений новой власти, и только из четвертой я узнал, что в Польше — в

отличие от России — еще существует частная торговля. Правда, ее объявления состояли из двух-трех строк петита и сводились к адресу коммерческого предприятия, к фамилии его владельца и к названию товара, но Саша был упомянут в одном из них в связи с его довольно редкой отраслью торговли. Я, таким образом, узнал, что он благополучно пережил варшавское восстание, а затем и превращение Польши в прикрытую лживой вывеской советскую колонию. Ни одной другой польской коммунистической газеты я ни тогда, ни позже — до переселения в Америку — не увидел.

Его спасение от грозивших бед меня порадовало, но связаться с ним я не пытался. Помочь ему я ничем не мог, а повредить боялся. Толчком, напомнившим наше участие в М.О.Р., стало появившееся 18 сентября 1961 года в просоветском «Русском Голосе» в Нью-Йорке «Открытое письмо к русским эмигрантам», подписанное В.В. Шульгиным.

Я знал автора этого «Письма» с апреля 1918 года, когда из Могилева приехал в Киев с твердым намерением включиться в борьбу с большевиками. Бывший член Государственной Думы Савенко, у которого я побывал по совету знакомых киевлян, ничем мне не помог, но направил к Шульгину. В его доме на Караваевской улице начался мой новый путь — недолгое участие в созданной Шульгиным тайной антисоветской организации «Азбука».

Летом того же года я, с ведома генерала Ломновского<sup>157</sup>, начальника тайного киевского центра Добровольческой армии, стал чиновником для особых поручений гетманского министерства иностранных дел, но сносился с центром не через Шульгина, а через поручика А.Ф. Ступницкого, окончившего — лет за шесть до меня — Могилевскую гимназию.

В начале 1919 года я встретился с Шульгиным в занятой французами Одессе. Мы жили в одной и той же лондонской гостинице. Он был шафером на свадьбе французского консула «с особыми полномочиями» Энно, который, в ноябре предшествовавшего года, тщетно пытался предотвратить падение Скоропадского и при котором я, по желанию штаба Добровольческой армии, состоял переводчиком.

Летом 1920 года, в том же приморском городе, на этот раз захваченном большевиками, Союз Освобождения России, в котором я участвовал, узнал, что Шульгин скрывается в Одессе и добывает пропитание тем, что ходит по дворам с песенками и гитарой. Найти его мы не пытались — это было бы и для нас, и для него напрасным риском, тем более что одним из офицеров, установивших с нами связь из Крыма, был его близкий родственник.

Гораздо позже — в Америке — кто-то мне рассказал, что в 1944 году Шульгин добровольно остался в занятой советскими войсками Югославии,

был арестован и увезен в Москву. Об его дальнейшей судьбе никто ничего достоверного сказать не мог. Теперь известно, что он побывал на Лубянке и провел долгие годы в страшном Владимирском изоляторе, из которого его, как и других заключенных, освободила хрущевская «амниция».

Письмо Шульгина в «Русском Голосе» было обращенным к эмигрантам советом признать, что в России — после возглавления власти Хрущевым — произошли неотвратимые перемены и поэтому пора отказаться от непримиримого, враждебного отношения к коммунизму и к советскому строю.

Российский Политический Комитет в Нью-Йорке возразил, распространив «Три письма В.В. Шульгину», написанные проф. Д. Иванцовым, Б.К. Ганусовским<sup>158</sup> и мною. Отвечая ставшему советским пропагандистом бывшему эмигранту на его восторженный отзыв о миролюбии Хрущева, я написал: «Войны мы, русские эмигранты, не хотим, как не хочет войны весь свободный мир. Война, однако, уже ведется, и ведется не нами. В Азии и в Африке, в Европе и, в последнее время, в Америке — на Кубе — война ведется коммунистами, и ее цель провозглашается открыто: распространение коммунизма по всей земле, та всемирная коммунистическая революция, которую начал Ленин, продолжил Сталин и ныне продолжает Хрущев».

«Уничтожение свободы слова, — было сказано в другой части моего ответа Шульгину, — преступление коммунистов, но страшнее другое — уничтожение свободы совести. Кто считает его жертвы, кто укажет точное число новых мучеников русской церкви? Их обильной кровью орошена вся русская земля».

Я воздержался от резких, оскорбительных выпадов, понимая, что человек, попавший в советские тиски, мог быть сломлен постигшей его участью, но я напомнил то, что в 1926 году было им написано в предисловии к «Трем столицам»: «Я порядочно побаивался, как бы в случае неудачи большевики не разыграли со мной того же самого, что они проделали с Борисом Савинковым, т. е. чтобы не опозорили моего имени прежде, чем тем или иным способом меня прикончить. Поэтому в письме на имя генерала Артифексова<sup>159</sup> я заявлял, что хотя я еду в Россию по личным мотивам и политики делать не собираюсь, но я остаюсь непримиримым врагом большевиков, почему каким бы то ни было их заявлениям о моем «раскаянии» или с ними «примирении» прошу не придавать никакой веры». К этой цитате я прибавил: «Не знаю, как коммунисты заставили Вас отречься от непримиримости, отречься от всего, что было столько лет смыслом и содержанием Вашей жизни, но знаю, что под этим отречением, под Вашим «открытым письмом» к русским эмигрантам не только Ваша подпись, но и Ваши слова: «Ка-

ким бы то ни было их заявлениям о моем раскаянии или с ними примирении прошу не придавать никакой веры».

Шульгин откликнулся — 7 сентября 1962 года в московских «Известиях» появилась его статья, озаглавленная «Возвращение Одиссея». Она была описанием его состоявшегося под чьим-то бдительным оком путешествия по России, во время которого он побывал в Киеве, на Караваевской улице, а на Волыни увидел свое бывшее имение — Курганы. Он перечислил в этой статье некоторых известных русских эмигрантов, которых назвал «бесноватыми» за то, что они призывают западный мир к войне с захватившими власть в России коммунистами, но меня упомянул с оговоркой: «Нет, Войцеховский не бесноватый, и не потому, что в своем письме он делает мне некоторые комплименты, а по другим основаниям, но, между прочим, он в одном отношении безусловно не прав... С.Л. Войцеховский должен прибавить, что есть русская эмиграция, которая открыто и даже испуленно, упиваясь своим собственным безумием, зовет термоядерные бомбы упасть с неба на головы человечества. Может быть, С.Л. Войцеховский просто этих статей не читал? В таком случае, мой совет их прочесть и отгородиться от этой части русской эмиграции решительно и твердо. Но сейчас я вижу С.Л. Войцеховского среди поджигателей войны, так как он совместно с Б.К. Ганусовским выступил с открытым письмом и тем самым как бы солидаризировался с этого рода мыслителями».

Полемика с человеком несвободным была бы бесплодной. Я промолчал, хотя сам себя «поджигателем войны» никак не считал. Шульгин, однако, вызвал во мне другой вопрос: прочитал ли Саша его статью в легко доступных в Варшаве «Известиях» и узнал ли из нее, что я еще существую? На ответ я не надеялся, но получил его неожиданно и скоро. Месяца через три вечером в моей квартире раздался звонок телефона. Знакомый, бывший варшавянин, взволнованно сказал:

— Простите, Сергей Львович, что беспокою поздно, но должен предостеречь... Кто-то, только что приехавший из Варшавы, хочет получить ваш адрес...

Он рассказал, что в поезде метро с ним заговорили единственные пассажиры вагона — господин и дама, спросившие, где нужно пересесть, чтобы попасть в другую, далекую часть Нью-Йорка. Услышав, что между собой они говорят по-польски, мой знакомый ответил на том же языке. Когда он назвал себя русским варшавянином, неизвестный поляк воскликнул:

— Да ведь и моя жена тоже русская и тоже варшавянка!

Она присоединилась к разговору и спросила, много ли в Нью-Йорке русских бывших жителей Варшавы. Услышав мое имя, она не сразу поверила:

— Как, разве Войцеховский не убит?.. В Польше мы его считали мертвым... Дайте, пожалуйста, его адрес...

Настойчивость, с которой они эту просьбу повторили, показалась моему знакомому подозрительной, тем более что — по их словам — поляк и его русская жена только за три дня до случайной встречи в метро прилетели в Америку из Польши. Адрес он им не сообщил, но на следующий день они появились в Толстовском фонде и просьбу повторили. Им было сказано, что фонд ничьих адресов не сообщает, но может — если они пожелают — отослать мне их письмо. Они немедленно этим предложением воспользовались.

Из письма я узнал, что дама, считавшая меня убитым, — бывшая жена варшавского русского купца, вышедшая — вторым браком — за поляка. Она и ее муж хотели посоветоваться со мной о возможности получения ими права на постоянное пребывание в Соединенных Штатах. Для ответа был указан номер телефона. Вспомнив, что первый муж этой варшавянки был до войны компаньоном Саше в общем коммерческом деле, я пригласил их к себе и два дня спустя услышал от них много мне неизвестного, трагического и забавного о подсоветской Польше. Спросил я их, конечно, и о Саше и — к великому горю — узнал, что в 1948 году он на небольшой станции в окрестностях Варшавы пытался вскочить в отходивший переполненный поезд, поскользнулся, попал под колеса и был убит.

Я не предполагал — после этого известия, — что когда-либо еще раз услышу имя Саше от человека, его не знавшего, но случилось именно это. В марте 1964 года в клубе Колумбийского университета состоялся завтрак, на который один из профессоров пригласил нескольких эмигрантов для разговора о русской зарубежной печати. Одним из приглашенных был Б.В. Сергиевский<sup>160</sup>, но участники этой встречи не знали, успеет ли он вовремя прилететь из Парижа. За стол сели без него, но к концу завтрака он появился и смог высказать свое мнение в состоявшемся за чашкой кофе разговоре. Гости стали расходиться, когда он подошел ко мне и сказал:

— Вот, чуть не забыл... Русский парижанин хотел что-то узнать о вашем знакомом...

На листке из блокнота, который Сергиевский тут же мне вручил, было им записано:

«Спросить Сергея Львовича, когда и где он в последний раз видел Александра Владимировича...»

После имени и отчества была указана фамилия Саше. Я был этим поражен. Сергиевский это заметил:

— В чем дело?.. Что вас взволновало?

— Здесь, — ответил я, — предпочитаю промолчать... Можно ли вас увидеть завтра?



— Конечно, в любое время...

На следующий же день, встретившись с Сергиевским, я спросил, кто и где заговорил с ним о Саше.

— Прилетел я, — рассказал он, — в Париж... Остановился, как всегда, у Ритца... Появились, как всегда, просители, домогавшиеся денежных пособий... Почти всех я знал по прошлым приездам, но К., назвавшего себя первопоходником, корниловцем и галлиполийцем, увидел впервые...

Оказалось, что он — не проситель в обычном смысле слова.

— Вы, кажется, — сказал он мне, — знаете Сергея Львовича Войцеховского?

— Да, — ответил я, — мы единомышленники и друзья.

Он рассыпался в похвалах вашему антикоммунизму, а затем обратился с просьбой, которую я тогда же записал... Почему она вас удивила?

Пришлось объяснить, кем был Саша. Я упомянул его причастность к М.О.Р. и помощь, оказанную Шульгину при переходах польско-советской границы в обе стороны. Я сказал, что русский парижанин не мог знать Саши, так как в Польше не жил, а Саша во Франции не бывал. Единственным возможным объяснением попытки установить его судьбу я назвал желание К.Г.Б. пополнить его архив недостающими сведениями.

Я высказал предположение, что до выступления Шульгина в роли советского пропагандиста его биография была еще раз тщательно проверена. Описанная им в «Трех столицах» поездка в Россию не была забыта, и, в связи с ней, должно было всплыть имя Саши, как проводника, доставившего Шульгина из Варшавы на границу. Именно тогда могло выясниться, что судьба Саши после войны советским «органам государственной безопасности» не известна. Не скончался он в 1948 году, они, несомненно, установили бы, что он мирно занимается в Варшаве торговлей, но смерть на загородной железнодорожной станции, вблизи которой его, вероятно, похоронили, осталась не отмеченной в списках населения польской столицы. Саша пропал без вести, и в цепочке имен, связанных с жизнью Шульгина, не хватало звена. Поэтому в Москве было решено воспользоваться моими дружескими отношениями с Сергиевским, чтобы задать ему вопрос, который не мог быть прямо поставлен мне.



# КОММЕНТАРИИ



<sup>1</sup> **Ларионов Виктор Александрович**, р. 13 июля 1897 г. в Санкт-Петербурге. 13-я Санкт-Петербургская гимназия, 1916 г. В сентября 1916 г. — мае 1917 г. гардемарин Отдельных гардемаринских классов, с июня 1917 г. юнкер Константиновского артиллерийского училища. В Добровольческой армии с ноября 1917 г. в Юнкерской батарее, с 12 февраля 1918 г. прапорщик. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 1-й офицерской батарее, на 21 марта 1919 г. в 1-м легком артиллерийском дивизионе, затем в Марковской артиллерийской бригаде (летом 1919 г. поручик). Капитан (к октябрю 1920 г.). В эмиграции член организации Кутепова, в июне 1927 г. участник диверсии в Петрограде, с 1927 г. во Франции, участник монархического движения, 1941 г. в германской армии в Смоленске. После 1945 г. в Германии. Умер после 1984 г.

<sup>2</sup> Впервые опубликовано: *Ларионов В.А.* Боевая вылазка в СССР. Записки организатора взрыва Ленинградского Центрального Партклуба (июнь 1927 года). Париж, 1931.

<sup>3</sup> **Канегиссер Леонид Аникиевич** (Акимович). Юнкер Михайловского артиллерийского училища. 30 августа 1918 г. застрелил председателя Петроградской ЧК С.М. Урицкого. Расстрелян большевиками в сентябре 1918 г. в Петрограде.

<sup>4</sup> **Коверда Борис Софронович**, р. 21 августа 1907 г. в Виленском у. Ученик Виленской гимназии. В эмиграции в Польше. 7 июня 1927 г. застрелил в Варшаве советского полпреда, одного из цареубийц, П. Войкова. Осужден на 15 лет каторги. В 1938 г. сдал экзамен за курс Первого русского кадетского корпуса. После 1945 г. — в США. Умер 18 февраля 1987 г. в Адельфи (США).

<sup>5</sup> **Конради Морис Морисович**. Офицер 1-го пехотного полка. Во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской дивизии до эвакуации Крыма, летом 1920 г. адъютант 1-го Дроздовского полка. Галлиполиец. В 1923 г. в Лозанне застрелил советского полпреда В. Воровского. По суду оправдан. Осенью 1925 г. в составе Дроздовского полка во Франции. Капитан. Служил во французском Иностранном легионе (сержант), участник французского Сопротивления. Убит в 1944 г.

<sup>6</sup> **Захарченко Мария Владиславовна** (Захарченко-Шульц, ур. Лысова, по 1-му браку Михно), р. 9 декабря 1893 г. в Пензенской губ. Из дворян той же губ. Смольный институт, 1912 г. Доброволец, унтер-офицер 3-го гусарского полка. С конца 1917 г. организатор «Союза самозащиты» и руководитель партизанского отряда в Пензенской губ., затем в подполье в Пензе и Москве. В Вооруженных Силах Юга России; с июня 1919 г. в дивизионе 15-го уланского полка. Тяжело ранена под Каховкой. Галлиполиец. Член Боевой организации Кутепова, с 1927 г. в Польше. Смертельно ранена в июне 1927 г. у ст. Дретунь под Борисовом.

<sup>7</sup> **Радкович Георгий Николаевич**, р. в 1898 г. в Санкт-Петербурге. Из дворян. 1-я Санкт-Петербургская гимназия, Пажеский корпус, 1917 г. Поручик л.-гв. Егерского полка. В 1918 г. член монархической организации в Петрограде, осенью 1918 г. участник восстания и попытки завладения судами речной флотилии (Селигерфлот). Взят в плен, бежал в Финляндию. В Северо-Западной армии (зачислен с 1 июня 1919 г.); в декабре 1919 г. в 8-м пехотном Семеновском полку. Штабс-капитан (с 22 октября 1919 г.). В Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Гвардейского отряда в Югославии. Капитан. В эмиграции член боевой организации РОВС; в 1924—1925 гг. работал в СССР, с июня 1927 г. руководитель боевой организации. Убит (покончил самоубийством в окружении) 6 июля 1928 г. под Подольском после нападения на здание на ГПУ в Москве.

<sup>8</sup> **Петерс Юрий Сергеевич**, р. в 1905 г. в Санкт-Петербурге. Сын инженера. В эмиграции в Финляндии. Окончил там гимназию, с 1924 г. в боевой группе РОВС. 1925—1926 гг. трижды был в СССР. Покончил самоубийством в окружении при попытке перехода границы под Смоленском 18 июня 1927 г.

<sup>9</sup> **Соловьев Сергей Владимирович**, р. 22 сентября 1907 г. в Або. Из дворян, сын полковника. Гельсингфорсская гимназия. В эмиграции с 1926 г. член боевой организации РОВС, дважды ходил в СССР. Убит 26 августа 1927 г. у м. Пески у Петрозаводска.

<sup>10</sup> **Шарин А.А.** Член боевой организации РОВСа, участник рейда в СССР. Убит 26 августа 1927 г. у м. Пески у Петрозаводска.

<sup>11</sup> **Болмасов Александр Борисович**, р. 10 января (августа) 1896 г. в Одессе. Гельсингфорсская гимназия, 1914 г., Михайловское артиллерийское училище, 1915 г. Поручик, старший офицер 3-го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона. В белых войсках Северного фронта (через Финляндию) с 27 ноября 1918 г.; в Офицерской школе Северной области, затем командир батареи на Архангельском фронте, с 18 февраля 1919 г., октябрь 1919 г. — февраль 1920 г. во 2-м отдельном артиллерийском дивизионе. Штабс-капитан. С лета 1920 г. в Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Алексеевского арtdивизиона во Франции. В эмиграции в Болгарии и Финляндии, член боевой организации РОВСа. 8 раз ходил в СССР. Расстрелян 23 сентября 1927 г. в Петрограде.

<sup>12</sup> **Сольский Александр Александрович**, р. 24 сентября 1904 г. в Санкт-Петербурге. Из дворян, сын офицера. Кадет 1-го кадетского корпуса. В эмиграции в Финляндии, в 1925 г. окончил гимназию в Перкьярви. С 1927 г.

член боевой организации РОВСа. Расстрелян большевиками 23 сентября 1927 г. в Петрограде.

<sup>13</sup> Имеется в виду Дмитрий Мономахов, член боевой группы В.А. Ларионова.

<sup>14</sup> Имеется в виду С.В. Соловьев (см. выше).

<sup>15</sup> Марковская артиллерийская бригада (Артиллерийская генерала Маркова бригада). Сформирована во ВСЮР 15 октября 1919 г. на базе 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 7-й и двух запасных батарей 1-й артиллерийской бригады. Включала 4 дивизиона и запасный дивизион (5-я и 6-я батареи созданы из кадра 1-й и 3-й батарей, а 8-я — 7-й). Ведет происхождение от созданной 19 ноября 1917 г. из юнкеров Сводной Михайловско-Константиновской батареи (см. 1-я Офицерская батарея). Входила в состав Марковской дивизии, но в 1919 г. ее батареи, как правило, придавались по отдельности и другим частям. Понесла тяжелые потери при окружении дивизии у с. Алексеево-Леоново 18 декабря 1919 г. В Крым прибыло 246 офицеров и чиновников и около 500 солдат при 4 орудиях. 16 апреля 1920 г. 3-й дивизион был расформирован, а 2-й заново сформирован из 2-го и 3-го дивизионов Алексеевской артиллерийской бригады. В Галлиполи сведена в Марковский артиллерийский дивизион (500 чел.).

<sup>16</sup> Имеется в виду прославившийся своим садизмом председатель Харьковской ЧК в 1919 г.

<sup>17</sup> **Духонин Николай Николаевич**, р. 1 декабря 1876 г. Из дворян, сын полковника. Киевский кадетский корпус, 1894 г., Александровское военное училище, 1896 г., академия Генштаба, 1902 г. Офицер л.-гв. Литовского полка. Генерал-лейтенант, начальник штаба Верховного Главнокомандующего, с 1 ноября 1917 г. врио Главнокомандующего. Георгиевский кавалер. Выступил против власти большевиков, обеспечив выезд на Дон участников выступления генерала Корнилова. Убит большевиками 20 ноября 1917 г. в Могилеве.

<sup>18</sup> **Корнилов Лавр Георгиевич**, р. 18 августа 1870 г. в Семипалатинске. Сын коллежского секретаря. Сибирский кадетский корпус, 1889 г., Михайловское артиллерийское училище, 1892 г., академия Генштаба, 1898 г. Генерал от инфантерии, Верховный главнокомандующий до августа 1917 г., когда выступил против предательской политики Временного правительства и был арестован, содержался в Быхове. С 5 декабря 1918 г. в Новочеркасске, где возглавил Добровольческую армию, которую вывел в 1-й Кубанский («Ледяной») поход. Убит 31 марта 1918 г. под Екатеринодаром.

<sup>19</sup> **Марков Сергей Леонидович**, р. 7 июля 1878 г. Из дворян. 1-й Московский кадетский корпус, 1895 г., Константиновское артиллерийское училище 1898 г., академия, Генштаба 1904 г. Офицер л.-гв. 2-й артиллерийской бригады. Генерал-лейтенант, начальник штаба Юго-Западного фронта. Участник выступления генерала Корнилова в августе 1917 г., Быховец. В Добровольческой армии с ноября 1917 г., с 24 декабря 1917 г. начальник штаба командующего войсками Добровольческой армии, с января 1918 г. начальник штаба 1-й Добровольческой дивизии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода: с 12 февраля 1918 г. командир Сводно-офицерского полка, с апреля 1918 г. командир 1-й отдельной пехотной бригады, с июня 1918 г. начальник 1-й пехотной дивизии. Убит 12 июня 1918 г. у ст. Шаблиевка.

<sup>20</sup> **Тимановский Николай Степанович**, р. в 1889 г. Офицерский экзамен около 1906 г. Полковник, командир Георгиевского батальона Ставки ВГК. В Добровольческой армии с декабря 1917 г., командир роты офицерского батальона. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, с 12 февраля 1918 г. помощник командира Сводно-офицерского полка, затем начальник штаба 1-й отдельной пехотной бригады, с мая 1918 г. командир 1-го Офицерского (Марковского полка), с 12 ноября 1918 г. генерал-майор, командир 1-й бригады 1-й пехотной дивизии. В начале 1919 г. направлен в Одессу, с 31 (21) января 1919 г. начальник Отдельной бригады Русской Добровольческой армии в Одессе (с 27 января — Отдельной Одесской стрелковой бригады), с которой отступил в Румынию, с 18 мая по 13 июня начальник развернутой из бригады 7-й пехотной дивизии, с 2 июня 1919 г. начальник 1-й пехотной дивизии, с 10 ноября 1919 г. начальник Марковской дивизии. Генерал-лейтенант (с лета 1919 г.). Умер от тифа 18 декабря 1919 г. на ст. Чернухин Херсонской губ.

<sup>21</sup> **Шперлинг Александр Альфредович**, р. в 1895 г. Из дворян Прибалтики. 1-й Московский кадетский корпус, 1913 г., Михайловское артиллерийское училище, 1914 г. Штабс-капитан. В Добровольческой армии; в январе 1918 г. в Юнкерской батарее, участник рейда партизанского отряда полковника Чернецова. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 1-й офицерской батарее, затем в 1-м легком артиллерийском дивизионе, с 16 декабря 1918 г. (с 24 апреля 1919 г.) до смерти командир 1-й батареи в 1-й (затем Марковской) артиллерийской бригаде. Полковник (с 26 марта 1920 г.). Орден Св. Николая Чудотворца. Убит 6 августа 1920 г. у раз. Чакрак под с. Бурчатском Таврической губ.

<sup>22</sup> **Войцеховский Сергей Львович**, р. 4 марта 1900 г. в Варшаве. Могилевская гимназия, 1918 г. В Добровольческой армии; 1918 г. в организации генерала Ломнового в Киеве, чиновник гетманского МИД. С декабря 1918 г. в Одессе, служащий французского консульства, с марта 1919 г. послан для связи с организацией армии в Киев. С мая 1919 г. чиновник особых поручений при управлении командующего войсками Киевской области. В январе 1920 г. остался в Одессе, участник создания Союза Освобождения России. В эмиграции в Польше, с сентября 1921 г. до июля 1944 г. журналист в Варшаве. С 1923 г. член боевой организации Кутепова, 1928—1930 гг. ее варшавский резидент, в 1931—1939 гг. член правления и управляющий делами РОК, в 1940—1945 гг. председатель Русского Комитета. В 1947—1950 гг. в Германии, затем в США. Писатель и публицист. Умер 21 января 1984 г. на Толстовской ферме (США).

<sup>23</sup> Впервые опубликовано: *Войцеховский С.Л.* «Трест». Канада, 1974.

<sup>24</sup> **Кутепов Александр Павлович**, р. 16 сентября 1882 г. в Череповце. Сын надворного советника корпуса лесничих (усын.; наст. — личного дворянина Константина Матвеевича Тимофеева). Архангельская гимназия, Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище, 1904 г. Офицер 85-го пехотного полка. Полковник, командующий л.-гв. Преображенским полком. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР с ноября 1917 г.; командир 3-й офицерской (гвардейской) роты, с декабря 1917 г. командующий войсками Таганрогского направления. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, командир 3-й роты 1-го Офицерского полка, Корниловского полка, с начала апреля 1918 г. ко-

мандир Корниловского ударного полка, затем командир бригады, начальник 1-й пехотной дивизии, с 12 ноября 1918 г. генерал-майор, с декабря 1918 г. Черноморский военный губернатор, с 13 января 1919 г. командир 1-го армейского корпуса, с 23 июня 1919 г. генерал-лейтенант, с декабря 1919 г. — Добровольческого корпуса. В Русской Армии командир 1-го армейского корпуса, с августа 1920 г. командующий 1-й армией. Генерал от инфантерии (3 декабря 1920 г.). В Галлиполи командир 1-го армейского корпуса. В эмиграции во Франции. С 1928 г. начальник РОВС. Убит 26 января 1930 г. при попытке похищения в Париже.

<sup>25</sup> **Борман Аркадий Альфредович**, р. в 1891 г. В Добровольческой армии; в январе 1918 г. послан с поручением в тыл к красным. Во ВСЮР до эвакуации Новороссийска. Эвакуирован 22 февраля 1920 г. в Константинополь на корабле «Саратов». В эмиграции в США, журналист. Умер 20 мая 1974 г. в Нью-Йорке.

<sup>26</sup> **Гершельман Александр Сергеевич** (5-й), р. 12 ноября 1893 г. в Ревеле. Сын генерал-лейтенанта. Пажеский корпус, 1913 г. Офицер 1-й конно-артиллерийской батареи. Штабс-капитан 1-й батареи л.-гв. Конной артиллерии. Георгиевский кавалер. Арестован в ноябре 1918 г. в Москве, с ноября 1918 г. в Финляндии, в мае 1919 г. участвовал в спасении Н.Е. Маркова-2-го. С мая 1919 г. в Северном корпусе и Северо-Западной армии (зачислен с 16 июня 1919 г.); командир артиллерийского взвода Талабского полка, с июня 1919 г. — командир роты 5-й батареи Псковской артиллерийской бригады, с июля 1919 г. командир 1-й батареи во 2-м отдельном легком артдивизионе, осенью 1919 г. командир батареи Темницкого полка, с декабря 1919 г. командир 2-й батареи в 3-м отдельном легком артдивизионе. Ранен. Полковник. В эмиграции в Финляндии с 1 января 1921 г., в Берлине с 1925 г., на 1938 г. — в Вене. Участник Рейхенгальского монархического съезда 1921 г. С 1948 г. в Аргентине. Сотрудник журнала «Военная Бель». Умер 24—25 декабря 1977 г. в Буэнос-Айресе.

<sup>27</sup> **Пашенный Николай Леонтьевич**, р. 12 января 1896 г. Училище правоведения, 1917 г. Чиновник военно-судебного ведомства. С 1918 г. в гетманском МИДе, затем на подпольной работе: с января 1919 г. в белой организации в Киеве. В Вооруженных силах Юга России; вольноопределяющийся, затем чиновник особых поручений при Черниговском губернаторе и старший делопроизводитель инспекторского отделения Управления внутренних дел. В эмиграции в Югославии, в 1922—1941 гг. в Белграде, после 1945 г. в Париже. Секретарь комитета Правоведческой кассы. Умер 16 января 1978 г. в Париже.

<sup>28</sup> **Князь Трубецкой Сергей Евгеньевич**, р. 14 февраля 1890 г. 7-я Московская гимназия, 1908 г., Московский университет, 1912 г. В 1918—1919 гг. член Национального центра и Тактического центра в Москве. Арестован в августе 1920 г. В эмиграции с 1922 г. во Франции, в 1930—1937 гг. советник председателя РОВС по политической части. Умер 24 октября 1949 г. в Клаамаре (Франция).

<sup>29</sup> **Скоблин Николай Владимирович**, р. в 1894 г. Сын коллежского асессора. Штабс-капитан 1-го Ударного отряда и Корниловского ударного полка. В Добровольческой армии с ноября 1917 г. с полком. Капитан. Участ-



ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода: помощник командира полка, капитан. С 1 ноября 1918 г. командир Корниловского полка, с 12 ноября 1918 г. полковник, с 26 марта 1920 г. начальник Корниловской дивизии до эвакуации Крыма. Генерал-майор (с 26 марта 1920 г.). На 18 декабря 1920 г. в штабе Корниловского полка в Галлиполи. В эмиграции во Франции, где завербован ГПУ и участвовал в похищении генерала Миллера; в 1937 г. бежал в Испанию. Умер в 1938 г.

<sup>30</sup> **Плевицкая Надежда Васильевна**, р. в 1884 г. Известная эстрадная певица, исполнительница русских народных песен. Жена генерала Скоблина. В эмиграции во Франции, после разоблачения ее роли в похищении генерала Е.К. Миллера осуждена к тюремному заключению. Умерла в 1941 г.

<sup>31</sup> **Третьяков Сергей Николаевич**, р. в 1882 г. Председатель экономического совета Временного правительства, в 1917—1918 гг. председатель Торгово-промышленного комитета. Во время Гражданской войны — министр торговли и товарищ председателя Совета Министров адмирала Колчака. В эмиграции во Франции, где в 1929 г. завербован советской разведкой. Участник похищения генерала Миллера. Умер в 1943 г.

<sup>32</sup> **Артамонов Юрий Александрович**. Александровский лицей, 1917 г. (не окончил). Произведен в офицеры из вольноопределяющихся в 1917 г. Прапорщик л.-гв. Конного полка. В апреле 1918 г. в Москве. До декабря 1918 г. в русских добровольческих частях на Украине. Вывезен в Германию. С мая 1919 г. в 3-м батальоне Ливенского отряда, затем в Северо-Западной армии (зачислен с 10 июля 1919 г.); 6 августа 1919 г. в 3-м стрелковом полку 5-й (Ливенской) дивизии; в декабре 1919 г. в 19-м пехотном Полтавском полку. Корнет. В эмиграции в Варшаве. Умер 21 августа 1971 г. в Сан-Паулу (Бразилия).

<sup>33</sup> **Князь Ширинский-Шихматов Кирилл Алексеевич**, р. 26 августа 1894 г. Училище правоведения, 1917 г. Офицер с 1915 г. Штабс-ротмистр л.-гв. Конного полка. Состоял при представительстве ВСЮР и Северо-Западной армии в Польше; в июне 1919 г. организатор отправки пополнений из Польши в отряд св. кн. Ливена. В эмиграции во Франции, на ноябрь 1951 г. казначей объединения л.-гв. Конного полка. Умер 22 марта 1972 г. в Париже.

<sup>34</sup> **Бискупский Василий Викторович**, р. 27 июня 1878 г. 2-й кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище, 1897 г. Офицер л.-гв. Конного полка, командир 16-го гусарского и 1-го драгунского полков. Генерал-майор, командующий 3-й кавалерийской дивизией. Георгиевский кавалер. С 1918 г. командующий войсками гетмана в Одессе армии; 20 июля 1918 г. назначен и.о. командира 1-й конной дивизии. В эмиграции с 1919 г. в Германии, июль—сентябрь 1919 г. глава Западнорусского правительства в Берлине, участник Рейхенгалльского монархического съезда 1921 г., с 1936 г. начальник управления по делам русской эмиграции в Германии. Генерал от кавалерии (по КИАФ). Умер 18 июня 1945 г. в Мюнхене.

<sup>35</sup> **Андро де Ланжерон Дмитрий Федорович**, р. ок. 1870 г. Из дворян, сын полковника. Пажеский корпус, 1890 г. Офицер л.-гв. Казачьего полка. Сотник гвардии в отставке. Действительный статский советник. При Гетмане Вольинский губернский староста, с 21 ноября 1918 г. министр внутренних дел.

Сформировал в Житомире добровольческий отряд, с которым прорвался в Киев в декабре 1918 г. В начале 1919 г. помощник по гражданской части генерала Шварца в Одессе. В эмиграции в Польше.

<sup>36</sup> **Ступницкий Арсений Федорович**, Поручик. В Добровольческой армии и ВСЮР; в начале 1919 г. в политическом отделении штаба Добровольческой армии в Одессе. Эвакуирован в 1920 г. В эмиграции во Франции, редактор газеты «Русские новости» в Париже.

<sup>37</sup> **Глобачев Николай Иванович**, р. 28 марта 1869 г. Полоцкий кадетский корпус, 1887 г., Павловское военное училище, 1889 г., академия Генштаба, 1895 г. Офицер л.-гв. Кексгольмского полка. Генерал-майор, начальник штаба крепости Ново-Георгиевск (с 1915 г. в плену). В 1918 г. организатор пополнения бывшими военнопленными рядов Добровольческой армии и ВСЮР, осуществлял связь с «Русской делегацией» в Германии, глава такой же делегации в Польше. В эмиграции в Германии. С 1931 г. председатель Союза Инвалидов (Центрального Союза русских увечных воинов) в Берлине, на 1 июля 1925 г. — 1 мая 1938 г. член полкового объединения. С 1935 г. начальник отдела РОВС в Германии, к 1939 г. в Берлине.

<sup>38</sup> **Гришин Алексей Николаевич** (-Алмазов), р. в Кирсановском у. Полковник. Георгиевский кавалер. По заданию генерала М.В. Алексева организовывал офицерское подполье в Сибири. Организатор свержения большевиков в Новониколаевске 27 мая 1918 г. 28 мая — 12 июня командующий войсками Омского военного округа, с 13 июня до 5 сентября 1918 г. командующий Сибирской армией, с 1 июля одновременно управляющий Военным министерством; уволен 6 сентября 1918 г. В сентябре 1918 г. отбыл в Екатеринодар, с 29 ноября 1918 г. в Одессе, с 4 декабря 1918 г. военный губернатор Одессы и (до 15 января 1919 г.) командующий войсками Добровольческой армии Одесского района, с 24 февраля по 23 апреля 1919 г. врид командующего Войсками Юго-Западного края. В апреле 1919 г. послан в Омск во главе делегации к адмиралу Колчаку. Генерал-майор (с 11 июля 1918 г.). Застрелился под угрозой плена 22 апреля (5 мая) 1919 г. в Каспийском море.

<sup>39</sup> **Фон Шварц Алексей Владимирович**, р. 15 марта 1874 г. Из дворян Екатеринославской губ. Реальное училище, 1892 г., Николаевское инженерное училище, 1895 г., Николаевская инженерная академия, 1902 г. Генерал-лейтенант, начальник Главного Военно-технического управления. Георгиевский кавалер. Летом 1918 г. бежал из Красной армии в Киев; в декабре 1918 г. в Одессе; приглашен на должность начальника предполагаемого десантного отряда для захвата Петрограда, с 21 марта 1919 г. командующий русскими войсками в союзной зоне и генерал-губернатор Одессы, в апреле 1919 г. начал формирование Южно-русской армии. В эмиграции в Италии, затем в Аргентине, преподаватель академии Генштаба и Высшей военно-технической школы. Умер 27 сентября 1953 г. в Буэнос-Айресе.

<sup>40</sup> **Драгомиров Абрам Михайлович**, р. 22 апреля (21 сентября) 1868 г. в Санкт-Петербурге. Из дворян Черниговской губ., сын генерала от инфантерии. Пажеский корпус, 1887 г., академия Генштаба, 1893 г. Офицер л.-гв. Семеновского полка, начальник 16-й кавалерийской дивизии, командир 9-го армейского корпуса. Генерал от кавалерии, главнокомандующий вой-

сками Северного фронта. Георгиевский кавалер. С августа 1918 г. помощник верховного руководителя Добровольческой армии, с 3 октября 1918 г. — сентябрь 1919 г. одновременно председатель Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР. С 11 сентября 1919 г., декабря 1919 г. главноначальствующий и командующий войсками Киевской области. С 8 марта 1919 г. заместитель председателя комиссии по эвакуации Новороссийска, с 19 сентября 1920 г. председатель кавалерской думы Ордена Св. Николая Чудотворца. В эмиграции в Югославии (в Белграде), с 1924 г. генерал для поручений при председателе РОВС, с 1931 г. во Франции, руководитель особой работы РОВС, с 1 января 1934 г. член, затем председатель Общества офицеров Генерального штаба. В годы 2-й мировой войны в резерве чинов при штабе РОА. Член Общества Ветеранов. Умер 9 декабря 1955 г. в Ганьи (Франция).

<sup>41</sup> **Шиллинг Николай Николаевич**, р. 16 декабря 1870 г. Из дворян. Николаевский кадетский корпус, 1888 г., Павловское военное училище, 1890 г. Офицер л.-гв. Измайловского полка. Генерал-лейтенант, командир 17-го армейского корпуса. Георгиевский кавалер. В 1918 г. в гетманской армии в распоряжении Главнокомандующего. В Добровольческой армии и ВСЮР с 1 сентября 1918 г. в Киевском центре, ноябрь—декабрь 1918 г. заместитель представителя Добровольческой армии в Киеве, с 1 января 1919 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 22 января 1919 г. начальник 5-й пехотной дивизии, с 28 мая 1919 г. в распоряжении Главнокомандующего ВСЮР, с 10 июля 1919 г. командир 3-го армейского корпуса, с 12 июля одновременно главноначальствующий Таврической (с 11 августа также и Херсонской) губ., с 26 августа 1919 г. командующий войсками Новороссийской области, освобожден 18 марта 1920 г. В эмиграции в Чехословакии, председатель кружка Георгиевских кавалеров в Праге. Арестован в мае 1945 г. Умер в начале 1946 г. в Праге.

<sup>42</sup> **Симанский Пантелеймон Николаевич**, р. 30 сентября 1866 г. Из дворян Псковской губ. Псковский кадетский корпус, 1883 г., Константиновское военное училище, 1885 г., академия Генштаба, 1891 г. Офицер л.-гв. Павловского полка. Генерал-лейтенант, командир 47-го армейского корпуса. Георгиевский кавалер. В Северо-Западной армии; с 25 октября 1918 г. до 22 ноября 1918 г. начальник 1-й стрелковой дивизии Отдельного Псковского добровольческого корпуса в Пскове, с 30 декабря 1918 г. по январь 1919 г. командир Либавского отряда. В эмиграции в Польше, военный историк, писатель, председатель Российского Общественного комитета в Польше, член полкового объединения. Умер 22 апреля 1938 г. в Варшаве.

<sup>43</sup> **Юденич Николай Николаевич**, р. 18 июля 1862 г. в Москве. Из дворян Минской губ., сын директора Землемерного училища. Московское земледельческое училище, 1879 г., Александровское военное училище, 1881 г., академия Генштаба 1887 г. Офицер л.-гв. Литовского полка. Генерал от инфантерии, главнокомандующий армиями Кавказского фронта. В Северо-Западной армии; с 5 июня 1919 г. Главнокомандующий российскими вооруженными сухопутными и морскими силами в Прибалтийском районе. В эмиграции во Франции. Умер 5 октября 1933 г. в Каннах (Франция).

<sup>44</sup> **Савинков Борис Викторович**, р. 19 января 1879 г. в Харькове. Сын судьи. Гимназия в Варшаве, Санкт-Петербургский университет (не окончил). В 1917 г. комиссар 8-й армии, затем — Юго-Западного фронта, с 19 июля 1917 г. товарищ военного министра и управляющий Военным министерством Временного правительства. В 1918 г. создатель и возглавитель Союза защиты Родины и Свободы, затем представитель адмирала Колчака в Париже, с 1920 г. председатель Русского политического комитета в Польше. После нелегального прибытия в СССР в августе 1924 г. арестован и осужден. Убит в тюрьме 7 мая 1925 г. в Москве.

<sup>45</sup> **Любимова Людмила Ивановна**. В эмиграции в Польше, деятельница Красного Креста, затем в Данциге и во Франции, председатель Русского комитета помощи беженцам. Умерла 23 марта 1960 г. в Париже.

<sup>46</sup> **Шульгин Василий Витальевич**, р. 1 января 1878 г. в Киеве. Из дворян, сын профессора Киевского университета. 2-я Киевская гимназия, Киевский университет, 1900 г. Журналист, редактор газеты «Киевлянин». Член Государственной Думы. В годы Гражданской войны руководитель подпольной разведывательной организации «Азбука», с августа 1918 г. в Добровольческой армии; член Особого Сопещения при Главнокомандующем ВСЮР до 31 мая 1919 г., с января 1919 г. председатель комиссии по национальным делам, редактор газет «Россия» и «Великая Россия». В эмиграции с 1921 г. член Русского Совета, жил в Германии, Болгарии, Югославии, в 1925—1926 гг. нелегально посетил Россию. В 1944 г. захвачен советскими войсками и до 1956 г. находился в заключении. Умер в 1976 г. во Владими́ре.

<sup>47</sup> **Миллер Евгений-Людвиг Карлович**, р. 25 сентября 1867 г. в Динабурге. Из дворян Санкт-Петербургской губ. Николаевский кадетский корпус, 1884 г., Николаевское кавалерийское училище, 1886 г., академия Генштаба, 1892 г. Офицер л.-гв. Гусарского полка. Генерал-лейтенант, представитель Ставки при итальянской главной квартире. В белых войсках Северного фронта; с 15 января 1919 г. генерал-губернатор Северной области, член правительства: заведующий отделом иностранных дел Главнокомандующего Северного фронта, с мая 1919 г. Главнокомандующий войсками Северной области, с 10 июня 1919 г. Главнокомандующий войсками Северного фронта, с сентября 1919 г. Главный начальник Северного края, с марта 1920 г. заместитель председателя ВПСО. В эмиграции Главноуполномоченный Главнокомандующего Русской Армии в Париже, с марта 1922 г. начальник штаба Русской Армии, с ноября 1922 г. помощник Главнокомандующего Русской Армии. 1 сентября — 23 декабря 1924 г. начальник 1-го отдела РОВС, с декабря 1923 г. состоял при ВК Николае Николаевиче, с 29 апреля 1928 г. помощник председателя РОВС, с 26 января 1930 г. председатель РОВС, к 1 января 1934 г. член Общества офицеров Генерального штаба. Состоял также председателем: Объединения офицеров 7-го гусарского полка, Общества взаимопомощи бывших воспитанников Николаевского кавалерийского училища, Общества северян. Похищен советскими агентами в 1938 г. в Париже и расстрелян 11 мая 1939 г. в Москве.

<sup>48</sup> **Бредов Николай-Павел-Константин Эмильевич**, р. 31 октября 1873 г. в Санкт-Петербургской губ. Из дворян той же губернии, сын генерал-майора.

Образование: 1-й Московский кадетский корпус, 1891 г., Константиновское военное училище, 1893 г., академия Генштаба, 1901 г. Офицер 13-го стрелкового полка. Генерал-лейтенант, командир 12-го армейского корпуса. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 25 ноября 1918 г. в Киевском центре, с 24 января 1919 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР; 13 июля 1919 г. — 2 марта 1920 г. начальник 7-й пехотной дивизии, затем начальник 15-й пехотной дивизии, командующий войсками в Киеве, затем в Одессе, в начале 1920 г. возглавил поход из Одессы в Польшу. С июля 1920 г. в Крыму. В эмиграции в 1930—1931 гг. в распоряжении начальника РОВС, председатель Союза «Долг Родине», возглавлял группу 2-й Галлиполийской роты в Софии, в 1930-х гг. заведующий инвалидным домом в Шипке. В 1945 г. вывезен в СССР и погиб в лагерьях.

<sup>49</sup> **Фон Лампе Алексей Александрович**, р. 18 июля 1885 г. Из дворян, сын офицера. 1-й кадетский корпус, 1902 г., Николаевское инженерное училище, 1904 г., академия Генштаба, 1913 г. Офицер л.-гв. Семеновского полка. Полковник, и. д. генерал-квартирмейстера штаба 8-й армии. В Добровольческой армии; с 5 апреля 1918 г. в подпольном Добровольческом центре в Харькове, с 25 августа 1918 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с конца 1918 г. начальник оперативного отдела штаба Кавказской Добровольческой армии, на 22 января 1919 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего, в 1918—1919 гг. редактор газеты «Великая Россия», затем старший адъютант (и. д. генерал-квартирмейстера) отдела генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии, с 11 ноября 1919 г. старший адъютант (начальник оперативного отдела) генерал-квартирмейстера штаба Войск Киевской области. Эвакуирован из Одессы. 30 мая 1920 г. возвратился в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на корабле «Поти». С 1920 г. и. д. военного агента в Дании, с 1921 г. военный представитель Главнокомандующего в Германии. Генерал-майор. В эмиграции в Германии (в Берлине), с 1924 г. начальник 2-го отдела РОВС, с 1946 г. в Париже, помощник начальника РОВС, с 1949 г. одновременно заместитель председателя Совета Российского Зарубежного Воинства, с 1954 г. 1-й помощник начальника РОВС, с 25 января 1957 г. начальник РОВС, на ноябрь 1951 г. заместитель председателя объединения л.-гв. Семеновского полка, к 1967 г. сотрудник журнала «Военная Быль». Умер 28 мая 1967 г. в Париже.

<sup>50</sup> **Климович Евгений Константинович**, р. 24 января 1871 г. Полоцкий кадетский корпус, 1889 г., Павловское военное училище, 1891 г. Генерал-лейтенант, директор департамента полиции, сенатор. В Добровольческой армии и ВСЮР по ведомству Министерства внутренних дел. Эвакуирован в январе—марте 1920 г. из Новороссийска. На май, летом 1920 г. в Югославии. В Русской Армии начальник особого отдела штаба Главнокомандующего и помощник начальника гражданского управления до эвакуации Крыма. В эмиграции в Югославии. Умер 8 июня 1930 г. в Панчево (Югославия).

<sup>51</sup> В л.-гв. Преображенском полку В.И. Щелгачев не служил.

<sup>52</sup> **Бурхановский Михаил Васильевич**, р. в 1899 г. Гардемарин. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Херсонес».

<sup>53</sup> Полковник Петр Александрович фон Ланг был в эмиграции членом Патриотического объединения и Центрального совета Русской монархической партии.

<sup>54</sup> Борис Робертович Гершельман во время Гражданской войны был членом военной организации «Национального центра», в 1919 г. — организатором «Союза русской молодежи».

<sup>55</sup> **Лобан Лев Михайлович.** Штабс-ротмистр гусарского полка. Во ВСЮР и Русской Армии; летом 1920 г. адъютант командующего крепостным районом Керчи. В эмиграции в Польше, член организации генерала Кутепова. Ротмистр. Убит 22 октября 1944 г. в Пястове под Варшавой.

<sup>56</sup> **Арапов Петр Семенович.** Корнет л.-гв. Конного полка. Осенью 1918 г. — 26 февраля 1919 г. в Бутырской тюрьме в Москве. Во ВСЮР и Русской Армии; с лета 1919 г. в Белозерском пехотном полку, затем в эскадроне л.-гв. Конного полка. Штабс-ротмистр (к лету 1920 г.). В эмиграции в Константинополе.

<sup>57</sup> **Войцеховский Юрий Львович,** р. 6 ноября 1900 г. Член антисоветской организации в Киеве, содержался в тюрьме. В эмиграции с 1921 г. в Польше. Делегат Зарубежного съезда 1926 г., в 1927 г. председатель польского объединения русской национальной молодежи. Совершил покушение на советского торгпреда, в 1928—1933 гг. находился в заключении. Умер в 1944 г. в Польше.

<sup>58</sup> **Зайцов Арсений Александрович,** р. в 1889 г. Пажеский корпус, 1906 г. (общие классы), Николаевское инженерное училище, 1909 г., академия Генштаба, 1915 г. (?). Полковник л.-гв. Семеновского полка. В Добровольческой армии и ВСЮР; в апреле 1919 г. начальник боевого участка Сводно-гвардейского батальона на Акманайских позициях, в 1919 г. командир роты в Сводно-гвардейском полку, в январе—феврале 1919 г. начальник штаба гвардейского отряда, с 8 июля 1919 г. командир 1-го батальона, осенью 1919 г. командир батальона л.-гв. Семеновского полка в 1-м Сводно-гвардейском полку, в январе 1920 г. командир сводного батальона 1-й гвардейской пехотной дивизии. Участник Бредовского похода. 20 июля 1920 г. эвакуирован в Югославию. Возвратился в Крым. В Русской Армии на штабных должностях до эвакуации Крыма. В эмиграции в Чаталдже, Лемносе, в сентябре 1922 г. в Болгарии (начальник штаба Донского корпуса). Осенью 1925 г. в прикомандировании к 1-й Галлиполийской роте в Болгарии. Окончил курсы Генерального Штаба в Белграде. В эмиграции в Париже, в 1931 г. помощник по учебной части и член учебного комитета Высших военно-научных курсов в Париже, в 1938 г. руководитель (помощник руководителя) тех же курсов, защитил диссертацию, профессор. Член полкового объединения. Умер 2 апреля 1954 г. в Париже.

<sup>59</sup> **Штольценвальд Леонард Леонардович.** Училище правоведения, 1910 г. Надворный советник, чиновник МВД. В эмиграции в Польше. Умер 27 марта 1944 г. в Германии.

<sup>60</sup> **Таганцев Владимир Николаевич.** Из дворян. Профессор. Руководитель Петроградской Боевой Организации. Расстрелян большевиками в июне—августе 1921 г. в Петрограде.

<sup>61</sup> **Св. князь Ливен Отто Александрович**, р. в 1868 г. В эмиграции в Швейцарии. Участник Рейхенгалльского монархического съезда 1921 г. Ум. 1929 г.

<sup>62</sup> **Скалон Михаил Николаевич**, р. 19 апреля 1874 г. Сын генерал-лейтенанта. Пажеский корпус, 1894 г. Офицер л.-гв. Гусарского полка. Генерал-майор, командир л.-гв. 4-го стрелкового полка, командующий 33-й пехотной дивизией. Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах Юга России; с 12 (20) ноября 1919 г. начальник отряда войск Киевской области, с 29 января 1920 г. начальник Сводно-гвардейской пехотной дивизии, с 2 марта 1920 г. в резерве чинов при штабе Отдельной Русской добровольческой армии. Участник Бредовского похода. К 20 июля 1920 г. эвакуирован в Югославию. Возвратился в августе 1920 г. в Крым. В Русской Армии с августа 1920 г. командир 3-го армейского корпуса, в октябре 1920 г. командующий 2-й армией, с 25 октября и.о. Таврического губернатора, начальника гражданского управления и командующий войсками тылового района до эвакуации Крыма. Генерал-лейтенант. В эмиграции в Чехословакии, к 1925 г. в Праге, на 23 ноября 1938 г. председатель полкового объединения. Умер 28 февраля 1940 г. в Праге.

<sup>63</sup> **Марков Николай Евгеньевич** (Марков 2-й), р. в 1866 г. Член Государственной Думы. В Северо-Западной армии; с 16 июня 1919 г. обер-офицер для поручений при Военно-гражданском управлении (псевд.: шт.-кап. Л.Н. Черняков). В эмиграции в Германии. Участник Рейхенгалльского монархического съезда 1921 г. Председатель Высшего Монархического Совета.

<sup>64</sup> **Князь Ширинский-Шихматов Георгий (Юрий) Алексеевич**, р. в 1890 г. Училище правоведения, 1911 г. Ротмистр гвардии. Георгиевский кавалер. В Северо-Западной армии (в штабе армии), затем во ВСЮР и Русской Армии; в 1919 г. помощник военного агента в Варшаве. Умер 17 августа 1942 г. в лагере Аушвиц (Германия).

<sup>65</sup> **Хольмсен Иван Алексеевич**, р. 28 сентября 1865 г. Финляндский кадетский корпус, 1886 г., академия Генштаба, 1896 г. Офицер л.-гв. Семеновского полка. Генерал-майор, командир 1-й бригады 53-й пехотной дивизии (в плену с 1915 г.). Георгиевский кавалер. в 1919—1920 гг. представитель адмирала Колчака в Берлине, затем военный представитель ВСЮР и Русской Армии, летом 1921 г. начальник русской делегации в Германии, с апреля 1922 г. представитель генерала Врангеля в Париже. Генерал-лейтенант (1919 г.). В эмиграции во Франции, с 1924 г. начальник 1-го отдела РОВС, в декабре 1926 г. член объединения л.-гв. Семеновского полка, с 1930 г. главный казначей РОВС, председатель Гренадерского объединения, к 1 января 1934 г. член Общества офицеров Генерального штаба. Умер 19 марта 1941 г. в Осло.

<sup>66</sup> **Тальберг Николай Дмитриевич**, р. в 1886 г. Училище правоведения, 1907 г. Статский советник, чиновник МВД. В 1918 г. участник тайного монархического съезда в Киеве, вице-директор департамента полиции Гетмана. С 1921 г. управляющий делами и затем член Высшего Монархического Совета (до 1938 г.). В эмиграции в Югославии (в Белграде). Служил в Русском Корпусе, с 1944 г. в Австрии, с 1950 г. в США. Умер 29 мая 1967 г. в Джорданвилле (США).

<sup>67</sup> **Фон Дерфельден Христофор Иванович.** Пажеский корпус, 1909 г. Полковник л.-гв. Конного полка. Во ВСЮР и Русской Армии; летом 1919 г. в эскадроне л.-гв. Конного полка. В эмиграции. Умер после 26 апреля 1931 г.

<sup>68</sup> **Монкевиц Николай Августович,** р. 22 ноября 1869 г. 2-й кадетский корпус, 1887 г., Павловское военное училище, 1889 г., академия Генштаба 1895 г. Офицер л.-гв. Литовского полка. Генерал-лейтенант, начальник штаба 4-й армии. Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах Юга России; с марта по декабрь 1919 г. начальник Русской миссии в Берлине от ВСЮР; с 1925 г. в распоряжении ген. Кутепова в Париже. В ноябре 1926 г. исчез из Парижа (покончил самоубийством?).

<sup>69</sup> **Липеровский Георгий (Юрий) Александрович,** р. в 1879 г. Из дворян, сын генерал-майора. Михайловское артиллерийское училище, 1899 г. Офицер 61-й артиллерийской бригады. В Добровольческой армии и ВСЮР. Участник Бредовского похода (начальник артиллерии). Полковник. В эмиграции с мая 1920 г. в Югославии, в начале ноября 1920 г. в Белграде, затем в Польше, к 1921 г. преподаватель гимназии в Варшаве. Погиб в августе 1944 г. в Варшаве.

<sup>70</sup> **Деспотули Владимир Михайлович,** р. в 1895 г. в Керчи. Сын преподавателя русского языка. Поручик, адъютант генерала Н.Н. Баратова. В Вооруженных Силах Юга России на той же должности до 1919 г. В эмиграции в Германии, журналист, основатель и редактор газеты «Новое Слово», член РНСД. Вывезен в СССР и 11 лет провел в лагерях. Вернулся в Германию. Умер в августе 1977 г. в Германии.

<sup>71</sup> **Виноградов Николай Иванович.** Капитан. Во ВСЮР и Русской Армии в Марковской артиллерийской бригаде. В эмиграции в США. Доктор медицины, публицист. Умер 21—23 апреля 1968 г. в Нью-Йорке.

<sup>72</sup> Впервые опубликовано: Часовой. 1952. № 320—321. Июнь—Июль.

<sup>73</sup> **Сусалин Иван Михайлович (Петрович).** Из дворян, сын офицера. Киевский кадетский корпус, Елисаветградское кавалерийское училище, 1914 г. Штабс-ротмистр 12-го гусарского полка, летчик-наблюдатель 12-го корпусного авиационного отряда. В Добровольческой армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма; в 1918—1920 гг. в 8-м и 4-м авиационном отрядах. Подполковник. Орден Святого Николая Чудотворца. Осенью 1925 г. в составе Технического батальона во Франции. Полковник. В эмиграции в Болгарии, начальник контрразведки. В 1926 г. послан Кутеповым на разведку в Москву. Расстрелян 10 июня 1927 г. в Москве.

<sup>74</sup> **Самойлов Василий Александрович,** р. в 1897 г. Из крестьян. Фельдфебель. В Северо-Западной армии. В эмиграции член боевой организации РОВС, дважды ходил в СССР. Расстрелян большевиками в сентябре 1927 г. в Петрограде.

<sup>75</sup> **Строев Н.П. (Строевой),** р. в 1900 г. Из дворян, сын полковника. В белых войсках Восточного фронта. Мичман. В эмиграции член боевой организации РОВС. Расстрелян большевиками в сентябре 1927 г. в Петрограде.

<sup>76</sup> **Старк Александр Александрович,** р. в 1890 г. Морской корпус, 1910 г. Лейтенант. Участник Белого движения. В эмиграции. По заданию РОВС 14 августа 1925 г. нелегально пересек границу Финляндии и приехал в



Ленинград. Убит 19 августа 1925 г. выстрелом из револьвера грабителем на Фонтанке.

<sup>77</sup> Впервые опубликовано: Убийство Войкова и дело Бориса Коверды. Париж, 1927. Это издание осуществлено С.Л. Войцеховским, переведшим с польского и дополнившим издающую в том же году в Варшаве брошюру о процессе Б. Коверды.

<sup>78</sup> **Краснов Петр Николаевич**, р. 10 сентября 1869 г. в Санкт-Петербурге. Из дворян ВВД, сын генерала, казак ст. Каргинской Области войска Донского. Александровский кадетский корпус, 1887 г., Павловское военное училище, 1889 г., Офицерская кавалерийская школа. Офицер л.-гв. Атаманского полка. Генерал-майор, командир 3-го конного корпуса. Георгиевский кавалер. С 25 октября 1917 г. возглавлял борьбу с большевиками под Петроградом. Зимой 1917—1918 гг. скрывался в с. Константиновской. С 3 мая 1918 г. по 2 февраля 1919 г. войсковой атаман ВВД, генерал от кавалерии (26 августа 1918 г.). В Северо-Западной армии с 22 июля 1919 г.; до 9 сентября 1919 г. в резерве чинов при штабе армии, затем начальник отдела пропаганды, с января 1920 г. русский военный представитель в Эстонии, член ликвидационной комиссии Северо-Западной армии. В эмиграции в Германии, с марта 1920 г. под Мюнхеном, к ноябрю 1920 г. в Берлине, с 22 ноября 1921 г. в Сантени (Франция), с апреля 1936 г. в Далевице, под Берлином. На декабрь 1924 г. почетный вице-председатель объединения л.-гв. Атаманского полка. Автор ряда исторических романов. С 31 марта 1944 г. начальник Главного управления казачьих войск при министерстве восточных областей Германии. Выдан англичанами в Лиенце 19 мая 1945 г. и вывезен в СССР. Казнен в Москве 16 января 1947 г.

<sup>79</sup> **Арцыбашев Михаил Петрович**, р. 24 октября 1878 г. в Ахтырском у. Из дворян, сын исправника. Ахтырская гимназия, 1895 г. Писатель и публицист. В эмиграции с 1923 г. в Польше, сотрудник газеты «За Свободу», где продолжил публикацию публицистических «Записок писателя» (в 1917—1918 гг. печатавшиеся в газете «Свобода»). Умер 3 марта 1927 г. в Варшаве.

<sup>80</sup> **Орехов Василий Васильевич**, р. в 1896 г. Офицер инженерных войск. В Вооруженных Силах Юга России; осенью 1919 г. начальник головного железнодорожного участка на Украине. В Русской Армии до эвакуации Крыма. На 18 декабря 1920 г. в 1-й роте Железнодорожного батальона Технического полка в Галлиполи. Штабс-капитан. Осенью 1925 г. в составе Технического батальона во Франции. В эмиграции в Бельгии. Издатель и бессменный редактор журнала «Часовой». Капитан. Умер 6 июля 1990 г. в Брюсселе.

<sup>81</sup> Впервые опубликовано: Часовой. 1952. № 192. Июнь.

<sup>82</sup> **Безруков Валентин**. Вольноопределяющийся. Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской артиллерийской бригаде до эвакуации Крыма. В октябре 1920 г. остался в Крыму. В мае 1925 г. на захваченном судне прибыл в Болгарию. С осени 1925 г. в составе Корниловского арtdивизиона в Болгарии.

<sup>83</sup> Впервые опубликовано: Безруков В. Из царства сатаны на свет Божий (Захват «Утрища»). Париж, 1927.

<sup>84</sup> **Де Тиллот Георгий Николаевич**, р. 6 января 1902 г. Во ВСЮР и Русской Армии вольноопределяющийся 7-й гаубичной батарее в Марковской

артиллерийской бригаде. В октябре 1920 г. остался в Крыму. В мае 1925 г. взорвал пороховой погреб в Севастополе, а затем, захватив пароход, прибыл на нем в Болгарию. Осенью 1925 г. в составе Марковского артиллерийского дивизиона в Болгарии. Канонир. В эмиграции во Франции. Умер 30 сентября 1970 г. в Париже.

<sup>85</sup> **Федоров Михаил Михайлович**, р. в 1858 г. Один из лидеров партии кадетов, товарищ министра торговли и промышленности. В 1917—1918 гг. член Торгово-промышленного комитета, член Правого центра, в 1918—1919 гг. член Национального центра. С ноября 1917 г. оказывал помощь Добровольческой армии, с осени 1918 г. член Особого Сопровождающего при Главнокомандующем ВСЮР, с 11 декабря 1918 г. председатель Особого (агитационного) комитета при армии, член Донского Гражданского совета, с апреля 1919 г. председатель Национального центра, с июня 1919 г. представитель Главнокомандующего ВСЮР в конфедерации казачьих войск. С начала 1920 г. в эмиграции во Франции. Умер в 1946 г.

<sup>86</sup> **Шатилов Павел Николаевич**, р. 13 ноября 1881 г. в Тифлисе. 1-й Московский кадетский корпус, Пажеский корпус, 1900 г., академия Генштаба, 1908 г. Офицер л.-гв. Казачьего полка. Генерал-майор, генерал-квартирмейстер штаба Кавказского фронта. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР с декабря 1918 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 10 января 1919 г. начальник 1-й конной дивизии, затем командир 3-го и 4-го конного корпуса, с мая 1919 г. генерал-лейтенант, до 22 мая 1919 г. начальник штаба Добровольческой армии, 27 июля — 13 декабря 1919 г. начальник штаба Кавказской армии, с 26 ноября (13 декабря) 1919 г. по 3 января 1920 г. начальник штаба Добровольческой армии; 8 февраля уволен от службы и эвакуирован из Севастополя в Константинополь. С 24 марта 1920 г. помощник Главнокомандующего ВСЮР, с 21 июня 1920 г. начальник штаба Русской Армии. Генерал от кавалерии (с ноября 1920 г.). В эмиграции в Константинополе, состоял при ген. Врангеле, затем во Франции, в 1924—1934 гг. начальник 1-го отдела РОВС, к 1 января 1934 г. член Общества офицеров Генерального штаба, на ноябрь 1951 г. почетный председатель объединения л.-гв. Казачьего полка. Умер 5 мая 1962 г. в Анжере (Франция).

<sup>87</sup> **Штрандтман Василий Николаевич**, р. около 1877 г. Сын генерал-лейтенанта. Пажеский корпус, 1897 г. Офицер л.-гв. Уланского Ее Величества полка. Российский посланник в Югославии, к 1921 г. на той же должности. В эмиграции на Восточном побережье США. Умер 18 ноября 1963 г. в Вашингтоне.

<sup>88</sup> **Хорват Дмитрий Леонидович**, р. 25 июля 1858 г. Николаевское инженерное училище, 1878 г. Офицер л.-гв. Саперного батальона. Генерал-лейтенант, управляющий и глава военной администрации КВЖД. В белых войсках Восточного фронта; 10 июля — 14 ноября 1918 г. возглавлял «Деловой кабинет» в Харбине и Владивостоке. Временный верховный правитель России. 28 октября 1918 г. — 18 августа 1919 г. Верховный уполномоченный Всероссийского правительства на Дальнем Востоке, 11 мая — 18 июля 1919 г. командующий войсками Приамурского военного округа, с 15 июля 1919 г. также сенатор и главно-

начальствующий над русскими учреждениями в полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги. Генерал от инфантерии. В эмиграции в Китае. Умер 16 мая 1937 г. в Пекине.

<sup>89</sup> Впервые опубликовано: Ген. Хорват о положении на Дальнем Востоке. Шанхай, 1929.

<sup>90</sup> **Фомин Николай Георгиевич (Юрьевич)**, р. 8 декабря 1888 г. в Нижнем Новгороде. Из дворян Тверской губ. Морской корпус, 1908 (офицером с 1909 г.). Старший лейтенант, флаг-капитан по оперативной части Черноморского флота, затем начальник 1-го оперативного отделения Морского Генерального штаба. Георгиевский кавалер. В белых войсках Восточного фронта; с июля 1918 г. в Народной Армии, начальник штаба Волжской флотилии, на 15 августа 1918 г. и. д. начальника оперативной части (начальник штаба) речной обороны, с ноября 1918 г. начальник управления по оперативной части Морского министерства, март—июнь 1919 г. начальник штаба Речной Боевой Камской флотилии, в октябре—ноябре 1919 г. в Японии, зимой 1919/20 гг. командир ледоколов на Байкале. Капитан 1-го ранга (с апреля 1919 г.). С 1920 г. в Харбине и Мукдене, входил в окружение атамана Г.М. Семенова. С мая 1921 г. начальник штаба Сибирской флотилии до эвакуации и в походе от Гензана до Шанхая и из Шанхая в Олонгапо (Филиппины), где оставался на кораблях. В эмиграции с 1924 г. в Шанхае, до 19 апреля 1927 г. командир Шанхайского Русского полка, руководитель монархической организации, 1936 г. — 18 июня 1946 г. член кают-компании в Шанхае. С 1949 г. на о. Тубабао, с 1950 г. в Австралии, начальник Австралийского округа КИАФ, почетный председатель Кают-Компании, вице-председатель РМО в Австралии. Умер 3 августа 1964 г. в Сиднее (Австралия).

<sup>91</sup> **Сербин Георгий (Юрий) Владимирович**, р. в 1888 г. Из дворян Волынской губ. 1-й Московский кадетский корпус, Константиновское артиллерийское училище, 1908 г., академия Генштаба 1916 г. (1917 г.). Офицер 23-й конно-артиллерийской батареи и Кавказского конно-горного дивизиона. Капитан, старший адъютант и и. д. начальника штаба 5-й Кавказской казачьей дивизии. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии; в отряде полковника Покровского на Кубани. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в штабе Кубанского отряда, с 24 июля 1918 г. (6 сентября 1918 г.) начальник штаба 1-й Кубанской казачьей дивизии, подполковник, затем генерал для поручений при командующем Кавказской армии, затем в штабах Донской армии. В Русской Армии начальник штаба конного корпуса генерала Бабиева. В эмиграции в Югославии, чиновник в военном министерстве, в 1935 г. член правления Союза Первопоходников в Белграде. Служил в Русском Корпусе. После 1945 г. в Аргентине. Полковник. Умер 10 марта 1963 г. в Буэнос-Айресе.

<sup>92</sup> Впервые опубликовано: Часовой. Декабрь 1960 — январь 1961. № 415—416.

<sup>93</sup> **Алексеев Михаил Васильевич**, р. 3 ноября 1857 г. Сын майора. Тверская гимназия, 1873 г. (не окончил), Московское пехотное юнкерское училище 1876 г., академия Генштаба, 1890 г. Генерал от инфантерии, б. Верховный главнокомандующий. Основатель Добровольческой армии. С сентября 1917 г. основал Алексеевскую организацию и формировал добровольческие

офицерские отряды. 2 ноября 1917 г. прибыл в Новочеркасск; с декабря 1917 г. член триумvirата «Донского гражданского совета». Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. С 18 августа 1918 г. Верховный руководитель Добровольческой армии. Избран членом Уфимской директории. Умер 25 сентября 1918 г. в Екатеринодаре.

<sup>94</sup> **Лесевицкий Николай Петрович**, р. 8 декабря 1873 г. Полтавский кадетский корпус, 1893 г., Александровское военное училище, 1896 г., академия Генштаба 1907. Полковник, начальник штаба 7-й Особой пехотной бригады, командир полка. Георгиевский кавалер. В конце 1917 г. генерал-квартирмейстер полевого штаба Кубанской армии, в январе—феврале 1918 г. командир добровольческого отряда на Кубани. Во время 1-го Кубанского («Ледяного») похода остался больным в аулах. Расстрелян в марте 1918 г. в м. Горячий Ключ.

<sup>95</sup> **Науменко Вячеслав Григорьевич**, р. 25 февраля 1883 г. Из дворян. Воронежский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище, академия Генштаба, 1914 г. Подполковник, начальник штаба 4-й Кубанской казачьей дивизии. В ноябре 1917 г. начальник Полевого штаба Кубанской области. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Летом 1918 г. командир Корниловского конного полка Кубанского казачьего войска, в сентябре 1918 г. полковник, командир 1-й бригады 1-й конной дивизии, с 19 ноября 1918 г. начальник 1-й конной дивизии, с 8 декабря 1918 г. генерал-майор, член Кубанского войскового правительства, с 25 января 1919 г. зачислен по Генеральному штабу. Походный атаман Кубанского казачьего войска. В 1919 г. — командир 2-го Кубанского конного корпуса. В Русской Армии с сентября 1920 г. командир конной группы (бывш. генерала Бабиева). В эмиграции. Кубанский войсковой атаман. Во время 2-й мировой войны врид начальника Главного управления казачьих войск. Был произведен в генерал-лейтенанты, но этого производства не признавал. После 1945 г. — в США. Умер 30 октября 1979 г. в Нью-Йорке.

<sup>96</sup> **Филиппов Петр Григорьевич**, р. 29 июня 1867 г. Из казаков ст. Червленной Терской обл. Владикавказское реальное училище, 1887 г., Московское пехотное юнкерское училище, 1889 г. Офицер 1-го Сунженско-Владикавказского полка Терского казачьего войска. Генерал-майор, командир 1-й бригады 5-й Кавказской казачьей дивизии. В Добровольческой армии; марта 1918 г. в Екатеринодаре, с 1 августа 1918 г. в резерве чинов Кубанского казачьего войска.

<sup>97</sup> **Колесников Иван Никифорович**, р. 7 сентября 1860. Из казаков ст. Ищерской Терской обл. Владикавказская прогимназия, 1877 г., Ставропольское казачье юнкерское училище, 1880 г. Служил в 1-м Горско-Моздокском полку. Генерал-майор, командир бригады 5-й Кавказской казачьей дивизии и начальник 1-й Кубанской казачьей дивизии. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР с 4 марта 1918 г. в Екатеринодаре; с 1 августа 1918 г. в резерве чинов Кубанского казачьего войска, с 25 сентября 1918 г. в резерве чинов при штабе главнокомандующего, с 25 октября 1918 г. командующий войсками Терского казачьего войска, 25 ноября 1918 г. по главе отряда отступил в Дагестан, в январе 1919 г. начальник терских войск в районе Петровска, после возвращения на Терек, на 22 января 1919 г. в резерве чинов при

штабе Главного командующего ВСЮР, с 28 февраля (с 7 апреля) 1919 г. начальник 4-й Терской казачьей дивизии; в июне—октябре 1919 г. также начальник Грозненского отряда Войск Северного Кавказа, затем начальник 1-й Терской казачьей дивизии, с 3 декабря 1919 г. начальник 2-й Терской казачьей дивизии. Умер в январе 1920 г.

<sup>98</sup> Корниловская дивизия (Корниловская ударная дивизия). Сформирована во ВСЮР 14 октября 1919 г. на базе трех корниловских полков 1-й пехотной дивизии в составе 1-го, 2-го и 3-го Корниловских полков, запасного батальона, отдельной инженерной роты и Корниловской артиллерийской бригады. Входила в состав 1-го армейского корпуса (I и II). К 22 января 1920 г. включала также Запасный полк (сформирован 29 октября 1919 г.), Корниловский и Горско-мусульманский конные дивизионы. С 4 сентября 1920 г. включала 1-й, 2-й и 3-й Корниловские ударные полки, Корниловскую артиллерийскую бригаду, запасный батальон, Отдельную генерала Корнилова инженерную роту (подполковник В.В. Добровольский) и Отдельный конный генерала Корнилова дивизион (полковник Ковалевский). В момент наибольших успехов — к середине сентября 1919 г. состав Корниловской дивизии (в полках по 3 батальона, офицерский роте, команде пеших разведчиков и эскадрону связи) был таков: 1-й полк — 2900, 2-й — 2600 (в т.ч. вместо офицерский роты — офицерский батальон в 700 чел.), 3-й — 1900 чел. К январю 1920 г. во всех трех полках дивизии осталось 415 офицеров и 1663 штыка. По советским данным, отошедшие в конце октября 1920 г. в Крым части дивизии насчитывали 1860 штыков и сабель. Являясь одним из наиболее надежных соединений, обычно действовала на направлении главного удара и несла наибольшие потери. За время боев у Б. Токмака летом 1920 г. потеряла до 2000 чел. В конце августа 1920 г., после того как дивизия почти полностью полегла на проволочных заграждениях у Каховки, в ее полках осталось по 90—110 чел.; всего в Каховской операции за семь основных боев потеряла примерно 3200 чел. Корниловские части носили красные фуражки с черным околышем и черно-красные (черная половина — ближе к плечу) погоны с белыми выпушками, для офицеров предусматривалась форма черного цвета с белым кантом. Всего в рядах корниловцев погибло около 14 тыс. чел. Начальники: полковник (генерал-майор) Н.В. Скоблин, генерал-майор М.А. Пешня (врид, 1920 г.), генерал-майор А.М. Ерогин (врид, с 26 октября 1920 г.). Нач. штаба: капитан (полковник) К.А. Капнин (6 ноября 1919 г. — августа 1920 г.), капитан (полковник) Е.Э. Месснер (с августа 1920 г.).

<sup>99</sup> **Барбович Иван Гаврилович**, р. 27 января 1874 г. в Полтавской губ. Из дворян, сын офицера. Полтавская гимназия, Елисаветградское кавалерийское училище, 1896 г. Полковник, командир 10-го гусарского полка. Георгиевский кавалер. Летом—осенью 1918 г. сформировал отряд в Чугуеве и 19 января 1919 г. присоединился с ним к Добровольческой армии; с 19 января 1919 г. в резерве чинов при штабе Главного командующего ВСЮР, с 1 марта 1919 г. командир 2-го конного полка, 5 июня — 7 июля 1919 г. врид начальника конной дивизии в Крыму, с 5 июня 1919 г. командир Отдельной кавалерийской бригады 3-го армейского корпуса, с 3 июля 1919 г. командир 1-й бригады 1-й кавалерийской дивизии, с 19 ноября 1920 г. командир кон-

ной дивизии, с 11 декабря 1919 г. генерал-майор, с 18 декабря 1919 г. командир 5-го кавалерийского корпуса. В Русской Армии с 28 апреля 1920 г. командир Сводного (с 7 июля Конного) корпуса. Генерал-лейтенант (19 июля 1920 г.). Орден Св. Николая Чудотворца. В Галлиполи начальник 1-й кавалерийской дивизии. В эмиграции почетный председатель Общества бывших юнкеров Елисаветградского кавалерийского училища в Белграде. С сентября 1924 г. помощник начальника, с 21 января 1933 г. начальник 4-го отдела РОВС, председатель объединения кавалерии и конной артиллерии. С октября 1944 г. в Германии. Умер 21 марта 1947 г. в Мюнхене.

<sup>100</sup> **Крейтер Владимир Владимирович**, р. в 1889 г. Суворовский кадетский корпус, 1907 г., Николаевское кавалерийское училище, 1909 г., академия Генштаба, 1914 г. Полковник 1-го гусарского полка, начальник штаба бригады. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 1 октября 1918 г. начальник особого отделения части Генерального штаба Военного и Морского отдела, с 22 июля, осенью 1919 г. начальник штаба 1-й кавалерийской дивизии. В Русской Армии до эвакуации Крыма; начальник штаба конного корпуса генерала Барбовича, командир 2-й бригады 2-й кавалерийской дивизии. Орден Св. Николая Чудотворца. Генерал-майор. На 28 декабря 1920 г. начальник штаба Кавалерийской дивизии в Галлиполи. В эмиграции в Югославии, служил в пограничной страже. Служил в Русском Корпусе (начальник штаба корпуса). Издатель сборника о Суворовском кадетском корпусе (Париж, 1949) Умер 23 июня 1950 г. в Дахау (Германия).

<sup>101</sup> **Максеев Михаил Владимирович**, р. 3 марта 1873 г. Сын генерал-лейтенанта. 2-й Московский кадетский корпус, 1890 г., Михайловское артиллерийское училище, 1892 г., Михайловская артиллерийская академия. Офицер л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. Генерал-лейтенант. В Добровольческой армии и ВСЮР; состоял при управлении Главного начальника снабжений, с 8 ноября 1918 г. член правления завода «Кубаноль», в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 28 января на 13 декабря 1919 г. инспектор артиллерии Кавказской Добровольческой армии, в декабре 1919 г. — январе 1920 г. начальник гарнизона Царицына, в феврале—марте 1920 г. командующий в Черноморской губ. и начальник гарнизона Новороссийска, 3—11 марта 1920 г. начальник Новороссийского укрепленного района. Эвакуирован в начале 1920 г. из Новороссийска на корабле «Спарта». В Русской Армии 22 мая—октябре 1920 г. начальник Перекопского укрепленного района до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Вел. Князь Александр Михайлович». В эмиграции. Умер в апреле 1925 г. в Югославии.

<sup>102</sup> **Ревизин Александр Петрович**, р. 11 декабря 1870 г. в Харьковской губ. Из дворян, сын подполковника. Образование: Полтавский кадетский корпус, 1889 г., Николаевское кавалерийское училище, 1891 г. (Николаевское инженерное училище, 1891), академия Генштаба, 1904 г. Подполковник с 1909 г., полковник с 1912 г., генерал-майор с 1917 г. командир Крымского конного полка и начальник штаба 9-й кавалерийской дивизии (начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса; начальник 9-й или 3-й кавалерийской дивизии). В декабре 1917 г. начальник «украинизированной» дивизии, летом 1918 г. в гетманской армии: 20 июля 1918 г. назначен начальником адми-

нистративного управления канцелярии Военного министерства, 26 октября 1918 г. уволен со службы по прошению с 1 октября 1918 г., затем начальник 3-й конной дивизии, с 22 октября 1918 г. командующий Особым корпусом в гетманской армии; в ноябре—декабре 1918 г. в Киеве. Во ВСЮР и Русской Армии; с 26 января, летом 1919 г. в резерве чинов при штабе войск Юго-Западного края, затем инспектор формирования чеченских частей, с мая 1919 г. — февраль 1920 г. начальник Чеченской конной дивизии, в сентябре 1919 г. командир отряда, действующего против банд Махно, на 5 ноября 1919 г. командующий группой войск особого назначения, в декабре 1919 г. — начале 1920 г. командир Сводно-Чеченского конного полка, в Крыму начальник 3-й конной дивизии. Взят в плен 27 мая 1920 г. в с. Ново-Михайловке.

<sup>103</sup> **Базаревич Владимир Иосифович.** Академия Генштаба, 1909 г. Капитан. Во ВСЮР и Русской Армии. Полковник. К 1926 г. военный агент в Югославии; начальник отдела делегации, ведавшей интересами русской эмиграции, к 1931 г. военный представитель 4-го отдела РОВС в Белграде.

<sup>104</sup> **Экк Эдуард Владимирович,** р. 11 апреля 1851 г. Из дворян Санкт-Петербургской губ., сын тайного советника. В службе с 1868 г., офицером с 1869 г., академия Генштаба, 1878 г. Офицер л.-гв. Семеновского полка. Генерал от инфантерии, командир 23-го армейского корпуса. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 31 января 1919 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 13 июля 1919 г. председатель военно-полевого суда над генералом Марксом. В Русской Армии председатель высшей комиссии правительственного надзора до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В эмиграции в Югославии, председатель Совета объединенных офицерских организаций, к 1931 г. председатель Общества кавалеров ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия, до 21 января 1933 г. начальник 4-го отдела РОВС, председатель Главнокомандующего в Белграде. Член объединения л.-гв. Семеновского полка. Умер 5 апреля 1937 г. в Белграде.

<sup>105</sup> **Дурново Петр Петрович.** Сын действительного статского советника. Александровский лицей, 1903 г., офицером с 1904 г., академия Генштаба. Офицер л.-гв. Конного полка. Полковник, старший адъютант штаба Гвардейского кавалерийского корпуса. Летом 1918 г. организатор антисоветской офицерской группы в Петрограде. В Русской Западной армии; в 1919 г. член финансовой комиссии для помощи армии в Берлине, до 1 декабря 1919 г. и. д. генерал-квартирмейстера армии, с декабря 1919 г. по 6 января 1920 г. начальник штаба русских войск в Германии. На 1 июня 1921 г. в эмиграции в Югославии (в Белграде). Умер после 26 апреля 1931 г.

<sup>106</sup> **Дракин Федор Ардадьонович,** р. в Бердянске. Военный чиновник. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на о. Проти на корабле «Кизил Ермак». Галлиполиец. В эмиграции в Югославии, в декабре 1935 г. арестован в Белграде по обвинению в работе на большевиков.

<sup>107</sup> **Апухтин Константин Валерианович,** р. 6 марта 1881 г. Пажеский корпус, 1902 г., академия Генштаба, 1911 г., Офицерская кавалерийская школа. Офицер л.-гв. Уланского Ее Величества и Крымского конного полков. Георгиевский кавалер. Полковник, командир 17-го уланского полка. Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах Юга России с августа 1919 г. из подполья в

Одессе; начальник штаба гарнизона города и начальник штаба десантного отряда, занявшего Одессу, в октябре 1919 г. временно, на 6 ноября 1919 г. командир 2-го Таманского полка Кубанского казачьего войска Днестровского отряда войск Новороссийской области, командир сводной конной бригады Отдельной Боярской группы войск, начальник штаба отряда генерала Оссовского, начальник штаба 5-й пехотной дивизии. Участник Бредовского похода, начальник штаба отдельной кавалерийской дивизии. 20 июля 1920 г. эвакуирован в Югославию. Возвратился в Крым. В Русской Армии командир Запасного кавалерийского полка до эвакуации Крыма. В феврале 1921 г. командир Запасного кавалерийского дивизиона в Галлиполи. В эмиграции в Югославии, служил в пограничной страже; на 1938 г. представитель полкового объединения в Югославии. С 1924 г. в КИАФ, с 1928 г. генерал-майор, с 1929 г. генерал-лейтенант, заведующий делами КИАФ, 1941 г. представитель Русского Корпуса в Югославии. Умер в 1945 г. в Югославии.

<sup>108</sup> **Байдалаков Виктор Михайлович**, р. 1 мая 1900 г. в Конотопе. Из казаков ВВД. Елисаветградское кавалерийское училище. Офицер. Во ВСЮР и Русской Армии в эскадроне 11-го гусарского полка до эвакуации Крыма. В эмиграции в Югославии. В 1930 г. основатель и первый председатель Союза русской национальной молодежи (Национальный Союз Нового Поколения) до 1955 г., затем председатель Российского Национально-Трудового Союза (НТС). С 1948 г. в США, с 1950 г. в Германии и снова в США. Умер 17 июля 1967 г. в Вашингтоне.

<sup>109</sup> **Линицкий Александр Иванович**, р. в 1871 г. Николаевское кавалерийское училище, 1894 г., академия Генштаба, 1901 г. Офицер 3-го драгунского полка, начальник штаба 4-й и 3-й кавалерийских дивизий, командир 3-го драгунского полка. Генерал-майор, начальник штаба Особого корпуса. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 11 августа 1919 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего, с 21 октября 1919 г. член комиссии по рассмотрению положений о прохождении службы и устройству войск. Эвакуирован в начале 1920 г. из Новоросска на о. Лемнос на корабле «Брауенфелз». 16 октября 1920 г. выехал в Русскую Армию в Крым на корабле «Херсон». Галлиполиец, в 1921 г. инспектор классов Николаевского кавалерийского училища. В эмиграции в Югославии, в 1931 г. возглавлял группу Общества Галлиполийцев в Крагуеваце.

<sup>110</sup> 4-й гусарский Мариупольский полк. К концу 1918 г. в Добровольческой армии было 23 офицера полка и несколько офицеров в Донской армии; полк был возрожден в Донской армии 12 июля 1919 г. 26 августа 1919 г. включен в Отдельную кавалерийскую бригаду, которая в конце сентября развернута в Сводную кавалерийскую дивизию. Мариупольцы входили также в состав 3-го конного полка. С 16 апреля 1920 г. дивизион полка входил в 4-й кавалерийский полк. В нем воевало более 30 коренных офицеров. В январе 1920 г. полк имел 46 офицеров и около 500 солдат. Мариупольского полка даже в начале 70-х годов насчитывалось 11 офицеров, произведенных не позже 1920 г.

<sup>111</sup> **Комаровский Альбин Николаевич**. Ротмистр. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Решид-Паша». Галлиполиец, в эмиграции в Югославии, член организации Кутепова, в 1928 г. ре-



дактор газеты «Первопоходник», в 1931 г. секретарь объединения 10-го гусарского полка в Белграде, секретарь управления начальника IV отдела РОВС. Арестован в декабре 1935 г. в Белграде по подозрению в работе на большевиков и выслан из Югославии.

<sup>112</sup> **Гернгрос Борис Владимирович**, р. 29 апреля 1878 г. в Полтавской губ. Полтавский кадетский корпус, 1886 г., Михайловское артиллерийское училище, 1889 г., академия Генштаба, 1906 г. Офицер 17-й конно-артиллерийской батареи. Полковник, командир 14-го гусарского полка. В декабре 1917 г. командир «украинизированной» части, в 1918 г. в гетманской армии; с 24 сентября 1918 г. начальник Елисаветградского кавалерийского училища. Генеральный хорунжий. Во ВСЮР и Русской Армии; с 10 января 1920 г. командир 14-го гусарского полка, затем в штабе 2-й кавалерийской дивизии до эвакуации Крыма. Генерал-майор. Эвакуирован на корабле «Аю-Даг». Галлиполиец, командир 3-го кавалерийского полка, затем 2-й кавалерийской бригады. В эмиграции в Югославии, председатель полкового объединения в Горице, к 1931 г. командир 2-й бригады Кавалерийской дивизии, преподаватель Высших военных-научных курсов в Белграде. Умер после 1939 г. в Белграде.

<sup>113</sup> Речь идет о Георгии Константиновиче Симинском.

<sup>114</sup> Воспоминания написаны под псевдонимом, автор говорит о себе в третьем лице.

<sup>115</sup> Впервые опубликовано: *Владикавказец*. Пути-дороги. Мадрид, 1967.

<sup>116</sup> **Улагай Сергей Георгиевич**, р. в 1875. Сын офицера. Воронежский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище, 1897 г. Полковник, командир 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска. Участник выступления генерала Корнилова в августе 1917 г. В Добровольческой армии; с ноября 1917 г. — в начале 1918 г. командир отряда Кубанских войск. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, командир Кубанского пластуного батальона. С 22 июля 1918 г. начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии, с 27 февраля 1919 г. командир 2-го Кубанского корпуса, с 12 ноября 1918 г. генерал-майор, с октября 1919 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего, с 28 ноября 1919 г. в распоряжении командующего Добровольческой армией, в декабре (до 10 декабря) 1919 г. командующий конной группой; в марте 1920 г. командующий Кубанской армией, с 8 апреля 1920 г. в распоряжении Главнокомандующего ВСЮР, с 5 июля 1920 г. командующий Группой войск особого назначения, в августе 1920 г. руководитель десанта на Кубань, после неудачи которого отставлен. Генерал-лейтенант (1919). Эвакуирован на корабле «Константин». В эмиграции в Югославии. Во время 2-й мировой войны участник формирования антисоветских казачьих частей. После 1945 г. — во Франции. Умер 20 марта 1947 г. в Марселе.

<sup>117</sup> **Гагаев Петр Андреевич**, р. в 1879 г. Из осетин ст. Ново-Осетинской Терской области. Сын войскового старшины. Владикавказское реальное училище, Новочеркасское военное училище, 1900 г. Офицер 1-го Лабинского полка Кубанского казачьего войска. Войсковой старшина (1917) 2-го Черноморского полка Кубанского казачьего войска. В Добровольческой армии; в декабре 1917 г. организатор и командир первого добровольческого отряда на Кубани. Убит 22 (24) января 1918 г. у ст. Энем.

<sup>118</sup> **Половинкин Анатолий Павлович**. Прапорщик. В Добровольческой армии; в конце 1917 г. в отряде войскового старшины Галаева на Кубани, участник боя под ст. Энем. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. В эмиграции во Франции (Ницца). Выдан в Лиенце 19 мая 1945 г. и вывезен в СССР. Умер в лагере в Тайшете. Родители расстреляны на Урале.

<sup>119</sup> **Лазарев Максим Андреевич**, р. в 1890 г. Морской корпус, 1912 г. Старший лейтенант. Во ВСЮР и Русской Армии; в марте—апреле 1920 г. командир эсминца «Живой». Капитан 2-го ранга. Галлиполиец. Покончил самоубийством 16 мая 1935 г. в Бейруте.

<sup>120</sup> **Тихобразов Николай Дмитриевич**, р. в 1890 г. Морское инженерное училище, 1912 г. Лейтенант, инженер-механик. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма; в марте 1920 г. механик эсминца «Живой». Старший лейтенант (28 марта 1920 г.). На 25 марта 1921 г. в составе русской эскадры в Бизерте на крейсере «Алмаз». В эмиграции. Умер до 1949 г.

<sup>121</sup> **Порохонский Николай Николаевич**, р. 26 февраля 1868 г. Киевская гимназия, 1888 г., Московское пехотное юнкерское училище, 1890 г., Офицерская артиллерийская школа. Офицер 26-й артиллерийской бригады. Генерал-майор, начальник штаба 48-го армейского корпуса, с 28 апреля 1917 г. инспектор артиллерии 43-го армейского корпуса. Георгиевский кавалер. Во ВСЮР и Русской Армии; в 1920 г. представитель армии в Батуме. В эмиграции во Франции. Умер 5 июня 1931 г. в Бенон-де-Брюйере (Франция).

<sup>122</sup> **Воронцов-Дашков граф Иларион Иларионович**, р. 12 мая 1877 г. в Царском Селе. В службе с 1896 г., офицером с 1898 г. Полковник л.-гв. Гусарского полка, командир Кабардинского конного полка. В Добровольческой армии. Осенью 1918 г. — в январе 1919 г. в Кисловодске для связи с Бичераховым, получив от него деньги для Серебрякова-Даутокова на организацию Терского восстания; с 25 ноября 1918 г. в резерве чинов при штабе армии и Главнокомандующего ВСЮР, с 22 января 1919 г. — в резерве чинов при штабе Кавказской Добровольческой армии, с 10 февраля 1919 г. в резерве чинов при штабе Крымско-Азовской Добровольческой армии; в феврале 1919 г. на Кубани, с 1 июня 1919 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, в марте 1920 г. в представительстве ВСЮР в Батуме. 6 мая 1920 г. прибыл в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на корабле «Шилка». В эмиграции во Франции. Умер 20 апреля 1932 г. в Париже.

<sup>123</sup> **Шифнер Антон Мейнгардович (Шифнер-Маркевич)**, р. 4 июня 1887 г. Александровский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище, 1907 г., академия Генштаба, 1913 г. Офицер л.-гв. 2-й артиллерийской бригады. Подполковник, и. д. начальника штаба 7-го армейского корпуса. В 1918 г. участвовал в формировании добровольческих частей на румынском фронте. В Добровольческой армии с 7 августа 1918 г.; начальник штаба партизанской бригады Шкуро, затем 1-й Кавказской конной дивизии, с мая 1919 г. начальник той же дивизии, в сентябре 1919 г. — марте 1920 г. начальник штаба 3-го Кубанского корпуса. В Русской Армии в августе 1920 г. начальник 2-й Кубанской конной дивизии и отряда группы войск особого назначения в Кубанском десанте, в сентябре 1920 г. начальник 2-й кавалерийской дивизии. Генерал-майор. Умер 21 января 1921 г. в Галлиполи.

<sup>124</sup> **Стогов Николай Николаевич**, р. 10 сентября 1872 г. Николаевский кадетский корпус, 1891 г., Константиновское военное училище, 1894 г., академия Генштаба, 1900 г. Офицер л.-гв. Волынского полка. Генерал-лейтенант, командир 16-го армейского корпуса, начальник штаба и командующий Юго-Западным фронтом. Георгиевский кавалер. Служил в Красной армии (май—август 1918 г. начальник Всерославлштаба). В 1918—1919 гг. член «Национального Центра» в Москве, начальник его военной организации (в августе 1919 г. возглавлял Штаб Добровольческой армии Московского района. Арестован, бежал через линию фронта. В Вооруженных силах Юга России с сентября 1919 г., начальник укрепленной позиции у Ростова, с 18 января 1920 г. начальник штаба Кубанской армии. В Русской Армии комендант Севастопольской крепости и командующий войсками тылового района до эвакуации Крыма. В эмиграции в Югославии (Земун), с 1924 г. в Париже, помощник начальника военной канцелярии РОВС, с 6 июля 1930 г. до 1934 г. начальник той же канцелярии, к 1 июля 1939 г. член объединения л.-гв. Волынского полка, в феврале 1941 г. заместитель начальника 1-го отдела РОВС. Председатель Общества офицеров Генерального Штаба, Союза Георгиевских кавалеров, почетный председатель Союза российских кадетских корпусов, в 1949 г. председатель объединения 3-й гвардейской пехотной дивизии, на ноябрь 1951 г. заместитель председателя объединения л.-гв. Волынского полка, заместитель председателя Распорядительного комитета Гвардейского объединения и представитель в Гвардейском объединении от 3-й гвардейской пехотной дивизии. Умер 17 декабря 1959 г. в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).

<sup>125</sup> **Павлов Александр Александрович**, р. 11 июля 1867 г. Из дворян Волынской губ. Киевский кадетский корпус, 1885 г., Николаевское кавалерийское училище, 1887 г. Офицер л.-гв. Гусарского полка, командир л.-гв. Уланского Ее Величества полка. Генерал-лейтенант, командир Кавказского кавалерийского корпуса. Георгиевский кавалер. 1918 г. командующий Астраханской армией. В Вооруженных силах Юга России; командир Астраханского корпуса, с 21 марта 1919 г. в распоряжении атамана ВВД, затем в распоряжении Главнокомандующего ВСЮР, с января 1920 г. командир 4-го Донского корпуса, а также командир конной группы из частей 4-го и 2-го Донских корпусов, с конца февраля 1920 г. в резерве чинов при Военном управлении, с 13 мая 1920 г. генерал для поручений при Главнокомандующем ВСЮР. Эвакуирован на пароходе «Константин». В эмиграции в Югославии, служил в югославской армии. Умер 7 декабря 1935 г. в Земуне (Югославия).

<sup>126</sup> **Князь Путятин Николай Сергеевич**, р. 22 августа 1862 г. Морской корпус, 1882 г. Контр-адмирал. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на пароходе «Константин». В эмиграции во Франции. Умер 11 июля 1927 г. в Париже.

<sup>127</sup> **Баратов Николай Николаевич**, р. 1 февраля 1865 г. во Владикавказе. Из дворян Терской обл. Владикавказское реальное училище, 1882 г., Константиновское военное училище, 1884 г., Николаевское инженерное училище, академия Генштаба, 1891 г. Генерал от кавалерии, командующий русским экспедиционным корпусом в Персии. В Добровольческой армии и ВСЮР на Кавказе: в 1918 г. представитель Главнокомандующего в Закавказье, тяжело ра-

нен 13 сентября 1919 г., с декабря 1919 г. в управлении иностранных дел, в марте—апреле 1920 г. министр иностранных дел Южнорусского правительства до эвакуации Новороссийска. Эвакуирован до августа 1920 г. из Батума. В эмиграции во Франции. Председатель Зарубежного Союза Русских Военных Инвалидов, с 1930 г. редактор газеты «Русский инвалид». Умер 22 марта 1932 г. в Париже.

<sup>128</sup> **Гамалий Василий Данилович**, р. в 1884 г. Из казаков ст. Переяславской Кубанской области. Оренбургское военное училище, 1911 г. Есаул 1-го Уманского полка Кубанского казачьего войска. В Добровольческой армии и ВСЮР; в 1919—1920 гг. командир 2-го Уманского полка, в Русской Армии командир бригады до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Полковник (7 декабря 1918 г.). В эмиграции во Франции (с 1952 г. в Париже), затем в США. Умер 22 ноября 1956 г. под Нью-Йорком.

<sup>129</sup> **Великий князь Дмитрий Павлович**, р. 6 сентября 1891 г. Офицер с 1911 г. Офицер л.-гв. Конного полка, шеф л.-гв. 2-го стрелкового полка. В эмиграции, на 1930 г. во Франции. Умер 5 марта 1942 г. в Давосе (Швейцария).

<sup>130</sup> **Филаретов Парфений Варфоломеевич**. Виленское военное училище. Полковник, инструктор Персидской казачьей дивизии. До октября 1919 г. начальник Тегеранского отряда той же дивизии, затем начальник Хамаданского отряда. В эмиграции в Иране (Тегеран).

<sup>131</sup> **Карташевский Константин Иванович**, р. в 1874 г. Воронежский кадетский корпус, 1892 г., Константиновское военное училище, 1894 г. Капитан (с 1907 г. и на 1913 г.). В эмиграции к 1926 г. в Иране (Тегеран).

<sup>132</sup> **Марков Николай Леонидович**, р. 27 декабря 1882 г. в Тифлисе. Штабс-капитан инженерных войск, адъютант генерала Н.Н. Баратова, затем инструктор Персидской казачьей дивизии. Архитектор. В эмиграции в Иране (Тегеран). Умер 19 июня 1957 г. в Тегеране.

<sup>133</sup> **Принц Персидский Каджар Ибрагим-Мирза**. Пажеский корпус, 1917 г. Прапорщик 17-го драгунского полка. В эмиграции в Иране. Умер после февраля 1954 г.

<sup>134</sup> По-видимому, это был Джевад-Бек Шихлинский (р. в 1874 г., окончил Константиновское военное училище в 1894 г.; с 1913 г. подполковник артиллерии).

<sup>135</sup> **Зимин Михаил Иванович**, р. 21 сентября 1889 г. Сын офицера Терского казачьего войска, ст. Старопавловской. Воронежский кадетский корпус, 1907 г., Николаевское кавалерийское училище, 1909 г., курсы академии Генштаба, 1917 г. Служил в 1-м Волгском полку Терского казачьего войска. Войсковой старшина (1916 г.) старший адъютант штаба 2-й сводно-казачьей дивизии. Участник Терского восстания. В Добровольческой армии и ВСЮР; в 1918 г. командир 1-го Волгского полка, с марта 1919 г. старший адъютант штаба Терского казачьего войска. В эмиграции с 1920 г. Полковник. Во время 2-й мировой войны — в казачьих частях германской армии; Терский и Астраханский атаман. В 1945 г. арестован и увезен в СССР, где погиб.

<sup>136</sup> **Рышков Евгений Викторович**, р. 18 июля 1890 г. Поручик (подпоручик) по адмиралтейству. В Добровольческой армии во 2-м Офицерском (Дроздовском) стрелковом полку; с 1920 г. во флоте до эвакуации Крыма. В эмигра-

ции; в 1920-е гг. в Париже, редактор отдела журнала «Часовой», к 1933 г. активист НОРР. Покончил самоубийством в 1945 г. при выдаче в Лиенце.

<sup>137</sup> **Купчинский Михаил Николаевич**. Полтавский кадетский корпус, 1901 г., Михайловское артиллерийское училище, 1904 г. Подполковник 14-й конно-артиллерийской батареи. С 1918 г. в гетманской армии; войсковой старшина, 24 октября 1918 г. назначен командиром 4-го конного артиллерийского полка. В Русской Западной армии, командир 2-й конной батареи. Полковник. С декабря 1919 г. в Германии. В апреле 1920 г. в штабе 1-й группы. В эмиграции в Германии, до 1930 г. член РОВС. Владелец книжного магазина. Вывезен в СССР.

<sup>138</sup> **Купчинский Михаил Николаевич**, р. 10 сентября 1887 г. Морской корпус, 1906 г. (офицером с 1907 г.). Старший лейтенант 1-го Балтийского флотского экипажа. В Северо-Западной армии. Капитан 2-го ранга. В эмиграции в Финляндии, к 1937 г. в Гельсингфорсе. Ум. 26 февраля 1976 г. в Швеции.

<sup>139</sup> **Исаев Олег Иванович**. Офицер 17-го драгунского полка. В белых войсках Восточного фронта; в феврале—марте 1920 г. в 1-й кавалерийской дивизии, ординарец при штабе 3-й армии, к 1922 г. на Сибирской флотилии. Ротмистр. При эвакуации 1922 г. остался в Гензане. В эмиграции в Шанхае, на 1932 г. во французской муниципальной полиции, к 1936 г. в приюте Св. Тихона. Вывезен из Порт-Артура в СССР.

<sup>140</sup> **Аваш Яков Ильич**. Поручик. В эмиграции во Франции (в Париже), лейтенант Иностранного легиона. Выдан в Лиенце. Вывезен в СССР, содержался в лагере в Тайшете, после 1956 г. вернулся во Францию. Умер 31 января 1973 г. в Монморанси (Франция).

<sup>141</sup> **Павлов Борис Арсеньевич**, р. в 1906 г. в Твери. Из дворян Тверской губ., сын преподавателя гимназии. Кадет 2-го Московского кадетского корпуса. Во ВСЮР и Русской Армии; с осени 1919 г. (поступил в Ливнах) доброволец Алексеевского полка, разведчик, в августе 1920 г. участник десанта на Кубань, затем как малолетний отправлен в кадетский корпус, кадет интерната при Константиновском военном училище до эвакуации Крыма. Георгиевский крест 4-й ст. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов». В эмиграции в Югославии. Окончил Крымский кадетский корпус в 1926 г., Люблинский университет. Горный инженер. После 1945 г. — в США, член Общества ветеранов кадетского объединения, сотрудник журнала «Военная Бель». Умер 15 февраля 1994 г. в Монтерее или Кармеле (Калифорния).

<sup>142</sup> Впервые опубликовано: Кадетская переписка. 1975. № 13.

<sup>143</sup> **Дурново Никита Сергеевич**, р. в 1906 г. Во ВСЮР и Русской Армии кадет интерната при Константиновском военном училище до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов». В эмиграции в Югославии. Окончил Крымский кадетский корпус в 1926 г., Югославскую военную академию в 1929 г. Капитан, летчик югославской армии. В 1945 г. выдан в СССР, после 10 лет лагерей вернулся в Вену. Умер 17 сентября 1962 г. в Вене.

<sup>144</sup> Крымский кадетский корпус. Создан в Крыму (в Ореанде) из остатков Владикавказского и Полтавского корпусов. Эвакуирован в Белую Церковь (Югославия). Провел через свои ряды более 1000 кадет (до 75% его кадет

в Крыму участвовали в боях, из них 46 георгиевских кавалеров) и 150 чинов персонала. При эвакуации он насчитывал 650 кадет (в т. ч. 108 воспитанников Феодосийского интерната) и 37 чинов персонала, в 1922 г. — 579 кадет к моменту закрытия — 250 кадет и 44 чел. персонала. При расформировании корпуса в 1929 г. 103 кадета перешло в Донской кадетский корпус, остальные — в 1-й Русский кадетский корпус. Умерло 5 чинов персонала и 27 кадет. Полный курс окончили 604 (616) кадета. Из них 85 (по неполным данным 122, а всего из учившихся 158) затем окончили университеты, 3 — Белградскую академию художеств, 1 — балетную школу, 64 — Югославскую Военную Академию (1 — французское и 2 — румынское военные училища), 56 — курсы при артиллерийском заводе в Крагуеваце, 43 — геодезические курсы (4 — геодезическую школу), 66 выпускников поступили в Николаевское кавалерийское училище, 4 — в Сергиевское артиллерийское. Директоры: генерал-лейтенант В.В. Римский-Корсаков и генерал-лейтенант М.Н. Промтов. Инспекторы классов: полковник Г.К. Маслов, действительный статский советник А.И. Абрамцев.

<sup>145</sup> Киевское Константиновское военное училище. Принимало участие в боях с большевиками в Киеве 25 октября — 1 ноября 1917 г. (убито 2 офицера и 40 юнкеров, ранено 2 и 60). Прибыло в Екатеринодар 13 ноября 1917 г. в составе 25 офицеров и 131 юнкера во главе с генералом Калачевым. Большинство их (около 100 офицеров и юнкеров) погибло в Кубанских походах. Участвовало в боях на Кубани с 21 января 1918 г., в 1-м и 2-м Кубанских походах (с 2 марта 1918 г. полусотня 3-й сотни 1-го Кубанского стрелкового полка). К 3 августа 1918 г. в нем осталось 11 офицеров и 14 юнкеров. Прием по полному курсу был открыт в Симферополе 1 января 1919 г. (67-й выпуск), а 3 сентября 1919 г. — еще один (68-й выпуск). 6 августа 1919 г. переведено в Феодосию. 26 декабря 1919 г. — 28 апреля 1920 г. обороняло Перекопский перешеек, 30 июля — 28 августа 1920 г. участвовало в Кубанском десанте. В училище был 21 офицер. При выступлении на фронт 27 декабря 1919 г. в батальоне училища было 16 офицеров, 336 юнкеров и 27 солдат, на 30 июля 1920 г. к началу десанта на Кубань — 2 генерала, 5 штаб- и 20 обер-офицеров, 2 врача, 377 юнкеров и 44 солдата, на момент эвакуации — 4 генерала, 15 штаб- и 16 обер-офицеров, 2 чиновника, 342 юнкера и 3 солдата. Всего с января 1919 г. училище потеряло убитыми 4 офицеров и 64 юнкера и ранеными — 9 и 142 соответственно. Награждено серебряными трубами с лентами ордена Св. Николая Чудотворца, 187 юнкеров — Георгиевскими крестами и медалями. За 5 лет сделало 3 полных (двухлетних) и 2 ускоренных выпуска — всего 343 офицера. В Галлиполи 5 декабря 1920 г. были произведены в офицеры 114 юнкеров его 67-го выпуска (первого набора в Белой армии), 4 июня 1922 г. — 109 чел. 68-го выпуска, в 1923 г. — юнкера 69-го выпуска. После преобразования армии в РОВС до 30-х гг. представляло собой, несмотря на распыление его чинов по разным странам, кадриванную часть в составе 1-го армейского корпуса (офицеры последних выпусков были оставлены в прикомандировании к училищу). Осенью 1925 г. насчитывало 148 чел., в т. ч. 133 офицера. Начальники: генерал-майор Н.Х. Калачев (1 января 1919 г. — 4 апреля 1920 г.), генерал-майор М.П. Чеглов, генерал-майор Е.К. Российский

(середина 1922 г. — конец 1923 г.), полковник В.И. Соколовский (1925—1931). Инспектор классов — полковник Попов (с 1 января 1919 г.). Командир батальона — полковник Сребницкий (с 1 января 1919 г.). Адьютант — капитан В.Г. Шпаковский. Начальник группы в Болгарии — генерал-майор П.Д. Черноглазов. В 1926 г. в Париже основано «Объединение Киевлян-Константиновцев» и «Общества взаимопомощи Киевлян-Константиновцев» во Франции и Югославии, существовавшие до 2-й мировой войны. Общество взаимопомощи Киевского Константиновского училища насчитывало к 1930 г. более 200 чел.

<sup>146</sup> **Дурново Василий Сергеевич**, р. в 1904 г. Во ВСЮР и Русской Армии кадет интерната при Константиновском военном училище до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов». В эмиграции в Югославии. Кадет Крымского кадетского корпуса. Окончил Первый русский кадетский корпус, 1930 г., Белградский университет, Член НТС, в 1939 г. тайно посетил СССР, где погиб до 1941 г.

<sup>147</sup> **Колков Александр**, р. в 1904 г. Во ВСЮР и Русской Армии кадет интерната при Константиновском военном училище до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов». В эмиграции в Югославии. Окончил Крымский кадетский корпус, 1924 г. Член НТС, в 1938—1939 гг. дважды был в СССР, где погиб до 1941 г.

<sup>148</sup> **Леушин Василий**. В эмиграции в Югославии. Окончил Первый русский кадетский корпус, 1931 г. Член НТС, в 1939 г. отправлен в СССР, где погиб до 1941 г.

<sup>149</sup> **Кзнаков Георгий Иванович**, р. в 1910 г. Во ВСЮР и Русской Армии кадет интерната при Константиновском военном училище до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов». В эмиграции в Югославии. Окончил Первый русский кадетский корпус в 1931 г. и университет. Член НТС, в 1940 г. погиб при переходе границы СССР.

<sup>150</sup> **Воинов Николай Лаврентьевич**, р. 1907 г. В эмиграции в Югославии. Окончил Крымский кадетский корпус в 1927 г. Служил в Русском Корпусе. Вывезен в СССР, до 1956 г. в лагерях.

<sup>151</sup> Впервые опубликовано: *Войцеховский С.А.* Эпизоды. Лондон — Канада, 1978.

<sup>152</sup> **Вельмин Анатолий Петрович**, р. 23 октября 1883 г. Судейский чиновник. В эмиграции в Польше, сотрудник газеты «Последние новости», после 1945 г. во Франции, секретарь Союза писателей и журналистов в Париже. Умер 1958 г.

<sup>153</sup> **Бранд Владимир Владимирович**, р. 17 июля 1892 г. в Тульской губ. Николаевский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище (экзамен), 1912 г. Капитан артиллерии. В Северо-Западной армии (в списках с 20 июня 1919 г.) в декабре 1919 г. помощник командира 6-го отдельного легкого артдивизиона. Подполковник (с 25 марта 1919 г.). В эмиграции в Польше, член БРП и НТС, редактор газет «Молва» и «Меч». Умер 16 марта 1942 г. в Смоленске.

<sup>154</sup> Братство Русской Правды. Образовано в 1921 г. как глубоко законспирированная боевая монархическая организация. Высшим органом являлся Брат-

ский Центр — Верховный Круг, которому подчинялись местные, областные и боевые центры, автономные отделы и подотделы, боевые отряды и дружины. Последние вели партизанскую войну на советской территории, главным образом в Белоруссии и на Дальнем Востоке. Издавало газету «Русская правда». Активную боевую деятельность вело до середины 30-х гг., но продолжало существовать некоторое время и после Второй мировой войны.

<sup>155</sup> **Гловацкий Василий Казимирович**, р. 20 ноября 1869 г. Николаевское кавалерийское училище, 1892 г. Полковник л.-гв. Уланского Его Величества полка. В эмиграции во Франции. Умер 30 октября 1948 г.

<sup>156</sup> **Свитич Александр Каллиникович**. В эмиграции в Польше. Магистр богословия, журналист, редактор газеты «Русский Голос», в 1939—1944 гг. в Варшаве. После 1945 г. — в США. Умер 17 августа 1963 г. в США.

<sup>157</sup> **Ломновский Петр Николаевич**, р. 24 ноября 1871 г. Тифлисский кадетский корпус, 1889 г., Павловское военное училище, 1891 г., академия Генштаба, 1898 г. Офицер л.-гв. Вольнского полка. Генерал-лейтенант, командующий 10-й армией. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии с 1 июня 1918 г. в Киевском центре (утв. 2 февраля 1919 г.). 1917—1919 гг. представитель армии в Киеве (с 18 ноября 1918 г. начальник Главного центра). В эмиграции в Болгарии и Франции, к 1 июля 1939 г. член полкового объединения. Умер 2 марта 1956 г. в Ницце (Франция).

<sup>158</sup> **Ганусовский Борис Казимирович**, р. в 1906 г. (1908 г.). Сын инженера путей сообщения. Учащийся гимназии в Петрограде. Кадет Одесского кадетского корпуса. В Вооруженных Силах Юга России; участник похода из Одессы к румынской границе. В Русской Армии кадет интерната при Константиновском военном училище до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов». В эмиграции в Югославии. Окончил Крымский кадетский корпус, 1926 г., Белградский университет. Во время Второй мировой войны в 15-м казачьем кавалерийском корпусе. Выдан в СССР и провел 10 лет в лагерях. Умер 5 ноября 1993 г. в Сант-Пауле (США).

<sup>159</sup> **Артифексов Леонид Александрович**. Из казаков Терской обл., сын преподавателя гимназии. Тифлисская гимназия, 1907 г., Алексеевское военное училище, 1909 г. Офицер 1-го Сибирского казачьего полка. Командир сотни 1-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска. Капитан (с 1915 г.), командир 6-го броневтомобильного отделения. Георгиевский кавалер. Участник похода на Петроград в октябре 1917 г. В Добровольческой армии; в июле 1918 г. эmissар Добровольческой армии в Тифлисе, с 13 октября 1918 г. помощник командира Корниловского конного полка. Ранен 16 октября 1918 г., с 8 декабря 1918 г. командир 1-го Линейного полка Кубанского казачьего войска, с 6 марта 1919 г. командир Корниловского конного полка, с 18 июня (24 июля) 1919 г. генерал для поручений при командующем Кавказской армией, с 2 декабря 1919 г. генерал для поручений при командующем Добровольческой армией, в Русской Армии в октябре 1920 г. при генерале Врангеле для особых поручений до эвакуации Крыма. Генерал-майор (1920 г.). В мае 1921 г. входил в состав ближайшего окружения генерала Врангеля. В эмиграции в Югославии. Умер 3 июня 1926 г. в замке Вурберг у Птуя (Югославия).



<sup>160</sup> **Сергиевский Борис Васильевич**, р. 20 февраля 1888 г. в Гатчине. Сын инженера путей сообщения. Реальное училище в Одессе, 1906 г., Киевский политехнический институт, Севастопольская авиационная школа, 1915 г. (1917 г.). Прапорщик запаса. Капитан, командир 2-го истребительного авиаотряда. Георгиевский кавалер. В 1918 г. инструктор в английской авиации. 1919 г. командир авиационного отряда в Северо-Западной армии, летом 1920 г. начальник авиации 3-й Русской армии. В эмиграции с 1923 г. в США, работал на заводе Сикорского, в 1943—1945 гг. служил в американской армии, затем владелец авиационной школы в Нью-Йорке. Председатель Российского политического комитета, командир гарнизона батальона комбатантов американской армии, председатель Союза русских летчиков, председатель отдела Союза георгиевских кавалеров. Умер 24 ноября 1971 г. в Нью-Йорке.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	3
<i>В. Ларионов.</i> Боевая вылазка в СССР .....	7
<i>С. Войцеховский.</i> «Трест» .....	52
<i>Н. Виноградов.</i> К истории Боевой Организации генерала А.П. Кутепова .....	194
Убийство Войкова и дело Бориса Коверды .....	210
<i>В. Орехов.</i> Два визита .....	273
<i>В. Безруков.</i> Из царства сатаны на свет Божий .....	275
<i>Д. Хорват.</i> О положении на Дальнем Востоке .....	305
<i>Ю. Сербин.</i> О разведке .....	313
<i>Владикавказцу.</i> Пути-дороги .....	322
<i>Б. Павлов.</i> Семья Дурново .....	385
<i>С. Войцеховский.</i> Эпизоды .....	388
Комментарии .....	449

Научно-просветительное издание

## РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БОРЬБЕ С БОЛЬШЕВИЗМОМ

Составление, научная редакция, предисловие и комментарии  
д. и. н. Сергея Владимировича Волкова

Ответственные редакторы *В.А. Благово* и *С.А. Сапожников*

Редактор *Е.А. Волкова*

Художественный редактор *И.А. Озеров*

Технический редактор *Н.В. Травкина*

Корректор *А.В. Максименко*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.09.2005.  
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Лазурского».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,0.  
Уч.-изд. л. 33,02 + 1 альбом = 33,5.

Тираж 3 000 экз. Заказ № 825

ЗАО «Центрополиграф»  
125047, Москва, Оружейный пер., д. 15, стр. 1,  
пом. ТАРП ЦАО

Для писем:  
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15  
E-MAIL: CNPOL@DOL.RU

WWW.CENTROPOLIGRAF.RU

ГУП Московская типография №2  
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,  
129085, Москва, пр. Мира, 105. Тел: 682-24-91.